

ЭРИХ
МАРИЯ
РЕМАРК

НОЧЬ
В
ЛИССАБОНЕ

ТЕНИ
В
РАЮ



ЭРИХ
МАРИЯ
РЕМАРК

НОЧЬ
В
ЛИССАБОНЕ

ТЕНИ
В
РАЮ

РОМАНЫ

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
1990

84. 4 Ф
Р 37.



Переводы с немецкого

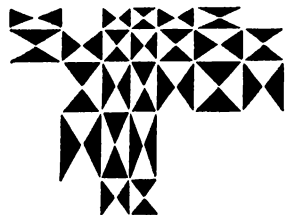
Послесловие
И. Фрадкина

Иллюстрации
И. Пчелко

Р $\frac{4703000000-2080}{080(02)-90}$ 2080—90

© Издательство «Правда», 1990.
Составление. Послесловие.
Иллюстрации.

НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ



Перевод Ю. Плашевского



Я неподвижно смотрел на корабль. Ярко освещенный, он покоился на поверхности Тахо¹, недалеко от набережной. Хотя я уже неделю был в Лиссабоне, я все еще не мог привыкнуть к беспечным огням этого города. В странах, откуда я приехал, города по ночам лежали черные, будто угольные шахты, и свет фонаря в темноте был опаснее, чем чума в средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.

Корабль был пассажирским судном. Шла погрузка. Я знал, что он должен отплыть завтра вечером. В резком свете обнаженных электрических огней на борт подавали мясо, овощи, рыбу, консервы; рабочие втаскивали багаж, а кран легко и бесшумно подымал, будто невесомые, тюки и ящики. Корабль снаряжался в путь, словно Ноев ковчег.

Что же, это и в самом деле был ковчег. Каждое судно, покидавшее Европу в эти месяцы 1942 года, было ковчегом. Америка высилась Араратом, а потоп нарастал с каждым днем. Он давно уже затопил Германию и Австрию, глубоко на дне лежали Прага и Польша; потонули Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж; в зловонных потоках задыхались города Италии; нельзя было спастись уже и в Испании. Побережье Португалии стало последним прибежищем беглецов, для которых справедливость, свобода и терпимость значили больше, чем родина и жизнь. Того, кто не сможет теперь достигнуть благословенной земли Америки, ждала гибель. Он был обречен истечь кровью в дебрях отказов во въездных и выездных визах, безнадежных попыток добыть разрешение на жи-

¹ Река в Португалии, на которой стоит г. Лиссабон. (Здесь и далее примеч переводчика)

тельство и работу, в чашах бюрократии, лагерей для интернированных, отчуждения и равнодушия к судьбе одиночки — вечного следствия войны, страха и нужды. Человечек был ничем; надежный паспорт — всем.

Сегодня после обеда я пошел в казино «Эсторил» с надеждой выиграть. У меня еще был приличный костюм, и меня впустили. То была последняя, отчаянная попытка подкупить судьбу. Разрешение на пребывание в Португалии у меня и Рут истекало через несколько дней. Никаких виз у нас больше не было. Корабль, что стоял на Тахо, был последним, с которым мы еще во Франции рассчитывали попасть в Нью-Йорк, однако места на нем были распроданы за несколько месяцев, а у нас не было ни разрешения на въезд в Америку, ни денег; билет стоил свыше трехсот долларов. Я попытался раздобыть деньги единственно возможным здесь способом — в казино. Даже если бы я выиграл, попасть на корабль можно было бы чудом. Но во время бегства и опасности, в отчаянии как раз и начинаешь верить в чудо: иначе нельзя выжить...

Но у меня ничего не вышло. Из шестидесяти двух долларов, что у нас были, пятьдесят шесть я проиграл.

В этот поздний час набережная была безлюдна. Вскоре, однако, я заметил человека, который то бесцельно ходил взад и вперед, то вдруг останавливался и начинал, как я, всматриваться в пароход. Я решил, что он тоже один из потерпевших крушение и не заслуживает внимания. Потом я почувствовал, что он за мной наблюдает.

Страх перед полицией никогда не оставляет эмигранта. Даже во сне. Даже тогда, когда ему нечего бояться. Поэтому я тотчас же повернулся и со скучающим видом человека, который не испытывает никаких опасений, медленно направился прочь от набережной.

Вскоре я услышал позади себя шаги. Я шел все так же, не спеша. Меня только мучила мысль, как известить Рут, если меня арестуют. В конце набережной стояли дома, будто выписанные пастелью, похожие на больших бабочек, уснувших в ночи. Там, в переулках, легко исчезнуть, затеряться. Но идти еще слишком далеко. Если я побегу, меня могут подстрелить.

Человек теперь шел рядом. Он был немного ниже меня ростом.

— Вы немец? — спросил он по-немецки.

Не замедляя шага, я покачал головой.

— Австриец?

Я, не отвечая, смотрел на постельные дома. Они приближались, но очень медленно. Я знал, что есть португальские полицейские, которые хорошо говорят по-немецки.

— Я не полицейский, — сказал человек.

Я ему не поверил. Он был в штатском, но ведь много раз в Европе меня ловили жандармы в штатском. Правда, сейчас у меня были документы. И неплохие. Их сделал в Париже профессор математики из Праги. И все-таки это была подделка.

— Я видел, как вы рассматривали пароход, — сказал человек. — Поэтому я подумал...

Я окинул его равнодушным взглядом. Он не был похож на полицейского. Однако последний жандарм, который сцапал меня в Бордо, выглядел так жалостно, что походил скорее на Лазаря, пробывшего три дня в могиле. Он оказался самым безжалостным и арестовал меня, хотя знал, что немецкие войска через день будут в Бордо. И я бы погиб, если бы директор тюрьмы не смилостивился и не выпустил меня спустя два часа.

— Хотите в Нью-Йорк? — спросил человек.

Я не ответил. Мне оставалось еще двадцать метров, чтобы сбить его и убежать, если понадобится.

— Вот два билета на корабль, — сказал человек и сунул руку в карман.

При слабом свете я не мог разглядеть протянутые им бумаги. Впрочем, теперь мы уже довольно далеко отошли от набережной, и можно было рискнуть. Я остановился.

— Что все это значит? — спросил я по-португальски. Я знал несколько слов.

— Вы можете их взять себе, — ответил он. — Даром. Мне они не нужны.

— Вам они не нужны? Почему?

— Мне они больше не нужны.

Я уставился на человека, не понимая его. Он и в самом деле не был похож на полицейского. Чтобы арестовать меня, вряд ли требовались такие нелепые трюки. Но если билеты настоящие, почему он их предлагает мне? Хочет продать? Меня затрясло.

— Я не могу их купить, — сказал я наконец по-немецки. — Они стоят целое состояние. В Лиссабоне есть богатые эмигранты. Они заплатят вам сколько захотите. У меня нет денег, вы ошиблись.

— Я не хочу их продавать, — сказал человек.

Я опять взглянул на билеты:

— Они настоящие?

Вместо ответа незнакомец протянул их мне. Я взял и почувствовал, как они захрустели в пальцах. Да, настоящие. Они означали спасение. Без них была гибель. Но ведь я не смогу воспользоваться ими. У нас нет американской визы. Правда, завтра утром можно еще попытаться получить ее или, в крайнем случае, продать билеты и на выручку жить еще целых полгода.

— Я вас не понимаю,— сказал я.

— Вы можете их забрать,— ответил он.— Даром. Завтра утром я уезжаю из Лиссабона. Но ставлю одно условие.

У меня опустились руки. Конечно. Я же знал, что все это не так просто.

— Какое? — спросил я.

— В эту ночь я не хотел бы оставаться один.

— Вы хотите, чтобы я был с вами?

— Да. До утра.

— И всё?

— Да, всё.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Я с недоверием посмотрел на человека. Да, я, конечно, знал, что люди, подобные нам, иногда не выдерживали и надламывались: у них часто не хватало сил переносить одиночество; странно — они боялись пространства, хотя для них почти не оставалось места в жизни. Я знал, что тогда, вот так же ночью, оказавшись рядом, кто-нибудь, даже незнакомый, мог удержать человека от самоубийства. Считалось само собой разумеющимся, что люди просто помогали друг другу. Никто не брал за это платы. Тем более — такой.

— Где вы живете? — спросил я.

Он поднял руку, будто защищаясь:

— Туда я не хочу, нет ли здесь кабачка, где можно провести время?

— Наверно, есть.

— Я имею в виду — для эмигрантов. Что-нибудь вроде «Кафе де ла Роз» в Париже?

Я знал «Кафе де ла Роз». Рут и я ночевали там в течение двух недель. Хозяин разрешал, если заказывали кофе. Мы приносили с собой несколько газет и ложились прямо на полу. Я никогда не спал за столом. Можно упасть. А с пола не упадешь.

— Я не знаю такого заведения,— сказал я.

Я-то знал, но разве можно человека, который дарит билеты на пароход, вести туда, где люди готовы отдать за билет собственный глаз.

— Я знаю тут только один ресторан,— сказал он.— Мы можем попытаться. Может быть, он еще открыт.

Он позвонил такси и посмотрел на меня.

— Хорошо,— согласился я.

Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Мне нужно было предупредить Рут о том, что я до утра не вернусь, но тут вдруг, только я сел в теплое, затхлое такси, во мне вспыхнула такая дикая, ошеломляющая надежда, что закружилась голова. А может быть, это правда? Может быть, наша жизнь и в самом деле еще не кончилась? Вдруг свершилось невозможное и мы спасены? Теперь я уже не решался оставить незнакомца даже на секунду.

Мы объехали Праса де Коммерсио¹ и попали в путаницу лестниц и переулков, которые вели вверх. Эта часть Лиссабона была мне неизвестна: как и везде, я здесь тоже знакомился главным образом с музеями и соборами — не потому, что любил бога или искусство, а просто потому, что в соборах и музеях не спрашивали документов. Перед распятием и полотнами живописи еще можно было оставаться просто человеком, а не субъектом с сомнительными документами.

Мы вышли из такси и пошли вверх по лестницам и извилистым улочкам. Пахло рыбой, чесноком, ночными цветами, ушедшим солнцем и сном. В стороне — в ночном небе — вздымалась часовня святого Георга. Выходила луна, и свет ее лился водопадом по ступеням лестниц. Я обернулся и посмотрел вниз на гавань. Там была река, а река — это свобода, жизнь, она впадала в море, а море — это уже Америка. Я остановился.

— Вы не шутите со мной, надеюсь,— сказал я.

— Нет,— откликнулся человек.

— Я говорю о билетах.

Еще на набережной он опять сунул их в карман.

— Нет,— сказал он.— Я не шучу.

Он показал на маленькую площадку, окруженную деревьями.

— Вон там ресторан, о котором я говорил. Он еще открыт. Там мы не будем бросаться в глаза. Это место посещают главным образом иностранцы; нас сочтут за людей, которые утром уезжают и проводят здесь последнюю ночь в Португалии.

Мы вошли. Это был скорее бар, рассчитанный на туристов, с маленькой площадкой для танцев и террасой.

¹ Рыночная площадь.

Слышалась гитара, в глубине помещения я заметил певицу — исполнительницу фадо¹. Несколько столиков на террасе было занято. Я заметил женщину в вечернем платье и мужчину в белом смокинге. Мы нашли свободное место в конце террасы. Отсюда виден был Лиссабон — шпили церкви в бледном сиянии, освещенные улицы, гавань, пристани и корабли на реке, ковчег надежды.

— Верите ли вы в загробную жизнь? — спросил человек с билетами.

Я ожидал чего угодно, только не этого вопроса.

— Я не знаю, — ответил я наконец. — В последние годы я был слишком занят вопросом о том, как продержаться в этой жизни. Если я попаду в Америку, то охотно займусь проблемой, о которой вы упомянули.

Последнее я добавил для того, чтобы напомнить о билетах.

— А я не верю, — сказал он.

Я вздохнул. Выслушать какого-нибудь несчастного куда ни шло, но вести философские дискуссии? Нет, на это я сейчас не способен. Мною овладело беспокойство. Внизу, на реке, стоял корабль

Некоторое время мой сосед сидел так, словно заснул с открытыми глазами. Затем, когда гитарист вышел на террасу, он очнулся и сказал:

— Меня зовут Шварц, по паспорту. Это не настоящее имя. Но я привык к нему, и на эту ночь его вполне достаточно. Вы долго были во Франции?

— Пока можно было.

— Вас интернировали?

— Как и других. Когда началась война.

Человек кивнул.

— Нас тоже. Я был счастлив, — быстро сказал он вдруг, понизив голос. — Я был очень счастлив, — повторил он, глядя в сторону. — И никогда не думал, что можно быть таким счастливым.

Что-то меня поразило в его словах. Они не вязались с его обликом — с первого взгляда человек производил впечатление ординарного, застенчивого.

— Когда? — спросил я. — Может быть, в лагере?

— В последнее лето.

— В 1939 году? Во Франции?

— Да. В лето перед войной. До сих пор не понимаю, как все это случилось. Мне обязательно нужно кому-ни-

¹ Фадо — португальские народные песни.

будь рассказать все. Здесь я никого не знаю. Все повторяется еще раз, пока я буду говорить. И может быть, я пойму. И может быть, оно останется. Мне нужно хотя бы еще раз...

Он замолчал.

— Вы меня понимаете? — спросил он через минуту.

— Да, — ответил я и осторожно добавил: — Это трудно понять, господин Шварц.

— Нет! Этого нельзя понять! — страстно, с жаром сказал он. — Она лежит там, внизу, в комнате с наглухо закрытыми окнами, в отвратительном дощатом гробу, мертвая! Ее нет больше! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я. И никто! И если кто скажет, что понимает, — тот покривит душой!

Я молчал, выжидая. Мне уже не раз приходилось вот так сидеть и слушать. Когда у тебя нет родины, потери особенно тяжелы. Нигде не находишь опоры, а чужбина кажется особенно чужой. Я пережил это в Швейцарии, когда получил известие, что моя мать и отец сожжены в концентрационном лагере в Германии. Мне долго представлялись глаза матери в огне крематория. Они преследуют меня и сейчас.

— Я думаю, вы знаете, что такое эмигрантский колер¹, — сказал Шварц спокойнее.

Кельнер принес блюдо креветок. Я почувствовал острый голод и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Я решительно взглянул на Шварца.

— Ешьте, ешьте, — сказал он. — Я подожду.

Он заказал вино и сигареты. Я быстро принялся за еду. Креветки были свежие и острые.

— Мне неудобно перед вами, — сказал я, — но я очень проголодался.

Поглощая креветки, я рассматривал Шварца. Он сидел спокойно, без нетерпения и раздражения, и смотрел на город, театрально раскинувшийся внизу. Я почувствовал что-то вроде симпатии. Он, видно, был свободен от фальшивых правил приличия и понимал, что если человек голоден, он будет есть, даже если рядом страдают, и что это нельзя считать бесчувственностью. Если ничем нельзя помочь другому — пусть голодный ест хлеб, пока его не отняли.

¹ Колер — болезнь лошадей, похожая на бешенство. Ремарк применяет этот термин для характеристики людей, уже не способных контролировать свои поступки.

Я отодвинул тарелку в сторону и взял сигарету. Я давно не курил — сэкономил деньги для игры.

— На меня нашел колер весной тридцать девятого года,— сказал Шварц.— После пяти лет эмиграции. Где вы были осенью тридцать восьмого?

— В Париже.

— Я тоже. К тому времени я уже был сломлен... Наступило время Мюнхена. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но сил у меня уже не было. Наступит война, придут немцы и возьмут меня. От судьбы не уйдешь. Так я решил и примирился с этим.

Я кивнул.

— Это было время самоубийств. Странно, когда немцы полтора года спустя действительно пришли, самоубийств стало меньше. Потом был заключен Мюнхенский пакт,— продолжал Шварц.— Осенью тридцать восьмого многие почувствовали себя так, будто им вновь подарили жизнь. Наступило время страшного легкомыслия. В тот год в Париже второй раз зацвели каштаны. Я дошел до того, что ощутил себя человеком, и за это, конечно, пришлось поплатиться. Меня схватили и посадили на четыре недели за неоднократный въезд в страну без разрешения. Затем началась старая игра: под Базелем меня выставили за границу, швейцарцы отослали меня обратно. Французы в другом месте опять выгнали. Вы знаете эту шахматную игру, в которой фигурами служат люди?..

— Знаю. Зимой это не шутка. Самые лучшие тюрьмы, между прочим, в Швейцарии. Тепло, как в гостинице.

Я снова принялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть одна хорошая сторона: они убеждают человека в том, что он теперь счастлив, даже если секунду назад он в это не верил. Счастье — такое относительное понятие! Кто это постиг, редко чувствует себя совершенно несчастным. Я был счастлив даже в швейцарских тюрьмах, и только потому, что они были не немецкие.

Сейчас передо мной сидел человек, уверяющий, что он был счастлив, а в это самое время у него где-то в Лиссабоне, в затхлой комнате, стоял дощатый гроб...

— В последний раз, отпуская, мне пригрозили, что если я попадусь без документов еще раз, меня вышлют в Германию,— продолжал Шварц.— Это была только угроза, но она напугала меня. Я невольно стал думать, что мне делать, если это и в самом деле случится. По ночам мне снилось, будто я уже там и за мной охотятся эсэсов-

цы. Сны стали повторяться так часто, что я уже боялся ложиться спать. Вам это знакомо?

— Я мог бы написать об этом докторскую диссертацию,— ответил я.— Печально, но факт.

— Однажды ночью мне приснилось, что я в Оснабрюке, где жил когда-то и где осталась моя жена. Будто я стою в ее комнате и вижу ее, худую и бледную. Она больна, по щекам ее текут слезы. Я проснулся с тяжелым сердцем. Более пяти лет я не видел ее и ничего о ней не слышал. Я никогда не писал ей, опасаясь, что за ней следят. Перед моим бегством она пообещала мне подать заявление о разводе. Это избавило бы ее от многих неприятностей. Некоторое время я был уверен, что она так и сделала.

Шварц замолчал. Я не спрашивал, почему он бежал из Германии. Причин хватало, и ни одну из них нельзя было назвать интересной — они были несправедливы. Никогда не интересно быть жертвой. Он мог быть евреем или принадлежать к политической партии, враждебной нынешнему режиму. У него могли оказаться враги, ставшие влиятельными. Существовали десятки причин, по которым в Германии можно было погибнуть или оказаться в концентрационном лагере.

— Мне удалось опять попасть в Париж,— снова заговорил Шварц.— Но сны меня не оставляли. Они возвращались снова и снова. К тому времени успели развеяться все иллюзии Мюнхенского соглашения. К весне стало ясно, что война неизбежна. Запах ее стоял в воздухе, как запах пожара, который чувствуешь раньше, чем увидишь зарево. И только международная дипломатия беспомощно закрывала глаза и предавалась приятным снам — о втором или о третьем Мюнхене — о чем угодно, только не о войне. Никогда не было такой веры в чудо, как в наше время, чуждое всяким чудесам.

— Иногда они все-таки бывают,— возразил я.— Иначе нас давно не было бы на свете.

Шварц кивнул.

— Вы правы. Частные чудеса. Я сам пережил такое. Оно началось в Париже. Я вдруг унаследовал настоящий, не фальшивый паспорт. На нем стояло имя Шварца, он принадлежал одному австрийцу, с которым я бывал в «Кафе де ла Роз». Он умер и оставил мне паспорт и деньги. В Париже он пробыл всего три месяца. Я познакомился с ним в Лувре, у картин импрессионистов, где проводил целые вечера. Это успокаивало. Когда я стоял перед

тихими, наполненными солнцем пейзажами, не верилось, что двуногое существо, создавшее все это, в то же время могло готовить разбойничью войну. Не верилось. И эти иллюзии на час, на два снижали бешеное давление крови.

Человек с паспортом на имя Шварца часто сидел перед картинами Моне. На них мерцали лилии, высились громады соборов. Мы разговорились, и он рассказал, что после захвата Австрии фашистами ему удалось вырваться на свободу и покинуть страну. Правда, он потерял все состояние — большое собрание полотен импрессионистов. Оно было конфисковано, но он не жалел об этом и сказал мне, что пока в музеях можно любоваться картинами, он их считает своими и к тому же не испытывает опасений, что они сгорят или могут быть украдены. Кроме того, во французских музеях выставлены такие шедевры, каких у него не было и в помине. Раньше он, словно заботливый папаша, был привязан к своей коллекции, которую берег и считал лучшей на свете. Теперь ему принадлежат все картины в публичных собраниях, и ему не надо о них заботиться.

Это был чудесный человек, тихий, кроткий и веселый, несмотря на все, что ему пришлось пережить. Он почти совсем не смог захватить с собой денег, но ему удалось спасти несколько старых почтовых марок. Марки спрятать легче, чем бриллианты. А с бриллиантами может выйти очень плохо, если они спрятаны в ботинках и вас ведут на допрос. Их трудно продать — начинаются расспросы, и в конце концов вам предложат мизерную цену. А почтовыми марками интересуются филателисты, которые ни о чем не спрашивают.

— Как он их провез? — спросил я с профессиональным интересом эмигранта.

— Он взял старые, затрепанные письма и засунул марки за подкладку конвертов. Таможенные чиновники просматривали письма, а на конверты и не смотрели.

— Ловко, — одобрил я.

— Кроме того, он взял с собой два маленьких карандашных портрета Энгера. Он прикрепил их на широчайшие паспарту, вставил в безвкусные рамки фальшивого золота и заявил, что это портреты его родителей. На паспарту, кроме того, с обратной стороны он незаметно приклеил два рисунка Дега.

— Ловко, — повторил я.

— В апреле у него случился сердечный приступ. Он передал мне свой паспорт, оставшиеся марки, рисунки,

а также адреса людей, покупающих марки. Когда я на следующее утро пришел к нему, он лежал в кровати мертвый, неузнаваемый. Я взял деньги, которые у него еще оставались, костюм, немного белья. Он сам накануне велел мне сделать это, если умрет, пусть лучше все попадет товарищу по несчастью, чем хозяину.

— Вы кое-что изменили в паспорте? — спросил я.

— Только фото и год рождения. Шварц был на двадцать пять лет старше. Звали его так же, как и меня.

— Кто вам это сделал? Брюннер?

— Какой-то человек из Мюнхена.

— Это Брюннер. Специалист по паспортам.

Брюннера хорошо знали эмигранты. Он был мастером исправлений в паспортах, многим помог, но у самого, когда его схватили, не оказалось никакого документа. Его погубила суеверная мысль. Он хотел быть честным благодетелем для других и верил, что пока он не делает ничего для себя, с ним ничего не случится. До эмиграции у него была небольшая типография в Мюнхене.

— Где он теперь? — спросил я.

— Разве не в Лиссабоне?

Этого я не знал. Впрочем, может быть, он и здесь, если еще жив.

— Я почувствовал себя как-то странно, когда у меня оказался паспорт, — сказал Шварц номер два. — Я не решался им пользоваться, пока не привык к своей новой фамилии. Я твердил ее все время. Бродил по Елисейским полям и без конца повторял слово «Шварц» и новую дату моего рождения. Я сидел в музее перед картинами Ренуара и — если был один — вел шепотом воображаемый диалог; резким голосом: «Шварц!» И тут же, вскакивая, быстро отвечал: «Здесь!» Или же бурчал: «Фамилия!» — и вслед за этим автоматически выпаливал: «Иосиф Шварц. Место рождения — Винер Нейштадт, 22 июня 1898 года». Даже вечером, прежде чем заснуть, я тренировал себя. Я боялся, что если какой-нибудь полицейский ночью вдруг разбудит меня, я могу в полусне сказать не то, что надо. Я хотел забыть свою старую фамилию. Оказалось, что это далеко не одно и то же — совсем не иметь паспорта или жить под чужим именем. Чужой паспорт казался опаснее.

Вскоре я продал оба рисунка Энгра. Мне дали за них меньше, чем я ожидал. И все-таки у меня вдруг оказались деньги, каких я давно уже не держал в руках.

Потом, как-то ночью, мне пришла в голову одна мысль, от которой я уже не мог освободиться. А нельзя ли мне поехать с этим паспортом в Германию? Ведь он настоящий. И неужели каждый на границе возбуждает подозрение? Я мог бы повидать жену. Мог бы избавиться от опасений за ее судьбу. Мог бы...

Шварц посмотрел на меня.

— Вы ведь все это, наверно, знаете. Эмигрантский колер в чистой форме. Спазмы в желудке, в горле, зуд в глазах. То, что на протяжении пяти лет ты затапывал в землю, что пытался забыть, чего боялся, как чумы, снова подымалось: смертельные воспоминания, неизлечимый рак души любого эмигранта.

Я попытался освободиться от холеры, по-прежнему уходил к картинам мира и тишины, к Сислею, Писсарро и Ренуару, часами сидел в музее, но теперь все это действовало на меня совсем иначе. Картины больше не успокаивали. Наоборот, они звали, вопили, напоминали о стране, еще не опустошенной коричневой проказой, о вечерах в тихих переулках, где над стенами свешиваются гроздья сирени, о сумерках в старом городе, о зеленых колокольнях церквей с реющими вокруг ласточками и — о моей жене.

Я обычный человек, лишенный каких-нибудь особых качеств. Я прожил с женой четыре года, как живут многие: без ссор, приятно, но и без больших страстей. После первых месяцев у нас началось то, что называют счастливым браком: отношения двух людей, решивших, что уважение друг к другу — основа совместного уютного бытия. Мы не тосковали по несбыточным снам. Так, по крайней мере, казалось мне. Мы были разумные люди и сердечно любили друг друга.

Теперь же все сдвинулось. Я обвинял себя в том, что устроил такой ординарный брак и все просмотрел. Зачем я жил? Что я делаю теперь? Уполз в нору и жую жвачку. Долго ли еще это будет тянуться и чем кончится? Наступит война, за ней победа Германии — единственной страны, вооруженной до зубов. Что будет тогда со мной? Куда ползти, чтобы спасти жизнь? В каком лагере придется умирать от голода? У какой стены — если я окажусь настолько счастливым — меня убьют выстрелом в затылок?

Вот так паспорт, который должен был меня успокоить, приводил меня в отчаяние. Я бегал по улицам, чуть не падая от усталости, не мог спать, а если засыпал, просыпался от снов. Я видел жену в камере гестапо; я слышал ее крики о помощи с заднего двора гостиницы; однажды,

войдя в «Кафе де ла Роз», увидел ее лицо в зеркале, наискось висевшем напротив двери. Она бегло посмотрела на меня — бледная, с печальными глазами — и тут же исчезла. Это было так явственно, что я подумал: она здесь — и быстро кинулся в другой зал. Зал, как всегда, был полон, но ее не было.

Это превратилось в навязчивую идею; меня не оставляла мысль о том, что она тоже эмигрировала и теперь разыскивает меня. Сотни раз я видел, как она заворачивала за угол или сидела на скамейке в Люксембургском саду, но когда я подходил, ко мне поднималось чужое удивленное лицо. Однажды она пересекала площадь Со-гласия — как раз перед тем, как гудящий поток машин сорвался с места, — и уже на этот раз в самом деле была она! Ее походка, ее манера держать плечи! Я даже узнал ее платье. Однако, когда полицейский, наконец, остановил лавину автомобилей и я смог броситься вслед, оказалось, что она исчезла, ее поглотило зияющее отверстие подземки¹.

Когда я, наконец, добрался до перрона, то увидел только издевательское мигание красных хвостовых огней отошедшего поезда.

Я рассказал о своих мучениях одному знакомому. Его звали Лезер, он торговал чулками, а раньше врачевал в Бреслау. Он посоветовал мне избегать одиночества.

— Заведите себе женщину, — сказал он.

Это не помогло. Вы знаете отношения, продиктованные необходимостью, одиночеством, страхом. Бегство к маленькому теплу, к чужому голосу, телу, и пробуждение — словно от падения — в каком-нибудь жалком помещении, и чувство чужой страны, и безутешная благодарность дыханию, что слышится рядом. Но разве все это может сравниться с бешенством фантазии, которая сушит кровь и заставляет человека просыпаться по утрам с горьким ощущением загубленной жизни?

Я рассказываю теперь и вижу, что это выглядит бессмысленным и противоречивым. Тогда было не так. После всех метаний оставалось одно, непреложное: я должен вернуться. Я должен еще раз увидеть жену. Может быть, она уже давно живет с другим. Все равно. Я должен ее увидеть. Слухи о войне усиливались. Все увидели, что Гитлер сразу же нарушил обещание занять только Суде-

¹ Большинство парижских станций метро не имеет надземных строений.

ты, а не всю Чехословакию. Теперь то же самое началось с Польшей. Война надвигалась. Союз Польши с Англией и Францией делал ее неизбежной. Только теперь это уже было вопросом не месяцев, а недель. И для моей жизни — тоже. Я должен был решиться. И я сделал это. Я собрался ехать в Германию. Что будет потом, я не знал. Я был готов на все. Если начнется война, думал я, то все равно пропадать. Я будто сошел с ума.

В конце концов мной овладело какое-то странное веселье. Стоял май. Клумбы на Круглой площади покрылись пестрым ковром цветущих тюльпанов. Ранние вечера уже расстилали серебристый импрессионистский покров, фиолетовые тени и светло-зеленое небо над холодным светом первых уличных фонарей, над бегущими красными линиями световых газет на зданиях редакций, которые грозили войной каждому, кто их читал.

Сначала я поехал в Швейцарию. Я хотел проверить свой паспорт на безопасной почве, чтобы окончательно уверовать в него. Французский таможенник вернул его мне с равнодушным видом. Я этого и ожидал: выезд затруднен только из стран с диктаторскими режимами. Все же, когда ко мне подошел швейцарский чиновник, я почувствовал, как во мне что-то сжалось. Правда, я сидел со спокойным видом, но в то же время мне показалось, будто внутри у меня неслышно затрепетали края легких — так иногда во время затишья на дереве вдруг быстро затрепещет какой-нибудь листочек.

Чиновник взглянул на паспорт. Высокий, широкоплечий. От него пахло табаком. Стоя в купе, он заслонил окно, и на мгновение у меня замерло сердце. Мне показалось, что он отрезал от меня небо и свободу и купе уже превратилось в тюремную камеру.

— Вы забыли поставить печать, — быстро сказал я, испытывая облегчение.

— Пожалуйста. Для вас это так важно?

— Нет. Просто своего рода сувенир.

Он поставил на паспорте печать и ушел. Я закусил губу. Каким я стал нервным! Потом мне пришло в голову, что паспорт с печатью выглядит убедительнее.

В Швейцарии я целый день провел в размышлении, не поехать ли мне в Германию поездом. Но у меня не хватило мужества. Я еще не знал, как относятся к выходцам из бывшей Австрии и не подвергают ли возвращающихся на родину особой проверке. Наверно, ничего особенного не было. Но все же я решил перейти границу нелегально.

В Цюрихе я, как обычно, прежде всего отправился на почтаamt. Там, большей частью у окошечка корреспонденции до востребования, встречались знакомые эмигранты, у которых можно было узнать новости. Оттуда я пошел в кафе «Кондор», отдаленно похожее на «Кафе де ла Роз» в Париже. Я видел многих, перешедших границу, но никто из них не знал мест перехода в Германию. Это было естественно; все шли оттуда. Кто, кроме меня, хотел перебраться туда? Я видел, какие взгляды бросали на меня. Когда заметили, что я настроен серьезно, меня стали чуждаться. Ведь тот, кто хотел вернуться, мог быть только перебежчиком, сторонником нацистов. Что можно было ждать от того, кто собирался туда? Кого он выдаст? Что предаст?

Я вдруг очутился в одиночестве. Меня сторонились, как сторонятся убийцы. И я ничего не мог объяснить. Меня самого иногда бросало в жар при мысли о том, что мне предстояло. Как же тут объяснить другим то, чего я не понимал сам?

На третий день, утром, в шесть часов, ко мне явились полицейские, подняли с постели и тщательно допросили. Я тотчас же сообразил, что на меня донес кто-нибудь из знакомых. Я предъявил паспорт, который вызвал явное недоверие. Меня повели в полицию. К счастью, на паспорте стояла печать швейцарской таможни. Я мог доказать, что въехал совершенно легально и находился в стране только три дня.

Я хорошо помню то раннее утро, когда я с полицейскими шел по улицам. Начинался ясный день. Башни, крыши города резко вырисовывались на фоне неба, будто вырезанные из металла. Из булочной пахло теплым хлебом, и казалось, вся прелесть мира слилась в этом запахе. Вам это знакомо?

Я утвердительно кивнул.

— Никогда мир не кажется таким прекрасным, как в то мгновение, когда вы прощаетесь с ним, когда вас лишают свободы. Если бы можно было ощущать мир таким всегда! Но на это, видно, у нас не хватает времени. И покоя. Но разве мы не теряем каждое мгновение то, что думаем удерживать, только потому, что оно постоянно в движении? И не останавливается ли оно лишь тогда, когда его уже нет и когда оно уже не может измениться? Не принадлежит ли оно нам только тогда?

Его взор был неподвижно устремлен на меня. Только теперь я смог рассмотреть его глаза. Зрачки были расширены. «Наверно, фанатик или сумасшедший», — неожиданно подумал я.

— Я никогда не чувствовал такого,— сказал я.— Но разве каждый не хочет удержать то, что удержать невозможно?

Женщина в вечернем платье за соседним столиком встала. Она взглянула вниз на город и на гавань.

— Почему нам нужно ехать? — сказала она своему спутнику в белом смокинге.— Разве нельзя остаться? У меня нет никакого желания возвращаться в Америку.

II

— В Цюрихе полиция продержала меня только один день,— продолжал Шварц,— но он оказался очень тяжелым. Я боялся, что начнут проверять мой паспорт. Им достаточно было вызвать по телефону Вену. Да и подделку легко мог обнаружить любой эксперт.

К концу дня я успокоился. Будь что будет. Все равно уже нельзя ничего изменить. Если посадят, значит, так угодно судьбе и с попыткой пробраться в Германию покончено. Вечером меня, однако, выпустили и настойчиво посоветовали покинуть Швейцарию.

Я решил идти через Австрию. Границу там я немного знал, и она, конечно, охранялась не так, как немецкая. И почему вообще они должны были охраняться зорко? Неужели кто-нибудь еще хотел туда? Правда, многие, наверно, желали выбраться оттуда.

Я поехал в Оберит, чтобы попробовать перейти где-нибудь там. Лучше всего, конечно, было бы сделать это в дождь, но дни стояли ясные.

Прошло два дня. На третью ночь я решился. Я не мог медлить, опасаясь привлечь внимание.

Ночь была звездная и тихая. Мне казалось, я слышу слабый шелест растущей травы. Вы знаете, как в минуту опасности меняется зрение, оно становится другим, не таким собранным и острым, но более широким. Будто видишь не только глазами, но и кожей, особенно ночью. Видишь даже шорохи. Все тело становится чутким, оно слышит. И когда замираешь с приоткрытым ртом, кажется, что и рот тоже слушает и всматривается в темноту.

Я никогда не забуду эту ночь. Нервы были напряжены до предела, но страха не было. Мне казалось, будто я иду по высокому мосту от одного конца жизни к другому. Я знал, что мост этот позади меня тает, превращаясь в серебристый дым, и что вернуться назад невозможно. Я уходил от разума и шел к чувству, от безопасности к авантю-

ре, из реальности в мечту. Я был один. Но на этот раз одиночество не было мучительным. Оно было окружено великой тайной.

Я подошел к Рейну, который в этих местах еще молод и не очень широк. Я разделся и связал свои вещи в узел, чтобы держать их над головой. Странное чувство охватило меня, когда я вошел в воду. Она была черная, холодная, чужая, будто я погрузился в волны Леты, чтобы испытать забвения. И то, что я был раздет, тоже казалось символом, словно я заранее все оставлял позади.

Я вышел на другой берег, вытерся, оделся и пошел дальше. Проходя мимо какой-то деревни, я услышал лай собаки. Я не знал точно, где здесь проходит граница, и поэтому шел, хоронясь, по краю дороги. Она вела через рощу. Никто не попадался мне навстречу. Я шел всю ночь. Выпала обильная роса. На опушке леса я вдруг увидел косяку. Она стояла неподвижно.

Я все шел и шел и наконец услышал стук колес крестьянских телег. Я отошел от дороги и спрятался. Мне не хотелось возбуждать подозрение тем, что я так рано оказался на дороге вблизи границы. Потом я увидел, как мимо на велосипедах проехали два таможенника. Я узнал австрийскую форму. Я был в Австрии. В то время Австрия уже год находилась в составе Германии...

Женщина в вечернем платье и ее спутник покинули террасу. У нее были загорелые плечи, она была выше своего кавалера. Еще пара туристов медленно сошла вниз по лестнице. Все они шли походкой людей, за которыми никто никогда не охотился. Они ни разу не обернулись.

— У меня были с собой бутерброды,— продолжал Шварц.— Я нашел ручей, поел и напился. В полдень двинулся дальше к местечку Фельдкирх. Я знал, что летом туда приезжают отдыхающие, и думал затеряться среди них. Там останавливались поезда. Я довольно быстро добрался до Фельдкирх. Мне повезло — с первым же поездом я уехал от границы, стремясь поскорее выбраться из опасной зоны.

Войдя в купе, я увидел двух штурмовиков. Только тут я понял, что моя тренировка в поведении с полицией других стран Европы не прошла даром, иначе я, пожалуй, спрыгнул бы с поезда. Я вошел и сел в углу рядом с человеком в куртке из непромокаемой ткани. В руках он держал ружье.

Впервые после пяти лет я столкнулся с тем, что вызывало у меня отвращение. В прошедшие недели я часто ста-

рался представить себе, как это произойдет. Но на деле все вышло иначе. Теперь уже реагировала не голова, а тело. Мне показалось, будто желудок у меня окаменел, а язык превратился в рашпиль.

Охотник и оба штурмовика вели разговор о какой-то вдовушке Пфунднер. Видно, это была веселая особа, потому что все трое перечисляли ее любовников и хохотали. Потом они достали ветчину и принялись есть.

— А вы, сосед, куда едете? — спросил меня охотник.

— Обратно в Брегенц, — ответил я.

— Вы, видно, не здешний?

— Да, я приехал в отпуск.

— А откуда вы будете?

Я секунду помедлил. Если сказать, что я из Вены — то, что указано у меня в паспорте, — могут, пожалуй, заметить, что у меня совсем не венский выговор.

— Из Ганновера, — сказал я. — Живу там уже больше тридцати лет.

— Из Ганновера? Однако далеко забрались!

— Не близко. Но ведь во время отпуска не хочется сидеть дома.

Охотник засмеялся.

— Точно. И вы как раз застали здесь хорошую погоду!

Я почувствовал, что обливаюсь потом. Рубашка липла к телу.

— Да, — сказал я. — Жара, как в середине лета.

Трое опять принялись перебивать косточки мадам Пфунднер. Через несколько остановок они вышли.

Поезд теперь шел по красивейшим местам Европы, но я почти ничего не видел. Меня вдруг охватили раскаяние и страх. Я был в отчаянии. Я просто не понимал, как я мог отважиться перейти границу. Не шевелясь, сидел я в углу и смотрел в окно. Я сам захлопнул за собой ловушку. Несколько раз я порывался сойти, вернуться назад, чтобы в следующую же ночь попытаться перейти границу и снова оказаться в Швейцарии.

Левую руку я держал в кармане, сжимая паспорт мертвого Шварца, словно он мог придать мне сил. Я говорил себе, что теперь уже все равно, сколько времени я провел вблизи границы, и что самое лучшее — оказаться как можно дальше внутри страны. Я решил всю ночь провести в вагоне. В поездах меньше интересуются документами, чем в гостинице.

В панике человеку кажется, что на него направлены все прожекторы и весь мир только тем и живет, чтобы найти

его. Все клетки тела словно хотят рассыпаться, ноги ходят ходуном и чувствуют себя самостоятельными, руки помышляют только о схватке, и даже губы, дрожа, еле удерживают бессвязный крик.

Я закрыл глаза. Соблазн поддаться панике усиливался еще оттого, что я был в купе один. Но я знал, что каждый сантиметр, который я уступаю сейчас чувству страха, превратится в метры, если я действительно окажусь в опасности. Я убеждал себя, что меня пока никто не ищет, что для властей я представляю такой же интерес, как куча песка в пустыне, что я никому еще не показался подозрительным. Конечно, все это было просто удачей. Я почти не отличался от людей вокруг. Белокурый ариец — это вообще нацистская легенда, не имеющая ничего общего с фактами. Посмотрите только на Гитлера, Геббельса, Гесса и на других членов правительства — ведь они сами являются опровержением их собственных иллюзий.

Впервые я вышел из-под покровительства железных дорог и вокзалов в Мюнхене. Я просто заставил себя часок побродить по улицам. Города я не знал и потому был спокоен — тут меня никто не мог узнать.

Я зашел в пивную францисканцев. Зал был полон. Я присел к столику. Через пару минут рядом опустился толстый, потный человек. Он заказал кружку пива, бифштекс и принялся читать газету.

Только тут я опять ознакомился с немецкими газетами. Уже несколько лет я не читал на родном языке и сразу не мог привыкнуть к тому, что вокруг меня все говорят по-немецки.

Передовые газет были ужасны — лживые, кровожадные, заносчивые. Весь мир за пределами Германии изображался дегенеративным, глупым, коварным. Выходило, что миру ничего другого не остается, как быть завоеванным Германией. Обе газеты, что я купил, были когда-то уважаемыми изданиями с хорошей репутацией. Теперь изменилось не только содержание. Изменился и стиль. Он стал совершенно невозможным.

Я принялся наблюдать за человеком, сидящим рядом со мной. Он ел, пил и с удовольствием поглощал содержание газет. Многие в пивной тоже читали газеты, и никто не проявлял ни малейших признаков отвращения. Это была их ежедневная духовная пища, привычная, как пиво.

Я продолжал читать. Среди мелких сообщений мне бросилось в глаза одно, касавшееся Оснабрюка. Оказывается, на Лоттерштрассе сгорел дом. Я сразу представил эту ули-

ду. Если миновать городской вал и пройти к воротам Хегертор, начинается Лоттерштрассе, которая ведет из города. Я сложил газету. В эту минуту я вдруг почувствовал себя более одиноком, чем когда-либо раньше, вне Германии.

Медленно привыкал я к постоянной смене шока и апатии. Я уверял себя, что нахожусь теперь в большей безопасности. Однако я понимал, что угроза сразу возрастет, как только я окажусь вблизи Оснабрюка. Там были люди, которые знали меня.

Я купил себе чемодан, немного белья и разную мелочь, необходимую в дороге, чтобы не возбуждать любопытства в гостиницах. Я еще не знал, как мне удастся увидеться с женой, и каждый час менял свои планы. Надо было положиться на случай. Ведь я даже не знал, не примирилась ли она теперь со своими родными, которые были ярыми сторонниками существующего режима. Может быть, она вышла замуж за другого. Начитавшись газет, я упал духом. Много ли надо, чтобы поверить во все это, если читаешь одно и то же каждый день! А сравнивать было не с чем: иностранные газеты в Германии были под строгой цензурой.

В Мюнстере я остановился в гостинице среднего пошиба. Не мог же я все ночи бодрствовать и отсыпаться днем на скамейках. Рано или поздно пришлось бы рискнуть и отдать в каком-нибудь немецком отеле паспорт для прописки. Вы знаете Мюнстер?

— Немного,— ответил я.— Это не тот ли город с множеством церквей, где был заключен Вестфальский мир? Шварц кивнул.

— В Мюнстере и Оснабрюке, после Тридцатилетней войны. Кто знает, сколько продлится нынешняя!

— Если пойдет и дальше так, то недолго. Немцам потребовалось четыре недели, чтобы завоевать Францию.

Подошел кельнер и объявил, что ресторан закрывается. Все посетители, кроме нас, ушли.

— Нет ли поблизости какого-нибудь другого заведения, которое еще открыто? — спросил Шварц.

Кельнер сказал, что в Лиссабоне нет широкой ночной жизни. Когда Шварц дал ему чаевые, он вспомнил, что есть одно заведение для избранных, русский ночной клуб.

— Очень эlegantный,— добавил он.

— Нас пустят туда? — спросил я.

— Конечно. Я просто хотел сказать, что там есть эlegantные женщины. Всех наций. Немки тоже.

— Долго ли бывает открыт клуб?

— Пока есть посетители. Теперь он всегда полон. Есть и немцы. Довольно много.

— Какие немцы?

— Просто немцы.

— С деньгами?

— Конечно, с деньгами.— Кельнер засмеялся.— Ведь клуб не из дешевых. Но очень веселый. Скажите, что послал Мануэль, и вас больше ни о чем не спросят.

— А разве вообще нужно о чем-нибудь говорить?

— Да ничего! Просто портье запишет какое-нибудь вымышленное имя, и вы станете членами клуба. Пустая формальность.

— Хорошо.

Шварц заплатил по счету.

Мы шли по улице с лестницами, которые вели вниз. Палевые дома спали, прислонившись друг к другу. Из окон доносились вздохи, храп, дыхание людей, не знавших никаких забот о паспортах. Шаги отдавались яснее, чем днем.

— Электрический свет,— сказал Шварц.— Он вас тоже ошеломляет?

— Да. Трудно отвыкнуть от затемненной Европы. Все время думаешь, что кто-то забыл повернуть выключатель и что вот-вот начнется воздушный налет.

Шварц остановился.

— Мы получили огонь в дар потому, что в нас было что-то от бога,— сказал он вдруг с силой.— И теперь мы прячем его, потому что убиваем в себе эту частицу бога.

— Насколько я помню, огонь не был подарен нам. Его украд Прометей,— возразил я.— За это боги наградили его неизлечимым циррозом печени. Мне кажется, это больше отвечает нашему характеру.

Шварц посмотрел на меня.

— Я уже давно не могу иронизировать,— сказал он.— И испытывать страх перед громкими словами. Когда человек иронизирует и боится, он стремится принизить вещи.

— Может быть,— согласился я.— Но разве так уж необходимо, став перед несбыточным, повторять про себя: оно невозможно? Не лучше ли постараться преуменьшить его и тем самым оставить луч надежды?

— Вы правы. Простите меня, я забыл, что у вас впереди дорога. Разве тут есть время думать о пропорциях вещей!

— А вы никуда не едете?

Шварц покачал головой:

— Теперь уже нет. Я возвращаюсь обратно.

— Куда? — спросил я удивленно.

Я не мог поверить, что он опять возвращается в Германию.

— Назад, — сказал он. — Потом объясню.

III

Ночной клуб оказался типичным русским эмигрантским увеселительным заведением, каких после революции 1917 года множество возникло по всей Европе — от Берлина до Лиссабона. Те же аристократы в качестве кельнеров, те же хоры из бывших гвардейских офицеров, такие же высокие цены и та же меланхолия.

Как я и ожидал, там горели такие же, как и везде, матовые лампы. Немцы, о которых говорил кельнер, конечно, не принадлежали к числу эмигрантов. Скорее всего, шпионы, сотрудники германского посольства или представители немецких фирм.

— Русские успели устроиться лучше, чем мы, — сказал Шварц. — Правда, они попали в эмиграцию на пятнадцать лет раньше нас. А пятнадцать лет несчастья — это кое-что значит. Можно набраться опыта.

— Это была первая волна эмиграции, — сказал я. — Им еще сочувствовали, давали разрешение на работу, снабжали бумагами, нансеновскими паспортами. Когда появились мы, сострадание мира было уже давно исчерпано. Мы были назойливы, как термиты, и не нашлось уже никого, кто поднял бы за нас голос. Мы не имели права работать, существовать и к тому же не имели документов.

Очутившись здесь, я почувствовал себя не в своей тарелке. Причина заключалась, может быть, в том, что помещение было закрытым, а на окнах висели портьеры. Ко всему тут было много немцев, и я сидел слишком далеко от дверей, чтобы ускользнуть, если понадобится. У меня уже давно выработалась привычка всегда устраиваться возле выхода.

Я нервничал еще и потому, что больше не видел корабля. Кто знает, может быть, он еще ночью поднимет якоря и уйдет раньше, чем указано, получив какое-нибудь предупреждение.

Шварц, казалось, почувствовал мое беспокойство. Он достал оба билета и подал их мне.

— Возьмите. Я не работоровец. Возьмите их и, если хотите, уходите.

Я смущенно посмотрел на него.

— Вы не так поняли. У меня есть время. Все время мира.

Шварц не ответил. Он ждал. Я взял билеты и спрятал.

— Я сел в поезд, который прибывал в Оснабрюк ранним вечером,— продолжал Шварц, словно ничего не случилось.— Мне вдруг показалось, что только теперь я перexoжу границу. До этого была просто Германия. Теперь же со мной заговорило каждое дерево. Я узнавал деревни, мимо которых шел поезд. Некогда, еще школьником, я с товарищами бродил по этим местам. Здесь я был с Еленой в первые недели нашего знакомства. Я любил все, что лежало вокруг, как любил сам город, его дома и сады.

Раньше чувство отращения и тоски сливалось во мне в какую-то тяжелую, давящую глыбу. Я словно окаменел. Все, что произошло, парализовало чувства и мысли. Я даже не испытывал потребности анализировать прошлое. Я боялся этого.

Теперь же заговорили вещи, которые стали частью ненавистного целого, хотя не имели к нему никакого отношения.

Окрестности города не изменились. Все так же в сиянии спускающегося вечера стояли церковные колокольни, покрытые мягким зеленоватым налетом старины. Как всегда, река отражала небо. Она сразу напомнила мне о тех временах, когда я ловил здесь рыбу и грезил о приключениях в далеких странах. Мне пришлось их потом пережить, но совершенно иначе, чем я некогда себе представлял. И луга с бабочками и стрекозами, и склоны холмов с деревьями и полевыми цветами остались такими же. И юность моя лежала там погребенная, или — если хотите — увековеченная.

Я смотрел в окно поезда. Людей попадалось мало, а военных совсем не было видно. Вечер медленно затоплял окрестные холмы. В крошечных садах путевых обходчиков цвели розы, лилии и георгины. Они были такими же, как всегда,— чума не уничтожила их. Они выглядели изза деревянных заборчиков так же, как во Франции. На лугах паслись коровы — так же, как они пасутся на швейцарских лугах,— черные, белые, без знака свастикки, с такими же кроткими глазами, как всегда. Я увидел анста на крыше крестьянского домика, он деловито щелкал клювом. И ласточки летали вокруг, как они летают везде. Только люди стали другими, я знал это.

Они вовсе не были перекроены на один лад, как я представлял раньше. В купе входили, выходили и снова заходили люди. Чиновников было мало. Все больше простой

люди — с обычными разговорами, которые я слышал и во Франции, и в Швейцарии: о погоде, об урожае, о повседневных делах, о страхе перед войной.

Они все боялись ее, но, в то время как в других странах знали, что войны хочет Германия, здесь говорили о том, что войну навязывают Германии другие. Как всегда перед катастрофой, все желало мира и говорили только об этом.

Поезд остановился. Вместе с толпой пассажиров я покинул перрон. Вокзал не изменился, только показался мне меньше, запущеннее, чем прежде.

Когда я вышел на привокзальную площадь, все, о чем я думал до сих пор, отлетело. Сгустились сумерки, было сыро, как после дождя. Я будто ослеп, и все во мне дрожало. Я знал, что теперь начиналось самое опасное, и в то же время был странно уверен, что со мной ничего не случится. Я шел словно под стеклянным колпаком. Он защищал меня, но мог разлететься вдребезги в следующее же мгновение.

Я вернулся в зал и купил обратный билет до Мюнстера. Жить в Оснабрюке я не мог. Это было слишком опасно.

— Когда уходит последний поезд в Мюнстер? — спросил я кассира, который восседал за своим окошечком, самоуверенный и неуязвимый, точно маленький Будда. Лысины его блестели в желтом свете электрических ламп.

— Один — в двадцать два часа двадцать минут, другой — в двадцать три двенадцать.

Потом в автомате я взял перронный билет на случай, если вдруг понадобится быстро исчезнуть. Конечно, на платформах притаиться трудно, но зато в Оснабрюке их три, можно выбрать любую, если надо быстро вскочить в отходящий поезд, а кондуктору просто сказать, что ошибся, уплатить штраф и сойти на следующей остановке.

Я, наконец, решил позвонить старому другу, который не был сторонником режима. По телефону я бы узнал, может ли он мне помочь. Позвонить прямо жене я не осмелился, не зная, одна она или нет.

Я стоял в стеклянной телефонной кабине, держал в руках справочник и смотрел на аппарат. Я перелистывал грязные, засаленные страницы с номерами телефонов, а сердце у меня так колотилось, что, казалось, слышался его стук. Я все ниже наклонял лицо, чтобы нельзя было узнать меня.

Машинально я открыл страницу с моей прежней фамилией и увидел телефон жены. Номер остался тот же, но адрес был другой. Площадь Рисмюллерплац теперь называлась Гитлерплац.

Когда я увидел адрес, мне показалось, что мутная лампочка в кабине вспыхнула в тысячу раз ярче. Я даже оглянулся — так сильно было ощущение, будто я стою посреди глубокой ночи в ярко освещенном ящике или будто на меня направили луч прожектора. И опять безумие моей затеи пронизало меня и наполнило ужасом.

Я вышел из кабины и прошел через полутемный зал. На стенах висели плакаты «Силы и радости»¹ и рекламы немецких курортов. С ярко-синего неба угрожающе смотрели улыбающиеся, жизнерадостные субъекты.

Подошло два поезда. Поток пассажиров ринулся вверх по лестницам. Человек в форме войск СС отделился от толпы и направился ко мне.

Я не бросился бежать. Может быть, он имел в виду все не меня? Однако он остановился рядом.

— Простите, можно у вас прикурить? — спросил он.

— Прикурить? — переспросил я и быстро выпалил: — Да, да, конечно! Вот спички!

Я полез в карман.

— Зачем? Ведь у вас горит сигарета! — Эсэсовец удивленно посмотрел на меня.

Я только теперь вспомнил, что курю, вынул изо рта сигарету и протянул ему. Он приложил свою и затянулся.

— Что это вы такое курите? — спросил он с любопытством. — Пахнет, как первоклассная сигара

Это была французская сигарета. Я захватил с собой несколько пачек, переходя границу.

— Подарок приятеля, — сказал я. — Французский табак. Привез из-за границы. Мне он кажется слишком крепким.

Эсэсовец засмеялся.

— Лучше всего, конечно, совсем бросить курить, как фюрер, а? Но кому это под силу, особенно в такие времена?

Он поклонился и ушел.

Шварц слабо усмехнулся.

— Когда я еще был человеком, который имел право ходить, куда ему заблагорассудится, я часто впадал в сомнение, читая в книгах описание ужаса. Там говорилось, что у жертвы останавливалось сердце, что человек врастал в землю, как столб, что по жилам его пробегала ледяная струя и он обливался потом. Я считал это просто плохим стилем. Теперь я знаю, что все это правда.

Подошел кельнер.

¹ Фашистская спортивная организация.

— Могу предложить господам общество.

— Не надо.

Он наклонился ниже:

— Прежде чем отказываться совсем, может быть, вы взглянете на двух дам возле стойки?

Я посмотрел на них. Одна показалась довольно элегантною. Обе были в вечерних платьях. Лиц я не мог рассмотреть.

— Нет,— сказал я еще раз.

— Это вполне приличные дамы,— сказал кельнер.— Та, что справа, немка.

— Она вас прислала к нам?

— Нет, что вы,— возразил кельнер с занскивающей улыбкой.— Это моя собственная идея.

— Хорошо. Предадим ее забвению. Принесите нам лучше чего-нибудь поесть.

— Что он хотел? — спросил Шварц.

— Сосватать нам внучку Мата Хари¹. Вы, наверно, дали ему слишком много на чай.

— Я совсем еще не платил. Вам кажется, что это шпионки?

— Наверно. Правда, на службе у самой могущественной международной организации — денег.

— Немки?

— Одна из них, по словам кельнера.

— Вы думаете, что она здесь для того, чтобы заманивать немцев?

— Едва ли. По части похищения людей сейчас используют русских эмигрантов.

Кельнер принес тарелку с бутербродами. Я заказал закуску, потому что почувствовал опьянение, а мне хотелось оставаться совершенно трезвым.

— Вы не будете есть? — спросил я Шварца.

Он с отсутствующим видом покачал головой.

— Я совсем не думал, что меня могут выдать сигареты,— сказал он.— И еще раз проверил все, что со мной было. Спички из Франции я выбросил вместе с остатками сигарет и купил себе немецкие. Потом я подумал, что у меня в паспорте стояла французская виза и штамп о выезде во Францию,— все это могло объяснить наличие французских сигарет, если бы меня принялись обыскивать. Весь мокрый от пота, я вернулся к телефонной будке.

¹ Мата Хари — немецкая разведчица эпохи первой мировой войны, расстреляна в 1917 году по приговору французского суда.

Пришлось подождать. Дама с большим фашистским значком набирала один за другим номера и выкрикивала какие-то приказания. Потом она выскочила из кабины.

Я набрал номер моего друга. Ответил женский голос.

— Попросите, пожалуйста, Мартенса,— сказал я, заметив, что голос у меня сел.

— Кто просит? — спросила женщина.

— Друг доктора Мартенса.

Я не знал, кто это: жена доктора или горничная,— никому из них я довериться не мог.

— Как ваша фамилия? — последовал вопрос.

— Я друг доктора Мартенса,— повторил я.— Пожалуйста, позвоните его. Доктор Мартенс ждет моего звонка.

— В таком случае вы могли бы сказать мне свое имя..

Я в отчаянии молчал. На другом конце провода положили трубку.

Я стоял на сером пыльном вокзале. Дули сквозняки. Первая попытка не удалась, и я не знал, что предпринять дальше. Прямо позвонить Елене было рискованно — меня мог узнать по голосу кто-нибудь из ее семьи. Можно было позвонить еще кому-нибудь — но кому? Кроме доктора Мартенса, никого другого я не мог вспомнить

Потом меня осенила идея, которая сразу пришла бы в голову даже десятилетнему мальчишке. Почему я не назвался братом моей жены? Мартенс прекрасно знал и не переносил его.

Я позвонил опять, и мне ответил тот же женский голос.

— Говорит Георг Юргенс,— резко сказал я,— пригласите, пожалуйста, доктора Мартенса.

— Это вы звонили только что?

— Говорит штурмбаннфюрер Юргенс. Я хотел бы поговорить с доктором Мартенсом. Немедленно!

— Да, да,— ответила женщина.— Минуточку, сейчас! Шварц посмотрел на меня.

— Знаете ли вы этот ужасный тихий шелест в трубке, когда вы у телефона ждете: жить или умереть?

Я кивнул.

— Знаю. Так иногда заклинаят судьбу, чтобы она была милостивее.

— Доктор Мартенс у телефона,— услышал я наконец. Опять меня охватил страх. В горле пересохло.

— Рудольф,— произнес я еле слышно.

— Простите, как вы сказали?

— Рудольф,— сказал я,— говорит родственник Елены Юргенс.

— Я ничего не понимаю. Разве это не штурмбаннфюрер Юргенс?

— За него говорю я, Рудольф. Говорю о Елене Юргенс. Теперь ты понимаешь?

— Теперь я окончательно ничего не понимаю,— сказал он с раздражением.— У меня сейчас прием больных...

— Могу я прийти к тебе во время приема, Рудольф? Ты очень занят?

— Простите, пожалуйста. Я вас не знаю, а вы...

— Громовая Рука, это ты, старина?

Наконец-то я догадался употребить одно из тех имен, которыми мы называли друг друга в детстве, играя в индейцев. Это были фантастические прозвища из романов Карла Мая¹. Мы с наслаждением поглощали их, когда были подростками.

Секунду трубка молчала. Потом Мартенс тихо сказал:

— Что?

— Говорит Виннету,— отозвался я.— Неужели ты забыл старые имена? Ведь это из любимых книг фюрера.

— Да, да,— согласился Мартенс.

Всем было известно, что человек, развязавший вторую мировую войну, хранил у себя в спальне тридцать или больше томов приключенческих романов об индейцах, ковбоях, охотниках. Эти вещи навсегда остались для него излюбленным чтивом.

— Виннету? — недоверчиво повторил Мартенс.

— Да. Мне нужно тебя видеть.

— Я не понимаю. Где вы?

— Здесь. В Оснабрюке. Где мы можем встретиться?

— У меня сейчас прием больных,— машинально повторил Мартенс.

— Я болен. Я могу прийти во время приема?

— И все же я ничего не понимаю,— повторил Мартенс.

На этот раз в его голосе я почувствовал решимость.— Если вы больны, приходите, пожалуйста, на прием. К чему этот спешный вызов по телефону?

— Когда?

— Лучше всего в половине восьмого. В половине восьмого,— повторил он,— не раньше...

— Хорошо. В половине восьмого.

Я положил трубку. Я снова был весь мокрый от пота. Медленно я пошел к выходу. На небе висел бледный

¹ Карл Май (1842—1912) — плодовитый немецкий писатель, автор многочисленных романов о североамериканских индейцах.

месяц. Он то выглядывал, то скрывался за рваными облаками. Через неделю будет новолуние. Удобно для перехода границы.

Я взглянул на часы. Оставалось еще сорок пять минут. С вокзала надо было уходить. Всякий, кто долго околачивается здесь, неминуемо вызывает подозрение.

Я отправился вниз по самой темной и пустынной улице, которая вела к старому крепостному валу. Часть его в свое время срыли и посадили деревья. Другая же часть, та, что шла по берегу реки, осталась, как и раньше.

Я пошел вдоль вала, пересек небольшую площадь, миновал церковь Сердца Иисусова и взобрался чуть повыше. За рекой виднелись крыши домов и башни города. Купол кафедрального собора в стиле барокко слабо светился в тревожном мерцании заката. Мне был знаком этот вал, размноженный на тысячах почтовых открыток. Мне был знаком и запах воды, и аромат липовой аллеи, что шла рядом.

На скамейках между деревьями сидели парочки. Отсюда все так же открывался прелестный вид на реку и город. Я присел на пустую скамейку: полчаса, только полчаса, а потом я пойду к Мартенсу.

В соборе зазвонили колокола. Я был так возбужден, что физически, телом ощущал колебания звуков. Это было похоже на теннис, в котором игроки обменивались мячами, поочередно посылая их друг другу.

И одним из игроков был я — тот, прежний, пораженный страхом и боязнью, не смеющий даже задуматься над своим положением. Другим был тоже я, но только новый, вовсе не желающий задумываться, идущий на риск, словно ничего другого и не оставалось. Любопытная форма шизофрении, при которой в качестве зрителя присутствует еще третий — сдержанный и беспристрастный, как судья на ринге, но одержимый настойчивым желанием, чтобы победил второй.

Я хорошо помню эти полчаса. Помню даже свое удивление тем, как я клинически холодно анализировал свое состояние.

Мне казалось порой, что я стою в пустой комнате. На противоположных стенах висят зеркала, отбрасывают мой облик в зияющую бесконечность, и за каждым моим отражением вырисовывается другое, выглядывающее из-за плеч. Зеркала старые, темные, и никак не удастся рассмотреть, какое же у меня выражение лица: вопросительное, печальное или исполненное надежды. Все расплывается, меркнет в серебристом сумраке.

Рядом со мной на скамейку села женщина. Не зная ее намерений, я подумал: может быть, под властью варваров и эти вещи низведены до уровня военных упражнений? Я поднялся и пошел прочь. Женщина позади меня засмеялась. Я никогда не забуду тихий, слегка презрительный, жалостливый смех незнакомой женщины у старого городского вала в Оснабрюке.

IV

Приемная Мартенса была пуста. Растения с длинными блестящими листьями стояли на этажерке у окна. На столе лежали журналы. С обложек их смотрели физиономии нацистских бонз, солдаты, марширующие отряды гитлеровской молодежи.

Раздались быстрые шаги, вошел Мартенс. Он взглянул на меня, снял очки, прищурился. Свет был слабый, и он не сразу узнал меня. К тому же я отпустил усы.

— Это я, Рудольф,— сказал я,— Иосиф.

Он предостерегающе поднял руку.

Я пожал плечами. Разве это было важно?

— Я здесь, это главное. Ты должен мне помочь.

Он вопросительно посмотрел на меня. Его близорукие глаза в неясном освещении комнат казались мне глазами рыбы, плавающей за толстым стеклом аквариума.

— Тебе разрешено пребывание здесь?

— Я сам себе разрешил.

— Так ты перешел границу?

— Не все ли равно? Я сейчас здесь для того, чтобы увидаться с Еленой.

Он промолчал.

— И только ради этого ты явился?

— Да.

Я вдруг успокоился. Странно, я не чувствовал себя уверенно, пока был один. Теперь же возбуждение исчезло, потому что мне приходилось размышлять, как успокоить испуганного доктора.

— Только ради этого? — повторил он еще раз.

— Да. И ты должен мне помочь.

— Боже мой! — воскликнул он.

— Что такое? Она умерла?

— Нет, она не умерла.

— Она здесь?

— Да, она была здесь. По крайней мере неделю назад.

— Мне надо с тобой поговорить. Можно?

Мартенс кивнул.

— Конечно. Медсестру я отослал. Так же могу поступить и с пациентами, если кто-нибудь явится. Но жить у меня ты не можешь. Я женат. Уже два года. Ты ведь понимаешь...

Я все понимал. В тысячелетнем третьем рейхе нельзя было доверять даже родным. Спасителями Германии доносы давно уже были возведены в национальную добродетель. Я это испытал на себе. На меня донес брат моей жены.

— Моя жена не член нацистской партии,— торопливо сообщил Мартенс,— но мы никогда не говорили с ней о том, как эти пришли к власти. И я не знаю, что она в конце концов думает. Заходи.— Он открыл дверь в кабинет. Мы вошли, и он тут же заперся.

— Не надо,— сказал я.— Запертая дверь всегда вызывает подозрение.

Он повернул ключ обратно и снова уставился на меня.

— Иосиф, ради бога, что ты тут делаешь? Ты вернулся нелегально?

— Да. Но ты можешь быть спокоен. Тебе не придется прятать меня. Я живу в гостинице за городом и пришел только за тем, чтобы попросить тебя известить Елену о моем приезде. Ведь я ничего не знаю, не слышал о ней целых пять лет. Может быть, она вышла замуж за другого? Если так, то...

— И ради этого ты здесь?

— Да. А что?

— Тебя надо спрятать,— сказал он.— Ночь ты можешь провести здесь, в моем кабинете. Диван к твоим услугам. Часов в шесть я тебя разбужу, в семь приходит женщина, которая убирает квартиру. После восьми можно опять вернуться. Раньше одиннадцати посетителей у меня не бывает.

— Она замужем? — спросил я.

— Елена? — Он покачал головой.— Я даже не знаю, развелась ли она с тобой.

— Где она живет? На старой квартире?

— По-моему, да.

— Живет с ней кто-нибудь из родственников? Мать, сестра, брат?

— Этого я, правда, не знаю.

— Ты должен узнать,— сказал я.— И передать, что я здесь.

— Почему ты сам не скажешь? — спросил Мартенс.— Вот телефон.

— А если у нее кто-нибудь есть? Допустим, братец, который раз уже донес на меня?

— Ты прав. Она, пожалуй, может растеряться, как и я. Это ее выдаст.

— Я даже не знаю, Рудольф, как она теперь ко мне относится. Прошло пять лет. Мы были женаты только четыре года. Пять — больше четырех. А разлука — в десять раз длиннее совместной жизни.

— Да. И все-таки я тебя не понимаю.

— Что поделаешь. Иногда я сам себя не понимаю. К тому же у нас разная жизнь.

— Почему ты ей не написал?

— Долго объяснять. Ступай к Елене, Рудольф. Поговори с ней. Постарайся узнать, что она думает. Скажи ей, что я здесь, если тебе покажется, что это можно сделать. И спроси, как я могу с ней увидеться.

— Когда идти?

— Немедленно. Когда же еще?

Он оглянулся.

— А где же ты будешь это время? Здесь небезопасно. Жена ожидает меня и может послать сюда прислугу. Она привыкла, что я после приема поднимаюсь к себе наверх. Можно запереть дверь, но это все равно бросится в глаза.

— Нет, я не хочу, чтобы ты меня заперал, — возразил я. — Жене ты можешь сказать, что пошел навестить пациента.

— Нет, скажу ей после. Так будет лучше.

В глазах его мелькнула искорка, и он будто слегка подмигнул. Это напомнило мне наши давние мальчишеские проказы.

— Я буду ждать в соборе, — сказал я. — Церкви теперь почти так же безопасны, как в средние века. Когда тебе позвонить?

— Через час. Скажешь, что звонит Отто Штурм. Как я тебя смогу найти, если вдруг понадобится? Не лучше ли тебе побыть где-нибудь возле телефона?

— Где телефон, там опасность.

— Может быть. — Несколько мгновений он стоял как бы в нерешительности. — Скорее всего, ты прав. Если меня не будет дома, позвони еще раз или укажи, где ты находишься.

— Хорошо.

Я взял шляпу.

— Иосиф, — сказал он.

Я обернулся.

— Ну, а как ты там, за границей? Совсем один?

— Да, почти так. Один. Не совсем, правда. А ты здесь? Как будто не один — и в то же время один?

— Да. — Он прищурился. — В общем, плохо, Иосиф. Все плохо. Но внешне все выглядит блестяще.

Я пошел к собору по самым пустынным улицам. Это было недалеко. Мне повстречалась рота солдат. Они пели незнакомую песню. На соборной площади я опять увидел солдат.

Чуть поодаль, у небольшой церкви, стояла плотная толпа человек в двести или триста. Почти все были в фашистской партийной форме. Слышался громкий голос, но оратора не было. Наконец на небольшом постаменте я увидел черный громкоговоритель.

Резко освещенный прожекторами, холодный, бездушный автомат стоял перед толпой и орал о праве на завоевание всех немецких земель, о великой Германии, о мщении, о том, что мир на земле может быть сохранен только в том случае, если остальные страны выполняют требования Германии, и что именно это и есть справедливость.

Стало ветрено. Ветви деревьев качались, бросая беспкойные, колеблющиеся тени на лица людей, на орущую машину и на немые каменные фигуры сзади, у церковной стены. Там были изображены распятие Христа и два грешника.

На лицах у всех слушателей vastыло одинаковое идиотски-просветленное выражение. Они верили всему, что орал автомат. Это походило на странный массовый гипноз. И они аплодировали автомату, словно то был человек, хотя он не видел, не слышал их.

Мне показалось, что пустая мрачная одержимость — это знамение нашего времени. Люди в истерии и страхе следуют любым призывам, независимо от того, кто и с какой стороны начинает их выкрикивать, лишь бы только при этом крикун обещал человеческой массе принять на себя тяжелое бремя мысли и ответственности. Масса боится и не хочет этого бремени. Но можно поручиться, что ей не избежать ни того, ни другого.

Я не ожидал, что в соборе окажется так много людей. Потом я вспомнил, что шли последние дни мая, время молитв и покаяний. Секунду я еще размышлял, не лучше ли мне отправиться в протестантскую церковь, но я не знал, открыта ли она вечером.

Недалеко от входа я опустил на пустую скамью. Мерцали свечи у алтаря. Остальная часть храма была освещена еле-еле, и я не боялся, что меня узнают.

Священник двигался у алтаря в облаке благовоний. Сверкала парча. Его окружали служки в красных сутанах и белые накидках, с кадилами в руках.

Слышались звуки органа, ремел хор, и вдруг мне показалось, что я вижу те же одурманенные лица, что и там, снаружи, те же глаза, пораженные сном наяву, исполненные безусловной верой, желанием покоя и безответственности.

Конечно, здесь все было тише и мягче, чем там. Но любовь к богу, к ближнему своему не всегда была такой. Целыми столетиями церковь проливала потоки крови. И в те мгновения истории, когда ее не подвергали преследованиям, она начинала преследовать сама — пытками, кострами, огнем и мечом.

Брат Елены сказал мне однажды в лагере, иронически усмехаясь:

— Мы переняли методы вашей церкви. Ваша инквизиция с ее камерами пыток во славу Божию научила нас, как нужно обращаться с врагами истинной веры. Но мы действуем мягче и живьем сжигаем сравнительно редко.

В то время, как он со мной беседовал, я висел на перекладине. Это был еще более или менее безобидный способ пыпытывания имен у заключенных.

Священник поднял чашу со святыми дарами и благословил молящихся. Я сидел неподвижно, и мне казалось, будто я погружаюсь в туманное облако света, любви, утешения. Зазвучал последний псалом «В эту ночь будь моею стражей и защитой». Я пел его, когда был ребенком, и тогда темнота казалась мне наполненной угрозами; теперь, наоборот, опасность таил свет.

Толпа начала покидать храм. Мне надо было подождать минут пятнадцать, и я притаился в углу у высокой колонны, подпиравшей свод собора.

И в это мгновение я заметил Елену. Сначала она возникла, как резкий водоворот в потоке, который выливался из храма. Я увидел, что кто-то прокладывает себе путь против течения, расталкивая людей и продвигаясь вперед. Несколько секунд передо мной плыло светлое, гневное, решительное лицо, и на секунду мне показалось, что это просто женщина, которая что-то забыла. Я не сразу узнал ее, потому что не ожидал ее здесь встретить.

И лишь когда люди расступились и она прошла совсем рядом, я увидел по движению плеч, которыми она вклинивалась в толпу, что это она. Она никого не коснулась, пройдя вперед, и, наконец, остановилась в широком проходе—

маленькая, одинокая, озаренная сиянием редких свечей в синем и красном сумраке высоких романских окон.

Я встал, стараясь перехватить ее взгляд. Кивнуть ей я не решился. Вокруг было еще слишком много людей, а в церкви на все обращают внимание.

«Она жива!» — это была моя первая мысль. Она не умерла и не заболела! Странно, в нашем положении прежде всего думаешь об этом. Поражаешься, когда видишь, что по-прежнему кто-то до сих пор жив.

Она быстро прошла дальше на хоры. Я последовал за ней и увидел, что она возвращается. Она медленно пошла по проходу, вглядываясь в людей, которые еще молились, стоя на коленях. Я остановился. Елена почти коснулась моей одежды и не заметила меня. Когда она опять остановилась, я приблизился и тихо сказал:

— Элен, не оборачивайся. Иди к выходу. Здесь нельзя разговаривать.

Она вздрогнула и пошла вперед. И зачем только она сюда пришла! Но ведь я сам не знал, что в соборе окажется столько народу.

На ней был черный костюм и маленькая шапочка. Она шла, слегка наклонив голову, словно прислушиваясь к моим шагам. Я пропустил ее вперед подальше. Я знал, как часто человека опознавали только потому, что он слишком близко следовал за кем-нибудь.

Она прошла мимо каменного бассейна со святой водой в громадном портале храма и сейчас же свернула влево. Вдоль собора шла широкая, вымощенная белыми плитами дорожка. От громадной соборной площади ее отделяла ограда из столбов песчаника, соединенных висячими железными цепями.

Она перепрыгнула через цепь, сделала несколько шагов в темноту, остановилась и повернулась ко мне. Трудно сказать, что я почувствовал в это мгновение. Если я скажу, что тогда передо мной шла моя жизнь, что вдруг, остановившись, она обернулась и взглянула мне в лицо, — это опять будут одни слова. Это и правда и неправда. Я чувствовал все это и чувствовал что-то еще, чего нельзя передать.

Я подошел к ней, к ее тонкой, темной фигуре, и увидел бледное лицо, глаза и рот; и все, что было со мной до этого, сразу осталось позади. Время разлуки не исчезло, осталось, но теперь оно было подобно чему-то далекому, о чем я читал, но чего не пережил сам.

— Откуда ты? — спросила Елена, прежде чем я успел приблизиться к ней вплотную. Вопрос звучал почти враждебно.

— Из Франции.

— Тебе разрешили приехать?

— Нет. Я перешел границу нелегально.

Это были почти те же вопросы, которые задавал Мартенс.

— Зачем?

— Чтобы увидеть тебя.

— Тебе не следовало приезжать.

— Я знаю.

— Так почему ты все-таки приехал?

— Если бы я знал, почему, меня бы здесь не было.—

Я не решался поцеловать ее. Она стояла близко, совсем близко, но так напряженно, что казалось, тронь ее — и она сломается. Я не знал, что она думает. Но теперь уже было все равно. Я увидел ее. Она была жива. Теперь я мог уйти или узнать то, что мне было суждено.

— Так, значит, ты этого не знаешь? — спросила она.

— Может быть, я узнаю это завтра. Или через неделю. Или позже.

Я взглянул на нее. Что знать? Что мы вообще знаем? Знание здесь — только пена, пляшущая на волне. Одно дуновение ветра — и пены нет. А волна есть и будет всегда.

— Ты здесь. Ты приехал, — сказала она, и ее лицо потеряло неподвижность, стало мягче. Она шагнула навстречу.

Я взял ее за руки, и она прижала свои ладони к моей груди, словно хотела оттолкнуть.

У меня было такое чувство, что мы уже давно стоим так, друг против друга, на черной, ветреной площади, совсем одни, и уличный шум глухо, будто сквозь стеклянную стену, доносится до нас. Слева, шагах в ста, на противоположной стороне площади высился ярко освещенный городской театр с белыми ступенями, и я хорошо помню охватившее меня на мгновение смутное удивление, что там еще играют, вместо того чтобы устроить тюрьму или казарму.

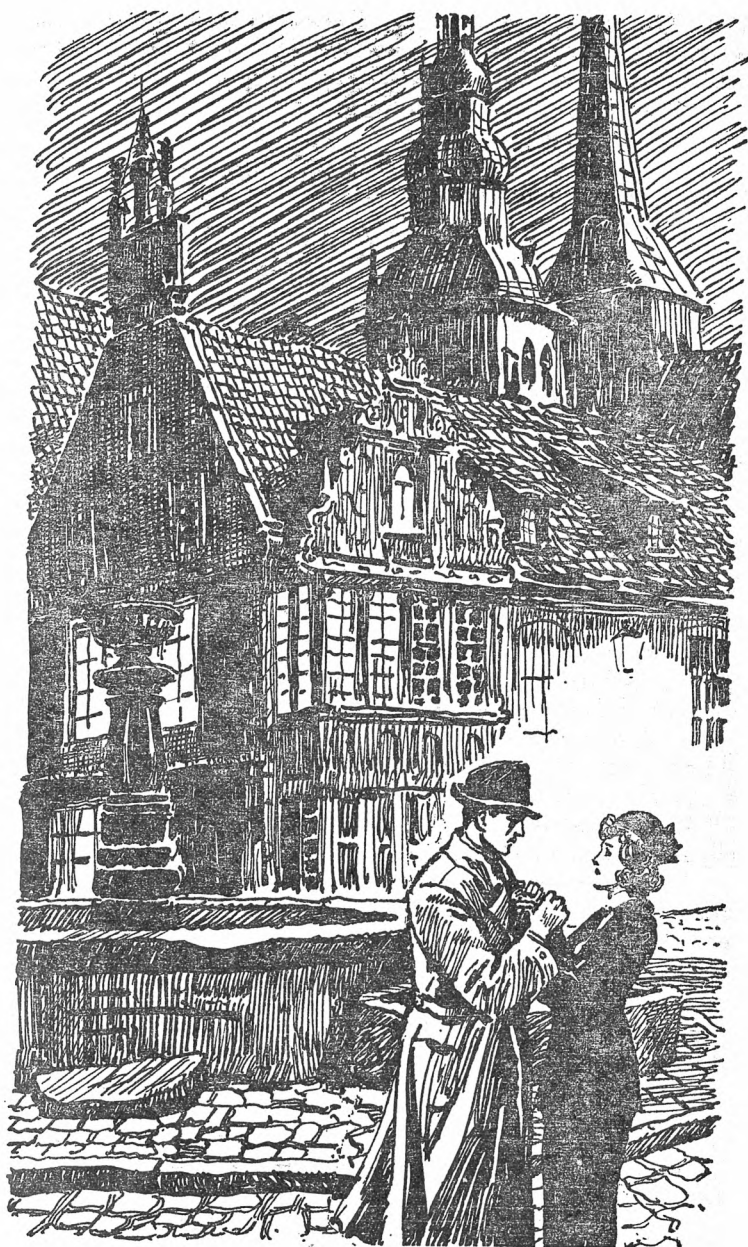
Группа людей прошла мимо. Они смеялись. Кто-то оглянулся на нас.

— Пойдем, — прошептала Елена. — Здесь нельзя оставаться.

— Куда же мы пойдем?

— К тебе домой.

Мне показалось, я ослышался.



— Куда? — спросил я еще раз.

— К тебе домой. Куда же еще?

— Но меня тут же узнают! Еще на лестнице! Ведь там, наверно, живут те же самые люди.

— Тебя никто не увидит.

— А прислуга?

— Я отошлю ее на вечер.

— А утром?

Елена посмотрела на меня.

— Неужели ты приехал сюда лишь для того, чтобы задавать мне эти вопросы?

— Элен, я приехал не для того, чтобы меня арестовали и посадили в лагерь.

Она вдруг улыбнулась.

— Ты совсем не изменился, Иосиф. И как только ты решился на такое?

— Я и сам не знаю, — ответил я и тоже улыбнулся.

Мне вспомнилось, как раньше она тоже сердилась на меня за медлительность и педантичность. У меня вдруг произошло ощущение опасности.

— Как видишь, я все-таки здесь.

Она покачала головой. Глаза ее были полны слез.

— Пойдем скорее, или нас и в самом деле арестуют. Все это выглядит так, словно я устраиваю сцену.

Мы пошли через площадь.

— Я не могу так сразу идти с тобой. Тебе надо сначала отослать прислугу. Я снял комнату в гостинице, в Мюнстере. Там меня не знают, и я хотел там остановиться.

Она замерла.

— Надолго?

— Не знаю. Я не задумывался над тем, что будет. Мне надо было увидеть тебя, а потом как-нибудь вернуться обратно.

— За границу?

— А куда же еще?

Она опустила голову. Я подумал о том, что теперь должен быть счастлив, но тогда не чувствовал этого. Это ощущение приходит позже. Теперь-то я знаю, что тогда я был счастлив.

— Я должен позвонить Мартенсу, — сказал я.

— Ты можешь это сделать из дому, — ответила Елена.

Меня поражало каждый раз в ее устах слово «дом». Конечно, она говорила так нарочно. Я не знал, почему.

— Я обещал Мартенсу позвонить через час, — сказал я. — Сейчас как раз время. Если я этого не сделаю, он по-

думает, что со мной что-нибудь случилось, и может совершить неосторожный шаг.

— Он знает, что я пошла за тобой.

Я взглянул на часы. Прошло уже лишняя четверть часа.

— Я могу позвонить из ближайшей пивной,— сказал я.— На это уйдет минута.

— Боже мой, Иосиф,— сердито сказала Елена,— ты и в самом деле не изменился. Ты стал еще большим педантом.

— Это не педантичность, Элен. Это опыт. Я часто видел, как несчастья случаются из-за пренебрежения к мелочам. И я слишком хорошо знаю, что такое ожидание во время опасности.— Я взял ее за руку.— Если бы не педантизм этого рода, меня давно уже не было бы в живых, Элен.

Она порывисто прижала к себе мою руку.

— Я знаю,— прошептала она.— Разве ты не видишь, что я боюсь тебя оставить даже на минуту? Мне кажется, что тогда обязательно что-нибудь случится.

Меня охватила теплая волна.

— Ничего не случится, Элен, поверь. Мы будем осторожными.

Она улыбнулась и подняла бледное лицо.

— Ладно. Иди и позвони. Вон телефонная будка, видишь? Ее установили без тебя. Отсюда звонить безопаснее, чем из пивной.

Я вошел в стеклянную кабину и набрал номер Мартенса. Он был занят. Я подождал и позвонил опять. Монета, звеня, упала вниз: номер был занят. Мною стало овладевать беспокойство. Сквозь стекло кабины я видел, как Елена настороженно ходила взад и вперед. Вытянув шею, она наблюдала за улицей, и это бросалось в глаза, хотя она старалась вести свой дозор незаметно.

Только теперь я разглядел, что на моем ангеле-хранителе был хорошо сшитый костюм. Губы ее были подкрашены помадой. В желтом свете фонарей она казалась почти черной. Я подумал, что в нацистской Германии косметика почему-то не поощрялась.

Наконец, в третий раз мне удалось дозвониться к Мартенсу.

— Телефон занимала моя жена,— сказал он.— Почти целых полчаса. Я не мог прервать ее. Ты же знаешь, о чем могут говорить женщины — о платьях, о детях, о надвигающейся войне.

— Где она теперь?

— На кухне. Я ничего не мог сделать. Ты меня понимаешь?

— Да. У меня все в порядке. Благодарю тебя, Рудольф. Теперь ты можешь все забыть.

— Где ты?

— На улице. Еще раз спасибо, Рудольф. Теперь мне больше ничего не надо. Я нашел то, что искал. Мы вместе.

Я посмотрел сквозь стекло на Елену и хотел уже положить трубку.

— Ты хотя бы знаешь, где будешь жить? — спросил Мартенс.

— Думаю, что да. Не беспокойся. Забудь об этом вечере, словно он тебе приснился.

— Если тебе еще что-нибудь понадобится, — сказал он медленно, — дай мне знать. Ведь я сначала был просто ошеломлен. Ты понимаешь?

— Да, Рудольф, понимаю. И если мне что-нибудь будет нужно, я обязательно дам тебе знать.

— Если хочешь — можно переночевать здесь. Мы могли бы тогда поговорить с тобой...

Я улыбнулся.

— Мы еще увидимся. Мне надо идти.

— Да, да, конечно, — быстро сказал он. — Прости меня. Желаю всего лучшего. Иосиф! Слышишь? От всего сердца!

— Спасибо, Рудольф!

Я вышел из тесной кабины. Порыв ветра чуть не сорвал с головы шляпу. Елена быстро подошла ко мне.

— Идем домой! Ты заразил меня своей осторожностью. Теперь мне кажется, что на нас из темноты смотрят сотни глаз.

— У тебя все та же прислуга?

— Лена? Нет. Она шпионила за мной по поручению брата. Он все хотел узнать, не пишешь ли ты мне. Или я тебе.

— А нынешняя?

— Она глупа. И совершенно равнодушна. Если я ее отошлю, она будет только рада и ничего не заподозрит.

— Ты еще не отправила ее?

Она улыбнулась и как-то вдруг очень похорошела.

— Нет. Ведь мне надо было сначала посмотреть, действительно ли ты здесь.

— Ты должна ее отправить, прежде чем я приду, — сказал я. — Она не должна нас видеть. А мы не могли бы пойти куда-нибудь еще?

— Куда же?

Елена вдруг рассмеялась.

— Мы похожи на подростков, вынужденных встречать-

ся тайно, потому что им запрещают родители. Вот бедняжки и стоят в нерешительности, не зная, куда пойти. В парк? Но он закрывается в восемь часов. В городской сквер? В кафе? Все это слишком опасно.

Она была права. Мы были во власти мелких и мельчайших обстоятельств, которые нельзя было предусмотреть.

— Да, это верно,— сказал я.— Мы похожи на подростков, словно опять вернулась юность.

Я внимательно посмотрел на нее. Ей было двадцать девять лет, но она казалась мне все той же, прежней. Пять лет скользнули по ней так, как морская волна по гладкой коже молодого дельфина.

— И я пришел к тебе тоже словно подросток,— сказал я.— Мучился, размышлял. И как будто все было против. А потом оставил все мысли и явился. И, как влюбленный подросток, даже не знаю, нет ли у тебя давно уже кого-нибудь другого.

Она не ответила. Ее каштановые волосы блестели в свете фонаря.

— Я пойду вперед и отошлю прислугу,— сказала она.— Но я боюсь оставлять тебя одного на улице. Вдруг ты снова исчезнешь — так же, как появился. Где ты будешь ждать?

— Я могу вернуться к собору. В церквах сейчас безопаснее, Элен. Именно поэтому я успел стать большим знатоком французских, швейцарских, итальянских церквей и музеев.

— Приходи через полчаса,— прошептала она.— Ты еще помнишь наши окна?

— Да.

— Если угловое будет открыто, значит, все в порядке, входи. Если же оно окажется закрытым, подожди, пока я открою.

И опять мне вспомнились наши детские игры в индейцев. Тогда свет в окне был знаком для Кожаного Чулка или Виннету, который ждал внизу. Значит, все повторяется? Но было ли вообще на свете что-нибудь такое, что полностью повторялось?

— Хорошо,— сказал я, собираясь идти.

— Куда ты пойдешь?

— Я хочу посмотреть, может быть, Мариинская церковь еще открыта. Ведь это, кажется, прекрасный образец готики. За это время я научился ценить подобные вещи.

— Перестань, не мучь меня,— сказала она.— Довольно того, что ты уходишь и остаешься один.

— Элен, поверь мне, я научился быть осмотрительным.

— Не всегда,— сказала она со страдальческим, потерянным выражением и покачала головой.— Не всегда,— повторила она.— Что же я буду делать, если ты не придешь?

— Ты ничего не должна делать. У тебя тот же номер телефона?

— Да.

Я обнял ее за плечи.

— Элен, все будет хорошо.

Она кивнула.

— Я провожу тебя хотя бы до Марининской церкви. Я хочу быть уверенной, что ты туда добрался.

Мы пошли молча. Это было недалеко. Потом она оставила меня, не сказав ни слова. Я смотрел ей вслед, когда она переходила старую рыночную площадь. Она шла быстро и ни разу не обернулась.

Я остался стоять в тени портала. Справа высилась темная громада ратуши. Я поднял голову; по каменным лицам древних скульптур скользнул свет месяца. Здесь, на этом крыльце, в 1648 году было провозглашено окончание Тридцатилетней войны. А в 1933 году — начало тысячелетнего рейха. Я задумался: доживу ли я до того дня, когда здесь же будет объявлено о его конце? Надежды на это почему-то почти не было.

Я не пошел в церковь. У меня вдруг пропало всякое желание, стало противно прятаться. Я не потерял осторожности, но с тех пор, как я увидел Елену, мне не хотелось больше без нужды изображать затравленного зверя.

Я пошел прочь от церкви, чтобы не привлекать внимания. Странное чувство охватило меня. Мне показалось, что отчужденный, затаивший угрозу город вдруг начал оживать. Меня коснулось это чувство, наверно, потому, что я сам тоже вернулся к жизни.

Анонимное существование последних лет, бытие, не приносящее никакого плода, показалось мне вдруг не таким уж бесполезным. Оно сформировало меня, и во мне вдруг возникло неведомое ощущение жизни, будто дрожащий, распустившийся втайне цветок. Оно не имело ничего общего с романтикой, но было таким новым и возбуждающим, словно громадное, сияющее, тропическое чудо, странным образом возникшее на заурядном кусте, от которого в крайнем случае ждали лишь скромный, ничем не примечательный побег. Я пошел к реке и остановился на мосту, глядя на воду. Слева возвышалась средневековая сторожевая баш-

ня, в которой теперь разместились прачечная. Окна были освещены, и прачки еще работали. Отраженный свет широкими полосами падал вниз на реку. Черный вал и липы на нем рисовались четко на высоком небе, а вправо уходили сады и возвышался над ними силуэт собора.

Я стоял не шевелясь. Напряжение растаяло без следа. Вокруг слышался только плеск воды да приглушенные голоса прачек за окнами. Я не мог разобрать, о чем они говорили. До меня доносились только звуки человеческих голосов, еще не ставших слезами. Они были всего лишь знаками присутствия людей, не обратившись пока в выражения лжи, обмана, глупости и адского одиночества.

Я дышал, и мне казалось, что я дышу в унисон с плещущей водой. На мгновение мне даже почудилось, будто я стал частью моста и будто вода вместе с моим дыханием течет сквозь меня. Я не удивлялся, мне казалось, что так и должно быть. Я ни о чем не думал. Мысли текли так же бездумно, как дыхание и вода.

Слева, в темной липовой аллее, замигал свет. Что это? Я словно проснулся и опять услышал голоса прачек. Вновь потянуло липовым цветом. Поверх реки дул легкий ветерок.

Свет в аллее исчез. Гасли огоньки окон. Вода в реке лежала черная, густая, неподвижная. Потом на ее поверхности проглянуло редкое, выбкое отражение луны, которое раньше меркло в ярких полосах от окон. Теперь желтый свет погас, лунные блики остались одни и начали на волнах затейливую, нежную игру.

Я думал о своей жизни. Вот и в ней тоже — уже сколько лет — погас свет, и я все ждал, не появятся ли вдруг во тьме слабые огоньки, которых я не замечал раньше, так же как и бледного отражения луны в реке. Но нет. Я всегда чувствовал лишь утрату — и ничего больше.

Я оставил мост, вошел в сумрак аллеи, что тянулась вдоль вала. Здесь я принялся расхаживать взад и вперед, ожидая, чтобы истекли положенные полчаса. Чем дальше, тем сильнее становился запах цветущих лип. Луна обливала серебром крыши и башни. Все было таким, будто город старался убедить меня, что я сам себя обманывал, что нет никакой опасности, что я могу после долгих заблуждений утешенным вернуться домой и снова быть самим собою.

Я внимал этому вкрадчивому голосу и даже не пытался ему возражать, потому что инстинкт все равно теперь уже продолжал бодрствовать и был начеку. Слишком часто — в Париже, Риме и других городах — меня арестовывали именно в такой обстановке, когда я подчинялся колдовско-

му влиянию красоты и навеянному ею ощущению безопасности, любви, забвения. Полицейские никогда ничего не забывают. А доносчики не превратятся в святых благодаря лунному свету и аромату цветущих лип.

Я отправился на Гитлерплац, насторожив все чувства, как летучая мышь расправляет крылья для полета. Дом стоял на углу одной из улиц, выходящих на площадь.

Окно было открыто. Мне вспомнилась история Геры и Леандра¹, потом сказка о королевских детях, в которой монахиня гасит свет, и сын королевы погибает в волнах. Но я не был королевским сыном, а у немцев, при всей их страсти к сказкам и, может быть, благодаря этому, были самые ужасные в мире концентрационные лагеря. Я спокойно пересек площадь, и она, конечно, не была ни Геллеспонтом, ни Нордическим морем.

В подъезде кто-то шел мне навстречу. Отступать было уже поздно, и я направился к лестнице с видом человека, знающего дорогу. Это была пожилая женщина. Ее лицо было мне незнакомо, но сердце у меня сжалось.— Шварц улыбнулся.— Опять слова, громкие слова, всю справедливость которых, однако, постигаешь только тогда, когда переживешь нечто подобное.

Мы разминулись. Я не обернулся. Я услышал только, как хлопнула выходная дверь, и бросился вверх по лестнице.

Дверь квартиры была приоткрыта. Я толкнул ее. Перед мной стояла Елена.

— Видел тебя кто-нибудь? — спросила она.

— Да. Пожилая женщина.

— Без шляпы?

— Да, без шляпы.

— Наверно, это прислуга. У нее комната наверху, под крышей. Я сказала ей, что она свободна до понедельника, и она, видно, до сих пор копалась. Она убеждена, что на улице все прохожие только и знают, что критикуют ее платье.

— К черту прислугу, — сказал я. — Она это или нет, во всяком случае, меня не узнали. Я почувствую, если это случится.

Елена взяла мой плащ и шляпу, чтобы повесить

— Только не здесь, — сказал я. — Обязательно в шкаф. Если кто-нибудь придет, это сразу бросится в глаза.

¹ По греческой легенде, юноша Леандр полюбил Геру, жрицу Афродиты, и каждую ночь, спеша к возлюбленной, переплывал Геллеспонт.

— Никто не придет, — тихо сказала она.

Я запер дверь и последовал за ней.

В первые годы изгнания я часто вспоминал о своей квартире. Потом старался забыть. И вот — я опять оказался в ней и удивился, что сердце мое почти не забилося сильнее. Она говорила мне не больше, чем старая картина, которой я владел некогда и которая лишь напоминала о минувшей поре моей жизни.

Я остановился в дверях и огляделся. Почти ничего не изменилось. Только на диване и креслах новая обивка.

— Раньше они, кажется, были зеленые? — спросил я.

— Синие, — ответила Елена.

Шварц повернулся ко мне.

— У вещей своя жизнь, и когда сравниваешь ее с собственным бытием, это действует ужасно.

— Зачем сравнивать? — спросил я.

— А вы этого не делаете?

— Бывает, но я сравниваю вещи одного порядка и стараюсь ограничиваться своей собственной персоной. Если я брожу в порту голодный, то сравниваю свое положение с неким воображаемым «я», который еще к тому же болен раком. Сравнение на минуту делает меня счастливым, потому что у меня нет рака и я всего лишь голоден.

— Рак, — сказал Шварц и уставился на меня. — Чего ради вы о нем вспомнили?

— Точно так же я мог вспомнить о сифилисе или туберкулезе. Просто это первое попавшееся под руку, самое близкое.

— Близкое? — Шварц не спускал с меня неподвижного взгляда. — А я говорю вам, что это самое далекое. Самое далекое! — повторил он.

— Хорошо, — согласился я. — Пусть самое отдаленное. Я употребил это только в качестве примера.

— Это так далеко, что недоступно пониманию.

— Как всякое смертельное заболевание, господин Шварц.

Он молча кивнул.

— Хотите еще есть? — спросил он вдруг.

— Нет. Чего ради?

— Вы что-то говорили об этом.

— Это тоже был только пример. Я сегодня с вами успел уже дважды поужинать.

Он поднял глаза.

— Как это звучит! Ужинать! Как утешительно! И как недостижимо, когда все исчезло.

Я промолчал. Через мгновение он уже спокойно продолжал:

— Итак, кресла были желтые. Их заново обили. И это все, что изменилось здесь за пять лет моего отсутствия; пять лет, в течение которых судьба с иронической усмешкой заставила меня проделать дюжину унижительных салто-мортале. Такие вещи плохо вяжутся — вот что я хотел сказать

— Да. Человек умирает, а кровать остается. Дом остается. Вещи остаются. Или, может быть, их тоже следует уничтожать?

— Нет, если человек к ним равнодушен.

— Их вообще не нужно уничтожать, потому что все это не так важно.

— Не важно? — Шварц опять обратил ко мне расстроенное лицо. — О, конечно! Но скажите мне, пожалуйста, что же еще остается важного, если вся жизнь уже не имеет значения?

— Ничего, — ответил я, зная, что это было и правдой и неправдой. — Только мы сами придаем всему значение.

Шварц быстро отпил глоток темного вина из бокала.

— А почему бы и нет? — громко спросил он. — Почему бы нам не придавать всему значение?

— Ничего не могу ответить. Все это было бы глупой отговоркой. Я сам считаю жизнь достаточно важной.

Я взглянул на часы. Был третий час. Оркестр играл танго. Короткие, приглушенные звуки трубы показались мне отдаленной сиреной отплывающего парохода. «До рассвета осталось еще часа два, — подумал я. — Тогда я смогу уйти». Я пощупал билеты в кармане. Они были на месте. Минутами мне все это казалось миражем; непривычная музыка, вино, зал с тяжелой драпировкой, голос Шварца — на всем лежала печать чего-то усыпляющего, нереального.

— Я все еще стоял у входа в комнату, — продолжал Шварц. — Елена взглянула на меня и спросила:

— Ты чувствуешь себя здесь чужим?

Я покачал головой и сделал несколько шагов вперед, чувствуя себя как-то странно. Вещи будто собирались броситься на меня. Снова у меня сжалось сердце: может быть, и Елене я тоже стал чужим.

— Все осталось, как было, — сказал я быстро, горячо, с отчаянием. — Все, как было, Элен

— Нет, — сказала она. — Прошлого давно уже нет. Его нет и в старых платьях, давно выброшенных. Или ты думаешь найти его?

— Но ведь ты оставалась здесь. Что же случилось с тобой?

Елена странно посмотрела на меня.

— Почему ты никогда не спрашивал об этом раньше? — сказала она.

— Раньше? — с удивлением повторил я, не понимая. — Что значит — раньше? Я не мог приехать.

— Раньше. Прежде, чем ты уехал.

Я не понимал ее.

— О чем мне нужно было спросить, Элен?

Она секунду молчала.

— Почему ты не предложил мне ехать вместе с тобой?

Я взглянул на нее.

— Ехать вместе? Чтобы ты бросила свою семью? И все, что ты любила?

— Я ненавижу мою семью.

Я был в полном замешательстве.

— Ты не знаешь, что значит жить там, в эмиграции, — пробормотал я наконец.

— Ты тогда тоже не знал.

Это была правда.

— Я не хотел тебя брать с собой, — вяло сказал я.

— Я все здесь ненавижу, — сказала она. — Все! За чем ты вернулся?

— Тогда у тебя не было ненависти.

— Зачем ты вернулся? — повторила она.

Она стояла на другом конце комнаты. И нас разделяли не только желтые кресла и не только пять лет разлуки.

Я вдруг натолкнулся на стену враждебности и острого разочарования и смутно почувствовал, что, когда я бежал из города один, я тяжело обидел ее.

— Зачем ты вернулся, Иосиф? — настойчиво повторяла она

Я охотно ответил бы, что вернулся ради нее. Но в то мгновение я не мог сказать. Все это было не так просто. Я вдруг почувствовал — именно тогда, — что меня гнало назад свинцовое, безысходное отчаяние. Я походил на выжатый лимон, все силы оказались исчерпанными, а одного только слепого стремления выжить оказалось слишком мало для того, чтобы сносить дальше холод одиночества. Начать новую жизнь — на это я был неспособен. В сущности, я никогда этого особенно не желал. Я не покончил с прежней жизнью: я не мог ни расстаться с ней, ни преодолеть ее. Я был поражен гангреной души, поэтому при-

шлось выбирать — погибнуть в ее зловонном дыхании или вернуться и попробовать вылечиться.

Тягостное, томительное чувство исчезло. Я знал, почему я здесь. После пяти лет изгнания я не привез с собой ничего, кроме собственного восприятия и жажды жизни, кроме осторожности и опытности беглого преступника. Все остальное не выдержало испытания.

Ночи на ничейной полосе; тоскливый ужас бытия, в котором приходилось вести отчаянную борьбу ради куска хлеба и пары часов сна; жизнь крота под землей — все это вдруг исчезло без следа на пороге моего прежнего жилища. Я потерял все — я это чувствовал, но у меня, во всяком случае, не было долгов перед прошлым. Я был свободен. Мое прежнее «я» минувших пяти лет убило себя, едва я перешел границу.

Нет, это не было возвращением. Старое «я» умерло. Вместо него родилось новое «я». Ответственность? Это чувство отныне было мне незнакомо. Я словно обрел невесомость.

Шварц пристально посмотрел на меня.

— Вы понимаете, о чем я говорю? Я повторяюсь и противоречу себе, но...

— Думаю, что понимаю, — сказал я. — Возможность самоубийства — это в конце концов милосердие, и все значение его можно постигнуть в очень редких случаях. Оно дарит иллюзию свободы воли, и, может быть, мы совершаем его гораздо чаще, чем нам это кажется. Мы только не сознаем этого.

— Совершенно верно! — живо откликнулся Шварц. — Мы не сознаем, что совершаем самоубийства! Но если бы мы поняли это, мы оказались бы способными воскресать из мертвых и прожить несколько жизней, вместо того, чтобы влачить бремя опыта от одного приступа боли к другому и в конце концов погибнуть.

— Все это я, конечно, не мог объяснить Елене, — продолжал он. — Да это было и ненужно. С легкостью я вдруг почувствовал, что даже не испытываю в этом никакой потребности. Напротив, я понял, что объяснения лишь все запутают. Может быть, ей хотелось, чтобы я сказал, что вернулся ради нее. Но тут я в каком-то прозрении ощутил, что это было бы гибелью. Тогда прошлое обрушилось бы на нас со всеми доказательствами вины, пренебрежения, оскорбленной любви. Мы не выбрались бы из этой трясины.

Ведь если эта, теперь даже привлекательная, идея духовного самоубийства имеет какой-то смысл, подумал я, она должна быть полной и абсолютной, должна охватить не только годы эмиграции, но и всю предшествующую жизнь— иначе вновь появилась бы угроза все той же гангрены, даже еще более застарелой. Она проступила бы немедленно.

Елена все еще стояла передо мной — как враг, и удар, который она готова была нанести, оказался бы тем безжалостнее, чем сильнее ею руководили любовь и уверенность в безнадежности моей позиции. У меня же не было никаких шансов. И если перед этим я был полон спасительного чувства смерти, то теперь мне предстояло мучительное издыхание под тяжестью морали; не смерть и воскрешение, но полное и окончательное уничтожение. Женщинам ничего не нужно объяснять, с ними всегда надо действовать.

Я подошел к Елене. Коснувшись ее плеч, я почувствовал, как она дрожит.

— Зачем ты приехал? — вновь спросила она.

— Я забыл, зачем, — ответил я. — Я голоден, Элен. Целый день я ничего не ел

Рядом с ней, на расписном итальянском столике, я увидел в серебряной рамке фотографию незнакомого мужчины.

— Это еще нужно? — спросил я.

— Нет, — ошеломленно ответила она, взяла фотографию и сунула в ящик стола.

Шварц взглянул на меня и улыбнулся.

— Она не выбросила и не разорвала ее, а положила в ящик и могла бы опять достать и поставить, если бы захотела. Не знаю почему, но этот жест здравого смысла очаровал меня. Пять лет тому назад я бы не понял ее и устроил бы скандал. Теперь маленькое событие моментально изменило ситуацию, которая грозила стать слишком патетической. Мы миримся с высокопарными словами в политике, но только не в области чувства. К сожалению. Если бы мирились, было бы лучше. Чисто французский жест Елены отнюдь не свидетельствовал о том, что любовь ее стала меньше, это говорило лишь о ее женской предусмотрительности.

Однажды она уже разочаровалась во мне; почему же теперь она сразу должна была поверить? Я, со своей стороны, недаром прожил во Франции несколько лет: я не стал спрашивать. Да и о чем? И какое у меня было на это право?

Я засмеялся. Она, кажется, была озадачена. Потом лицо ее просветлело, и она тоже засмеялась.

— Ты по крайней мере развеялась со мной? — спросил я.

Она отрицательно покачала головой.

— Нет. Но вовсе не из-за тебя. Я не сделала этого потому, что хотела насолить моей семье.

V

— В ту ночь я спал мало, — продолжал Шварц. — Часто просыпался, хотя очень устал. Ночь теснилась за стенами дома — вокруг маленького пространства комнаты, в которой мы лежали. Мне все чудились шорохи, я вскакивал в полусне, готовый к бегству.

Проснувшись Елена, зажгла свет. Тени исчезли.

— Ничего не могу поделаться, — сказал я. — Над сном я не властен. У тебя еще есть вино?

— Есть. В этом мои родственнички понимают толк. А ты давно пристрастился к вину?

— С тех пор, как очутился во Франции.

— Хорошо, — сказала она. — Разбираешься по крайней мере в винах?

— Не очень. Главным образом — в красных. Они дешевле.

Елена встала, пошла на кухню и вернулась с двумя бутылками и штопором.

— Наш фюрер приказал изменить старые законы виноделия, — заметила она. — Раньше в натуральные вина не разрешалось добавлять сахара. А теперь можно даже не выдерживать срока брожения.

Я смотрел на нее, не понимая.

— В неудачные годы это позволяет сделать сухие вина слаще, — пояснила она и засмеялась. — Просто уловка расы господ, чтобы увеличить экспорт и получить валюту.

Она подала мне бутылки и штопор. Я открыл мозельское. Елена принесла два тонких бокала.

— Откуда у тебя загар? — спросил я.

— Я была в марте в горах. Ходила на лыжах.

— Раздетая?

— Нет. Но там можно было принимать солнечные ванны.

— С каких пор ты стала увлекаться лыжами?

— По совету одного знакомого.

Она вызывающе посмотрела мне в глаза.

— Прекрасно. Лыжи очень полезны для здоровья.

Я наполнил бокал и подал ей. Вино было терпкое и ароматнее бургундских вин. Я такого не пил с тех пор, как оставил Германию.

— Может быть, ты хочешь знать, кто мне посоветовал заняться лыжами? — спросила Елена.

— Нет.

Раньше я, наверно, всю ночь напролет только об этом бы и спрашивал. Теперь меня это не интересовало. Ощущение зыбкой нереальности, возникшее вечером, опять охватило меня.

— Ты изменился, — сказала она.

— Сегодня вечером ты дважды сказала, что я не изменился, — возразил я.

Она неподвижно держала бокал в руках.

— Я, наверно, хотела бы, чтобы ты не изменился.

Я выпил вино.

— Чтобы легче расправиться со мной?

— Разве я с тобой раньше расправлялась?

— Не знаю. Думаю, что нет. Все это было очень давно. Но когда я вспоминаю, каким я был раньше, то оставаюсь как бы в недоумении: право, ты могла бы попробовать сделать это.

— Это мы, женщины, пробуем всегда. Разве не знаешь?

— Нет, — сказал я. — Но хорошо, что ты меня предупредила. Между прочим, вино очень хорошее. Наверно, его выдерживали положенное время.

— Чего нельзя сказать о тебе?

— Элен, перестань, пожалуйста, — сказал я. — Ты не только возбуждаешь, ты еще и смешишь. Такая оригинальная комбинация встречается очень редко.

— Что-то ты очень самоуверен, — сердито сказала она и села на кровать, все еще держа на весу бокал с вином.

— Нисколько. Но разве ты не знаешь, что предельная неуверенность, если она не кончается смертью, может привести в конце концов к спокойствию, которое уже ничем не поколеблешь? — сказал я, смеясь. — Все это, конечно, громкие слова, но они — вывод из бытия, которое можно сравнить с существованием летящего шара.

— А что это за существование?

— То, которое веду я. Когда негде остановиться, когда нельзя иметь крова над головой, когда все время мчишься дальше. Существование эмигранта. Бытие индийского дервиша. Бытие современного человека. И знаешь,

эмигрантов гораздо больше, чем думают. К их числу принадлежат иногда даже те, кто никогда не покидал своего угла.

— Звучит неплохо,— сказала Елена.— Это, по крайней мере, лучше, чем мешанская неподвижность.

Я кивнул.

— Все это, конечно, можно выразить и другими словами, менее привлекательными. Если бы сила воображения у нас была чуточку побольше, то во время войны, например, было бы куда меньше добровольцев.

— Все что угодно лучше мешанского прозябания,— сказала Елена и осушила свой бокал.

Я смотрел на нее, когда она пила. Как она еще молода, думал я, молода, неопытна, мила, безрассудна и упряма. Она ничего не знает. Не знает даже того, что мешанское прозябание — это понятие, связанное с моралью, а совсем не с географией.

— Ты что, хотел бы вернуться в это болото? — спросила она.

— Не думаю, что смогу это сделать. Мое отечество против моей воли сделало меня космополитом. Придется им остаться. Назад возврата нет.

— Даже к себе — человеку?

— Даже к человеку,— ответил я.— Разве ты не знаешь, что наша земля — тоже летящий шар. Эмигрант солнца. Назад дороги нет. Иначе — гибель.

— Слава богу.— Елена протянула мне бокал.— А тебе разве никогда не хотелось вернуться?

— Всегда хотелось,— сказал я.— Ведь я никогда не следую собственным теориям. Между прочим, это придает им особую привлекательность.

Елена засмеялась.

— Конечно. Похоже на паутину, которой мы стараемся скрыть что-то другое.

— Что же?

— То, чему нет названия.

— То, что бывает только ночью?

Я не ответил. Я спокойно сидел на кровати. Ветер времени вдруг стих, перестал свистеть у меня в ушах. Ощущение было такое, словно я вместо самолета оказался вдруг на воздушном шаре. Я летел по-прежнему, но шума моторов больше не было.

— Как тебя зовут? — спросила Елена.

— Иосиф Шварц.

Секунду она размышляла.

— Значит, моя фамилия теперь тоже Шварц?

Я улыбнулся.

— Нет, Элен. Это чистая случайность. Человек, от которого я унаследовал это имя, в свою очередь, получил его от другого. Мертвый Иосиф Шварц живет теперь во мне, как вечный жид — уже в третьем поколении. Чужой, мертвый дух-предок.

— Ты не знал его?

— Нет.

— Ты чувствуешь себя другим с тех пор, как носишь другое имя?

— Да,— ответил я.— Потому что это связано с бумагой. С паспортом.

— Даже если он фальшивый?

Я засмеялся. Поистине это был вопрос из другого мира. Настоящий или фальшивый паспорт — это занимало только полицейских.

— На эту тему можно сочинить философскую притчу,— сказал я.— И начинаться она должна с вопроса: что такое имя вообще? Случайность или закономерность?

— Имя есть имя,— сказала она вдруг упрямо — Я за свое боролась. Ведь оно было твоим. А теперь вдруг явился ты, и я узнаю, что ты нашел себе другое.

— Оно было мне подарено, и это был для меня самый драгоценный подарок. Я ношу это имя с радостью. Это проявление доброты. Человечности. Если меня когда-нибудь охватит отчаяние, новое имя напомнит мне о том, что доброта еще существует на свете. А о чем тебе напоминает твое? О роде прусских солдат и охотников с кругозором лис, волков и павлинов?

— Я говорю не о фамилии моей семьи,— сказала Елена.— Я все еще ношу твою фамилию. Ту, прежнюю, господин Шварц.

Я откупорил вторую бутылку вина.

— Мне рассказывали, будто в Индонезии существует обычай время от времени менять имя. Когда человек чувствует, что он устал от своего прежнего «я», он берет себе другое имя и начинает новое существование. Хорошая идея!

— Значит, ты вступил в новое бытие?

— Сегодня,— сказал я.

Она уронила туфлю на пол.

— Разве ничего не берут с собой в новое существование?

— Только эхо,— сказал я.

— Никаких воспоминаний?

— Воспоминания, которые не причиняют боли и не беспокоят, как раз и есть эхо.

— Словно смотришь старый кинофильм? — спросила Елена.

У нее был такой вид, будто она собиралась в следующее мгновение швырнуть бокал мне в лицо. Я взял у нее бокал и опять налил вина.

— Что это за марка? — спросил я.

— «Рейнгартсхаузен». Хороший рейнвейн. Выдержанный и постоянный. Без всяких попыток обратиться в другое вино.

— Короче говоря — не эмигрант?

— Не хамелеон. Не тот, кто ускользает от ответственности.

— Боже мой, Элен! — сказал я. — Неужели я и в самом деле слышу шум крыльев буржуазных приличий? Тебе не хотелось бы выбраться из этого болота?

— Ты заставляешь меня высказывать то, чего я на самом деле не имела в виду, — с гневом сказала она. — Подумать только, о чем мы тут говорим! К чему? В первую ночь! Вместо поцелуев! Неужели мы ненавидим друг друга?

— Мы и целуемся, и ненавидим.

— Слова! Откуда у тебя их столько? Разве хорошо, что мы сидим так и разговариваем? Или у тебя там всегда было общество, что ты научился так говорить?

— Нет, — сказал я. — Совсем напротив. И именно поэтому слова вдруг посыпались из меня, словно яблоки из корзины. Я так же подавлен этим, как и ты.

— Это правда?

— Да, Элен, — сказал я — Это правда.

— Может быть, ты выразишься яснее?

Я покачал головой.

— Я боюсь определений. И уточняющих слов. Можешь не верить, но это так. Добавь к этому еще страх перед чем-то неведомым, что крадется там, снаружи, по улицам, о чем я не хочу говорить и думать, потому что во мне живет глупое суеверие, что опасности нет до тех пор, пока я о ней не знаю. Отсюда и уклончивые речи. Вдруг кажется, будто времени нет — совсем как в кинофильме, когда порвется лента. Все останавливается, и веришь, что ничего плохого не случится.

— Для меня это слишком сложно.

— Для меня тоже. Право, разве не довольно того, что я здесь, с тобой, что ты жива и что меня еще не арестовали?

— И ради этого ты приехал?

Я ничего не ответил. Она сидела, будто амазонка, — обнаженная, с бокалом вина в руке, требовательная, лукавая, прямая и смелая, и я вдруг понял, что я ничего не знаю о ней. И раньше тоже не знал. Я не понимал, как она могла жить со мной раньше. Я вдруг почувствовал себя в роли человека, который был уверен, что владеет прелестной овечкой. Он привык думать так и заботился о ней, как вообще следует заботиться о маленьких ягнятах. И вдруг — в один прекрасный день в руках у него вовсе не овечка, а молодая пума, которой совсем не нужны голубая ленточка и мягкая щетка и которая способна отхватить зубами руку, что ее ласкает.

А вообще положение у меня было незавидное. Произошло то, что нередко бывает в первую ночь после долгой разлуки: я обанкротился самым постыдным образом. Правда, я был готов к этому. И — странное дело — это случилось, может быть, именно потому, что я об этом думал. Как бы то ни было, нелепая ситуация стала фактом: я оказался неспособным выполнить свои супружеские обязанности. Но я ожидал, что нечто подобное может произойти, и поэтому, к счастью, не предпринимал никаких попыток, которые могли бы только ухудшить дело. На эту тему можно размышлять сколько угодно, можно, конечно, сказать, что никто, кроме ломовых извозчиков, не застрахован от таких неприятностей, а женщина способна притвориться, будто она все прекрасно понимает, и начнет даже по-матерински утешать несчастного. И все-таки это чертовски неприятная штука, и всякое проявление чувства в такую минуту смешно.

Я не стал ничего объяснять. Это привело Елену в замешательство. Потом она бросилась в атаку. Она не могла понять, почему я не трогаю ее, и сочла себя оскорбленной. Конечно, мне нужно было бы сказать правду, но я не чувствовал себя достаточно спокойным для этого. Всегда есть две правды: с одной рвешься вперед очертя голову; а другая похожа на осторожный ход, когда думаешь прежде всего о себе. Но за истекшие пять лет я понял, что когда без оглядки бросаешься вперед, то можешь в ответ получить пулю, и этому не следует удивляться.

— Люди в моем положении становятся суверенными, — сказал я Елене. — Они привыкают думать, что если пря-

мо говорить или делать то, что хочется, то непременно выйдет обратное. Поэтому они очень осторожны. Даже в словах.

— Что за бессмыслица!

Я засмеялся.

— Я давно уже утратил веру во всякий смысл. Иначе я стал бы горьким, как дикий померанец.

— Надеюсь, твое суеверие не распространяется слишком далеко?

— Лишь настолько, Элен,— сказал я довольно стойко,— что я верю—стоит сказать о моей безграничной любви к тебе, как в следующую минуту в дверь постучится гестапо.

На секунду она замерла, точно чуткое животное, заслышав тревожный шорох, затем медленно повернула ко мне лицо. Я удивился, как оно изменилось.

— Так это и есть причина? — тихо спросила она.

— Одна из причин,— ответил я.— Как же ты можешь вообще ожидать, что мысли мои упорядочатся, когда я из унылой преисподней перенесен вдруг в рай, грозящий опасностями?

— Я иногда думала о том, как будет все выглядеть, если ты вернешься,— сказала она, помолчав,— представляла себе это совершенно иначе.

Я поостерегся спрашивать, что именно она себе представляла. В любви вообще слишком много спрашивают, а когда начинают к тому же докапываться до сути ответов,— она быстро проходит.

— Всегда бывает иначе,— сказал я.— И слава богу.

Она улыбнулась.

— Нет, Иосиф, ты ошибаешься, нам только кажется так. Есть еще в бутылке вино?

Она обошла кровать походкой танцовщицы, поставила бокал рядом с собой и потянулась. Покрытая загаром неведомого солнца, она была беззаботна в своей наготе, как женщина, которая знает, что желанна, и не раз слышала об этом.

— Когда я должен уйти? — спросил я.

— Завтра прислуги не будет.

— Значит, послезавтра?

Елена кивнула.

— Сегодня суббота. Я отпустила ее на два дня. Она придет в понедельник к обеду. У нее есть любовник. Полицейский с женой и двумя детьми.— Она взглянула на меня, полузакрыв глаза.— Когда я отпустила ее, она была счастлива.

С улицы донесся мерный топот ног и песня.

— Что это?

— Солдаты или гитлеровская молодежь. В Германии теперь всегда кто-нибудь марширует.

Я встал и взглянул сквозь просвет в занавеске. Шел отряд гитлеровской молодежи.

— Самое интересное, что ты совсем не похожа на своих родных.

— Виновата, наверно, француженка-бабушка,— заметила Елена.— В роду у нас была такая. А теперь скрывают, словно она еврейка.

Она зевнула и еще раз потянулась и стала вдруг совершенно спокойной, словно мы уже несколько недель жили вместе и нам не грозила никакая опасность.

Мы оба пока избегали говорить на эту тему. Елена ни разу не спросила меня о жизни в изгнании. Я не знал, что она видела меня насквозь и уже тогда приняла бесповоротное решение.

— Ты хочешь спать? — спросила она.

Был час ночи. Я лег

— Нельзя ли оставить свет? — спросил я — Тогда я сплю спокойнее. Я еще не привык к немецкой ночи.

Она бросила на меня быстрый взгляд

— Если хочешь, засвети все лампы, милый...

Мы улеглись рядом Я едва мог припомнить, что когда-то мы каждую ночь спали вместе. Теперь она опять была рядом, но совсем другая — чужая и странно близкая. Я постепенно снова узнавал ее дыхание, запах волос и — более всего — запах кожи.

Я долго не спал, держа ее в своих объятиях, смотрел на горящую лампу и полуосвещенную комнату, узнавал и не узнавал ее и забыл наконец обо всех тревогах.

— У тебя много было женщин во Франции? — прошептала она, не открывая глаз.

— Не больше, чем это было необходимо,— ответил я.— И никогда не было такой, как ты.

Она вздохнула и сделала движение, желая повернуться на бок, но сон осилил ее, и она снова откинулась назад. Сон медленно овладевал и мною. Сновидений не было, только тишина и дыхание Елены наполняли меня. Проснулся я уже под утро. Ничего больше не разделяло нас, и тогда, наконец, мы слились воедино и опять окунулись в сон, будто в какое-то облако, в котором уже не было мрака, а только светлое мерцание.

Утром я позвонил в отель в Мюнстере, где оставил свой чемодан, и объяснил, что задержался в Оснабрюке и вернусь к вечеру. Номер я просил оставить за собой. Это была необходимая предосторожность: мне совсем не хотелось, чтобы в результате недоразумения в дело ввязалась полиция. Равнодушный голос ответил мне, что все будет сделано. Я еще спросил, не было ли на мое имя писем. Нет, писем не было.

Я положил трубку. Елена стояла рядом и слушала.

— Писем? — спросила она. — От кого они могут быть?

— Ни от кого. Я сказал так, чтобы выглядеть внушительнее. Любопытно, что людей, которые ожидают получения корреспонденции, почему-то не считают мошенниками. По крайней мере, вначале.

— А ты себя причисляешь к этому разряду?

— К сожалению, да. Против своей воли. Правда, не без удовольствия.

Она засмеялась.

— Ты хочешь сегодня вечером ехать в Мюнстер?

— Я не могу больше оставаться здесь. Завтра вернется твоя прислуга. Бродить по городу рискованно, хотя у меня теперь усы, но все равно могут узнать.

— А ты не можешь остановиться у Мартенса?

— Он сказал, что можно спать у него в приемной. А днем? Нет, мне лучше скорее возвратиться в Мюнстер, Элен. Там я могу не бояться, что меня узнают на улице. Через час я уже буду там.

— Долго ли ты пробудешь в Мюнстере?

— Выясню, когда вернусь туда. С течением времени у человека развивается шестое чувство, сигнализирующее об опасности.

— Ты чувствуешь ее здесь?

— Да. С сегодняшнего утра. Вчера не чувствовал.

Она посмотрела на меня, сдвинув брови.

— Тебе, конечно, нельзя выходить, — сказала она.

— По крайней мере — до наступления темноты. А потом надо добраться до вокзала.

Елена не ответила.

— Все будет хорошо, — сказал я. — Не думай об этом. Я научился жить от одного часа до другого, не забывая думать и о грядущем дне.

— В самом деле? — сказала Елена. — Очень удобно.

В голосе у нее опять появилось легкое раздражение, как вчера вечером.

— Не только удобно — необходимо, — возразил я. — И все-таки я то и дело что-нибудь забываю. Бритвенный прибор оставил в Мюнстере. К вечеру буду выглядеть, как бродяга, чего эмигрантам следует избегать.

— Бритвенный прибор есть в ванной, — сказала Елена. — Тот самый, что ты оставил здесь пять лет тому назад. Там же белье. А твои старые костюмы висят в шкафу слева.

Все это она высказала так, словно я пять лет тому назад уехал с другой, а теперь вернулся только затем, чтобы забрать вещи и опять исчезнуть. Я не стал возражать и уточнять. Это ни к чему бы не привело. Она только удивленно посмотрела бы на меня и сказала, что она все не это имела в виду, но что если я так думаю, то... Странно, какие только пути мы не выбираем, чтобы скрыть свои искренние чувства.

Я отправился в ванную. Меня не тревожили никакие сантименты. Еще три года назад я решил не считать свое изгнание несчастьем, а смотреть на него как на разновидность холодной войны, которая почему-то оказалась необходимой для моего развития. Такое настроение спасало от ненужных терзаний.

Весь день прошел в какой-то неразберихе чувств. Предстоящий отъезд обдавал холодом нас обоих. Для Елены это было новым испытанием. Меня спасала привычка, я уже был готов к разлуке, едва только оставил Францию. Она же, еще не успев пережить мой приезд, уже стояла перед расставанием. У нее было слишком мало времени, чтобы справиться с уязвленной женской гордостью.

Кроме того, возникла странная реакция на минувший вечер Волна чувств откатилась назад, погибшие обломки выступили наружу и показались вдруг больше, чем были на самом деле.

Мы были осторожны, похоже, чуждались друг друга. Я с удовольствием провел бы часок в одиночестве, чтобы опомниться, но как только я думал о том, что это не просто час, а двенадцатая часть того времени, что мне еще оставалось провести с Еленой, у меня опускались руки.

Раньше, в спокойные годы, я иногда спрашивал себя, что я стал бы делать, если бы вдруг узнал, что мне осталось жить только месяц. И никогда не мог ответить на этот вопрос. Каждая вещь раздваивалась и обращалась в свою противоположность. То мне казалось, что я непременно должен что-то предпринять, то вдруг оказывалось, что именно этого я ни в коем случае делать не должен. Так было и сейчас.

С Еленой, кажется, происходило то же самое. Это было сплошное мучение, каждый жест причинял боль, словно вокруг не осталось ничего, кроме острых, ранящих углов. Наступали сумерки, и страх потери опять стал настолько сильным, что мы будто вновь увидели друг друга.

В семь часов раздался звонок у входной двери. Я насторожился. Для меня звонок мог означать только полицию.

— Кто это? — прошептал я.

— Сиди тихо, — ответила Елена. — Может быть, кто-нибудь из знакомых. Если я не отвечу, он уйдет.

Звонок, однако, раздался снова. Затем кто-то энергично постучал в дверь.

— Иди в спальню, — шепотом приказала Елена.

— Кто это?

— Я не знаю. Ступай в спальню. Я постараюсь от него отделаться. Так будет лучше. Иначе обратят внимание соседи.

Я встал и бросил быстрый взгляд вокруг: не осталось ли в комнате чего-нибудь из моих вещей. Затем я выскользнул в спальню.

Я слышал, как Елена спросила:

— Кто там?

Ей ответил мужской голос.

— Это ты? — спросила она. — Что-нибудь случилось?

Я приоткрыл дверь. Из квартиры был черный ход, через кухню, но воспользоваться им я уже не мог: меня заметили бы. Единственное, что осталось, — спрятаться в шкафу, где висели ее платья. Это был даже не шкаф, а большая ниша в стене, отделенная от комнаты дверцей. Там было довольно места, чтобы не задохнуться.

Я услышал, как мужчина вместе с Еленой вошел в комнату. По голосу я узнал ее брата. Это он засадил меня тогда в концентрационный лагерь.

Я взглянул на туалетный столик Елены. Никакого оружия. Только нож для бумаги с яшмовой рукояткой. Не раздумывая, я сузил его в карман и спрятался в шкаф. Если он меня обнаружит, придется защищаться, чтобы спастись, убить его и затем попытаться бежать.

— Телефон? — сказала Елена. — Я не слышала. Я спала. А что, собственно, случилось?

Это было мгновение величайшей опасности. Все было напряжено до такой степени, что, казалось, достаточно искры — и вспыхнешь, как трут. В такие секунды становишься ясновидцем, мысль опережает события. Прежде

чем. Георг заговорил, я уже почувствовал, что обо мне он ничего не знает.

— Я несколько раз звонил тебе по телефону,— сказал он — Никто не ответил. Ни ты, ни прислуга. Мы подумали, что с тобой что-нибудь случилось. Почему ты не открывала?

— Я спала,— спокойно ответила Елена,— и отключила телефон. У меня болела голова и все еще болит. Ты разбудил меня.

— Болела голова?

— Да, я приняла две таблетки, и мне теперь лучше заснуть.

— Ты приняла снотворное?

— Нет, от головной боли. Ступай, Георг. Я хочу лечь.

— Все это ерунда,— заявил Георг.— Одевайся и пойдем погуляем. Погода чудесная. Свежий воздух лучше всяких таблеток.

— Но я уже приняла их, и мне надо заснуть. Я никуда не хочу идти.

Они еще некоторое время разговаривали. Георг хотел зайти позже, но она отказалась. Брат поинтересовался, достаточно ли у нее еды в доме. О да, конечно. Где прислуга? Отпущена до вечера, скоро вернется и приготовит ужин

— Значит, все в порядке? — спросил Георг.

— А что, собственно, может быть не в порядке?

— Да нет, я просто так сказал. Лезут всякие нелепые мысли в голову. В конце концов...

— О чем ты говоришь? — резко спросила Елена.

— Ну, как тогда...

— Что тогда?

— Ну, ладно, ладно. Незачем об этом говорить. Раз все в порядке — вопрос исчерпан. Я все-таки твой брат, поэтому и интересуюсь.

— Конечно.

— Что?

— Ты мой брат.

— Мне бы хотелось, чтобы ты поняла это лучше. Я желаю тебе добра.

— Да, да,— сказала Елена нетерпеливо.— Конечно, ты много раз говорил мне об этом.

— Что с тобой сегодня? Ты какая-то другая.

— Разве?

— Я хочу сказать, более рассудительная. Если опять будет такой же приступ...

— Никакого приступа не будет. Я говорю тебе, у меня просто головная боль, вот и все! И ты знаешь; что я ненавижу, когда меня контролируют.

— Никто тебя не контролирует. Просто я забочусь о тебе.

— Пожалуйста, не заботься. Мне ничего не надо.

— Ты всегда так говоришь. Тогда...

— Не будем говорить об этом,— быстро оборвала его Елена.

— Да-да, конечно. Я, во всяком случае, не собираюсь. Ты была у врача?

— Да,— ответила Елена, помолчав.

— Что он говорит?

— Ничего.

— Сказал же он что-нибудь!

— Сказал, что мне нужен покой,— сердито бросила Елена,— что если я устану и у меня будет болеть голова, то мне нужно лечь и заснуть, не вступая в спор и не выясняя предварительно, согласуется ли это с моим долгом гражданки великого и славного тысячелетнего рейха.

— Он это сказал?

— Нет, это сказал не он,— поспешно ответила она, повышая голос,— это добавила я сама. А он лишь посоветовал мне не волноваться зря! Таким образом, он не совершал никакого преступления, и его не нужно сажать в концентрационный лагерь. Он искренний приверженец правительства. Достаточно этого?

Георг пробормотал что-то, видимо, собираясь уйти. Но я по опыту знал, что как раз тут наступает очень опасный момент, именно сейчас может произойти что-нибудь непредвиденное. Я почти наглухо закрыл дверцу шкафа, оставив лишь узкую щель. В то же мгновение я услышал, как он направляется в спальню. Я увидел, как мелькнула его тень,— он прошел в ванную. Мне показалось, что Елена следом за ним вошла в комнату, но я не заметил ее. Я до отказа притянул дверцу и очутился в полной темноте, между платьями Елены, сжимая в руке нож для бумаги.

Я знал, что Георг не заметил меня, что, выйдя из ванной, он попросается и уйдет. И все-таки что-то сжимало мне горло. Пот струился по телу. Страх перед неизвестным — это одно; совсем другое, когда он принимает осязаемую форму. Ощущение страха вообще можно победить выдержкой или какой-нибудь уловкой. Но если видишь то, что тебе грозит, тут плохо помогают и навыки и психологические ощущения.

Странно, с тех пор, как я перешел границу, я ни разу не задумывался о страхе и не хотел задумываться. Это образумило бы меня и заставило бы остаться за границей, но что-то во мне восставало против благоразумия. А память наша вообще лжет, давая возможность выжить,— старается смягчить невыносимое, покрывая его налетом забвения. Вы это испытали?

— Да, я знаю это,— сказал я.— Но это не забвение. Это полусон. Один только толчок — и все мгновенно оживает.

Шварц кивнул.

— Я стоял без движения в темном, замкнутом пространстве, насыщенном запахом духов и пудры, среди платьев, окруженный ими, словно мягкими крыльями громадных летучих мышей. Я дышал мелко и часто, стараясь не шелестеть шелком. Я боялся, что начну вдруг чихать или кашлять. Страх подымался с пола и окутывал меня черным облаком. Мне казалось, я задыхаюсь.

Когда я был в концлагере, я не испытал там самого худшего. Со мной обращались плохо — и только. Это было обычно. Кроме того, меня потом выпустили. Поэтому воспоминания мои потускнели, потеряли остроту. Теперь же опять все встало передо мной: все, что я видел, что пришлось испытать другим, о чем слышал, в чем имел возможность убедиться. Я не мог понять, какое безумие, какое помрачение заставило меня покинуть страны, где мне в худшем случае могла грозить высылка или тюрьма. Теперь они казались недоступной гаванью человечности.

Между тем Георг некоторое время оставался в ванной. Стена была тонкая, а Георг, как истинный представитель расы господ, отнюдь не старался вести себя тихо. Он со стуком отбросил крышку унитаза и занялся отправлением естественных надобностей. Я все слышал, и позже эти мгновения показались мне верхом унижения, но тогда это свидетельствовало лишь о том, что он совершенно беззаботен и ни о чем не подозревает. Мне припомнились случаи из уголовной хроники, когда преступники, ограбив квартиру, перед тем как скрыться, гадят в комнатах. Они делают это и в насмешку, и чтобы заглушить страх, потому что позыв к таким действиям говорит прежде всего о страхе.

Георг спустил воду и, громко стуча каблуками, вышел из ванной. Он миновал спальню, стукнула входная дверь.

Дверца шкафа распахнулась. Передо мной возник темный силуэт Елены.

— Он ушел,— прошептала она.

Я вышел из шкафа. На кого я был похож? На Ахиллеса, захваченного в женском наряде? Не знаю. Переход от страха к смущению и стыду был почти мгновенным. И хотя я привык к тому, что страх уходит так же быстро, как обрушивается на человека, я не мог сразу прийти в себя. Я еще чувствовал чьи-то пальцы на своем горле и не знал, что меня ждет: высылка или смерть.

— Ты должен немедленно уехать,— прошептала Елена.

Я взглянул на нее. Почему-то мне показалось, что в глазах у нее я должен прочесть презрение. Может быть, потому, что сразу, как только миновала опасность, я почувствовал себя униженным в своей мужской гордости, хотя ни перед кем, кроме Елены, я такого чувства не испытывал.

Но на лице у нее был только один страх.

— Ты должен уехать,— повторила она.— Это безумие — приехать сюда.

Хотя секунду назад я сам думал об этом, но сейчас отрицательно покачал головой.

— Надо подождать,— сказал я.— Может быть, он прохаживается возле дома. А вдруг он вернется?

— Не думаю. Он ничего не подозревает.

Елена вышла в гостиную, раздвинула занавески и выглянула украдкой в окно.

Свет из спальни падал в открытую дверь на пол, как золотой ромб. Она стояла у окна, напряженно согнувшись, будто высматривала дичь.

— На вокзал идти нельзя,— прошептала она.— Тебя там могут узнать. Но ты должен уехать! Я попрошу у Эллы автомобиль и отвезу тебя в Мюнстер. Что мы за идиоты! Тебе невозможно здесь оставаться.

Она стояла у окна близко, но я знал, что она уже далека от меня. Все предосторожности, которыми мы спасались в течение дня, вдруг рухнули. Перед ней сразу выросла грозящая опасность, она увидела ее собственными глазами.

Все предстало вдруг резко и обнаженно, без прикрас, и это ранящее сознание тут же, мгновенно превратилось в жгучее желание. Я хотел, я должен был сжать ее в объятиях, она нужна была мне вся, без остатка. Хотя бы еще один, последний раз. Ошеломленная Елена отвела мои руки и прошептала:

— Нет, нет, не сейчас! Мне нужно позвонить Элле! Подожди, не теперь! Мы должны...

Мы больше ничего не должны, подумал я. У меня остается один только час — а потом пусть рушится хоть весь мир. Почему я не почувствовал этого сильнее? Почему я не разбил проклятую стеклянную стену между собой и своим чувством? Уж если мой приезд был бессмысленным, то это становилось еще бессмысленнее. Если мне повезет и я вернусь обратно, я должен захватить от Елены с собой — туда, в серую пустоту — что-то большее, чем нелепые воспоминания об осторожности и неясном соединении в полусне. Я хотел Елену бодрствующую, ясную, со всеми ее чувствами, глазами, мыслями — всю, а не так, как слепое животное, на рассвете, после долгого сна.

Она защищалась. Она шептала, что Георг может вернуться. Может быть, она в самом деле опасалась этого. Но я слишком часто переживал опасность и умел забывать о ней, как только она проходила. Сейчас, в комнате, наполненной запахом платьев и духов Елены, с кроватью, затянутой сумерками, мне нужно было только одно: обладать ею всем своим существом, всем, что во мне есть.

В эту минуту единственное, что наполняло меня глухой болью разлуки, было сознание невозможности обладать ею полнее и глубже, чем это дано человеку. Я бы хотел осязать ее тысячами рук и уст, я бы окружил ее собою, будто скорлупой, чтобы чувствовать ее всю вплотную, кожа к коже, любя и наслаждаясь — и все же тоскуя древней тоской, что это только кожа и кожа, а не кровь, только соединение, а не слияние.

VII

Я слушал Шварца, не прерывая. Он говорил, обращаясь ко мне, но я понимал, что я для него всего лишь стена, от которой иногда отлетает эхо. Я и сам старался смотреть на себя, как на стену, иначе я не смог бы внимать ему без смущения, а он не смог бы рассказывать о том, что он в последний раз еще вызывал из темноты, прежде чем оно исчезнет в беззвучно пересыпающемся песке воспоминаний.

Я был чужой человек, чей путь случайно, всего на одну ночь, пересекся с его путем. Он не чувствовал передо мной никакого стеснения. Он был закутан в анонимный плащ далекого, умершего Шварца. Сбросив этот плащ, он сбросил бы тем самым и принятое на себя «я» и мгновенно затерялся бы в безымянной толпе, бредущей к чер-

ным воротам на последней границе, где не требуют никаких бумаг и откуда не высылают обратно.

Кельнер подошел и сказал, что, кроме английских дипломатов, в ресторане появился немецкий. Он показал его нам. Посланец Гитлера сидел через пять столиков от нас. С ним были еще трое, в том числе две женщины. Дамы выглядели упитанными и здоровыми. На них были шелковые платья резких цветов. Человек, на которого указал кельнер, сидел к нам спиной, что меня вполне устраивало и успокаивало.

— Я подумал, что это вам будет интересно, — сказал кельнер. — Ведь вы тоже говорите по-немецки.

Шварц и я невольно обменялись эмигрантскими взглядами: при этом — после короткого взмаха век — глаза равнодушно отводят в сторону, будто вас ничто на свете не интересует. Эмигрантский взгляд — это совсем другое, чем, скажем, немецкий взгляд эпохи Гитлера — боязливое озирание по сторонам, прежде чем сказать что-нибудь шепотом, по секрету. Обе эти разновидности, однако, принадлежат нашей эпохе.

Шварц безучастно посмотрел на кельнера.

— Мы его знаем, — сказал он. — Принесите нам лучше еще вина.

— Елена отправилась к своей подруге, чтобы попросить у нее машину, — спокойно продолжал он. — Я остался в квартире один. Был вечер, окна были открыты. Я выключил свет во всех комнатах, чтобы никто не мог меня заметить снаружи. Если бы кто позвонил, я не должен был отвечать. В случае появления Георга я мог ускользнуть через кухню. Прошло полчаса. Я сидел возле окна и прислушивался к уличному шуму. Постепенно во мне начало расти чувство утраты. Оно было похоже на сумерки, которые ползли дальше и дальше, затопляя и опустошая все вокруг, стирая и затушевывая горизонт. На чашах призрачных весов покачивались друг против друга прошлое и будущее. В обеих была зияющая пустота. Посредине стояла Елена, и коромысло весов покоилось у нее на плечах. И она тоже, я чувствовал это, покидала меня.

Мне казалось, что я нахожусь в середине жизни. Достаточно сделать шаг — и весы качнутся, и чаша будущего начнет опускаться, наполняясь серой тьмой, и утраченное равновесие не вернется уже больше никогда.

Меня пробудил шум подъехавшего автомобиля. В свете уличного фонаря я увидел, как Елена вышла из машины и исчезла в подъезде. Я пересек темное, мертвое жилище

и услышал звук поворачивающегося в замке ключа. Она быстро переступила порог.

— Едем,— сказала она.— Тебе надо обратно в Мюнстер?

— Я оставил там чемодан. И прописался под фамилией Шварца. Куда же мне еще деваться?

— Расплатись в отеле и перейди в другой.

— В какой?

— Да, в какой? — Елена задумалась — Конечно, опять в Мюнстере,— сказала она наконец.— Ты прав. Куда же еще? Это ближе всего.

Некоторые необходимые вещи я уложил в чемодан. Мы решили, что мне не следует садиться в машину у дома. Лучше сделать это чуть дальше, на Гитлерплац. Елена сама вынесет чемодан.

Я незаметно вышел на улицу. Навстречу дул теплый ветер. Листва деревьев шумела в темноте. Елена догнала меня на площади.

— Садись,— прошептала она.— Быстрее!

Это была закрытая машина типа «кабриолет». Лицо Елены было слабо освещено мерцающими приборами на доске управления. Глаза ее блестели.

— Я должна вести машину очень осторожно,— сказала она.— Малейшее недоразумение, и в дело вмешается полиция. Как раз этого нам только и не доставало.

Я ничего не ответил. О таких вещах лучше не говорить, иначе они обязательно случаются. Елена рассмеялась и направила машину вдоль городского вала. В ней пенилась лихорадочная энергия, словно это было всего лишь интересным приключением. Она все время разговаривала, обращаясь то к себе, то к машине, когда мы обгоняли кого-нибудь или уступали дорогу. Если приходилось тормозить возле полицейских, управлявших движением, она принималась шептать заклинания; когда ее задерживал красный свет на перекрестках, она подгоняла его:

— Ну же, исчезни! Давай, зеленый!

Я прямо-таки не знал, что подумать. Для меня это был наш последний час. Я еще не догадывался тогда, какое решение она приняла.

Наконец мы выехали из города, и она немного успокоилась.

— Когда ты хочешь уехать из Мюнстера? — спросила она.

Я не знал этого потому, что у меня не было никакой определенной цели. Я знал только, что долго там оста-

ваться нельзя. Судьба спускает дураку только до поры до времени. Затем следует предупреждение. Тому, кто не внимает, она наносит удар. Иногда можно почувствовать заранее, что время истекло. Тогда я как раз это почувствовал.

— Завтра,— сказал я.

Она помолчала.

— А как ты собираешься это сделать?

Я уже думал об этом, оставаясь один в темной квартире. Сесть в поезд и попросту предъявить паспорт на границе— это казалось мне слишком рискованным. У меня могли спросить другие бумаги, разрешение на выезд, отметку в паспорте, удостоверение об оплате налога. Ничего этого у меня не было.

— Тем же путем,— сказал я.— Через Австрию. Через Рейн на швейцарской границе.

Я повернулся к ней:

— Не будем лучше говорить об этом. В крайнем случае, как можно меньше.

Она кивнула.

— Я взяла с собой деньги. Тебе они понадобятся. Раз ты будешь переходить границу нелегально, ты можешь их взять с собой. Их еще обменивают в Швейцарии?

— Да. Но разве они тебе не нужны?

— Я не могу иметь их при себе. На границе проверяют. Разрешается брать пару марок, не больше.

Я смотрел на нее, раскрыв рот. О чем она ведет речь? Она, наверно, оговорилась.

— Сколько у тебя денег?

— Не так уж мало.— Она быстро взглянула на меня.— Я отложила их уже давно. Они здесь.

Она указала на небольшой кожаный портфель.

— Банкноты по сто марок и пачка билетов по двадцать марок, чтобы не пришлось разменивать сотенные, если захочешь купить что-нибудь в Германии. Возьми их, не считая. Так или иначе они твои.

— Разве они не конфисковали мой текущий счет?

— Да, но с запозданием. Эти деньги я успела взять раньше. В банке мне помогли. Я берегла их для тебя и хотела как-нибудь переслать, но не знала, где ты.

— Я не писал тебе, думал, что за тобой следят. Я не хотел, чтобы тебя тоже засадили в лагерь.

— Ты молчал не только из-за этого,— спокойно сказала Елена.

— Может быть.

Мы проехали деревню с белыми вестфальскими домиками под соломенными крышами. На улице бродили молодые парни в мундирах. Из пивной доносилась песня Хорста Весселя¹.

— Будет война,— вдруг сказала Елена.— Ты поэтому приехал?

— Откуда ты знаешь, что будет война?

— От Георга. Ты приехал поэтому?

Я не понимал, зачем ей это нужно было знать. Ведь бегство начиналось сызнова.

— Да, Элен,— ответил я.— Это одна из причин.

— Ты хотел взять меня с собой?

— Боже мой, не говори об этом, пожалуйста, Элен,— выдавил я наконец из себя, не сводя с нее глаз.— Ты не знаешь, что это такое. Это вовсе не похоже на веселое приключение. А если начнется война, будет еще хуже. Всех немцев сразу же арестуют.

Мы затормозили у железнодорожного переезда. В палисаднике, у домика сторожа, цвели розы и георгины. Ветер тихонько трогал прутья забора, словно это были струны арфы.

Вскоре подъехали и остановились другие машины — сначала маленький «оппель» с четырьмя толстыми, серьезными господами, затем открытый зеленый двухместный автомобиль с пожилой женщиной. Наконец, совсем рядом бесшумно втиснулся большой черный «мерседес», похожий на катафалк. За рулем сидел шофер в черной эсэсовской форме, сзади расположились два офицера войск СС с очень бледными лицами. Машина стояла так близко, что я мог бы дотронуться до нее рукой.

Пришлось ждать довольно долго, пока не прошел поезд. Елена сидела молча. Сверкающий хромом «мерседес» продвинулся вперед, почти касаясь радиатором шлагбаума. Он почему-то походил на карету для покойников, в которой везли двух мертвецов.

А ведь мы едва лишь успели заговорить о войне. И тут же возле нас возник ее призрак: черные мундиры, мертвенно-бледные лица, серебряные черепа на фуражках, черный лимузин. И сразу показалось, что тишина ночи наполнена не дыханием роз, а горьким запахом полыни и тления.

Поезд с шумом промчался мимо, похожий на грохочущую, сверкающую жизнь. Это был скорый со спальными

¹ Нацистский гимн.

ми вагонами и ярко освещенным вагоном-рестораном. Мелькнули столики, накрытые белыми скатертями.

Когда поднялся шлагбаум, «мерседес», как черная торпеда, рванулся в темноту, оставляя позади другие автомашины. Его фары бросали перед собой два мощных луча, в их резком свете все бледнело и теряло краски, а деревья мгновенно превращались в безжизненные черные скелеты.

— Я еду с тобой,— шепнула Елена.

— Что? Что ты сказала?

— А почему бы и нет?

Она остановила машину. Тишина обрушилась на нас, как немой удар. Потом начали проступать шумы ночи.

— Почему же нет? — спросила она вдруг. Я заметил, что она сильно волнуется.— Неужели ты опять хочешь оставить меня одну?

Ее лицо в голубом сиянии приборов на доске управления было совсем бледным. Я вспомнил белые лица эсэсовских офицеров. Похоже было, что вокруг, в тиши июньской ночи, уже бродила смерть, касаясь то того, то другого.

И в это мгновение я понял, чего я боялся больше всего на свете: войны, которая вдруг могла разделить нас так, что мы никогда бы не нашли друг друга — даже после того, как она окончится. Ибо кто же мог надеяться — даже при величайшей самоуверенности и уповая на личное счастье — найти что-нибудь после землетрясения огромной разрушительной силы.

— Если ты приезжал не ради того, чтобы взять меня с собой, тогда это преступление, которому нет названия! Разве ты этого не понимаешь? — сказала Елена, дрожа от гнева.

— Да,— ответил я.

— Почему же ты играешь в прятки?

— Нет,— сказал я.— Я не играю. Просто ты не знаешь, что это такое.

— А ты все знаешь? Зачем же ты тогда приехал? Отвечай, но только не лги! Чтобы еще раз попрощаться?

— Нет.

— Тогда зачем же? Чтобы остаться здесь и совершить самоубийство?

Я покачал головой. Я наконец понял, что был только один возможный для нее ответ, который я имел право дать ей в ту минуту, даже если это было неправдой.

— Чтобы взять тебя с собой,— сказал я.— Неужели ты до сих пор этого не поняла?

Ее лицо мгновенно изменилось. Гнев исчез. Оно стало прекрасным.

— Да,— прошептала она.— Я поняла. Но ты все-таки должен был сказать мне об этом. Неужели ты этого не понимаешь?

Я собрал все мужество, что у меня было.

— Я хотел сказать тебе это сотни раз, Элен, я готов говорить тебе об этом каждую минуту. Я с удовольствием поговорю на эту тему еще раз после того, как объясню, что это совершенно невозможно.

— Нет, это возможно. У меня есть паспорт.

Я замолчал. Это слово блеснуло, будто молния, рассеивая тучи сомнения.

— У тебя есть паспорт? — повторил я.— Заграничный паспорт?

Елена открыла сумочку, достала небольшую книжку и подала мне. Это был паспорт. Значит, она имела его при себе. Я глядел на него, как на святой Грааль¹. Да он и был им. Паспорт! Это было благополучие, закон — все!

— Давно он у тебя?

— Два года,— сказала она — Сроком на пять лет. Я пользовалась им трижды. Один раз — для поездки в Австрию, когда она была еще независимой, потом два раза была в Швейцарии.

Я перелистал его. Мне нужно было прийти в себя. Да, это была реальность. Страницы паспорта хрустели у меня в пальцах. До меня наконец дошло: да, Елена могла покинуть Германию. До этого я думал, что можно было говорить только о тайном бегстве и нелегальном переходе границы.

— Все очень просто, не правда ли? — сказала Елена, наблюдая за мной.

Я кивнул. Конечно, в ту минуту у меня был ужасно глупый вид.

— Значит, ты можешь сесть в поезд и уехать,— сказал я и еще раз посмотрел паспорт.— Признаться, это мне никогда не приходило в голову. Но у тебя нет визы на въезд во Францию.

— Я могу спокойно добраться до Цюриха и получить французскую визу там. А на выезд в Швейцарию разрешения не требуется.

¹ В средневековых германских сказаниях — священная чаша, охранявшаяся рыцарями

— Правильно.— Я взглянул на нее.— А твоя семья. Отпустят ли они тебя?

— А я и не буду их спрашивать. И ничего им не скажу. Скажу просто, что должна съездить в Цюрих, показаться врачу. Я уже делала это раньше.

— Разве ты больная?

— Конечно, нет,— ответила Елена.— Это было только уловкой, чтобы получить паспорт. Чтобы выбраться отсюда. Я почти задыхалась.

Я вспомнил, что Георг спрашивал ее, была ли она у доктора.

— Значит, ты не больна? — спросил я ее еще раз.

— Говорю тебе, нет. Хотя мои родные убеждены в этом. Я уверяла их, что я больна, чтобы они оставили меня в покое и чтобы иметь возможность уезжать за границу. Мне помог Мартенс. Кроме того, всегда требуется время, чтобы убедить настоящего немца в том, что в Цюрихе могут быть специалисты, знающие больше, чем берлинские авторитеты.

Елена вдруг засмеялась.

— Не смотри так мрачно! Дело вовсе не идет о жизни и смерти. Ведь это же не бегство под покровом ночи. Просто однажды утром я поеду на несколько дней в Цюрих, чтобы показаться врачам, как я уже делала это не раз. Может быть, при этом я смогу увидеться с тобой, если ты окажешься там. Это выглядит лучше?

— Да,— сказал я.— Однако едем. Я все еще чувствую себя так, будто меня попеременно окунают то в кипяток, то в ледяную воду и я никак не могу сообразить, что где. Почему-то мне никогда не приходило это в голову. И это оказалось настолько простым, что теперь мне кажется: из ближнего леса вот-вот вырвется бригада СС.

— Все кажется очень простым, любимый, когда человека охватывает отчаяние,— нежно сказала Елена.— Странная компенсация, не правда ли? Наверно, так бывает всегда?

— Я хотел бы, чтоб нам никогда не пришлось думать об этом.

Машина с проселка свернула на шоссе.

— А я готова всегда жить так,— без малейших признаков отчаяния сказала Елена.

Мы вместе вошли в отель. Она поразительно быстро освоилась с моим положением.

— Я войду вместе с тобой в холл,— сказала она.— Мужчина с женщиной не так подозрителен, как один.

— Ты быстро овладеваешь этой наукой.

Она покачала головой.

— Я научилась этому еще до того, как ты вернулся. Во время доносов. Национальное возрождение, о котором они кричали, похоже на камень. Когда его поднимаешь с земли, из-под него выползают гады. Чтобы скрыть свою мерзость, они пользуются громкими словами.

Портье подал мне ключ, и я поднялся к себе в номер. Елена осталась ждать меня внизу.

Я вошел в номер. Чемодан стоял у двери. Я огляделся. Это была безрадостная гостиничная комната, такая же, как и другие, в которых мне приходилось жить за последние годы. Я вдруг задумался. Мне хотелось вспомнить, как я пробирался сюда, но образы расплывались. Я не мог припомнить, когда стоял на берегу, следил ли я за рекой из-за кустов,— вспомнил только, как плыл, держась за доску.

Я поставил принесенный чемодан рядом со старым и опять спустился к Елене.

— Сколько времени ты можешь пробыть здесь? — спросил я.

— Машину нужно вернуть сегодня ночью.

Я посмотрел на нее. Опять во мне поднялась такая волна желания, что несколько мгновений я не мог говорить. Я растерянно смотрел на зеленые и коричневые кресла холла, на стойку портье, на резко освещенный стол с письменными принадлежностями в глубине — и понимал, что провести Елену в номер невозможно.

— Мы можем еще вместе поужинать,— сказал я.— Давай будем держаться так, словно завтра утром мы вновь увидимся.

— Не завтра,— возразила Елена.— Послезавтра

Послезавтра для нее, конечно, что-то означало. Но для меня оно не существовало. Может быть, это был всего лишь ничтожный шанс в лотерее, где выигрышей почти нет, но зато очень много пустых номеров. Слишком часто я встречал послезавтра совсем иначе, чем предполагал накануне.

— Послезавтра,— сказал я.— Или днем позже. Это зависит от погоды. Не будем об этом думать сегодня.

— А я ни о чем другом не могу думать,— возразила Елена.

Мы отправились в погребок возле кафедрального собора. Это был ресторан в старом немецком стиле. Мы устроились за столиком, где нас никто не мог подслушать.

Я заказал бутылку вина. Мы обсудили все, что предстояло сделать.

Елена завтра же хотела уехать в Цюрих. Там она меня будет ждать. Я хотел воспользоваться тем же путем — через Австрию и Рейн, — который уже был мне знаком. Приехав в Цюрих, я должен был ей позвонить.

— А если ты не доберешься до Цюриха? — спросила она

— Из швейцарской тюрьмы можно написать. Подожди с неделю. Если ты ничего не услышишь обо мне — возвращайся назад.

Елена посмотрела на меня долгим взглядом. Она знала, что я имел в виду. Из немецких тюрем письма не приходят.

— Граница сильно охраняется? — прошептала она.

— Нет, — сказал я. — И не думай, пожалуйста, больше об этом. Все будет хорошо. Я выберусь отсюда.

Мы пытались не думать о разлуке. Но нам это плохо удавалось. Она стояла между нами, будто гигантская черная колонна, и единственное, что мы могли сделать, — это бросать из-за нее редкие взгляды на наши окаменевшие лица.

— Опять все так, как пять лет тому назад, — сказал я. — Только на этот раз мы уходим вместе.

Она затрясла головой.

— Будь осторожен! Ради бога, будь осторожен! Я буду ждать. Не неделю, больше! Сколько ты захочешь. Только не рискуй.

— Я буду осторожен. Прошу тебя, не будем говорить об этом. Мы можем спугнуть осторожность, которая так нужна. Тогда будет плохо.

Она положила свою руку поверх моей.

— Только теперь я поняла, что ты вернулся. Сейчас, когда ты уходишь вновь! Слишком поздно!

— Я тоже, — ответил я. — Хорошо, что хоть сейчас мы это почувствовали.

— Слишком поздно, — прошептала она. — Только теперь, когда ты уже уходишь.

— Не только теперь. Мы знали это всегда. Если бы не так — разве я пришел бы? Разве ты ждала бы меня? Только теперь в первый раз мы можем сказать это друг другу.

— Я не все время ждала, — сказала она.

Я молчал. Я тоже не ждал, но я знал, что я не смею сказать ей этого. Тем более в такую минуту. Мы оба рас-

крылись и были совершенно беззащитны. Я подумал, что если мы когда-нибудь вновь будем вместе, то к этому мгновению в шумном ресторане в Мюнстере мы будем возвращаться вновь и вновь, чтобы найти в нем силу и уверенность. Оно станет зеркалом, в которое можно будет смотреть и видеть два образа: то, что судьба хотела бы из нас сделать, и то, чем мы на самом деле стали под ее рукой. А это самое главное. Ведь ошибки приходят только тогда, когда первое отражение исчезает.

— Тебе надо идти,— сказал я.— Будь осторожна. Веди машину медленно.

Губы у нее задрожали. Только тут я заметил иронию своих слов. Мы стояли на ветреной улице, между старыми домами.

— Будь осторожен и ты,— прошептала она.— Тебе это нужнее.

Некоторое время я метался по своей комнате, потом не выдержал и отправился на вокзал. Здесь я купил билет до Мюнхена и узнал, когда отправляются поезда. Оказалось, что один уходит в тот же вечер. Я решил уехать с ним.

Город затихал. Я остановился на соборной площади. В темноте смутно угадывалась громада старого собора. Я думал о Елене и о том, что нам предстояло, но разглядеть будущее я не мог, оно маячило передо мной — смутное и большое, как высокие затемненные окна в боковом фасаде собора. И я уже не знал, правильно ли я сделал, что согласился взять ее с собой. Может быть, впереди гибель? Что это: невольное мое преступление или неслыханная милость, дарованная судьбой? Или то и другое вместе?

Недалеко от отеля я вдруг услышал сдавленные голоса и шаги. Двое эсэсовцев вышли из подъезда дома и вытолкнули на улицу человека. Свет уличного фонаря упал на него, и я увидел продолговатое лицо. Оно было словно из воска. Из рта по подбородку тянулась струйка крови. Череп у него был совершенно голый, только на висках темнели клочья волос. Широко раскрытые глаза были наполнены таким ужасом, какого я, наверно, никогда не видел. Человек молчал. Конвоиры нетерпеливо подталкивали его вперед. Все происходило почти в полном молчании, и от этого в сцене было что-то особенно гнетущее, призрачное.

Проходя мимо, эсэсовцы смерили меня бешеным, выывающим взглядом; остановившиеся глаза пленника на

секунду задержались на мне, словно он хотел и не решался попросить о помощи. Губы его задвигались, но он ничего не сказал.

Вечная сцена! Слуги насилия, их жертва, а рядом — всегда и во все времена — третий, зритель, тот, что не в состоянии пошевелить пальцем, чтобы защитить, освободить жертву, потому что боится за свою собственную шкуру. И, может быть, именно поэтому его собственной шкуре всегда угрожает опасность.

Я знал, что ничем не могу помочь арестованному. Вооруженные эсэсовцы без труда справились бы со мной. Я вспомнил историю, которую рассказывал мне однажды кто-то. Человек увидел, как один эсэсовец схватил и принялся избивать еврея, и поспешил на помощь несчастному. Он нанес эсэсовцу такой удар, что тот упал без сознания.

— Бежим! — крикнул он арестованному.

Но тот принялся проклинать своего освободителя: теперь он наверняка пропал, теперь ему припомнят еще и это. И вместо того чтобы бежать, он, глотая слезы, принес воды и начал приводить в чувство того самого эсэсовца, который потом поведет его на смерть.

Я припомнил это, но мне не стало легче, я был в смятении. Презрение к себе, страх, чувство бессилия и вместе с тем едкое ощущение собственной безопасности перед лицом смерти, грозящей другому, — все это кипело у меня в груди.

Я зашел в гостиницу, взял вещи и поехал на вокзал, хотя было еще рано. Я решил, что лучше посидеть в зале ожидания, чем скрываться в номере. Риск, которому я тем самым подвергался, вызывал хотя бы немного уважения и самому себе. Я понимал, что это ребячество, но ничего не мог поделать с собой.

VIII

Я ехал в поезде всю ночь и следующий день и без всяких затруднений прибыл в Австрию. Газеты были наполнены требованиями, официальными заверениями, сообщениями о пограничных инцидентах — то есть всем тем, что предшествует войне. Самое замечательное в этом то, что всегда сильные страны обвиняют слабые в агрессивности.

Попадались поезда с войсками. Однако большинство людей, с которыми мне пришлось говорить, не верили в войну. Они надеялись, что будет новый Мюнхен и что Ев-

ропа слишком слаба и деморализована, чтобы отважиться на войну с Германией. Во Франции, я заметил, было совсем другое: там все знали, что войны уже не избежать. Но тот, кому угрожают, вообще узнает всегда все раньше и лучше, чем агрессор

Я приехал в Фельдкирх и снял комнату в маленьком пансионе. Стояло лето, местечко было полно туристов. Два моих чемодана повсюду внушали уважение. Я уже заранее решил бросить их и взять с собой как можно меньше вещей, чтобы они меня не стесняли. Я уложил все в рюкзак — с ним я здесь никому не бросался в глаза. Сховайкой пансиона я рассчитался за неделю вперед.

Я пустился в путь на следующий день, добрался до небольшой лужайки в лесу вблизи границы и дождался там наступления ночи. Помню, что меня страшно кусали комары. В крошечном озерке я увидел голубого тритона с гребнем на спине. Он беззаботно плавал в прозрачной воде, то опускаясь на дно, то поднимаясь вверх, чтобы глотнуть воздуха, то и дело показывая пятнистое, желтовато-красное брюшко. Я смотрел и думал, что для него весь мир ограничивался пределом этой лужи; тут было все: Швейцария, Германия, Франция, Африка, Иокотама. Он мирно нырял и кувыркался в воде — в полной гармонии с наступающим вечером.

Я соснул пару часов, потом начал готовиться. Я был уверен в успехе. Не прошло, однако, и десяти минут, как рядом со мной вырос, словно из-под земли, служащий таможенной стражи.

— Ни с места! Что вы здесь делаете?

Я понял, что он давно, еще с сумерек, следил за мной. Я сказал ему, что я всего лишь мирный турист и просто гулял в лесу. Он не обратил на мои слова никакого внимания.

— Вы объясните все это на таможенном посту, — сказал он и повел меня обратно. Он шел сзади и держал в руках револьвер. Я был разбит и подавлен, и только в самом отдаленном уголке сознания настойчиво билась мысль: как спастись? Пока это казалось невозможным, стражник был, видно, старый служака. Он шел позади на значительном расстоянии, так что я не мог напасть на него внезапно. Бежать? Но я не сделал бы и пяти шагов, как он тут же подстрелил бы меня.

В таможене он открыл маленькую комнату.

— Входите. Будете ждать здесь.

— Сколько времени?

— Пока вас не допросят.

— Зачем же запирать меня? Ведь я ничего не сделал.

— Тогда вам нечего опасаться.

— А я и не опасаюсь,— тут я снял рюкзак с плеч.—

Начинайте допрашивать.

— Мы начнем, когда сочтем это нужным,— сказал он и оскалился. Зубы у него были отличные. Повадками он походил на охотника.— Рано утром придет начальник. Спать можете в кресле. Ждать вам осталось недолго. Хайль Гитлер!

Я огляделся. К окну приделана решетка. Дверь прочная, заперта снаружи. Рядом слышался говор. Бежать невозможно. Я уселся и принялся ждать. Я чувствовал, как меня оставляет надежда.

Наконец небо начало сереть, наливаясь голубизной. Стало светло. Раздались громкие голоса, запахло кофе. Дверь отперли. Я встал и принялся зевать, словно я только что проснулся. Вошел таможенный чиновник, толстый, красный. Он показался мне добродушнее, чем первый.

— Наконец-то! — сказал я.— Здесь чертовски неудобно спать.

— Что вам нужно было возле границы? — спросил чиновник и принялся ворошить мой рюкзак.— Собрались удирать или занимаетесь контрабандой?

— Разве подержанные штаны и рубахи годятся для контрабанды? — спросил я.

— Допустим, что нет. Но что же вы все-таки делали там ночью?

Он отодвинул рюкзак в сторону. Я вдруг вспомнил о деньгах, которые были со мной. Если он их найдет, я пропал. Может быть, он не станет меня обыскивать?

— Я хотел полюбоваться ночным Рейном,— сказал я, улыбаясь.— Ведь я турист. И кроме того, романтик.

— Откуда вы?

Я назвал местечко и пансион, в котором остановился.

— Утром я думал туда вернуться,— сказал я.— Я снял там комнату и внес плату за неделю вперед. Там находятся мои чемоданы. Разве это похоже на контрабанду?

— Так, так,— сказал он.— Мы все это проверим. Через час мы вместе с вами отправимся туда. Посмотрим, что у вас в чемоданах.

Шли мы довольно долго. Толстяк все время был начеку, как овчарка. Он вел рядом свой велосипед и курил. Наконец мы пришли.

— Вот он! — закричал кто-то из окна пансиона. В следующее мгновение передо мной оказалась хозяйка, багровая от возмущения. — Боже мой, мы уже думали, что с вами что-нибудь случилось! Где вы были всю ночь?

Утром она увидела у меня в комнате нетронутую постель и решила, что меня убили. Тем более что в окрестностях уже было несколько случаев ограбления. Она позвала полицию.

Полицейский вышел вслед за ней из дома.

— Я заблудился, — сказал я возможно спокойнее. — К тому же стояла такая прекрасная ночь! Я спал на вольном воздухе и почувствовал себя как в детстве. Это было чудесно! Очень жаль, что я причинил вам беспокойство. К тому же я нечаянно оказался слишком близко от границы. Пожалуйста, объясните представителям таможни, что я живу здесь.

Хозяйка охотно подтвердила это. Таможенник был вполне удовлетворен, но тут вмешался полицейский.

— Откуда вас привели? — спросил он. — Со стороны границы? А кто вы такой? У вас есть документы?

У меня перехватило дыхание. Деньги, что мне передала Елена, были спрятаны в нагрудном кармане. Если он их обнаружит, сразу же возникнут подозрения, что я намеревался бежать с ними в Швейцарию. А что будет дальше — неизвестно.

Я назвал себя, но паспорта предъявлять не стал. Внутри страны немцы и австрийцы в паспортах не нуждались.

— Кто нам докажет, что вы не преступник, которого мы как раз ищем? — спросил полицейский, манерами своими тоже напоминавший охотника.

Я засмеялся.

— Смеяться тут нечего, — сердито сказал он и принял вместе с таможенниками рыться в моих чемоданах.

Я держался так, словно все это шутка. Однако я не представлял, что я им скажу, когда они начнут обыскивать меня самого и найдут деньги. Я решил заявить, что ехал сюда, намереваясь произвести в окрестностях ряд покупок.

К моему изумлению, в боковом отделении второго чемодана чиновник нашел письмо, о котором я не имел никакого понятия. Это был чемодан, который я взял из Оснабрюка. В нем лежали мои старые вещи. Елена сама вынесла его и положила в машину.

Полицейский вскрыл письмо и начал читать. Затаив дыхание, я следил за выражением его лица. Я ничего не знал

об этом письме и надеялся только, что он нашел какую-нибудь старую, не представляющую интереса записку.

Наконец он усмехнулся и посмотрел на меня.

— Вас зовут Иосиф Шварц?

Я кивнул

— Почему же вы не сказали этого сразу? — спросил он.

— Я с самого начала говорил это, — возразил я, пытаюсь разобрать просвечивающую крупную надпись в верхней части письма.

— Это правда, он говорил, — подтвердил таможенник.

— Так, значит, это письмо касается вас? — спросил полицейский.

Я протянул руку. Он секунду помедлил, но все-таки отдал письмо. Теперь я увидел, что это был бланк местной организации национал-социалистской партии в Оснабрюке. Я медленно прочитал текст. В нем говорилось, что партийные инстанции Оснабрюка просят местные власти оказывать всяческое содействие члену национал-социалистской партии Иосифу Шварцу, который командирован для выполнения важного секретного задания. Внизу стояла подпись: Георг Юргенс, обер-штурмбаннфюрер. Я узнал почерк Елены.

Я держал письмо в руках.

— Это верно? — спросил полицейский. В голосе его слышалось уважение.

Теперь я вынул свой паспорт, протянул его, указал на имя и фамилию и спрятал обратно.

— Секретное государственное дело, — коротко бросил я.

— Итак?

— Итак, — сказал я серьезно, пряча также и письмо, — надеюсь, что для вас этого достаточно?

— Разумеется, — полицейский прищурил бледно-голубые глазки. — Я понимаю. Наблюдение за границей?

Я предостерегающе поднял руку.

— Пожалуйста, ни слова. Я никому не должен говорить об этом. Но вас, вижу, не проведешь. Вы член национал-социалистской партии?

— Конечно, — сказал полицейский.

У него были рыжие волосы. Я похлопал его по потному плечу.

— Молодец! Пойдемте выпьем по стаканчику вина после всех трудов.

Шварц печально усмехнулся и посмотрел на меня.

— Иной раз удивляешься, с какой легкостью люди,

профессией которых должно быть недоверие, попадают на удочку. Вы сталкивались с этим?

— Они попадают, если сунешь им бумагу. А так—нет. Но какая умница ваша жена! Она словно предвидела, что вам понадобится такое письмо.

— Она решила, что если она предложит его мне, то я откажусь из-за опасения или щепетильности. Пожалуй, я в самом деле не взял бы. А так оно оказалось при мне и спасло меня.

Я слушал Шварца с возрастающим интересом. Оркестр заиграл фокстрот. Оба дипломата — английский и немецкий — присоединились к танцующим. Англичанин танцевал лучше. Немцу требовалось больше пространства. Он танцевал с подчеркнутой агрессивностью и двигал свою партнершу перед собой, как пушку. На мгновение танцующие показались мне ожившими фигурами на шахматной доске. Оба короля — немецкий и английский — порой подходили угрожающе близко друг к другу, но англичанин каждый раз ловко уклонялся.

— Что же было потом? — спросил я Шварца.

— Я вернулся к себе в комнату, — продолжал он. — Я был совершенно измучен. Мне надо было успокоиться и решить, что делать дальше. Елена буквально вытянула меня из лап смерти. Это было столь неожиданно, что походило на внезапное появление бога в античной трагедии, когда, казалось бы, неизбежное крушение вдруг сменяется благополучным исходом.

Тем не менее я должен был как можно скорее уехать отсюда, прежде чем полицейский начнет размышлять или говорить об этой истории. Поэтому я решил, пока мне везет, довериться своему счастью.

Я справился о ближайшем скором поезде в Швейцарию. Он уходил через час. Хозяйке я объявил, что должен на день съездить в Цюрих и возьму с собой только один чемодан. Я скоро вернусь, поэтому второй оставляю у нее и прошу его сохранить. Потом я отправился на вокзал. Знаком ли вам этот мгновенный отказ от предосторожностей, которым человек следовал годами?

— Да, — сказал я. — Но тут часто ошибаешься. Почему-то вдруг начинаешь думать, что судьба обязана дать реванш. Ничего подобного. Она никому ничем не обязана.

— Разумеется, — согласился Шварц. — Но иногда перестаете вдруг доверять старым методам и думаешь, что нужно попробовать что-нибудь новое. Елена говорила мне, что я должен просто вместе с нею в поезде пересечь гра-

ницу. Я не послушался ее и едва не погиб, если бы не ее предусмотрительность. Поэтому я подумал, что теперь должен подчиниться и сделать так, как она хотела.

— И вы это сделали?

Шварц кивнул.

— Я взял билет первого класса. Роскошь всегда вызывает доверие. Только тогда, когда поезд уже тронулся, я вспомнил о деньгах, что были при мне. В купе я не мог их спрятать. Я был не один. Кроме меня, там сидел еще человек с бледным лицом. Чувствовалось, что он очень волнуется. Оба туалета в вагоне оказались заняты. Между тем поезд прибыл на пограничную станцию. Я инстинктивно бросился в вагон-ресторан, сел за столик и заказал бутылку дорогого вина и несколько блюд.

— У вас есть багаж? — спросил кельнер.

— Да, в соседнем вагоне первого класса.

— Может быть, вы дождетесь, пока пройдет досмотр? Я мог бы это место оставить за вами.

— Боюсь, что это продлится довольно долго. Принесите мне пока поесть, я голоден. Уплатить я могу вперед, чтобы вы не опасались, что я сбегу.

Я надеялся, что в вагоне-ресторане смогу избежать проверки, однако ошибся. Не успел кельнер принести вино и тарелку супа, как появились двое в форме. К тому времени я засунул деньги под войлочную подстилку на столе, поверх которой лежала скатерть. Письмо Елены я вложил в паспорт.

— Паспорт, — отрывисто сказал чиновник.

Я подал ему паспорт.

— Есть багаж? — спросил он, не успев даже раскрыть паспорт.

— Только небольшой чемодан, — сказал я. — В соседнем вагоне первого класса.

— Вы должны нам показать его, — сказал второй.

Я встал.

— Оставьте место за мной, — сказал я кельнеру.

— Конечно! Вы же уплатили вперед.

Первый чиновник взглянул на меня.

— Вы уже уплатили?

— Да. Ведь иначе я не смог бы пообедать, за границей уже надо платить валютой. А у меня ее нет.

Чиновник вдруг засмеялся.

— Неплохая идея! — заметил он. — Странно, что она не многим приходит в голову. Идите вперед. Мы осмотрим еще один вагон.

— А мой паспорт?

— Мы вас найдем.

Я вошел к себе в купе. Мой спутник сидел там, и вид у него был еще более беспокойный. Пот катился с него градом. Платок, которым он вытирал себе лицо, был совсем мокрый.

Я взглянул на вокзал и открыл окно. Если бы меня захотели арестовать, высказывать, конечно, было бессмысленно. Однако открытое окно все-таки несколько успокаивало.

Второй чиновник появился в дверях.

— Ваш багаж?

Я вынул чемодан и раскрыл его. Он взглянул внутрь, затем осмотрел чемодан моего спутника.

— Хорошо,— сказал он и попрощался.

— А паспорт? — спросил я.

— Он у моего коллеги.

Его коллега появился в ту же минуту. Оказалось, однако, что это уже другой — член национал-социалистской партии, худой, в очках и высоких сапогах.

Шварц улыбнулся.

— Как немцы любят сапоги!

— Они нужны им,— сказал я.— Ведь они бродят по колену в дерьме.

Шварц осушил стакан. Вообще в течение ночи он пил мало. Я взглянул на часы: было уже половина четвертого. Шварц заметил это.

— Теперь осталось уже немного,— сказал он.— У вас будет еще достаточно времени, чтобы нанять лодку и сделать все остальное. Я уже приближаюсь к периоду счастья, а о нем долго рассказывать невозможно.

— Чем закончилась проверка? — спросил я.

«Партайгеноссе»¹ прочел письмо Елены. Он вернул мне паспорт и спросил, есть ли у меня в Швейцарии знакомые. Я кивнул.

— Кто?

— Господа Аммер и Ротенберг.

Это были имена двух нацистов, которые работали в Швейцарии. Каждый эмигрант, побывавший в этой стране, знал и ненавидел их.

— А кто еще?

— Наши друзья в Берне. Надеюсь, не нужно перечислять их всех?

¹ «Товарищ по партии» — так нацисты называли друг друга.

Он выбросил руку вперед.

— Конечно! Желаю удачи! Хайль Гитлер!

Мой спутник, однако, оказался менее удачливым. Его заставили предъявить все бумаги и подвергли перекрестному допросу. Он потел, ваикался и выглядел очень жалким. Я не мог больше этого вынести.

— Можно мне вернуться в вагон-ресторан? — спросил я.

— Разумеется! — откликнулся «партайгеноссе». — Приятного аппетита!

Вагон-ресторан был полон. За моим столиком сидела компания американцев.

— Где же мое место? — спросил я кельнера.

Он пожал плечами.

— Я не мог его сохранить за вами. Что поделаешь с этими американцами? Они не понимают ни слова по-немецки и садятся где им вздумается. Займите другое место, чуть подалее. Не все ли равно, за каким столом сидеть? Я уже переставил туда ваше вино.

Я не знал, что делать. Семья американцев весело и бесцеремонно заняла все четыре места за моим столиком. Там, где лежали мои деньги, сидела сейчас прелестная шестнадцатилетняя девушка с фотоаппаратом. Если бы я стал настаивать на том, чтобы обязательно занять свое место, это возбудило бы только всеобщее внимание. Мы находились еще на германской территории.

Я был в нерешительности.

— Присядьте пока за тот стол, — посоветовал кельнер. — Вы сможете занять свое прежнее место, как только оно освободится. Американцы едят быстро — пару бутербродов с апельсиновым соком, и все. А я затем подам вам настоящий обед.

— Хорошо.

Я сел так, чтобы наблюдать за деньгами. Странно — еще минуту назад я отдал бы все, лишь бы пробраться за границу. Но теперь я сидел и думал только о деньгах. Я готов был напасть на этих американцев, чтобы заполучить деньги, едва только поезд окажется в Швейцарии.

Мимо, по перрону, провели маленького потного человека из моего купе. При взгляде на него меня охватило глубокое бессознательное удовлетворение, что это был не я. Я жалел его, но дешевое чувство сострадания, охватившее меня, было всего лишь небольшой подачкой судьбе. Конечно, я был отвратителен, но я ничего не мог и не хотел предпринять. Я хотел спастись, и мне нужны были мои

деньги. Ведь это были не просто деньги — обыкновенное, шкурное, эгоистическое личное счастье, — они означали безопасность, покой, жизнь с Еленой, пусть хотя бы в течение нескольких месяцев. Нам никогда не освободиться от этого. Но наше второе «я», которое не поддается контролю, всегда наблюдает за этой комедией.

— Господин Шварц, — прервал я его, — как вы все-таки опять завладели деньгами?

— Вы правы, — смутился он. — Я отвлекся. Но эта нелепая тирада посвящена все той же теме. В вагон-ресторан вошли швейцарские таможенники. Оказалось, что у американцев были не только чемоданы, но и крупные вещи в багажном вагоне. Они удалились, и дети последовали за ними. Кельнер оказался прав: с едой американцы управились быстро. Стол был убран, и я пересел опять на свое место. Я положил руку на скатерть и почувствовал небольшую выпуклость.

— С таможенным досмотром покончено? — спросил кельнер, переставляя бутылку ко мне на стол.

— Конечно, — сказал я. — Принесите мне жаркое. Мы уже в Швейцарии?

— Еще нет. Как только тронемся, переедем границу. Он ушел.

Когда же наконец тронется поезд? Меня охватило последнее лихорадочное нетерпение. Оно вам, конечно, знакомо. Я смотрел в окно на перрон. Там стояли и ходили люди. Приземистый человечек в смокинге и коротких брюках продавал с никелированной тележки шоколад и гупольдкирхенское вино, яростно зазывая покупателей. Показался мой знакомый — вспотевший пассажир, теперь он был один и быстро бежал к вагону.

— Однако вы здорово пьете, — слышался голос кельнера.

— Что вы сказали?

— Я говорю, что вы пьете вино, словно заливаете пожар.

Я взглянул на бутылку. Она была почти пуста. Я не заметил, как выпил ее. В этот момент вагон дрогнул. Бутылка наклонилась и упала. Я успел подхватить ее. Поезд тронулся.

— Принесите мне еще одну, — сказал я.

Кельнер исчез. Я вытащил деньги из-под скатерти и сунул их в карман. Вернулись американцы. Они уселись за стол, откуда я только что пересел, и заказали кофе. Девочка принялась фотографировать пейзажи. У нее был

хороший вкус: мы проезжали через красивейшие места мира.

Кельнер принес вино.

— Мы уже в Швейцарии.

Я заплатил и дал ему хорошие чаевые.

— А вино возьмите себе,— сказал я.— Оно мне уже не нужно. Я хотел отметить одно событие, но, кажется, и одной бутылки оказалось более чем достаточно.

— Это оттого, что вы выпили ее натошак,— объяснил он.

— Возможно.

Я встал.

— Может быть, у вас день рождения?

— Юбилей,— сказал я.— Золотой юбилей.

Маленький человек в купе некоторое время сидел молча. Пот с него, правда, уже перестал литься, но видно было, что костюм и рубашка у него насквозь мокрые.

Он спросил:

— Мы уже в Швейцарии?

— Да,— ответил я.

Он ничего не сказал и поглядел в окно. Мимо проплыла станция с швейцарским названием. Поезд остановился. На перроне появился начальник станции — швейцарец. Двое швейцарских полицейских болтали возле груды багажа, предназначенного для погрузки. В киоске продавали швейцарский шоколад и колбасу.

Человек высунулся в окно и купил швейцарскую газету.

— Это уже Швейцария? — спросил он мальчишку.

— Да. Что еще? Десять чернушек.

— Что?

— Десять чернушек! Десять сантимов, за газету!

Он отсчитал деньги с таким видом, будто получил крупный выигрыш. Перемена валюты, кажется, в конце концов его убедила. Мне он не поверил. Он развернул газету, просмотрел ее и отложил в сторону.

Поезд опять пошел. Усыпляюще стучали колеса. Меня охватило глубокое чувство свободы. Мой спутник начал что-то говорить. Я заметил, что губы у него двигаются, и только тогда услышал его голос.

— Наконец-то выбрались,— сказал он и пристально посмотрел на меня.— Наконец-то выбрались из вашей проклятой страны, господин «партайгеноссе»! Из страны, которую вы, свиньи, превратили в казарму и концентрационный лагерь! Слава богу, хоть здесь, в Швейцарии, вы

уже не в состоянии приказывать! И человек может открыть рот, не боясь получить удар сапогом в зубы! Что вы сделали из Германии, вы, разбойники, убийцы и палачи!

В углах рта у него появилась пена. Глаза готовы были выскочить из орбит. Он походил на истеричку, которая вдруг увидела жабу. Он считал меня тоже одним из «партайгеноссе» и — после того, что он услышал, — он был, конечно, прав.

Я слушал его совершенно спокойно. Я был спасен! Что по сравнению с этим значило все остальное?

— Вы, должно быть, очень смелый человек, — сказал я наконец. — Ведь я по крайней мере на двадцать фунтов тяжелее вас и сантиметров на пятнадцать выше. Впрочем, постарайтесь высказаться. Это облегчает

— Насмешки? — крикнул он, выходя из себя. — И сейчас еще хотите надо мной издеваться? Ошибаетесь! Это прошло, и прошло навсегда! Что вы сделали с моими стариками? Что вам сделал мой отец? А сейчас? Сейчас вы хотите поджечь весь мир?

— Вы думаете, будет война? — спросил я.

— Так-так! Издевайтесь дальше! Будто вы этого не знаете! А что же еще остается вам делать с вашим тысячелетним рейхом и чудовищным вооружением? Вам, профессиональным преступникам и убийцам! Если вы не начнете войну, ваше мнимое благополучие лопнет — и вы вместе с ним!

— Я тоже так думаю, — сказал я и почувствовал вдруг, как по лицу скользнул теплый луч позднего солнца. Его прикосновение было похоже на ласку. — Но что будет, если Германия победит?

Человечек в пропотевшем костюме молча уставился на меня и судорожно глотнул

— Если вы победите, значит, бога больше нет, — сказал он с трудом.

— Я тоже так думаю.

Я встал.

— Не прикасайтесь ко мне, — зашипел он. — Вы будете арестованы! Я остановлю поезд! Я донесу на вас! На вас и так нужно донести. Потому что вы шпион! Я слышал, о чем вы говорили!

«Этого еще не доставало», — подумал я.

— Швейцария — свободное государство, — сказал я — Здесь не арестовывают на основании доносов. Вы этому, кажется, неплохо научились там, в Германии.

Я взял чемодан и отправился в другое купе. Я ничего не хотел объяснять этому сумасшедшему. Но сидеть рядом с ним мне было противно. Ненависть — это кислота, которая разъедает душу, все равно, ненавидишь ли сам или испытываешь ненависть другого. Я узнал это за время своих странствий.

Так я приехал в Цюрих.

IX

Музыка на мгновение смолкла. Со стороны танцующих послышались возбужденные возгласы. Сразу же вслед за этим оркестр заиграл с удвоенной силой. Женщина в канареечном платье, с фальшивыми бриллиантами в волосах выступила вперед и запела.

То, что должно было случиться, — случилось. Немец во время танцев столкнулся с англичанином. Каждый из них обвинял другого в том, что это было сделано умышленно. Распорядитель и два кельнера попытались сыграть роль Лиги наций и смягчить разгоревшиеся страсти, но их не слушали.

Оркестр оказался умнее: он переменял ритм и вместо фокстрота заиграл танго. Дипломаты оказались вынужденными или стоять посреди танцующих, что было просто глупо, или танцевать дальше.

Немец, кажется, не умел танцевать танго, в то время как англичанин, еще стоя на месте, принялся отстукивать ритм. Танцующие пары то и дело толкали обоих. Повод для ссоры потерял остроту. Награждая друг друга свирепыми взглядами, оба отошли к своим столикам.

— Соперники, — презрительно сказал Шварц. — Почему нынешние герои не устраивают дуэлей?

— Итак, вы приехали в Цюрих, — сказал я.

Он слабо улыбнулся.

— Уйдем отсюда.

— Куда?

— Наверняка здесь найдется какой-нибудь кабачок, открытый всю ночь. А этот похож на могилу, где танцуют и играют в войну.

Он расплатился и спросил кельнера, нет ли тут поблизости какого-нибудь другого заведения.

Тот вырвал из блокнота листок бумаги, написал адрес и объяснил нам, как туда пройти.

Мы вышли. Стояла чудесная ночь. Небо еще было усыпано звездами, но на горизонте зоря и море уже слились

в первом объятии и исчезли в голубом тумане. Небо стало выше, сильнее чувствовался запах моря и цветов. Все обещало ясный день.

При свете солнца в Лиссабоне есть что-то наивно-театральное, пленительное и колдовское. Зато ночью он превращается в смутную сказку о городе, который всеми своими террасами и огнями спускается к морю, словно празднично наряженная женщина, склонившаяся к своему возлюбленному, потонувшему во мраке.

Некоторое время я и Шварц стояли молча.

— Вот так некогда и мы представляли себе жизнь, не правда ли? — мрачно сказал он. — Тысячи огней и улицы, уходящие в бесконечность.

Я ничего не ответил. Для меня жизнь заключалась в корабле, что стоял на Тахо, и путь его лежал не в бесконечность — в Америку.

Я был по горло сыт приключениями — жизнь забросала нас ими, словно тухлыми яйцами. Самым невероятным приключением становились теперь паспорт, виза, билет. Для тех, кто против своей воли превратился в изгнанника, обычные будни давно уже казались несбыточной фантазмагорией, а самые отчаянные авантюры обращались в сухую муку.

— Цюрих произвел на меня тогда такое же впечатление, как Лиссабон на вас этой ночью, — сказал Шварц. — Там вновь началось то, что мне казалось уже потерянным бесповоротно. Вы знаете, конечно, что время — это слабый настой смерти. Нам постоянно, медленно подливают его, словно безвредное снадобье. Сначала он оживляет нас, и мы даже начинаем верить, что мы почти что бессмертны. Но день за днем и капля за каплей он становится все крепче и крепче и в конце концов превращается в едкую кислоту, которая мутит и разрушает нашу кровь.

И даже если бы мы захотели ценой оставшихся лет купить молодость, — мы не смогли бы сделать этого потому, что кислота времени изменила нас, а химические соединения уже не те, теперь уже требуется чудо...

Он остановился и посмотрел на мерцающий в ночи город

— Я бы хотел, чтобы в памяти эта ночь осталась самой лучшей в моей жизни, — прошептал он. — Она стала самой ужасной из всех. Вы думаете, память не может этого сделать? Может! Чудо, когда его переживаешь, никогда не бывает полным, только воспоминание делает его таким. И если счастье умерло, оно все-таки не может уже изменить-

ся и выродиться в разочарование. Оно по-прежнему остается совершенным. И если я его еще раз вызываю теперь, разве оно не должно остаться таким, каким я его вижу? Разве не существует оно до тех пор, пока существую я?

Мы стояли на лестнице. Неотвратимо приближался рассвет, и Шварц маячил, словно лунатик, словно печальный, забытый образ ночи. Мне вдруг стало его смертельно жаль.

— Это правда,— осторожно сказал я.— Разве мы можем знать истинную меру своего счастья, если нам неизвестно, что ждет нас впереди?

— В то время, как мы каждое мгновение чувствуем, что нам его не остановить и что нечего даже и пытаться сделать это,— прошептал Шварц.— Но если мы не в состоянии схватить и удержать его грубым прикосновением наших рук, то, может быть — если его не спугнуть,— оно останется в глубине наших глаз? Может быть, оно даже будет жить там, пока живут глаза?

Он все еще смотрел вниз, на город, где стоял дощатый гроб, а перед пристанью ждал корабль. На мгновение мне вдруг показалось, что лицо его вот-вот распадется — так сильно было в нем выражение мертвящей боли. Оно застыло, будто парализованное.

Потом черты его вновь пришли в движение, рот уже не напоминал черную, зияющую дыру, а глаза ожили и перестали походить на два куска гальки. Мы пошли вниз к гавани.

— Боже мой,— заговорил он снова.— Кто мы такие? Вы, я, остальные люди? Что такое те, которых нет больше? Что более истинно: человек или его отражение? Живое, наполненное мукой и страстью,— или воспоминание о нем, лишенное ощущения боли?

Может быть, мы как раз и сливаемся теперь воедино — мертвая и я; может быть, только сейчас она вполне принадлежит мне,— подчиняясь заклинаниям неведомой, безутешной алхимии, откликаюсь только по моей воле и отвечая только так, как хочу этого я,— погибшая и все-таки еще существующая где-то в крошечной фосфоресцирующей клетке моего мозга? Или, может быть, я не только уже потерял ее, но теряю теперь, в медленно тускнеющем воспоминании — вновь и вновь, каждую секунду все больше и больше. А я должен удержать ее, боже! Должен! Понимаете вы это?

Он ударил себя в лоб.

Мы подошли к улице, которая длинными пологими



ступенями спускалась с холма. Днем здесь, видно, проходило какое-то празднество. Между домами, на железных прутьях, еще висели увядшие гилянды, источавшие теперь запах тления, ряды ламп, украшенных кое-где большими абажурами в виде тюльпанов. Пovyше, метрах в двадцати друг от друга, покачивались пятиконечные звезды из маленьких электрических лампочек. По-видимому, улицу украшали для какой-то процессии или одного из многих религиозных праздников. Теперь, в наступающем утре, все это выглядело жалким, обшарпанным и холодным, и только чуть ниже, где, вероятно, что-то не ладилось с контактами, все еще горела одна звезда необычно резким, бледным светом, какой всегда приобретают электрические огни в вечерних сумерках или на рассвете.

— Вот здесь можно и причалить, — сказал Шварц, открывая дверь в кабачок, где еще горел свет. К нам подошел большой загорелый человек, пригласил садиться. В низком помещении стояли две бочки. За одним из столиков сидели мужчина и женщина. Хозяин сказал, что у него есть только вино и холодная жареная рыба.

— Вы знаете Цюрих? — спросил Шварц.

— Да. В Швейцарии меня четыре раза ловила полиция. Тюрмы там хорошие. Гораздо лучше, чем во Франции. Особенно зимой. К сожалению, если вы захотите отдохнуть, вас продержат там не больше двух недель. Потом выпустят, и кордебалет на границе начинается сызнова.

— Решение пересечь границу открыто будто освободило что-то во мне, — сказал Шварц. — Я вдруг перестал бояться. При виде полицейского на улице сердце у меня уже не замирало. Я испытывал, конечно, слабый толчок, но он был таким легким, что в следующий же момент я с еще большей силой чувствовал свою свободу.

Я кивнул.

— Ощущение опасности всегда обостряет восприятие жизни. Но только до тех пор, пока опасность лишь маячит где-то на горизонте.

— Вы думаете, только до тех пор? — Шварц странно посмотрел на меня. — Нет, и дальше тоже, вплоть до того, что мы называем смертью, и даже после нее. И где вообще та потеря, которая могла бы остановить биение чувства? Разве город не остается жить и после того, как вы его покинули? Разве он не остается в вас, даже если он будет разрушен? И кто же в таком случае знает, что такое умереть? Может быть, жизнь — это всего лишь луч, медленно скользящий по нашим меняющимся лицам? Но если

это так, то не было ли у нас уже какого-то другого праблика еще раньше, до рождения, того, что сохранится и после разрушения, временного и преходящего?

Между стульев, крадучись, прошла кошка. Я бросил ей кусок рыбы. Она подняла хвост и отвернулась.

— Вы встретили вашу жену в Цюрихе? — осторожно спросил я.

— Я встретил ее в отеле. Всякая принужденность и скованность — уклончивая стратегия боли и обиды — исчезли без следа. Я встретил женщину, которую я не знал, но любил, с которой я как будто был связан пятью годами безмолвного прошлого, но годы эти уже не имели над ней никакой власти. Казалось — с тех пор, как Елена пересекла границу, — яд времени перестал на нее действовать.

Теперь прошлое принадлежало нам, а не мы ему. Оно изменилось, и вместо обычной угнетающей картины минувших лет оно отражало лишь нас самих, не связанных с ушедшим. Мы решили вырваться из окружающего и сделали это, и теперь все, что было раньше, оказалось отрезанным, а невозможное превратилось в реальность: это было ощущение нового бытия без единой морщины старого.

Шварц взглянул на меня, и опять странное выражение отчаяния скользнуло по его лицу.

— И необычайное оставалось. Его удерживала Елена. Я этого не мог, особенно в конце. Но ей это удавалось, и, значит, все было хорошо. Ведь только об этом и стоило думать. Разве не так? Теперь это должен суметь сделать я, поэтому я и говорю с вами! Да, только поэтому!

— Вы остались в Цюрихе? — спросил я.

— Только неделю мы жили в этом городе, — сказал Шварц своим прежним тоном. — И только там, в единственной стране посреди взбудораженной Европы, не было ощущения, что мир готов рухнуть. У нас были деньги на несколько месяцев жизни. Елена захватила с собой драгоценности, которые мы могли продать. Во Франции у меня еще хранились рисунки умершего Шварца.

О, это лето 1939 года! Казалось, бог еще раз захотел показать миру, что такое мирное бытие и что он потеряет с войной. Дни стояли теплые, тихие, безмятежные. Позже, когда мы уехали к Лаго Маджоре¹, на юг Швейцарии, они стали еще чудеснее.

Елена стала получать письма от своей семьи. То и дело ей звонили. Уезжая, она ничего не сказала, кроме того,

¹ Озеро

что едет в Цюрих к своему врачу. Ее родственникам, используя превосходную систему связи, не составило большого труда узнать ее адрес. Теперь ее засыпали запросами и упреками. Она могла еще вернуться в Германию. Надо было решать.

Мы жили с ней в одном отеле, но в разных номерах. Мы были женаты, но в наших паспортах стояли разные фамилии, и так как всегда и всюду решает бумага, мы не имели права жить вместе. Это странное положение, но оно еще более усиливало чувство того, что время для нас изменилось. Один закон признавал нас мужем и женой, другой — нет. Новая обстановка, долгая разлука и, самое главное, Елена, которая так сильно изменилась, очутившись здесь, — все это создавало впечатление зыбкой нереальности, соединенной в то же время со сверкающе-непринужденной действительностью. И над всем этим еще клубились последние клочья разорванного тумана снов, о которых уже не хотелось вспоминать. Я тогда еще не понимал, из чего возникло это чувство, я воспринимал его как неожиданный подарок, словно кто-то вдруг разрешил мне повторить кусок дрянного бытия и на этот раз наполнить его настоящей жизнью. Из крота, пробиравшегося без паспорта через границы, я сделался вдруг птицей, не знающей уже никаких границ.

Однажды утром, зайдя к Елене, я застал у нее некоего господина Краузе, которого она представила мне как сотрудника немецкого консульства. Едва я переступил порог, как она заговорила со мной по-французски и назвала меня Лемуаром. Краузе не разобрал и на плохом французском спросил меня, не сын ли я известного художника.

Елена засмеялась.

— Господин Лемуар женевец, — заявила она. — Однако он говорит также и по-немецки. С Ремуаром его роднит только восхищение его картинами.

— Вы любите картины импрессионистов? — обратился ко мне Краузе.

— Господин Лемуар сам владеет коллекцией, — сказала Елена.

— У меня только несколько рисунков, — возразил я. Назвать наследство умершего Шварца коллекцией казалось мне чрезмерным. Это был, конечно, новый каприз Елены. Однако хорошо помня, как один из ее капризов спас меня от концентрационного лагеря, я включился в игру.

— Известно ли вам собрание картин Оскара Рейнгарта в Винтертуре? — любезно спросил меня Краузе.

Я кивнул.

— У Рейнгарта есть одно полотно Ван Гога, за которое я отдал бы целый месяц жизни.

— Какой именно месяц? — поинтересовалась Елена.

— Какое полотно Ван Гога? — спросил Краузе.

— «Сад в доме сумасшедших».

Краузе улыбнулся.

— Чудесная вещь!

Он завел разговор о других картинах, перешел к Лувру. Тут я еще раз помянул добрым словом покойного Шварца. Благодаря его школе я смог поддерживать этот разговор. Теперь я понял тактику Елены: она во что бы то ни стало хотела избежать того, чтобы Краузе распознал во мне ее мужа или эмигранта. Немецкие консульства не ограничивались теми сведениями, что они получали из полицейских источников в той или иной стране. Я чувствовал, что Краузе пытается выведать, каковы наши отношения с Еленой. Она разгадала его намерения прежде, чем он начал задавать вопросы, и тут же придумала мне жену Люсьену и двух детей, из которых старшая дочь якобы прекрасно играла на пианино.

Краузе бросал быстрые изучающие взгляды то на меня, то на Елену. Он воспользовался разговором и предложил встретиться еще раз — за небольшим ленчем в каком-нибудь маленьком ресторанчике на берегу озера. Ведь так редко встречаешь человека, понимающего живопись.

Я охотно согласился — это удастся сделать, когда я вновь приеду в Швейцарию, через месяц-полтора. Он очень удивился, так как считал, что я живу в Женеве. Я объяснил ему, что хотя и женевец, но живу в Бельфорте.

Бельфорт находится во Франции, и ему нелегко было проверить мои слова. Прощаясь, он не удержался и задал последний вопрос из этого своеобразного допроса: где познакомились я и Елена, ведь симпатичные люди так редко встречаются.

Елена взглянула на меня.

— У врача, господин Краузе. Больные часто бывают гораздо симпатичнее, чем... — она зло усмехнулась, — чванливые здоровяки, у которых даже в мозгу вместо нервов растут мускулы.

Краузе ответил на эту шпильку улыбкой авгура.

— Я понимаю вас, сударыня.

— Разве у вас в Германии не развенчали еще Ренуа-

ра? — спросил я его, чтобы не отстать от Елены. — Ван Гога-то уж наверное?

— О, только не в глазах знатоков! — возразил Краузе, бросив еще один взгляд авгура, и направился к выходу.

— Зачем он приходил? — спросил я Елену.

— Шпионить. Я хотела предупредить тебя, чтобы ты не приходил, но не успела, ты уже вошел. Его прислал мой братец. Как я все это ненавижу!

Зловещая рука гестапо протянулась через границу и напомнила нам, что мы еще не ускользнули из-под ее власти. Краузе сказал Елене, чтобы она как-нибудь зашла в консульство. Ничего особенного — просто надо поставить в паспорте еще один штамп, что-то вроде разрешения на выезд. Это забыли сделать раньше.

— Он сказал, что есть какое-то новое распоряжение, — добавила Елена.

— Он лжет, — сказал я. — Иначе бы я знал. Эмигранты сразу узнают об этом. Если же ты пойдешь, то может случиться, что у тебя отберут паспорт.

— И я тогда стану такой же эмигранткой, как ты?

— Да. Если не вернешься в Германию.

— Я остаюсь, — сказала она. — Я не пойду в консульство и не вернусь обратно.

Мы ни разу еще не говорили об этом. Теперь я понял, что решение принято. Я ничего не ответил, только посмотрел на Елену; позади нее я увидел небо, деревья сада, узкую сверкающую полосу озера. Ее лицо, освещенное сзади, оставалось в тени.

— Не думай, пожалуйста, что ответственность за этот шаг лежит на тебе, — нетерпеливо сказала она. — Ты вовсе не уговаривал меня пойти на это, и дело не в тебе. Даже если бы тебя не было здесь, я все равно ни за что бы не вернулась. Этого достаточно?

— Да, — сказал я, ошеломленный и слегка пристыженный. — Но я вовсе не думал об этом.

— Я знаю, Иосиф. Тогда не будем больше говорить об этом. Никогда.

— Краузе придет опять, — заметил я. — Или кто-нибудь другой.

Она кивнула.

— Они могут дознаться, кто ты, и начнут тебя преследовать. Давай уедем на юг.

— В Италию нам нельзя. Гестапо имеет тесные связи с полицией Муссолини.

— Разве юг это только Италия?

— Нет. Можно поехать на юг Швейцарии, в Тессинский кантон, к Локарно или Лугано.

Вечером мы уехали и пять часов спустя уже сидели на площади в Асконе, на берегу озера Лаго Маджоре, удаленные от Цюриха не на пять, а на целых пятьдесят часов. Местность говорила уже о близости Италии. В местечке было полно туристов, и все, кажется, думали только о том, чтобы побыстрее взять от жизни как можно больше: плавали, ныряли, загорали. В эти месяцы всюду в Европе господствовало какое-то странное настроение. Вы помните об этом?

— Да,— сказал я.— Надеялись на чудо. На второй Мюнхен. На третий, четвертый, и так далее.

Это были сумерки между надеждой и отчаянием. Время ватаило дыхание. Все предметы словно перестали отбрасывать тень в прозрачной, чудовищной тени растущей угрозы. Казалось, рядом с солнцем на сверкающем небе появилась колоссальная комета из средних веков. Все было выбким. И все казалось возможным.

— Когда вы уехали во Францию?

Шварц кивнул головой.

— Вы правы. Все остальное было только предисловием. Франция — это беспокойная родина бездомных. Все пути снова и снова ведут туда. Через неделю Елена получила письмо от господина Краузе. Ей нужно немедленно явиться в немецкое консульство в Цюрихе или Лугано. Дело важное.

Нам пришлось уехать. Швейцария была слишком мала и слишком благоустроена. Где бы мы ни остановились, нас везде бы нашли. А меня с моим фальшивым паспортом могли обнаружить и выслать.

Мы поехали в Лугано, но только не в немецкое, а во французское консульство за визой. Я предвидел некоторые затруднения, но все прошло гладко. Мы получили туристскую визу сроком на год. А я-то думал, что нас впускают максимум на три месяца.

— Когда мы выедем? — спросил я Елену.

— Завтра.

В последний вечер мы поужинали в саду ресторана Альберго дела Поста в Ронко, небольшой деревушке, которая, как ласточкино гнездо, прилепилась на склонах гор над озером. Между деревьями мерцали огоньки. На крышах домов бродили кошки. С нижних террас сада доносился запах роз и дикого жасмина. Озеро с островами, где во времена Рима, говорят, стоял храм Венеры, было непо-

движно. Темно-синие горы четко выделялись на светлом небе. Мы ели спагетти и пили местное вино. Это был вечер невыразимой нежности и грусти.

— Жаль, что мы должны уехать отсюда,— сказала Елена.— Я бы с удовольствием провела здесь лето.

— Ты еще часто будешь говорить так.

— Что ж, может быть, это самое лучшее. До этого я слишком часто говорила обратное.

— Что именно?

— Что, к сожалению, я где-то почему-то должна была оставаться.

Я взял ее руку. У нее была очень темная кожа. Прошло всего два дня, а она уже сильно загорела. Глаза ее, казалось, стали светлее.

— Я очень тебя люблю,— сказал я.— Я люблю тебя в этот миг, и лето, которое пройдет, и эти горы, и прощание с ними, и — в первый раз в жизни — себя самого, потому что я теперь стал зеркалом, и отражаю только тебя, и владею тобою дважды. Пусть будет благословен этот вечер и этот час!

— Благословенно пусть будет все! Выпьем за это. И ты — тоже, за то, что ты, наконец, отважился сказать мне то, чего вообще говорить не любишь и что заставляет тебя краснеть.

— Я и теперь краснею,— сказал я.— Но только внутренне и уже не стыдись. Дай мне время. Я должен привыкнуть. Даже гусенице приходится делать это после пребывания во мраке, когда она выходит на свет и видит, что у нее есть крылья. Как счастливы здесь люди! Как пахнет дикий жасмин! Кельнер говорит, что в лесах его очень много.

Мы допили вино и узкими переулками выбрались на дорогу, которая шла высоко по склону горы. Она вела в Аскону. Над дорогой нависло деревенское кладбище, полное крестов и роз. Юг — это соблазнитель. Он прогоняет мысль и заставляет парить фантазию. К тому же она почти не нуждается в помощи посреди пальм и олеандров, во всяком случае, меньше, чем рядом с солдатскими сапогами и казармами.

Словно громадное шелестящее знамя, расстилалось над нами небо. Все больше и больше звезд выступало на нем, как будто это был флаг ежеминутно расширяющегося государства вселенной. Аскона сверкала огнями своих кафе далеко внизу, на глади озера; прохладный ветер веял из горных долин.

Мы подошли к домику, который сняли на время. Он стоял у озера. В нем было две спальни, эта уступка морали казалась здесь достаточной.

— Сколько нам еще осталось жить? — спросила вдруг Елена.

— Если мы будем осторожными — год и, может быть, еще полгода.

— А если мы будем неосторожными?

— Только лето.

— Давай будем неосторожными, — сказала она.

— Лето так коротко.

— Вот оно что! — сказала она неожиданно горячо — Лето коротко. Лето коротко, и жизнь тоже коротка, но что же делает ее короткой? То, что мы знаем, что она коротка. Разве бродячие кошки знают, что жизнь коротка? Разве знает об этом птица? Бабочка? Они считают ее вечной. Никто им этого не сказал. Зачем же нам сказали об этом?

— На это есть много ответов.

— Дай хоть один.

Мы стояли в темной комнате. Двери и окна были раскрыты.

— Один из них — в том, что жизнь стала бы невыносимой, если бы она была вечной.

— Ты думаешь, она стала бы скучной? Как жизнь богов? Это неправда. Давай следующий.

— В жизни больше несчастья, чем счастья. То, что она не длится вечно, — просто милосердие.

Елена помолчала.

— Все это неправда, — сказала она наконец. — И мы говорим это только потому, что знаем, что мы не вечны и ничего не можем удержать. И в этом нет никакого милосердия. Мы его изобретаем сами. Мы изобретаем его, чтобы надеяться.

— Но разве мы все-таки не верим в это?

— Я не верю.

— И в надежду?

— Ни во что. К этому приходит каждый. — Она порывисто разделась и бросила платье на кровать. — Даже арестант, пусть ему однажды и удалось бежать.

— Но если это все, на что ему остается надеяться? Только на это.

— Да, это все, что мы можем сделать. Так же, как и мир перед войной. Надеются, что она еще разок будет отложена. Но задержать ее никто не может.

— Войну-то вообще можно,— возразил я.— А вот смерть — нет.

— Не смейся! — вскричала она.

Я подошел к ней. Она через открытую дверь выскочила наружу.

— Что с тобой, Элен? — спросил я, пораженный. На дворе было светлее, чем в комнате. Я увидел, что лицо ее залито слезами. Она ничего не ответила, и я не стал спрашивать.

— Я вахмелела,— сказала она тихо.— Разве ты не видишь?

— Нет.

— Я выпила слишком много вина.

— Слишком мало. У меня есть еще бутылка.— Я поставил бутылку «Финаско настрано» на каменный стол, что стоял на лужайке повади дома, и пошел в комнату за ставканами.

Вернувшись, я увидел, что Елена спускается по лужайке к озеру. Я помедлил, налил два полных стакана; вино — в бледном сиянии неба и озера — казалась черным.

Я медленно пошел по зеленой траве вниз, к пальмам и олеандам, что росли на берегу. Неясная тревога как-то вдруг охватила меня. Я облегченно вздохнул, увидев Елену.

Она стояла у самой воды, понурившись, опустив плечи. Вид у нее был странный, будто она ждала какого-то зова или чего-то, что должно было возникнуть перед ней из озера.

Я замер — не для того, чтобы подсматривать за ней,— я боялся ее испугать. В следующее мгновение она вздохнула, выпрямилась и вошла в воду.

Увидев, что она поплыла, я вернулся в дом и принес махровую простыню и купальный халат. Затем я присел на гранитном валуне и стал ждать. Я смотрел на ее голову с высоким увлом волос — она казалась такой маленькой на водной глади — и думал о том, что, кроме нее, у меня никого и ничего нет. Мне хотелось позвать ее, крикнуть, чтобы она вернулась. Но я смутно чувствовал, что она стремилась победить что-то неизвестное мне и что это совершалось именно в то мгновение. Вода предстала перед ней в роли судьбы, вопроса и ответа, и она сама должна была преодолеть то, что стояло перед ней. Так поступает каждый, и самое большее, что может сделать другой, — быть рядом на тот случай, когда потребуется немножко тепла.

Елена описала дугу, повернула и поплыла к берегу, прямо на меня. Какое это было счастье — видеть, как она приближается, смотреть на ее темную голову на лиловой поверхности озера. Она поднялась из воды — тонкая, светлая — и быстро подошла ко мне.

— Холодно. И жутко. Прислуга рассказывала, что на дне под островом живет гигантский спрут.

— Крупнее шук здесь ничего нет, — сказал я, закутывая ее в простыню. — Тем более — спрутов. Их можно найти теперь только в Германии — с 1933 года. А вечером вода всегда производит жуткое впечатление.

— Если мы думаем, что есть спруты, они должны быть, — заявила Елена. — Мы не можем вообразить себе того, чего нет на свете.

— Прекрасное доказательство бытия божия.

— А ты разве не веришь?

— В эту ночь я верю во все.

Она прижалась ко мне. Я отбросил влажную простыню и подал ей купальный халат.

— Как ты думаешь, это правда, что мы живем несколько раз? — спросила она.

— Да, — ответил я не раздумывая.

— Слава богу! — она вздохнула. — Сейчас я уже не могу спорить об этом. Я устала и замерзла. Ведь это горное озеро.

Из ресторанчика в Ронко я, кроме вина, захватил еще бутылку граппы — виноградной водки наподобие марки во Франции. Она острая и крепкая и очень хороша в такие минуты. Я принес ее и дал Елене целый стакан. Она медленно выпила

— Я не хочу уезжать отсюда, — сказала она.

— Завтра ты забудешь об этом, — ответил я. — Мы поедем в Париж. Это самый чудесный город на свете.

— Самый чудесный город тот, где человек счастлив. Я выражаюсь общими фразами?

Я засмеялся.

— К черту заботы о стиле! Пусть общих фраз будет еще больше. Особенно таких. Тебе понравилась граппа? Хочешь еще?

Она кивнула. Я налил стакан и себе. Мы сидели на лужайке у столика из камня. Елену начинало клонить ко сну. Я отнес ее в постель. Она заснула рядом со мной.

Ночь густела. В открытую дверь была видна лужайка. Она постепенно стала синей, потом серебристой от росы. Через час Елена проснулась. Она встала и пошла на кух-

ню за водой. Вернулась она с письмом в руках. Оно пришло, пока мы были в Ронко.

— От Мартенса,— сказала она.

Она прочла и отложила письмо в сторону.

— Он знает, что ты здесь? — спросил я.

Она кивнула.

— Он сказал моим родственникам, что я по его совету поехала в Швейцарию показаться врачам и останусь недели на две.

— Он лечил тебя?

— Иногда.

— Что у тебя было?

— Ничего особенного,— сказала она и положила письмо в сумочку.

Она не дала мне его прочесть.

— А откуда у тебя, собственно говоря, этот шрам? — спросил я.

Тонкая белая линия пересекала ее живот. Я заметил ее еще раньше, но теперь она выступила яснее на загорелой коже.

— Маленькая операция. Так, пустяки.

— Какая операция?

— Милый, об этом не говорят. Знаешь, у женщин бывают иногда разные случаи.

Она погасила свет.

— Хорошо, что ты приехал и забрал меня,— прошептала она.— Я больше не могла бы выдержать. Люби меня! Люби и ни о чем не спрашивай. Ни о чем. Никогда.

Х

— Счастье...— медленно сказал Шварц.— Как оно сжимается, садится в воспоминании! Будто дешевая ткань после стирки. Сосчитать можно только несчастья.

Мы приехали в Париж и сняли квартиру в маленьком отеле на левом берегу Сены, на набережной Августинов. Лифта в гостинице не было, лестницы были старые, кривые, комнатки маленькие. Зато из них видны были прилавки букинистов на набережной, Сена, Консьержери¹, собор Парижской Богоматери.

У нас были паспорта, и мы чувствовали себя людьми.

Мы были людьми до сентября 1939 года. И до тех пор, собственно говоря, не имело значения, настоящие у

¹ Знаменитая тюрьма в Париже.

нас паспорта или фальшивые. Правда, это оказалось далеко не безразличным, когда началась «странная война»¹.

— Чем ты жил здесь? — спросила меня Елена однажды в июле, дня через два после нашего приезда. — Ты мог работать?

— Конечно, нет. Я не смел даже существовать. Как же я мог получить разрешение на работу?

— Чем же ты жил тогда?

— Ей-богу, не знаю. Я перепробовал много профессий. Зарабатывал от случая к случаю. Во Франции, к счастью, не все распоряжения выполняются в точности. Иногда можно наняться на какую-нибудь мелкую работу исподтишка. Я грузил и разгружал ящики на рынке. Был кельнером, торговал сорочками, галстуками и воротничками. Преподавал немецкий. Иногда мне перепало кое-что из комитета помощи эмигрантам. Продавал вещи, которые у меня еще были. Работал шофером. Писал заметки для швейцарских газет

— А ты не мог снова стать журналистом?

— Нет. Для этого надо иметь вид на жительство и разрешение для работы. Моим последним занятием было надписывание адресов на конвертах. Потом явился Шварц, и началось апокрифическое бытие.

— Почему апокрифическое?

— Подставное, скрытое, анонимное — жить под эгидой мертвого.

— Мне бы хотелось, чтобы ты назвал это как-нибудь иначе, — сказала Елена.

— Можно назвать как угодно: двойная жизнь, жизнь в подполье, вторая жизнь. Скорее всего, вторая. Такой она мне кажется. Мы — будто потерпевшие кораблекрушение, лишённые всех воспоминаний. Нам не о чем сожалеть. Потому что воспоминание — это всегда еще и сожаление о хорошем, что отняло у нас время, и о плохом, что не удалось исправить.

Елена засмеялась.

— Кто же мы такие теперь? Мошенники, мертвые, духи?

— С точки зрения закона — туристы. Нам разрешено здесь жить, но не разрешено работать

— Прекрасно, — сказала она. — Раз так, не будем работать. Поедем на остров Святого Людовика², сядем на

¹ «Странная война» — период затишья на франко-германском фронте в первые месяцы второй мировой войны.

² Остров на Сене.

скамеечку и будем греться на солнышке, а потом отправимся в кафе «Франс» и пообедаем за столиком на улице. Неплохая программа?

— Чудесная.

На том мы и порешили. Больше я не искал случайных заработков. С утра до утра мы были вместе и не разлучались неделями. Время шумело где-то в стороне, наполненное специальными выпусками газет, тревожными сообщениями, чрезвычайными заседаниями. Но мы его не чувствовали. Мы жили вне времени. Если все затоплено чувством, места для времени не остается, словно достигаешь другого берега, за его пределами. Вы в это не верите?

На лице у Шварца опять появилось напряженное, отчаянное выражение, которое я уже видел несколько раз.

— Вы не верите в это? — повторил он.

Я устал, против воли мной начало овладевать нетерпение. Слушать рассказы о счастье было неинтересно, как и рассуждения Шварца о вечности.

— Не знаю, — машинально ответил я. — Может быть, это счастье, когда умираешь в таком состоянии. Тогда время и его календарная обыденная мера теряют свою власть. Но если продолжаешь жить дальше, то, несмотря ни на что, это опять становится куском времени, чем-то преходящим. И тут уж ничего нельзя поделать.

— Но это не должно умирать! — сказал вдруг Шварц горячо. — Оно должно остановиться, окаменеть, как статуя из мрамора, не превращаясь в песочный домик, который каждый день осыпается и тает под порывами ветра! Иначе что же будет с мертвыми, которых мы любим? Где же они могут пребывать, как не в нашем воспоминании? А если нет — то не становимся ли мы невольными убийцами? Неужели я должен смириться с тем, что время своим напильником сотрет то лицо, которое знаю я один? Да, я уверен, оно поблекнет и изменится во мне, если я не извлеку и не воздвигну его вне себя, — чтобы ложь моего живущего сознания не обвила и не уничтожила его, как плющ. Потому что иначе оно станет просто удобрием для паразитирующего времени и уцелеет один только плющ! Я знаю это! Потому-то я и должен спасти его прежде всего от себя самого, от пожирающего эгоизма воли к жизни, воли, которая стремится забыть его и уничтожить! Разве вы этого не понимаете?

— Понимаю, господин Шварц, — осторожно сказал я. — Ведь именно поэтому вы и говорите со мной, чтобы спасти его от самого себя.

Я рассердился на себя за то, что перед этим ответил ему так небрежно. Ведь человек, сидевший передо мной, был сумасшедшим — все равно, в логическом или поэтическом значении этого слова, и если я хотел узнать, как далеко он может зайти, мне нужно было помнить о той боли, что его терзала.

— Если мне удастся, — сказал Шварц и запнулся. — Если мне удастся, то дело сделано, я спасу его от себя. Вы понимаете?

— Да, господин Шварц. Наша память — это не ларец из слоновой кости в пропитанном пылью музее. Это существо, которое живет, пожирает и переваривает. Оно пожирает и себя, как легендарный феникс, чтобы мы могли жить, чтобы оно не разрушало нас самих. Вот этому вы и хотите воспрепятствовать.

— Да! — Шварц взглянул на меня с благодарностью. — Вы сказали, только тогда, когда умираешь, память обращается в камень. Вот я и умру.

— То, что я сказал, — нелепость, — устало проговорил я.

Я ненавидел подобные разговоры. Я встречал слишком много ненормальных. В изгнании они росли, как грибы после дождя.

— Нет, я не думаю лишать себя жизни, — сказал вдруг Шварц и усмехнулся, будто догадавшись, о чем я думал — К тому же жизнь сейчас слишком нужна для других целей. Просто я умру как Иосиф Шварц. Рано утром, когда мы прощаемся, его больше не будет.

У меня вдруг вспыхнула дикая надежда.

— Что вы хотите сделать? — спросил я.

— Исчезнуть.

— В качестве Иосифа Шварца?

— Да.

— В качестве имени?

— В качестве всего, чем был во мне Иосиф Шварц. И даже в качестве того, чем я был раньше.

— А что вы сделаете со своим паспортом?

— Он мне больше не нужен.

— У вас есть другой?

Шварц покачал головой.

— Мне никакой больше не нужен.

— А в том есть американская виза?

— Да.

— Может быть, вы продадите его мне? — спросил я, хотя денег у меня не было.

Шварц опять покачал головой.

— Почему?

— Я не могу его продавать,— сказал Шварц.— Мне его подарили. Он может вам пригодиться?

— Боже мой! — сказал я, едва дыша.— Пригодиться! Он спасет меня! В моем паспорте нет американской визы. И я еще не знаю, как ее раздобыть завтра до полудня.

Шварц грустно усмехнулся.

— Как все повторяется! Вы напомнили мне о том времени, когда я сидел в комнате умирающего Шварца и думал лишь о паспорте, который опять мог сделать меня человеком. Хорошо, я отдам вам свой. Нужно только переменить фотографию. Возраст, наверно, подойдет.

— Тридцать пять лет,— сказал я.

— Ну что ж, станете на год старше. Знаете ли вы тут кого-нибудь, кто умеет обращаться с паспортами?

— Знаю,— ответил я.— А фотографию сменить не так уж трудно.

Шварц кивнул.

— Легче, чем свое «я».— Мгновение он смотрел прямо перед собой.— И разве не странно, что теперь вы тоже привяжетесь к снимку, как некогда мертвый Шварц, а потом — я?

Я не мог ничего с собой поделаться и вздрогнул от ужаса.

— Паспорт — это всего только кусок бумаги,— сказал я.— Тут нет никакой магии.

— Разве? — спросил Шварц.

— Может быть, и есть, но не такая, как вы думаете,— ответил я.— Долго ли вы были в Париже?

Меня так взволновало обещание Шварца отдать паспорт, что я не слышал, что он говорил. Я думал только о том, что надо предпринять, чтобы получить визу и для Рут. Может быть, представить ее в консульстве как мою сестру? Вряд ли это поможет, порядки в американских консульствах строгие. И все-таки придется попытаться, если до того не случится еще одного чуда.

Тут я вновь услышал голос Шварца:

— Он внезапно вырос в дверях нашей комнаты; через полтора месяца, но он все-таки нас нашел. На этот раз он не стал подсылать чиновников из немецкого консульства, явился сам и теперь стоял посреди номера, оклеенного обоями с игривыми рисунками в стиле восемнадцатого века.— Георг Юргенс, обер-штурмбаннфюрер, брат Елены, высокий, широкоплечий, в двести фунтов весом. Он был

в штатском, но немецкой спесью от него разило в сто раз больше, чем в Оснабрюке.

— Итак, все ложь,— сказал он.— Недаром мне сразу показалось, что тут дурно пахнет.

— Чему же тут удивляться? — возразил я.— Всюду, где появляетесь вы, начинает вонять.

Елена засмеялась.

— Перестань! — прорычал Георг.

— Лучше вы перестаньте,— сказал я.— Или я прикажу выкинуть вас за дверь.

— Почему вы не попробуете сделать это сами?

Я покачал головой

— Вы на сорок фунтов тяжелее, чем я. Ни один рефери не свел бы нас в схватке на ринге. Что вам здесь надо?

— Это вас не касается, вы дерьмо, изменник. Вон отсюда! Я хочу говорить с моей сестрой.

— Останься! — быстро сказала Елена. Глаза ее сверкали от гнева. Она медленно поднялась и взяла в руки мраморную пепельницу.— Еще одно слово в таком тоне, и я швырну ее в твою физиономию.

Она сказала это совершенно спокойно.

— Ты не в Германии,— добавила она.

— К сожалению, еще нет. Но подождите — и здесь скоро будет Германия.

— Нет, здесь никогда не будет Германии,— сказала Елена.— Может быть, ваша вшивая солдатня и завоюет эту землю на время, но она все же останется Францией. Ты явился для того, чтобы обсуждать именно этот вопрос?

— Я явился для того, чтобы увезти тебя домой. Ты представляешь, что с тобой будет, если обрушится война?

— Довольно слабо

— Тебя посадят в тюрьму.

Я увидел, что она на секунду растерялась.

— Может быть, нас посадят в лагерь, но это будет лагерь для интернированных, а не концлагерь, как в Германии,— сказал я.

— Что вы-то знаете об этом?! — вскричал Георг.

— Не так уж мало,— ответил я.— Был в одном из ваших концлагерей благодаря вам.

— Вы, червяк, вы были только в воспитательном лагере,— презрительно заметил Георг.— Но вам это не пошло впрок. Вы дезертировали после того, как вас выпустили.

— Ну и словечки вы находите,— усмехнулся я.— Если кому-нибудь удалось ускользнуть от вас, значит, он дезертир.

— Вам было приказано не покидать Германию!

Я отвернулся. У меня было с ним довольно разговоров на эту тему еще до того, как он обрел власть сажать за разговоры в тюрьму.

— Георг всегда был идиотом,— сказала Елена.— Мускулистый недоносок. Ему нужно панцирное мировоззрение, как корсет толстой бабе, иначе он расплывется. Не спорь с ним. Он беснуется, чувствуя свою слабость.

— Оставим это,— сказал Георг более миролюбиво, чем я ожидал.— Укладывай вещи, Элен. Сегодня вечером едем обратно. Дело серьезное.

— Чем же оно серьезное?

— Будет война. Иначе я бы не приехал.

— Нет, ты все равно приехал бы,— возразила она.— Тебе просто неудобно, что сестра такого преданного человека фашистской партии, как ты, не хочет жить в Германии. Два года назад, в Швейцарии, тебе удалось добиться того, чтобы я вернулась. Но теперь я останусь здесь.

Георг ненавидяще уставился на нее.

— И все из-за этого жалкого негодяя? Значит, он опять тебя уговорил?

Елена засмеялась.

— «Негодяй»! Как давно уже я не слышала этих слов.. У вас и в самом деле допотопный словарь. Нет, мой муж меня не уговаривал. Наоборот, он сделал все, чтобы я осталась там. И доводы у него были лучше твоих.

— Я хочу поговорить с тобой наедине,— сказал Георг.

— Это тебе не поможет.

— Все-таки мы брат и сестра.

— Я замужем, это важнее.

— Это не узы крови,— сказал Георг.— А мне ты даже не предложила сесть,— добавил он вдруг с детской обидой.— Едешь от самого Оснабрюка, и вдруг тебя заставляют разговаривать стоя.

Елена засмеялась.

— Это не моя комната. За нее платит мой муж.

— Садитесь, обер-штурмбаннфюрер, гитлеровский хо-луй,— сказал я.— И поскорее уходите.

Георг злобно взглянул на меня и уселся на старый диван, который жалобно закрипел под ним

— Неужели вы не понимаете, что я хотел бы поговорить со своей сестрой наедине? — сказал он.

— А когда вы меня арестовали, вы дали мне поговорить с ней без свидетелей?

— Это совсем другое,— проворчал Георг.

— У Георга и его любимых «партайгеноссе» всегда все другое, даже если они делают то же, что и другие,— заметила Елена саркастически.

— Если они убивают людей других взглядов, то тем самым они защищают свободу мысли, если они отправляют тебя в концлагерь, то они только защищают честь родины. Ведь так, Георг?

— Точно!

— Кроме того, он всегда прав,— продолжала Елена.— У него никогда не бывает сомнений или угрызений совести. Он всегда на стороне силы. Подобно фюреру, он самый миролюбивый человек в мире, лишь бы только другие делали по его. Возмутители спокойствия всегда другие. Разве не так, Георг?

— Какое это сейчас имеет отношение к нам?

— Никакого,— сказала Елена.— И самое прямое. Разве ты не видишь, что ты — столп самоуправления — смешон в этом беспечном городе? Даже в штатском ты чувствуешь на ногах сапоги, которыми тебе хотелось бы пройти по телам других. Но здесь у тебя нет власти. Пока еще нет! Здесь ты не можешь заставить меня записаться в вашу вульгарную, пропахшую потом женскую организацию! Здесь ты не можешь стеречь меня, как заключенную! Здесь я могу думать и здесь я хочу дышать.

— У тебя немецкий паспорт! Будет война. Тебя посадят в тюрьму.

— Пока этого еще не случилось! А потом — все-таки лучше здесь, чем у вас! Потому что вы все равно меня посадили бы! Потому что я не смогла бы бродить там после того, как я вдохнула ветер свободы и почувствовала отращение к вашим казармам, камерам пыток, к вашему жалкому словоблудию.

Я встал. Мне было неприятно смотреть на то, как она раскрывалась перед этой национал-социалистской дуриной, которая никогда не сможет понять ее.

— Это он во всем виноват! — прохрипел Георг.— Проклятый космополит. Это он тебя испортил! Подожди, парень, мы еще с тобой рассчитаемся!

Он тоже встал. Ему ничего не стоило прибить меня. Он был намного сильнее, а моя правая рука к тому же плохо сгибалась в локтевом суставе — память об одном из дней «воспитания» в концлагере.

— Не трогай его,— тихо сказала Елена.

— Защищаешь труса? — спросил Георг.— Сам он не может этого сделать!

Шварц посмотрел на меня.

— Странная вещь физическое превосходство. Это самое примитивное, что есть на свете. Оно не имеет ничего общего со смелостью или мужеством. Револювер в руках какого-нибудь калеки сразу сводит это превосходство на нет. Все дело просто в количестве фунтов веса и мускулов. И все же чувствуешь себя обескураженным, когда перед тобой вырастает их мертвящая сила. Каждый знает, что подлинное мужество — это нечто совсем другое и что в минуту настоящего испытания гора мускулов может вдруг жалко спастись. И все-таки в такой ситуации всегда приходится искать спасение в сбивчивых объяснениях, излишних извинениях и все же чувствовать себя пристыженным оттого, что не дал себя искалечить в безнадежной схватке. Разве это не так?

Я кивнул.

— Бессмысленно — и оттого еще обиднее.

— Конечно, я оправдываюсь, — сказал Шварц, — но что делать?

Я поднял руку:

— Мне вовсе не нужно это объяснять, господин Шварц.

Он слабо улыбнулся.

— Видите, как глубоко это сидит, если даже сейчас мне хочется что-то объяснять? Будто крючок, намертво засевший в теле. Когда мы излечимся хоть немного от этого мужского тщеславия?

— Что же было потом? — спросил я. — Дело дошло до драки?

— Нет. Елена вдруг начала смеяться.

— Посмотри на этого идиота! — сказала она мне. — Он, пожалуй, думает, что если прибьет тебя, то я настолько разочаруюсь в твоих мужских качествах, что тут же с раскаянием возвращусь в страну, где безраздельно правит кулак.

Она повернулась к Георгу.

— Тебе ли болтать о мужестве и трусости! Он, — Елена показала на меня, — обладает большим мужеством, чем ты в состоянии представить себе! Знаешь ли ты, что он приехал туда за мной и увез меня?

— Что? — Георг вытаращил на меня глаза. — В Германию?

Елена овладела собой

— Не все ли равно. Я здесь и не вернусь назад.

— Увез? — не унимался Георг. — Кто же ему помог?

— Никто, — ответила Елена. — Ты, конечно, начал уже соображать, кого бы там арестовать за это?

Я никогда не видел ее такой. Она была переполнена протестом, отвращением, ненавистью и дрожала от радости, что удалось спастись. И тут вдруг меня осенила, будто молния, мысль о мщении. Ведь Георг здесь бессилён! Он не мог, свистнув, вызвать гестапо. Он был один.

Эта мысль привела меня в такое смятение, что я не знал, на что решиться в следующее мгновение. Драться я уже мог, да и не хотел. Я просто был одержим желанием уничтожить тварь. Когда искореняют зло, не нужны никакие приговоры. Не нужны они и для Георга, так мне казалось. Уничтожить его — значит не только совершить акт возмездия, но и спасти десятки неведомых жертв в будущем. Я встал и, как во сне, пошел к двери. Удивительно, я не чувствовал колебаний. Мне только хотелось остаться одному, чтобы обдумать все.

Елена внимательно посмотрела на меня и ничего не сказала. Георг проводил меня презрительным взглядом и вновь уселся.

Я пошел вниз по лестнице. Пахло обедом, где-то жарили рыбу. На лестничной площадке стоял сундук итальянской работы. Я каждый день проходил мимо, не обращая на него внимания, а теперь вдруг увидел мельчайшие детали резьбы. Я смотрел пристально и изучающе, словно собирался купить эту вещь. Я двигался, как лунатик. На втором этаже я вошел в открытую дверь. Комната была выкрашена в светло-зеленый цвет. Окна стояли раскрытые настежь. Горничная взбивала на кровати постель. Странно, в такие минуты замечаешь все, хотя почему-то думаешь, что от волнения человек теряет способность видеть.

Я пошел дальше. На первом этаже я постучал в комнату одного знакомого. Его звали Фишер. Как-то он показывал мне револьвер. Он находил, что с этой штукой жить легче. Оружие давало ему странную иллюзию свободы, позволяло вести скучное, безрадостное существование эмигранта лишь до тех пор, пока были возможность и желание. Выбор оставался за ним: жизнь оборвется, как только он этого пожелает.

Фишера не было, но комната оказалась незапертой. Ему нечего было прятать. Я еще не знал толком своих намерений, хотя понимал, что явился затем, чтобы попросить револьвер. Убить Георга в гостинице, конечно, было невозможно. Это повредило бы Елене, мне и другим эмигрантам, которые здесь жили. Я сел на стул и попытался успокоиться.

В комнате вдруг запела канарейка. Она висела в проволочной клетке между окнами. Я сначала не заметил ее и теперь испугался, будто меня кто-то толкнул. Вслед за этим вошла Елена.

— Что ты тут делаешь?

— Ничего. Где Георг?

— Он ушел.

Я не знал, как долго я просидел в этой комнате. Мне казалось, недолго.

— Он придет опять? — спросил я.

— Не знаю. Он очень настойчив. Почему ты ушел? Чтобы оставить нас одних?

— Нет, — ответил я. — Просто я не мог его больше видеть.

Она стояла в дверях и смотрела на меня.

— Ты меня ненавидишь?

— Ненавижу? Тебя? — Я был поражен. — Почему?

— Мне это вдруг пришло в голову, когда Георг ушел. Если бы ты не женился на мне, ничего этого с тобой не случилось бы.

— Могло быть еще хуже. Георг, пожалуй, на свой лад шадит тебя. Меня не погнали на проволоку под током и не подвесили на крюк, как скотину. За что же мне ненавидеть тебя? И как ты могла об этом подумать?

За окнами комнаты Фишера я вдруг опять увидел зеленое лето во всей красе. Посреди двора рос большой каштан. Сквозь листья светило солнце. Мучительная тяжесть в затылке вдруг исчезла, как след похмелья поздним вечером.

Я опомнился: я вновь чувствовал лето за окном, я знал опять, что я в Париже и что людей в конце концов не стреляют, как зайцев.

— Скорее я мог подумать, что ты будешь меня ненавидеть, — сказал я. — Потому что я не смог оградить тебя от приставаний твоего брата. Потому что я...

Я замолчал. Только что пережитые минуты стали вдруг невероятно далекими.

— Что мы здесь делаем? — сказал я. — В этой комнате?

Мы пошли наверх.

— Все, что сказал Георг, правда, — сказал я. — Ты должна это знать! Если начнется война, мы окажемся поданными враждебного государства.

Елена раскрыла окно и дверь.

— Здесь пахнет солдатскими сапогами и террором, —

сказала она.— Пусть сюда войдет август. Откроем окна настежь и уйдем. Кажется, время обеда?

— Да. Кроме того, пора уезжать из Парижа.

— Почему?

— Георг попытается донести на меня.

— Ну, он не так умен. Он даже не знает, что ты живешь здесь под чужим именем.

— Рано или поздно он догадается и вернется.

— Тогда я его вышвырну из комнаты. Пойдем.

Мы пошли в маленький ресторанчик позади Дворца правосудия и пообедали за столиком на тротуаре. Мы ели паштет, говядину, салат, сыр. Выпили бутылку вуврэ и кофе. Я помню отчетливо все, что было тогда, даже золотистую корочку хлеба и надтреснутые чашки для кофе. В тот полдень ничего уже не оставалось, кроме глубокой, неведомой благодарности. Мне казалось, будто я выбрался из темной канавы с нечистотами. Оглянуться назад я не мог, потому что когда-то я сам был частью этой грязи, того не сознавая. Я выкарабкался и сидел теперь в безопасности за столиком, покрытым красно-белой клетчатой скатертью, чистый, спокойный, и воробьи ссорились над кучкой навоза, а кошка хозяйина с сытым видом равнодушно поглядывала на них, и легкий ветер гулял по тихой площади, и жизнь опять была прекрасна, какую она только может быть в нашей мечте.

Потом мы шли через Париж, а вечер был окрашен солнечным медом. Мы задержались перед витриной небольшого ателье.

— Тебе надо купить новое платье,— сказал я.

— Как раз теперь? — спросила Елена.— Прямо перед войной? Это нелепость.

— Именно теперь. И именно потому, что это нелепость.

Она поцеловала меня.

— Хорошо!

Я сидел в кресле у двери в заднюю комнату, где шла примерка. Хозяйка принесла платья, и Елена скоро так занялась рассматриванием, что почти совсем забыла обо мне. Я слышал голоса женщин, слышал, как они кодили взад и вперед, видел в открытую дверь, как мелькали платья, видел обнаженную загорелую спину Елены, и меня окутывала сладкая усталость, похожая на медленное угасание.

Слегка пристыженный, я понимал, почему мне захотелось купить платье. Это был протест против того, что

принес день, против Георга, против моей беспомощности — ребяческая попытка еще более ребяческого стремления к самооправданию.

Я очнулся, увидев перед собой Елену в широкой пестрой юбке и черном, плотно облегающем коротком свитере.

— Как раз то, что надо! — сказал я. — Это мы и возьмем.

— Это очень дорого, — сказала Елена.

Хозяйка ателье принялась уверять, что это фасон известного дома моделей. Мы знали, что это всего лишь прекрасная ложь, но единодушно решили тут же купить комплект.

Хорошо иногда, думал я, покупать бесполезные вещи. Легкомыслие этого шага сдуло тогда остатки тени Георга.

Елена надела обновку вечером и, прислонившись к окну, смотрела на город в лунном свете. Мы не могли оторваться, мы были ненасытны, нам жаль было засыпать, ибо мы знали, что времени осталось мало.

XI

— Что же в конце концов остается? — сказал Шварц. — Уже сейчас я чувствую — время садится, словно сорочка, из которой выстирали весь крахмал. И даль времени — перспектива его — вдруг исчезает. То, что было ландшафтом, превращается в плоскую фотографию. Из потока воспоминаний выплывают разрозненные видения — окна гостиницы, обнаженное плечо, слова, сказанные шепотом и продолжающие во мне таинственную жизнь, свет над зелеными крышами, запах ночной реки, луна над серой каменной громадой собора и открытое, преданное лицо — и оно же другое, позже, в Провансе и в Пиренеях, и — окаменевшее, последнее, которое невозможно узнать, но которое вдруг вытеснило все другие, словно все они, прежние, были только ошибкой.

Он поднял голову. Лицо было опять искажено болью, и он тщетно пытался улыбнуться.

— Все это только здесь, — сказал он и показал на свою голову. — И даже здесь оно уже словно платве в шкафу, побитою молью. Ваша память не будет стараться, как моя, поглотить эти образы, чтобы спасти их. А со мной происходит что-то неладное. Я чувствую, что это последнее окаменевшее лицо вгрызается, как рак, в другие милые прежние лица, — тут голос его окреп, — но дру-

гие были все-таки, черт возьми, и это были мы сами — я и она, а не то незнакомое, ужасное, последнее.

— Вы остались в Париже? — спросил я.

— Георг приходил снова, — сказал Шварц. — Он гро-вил, взывал к чувствам. Меня не было. Я увидел его, ког-да он выходил из гостиницы.

— Ты, босяк, — сказал он мне тихо. — Ты погубил мою сестру! Но подожди! Через пару недель вы оба будете у нас в руках! И тогда, мальчик, я сам позабочусь о тебе. Ты еще будешь ползать передо мной на коленях и умо-лять прикончить тебя, если еще сможешь говорить!

— Довольно ясно представляю, — ответил я.

— Нет, ты не можешь себе это представить! Иначе ты убрался бы за тридевять земель. Даю тебе еще один шанс. Если моя сестра через три дня будет в Оснабрюке, я по-стараясь кое-что забыть. Через три дня. Понял?

— Вас нетрудно понять.

— Так вот, запомни — моя сестра должна вернуться. Ведь ты тоже знаешь это, негодяй! Или ты хочешь меня уверить, будто не знаешь, что она больна?

Я молча смотрел на него. Я не знал, выдумал ли он это сейчас или пересказывал мне то, что говорила ему когда-то Елена, чтобы уехать в Швейцарию.

— Нет, — сказал я. — Этого я не знаю!

— В самом деле? Или ты не желаешь этим занимать-ся? Ей нужно немедленно к врачу, понимаешь, ты, лжец?! Сейчас же! Напиши, если хочешь, Мартенсу и спроси его. Он все знает!

Две темные фигуры вошли в парадное из ликующего летнего полдня.

— Через три дня, — прошептал Георг. — Или тебе при-дется потом по сантиметру выхаркивать твою душонку. Я скоро буду здесь. В мундире!

Он протиснулся между вошедшими, которые стояли теперь в вестибюле, и вышел наружу.

Двое мужчин обогнули меня и пошли наверх по лест-нице. Я постоял и последовал за ними.

Елена стояла в своей комнате у окна.

— Ты встретился с ним? — спросила она.

— Да. Он сказал, что ты больна и должна обязательно вернуться.

Она покачала головой.

— Ты больна? — спросил я.

— Вот чепуха! — ответила она. — Ведь это была моя выдумка, чтобы уехать.

— Он сказал, что Мартенс тоже знает.

Елена васмеялась.

— Конечно, знает. Разве ты не помнишь — он писал мне в Аскону. Все это я проделала с его помощью.

— Значит, ты не больна, Элен?

— Разве я похожа на больную?

— Нет, но это ничего не значит. Ты не больна?

— Нет, — нетерпеливо сказала она. — Тебе Георг еще что-нибудь говорил?

— Все то же. Угрозы. Что ему надо было от тебя?

— Все то же. Не думаю, что он придет еще раз.

— Зачем же он все-таки приходил?

Елена странно улыбнулась.

— Он всегда был таким. Еще в детстве. Братья часто ведут себя так. Он уверен, что заботится о благе семьи. Ненавижу.

— Только из-за этого?

— Я ненавижу его и сказала ему об этом. Но война будет. Он знает...

Мы замолчали. Шум автомобилей на набережной Августинцев, казалось, стал сильнее. Позади Консьержери, в ясном небе, высилась игла церкви Сен-Шапель. Доносились крики газетчиков. Они подчеркивали глухое рычание моторов, как чайки — шум моря.

— Я не смогу тебя защитить, — сказал я.

— Я знаю.

— Тебя интернируют.

— А тебя?

Я пожал плечами.

— Меня, наверно, тоже. Возможно, что нас разлучат.

Она кивнула.

— А тюрьмы во Франции — это не санаторий.

— И в Германии тоже.

— В Германии тебя бы не арестовали.

Елена сделала нетерпеливое движение.

— Я остаюсь здесь! Ты выполнил свой долг и предупредил меня. Не думай больше об этом. Я остаюсь и не вернусь ни за что.

Я посмотрел на нее.

— К черту заботы о безопасности! — сказала она. — Мне это надоело!

Я обнял ее за плечи.

— Это легко сказать, Элен...

Она оттолкнула меня.

— Тогда уходи! — вскричала она вдруг. — Уходи, если ты боишься ответственности! Я обойдусь без тебя!

Она смотрела на меня, как на Георга.

— Ты мокрая курица! Что тебе надо? Не души меня своей заботой и боязнью ответственности. Я ушла не из-за тебя. Пойми это наконец. Не из-за тебя! Из-за себя!

— Я понимаю.

Она подошла ко мне.

— Поверь мне, — нежно сказала Елена, — я хотела уехать прочь! То, что появился ты, — это случайность. Пойми же это! Безопасность — это еще далеко не все.

— Это правда, — сказал я. — Но она нужна, если любишь кого-то. Для другого.

— Безопасности вообще нет. Ее нет, — повторила она. — Не говори ничего, я знаю лучше, чем ты! Боже, как давно уже я знаю это! Но не будем больше говорить об этом, любимый. Там, за стенами дома, стоит вечер и ждет нас.

— Разве ты не можешь уехать в Швейцарию, если не хочешь возвращаться в Германию?

— Георг говорит, что нацисты ринутся через Швейцарию, как через Бельгию в ту войну.

— Георг не все знает.

— Может быть, он вообще лжет. Откуда он может в точности знать, что должно произойти? Однажды уже казалось, вот-вот вспыхнет война. А потом пришел Мюнхен. Почему не может быть второго Мюнхена?

Я не знал, верила ли она в то, что говорила, или просто хотела убедить меня. В самом деле, как Франция могла решиться на войну? Чего ради она должна сражаться из-за Польши? Ведь ради Чехословакии не пошевелили и пальцем.

Десять дней спустя границы были перекрыты. Началась война.

— Вас сразу арестовали, господин Шварц? — спросил я.

— Нет, у нас в запаге оказалась неделя. Нам не разрешено было покидать город. Дьявольская ирония: в течение пяти лет меня то и дело высылали. Теперь в мгновение ока все перевернулось: меня не хотели выпускать. Где тогда были вы?

— В Париже, — сказал я.

— Вас тоже держали на велодроме?

— Конечно.

— Ваше лицо мне незнакомо.

— На велодроме были толпы эмигрантов, господин Шварц.

— Помните эти дни, когда началась война и в Париже было объявлено затемнение?

— Конечно. Казалось, затемнен весь мир.

— И эти маленькие синие огоньки,— продолжал Шварц,— которые тлели на перекрестках улиц в темноте, будто глаза чахоточных. Город не только стал темным, он заболел в этом холодном синем сумраке. Люди зябли, хотя еще было лето. В эти дни я продал один из рисунков, унаследованных от мертвого Шварца. Мне хотелось иметь побольше наличных денег. Но время для продажи стало очень неподходящим. Торговец, к которому я обратился, предложил совсем мало. Я не согласился. В конце концов я продал рисунок богатому кинодельцу, тоже эмигранту, который считал такой капитал более надежным, чем деньги.

Последний рисунок я оставил у владельца гостиницы. После обеда явилась полиция. Их было двое. Они заявили, что я должен попроситься с Еленой. Она стояла рядом — бледная, с потухшими глазами.

— Это невозможно,— сказала она.

— Возможно,— сказал я.— Вполне. Позже они тебя арестуют. Поэтому лучше не выбрасывай наши паспорта, а сохрани.

— Да, так лучше,— сказал один из полицейских на хорошем немецком языке.

— Спасибо,— ответил я.— Могу я попроситься наедине?

Полицейский взглянул на дверь.

— Если бы я хотел удрать, я мог бы сделать это раньше,— сказал я.

Он кивнул.

Мы перешли в ее комнату.

— Видишь, сколько об этом ни говоришь заранее, наяву выглядит совсем иначе,— сказал я и обнял ее.

Она освободилась из моих рук.

— Что мне сделать, чтобы остаться с тобой?

Разговор был сбивчивый, торопливый. Для связи у нас было только два адреса: гостиница и один знакомый француз.

Полицейский постучал в дверь.

— Возьмите с собой одеяло,— сказал он.— Вас задержат только на день-два. Но все-таки лучше иметь одеяло и что-нибудь поесть.

— У меня нет одеяла.

— Я принесу,— сказала Елена.

Она быстро собрала, что у нас было из еды.

— Вы говорите, только на день или два? — спросила она.

— Не больше,— подтвердил полицейский.— Просто проверка документов и так далее Война, мадам.

Теперь нам то и дело приходилось слышать это.

Шварц вынул из кармана сигарету и закурил.

— Все это вам, конечно, известно: ожидание в полицейском участке, куда приводят все новых эмигрантов, которых разыскивают, словно отъявленных нацистов, путь к префектуре в машине за решеткой и бесконечные часы ожидания. Вы тоже были в зале Лепэна¹?

Я кивнул. Залом Лепэна называлось в префектуре большое помещение, где обычно показывались учебные фильмы для чинов полиции. Там были экран и сотни две стульев.

— Я пробыв там два дня. На ночь нас уводили в угольный подвал, где стояли скамейки. Наутро мы выглядели, как грубочисты

— Мы целыми днями сидели на стульях, выстроенных длинными рядами,— продолжал Шварц.— Грязные, мы стали похожи на преступников, за которых нас и считали. Вот тут Георг с запозданием, совершенно нечаянно и отомстил мне. В свое время он справлялся о наших адресах в префектуре, причем не скрывал своей принадлежности к национал-социалистской партии. И вот из-за этого меня теперь допрашивали по четыре раза в день, как нацистского шпиона.

Сначала я смеялся, это было уж чересчур нелепо. Только потом я заметил, что и нелепости могут стать опасными, как, например, само существование фашистской партии в Германии. Но теперь получалось, что и Франция, страна разума, под объединенным воздействием бюрократии и войны не была уже застрахована от нелепостей; Георг, сам того не ведая, оставил бомбу с часовым механизмом. Подозрение в шпионаже во время войны не шутка.

Каждый день прибывали все новые группы испуганных людей. На фронте еще не был убит ни один человек — шла «странная война», как выражались остряки того времени,— но уже повсюду нависла зловещая атмосфера утраты уважения к личности человека, которую неизбежно, как чума, приносит с собой война. Люди больше не были

¹ Луи Лепэн (1846—1933) — префект французской полиции с 1892 по 1912 г

людьми, они подвергались классификации по чисто военным признакам — на солдат, на годных или негодных к воинской службе, и на врагов.

На третий день, совершенно измученный, я сидел в зале Лепэна. Вокруг разговаривали вполголоса, спали, ели. Уже тогда потребности наши были сведены до минимума. По сравнению с немецким концлагерем мы вели шикарную жизнь. Самое большее — нас награждали пинками или тумачками, если кто недостаточно быстро выходил по вызову. Сила есть сила, а полицейский в любой стране — это полицейский.

Я очень уставал от допросов. На возвышении, рядом с экраном, в форме, с оружием в руках, вытянув ноги, сидели стражники. Сумрачный зал, грязный, пустой экран, и мы под ним — все это казалось олицетворением жизни арестованных или конвойных, когда только от самого себя зависит, что именно воображать на пустом полотне экрана: учебный фильм, комедию или трагедию.

Грубая сила вечна, она оставалась и после того, как гасли все экраны. Так будет всегда, думалось мне, и ничего не изменится, и в конце концов ты исчезнешь, и никто не заметит этого. Это были одни из тех часов, когда гаснет всякая надежда, и вы, конечно, знаете это.

— Да, — сказал я. — Это часы безмолвных самоубийств. Перестаете защищаться и почти случайно, машинально делаете последний шаг.

— Вдруг открылась дверь, — продолжал Шварц. — Освещенная желтым светом, из коридора в зал вошла Елена. Она несла корзину и два одеяла. Через руку у нее был перекинут плащ. Я узнал ее по походке и манере держать голову. Она остановилась, потом, всматриваясь, пошла по рядам, прошла совсем близко и не заметила меня — почти как тогда в соборе, в Оснабрюке.

— Элен! — позвал я.

Она обернулась. Я встал.

— Что с вами сделали? — сказала она сердито.

— Ничего особенного. Мы спали в угольном подвале. Как ты сюда попала?

— Меня арестовали, — почти с гордостью сказала она. — И намного раньше, чем других женщин.

— Почему тебя арестовали?

— А тебя почему?

— Меня считают шпионом.

— Меня тоже. Из-за паспорта.

— Откуда ты знаешь?

— Меня тут же допросили и сказали, что я не считаюсь настоящей эмигранткой. Женщины, которые в самом деле бежали из Германии, еще на свободе. Мне объяснил это маленький человек с напояженными волосами. От него пахло улитками. Это он тебя допрашивал?

— Тут от всех пахнет улитками. Слава богу, что ты принесла одеяла.

— Я захватила все, что могла.— Елена открыла коробку. Что-то звякнуло. Это были две бутылки.— Коньяк,— сказала она.— Вина я не брала, только самое концентрированное. Вас тут кормят?

— Нам позволяют посылать за бутербродами.

— Вы похожи на сборище негров. Разве здесь не решают помыться?

— Пока еще нет. И не со зла, а так — по небрежности.

Она достала коньяк.

— Бутылки уже откупорены,— сказала она.— Последняя любезность хозяина гостиницы. Он был уверен, что здесь не найдется штопора. Выпей!

Я сделал большой глоток и вернул ей бутылку.

— У меня даже есть стакан,— заметила она.— Давай придерживаться правил цивилизации, пока это возможно.

Она наполнила стакан и выпила.

— Ты пахнешь летом и свободой,— сказал я.— Как там? Что нового?

— Как обычно, будто и войны нет. Кафе переполнены. Небо безоблачно.

Она взглянула на полицейских и засмеялась.

— Похоже на тир. Можно стрелять по тем фигуркам, а когда они будут переворачиваться — получать в премию бутылку коньяка или пепельницу.

— Здесь оружие у фигурок.

Елена достала из корзины паштет.

— Это от хозяина,— сказала она.— С приветом и изречением: проклятая война! Это паштет из дичи. Я захватила также вилки и ножи. Еще раз — да здравствует цивилизация!

Мне стало вдруг весело. Елена со мной, значит, ничего не потеряно. Война, собственно говоря, еще не началась, и может быть, нас и в самом деле скоро выпустят.

Вечером следующего дня мы узнали, что нам все-таки придется расстаться. Меня направили в сборный лагерь в Коломбо¹. Елену — в тюрьму «Пти Рокет». Даже если бы

¹ Город вблизи Парижа.

удалось убедить полицейских, что мы женаты, это нисколько бы не помогло. Супругов разлучали без всякого.

Ночь мы просидели в подвале. Один из полицейских жалился и впустил нас. Кто-то принес пару свечей. Часть задержанных увезли, осталось человек сто. Здесь были и испанцы. Их тоже арестовали. Усердие, с которым в стране, воевавшей против фашистов, охотились за антифашистами, выглядело дьявольской иронией. Казалось, мы очутились в Германии.

— Почему нас разлучают? — спросила Елена.

— Не думаю, чтобы это была сознательная жестокость.

— Если мужчин и женщин держать в одном лагере, ничего, кроме свар и сцен ревности не будет, — начал меня поучать маленький пожилой испанец. — Поэтому вас и разделяют. Война!

Елена заснула в плаще рядом со мной. Здесь было два удобных мягких дивана, но их предоставили четырем-пяти старым женщинам. Одна из них предложила Елене соснуть на диване часа два, с трех до пяти утра, но она отказалась.

— Мне еще много раз придется спать одной, — сказала она.

Это была странная ночь. Голоса понемногу затихали. Старухи, изредка просыпаясь, принимались плакать и снова погружались в сон, как в черную бездну. Постепенно гасли свечи. Елена спала, положив голову мне на плечо. Сквозь сон она тихо говорила со мной. То был лепет ребенка и шепот влюбленной, слова, которые боятся дневного света и в обычной, спокойной жизни редко звучат даже ночью, слова печали и прощания, тоска двух тел, которые не хотят разлучаться, трепет кожи и крови, слова боли и извечной жалобы — самой древней жалобы мира — на то, что двое не могут быть вместе и что кто-то должен уйти первым, что смерть, не затихая, каждую секунду скребется возле нас, даже тогда, когда усталость обнимает нас и мы желаем хотя бы на час забыться в иллюзии вечности.

Елена, сжавшись в комок, прильнула к моей груди, потом соскользнула к коленям. Я держал ее голову в руках и — в мерцании последней догорающей свечи — смотрел, как она дышит во сне. Я слышал, как мужчины подымались и украдкой уходили за чучи угля по малой нужде. Трепетал слабый язычок пламени, и по стенам металась исполинские тени, словно мы находились где-то в джунглях, в сумрачном царстве духов, и Елена была убегающим леопардом, которого искали волшебники, бормоча свои заклинания.

Потом угас последний свет, и осталась только удушливая тьма, наполненная шорохами и храпом. Один раз Елена вдруг метнулась с коротким жалобным криком.

— Я здесь,— прошептал я.— Не пугайся — Она улеглась опять, поцеловав мои руки.

— Да, да, ты здесь,— прошептала она.— Ты всегда будешь со мной.

— Всегда,— ответил я.— И если нас на время разлучат, я найду тебя опять.

— Ты придешь? — прошептала она, вновь засыпая.

— Я прихожу всегда. Всегда! Где бы ты ни была, я найду тебя, как тогда.

— Хорошо,— прошептала она и устроилась удобнее. Ее лицо было в моих ладонях, как в чаше. Она заснула, а я сидел во тьме и не мог спать.

Она касалась губами моих пальцев, один раз мне показалось, что я чувствую слезы. Я ничего не сказал. Я любил ее. И никогда — даже в минуты обладания — я, наверно, не любил ее с большей силой, чем тогда, в ту мрачную ночь с всхлипываниями, храпом и странным шипящим звуком из-за куч угля, куда уходили мочиться мужчины. Я как-то притих и чувствовал, что все существо мое словно померкло от любви.

Потом пришел рассвет — тусклая, серая мгла, в которой гаснут краски, а у человека под кожей начинают просвечивать очертания скелета. И мне вдруг показалось, что Елена умирает и что мне нужно скорее разбудить ее.

Она проснулась и лукаво посмотрела на меня, открыв один глаз.

— Как ты думаешь, удастся ли нам раздобыть горячее кофе и хлебцы с маслом?

— Попробую подкупить полицейского,— ответил я, чувствуя себя ужасно счастливым.

Елена открыла второй глаз.

— Что случилось? — спросила она.— У тебя такой вид, будто нас выпускают на свободу.

— Нет,— ответил я.— Просто я сам себя выпустил.

Она сонно повернула голову в моих руках.

— Почему ты не даешь себе хоть немного отдохнуть?

— Да,— сказал я.— В конце концов я вынужден буду это сделать. И, боюсь, надолго. Меня лишат необходимости принимать решения самому. Хотя, наверно, это тоже утешение.

— Все может быть утешением,— отозвалась Елена и зевнула.— По крайней мере до тех пор, пока мы живы. Как ты думаешь, они нас расстреляют как шпионов?

— Нет, они нас просто посадят за решетку.

— Разве они сажают эмигрантов, которых не считают шпионами?

— Они посадят всех, кого разыщут. Мужчин они уже всех забрали.

Елена потянулась.

— Но есть же все-таки разница?

— Может быть, другим удастся легче освободиться.

— Еще неизвестно. Может быть, с нами как раз и будут обращаться получше, думая, что мы действительно шпионы.

— Элен, это ерунда.

Она покачала головой.

— Нет, не ерунда. Это результат опыта. Разве ты не знаешь, что невиновность в наш век — преступление, которое карается тяжелее всего? Разве ты не понял этого после того, как тебя сажали за решетку в двух странах? Эх ты, мечтатель, искатель справедливости! Есть еще коньяк?

— Коньяк и паштет.

— Давай и то и другое. Вот так завтрак! Боюсь, однако, что впереди у нас жизнь с приключениями.

— Хорошо по крайней мере, что ты так смотришь на все,— заметил я и передал ей коньяк.

— Только так и нужно смотреть,— ответила она.— Или ты хочешь умереть от разлития желчи? Если отказаться от таких понятий, как справедливость, то совсем не трудно относиться к этому только как к приключению. Разве не так?

Чудесный запах старого коньяка и хорошего паштета действовал на Елену, как прощальный привет минувшего золотого века.

Она ела с наслаждением.

— Впрочем, для женщин идея справедливости совсем не так важна, как для вас.

— Что же для вас важно?

— Вот это,— она показала на бутылку, хлеб и паштет.— Ешь, мой любимый! Мы пробьемся! И через десяток лет это и в самом деле будет выглядеть лишь колоссальным приключением, и мы по вечерам будем рассказывать о нем гостям так часто, что это в конце концов всем наскучит. Питайся, человек с фальшивым паспортом! То, что мы съедим сейчас, нам не придется тащить на себе.

— Мне незачем рассказывать вам все в подробностях,— сказал Шварц.— Вы знаете, что такое путь эмигрантов. На стадионе в Коломбо я пробыл только два дня. Елена попала в тюрьму «Пти Рокет».

В последний день на стадионе появился хозяин нашей гостиницы. Я увидел его только издали, нам не разрешалось разговаривать с посетителями. Он передал для меня пирог и большую бутылку коньяка. В пироге я нашел записку: «Мадам здорова и в хорошем настроении. Опасности пока нет. Предстоит отправка в женский лагерь где-то в Пиренеях. Письма направляйте на гостиницу. Мадам держится молодцом!» В записку была вложена бумажка поменьше. Я узнал почерк Елены: «Не беспокойся. Ничего опасного. Приключение продолжается. До скорого. Люблю».

Ей удалось прорвать не только строгую блокаду. Правда, я не мог понять — как. Позже она рассказала, что заявила в тюрьме, будто у нее нет каких-то документов и надо принести их. Ее отправили в гостиницу в сопровождении полицейского. Там она сунула хозяину записку и шепотом объяснила, как переслать мне. Полицейский проявил уважение к делам любви и сделал вид, что ничего не заметил. Вернулась она без документов, но захватила духи, коньяк и корзину с едой. Она любила поесть. Как ей при этом удавалось оставаться стройной — до сих пор не знаю.

Иногда — когда мы с ней были на свободе, — просыпаясь ночью, я видел, что ее нет рядом. Тогда с уверенностью можно было идти туда, где мы хранили еду. И она уж наверняка сидела там в лунном свете, с samozабвенной улыбкой на губах, и поела лакомый кусочек ветчины или набивала рот остатками десерта, припрятанного с вечера. И запивала все это вином прямо из бутылки. Она была похожа на кошку, у которой ночью вдруг просыпался аппетит. Она рассказывала, как при аресте заставила полицейского ждать, пока не испечется ее любимый паштет в духовке у хозяина гостиницы. Полицейскому, ворча, пришлось подчиниться, потому что идти без еды она отказалась наотрез. А флики¹ избегали шума и не любили вталкивать кого-нибудь в полицейскую машину силой. Уходя, Елена не забыла захватить также пакетик бумажных салфеток.

На следующий день нас погрузили и повезли на юг, к Пиренеям. Тоскливая, тревожная, смешная и печальная одиссея страха, бегства, бюрократического крючкотворства, отчаяния и любви началась.

XII

— Быть может, когда-нибудь наш век назовут эпохой иронии, — продолжал свой рассказ Шварц. — Конечно, не той прежней, возвышающей душу иронии восемнадцатого

¹ Жаргонное название французских полицейских.

столетия, но иронии подневольной, нелепой, большей частью зловещей, отмеченной печатью нашего пошлого времени с его успехами техники и деградацией культуры. Ведь Гитлер не только другим прожужжал уши — он и сам верит в то, что он апостол мира и что войну навязали ему другие. И вместе с ним в это верят пятьдесят миллионов немцев. А то, что только они из года в год вооружались, в то время как другие страны не готовились к войне, ничего не меняет в их убеждениях. Нет ничего удивительного в том, что, сбегав из немецких концлагерей, мы смогли приземлиться только во французских. Протестовать было довольно трудно: у страны, которая сражалась не на жизнь, а на смерть, были более важные дела, чем забота о справедливом отношении к каждому эмигранту. Нас не пытали, не душили газами, не расстреливали, нас только держали в заключении — на что же нам было жаловаться?

— Где вы опять встретились с женой? — перебил я.

— Это случилось не так скоро. Вы были в Леверне?

— Нет. Говорят, это был худший из французских лагерей.

Шварц иронически улыбнулся.

— Вы слышали притчу о раках, которых бросили в котел с водой, чтобы сварить? Когда температура поднялась до пятидесяти градусов, они начали возмущаться, что это невыносимо, и вспомнили о чудесных мгновениях, когда было всего сорок. Когда было шестьдесят, они принялись расхваливать доброе время пятидесяти. Потом — при семидесяти градусах — вспоминали про то, как хорошо было в шестьдесят, и так далее. Так вот, Леверне в тысячу раз лучше самого лучшего немецкого концлагеря, точно так же, как концлагерь без газовых камер лучше того, где есть эти камеры. Басню о раках полностью можно перенести на нас.

Я кивнул.

— И что же случилось с вами?

— Начались холода. Одеял у нас не хватало, а угля совсем не было. Всевозможные неудобства человеку переносить труднее, когда он мерзнет. Не стану надоедать вам описаниями того, как мы провели зиму в лагере. Теперь над этим легко иронизировать. Если бы я и Елена признались в том, что мы нацисты, нас сразу бы поместили в специальный лагерь. В то время как мы голодали, мерзли, болели, в газетах печатались фотографии интернированных немцев, которые не были эмигрантами. Те жили припеваючи, у них было все: стулья, столы, вилки, ножи, кровати, одеяла, сто-

ловые. Газеты с гордостью указывали на этот пример гуманного отношения к врагу. А с нами можно было не церемониться, мы были не опасны.

Постепенно я притерпелся ко всему. О понятии справедливости постарался забыть, как мне и советовала Елена. После работы вечер за вечером просиживал я в своем закутке в бараке: метр ширины, два метра длины, охалка соломы — вот и все. Я приучал себя смотреть на эту жизнь как на какой-то переход, который не имеет ничего общего с моим внутренним я. Все совершалось помимо моей воли, а я, как ученый зверь, только отвечал на то, что делалось. Заботы убивают так же, как дизентерия, от них надо держаться подальше; а справедливость — это вообще роскошь, о которой можно говорить только в спокойные времена.

— Вы в самом деле думали так? — спросил я.

— Нет, — покачал головой Шварц. — Эту мысль я час за часом, день за днем должен был вдалбливать себе. Потому что больше всего ранит мелкая, а вовсе не большая несправедливость. То и дело приходилось отодвигать в сторону небольшие повседневные обиды из-за меньшего куска хлеба, более тяжелой работы, чтобы в этом ожесточении не потерять главное.

— Значит, вы жили как ученый зверь?

— Да, — сказал Шварц, — пока не получил первое письмо от Елены. Оно пришло через два месяца, через нашу гостиницу в Париже. Будто в темной, затхлой комнате вдруг распахнулось окно

Письма приходили нерегулярно, иногда их не было неделями. Странно, в письмах образ Елены как будто двоился. Она писала, что у нее все хорошо, что ее наконец перевели в лагерь и она работает на кухне, а позже — в столовой. Два раза ей удалось переслать мне посылку с продуктами — не знаю, с помощью каких уловов и подкупа. И тут же в письмах начало проглядывать и другое ее лицо. Что тут надо было приписать разлуке и своенравию моей фантазии — я не знал. Вы сами понимаете, как все разрастается в неволе, когда у тебя нет ничего, кроме пары писем.

Незначительная фраза, написанная безо всякого умысла, покажется вдруг молнией, разрушающей жизнь. А другая становится источником радости на целые недели, хотя и она проскользнула случайно, без определенного намерения.

Как-то пришла фотография: Елена стоит у барака, рядом с ней женщина и мужчина. Она писала, что это французы из персонала лагеря.

Шварц вскинул глаза.

— Как я вглядывался в лицо мужчины! Я выпросил у часовщика увеличительное стекло. Я не понимал, зачем Елена прислала мне этот снимок. Сама она, наверно, ничего не думала при этом. Или, может быть, все-таки... Я терялся в догадках. Вам знакомо это?

— Психоз у заключенных — довольно частая штука, — ответил я.

Владелец кабачка подошел со счетом. Мы были последними.

— Где нам можно посидеть еще? — спросил его Шварц. Хозяин назвал адрес.

— Там есть и женщины, — сказал он. — Красивые, толстые, недорогие.

— А другого места нет?

— Другого? В это время! Не знаю. — Он натянул куртку. — Могу проводить, если хотите. Женщины там хитрющие. Я помогу вам, чтобы вас не обманули.

— А без женщин там можно посидеть?

— Без женщин? — хозяин посмотрел на нас недоумевая, потом быстро ухмыльнулся. — Ах, без женщин! Я понимаю. Конечно, конечно. Но, к сожалению, там только женщины.

Когда мы вышли на улицу, он посмотрел нам вслед и ничего не сказал.

Стояло чудесное, очень раннее утро. Солнце еще не взошло, но запах моря стал сильнее. По улицам шныряли кошки. Из некоторых окон уже доносился запах кофе, смешанный с запахом ночи. Фонари погасли. Где-то погромыхивала телега. На беспокойной поверхности Тахо уже мелькали там и сям паруса рыбацких лодок, похожие на красные и желтые кувшинки, а внизу, без огней, лежал белый безмолвный корабль — ковчег, последняя надежда. Мы пошли вниз, в порт.

Наконец мы очутились в небольшом, жалком притоне. Несколько жирных, неряшливо одетых женщин играли в карты и курили. Они без особого энтузиазма попробовали присоединиться к нам, но тут же оставили нас в покое.

Я взглянул на часы. Шварц заметил это.

— Теперь уже осталось немного, — сказал он. — А консульства открываются не раньше девяти.

Я знал это так же, как и он. Однако он не знал, что рассказывать и слушать — это не одно и то же.

— Год может показаться бесконечным, — продолжал он. — А потом это ощущение вдруг пропадает. В январе я бежал, когда мы были на работах вне лагеря. Через два дня

меня поймали. Лейтенант С., снискавший себе зловещую славу, бил меня хлыстом по лицу. Потом три недели я просидел в одиночке на хлебе и воде. При второй попытке меня поймали сразу, и я сдался. Даже если бы побег удался, продержаться без продовольственных карточек и документов было невысказано. Беглеца задержал бы первый жандарм. А до лагеря, где находилась Елена, было не близко.

Все изменилось, когда в мае началась настоящая война. Через четыре недели она закончилась. Мы были в неоккупированной зоне, но говорили, что немецкая армейская комиссия или даже гестапо будут прочесывать лагерь. Вы помните панику, которая вспыхнула тогда?

— Да,— сказал я.— Паника, самоубийства, просьбы людей освободить их раньше и бюрократическая волокита. Правда, не всегда. Был, говорят, лагерь, где комендант под собственную ответственность отпустил эмигрантов. Многие из них поймали в Марселе и на границе.

— В Марселе! Там у меня и Елены уже был яд,— усмехнулся Шварц.— В маленьких ампулах. Они давали ощущение фатального покоя. Их продал мне в нашем лагере один аптекарь. Две ампулы. Он утверждал, что вполне хватит на двоих. Он продал потому, что боялся, как бы не принять их самому в минуту отчаяния, прежде чем настанет рассвет.

Мы ходили на голубей, нанизанных на веревку для отстрела. Быстрый разгром Франции поразил всех. Мы еще не знали, что Англия не собирается заключать мир. Мы только видели, что все кончено.— Шварц сделал усталое движение,— ведь даже сейчас нельзя с уверенностью сказать, что еще не все потеряно. Мы на краю, а позади только море.

Море, подумал я. И корабли, которые его все-таки пересекают. В дверях показался хозяин кабачка, где мы были перед этим. Он насмешливо приветствовал нас на военный лад. Потом он что-то прошептал толстухам. Одна из них, женщина с громадной грудью, встала и подошла к нам.

— Как вы, собственно говоря, делаете это?

— Что?

— Это, наверно, чертовски больно.

— Что? — повторил Шварц растерянно.

— Любовь между матросами в дальнем плавании! — прокричал от дверей хозяин. Его охватил припадок такого смеха, что казалось, у него вылетят все зубы.

— Этот скромник просто обманул вас,— сказал я женщине, от которой шел запах здорового тела, оливкового мас-

ла, пота, чеснока и лука.— Мы вовсе не гомосексуалисты. Мы оба были в абиссинской войне, и там туземцы кастрировали нас.

— Вы итальянцы?

— После того как тебя кастрируют, ты больше не принадлежишь уже никакой нации, становишься космополитом,— ответил я.

Она подумала.

— Ты шутишь,— сказала она наконец серьезно и, покачивая громадными бедрами, отошла к двери, где хозяин тут же с чувством хлопнул ее по заду.

— Странная вещь безнадежность,— продолжал Шварц.— Как крепко сидит внутри нас стремление выжить, только бы выжить! И вот тогда попадаешь вдруг, словно судно во время тайфуна, в полный штиль в самом центре урагана. Ты уже сдался, ты уже похож на жука, который притворяется мертвым. Но ты не мертв. Просто ты отказался от всех других усилий, кроме одного голого стремления выжить. Это настороженная, чуткая, собранная пассивность. Теперь ничего уже нельзя упустить. И все еще длится мертвая тишина — в то время как вокруг ревущей стеной встает ураган. Отчаяние в эти минуты может лишить тебя частицы упорства, ослабить волю к жизни, и потому забудь об отчаянии. Ты весь превратился в один огромный глаз, весь — готовность взведенного курка, и к тебе вдруг приходит странная тихая ясность. В эти дни, бывало, я чувствовал себя подобным индийскому йогу, который отодвигает в сторону все, связанное с собственным я, чтобы...

— Искать бога? — перебил я с затаенной усмешкой.

— Нет,— задумчиво ответил Шварц.— Мы его ищем всегда, но ищем так, как человек, который, желая научиться плавать, прыгает в воду в одежде, с багажом и снаряжением. А нужно быть нагим. Таким, как я был в ту ночь, когда покинул безопасную чужбину и возвращался на родину, где таилась угроза. Я пересек тогда Рейн, будто реку судьбы,— маленький, освещенный луной комочек жизни.

Часто в лагере я думал о той ночи, и воспоминание не ослабляло, а придавало мне силы. Я не сдался тогда, я победил, и именно потому была наша словно упавшая с неба вторая жизнь с Еленой. И пусть иногда меня охватывало отчаяние и что-то тревожило во сне — все-таки было и другое: Париж, Елена и чувство, что я не одинок. Она была. Пусть далеко, пусть с другим, но она была. И каким же все-таки ужасным бывает время, подобное нашему, когда человек чувствует себя ничтожнее, чем муравей под сапогом!

Шварц замолчал.

— Вы нашли бога? — спросил я.

Это был грубый вопрос, но он почему-то стал для меня очень важным.

— Лицо в зеркале, — ответил Шварц.

— Какое лицо?

— Всегда одно и то же. Разве вы не знаете своего собственного лица?

Я ошеломленно посмотрел на него и опять увидел то странное выражение, которое уже замечал однажды.

— Лицо в зеркале, — повторил он. — И лицо, которое выглядывает у вас из-за плеч, а там еще одно, но тут вы сами вдруг обращаетесь в зеркало с его бесконечными отражениями... Нет, я его не нашел. Да и что с ним делать, если и найдешь? Теперь нет ни одного человека, который знал бы это. А искать, что ж, это совсем другое, — он улыбнулся. — Впрочем, тогда у меня уже не было для этого ни времени, ни сил. Я оказался слишком глубоко на дне. Я думал только о том, что я любил. Я жил не богом, не справедливостью. Круг замкнулся. Это было то же состояние, что тогда у реки. Оно повторялось. И опять я был один. Когда это приходит, можно не думать, раздумье только внесет путаницу. Все совершается само собой. Из жалкого человеческого одиночества нужно идти туда, куда неслышно толкает тебя неведомая рука событий. Только надо идти, ни о чем не спрашивая, и тогда все будет хорошо. Наверно, вы думаете, что я излагаю сейчас невероятный бред?

Я отрицательно покачал головой.

— Нет, я знаю это тоже. Так бывает и в минуты большой опасности. Я встречал людей, которые переживали нечто похожее на войну. Вдруг без всякой причины человек покидает блиндаж, который минутой позже превращается в кровавое месиво. И он сам не знает, почему вышел: ведь с точки зрения здравого смысла блиндаж в сто раз надежнее, чем открытый окоп.

— Я совершил невероятное, — продолжал свой рассказ Шварц, — а действовал при этом так, будто делаю само собой разумеющееся. Однажды утром я вышел из лагеря на проселочную дорогу. Теперь я не пытался, как обычно, ускользнуть ночью. Наоборот, совершенно не таясь, на глазах у всех, ясным солнечным утром подошел к главным воротам и заявил часовым, что меня отпустили; потом пошарил в карманах, дал обоим солдатам денег и сказал, что они могут по этому случаю выпить за мое здоровье. Никому не могло прийти в голову, что кто-нибудь решится так дерзко, не имея пропуска, открыто покинуть лагерь. Поэтому оше-

ломленные крестьянские парни в солдатских мундирах у ворот даже не догадались спросить у меня пропуск.

Я медленно пошел по белой пыльной дороге. Я не бросился бежать, хотя мне казалось, что позади остались не ворота лагеря, а пасть дракона, который крадется следом и вот-вот схватит меня.

Я спокойно засунул в карман паспорт покойного Шварца, которым я размахивал перед глазами стражи, и пошел дальше. Пахло розмарином и тимьяном. Это был запах свободы.

Потом я наклонился, словно для того, чтобы зашнуровать ботинок, и украдкой посмотрел назад. Дорога была пустынна. Я пошел быстрее.

У меня не было ни одного из тех документов, которые требовались в то время. Я немного знал по-французски и надеялся сойти за француза, говорящего на диалекте. Тогда еще вся страна находилась в движении. Города и деревни были забиты беженцами из оккупированных областей. По дорогам двигались автомашины, велосипедисты, тележки с узами и домашним скарбом, отставшие солдаты.

Я подошел к придорожному ресторанчику, окруженному деревьями, под которыми стояло несколько столиков. Позади начинался плодовый сад и огород. В большой комнате, выложенной плитам, пахло пролитым вином, свежим хлебом и кофе.

Я сел за стол, ко мне подошла босоногая девушка, растелила скатерть, поставила кофейник, чашку, тарелку с хлебом и мисочку меда. После Парижа я не видывал такой роскоши.

А снаружи мимо пыльной изгороди двигался мир, потерпевший крушение, и только еще здесь, в тени деревьев, оставался дрожащий оазис покоя и тишины, наполненный жужжаньем пчел и золотистым светом позднего лета. Мне казалось что, как верблюд, я должен напиток этого покоя проглотить, впрок, для грядущего перехода через пустыню. И я закрыл глаза ипил, и вокруг меня был мерцающий свет.

XIII

На вокзале я увидел жандарма и повернул обратно. Хотя я не думал, что уже сообщили о моем исчезновении, я все же решил держаться подалеже от железной дороги. Пока мы в лагере, никто особенно не думает о нас, но достаточно нам убежать, как тут же принимаются нас разыскивать,

словно драгоценность. Нам отказывают в куске хлеба, пока мы сидим взаперти, но не жалеют никаких затрат, чтобы изловить нас опять, и с этой целью мобилизуют целые роты солдат.

Часть пути мне удалось проехать в грузовике. Шофер на чем свет ругал немцев, войну, бога, французское и американское правительство. Но прежде чем высадить меня, он поделился со мной последним куском хлеба.

Целый час я шагал по проселку до следующей станции. Я уже был научен тому, что если не хочешь показаться подозрительным, не прячься. Я прямо подошел к кассе и попросил билет первого класса до ближайшего города. Кассир, однако, не спешил выполнить мою просьбу, и я понял, что он хочет спросить документ. Но тут я опередил его и прикрикнул, чтобы он не копался. Чиновник растерялся и выдал мне билет.

Я отправился в кафе и пробыл там до отхода поезда. Так мне удалось за три дня добраться до лагеря, где находилась Елена. Однажды меня остановил жандарм, но я заорал на него по-немецки и сунул ему под нос паспорт Шварца. Бедняга отшатнулся и был рад, что я оставил его в покое. Австрия входила в состав Германии, и австрийский паспорт уже действовал почти как удостоверение гестапо. Изумительную силу таил в себе документ мертвого Шварца. Во всяком случае — большую, чем человек. И это был всего-навсего клочок печатной бумажки!

Чтобы достичь лагеря, где была Елена, надо было подняться на гору, покрытую лесом, зарослями дрока, вереска и розмарина. Я добрался до него к вечеру. Он был обнесен проволокой, но не выглядел так безрадостно, как Леверне, может быть, потому, что это был женский лагерь. Почти на всех женщинах были пестрые платки, закрученные иной раз на манер тюрбана. Мелькали яркие платья. Я смотрел из леса, и все это производило даже беспечное впечатление.

Странная вялость вдруг овладела мной. Я ожидал другого: одиночества, безысходности, куда я прорвусь подобно Дон-Кихоту или Георгию Победоносцу. А здесь во мне вообще не нуждались, словно там, в лагере, все были довольны. Если Елена здесь, она давно забыла меня.

Я долго смотрел из-за деревьев, решая, что делать дальше. В сумерках к ограде подошла женщина. Потом вторая, третья. И вот их уже оказалось много, и все стояли молча, едва перебрасываясь друг с другом словами. Они смотрели вдаль, через проволоку, невидящими глазами, потому что перед ними не было того, что они хотели бы увидеть, — свободы.

Небо стало сиреневым. Из долины вверх по склонам ползли тени, кое-где замелькали слабые огоньки. И женские фигуры у ограды лагеря тоже, постепенно теряя краски и формы, стали тенями. Бледные лица прерывистой цепью колыхались за проволокой над плоскими черными силуэтами. Постепенно цепь начала редеть — лица исчезали одно за другим. Женщины уходили. Час отчаяния кончился. Я узнал позже, что именно так называли в лагере эти минуты.

Только одна женщина осталась стоять у ограды. Я осторожно приблизился.

— Не пугайтесь,— сказал я по-французски.

— Чего мне пугаться? — ответила она, помолчав.

— Я хотел бы попросить вас кое о чем.

— Лучше бы не просил, свинья. Неужели у вас все мысли об одном? Убирайся к черту и издохни вместе со своей похотью! Неужели у вас в деревне нет женщин? Чего вы здесь бродите, проклятые собаки?

Я понял, о чем она говорила.

— Вы ошибаетесь,— сказал я.— Мне нужно поговорить с одной женщиной, которая находится в этом лагере.

— А почему с одной? Почему не с двумя? Не со всеми?

— Послушайте,— перебил я ее,— в этом лагере моя жена, я должен поговорить с женой!

Женщина засмеялась. В ней не чувствовалось гнева, только усталость.

— Еще один фокус! Каждую неделю вы придумываете что-нибудь новое!

— Я здесь первый раз!

— Потому-то ты так настойчив! Убирайся к черту!

— Послушайте же,— сказал я по-немецки,— я прошу вас передать моей жене, что я здесь. Я немец. Я сам был за проволокой в Леверне!

— Посмотрите-ка на него,— спокойно заметила женщина.— Он еще и по-немецки болтает. Проклятый эльзасец! Пусть тебя сожрет сифилис! Пусть всех вас сгрызет рак за то, что вы нас тянете туда, у вас вообще нет никакого сочувствия, кабаны! Разве вы не понимаете, что вы делаете? Оставьте нас в покое! — сказала она громко, с силой.— Ведь вы нас посадили, неужели вам этого еще мало? Оставьте же нас, наконец, в покое! — закричала она.

Я услышал, что приближаются другие, и отскочил.

Ночь я провел в лесу. Я не знал, куда податься. Взошла бледная луна и, словно белым золотом, облила окрестности, окутанные дымкой тумана. Потянуло холодом осени.

Утром я спустился в долину и обменял свой костюм на комбинезон монтера.

Я вернулся к лагерю и у входа объяснил часовому, что должен осмотреть электропроводку. Мой французский язык оказался сносным, и меня впустили, ни о чем больше не спрашивая. Да и кто же, в конце концов, полезет добровольно в лагерь для интернированных?

Я осторожно прошелся по улицам лагеря. Женщины в бараках жили будто в ящиках, разделенных кусками парусины. В каждом бараке было два этажа, посредине проход, по сторонам занавески. Некоторые из них были подняты, там виднелись грубые постели. Кое-где на стене мелькал платочек, пара открыток, фотография. Это все выглядело жалко, но придавало уголку слабые черточки индивидуальности.

Я крался сквозь полутемный барак. Женщины перестали работать и поднимали на меня глаза.

— Вы с каким-нибудь известием? — спросила одна.

— Да, у меня поручение для одной женщины. Ее зовут Елена. Елена Бауман.

Женщина задумалась. Подошла вторая.

— Это не та нацистская стерва, что работает в столовой? Та, что путается с доктором?

— Она не нацистка, — сказал я.

— Та, что в столовой, тоже не нацистка, — сказала первая. — Кажется, ее зовут Елена.

— Разве здесь есть нацисты? — спросил я.

— Конечно. Здесь все перепуталось. Где сейчас немцы?

— В окрестностях их нет.

— Говорят, должна прибыть военная комиссия. Слышали вы что-нибудь об этом?

— Нет.

— Комиссия будет освобождать из лагерей нацистов. Но вместе с нею явятся и гестаповцы. Вы ничего об этом не знаете?

— Нет.

— Но ведь немцы не должны хозяйничать в неоккупированной зоне.

— Держи карман!

— Вы ничего об этом не знаете?

— Ничего, кроме слухов.

— От кого известия для Елены Бауман?

Я помолчал.

— От ее мужа. Он на свободе.

Вторая женщина васмехалась.

— Ну, ему придется раскрыть рот!

— А можно пройти в столовую? — спросил я.

— Конечно! Вы не француз?

— Эльзасец.

— Вы боитесь? — спросила вдруг вторая женщина. — Отчего? Вы что-нибудь скрываете?

— А есть сегодня хоть один, которому нечего скрывать?

— Вам виднее, — ответила первая.

Вторая ничего не сказала. Она уставилась на меня так, словно я был шпион. От нее резко пахло ландышем. Запах духов бил в нос.

— Спасибо, — сказал я. — Где столовая?

Первая женщина объяснила мне, как туда пройти. Я двинулся через полумрак барака, будто сквозь строй. По обеим сторонам всплывали бледные лица, испытующие глаза. Мне казалось, что я попал в царство амазонок. Потом я опять очутился на улице, под жарким солнцем, и снова меня охватило затхлое дыхание неволи.

Я никогда не думал, была ли Елена здесь верна мне. Это уже не имело значения. Нам выпало слишком много испытаний, и у нас не осталось ничего, кроме стремления выжить во что бы то ни стало. Все остальное исчезло. Даже если сомнения и мучили меня в Леверне, — это был бред, пугающие образы, которые я сам придумывал, прогонял и опять вызывал.

Теперь я стоял посреди ее спутниц. Я наблюдал за ними вечером у ограды и видел их сейчас — голодных женщин, которые уже много месяцев были одни. В неволе они не переставали быть женщинами, теперь они даже сильнее чувствовали это. Что же им оставалось?

В бараке, где была столовая, бледная женщина с рыжими волосами продавала разную снедь. Ее окружали несколько других.

— Что вам надо? — спросила она.

Я подмигнул, показал головой в сторону и пошел к двери. Она быстро окинула глазами своих клиентов.

— Через пять минут, — прошептала она. — Хорошие или плохие?

Я понимал, что она спрашивала о новостях.

— Хорошие, — сказал я и вышел в соседнюю комнату. Через несколько минут женщина подошла ко мне.

— Надо быть осторожней, — сказала она. — Вы к кому?

— К Елене Бауман. Она здесь?

— Зачем?

Я молчал и разглядывал веснушки у нее на носу, Глаза ее беспокойно бегали.

— Она работает в столовой?
— Что вы хотите? Вы монтер? — спросила она. — Для кого вам нужны эти сведения?

— Для ее мужа.

— Недавно один вот так же выспрашивал о другой женщине. Через три дня ее увезли. Мы условились, что она обязательно сообщит нам, если все будет хорошо. Мы не получили от нее никакого известия. Вы лжете, вы вовсе не монтер!

— Я ее муж, — сказал я.

— А я Грета Гарбо¹, — усмехнулась женщина.

— Я не стал бы спрашивать ни с того ни с сего.

— О Елене Бауман много спрашивают, — сказала женщина. — Ею интересуются весьма заметные люди. Хотите вы, наконец, знать правду? Елена Бауман умерла. Она умерла две недели назад, и ее похоронили. Вот вам правда. А сначала я думала, что вы принесли известие с воли.

— Она умерла?

— Умерла. А теперь оставьте меня в покое.

— Она не умерла, — сказал я. — В бараках говорят другое.

— В бараках болтают много чепухи.

Я посмотрел на рыжую.

— Вы не передадите ей записку? Я уйду, но я хотел бы оставить письмо.

— Зачем?

— Как зачем? Письмо ничего не значит. Оно не убивает никого и не выдает.

— Вы в этом уверены? — насмешливо сказала женщина. — Давно ли вы живете на свете?

— Не знаю. Мне удавалось жить только частями, с большими перерывами. Я мог бы купить у вас карандаш и кусок бумаги?

— Там есть и то и другое, — она показала на маленький столик. — Чего ради вы хотите писать мертвой?

— Сейчас это делают довольно многие.

Я написал на куске бумаги: «Элен, я здесь, на свободе. Приходи сегодня вечером к ограде. Буду ждать».

Я не стал заклеивать письмо.

— Вы отдадите ей?

— Сегодня что-то много шатается сумасшедших, — ответила она.

— Да или нет?

¹ Известная шведская киноактриса.

Она прочла письмо, которое я сунул ей.

— Нет,— и вернула мне письмо.

Я положил его на стол.

— По крайней мере, не выбрасывайте и не рвите его.

Она ничего не сказала.

— Я вернусь и убью вас, если вы помешаете этому письму попасть в руки моей жены.

— В самом деле?

Она ничего больше не сказала, обратив ко мне лицо с зелеными рыбьими глазами.

Я покачал головой и пошел к выходу.

— Так ее нет здесь? — спросил я еще раз, обернувшись.

Женщина все так же молча посмотрела на меня и не ответила.

— Я еще десять минут буду в лагере,— сказал я.— Я приду еще раз, чтобы узнать

Я шел по улицам и переходам лагеря. Я хотел через некоторое время снова вернуться в столовую, поискать Елену, но тут вдруг почувствовал, что с меня словно соскользнула защитная пленка. Я сделался непомерно большим, уязвимым со всех сторон. Мне надо было скорее спрятаться.

Я наудачу зашел в барак.

— Что вам надо? — спросила меня худая женщина.

— Я должен осмотреть электропроводку. Здесь все в порядке?

— Кажется, в порядке. Только здесь больные.

Я увидел на женщине белый халат.

— Это госпиталь? — спросил я.

— Барак для больных. Вас вызывали сюда?

— Меня прислала снизу моя фирма. Надо проверить провода.

Из глубины барака подошел человек в военной форме.

— В чем дело? — спросил он.

Женщина в белом халате объяснила ему. Его лицо показалось мне почему-то знакомым.

— Электричество? — переспросил он.— Лекарство и витамины сейчас были бы куда полезнее.

Он швырнул свою фуражку на стол и вышел.

— Здесь, кажется, все в порядке,— сказал я женщине в белом — Кто это был?

— Врач, кто же еще?

— У вас много больных?

— Достаточно.

— И многие умирают?

Она посмотрела на меня.

— Зачем вам это?

— Просто так,— ответил я.— Почему здесь ко всем подозрительны?

— Просто так,— ответила она.— Взбрело в голову, вот и все. Эх вы, невинный ангел! У вас есть и родина, и паспорт. А у этих людей нет ни того, ни другого,— она помолчала — Смертных случаев не было вот уже недели четыре. До этого умирали.

Месяц назад я получил письмо от Елены. Значит, она в лагере.

— Спасибо,— сказал я.

— Не за что,— ответила она горько.— Поблагодарите лучше бога за то, что ваша мать и отец дали вам родину, которую вы можете любить. Любить и в несчастье, любить и тогда, когда она держит в неволе еще более несчастных и выдает их хищникам, которые принесли несчастье их стране. А теперь, если надо, занимайтесь освещением. Было бы лучше, если бы прибавилось света кое у кого в голове!

— Была уже здесь немецкая военная комиссия? — быстро спросил я.

— Зачем вам это знать?

— Я слышал, что ее ждут здесь.

— И вы этим довольны?

— Нет, просто мне нужно предостеречь.

— Кого? — спросила женщина, насторожившись.

— Елену Бауман.

— От чего предостеречь? — она внимательно посмотрела на меня.

— Вы ее знаете?

— Вовсе нет.

И опять стена недоверия. Только позже я понял, отчего это происходило.

— Я ее муж,— сказал я.

— Вы можете это доказать?

— Нет. У меня другие документы. Может быть, вы поверите, если я скажу, что я не француз.

Я вытащил паспорт покойного Шварца.

— Нацистский паспорт,— сказала женщина — Так я и думала. Что вам надо?

Терпение у меня лопнуло.

— Увидеться с женой. Она здесь. Она сама написала мне об этом.

— Письмо при вас?

— Нет, я уничтожил его, когда решил бежать. Почему здесь все скрывают?

— Мне тоже хотелось бы знать,— сказала женщина,— и именно от вас.

Вернулся врач.

— Вы все закончили? — обратился он ко мне.

— Нет. Я загляну еще разок завтра утром.

Я снова зашел в столовую. Рыжая стояла с двумя другими женщинами у стола и продавала им белье. Я стал ждать и вновь почувствовал, что счастье уже покинуло меня: надо было немедленно уходить, если только я хотел еще выбраться из лагеря. Часовые у входа могут смениться, и тогда мне придется все объяснять заново.

Елены не было. Рыжеволосая избегала моего взгляда. Она торговалась, затягивая время. Тут подошли еще женщины. За окном прошел офицер. Я оставил столовую.

Часовые у входа были все те же, они помнили меня и разрешили выйти. Я миновал ворота, и опять у меня, как в Леверне, появилось ощущение, что на меня вот-вот набросятся сзади и схватят. Я взмок от пота.

Впереди показался старый грузовик. Скрыться было негде, и я пошел по краю дороги, опустив глаза в землю. Грузовик проехал мимо и остановился. Меня подмывало броситься бежать, но я удержался. Машина могла быстро развернуться, и тогда у меня уже не осталось бы никаких шансов.

Позади послышались быстрые шаги. Кто-то крикнул:

— Эй, монтер!

Я обернулся. Ко мне подошел пожилой солдат.

— Вы понимаете что-нибудь в автомашинах?

— Нет, я электрик.

— Может быть, там как раз не ладится с зажиганием.

Взгляните-ка на наш мотор.

— Да, да, посмотрите, пожалуйста,— сказал второй шофер.

Я перевел взгляд. Это была Элен. Она стояла позади солдата и смотрела на меня, держа на губах палец. На ней были брюки, свитер. Она была очень худая.

— Посмотрите, пожалуйста,— повторила она, пропуская меня вперед.

— Только осторожно,— быстро прошептала она.— Действуй так, словно ты в этом понимаешь. В моторе все в порядке.

Солдат брел позади нас.

— Откуда ты? — прошептала опять она.

Я открыл помятый капот.

— Убежал. Как нам встретиться?

Она нагнулась вместе со мной над мотором.

— В деревне. Я приезжаю туда делать закупки для столовой. Послезавтра, в первом кафе слева. В девять утра.

— А до этого?

— Ну, как тут? Надолго? — спросил солдат.

Элен достала из кармана брюк пачку сигарет, протянула ему:

— Несколько минут. Ничего серьезного.

Солдат зажег сигарету и присел у края дороги.

— Где, — опять спросил я ее, наклоняясь над мотором. — В лесу? У ограды? Вчера я был там. Сегодня вечером, хорошо?

Она подумала.

— Хорошо. Сегодня вечером. Не раньше десяти.

— Почему?

— Когда другие уйдут. Значит, в десять. И послезавтра утром. Будь осторожен.

— Как тут жандармы? Опасны?

Подожел солдат.

— Ничего, — сказала Элен по-французски. — Сейчас будет готово.

— Старая телега, — сказал я.

Солдат засмеялся.

— Новые у бошей. И у министров. Ну, как?

— Готово, — сказала Елена.

— Хорошо, что вы нам повстречались, — заметил солдат. — Я-то понимаю в машинах только то, что им нужен бензин.

Он уселся в машину. Элен последовала за ним, нажала стартер. Мотор заработал. Наверно, она нарочно выключила зажигание. Только и всего.

— Спасибо, — сказала Элен, наклоняясь ко мне с сиденья. Ее губы беззвучно двигались, выговаривая слова, понятные только мне. — Вы первоклассный специалист, — добавила она и дала газ. Машина уехала.

Несколько минут я стоял неподвижно в синем бензиновом облаке. Я почти ничего не чувствовал, как это бывает при быстрой смене сильной жары холодом: не видишь между ними никакой разницы. Машинально переступая ногами, я пошел по дороге. Только тут мало-помалу я начал соображать, и вместе с сознанием пришло беспокойство и понимание того, что я услышал, и тихая, трепещущая, сверлящая мука сомнений.

Я лежал в лесу и ждал. Стена плача, как Элен наывала женщин, молча, слепо уставившихся в вечернюю мглу, мало-помалу редела. Наконец почти все ушли, растаяли. Стало темно. Я по-прежнему неподвижно смотрел на столбы ограды. Они превратились в темные тени. Потом между ними возникла новая тень.

— Где ты? — прошептала Элен.

— Здесь!

Я ошупью подобрался к ней.

— Ты можешь выйти? — спросил я.

— Позже. Когда уйдут все. Жди.

Я отполз обратно в кустарник, чтобы меня нельзя было увидеть, если кто-нибудь направит луч карманного фонаря в сторону леса. Я лег на землю, дыша запахом опавшей листвы. Поднялся слабый ветер, и вокруг меня зашуршало, словно это ползали тысячи невидимых шпионов. Глаза все больше и больше привыкали к темноте, и я теперь уже видел тень Елены, а сверху — неясное, бледное пятно ее лица с неразличимыми чертами. Она будто висела на проволоке, как темное растение с белым цветком, и опять вдруг показалась мне темной, безымянной фигурой темных времен. Я не мог разглядеть ее лица — и оно становилось лицом всех несчастных этого мира. Чуть подальше увидел я вторую женщину, которая стояла так же, как Элен, а там — третью, четвертую. Это были карикатуры невидимого фриза, поддерживающие небо печали и надежды.

Все это становилось невыносимым, я отвернулся и стал смотреть в сторону. Когда я опять посмотрел на ограду — трех других уже не было, они бесшумно исчезли. Я заметил, что Элен согнулась, выбирая лазейку между рядами проволоки.

— Раздвинь ее, — сказала она.

Я наступил на нижнюю и приподнял верхнюю проволоку.

— Подожди, — прошептала Элен.

— Где другие? — спросил я.

— Ушли. Одна из них нацистка. Поэтому я не могла пролезть раньше. Она бы меня выдала. Та, которая плакала.

Элен сняла с себя кофточку и юбку и подала их мне через проволоку.

— Чтобы не порвались, — сказала она. — Других у меня нет.

Все это было точь-в-точь, как в бедных семьях, где куда менее важно, если дети разобьют себе колени, чем если они порвут чулки. Садины заживают, а на новые чулки надо тратить деньги.

Я держал ее вещи в руках. Элен пригнулась и осторожно проползла под проволокой. Она оцарапала себе плечо. Будто тонкая, черная змейка, из ранки потекла кровь. Элен выпрямилась.

— Мы должны бежать,— сказал я.

— Куда?

Я не знал, что ответить. В самом деле — куда?

— В Испанию,— сказал я.— В Португалию. В Африку.

— Пойдем,— сказала Элен.— Пойдем и не будем говорить об этом. Никто отсюда не может убежать без бумаг. Поэтому за нами и не смотрят очень строго.

Она пошла впереди меня в лес. Она была почти обнажена, таинственна и прекрасна. В ней остался лишь отблеск прежней Елены, моей жены последних нескольких месяцев; осталось ровно столько, чтобы с очарованием и болью узнать ее в том дыхании прошедшего, когда кожа будто съезживается от озноба и ожидания. Почти безымянная, она спустилась оттуда, сверху, из фриза кариадид, окруженная девятью месяцами отчуждения, которые теперь значили больше, чем двадцать лет нормального бытия.

XIV

Владелец кабачка, в котором мы сидели перед этим, приблизился к нам.

— Эта толстуха очень хороша,— с чувством сказал он.— Француженка. Настоящий дьявол. Рекомендую вам, господа! Наши женщины — тоже порох, но горят слишком быстро.— Он прищелкнул языком.— Разрешите теперь откланяться. Ничего нет лучше, чем иметь дело с француженкой. Полезно для здоровья. Они понимают толк в жизни. Им не нужно так много врать, как нашим женщинам. Желаю вам благополучного возвращения на родину. Лолиту или Хуану не берите. Ничего особенного — ни та, ни другая. А Лолита еще стянет что-нибудь, если не будете за ней присматривать.

Он ушел. На улице уже было утро. Когда раскрылась дверь, оттуда ворвался шум начинающегося дня.

— Нам тоже, наверно, надо идти,— сказал я.

— Я скоро закончу свой рассказ,— ответил Шварц.— У нас еще есть немного вина.

Он заказал вина и кофе для трех женщин, чтобы они оставили нас в покое.

— В ту ночь мы говорили мало,— продолжал он.— Я разостлал куртку. Когда стало прохладнее, мы укрылись кофточкой и юбкой Елены и моим свитером. Она засыпала и вновь просыпалась; один раз сквозь сон мне почудилось, что она плачет. И вновь ее охватывал порыв нежности, и она ласкала меня, как никогда раньше. Я ни о чем не спрашивал и ничего не рассказывал ей из того, что слышал в лагере. Я очень любил ее, но чувствовал какой-то холод и необъяснимую отчужденность. В нежности была печаль, и печаль еще усиливала нежность. Словно мы очутились где-то там, за роковой гранью, и уже нельзя было вернуться из-за нее или даже приблизиться к ней, и было лишь ощущение полета, и неразрывности, и — отчаяния. Да, это было отчаяние, последнее, безмолвное отчаяние, в котором тонули наши слезы, исторгнутые счастьем, хотя глаза оставались сухими. Это были незримые, невыплаканные слезы печального знания, которому ведома только бренность без надежды, без возвращения.

— Разве мы не можем бежать отсюда? — снова спросил я, когда Элен собиралась проскользнуть обратно между рядами колючей проволоки.

Она промолчала. И только очутившись уже там, за оградой, ответила шепотом:

— Я не могу. Я не могу. Из-за меня пострадают другие. Приходи опять! Приходи завтра вечером опять. Ты придешь?

— Если меня не схватят.

Она посмотрела на меня.

— Что стало с нашей жизнью? Что мы такое сделали, что наша жизнь стала такой?

Я передал ей кофточку и юбку.

— Это лучшее, что есть у тебя? — спросил я.

Она кивнула.

— Спасибо тебе за то, что ты это надела. Я уверен, что завтра вечером опять буду здесь. Я спрячусь в лесу.

— Тебе надо поесть. У тебя есть что-нибудь?

— Кое-что есть. В лесу еще можно, наверно, найти ягоды или грибы, орехи.

— Ты выдержишь до завтра? Вечером я принесу тебе кое-что.

— Конечно, выдержу. Ведь уже почти утро.

— Не ешь грибов. Ты не знаешь, какие можно есть. Я принесу еды.

Она надела юбку. Юбка была широкая, светло-синего цвета с белыми цветами. Она обвила ее вокруг себя и застегнулась, словно опоясываясь на бой.

— Я люблю тебя,— с отчаянием сказала она — Я люблю тебя сильнее, чем ты когда-нибудь сможешь это себе представить. Не забывай этого. Никогда!

Она говорила это почти каждый раз, прежде чем нам расстаться. То было время, когда мы стали дичью для всех — для французских жандармов, которые из каких-то диких соображений порядка вылавливали нас, и для гестапо, которое пыталось проникнуть в лагерь, хотя говорили, что по согласованию с правительством Петэна это не было разрешено. Нельзя было даже предугадать, кто тебя сцапает, и каждое прощание на рассвете всегда было у нас последним.

Элен приносила мне хлеб, фрукты, иногда — кусок колбасы или сыра. Я так и не рискнул спуститься вниз, в ближайший городок, чтобы найти там себе угол. Я обосновался в лесу и жил в развалинах старого, разрушенного монастыря, которые открыл невдалеке. Днем я спал или читал то, что мне приносила Элен. Иногда незаметно следил за дорогой, спрятавшись в кустарнике. Элен снабжала меня также новостями и слухами о том, что немцы подходят все ближе и ближе и что они не думают выполнять свои обязательства по соглашению.

Жизнь все более приобретала характер паники. Ужас находил волнами и был горек, как желудочный сок, когда он поднимается снизу. И все-таки привычка, жизнь изо дня в день побеждали снова и снова.

Стояла хорошая погода, по ночам на небе сверкали россыпи звезд. Элен раздобыла парусину, и мы часами лежали на ней в темноте, посреди разрушенных переходов монастыря, зарывшись в сухую опавшую листву, и прислушивались к шорохам ночи.

— Как это получилось, что ты можешь отлучаться из лагеря? — спросил я ее однажды. — И так часто?

— У меня такая должность. Мне доверяют. Ну, и немного протекции, — ответила она помолчав. — Ты же видел. Я бываю даже в деревне.

— Поэтому тебе удастся доставать еду и для меня?

— Я получаю ее в столовой. Там в буфете можно кое-что купить, когда есть деньги и есть что купить.

— Ты не боишься, что тебя здесь может кто-нибудь увидеть или вдруг кто-нибудь выдаст тебя?

— Боюсь только за тебя.— Она улыбнулась.— Не за себя. Что со мной могут сделать? Я и так в тюрьме.

В следующий вечер она не пришла. Стена плача растаяла, как обычно, я подкрался ближе — бараки маячили черными пятнами в слабом полусвете,— я ждал, ждал, но она не пришла. Я лежал, уставившись в ночь. Я видел, как брели мимо женщины к нужнику неподалеку, слышал вздохи, стоны. Вдруг на дороге я увидел затемненные фары автомашины.

День я провел в лесу. Меня терзало беспокойство. Видимо, что-то случилось. Я принялся перебирать в памяти то, что слышал в лагере. Странно, но меня это утешило. Пусть все что угодно, только бы ее не увезли, только бы она не заболела и не умерла. Все эти несчастья были так тесно связаны друг с другом, что, кажется, значили одно и то же. И жизнь наша была в таком тупике, что все свелось к одному: не потеряться, выбраться каким-нибудь образом из урагана в тихую гавань. И тогда можно было попытаться еще раз все забыть.

— Но забыть нельзя,— сказал Шварц.— И тут не помогут ни любовь, ни сострадание, ни доброта, ни нежность. Я знал это, и мне было все равно. Я лежал в лесу, смотрел на трепещущие пестрые пятна умирающих листьев, которые падали с ветвей, и думал только об одном: даруй ей жизнь! Даруй ей жизнь, о боже, и я никогда не спрошу ни о чем. Жизнь человека всегда бесконечно больше любых противоречий, в которые он попадает. Поэтому позволь ей, господи, жить. И если это должно быть без меня, то пусть она живет без меня, но только живет!

Элен не пришла и в следующую ночь. Зато вечером я вновь увидел две автомашины. Они проехали по дороге вверх, к лагерю. Я, крадучись, описал большую дугу, следя за ними, и увидел мундиры. Мне не удалось разглядеть, была ли то форма СС или вермахта, но, без сомнения, это были немцы. Я провел ужасную ночь.

Машины прибыли около девяти часов вечера и уехали только во втором часу. То обстоятельство, что они приезжали под покровом ночи, почти с уверенностью позволяло говорить, что это было гестапо. Когда они ехали обратно, я не мог установить, увезли они кого-нибудь из лагеря или нет. Я блуждал — блуждал в буквальном смысле этого слова — по дороге и вокруг лагеря до самого утра. Потом я вновь вдруг захотел проникнуть за ограду под

видом монтера, но увидел у входа удвоенную охрану. Рядом с часовым сидел какой-то тип в штатском, с бумагами.

День, казалось, никогда не кончится. Когда я опять, в сотый раз, крадся мимо ограды, я вдруг увидел — шагах в двадцати от забора, с внешней стороны — сверток в газете. Там были два яблока, кусок хлеба и записка без подписи. «Сегодня вечером».

Наверно, этот сверток бросила Елена, когда меня не было здесь. Я ел хлеб, стоя на коленях, — такая слабость вдруг охватила меня. Потом я отправился в свое убежище и моментально заснул. Проснулся я перед вечером. Еще был ясный день, наполненный, как вином, золотым светом. Каждая новая ночь все сильнее окрашивала листву. Теплые лучи послеполуденного солнца падали на лесную лужайку, где я лежал, и буки и липа между ними стояли в желтом и красном огне, словно невидимый художник, пока я спал, превратил их в факелы и они в полной тишине горели неподвижным пламенем. Ни один листочек не шевелился.

— Не проявляйте нетерпения, — прервал вдруг себя Шварц, — когда я говорю о природе. Она приобрела вдруг для нас в это время такое же значение, как для животных. Она была тем, что никогда не отталкивало нас от себя. Ей не нужны были паспорта и свидетельства об арийском происхождении. Она давала и брала, безличная и исцеляющая, как лекарство.

В тот раз на лесной лужайке я долго лежал не шевелясь и чувствовал себя чашей, налитой до краев, и боялся пролить хотя бы каплю. Потом я увидел, как в полной тишине, без малейшего дуновения ветра, сотни листьев полетели вдруг с дерева вниз на землю, словно услышав таинственный безмолвный приказ. Они безмятежно скользили в ясном воздухе, и некоторые упали на меня. В это мгновение, показалось мне, я узнал свободу смерти и странное ее утешение. Не принимая никакого решения, я ощутил как милость то, что я могу окончить свою жизнь, если умрет Элен, что мне не нужно оставаться одному и что милость эта — компенсация, данная человеку за безмерность его любви, когда она вырывается за пределы существования. Я пришел к этому не размышляя, и когда я понял это, уже не нужно было — в каком-то отдаленном смысле — умирать во что бы то ни стало.

Елена не появилась у стены плача. Она пришла лишь тогда, когда другие исчезли. Она была в рубашке и ко-

ротких штанах и просунула мне через проволоку сверток и бутылку вина. В необычном костюме она показалась еще моложе.

— Пробка вытащена,— сказала она.— Вот и бокал. Она легко проскользнула под проволокой.

— Ты, наверно, умер с голоду. Я кое-что раздобыла в буфете, чего не видела с самого Парижа.

— Одеколон,— угадал я.

Она горько и свежо пахла в ночном воздухе.

Она кивнула головой. Я увидел, что волосы у нее подстрижены короче, чем раньше.

— Что же такое случилось? — спросил я вдруг рассердившись.— Я думал, тебя увезли или ты умираешь, а ты приходишь, словно после посещения салона красоты. Может быть, ты сделала и маникюр?

— Сама. Посмотри,— она подняла руку и засмеялась.— Давай выпьем вина.

— Что случилось? У вас было гестапо?

— Нет. Комиссия вермахта. Но там были два чиновника из гестапо.

— Увезли кого-нибудь?

— Нет,— сказала она.— Налей.

Я видел, что она возбуждена. Руки у нее горели, и кожа была такая сухая, что, казалось, тронь ее — она зарежит.

— Они были там,— сказала она.— Они прибыли, чтобы составить список нацистов.

— И много их у вас оказалось?

— Достаточно. Мы никогда не думали, что их столько. Многие никогда не признавались. При этом была одна — я ее знала,— она вдруг выступила вперед и заявила, что она принадлежит к национал-социалистской партии, что она собрала здесь ценные сведения и хочет вернуться обратно на родину, что с ней здесь плохо обращались, и ее тут же должны увезти. Я знала ее хорошо. Слишком хорошо. Она знает...

Элен быстро выпила и вернула мне бокал.

— Что она знает? — спросил я.

— Я не могу сказать точно, что она знает. Было столько ночей, когда мы без конца говорили и говорили... Она знает, кто я...— Элен подняла голову.— Я никогда не поеду к ним. Я убью себя, если они захотят увезти меня.

— Ты не убьешь себя. И они тебя не увезут. Чего ради? Георг сейчас бог знает где, он не всеведущ. И к чему той женщине выдавать тебя? Что это ей даст?

— Обещай, что ты не дашь меня увезти.

— Обещаю,— сказал я.

Лишенный всего, я обещал ей все, и самое главное — защиту. Что мог я ответить ей тогда? Она была слишком возбуждена, чтобы услышать от меня что-нибудь другое.

— Я люблю тебя,— сказала она страстным, взволнованным голосом.— И что бы ни произошло, ты это должен знать всегда!

— Я знаю это,— ответил я, веря и не веря ей.

Она в изнеможении откинулась назад.

— Давай убежим,— сказал я.— Сегодня ночью.

— Куда? Твой паспорт с тобой?

— Да. Мне отдал его один человек, который работал в бюро, где хранились бумаги интернированных. А где твой?

Она не ответила. Некоторое время она смотрела прямо перед собой.

— Здесь есть одна еврейская семья,— сказала она затем.— Муж, жена и ребенок. Прибыли несколько дней назад. Ребенок болен. Они вышли вперед вместе с другими. Сказали, что хотят обратно в Германию. Капитан спросил, не евреи ли они. Нет, они немцы, сказал мужчина. Они хотят обратно в Германию. Капитан хотел им что-то сказать, но гестаповцы стояли рядом.

— Вы действительно хотите вернуться? — спросил офицер еще раз.

— Запишите их, капитан,— сказал гестаповец и засмеялся.— Если они так сильно скучают по родине, надо пойти им навстречу.

И их записали. Говорить с ними невозможно. Они говорят, что они больше не могут. Ребенок тяжело болен. Других евреев все равно отсюда скоро увезут. Поэтому лучше отправиться раньше. Все мы в ловушке. Лучше идти добровольно. Вот их слова. Они словно оглохли. Поговори с ними.

— Я? Что я могу им сказать?

— Ты был там. Ты был в Германии в лагере. Потом ты вернулся и опять бежал.

— Где же я буду с ними разговаривать?

— Здесь. Я приведу его. Я знаю, где он. Сейчас. Я говорила ему. Его еще можно спасти.

Минут через пятнадцать она привела исхудавшего человека, который отказался переползти под проволокой. Он стоял на той, а я на этой стороне, и он слушал, что я говорил. Потом подошла его жена. Она была очень блед-

ная и молчала. Обоих, вместе с ребенком, схватили дней десять назад. Они были разлучены и посажены в разные лагеря, а потом бежали, и ему удалось чудом вновь найти жену и сына. Они повсюду писали свои имена на придорожных камнях и на углах домов.

Шварц взглянул на меня.

— Вы знаете этот крестный путь?

— Кто его не знает! Он тянулся через всю Францию от Бельгии до Пиренеев.

Крестный путь возник вместе с войной. После прорыва немецких войск в Бельгии и падения линии Мажино начался великий исход — сначала на автомашинах, груженных постелями, домашним скарбом, потом на велосипедах, повозках, тачках, с детскими колясочками и, наконец, пешком, в разгар французского лета, бесконечными веренищами, что тянулись все на юг, под огнем пикирующих бомбардировщиков.

Тогда же началось и бегство на юг эмигрантов. Тогда возникли и придорожные письма. Их наносили на заборы у дорог, на стены домов, в деревнях, на углах перекрестков Имена, призывы о помощи, поиски близких — углем, краской, мелом. Эмигранты, которым уже годами приходилось прятаться и ускользать от полиции, организовали, кроме того, цепь вспомогательных пунктов, протянувшихся от Ниццы до Неаполя и от Парижа до Цюриха. Там были люди, которые снабжали беженцев информацией, адресами, советами. Там можно было переночевать. С их помощью человеку, о котором рассказывал Шварц, и удалось опять найти жену и ребенка, что вообще было куда труднее, чем отыскать пресловутую иглолку в стоге сена.

— Если мы останемся, нас опять разлучат, — сказал мне этот человек. — Это женский лагерь. Нас доставили сюда всех вместе, но только на пару дней. Мне уже сказали, что я буду отправлен в другое место, в какой-нибудь мужской лагерь. Мы этого больше не вынесем.

Он уже все взвесил. Бежать они не могут, они уже пытались и чуть не умерли с голода. Теперь мальчик болен, жена истощена, и у него тоже нет больше сил. Лучше идти самим добровольно. Другие — тоже всего лишь скот на бойне. Их будут увозить постепенно, когда захотят.

— Почему нас не отпустили, когда было еще время? — сказал он под конец — робкий худощавый человек с узким лицом и маленькими черными усами.

На это никто не смог дать ответа. Хотя мы никому не были нужны, нас не отпускали. В час разгрома страны это был ничтожный парадокс, на который слишком мало внимания обращали те, которые могли бы его изменить.

На следующий день под вечер к лагерю подъехали два грузовика. В то же мгновение колючая проволока ожила. Десять или двенадцать женщин копошились возле нее, помогая друг другу пролезть через ограду. Потом они устремились в лес. Я ждал в засаде, пока не увидел Елену.

— Нас предупредили из префектуры,— сказала она.— Немцы уже здесь. Они приехали за теми, кто хочет вернуться. Однако никто не знает, что еще при этом может произойти. Поэтому нам разрешили спрятаться в лесу, пока они не уедут.

В первый раз я ее видел днем, если не считать тех минут на дороге. Ее длинные ноги и лицо были покрыты загаром, но она страшно похудела. Глаза стали большими и блестящими, а лицо совсем сжалось.

— Ты отрываешь от себя, а сама голодаешь,— сказал я.

— Мне вполне хватает еды,— возразила она,— не беспокойся. Вот даже,— она сунула руку в карман,— смотри, кусок шоколада. Вчера у нас продавали даже печеночный паштет и консервированные сардины. Зато хлеба не было.

— Человек, с которым я разговаривал, уезжает? — спросил я.

— Да.

Ее лицо вдруг сморщилось.

— Я туда не вернусь никогда,— сказала она.— Никогда! Ты обещал мне! Я не хочу, чтобы они меня поймали! — Они тебя не поймают.

Через час машины проехали обратно. Женщины пели. Слышались слова песни: «Германия, Германия превыше всего».

В ту же ночь я дал Элен часть яда, который я получил в лагере. А днем позже она узнала, что Георг знает, где она.

— Кто это тебе сказал? — спросил я.

— Тот, кто знает.

— Кто?

— Врач лагеря.

— Откуда он знает?

— Из комендатуры. Там запрашивали.

— Врач не сказал, что тебе следует делать?

— Он сможет спрятать меня на пару дней в больничном бараке, не больше.

— Значит, надо бежать из лагеря. От кого вчера пришло предупреждение о том, что некоторым из вас надо спрятаться в лесу?

— От префекта.

— Хорошо,— сказал я.— Постарайся раздобыть свой паспорт и какое-нибудь свидетельство о выходе из лагеря. Может быть, поможет врач? Если нет — надо бежать. Собери вещи, которые тебе необходимы. Не говори ничего никому. Никому! Я попытаюсь поговорить с префектом. Он, кажется, человек.

— Не надо! Будь осторожен!

Я как мог вычистил свою монтерскую спецовку и утром вышел из леса. Приходилось считаться с тем, что меня могут снапать немецкие патрули или французские жандармы. Впрочем, отныне я должен был думать об этом всегда.

Мне удалось попасть к префекту. Жандарма и писаря я ошарашил тем, что выдал себя за немецкого техника, который прибыл сюда для получения сведений насчет сооружения линии электропередачи в военных целях. Когда делаешь то, чего от тебя не ждут, обычно всегда добиваешься желаемого — это я знал по опыту. Если бы жандарм понял, что перед ним один из беженцев, он сразу арестовал бы меня. Этот сорт людей лучше всего реагирует на крик и угрозы.

Префекту я сказал правду. Сначала он хотел меня выбросить из комнаты. Затем его развеселила моя дерзость. Он дал мне сигарету и сказал, чтобы я убирался к черту. Он не желает ничего видеть и слышать. Десять минут спустя он заявил, что он не в состоянии мне чем-либо помочь, потому что у немцев, по-видимому, есть списки и они привлекают его к ответственности, если кто-нибудь исчезнет. Он не желает издохнуть в каком-нибудь немецком концентрационном лагере.

— Господин префект,— сказал я,— я знаю, что вы охраняете пленных и должны следовать своим собственным приказам. Но и вы и я знаем, что Франция сейчас переживает хаос поражения и сегодняшние распоряжения могут завтра стать позором. Если сумятица переходит в бессмысленную жестокость, то потом для нее трудно будет отыскать оправдания. Чего ради должны вы — против своей собственной воли — держать невинных людей в клетке из колючей проволоки наготове для пыток и крематориев? Весьма возможно, что до сих пор, пока Франция еще защищалась, было какое-то подобие смысла в том, чтобы интернировать иностранцев в лагерях, все равно, были ли

они за или против агрессора. Теперь же война давно окончилась; несколько дней тому назад победители приехали и забрали своих сторонников. Те, кто теперь остался у вас в лагерях,— это жертвы, которые каждый день умирают от страха, что их увезут на верную смерть. Я должен был бы просить вас за все эти жертвы — я прошу только ради одной из них. Если вы боитесь списков, укажите мою жену как убежавшую, укажите ее, в конце концов, как умершую, как самоубийцу, если хотите,— тогда с вас будет снята всякая ответственность!

Он посмотрел на меня долгим взглядом.

— Приходите завтра,— сказал он наконец.

Я не двинулся.

— Я не знаю, в чьих руках я окажусь завтра,— ответил я.— Сделайте это сегодня.

— Приходите через два часа.

— Я буду ждать у ваших дверей,— ответил я.— Это самое безопасное место, которое я знаю.

Он вдруг улыбнулся.

— Что за любовная история! — сказал он.— Вы женаты, а должны жить так, словно вы не женаты. Обычно бывает наоборот.

Я вздохнул. Через час он меня позвал опять.

— Я разговаривал с лагерным начальством,— сказал он.— Это правда, что о вашей жене запрашивали. Мы последуем вашему совету и позволим ей умереть. Это избавит вас от забот. И нас тоже.

Я кивнул. Станный холодный страх охватил меня внезапно — остаток древнего суеверия, предостерегающего от искушения судьбы. Впрочем, разве я сам не умер уже давно, разве я не живу с бумагами мертвеца?

— Завтра все будет сделано,— сказал префект.

— Сделайте это сегодня,— попросил я.— Мне однажды пришлось два года просидеть в лагере из-за того, что я задержался на день.

Я вдруг сразу сдал. Он, видимо, это заметил. У меня все поплыло перед глазами, и я чуть не упал в обморок. Он приказал принести коньяку.

— Лучше кофе,— сказал я и тяжело опустился на стул. Комната кружилась в каких-то зеленых и серых тонах. В ушах шумело. Нет, мне нельзя терять сознания, думал я. Элен свободна, нам скорее надо убираться прочь отсюда.

Сквозь шум и трепетное мерцание я силился уловить лицо и голос, который что-то кричал, и я не мог сначала

разобрать, что это было, и только потом до меня стали доходить слова.

— Вы думаете, что для меня все это шуточки, будь они прокляты? К дьяволу! Какое мне дело? Я вам не стражник, я порядочный человек и не хочу знать... Черт бы побрал всех. Пусть все уходят!.. Все!..

Голос опять пропал, и я не знаю, действительно ли он так кричал, или все это просто с удесyтеренной силой отозвалось у меня в ушах. Принесли кофе, я очнулся. Потом кто-то пришел и сказал, что мне надо подождать еще немного. Впрочем, я и без того не мог двигаться.

Наконец явился префект. Он сказал, что все в порядке. Мне кажется, что припадок слабости, — как и все, что я говорил, — тоже сыграл мне на руку.

— Вам лучше? — спросил префект. — Не надо так меня пугаться. Я всего лишь скромный французский префект из провинции.

— Это больше самого господа бога, — возразил я, счастливо улыбаясь. — Бог снабдил меня лишь крайне общим разрешением для пребывания на земле, с которым мне нечего делать. Что мне действительно нужно — так это разрешение на пребывание в этой округе, и мне его не может дать никто, кроме вас, господин префект.

Он засмеялся:

— Если вас начнут искать, то здесь вам будет слишком опасно.

— Если меня начнут искать, то в Марселе будет еще опаснее, чем тут. С полным вероятием будут искать там, а не здесь. Дайте нам разрешение на неделю. За это время мы сможем приготовиться к переходу через Красное море.

— Через Красное море?

— Так выражаются эмигранты. Мы живем, как евреи в дни бегства из Египта. Позади — немецкая армия и герстап, с обеих сторон — море французской и испанской полиции, а впереди — обетованная земля Португалии с гаванью Лиссабона, откуда открываются пути в еще более обетованную землю Америки

— Разве у вас есть американская виза?

— У нас она будет.

— Вы, кажется, верите в чудо.

Шварц улыбнулся мне.

— Поистине поразительно, каким расчетливым становишься в нужде. Я совершенно точно знал, зачем я произнес последнюю фразу и с какой целью перед тем польстил префекту сравнением с господом богом. Мне нужно было

вытянуть из него разрешение на пребывание. Хотя бы на короткий срок. Когда полностью зависишь от других людей, превращаешься в психолога, тщательно взвешивающего мельчайшие детали, хотя сам в это время едва можешь дышать от напряжения, или, может быть, именно благодаря этому. Одно ничего не знает о другом, и оба действуют раздельно, не влияя друг на друга: подлинный страх, подлинная боль и предельная расчетливость, и у всех одна и та же цель — спасение.

Шварц заметно успокоился

— Я скоро кончу,— сказал он.— Мы и в самом деле получили разрешение на жительство сроком на неделю. Я стоял у входа в лагерь, чтобы увести Элен. День угасал. Сверху сеял мелкий дождик. Она подошла в сопровождении врача. Мгновение я видел ее беседующей с ним, прежде чем она меня заметила. Она что-то оживленно говорила ему, и лицо ее было таким подвижным, каким я не привык его видеть. У меня было чувство, словно я с улицы заглянул в комнату, когда этого никто не ждал. Затем она увидела меня.

— Ваша жена очень больна,— сказал врач.

— Это правда,— сказала Елена смеясь.— Меня отпускают в больницу, и я там умру. Тут всегда поступают таким образом.

— Нелепые шутки! — сказал доктор враждебно.— Вашей жене действительно надо лечь в больницу.

— Почему же она до сих пор не в больнице? — спросил я.

— Что это значит? — сказала Элен.— Я вовсе не больна и не собираюсь в больницу.

— Можете вы поместить ее в больницу,— спросил я врача,— чтобы она была там в безопасности?

— Нет,— сказал он, помолчав.

Элен снова засмеялась:

— Конечно, нет. Что за глупый разговор! Адью, Жан.

Она пошла вперед по дороге. Я хотел спросить врача, что с ней, но не смог. Он посмотрел на меня, потом быстро повернулся и пошел к лагерю. Я пошел следом за Элен.

— Паспорт с тобой? — спросил я.

Она кивнула.

— Дай мне твою сумку,— сказал я.

— Она не тяжелая.

— Все равно давай.

— У меня еще есть то платье, что ты купил мне в Париже.

Мы шли вниз по дороге.

— Ты больна? — спросил я.

— Если бы я в самом деле была больна, я бы не могла ходить. У меня был бы жар. Но я вовсе не больна. Он сказал неправду. Он хотел, чтобы я осталась. Посмотри на меня. Разве я выгляжу больной?

Она остановилась.

— Да,— сказал я.

— Не печалься,— ответила она.

— Я не печалюсь.

Теперь я знал, что она больна. И я знал, что она никогда не признается мне в этом

— Помогло бы тебе, если бы ты легла в больницу?

— Нет! — сказала она.— Ни в малейшей степени! Поверь мне. Если бы я была больна и в больнице могли бы мне помочь, я немедленно бы попыталась туда устроиться. Поверь, что я говорю правду.

— Я верю тебе.

Что мне еще оставалось делать? Я вдруг стал ужасно малодушным.

— Может быть, тебе лучше было бы остаться в лагере? — спросил я наконец.

— Я бы убила себя, если бы ты не пришел.

Мы пошли дальше. Дождь усилился, словно серая вуаль из тончайших капелек колыхалась вокруг нас.

— Вот увидишь, скоро мы будем в Марселе,— сказал я.— А оттуда переберемся в Лиссабон и затем в Америку.

Там есть хорошие врачи, думалось мне, и больницы, в которых людей не арестовывают. Быть может, я смогу работать.

— Мы забудем Европу, как дурной сон,— сказал я.

Элен не отвечала.

XV

— Одиссея началась,— продолжал Шварц.— Странствие через пустыню. Переход через Красное море. Вы все это, наверно, знаете.

Я кивнул.

— Бордо. Нашупывание проходов через границу. Пиренеи. Медленная осада Марселя. Осада обессиленных сердец и бегство от варваров. Бесчинство обезумевшей бюрократии. Ни разрешения на проживание, ни разрешения на выезд. Когда мы наконец его получили, то оказалось, что испанская виза на проезд через страну тем вре-

менем уже истекла, а вновь ее можно получить, лишь имея въездную португальскую визу, которая часто зависела еще от чего-нибудь. И опять все сначала — ожидание у консульств, этих предместий рая и ада, бесконечное, бессмысленное кружение.

— Нам сначала удалось попасть в штиль, — сказал Шварц. — Вечером Елену оставили силы. Я нашел комнату в одинокой гостинице. Мы впервые вновь были на легальном положении, впервые, после нескольких месяцев, у нас была комната для нас одних — это и вызвало у нее истерический припадок.

Потом мы молча сидели в маленьком саду гостиницы. Было уже холодно, но нам не хотелось еще идти спать. Мы пили вино и смотрели на дорогу, ведущую к лагерю, которая видна была из сада. Чувство глубокой благодарности наполнило меня и отдавалось в мозгу. В этот вечер все было захлестнуто ею, даже страх за то, что Элен больна. После слез она выглядела присмирившей и спокойной, будто природа после дождя, — она была прекрасна, как профиль на старой камее.

— Вы поймете это, — добавил Шварц. — В этом существовании, которое вели мы, болезнь имела совсем другое значение. Болезнь для нас означала прежде всего невозможность бежать.

— Я знаю, — ответил я с горечью.

— В следующий вечер мы увидели, как вверх по дороге к лагерю проползла машина с притушенными фарами. В этот день мы почти не выходили из нашей комнаты. Вновь иметь кровать и собственное помещение — это было такое непередаваемое чувство, которым никак нельзя было насладиться вполне. Мы оба вдруг почувствовали бессилие и усталость, и я охотно провел бы в этой гостинице несколько недель. Но Элен вдруг немедленно захотела ее покинуть. Она не могла видеть больше дорогу, ведущую к лагерю. Она боялась, что гестапо вновь будет ее разыскивать.

Мы упаковали наши скромные пожитки. Вообще, конечно, было разумно тронуться дальше, имея еще разрешение на проживание в этом районе. Если бы нас где-нибудь сцапали, то в крайнем случае лишь препроводили бы сюда. Можно было надеяться, что нас не арестуют сразу.

Я хотел пробраться сначала в Бордо. По дороге мы, однако, услышали, что ехать туда уже поздно. По пути нас подвез владелец небольшого двухместного ситроена. Он посоветовал перебыть лучше где-нибудь в другом ме-

сте. Поблизости от городка, куда он едет, сказал он, есть небольшая замок. Он стоит пустой, и мы могли бы там переночевать.

У нас не оставалось выбора. Под вечер он высадил нас и уехал. Мы остались одни. Перед нами в сумерках возвышался маленький замок, скорее загородный дом с темными, молчаливыми окнами без гардин.

Я поднялся по широкой лестнице и толкнул входную дверь. Она открылась. На ней были следы взлома. В полутемном холле шаги прозвучали резко и отчужденно. Я крикнул — в ответ раздалось только ломкое эхо. Дом был пуст. Унесено было все, что можно унести. Остался лишь интерьер восемнадцатого века: стены, отделанные деревянными панелями, благородные пропорции окон, потолки и грациозные лесенки. Мы медленно переходили из комнаты в комнату. Никто не отвечал на наши призывы. Я попробовал найти выключатели. Их не было. Замок не имел электрического освещения. Он остался таким, как его построили. Маленькая столовая была белая и золотая, спальня — светло-зеленая с золотом. Никакой мебели. Владецы вывезли ее во время бегства.

В мансарде наконец мы нашли сундук. В нем были маски, дешевые пестрые костюмы, оставшиеся после какого-то праздника, несколько пачек свечей. Самой лучшей находкой, однако, нам показалась койка с матрацем. Мы продолжали шарить дальше и нашли в кухне немного хлеба, пару коробок сардин, связку чеснока, стакан с остатками меда, а в подвале — несколько фунтов картофеля, бутылки две вина, поленицу дров. Поистине это была страна фей!

Почти везде в доме были каминь. Мы завесили несколькими костюмами окна в комнате, которая, по-видимому, служила спальней. Я вышел и обнаружил возле дома огородные грядки и фруктовый сад.

На деревьях еще висели груши и яблоки. Я собрал их и принес с собой.

Когда стемнело настолько, что нельзя было заметить дыма, я развел в камине огонь, и мы занялись едой. Все казалось призрачным и заколдованным. Отсветы огня плясали на чудесных лепных украшениях, а наши тени дрожали на стенах, подобно духам из какого-то другого, счастливого мира.

Стало темно, и Элен сняла свое платье, чтобы подсушить у огня. Она достала и надела вечерний наряд из Парижа.

Я открыл бутылку вина. Стаканов у нас не было, и мы пили прямо из горлышка. Позже Элен еще раз переоделась. Она натянула на себя домино и полумаску, извлеченные из сундука, и побежала так через темные переходы замка, смеясь и крича то сверху, то снизу. Ее голос раздавался отовсюду, я больше не видел ее, я только слышал ее шаги. Потом она вдруг возникла позади из темноты, и я почувствовал ее дыхание у себя на затылке.

— Я думал, что потерял тебя,— сказал я и обнял ее.

— Ты никогда не потеряешь меня,— прошептала она из-под узкой маски,— и знаешь ли, почему? Потому, что ты никогда не хочешь удержать меня, как крестьянин свою мотыгу Для человека света это слишком скучно.

— Уж я-то во всяком случае не человек света,— сказал я, ошарашенный.

Мы стояли на повороте лестницы. Из спальни сквозь приотворенную дверь падала полоса света от камина, выхватывая из мрака бронзовый орнамент перил, плечи Елены и ее рот.

— Ты не знаешь, кто ты,— прошептала она и посмотрела на меня сквозь разрезы маски блестящими глазами, которые, как у змеи, не выражали ничего, лишь блстели неподвижно.

— Если бы ты только знал, как безотрадны все эти доджуаны! Как поношенные платья. А ты—ты мое сердце.

Может быть, виною тому были костюмы, что мы так беспечно произносили слова. Как и она, я тоже переоделся в домино — немного против своей воли. Но моя одежда тоже была мокрая после дождливого дня и сохла у камина. Необычные платья в призрачном окружении минувшей жеманной эпохи преобразили нас и делали возможными в наших устах иные, обычно неведомые слова. Верность и неверность потеряли вдруг свою тяжесть и односторонность, одно могло стать другим; существовало не просто го или другое — возникли тысячи оттенков и переходов, а слова утратили прежнее значение.

— Мы мертвые,— шептала Элен.— Оба. Ты мертвый с мертвым паспортом, а я сегодня умерла в больнице. Посмотри на наши платья! Мы, словно золотистые, пестрые летучие мыши, кружимся в отошедшем столетии Его называли веком великолепия, и он таким и был с его менуэтами, с его грацией и небом в завитушках рококо. Правда, в конце его выросла гильотина — как она всегда вы-

растает после праздника — в сером рассвете, сверкающая и неумолимая. Где нас встретит наша, любимый?

— Оставь, Элен,— сказал я.

— Ее не будет нигде,— прошептала она.— Зачем мертвым гильотина? Она больше не может рассечь нас. Нельзя рассечь свет и тень. Но разве не хотели разорвать наши руки — снова и снова? Сжимай же меня крепче в этом колдовском очаровании, в этой золотистой тьме, и может быть, что-нибудь останется из этого — то, что озарит потом горький час расставания и смерти.

— Не говори так, Элен,— сказал я. Мне было жутко.

— Вспоминай меня всегда такой, как сейчас,— шептала она, не слушая,— кто знает, что еще станется с нами...

— Мы уедем в Америку, и война когда-нибудь окончится,— сказал я.

— Я не жалею,— говорила она, приблизив ко мне свое лицо.— Разве можно жаловаться? Ну что было бы из нас? Скучная, посредственная пара, которая вела бы в Оснабрюке скучное, посредственное существование с посредственными чувствами и ежегодными поездками во время отпуска...

Я засмеялся.

— Можно взглянуть на это и так.

Она была очень оживленной в этот вечер и превратила его в праздник. Со свечой в руках, в золотых туфельках, которые она купила в Париже и сохранила, несмотря ни на что, она побежала в погреб и принесла еще бутылку вина. Я стоял на лестнице и смотрел сверху, как она поднимается сквозь мрак, обратив ко мне освещенное лицо, окруженная тьмой. Я был счастлив, если называть счастьем зеркало, в котором отражается любимое лицо, чистое и прекрасное.

Огонь медленно угас. Она уснула, укрытая пестрыми костюмами. То была странная ночь. Позже я услышал гудение самолетов, от которого тихо дребезжали зеркала в рамах рококо.

Четыре дня мы были одни. Потом мне пришлось отправиться в ближайшую деревню за покупками. Там я услышал, будто из Бордо должны отплыть два корабля.

— Разве немцы еще не там? — спросил я.

— Они там и они еще не там,— ответили мне.— Все дело в том, кто вы.

Я обсудил это известие с Элен. Она, к моему удивлению, отнеслась к нему довольно равнодушно.

— Корабли, Элен! — восклицал я возбужденно. — Прочь отсюда! В Америку. В Лиссабон. Куда угодно. Оттуда можно плыть дальше.

— Почему бы нам не остаться здесь? — возразила она. — В саду есть фрукты и овощи. Я смогу из них что-нибудь готовить, пока есть дрова. Хлеб мы купим в деревне. У нас есть еще деньги?

— Кое-что есть. У меня есть еще один рисунок. Я могу его продать в Бордо, чтобы иметь деньги на проезд.

— Кто теперь покупает рисунки?

— Люди, которые хотят сохранить свои деньги.

Она засмеялась.

— Ну так продай его, и останемся здесь. Я так хочу.

Она влюбилась в дом. С одной стороны там лежал парк, а дальше — огород и фруктовый сад. Там были даже пруд и солнечные часы. Елена любила дом, и дом, кажется, любил ее. Это была оправа, которая очень шла ей, и мы в первый раз были не в гостинице или бараке. Жизнь в маскарадных костюмах и атмосфера лукавого прошлого таили в себе колдовское очарование, рождали надежду — иногда почти уверенность — в жизнь после смерти, словно первая сценическая проба для этого была уже нами пережита. Я тоже был бы не прочь пожить так несколько сотен лет.

И все-таки я продолжал думать о кораблях в Бордо. Мне казалось невероятным, что они могут выйти в море, если город уже частично занят. Но тогда война вступила уже в сумеречную стадию. Франция получила перемирие, но не мир. Была так называемая оккупационная зона и свободная зона, но не было власти, способной защитить эти соглашения. Зато были немецкая армия и гестапо, и они не всегда работали рука об руку.

— Надо выяснить все, — сказал я. — Ты останешься здесь, а я попытаюсь пробраться в Бордо.

Элен покачала головой.

— Я здесь одна не останусь. Я поеду с тобой.

Я понимал ее. Безопасных и опасных областей, отделенных друг от друга, больше не существовало. Можно было ускользнуть целым и невредимым из вражеского штаба и попасть в лапы гестаповским агентам на уединенном островке. Все прежние масштабы сдвинулись.

— Пробралась мы совершенно случайным образом, — сказал Шварц, — что вам, конечно, хорошо известно. Когда оглядываешься назад и начинаешь раздумывать, то вообще не понимаешь, как все это оказалось возможным.

Пешком, в грузовике, часть пути мы однажды даже проехали верхом на двух огромных, добродушных крестьянских лошадях, которых батрак гнал на продажу.

В Бордо уже находились войска. Город не был еще оккупирован, но немецкие части уже прибыли. Это был тяжелый удар. Каждую минуту можно было ждать ареста. Костюм Элен не бросался в глаза. Кроме вечернего платья, у нее были еще два свитера и пара брюк — все, что ей удалось сохранить. У меня был рабочий комбинезон. Запасной костюм лежал в рюкзаке.

Мы оставили свои вещи в кабачке, чтобы не привлекать внимания, хотя в то время многие французы перебирались с чемоданами с места на место.

— Наведаемся в бюро путешествий и справимся насчет пароходов, — сказал я.

У нас не было знакомых в городе. Бюро путешествий мы нашли довольно быстро. Оно еще существовало. В окнах висели рекламные плакаты! «Проведите осень в Лиссабоне», «Алжир — жемчужина Африки», «Отпуск во Флориде», «Солнечная Гранада». Большинство из них выцвело и поблекло, и только объявления, призывающие в Лиссабон и Гранаду, сверкали своими радужными красками.

Нам не пришлось, однако, дожидаться, пока мы продвинемся к окошечку. Четырнадцатилетний паренек информировал нас обо всем самым исчерпывающим образом. Никаких пароходов нет. Об этом болтают уже несколько недель. На самом же деле, еще до прихода немцев, здесь был английский пароход, чтобы взять поляков и тех эмигрантов, которые записались в польский легион — добровольческую часть, которая формируется в Англии. Теперь же в море не выходит ни один корабль.

Я спросил, чего в таком случае ждут люди, которые томятся в бюро.

— Большинство ждут того же, что и вы, — ответил юный эксперт.

— А вы?

— Я уже не надеюсь выбраться отсюда, — ответил он. — Здесь я зарабатываю себе на хлеб. Выступаю в роли переводчика, специалиста по вопросу получения виз, даю советы, сообщаю адреса гостиниц и пансионатов...

В этом не было ничего удивительного: голод не тетка. А взгляд юности на жизнь к тому же не затуманен предрассудками и сантиментами.

Мы зашли в кафе, и там четырнадцатилетний эксперт сделал для меня обзор положения. Возможно, немецкие войска уйдут из города. Тем не менее получить в Бордо вид на жительство трудно. С визами еще тяжелее. В смысле получения испанской визы неплоха сейчас Байонна, но она переполнена. Лучше всего, кажется, Марсель, но это долгий путь.

— Мы его все равно проделали,— сказал Шварц.— Только позже. Вы тоже?

— Да,— сказал я.— Крестный путь.

Шварц кивнул.

— По пути я, конечно, попробовал обратиться в американское консульство. Но у Элен был вполне действительный немецкий нацистский паспорт. Как мы могли доказать, что нам угрожает смертельная опасность? Беженцы евреи, которые в страхе, без всяких документов, валялись у дверей консульства, казалось, действительно нуждались в спасении. Наши же паспорта свидетельствовали против нас, и паспорт мертвого Шварца — тоже.

Мы решили в конце концов вернуться в наш маленький замок. Дважды нас задерживали жандармы, и оба раза я использовал господствующую в стране неразбериху: я орал на жандармов, совал им под нос наши паспорта и выдавал себя за австрийского немца из военной администрации. Элен смеялась. Она находила все это смешным.

Я сам впервые набрел на эту идею, когда мы в кабачке потребовали наши вещи. Хозяин заявил, что он никогда не получал от нас на хранение никаких вещей.

— Если хотите, можете позвать полицию,— добавил он и посмотрел на меня, улыбаясь.— Но вы, конечно, этого не захотите!

— Мне этого не нужно делать,— сказал я.— Отдайте вещи!

Хозяин мигнул слуге:

— Анри, покажи господину дверь!

Анри улыбнулся, скрестив на груди руки.

— Подождите, Анри, не провожайте меня,— сказал я.— Неужели вы горите желанием познакомиться с тем, как выглядит немецкий концентрационный лагерь внутри?

— Ты, рожал! — закричал Анри и замахнулся на меня.

— Стреляйте, сержант,— сказал я резко, бросая взгляд вперед и мимо него.

Анри попался на эту удочку. Он обернулся. В это мгновение я изо всей силы двинул его в низ живота. Он зарычал и упал на пол. Хозяин схватил бутылку и вышел из-за стойки.

Я взял с выставки бутылку «Дюбонне», ударил ее об угол и сжал в руке горлышко с острыми гранями изломок. Хозяин остановился. Позади меня разлеталась вдребезги еще одна бутылка. Я не оглянулся, мне нельзя было спускать глаз с хозяина.

— Это я,— сказала Элен и крикнула: — Скотина! Отдай вещи, или у тебя сейчас не будет лица!..

Она обошла меня с обломком бутылки в руках и, согнувшись, двинулась на хозяина.

Я схватил ее свободной рукой. Она, видимо, разбила бутылку «Перно», потому что по комнате вдруг разлился запах аниса. На хозяина обрушился поток матросских ругательств. Елена рвалась, стремясь освободиться от моей хватки. Хозяин отступил за стойку.

— Что здесь происходит? — спросил кто-то по-немецки позади.

Хозяин принялся злобно гримасничать. Элен обернулась. Немецкий унтер-офицер, которого я перед этим изобрел, чтобы обмануть Анри, теперь появился на самом деле.

— Он ранен? — спросил немец.

— Эта свинья? — Элен показала на Анри, который, подогнув колени и сунув руки между ног, все еще корчился на полу... Нет, он не ранен. Это не кровь, это вино!

— Вы немцы? — спросил унтер-офицер.

— Да,— сказал я.— И нас обокрали.

— У вас есть документы?

Хозяин усмехнулся. Видимо, он кое-что понимал по-немецки.

— Конечно,— сказала Элен.— И я прошу вас помочь нам защитить наши права! — Она вытащила паспорт.— Я сестра обер-штурмбаннфюрера Юргенса,— она показала отметку в паспорте,— мы живем в замке,— тут она назвала место, о котором я не имел понятия,— и поехали на день в Бордо. Наши вещи мы оставили здесь, у этого вора. Теперь он утверждает, что он никогда не получал их. Помогите нам, пожалуйста!

Она опять направилась к хозяину.

— Это правда? — спросил его унтер-офицер.

— Конечно, правда! Немецкая женщина не лжет! — процитировала Элен одно из идиотских изречений нацистского режима.

— А вы кто? — спросил меня унтер-офицер.

— Шофер,— ответил я, указывая на свою спецовку.

— Ну, пошевеливайся! — крикнул унтер-офицер хозяину.

Этот тип за стойкой перестал гримасничать.

— Нам, кажется, придется закрыть вашу лавочку,— сказал унтер-офицер.

Элен с великим удовольствием перевела это, прибавив еще несколько раз по-французски «скот» и «иностранное дерьмо». Последнее мне особенно понравилось. Обозвать француза в его собственной стране дерьмовым иностранцем! Весь смак этих выражений мог оценить, конечно, лишь тот, кому приходилось это слышать самому.

— Анри! — приказал хозяин. — Где ты оставлял вещи? Я ничего не знаю, — заявил он унтер-офицеру. — Виноват этот парень.

— Он лжет, — перевела Элен. — Он все спихивает теперь на эту обезьяну. Подайте-ка вещи, — сказала она хозяину. — Немедленно! Или мы позовем гестапо!

Хозяин пнул Анри. Тот упал.

— Простите, пожалуйста, — сказал хозяин унтер-офицеру. — Явное недоразумение. Разрешите стаканчик?

— Коньяка, — сказала Элен. — Самого лучшего.

Хозяин наполнил стакан. Элен злобно взглянула на него. Он тут же подал еще два стакана.

— Вы храбрая женщина, — заметил унтер-офицер.

— Немецкая женщина не боится ничего, — выдавала Элен еще одно нацистское изречение и отложила в сторону горлышко бутылки «Перно».

— Какая у вас машина? — спросил унтер-офицер.

Я твердо взглянул в его серые бараньи глаза:

— Конечно, мерседес, машина, которую любит фюрер!

Он кивнул:

— А здесь довольно хорошо, правда? Конечно, не так, как дома, но все же неплохо. Как вы думаете?

— Да, да, неплохо! Хотя, ясно, не так, как дома.

Мы выпили. Коньяк был великолепный. Анри вернулся с нашими вещами и положил их на стул. Я проверил рюкзаки. Все было на месте.

— Порядок, — сказал я унтер-офицеру.

— Виноват только он, — заявил хозяин — Ты уволен, Анри! Убирайся вон!

— Спасибо, унтер-офицер, — сказала Элен. — Вы настоящий немец и кавалер.

Он отдал честь. Ему было не больше двадцати пяти лет.

— Теперь только нужно рассчитаться за «Дюбонне» и бутылку «Перно», которые были разбиты, — сказал хозяин, приободрившись.

Элен перевела его слова и добавила:

— Нет, любезный. Это была самозащита.

Унтер-офицер взял со стойки ближайшую бутылку.

— Разрешите,— сказал он галантно.— В конце концов, не зря же мы победители!

— Мадам не пьет «Куантро»,— сказал я.— Преподнесите лучше коньяк, унтер-офицер, даже если бутылка уже откупорена.

Он вручил Элен начатую бутылку коньяка. Я сунул ее в рюкзак. У двери мы с ним попрощались. Я боялся, что солдат пожелает проводить нас до нашей машины, но Элен прекрасно избавилась от него.

— Ничего подобного у нас случиться бы не могло,— с гордостью заявил бравый служака, расставаясь с нами.— У нас господствует порядок.

Я посмотрел ему вслед. «Порядок,— сказал я про себя.— С пытками, выстрелами в затылок, массовыми убийствами! Уж лучше иметь дело со ста тысячами мелких мошенников, как этот хозяин!»

— Ну, как ты себя чувствуешь? — спросила Элен.

— Ничего. Я не знал, что ты умеешь так ругаться. Она засмеялась.

— Я выучилась этому в лагере. Как это облегчает! Целый год заточения словно спал с моих плеч! Однако где ты научился драться разбитой бутылкой и одним ударом превращать людей в евнухов?

— В борьбе за право человека,— ответил я.

— Мы живем в эпоху парадоксов. Ради сохранения мира вынуждены вести войну.

Это почти так и было. Человека заставляли лгать и обманывать, чтобы защитить себя и сохранить жизнь.

В ближайšie недели мне пришлось заняться еще и другим. Я крал у крестьян фрукты с деревьев и молоко из подвалов. То было счастливое время: опасное, жалкое, иногда безрадостное, часто смешное. Но в нем никогда не было горечи. Я только что рассказал вам случай с хозяином кабачка. Вскоре мы пережили еще несколько таких историй. Наверно, они вам тоже знакомы?

Я кивнул:

— Их можно рассматривать и с комической стороны.

— Я научился этому,— подтвердил Шварц.— Благодаря Элен. Она была человеком, в котором совершенно не откладывалось прошлое. То, что я ощущал лишь изредка, превращалось в ней в сверкающую явь. Пршлое каждый день обламывалось в ней напрочь, как лед под всадником

на озере. Зато все стремилось в настоящее. То, что у других растягивается на всю жизнь, сгущалось у нее в одно мгновение. Но это не была слепая напряженность. В ней все было свободно и раскованно. Она была шаловлива, как юный Моцарт, и неумолима, как смерть.

Понятий морали и ответственности в их застывшем виде больше не существовало. Вступали в действие какие-то высшие, почти эфирные законы. У нее уже не было времени для чего-нибудь другого. Она взлетала, как фейерверк, сгорая вся, без капельки пепла. Ей не нужно было спасение, но я тогда этого еще не знал. Она знала, что ее не спасти. Однако я на этом настаивал, и она молча согласилась. И я, дурак, влек ее за собой по крестному пути, через все двенадцать этапов, от Бордо в Байонну, потом в Марсель, а из Марселя сюда, в Лиссабон.

Когда мы вернулись к нашему замку, он уже был занят. Мы увидели мундиры, пару офицеров и солдат, которые тащили деревянные козлы.

Офицеры горделиво расхаживали вокруг в легких бриджах, высоких блестящих сапогах, как надменные павлины.

Мы наблюдали за ними из парка, спрятавшись за буквым деревом и за мраморной статуей богини. Был мягкий, будто из шелка сотканый вечер.

— Что же еще у нас осталось? — спросил я

— Яблоки на деревьях, золотой октябрь и наши мечты, — ответила Элен.

— Это мы оставляем повсюду, — согласился я, — как летающая осенняя паутина.

На террасе офицер громко пролаял какую-то команду.

— Голос двадцатого столетия, — сказала Элен. — Уйдем отсюда. Где мы будем спать этой ночью?

— Где-нибудь в сене, — ответил я.

— Может быть, даже в кровати. И во всяком случае — вместе.

XVI

— Вспоминается ли вам площадь перед консульством в Байонне? — спросил Шварц. — Колонна беженцев по четыре человека в ряд, которые затем разбегаются и в панике блокируют вход, отчаянно кричат, плачут, дерутся из-за места?

— Да, — сказал я. — Я еще помню, что там были разрешения для стояния, которые давали человеку право нахо-

диться вблизи от консульства. Но ничего не помогало, толпа теснилась у входа; когда открывались окна, жалобы превращались в оглушительные крики и вопли. Паспорта выбрасывались в окно. О, этот лес протянутых рук!

Более миловидная из двух женщин, которые еще оставались в кабачке, подошла к нам и зевнула:

— Смешно! — сказала она. — Вы все говорите и говорите. Нам, впрочем, пора спать. Если хотите еще где-нибудь посидеть, поищите в городе другой кабачок — они снова открыты.

Она распахнула дверь. Там уже было ясное утро в полном шуме и гаме. Сияло солнце. Она опять притворила дверь. Я взглянул на часы.

— Пароход отплывает не сегодня в полдень, — заявил вдруг Шварц, — а только завтра вечером.

Я ему не поверил. Он заметил это.

— Пойдемте, — сказал он.

Дневной шум снаружи, после тишины кабачка, показался сначала почти невыносимым. Шварц остановился.

— А тут по-прежнему бегут, кричат, — сказал он, уставившись на толпу детей, которые тащили в корзинах рыбу. — Все так же, вперед и вперед, словно никто не умирает!

Мы пошли вниз, к гавани. По реке ходили волны. Дул сильный холодный ветер. Солнечный свет был резким и каким-то стеклянным, тепла в нем не чувствовалось. Хлопали паруса. Здесь каждый по горло был занят утром, работой, самим собой. Мы скользили сквозь эту деловую сутолоку, как пара увядших листьев.

— Вы все еще мне не верите, что корабль отправляется только завтра? — спросил Шварц. В безжалостном ярком свете он выглядел очень усталым и осунувшимся.

— Я не могу верить, — ответил я. — Раньше вы мне говорили, что он отправится сегодня. Давайте спросим. Это для меня слишком важно.

— Так же важно было это и для меня. А потом вдруг сразу потеряло всякое значение.

Я ничего не ответил. Мы пошли дальше. Меня вдруг охватило бешеное нетерпение. Безостановочная, трепещущая жизнь звала вперед. Ночь миновала. К чему теперь это заклинание теней?

Мы остановились перед какой-то конторой. Вход и стены были увешаны рекламными проспектами. В витрине красовалось объявление, которое гласило, что отплытие парохода откладывается на один день.

— Я скоро закончу, — сказал Шварц.

Я выиграл еще один день. Несмотря на объявление, я попробовал открыть дверь. Она была заперта. Человек десять со стороны наблюдали за мной. С разных сторон они шагнули раз, другой в мою сторону, когда я нажал ручку двери. Это были эмигранты. Когда они увидели, что дверь еще заперта, они отвернулись и снова принялись изучать витрины.

— Как видите, у вас есть время,— сказал Шварц и предложил выпить в гавани кофе.

Он с жадностью сделал несколько глотков горячего кофе и принялся растирать руки над чашкой, словно его охватил озноб.

— Который час? — спросил он.

— Половина восьмого.

— Через час,— пробормотал он.— Через час вы будете свободны. Я не хотел бы, чтобы то, что я вам рассказал, звучало Иеремиадой¹. Похоже?

— Нет.

— Тогда что же это?

Я подумал.

— История одной любви.

Лицо его вдруг разгладилось.

— Спасибо,— сказал он, собираясь с мыслями.— В Биаррице началось самое страшное. Я услышал, что из городка Сен-Жан де Лю должен отправиться небольшой корабль. Это оказалось выдумкой. Когда я вернулся в пансион, я увидел Элен на полу с искаженным лицом.

— Судороги,— прошептала она.— Сейчас придет. Оставь меня.

— Я сейчас позову врача!

— Ни в коем случае,— выдавила она.— Не нужно. Сейчас пройдет. Уйди! Возвращайся через пять минут! Оставь меня одну! Делай, что я говорю! Не нужно никакого врача! Иди же! — закричала она.— Я знаю, что говорю! Приходи через десять минут опять. Тогда ты сможешь ..

Она махнула рукой, чтобы я оставил ее. Она не могла больше говорить, но глаза ее были полны такой невысказанной, нечеловеческой мольбы, что я тут же вышел.

Я стоял в коридоре и смотрел на улицу. Потом я спросил врача. Мне сказали, что доктор Дюбуа живет недалеко. Здесь, через две улицы. Я побежал к нему: он оделся и пошел со мной.

¹ Иеремиада — плач Иеремии, одного из библейских пророков, о гибели Иерусалима

Когда мы вошли, Элен лежала на кровати. Ее лицо было мокрым от пота, но она успокоилась.

— Ты все-таки привел врача,— сказала она с таким выражением, словно я был ее злейшим врагом.

Доктор Дюбуа, пританцовывая, подошел ближе.

— Я не больна,— сказала она.

— Мадам,— ответил Дюбуа улыбаясь,— не позволите ли вы определить это врачу?

Он открыл свой чемоданчик и достал инструменты.

— Оставь нас,— сказала Элен.

В смятении я покинул комнату. Мне вспомнилось, что говорил врач в лагере. Я ходил по улице взад и вперед. Напротив был гараж. С вывески на меня смотрел толстый рекламный человечек из резиновых шлангов. Эта эмблема резиновой фирмы Мишлен вдруг показалась мне мрачным олицетворением внутренностей, кишаших белыми червями. Из гаража доносились удары молотков, будто кто-то сбивал там жестяной гроб, и я внезапно понял, что опасность давно уже подстерегала нас — как блеклый фон, на котором жизнь обретала особенно резкие контуры, как облитый солнцем лес на встающей за ним грозовой туче.

Наконец вышел Дюбуа. У него была маленькая остренькая борода. Курортный врач, он, наверно, занимался главным образом тем, что прописывал безобидные средства от кашля и головной боли. Когда я увидел, как он, пританцовывая, приближается ко мне, меня охватило отчаяние. Я подумал, что во время этого затишья в Биаррице он был рад всякому пациенту.

— Ваша супруга...— сказал он.

Я уставился на него:

— Что? Говорите, черт возьми, правду, или не говорите ничего.

Тонкая, изящная усмешка на мгновение преобразила его лицо.

— Вот,— сказал он и, вытащив блокнот, написал что-то неразборчиво.— Возьмите и закажите это в аптеке. Попросите, чтобы рецепт вам вернули, потому что лекарство понадобится снова. Я сделал об этом пометку.

Я взял белый листочек.

— Что это? — спросил я.

— То, что вы не в состоянии изменить,— сказал он.— Не забывайте об этом. Изменить этого нельзя.

— Что это, я спрашиваю? Я хочу знать правду, не скрывайте от меня.

Он ничего не ответил.

— Если вам понадобится это,— повторил он,— обратитесь в аптеку. Вам отпустят.

— Что это?

— Сильное успокаивающее средство. Выдается только по рецепту врача.

Я спрятал рецепт.

— Сколько я вам должен?

— Ничего.

Пританцовывая, он пошел прочь, на углу обернулся:

— Принесите это и положите так, чтобы ваша жена могла его найти! Не говорите с ней об этом. Она знает все. Она достойна преклонения.

— Элен,— сказал я.— Что все это значит? Ты больна. Почему ты не хочешь со мной об этом говорить?

— Не мучай меня,— сказала она мягко.— Позволь мне жить так, как я хочу.

— Ты не хочешь говорить со мной об этом?

Она покачала головой:

— Тут не о чем говорить.

— Я не могу тебе помочь?

— Нет, любимый,— ответила она.— На этот раз ты мне помочь не в силах. Если бы ты мог, я бы тебе сказала.

— У меня есть еще последний рисунок Дега. Я могу его здесь продать. В Биаррице есть богатые люди. Мы получим достаточно денег, чтобы поместить тебя в больницу.

— Чтобы меня арестовали? К тому же это не поможет. Поверь мне!

— Разве дело так плохо?

Она взглянула на меня с таким отчаянием, что я не смог больше спрашивать. Я решил позже пойти к Дюбуа и разузнать у него обо всем.

Шварц замолчал.

— У нее был рак? — спросил я.

Он кивнул.

— Я давно уже должен был догадаться об этом. Она была в Швейцарии, и там ей сказали, что можно еще раз сделать операцию, но это не поможет. Ее уже перед этим раз оперировали — это был шрам, который я видел. Тогда доктор сказал ей правду. Она могла выбирать: или еще пара бесполезных операций, или небольшой кусок жизни вне больницы, на свободе. Он пояснил ей также, что нельзя с уверенностью надеяться на то, что пребывание в клинике способно продлить ее жизнь. И она сказала, что не хочет больше операций.

— Она не хотела вам сказать об этом?

— Нет. Она ненавидела болезнь. Она пыталась игнорировать ее. Она ощущала ее как нечто нечистое, словно в ней копошились черви. Ей казалось, что болезнь — это животное, которое живет в ней, грызет ее и растет. Она думала, что я буду испытывать к ней отвращение, если я это узнаю. Быть может, она, кроме того, еще надеялась задушить болезнь тем, что не хотела ничего о ней знать.

— Вы никогда не говорили с ней об этом?

— Почти никогда, — сказал Шварц. — Она разговаривала с Дюбуа, и я позже заставил его рассказать мне все. От него я получил лекарство. Он сказал, что боли будут нарастать. Однако может случиться и так, что все закончится быстро и без страданий. С Еленой я ни о чем не говорил. Она не хотела. Она грозилась, что убьет себя, если я не оставлю ее в покое. И тогда я притворился, будто верю ей, что это были всего лишь судороги.

Мы должны были уехать из Биаррица. Мы взаимно обманывали друг друга. Она наблюдала за мной, а я следил за ней. Притворство обладало какой-то странной силой. Оно прежде всего уничтожало то, чего я боялся больше всего, — ощущение времени. Деление на недели и месяцы распалось, и боязнь перед краткостью срока, еще отпущенного нам, стала благодаря этому прозрачной, как стекло. Страх ничего больше не скрывал — он скорее защищал наши дни. И все, что мешало, отскакивало обратно, не попадая внутрь. Припадки отчаяния овладевали мной, когда Елена спала. Она тихо дышала во сне. Я смотрел на ее лицо и на свои здоровые руки и понимал ужасную отъединенность, которую накладывает на нас наша оболочка, — пропасть, которую не преодолешь никогда. Ничто из моей здоровой крови не могло спасти дорогую больную кровь. Этого нельзя понять, как нельзя понять и смерть.

Мгновение становилось всем. Утро лежало в невообразимой дали. Когда Элен просыпалась, начинался день. Когда же она спала и я чувствовал ее подле себя, начинались метания между надеждой и отчаянием, между планами, которые возводились на зыбких фундаментах мечты, верой в чудо и философией — «хоть миг, да мой», которая гасла с рассветом и бессильно тонула в тумане.

Становилось холодно. Я держал рисунок Дега при себе. Это были деньги на проезд в Америку. Я охотно продал бы его теперь, но в деревнях и маленьких городишках не было никого, кто пожелал бы его купить. Зарабатывал я в эти дни по-всякому; выучился крестьянскому труду, копал землю, рубил лес. Мне хотелось что-нибудь делать, и в этом

я был не одинок. Я видел профессоров, которые пилили дрова, и оперных певцов, рубящих репу на силос. Крестьяне тут были самими собой: они пользовались случаем получить дешевую рабочую силу. Некоторые кое-что платили за труд, другие давали еду и позволяли переночевать. Третьи же вообще гнали попрошайек прочь. Так, перебираясь с места на место, мы добрались до Марселя. Вы были в Марселе?

— Кто же там не был!— сказал я.— Это был охотничий заповедник жандармов и гестапо. Они хватали эмигрантов у консульств, как загнанных зайцев.

— Они и нас почти схватили,— сказал Шварц.— При этом префект города в марсельском ведомстве иностранных дел предпринимал все, чтобы спасти эмигрантов. Сам я в то время все еще был одержим идеей во что бы то ни стало получить американскую визу. Мне порой казалось, что она могла бы заставить отступить даже рак. Вы, конечно, знаете, что виза не выдавалась, если нельзя было доказать, что человеку угрожает крайняя опасность или вас нельзя было занести в Америке в список известных художников, ученых и других видных деятелей культуры. Как будто мы все не находились в опасности! Как будто человек — это не человек! Разве различие между выдающимся и обычным человеком не параллель все той же теории о сверхчеловеке и недочеловеке?

— Они не могут всех впустить,— возразил я.

— Разве? — спросил Шварц.

Я не ответил. Что тут было отвечать? И да, и нет значило одно и то же.

— Почему же не впустить тогда самых несчастных? — спросил Шварц.— Без имени и заслуг?

Я опять ничего не сказал. У Шварца были две американские визы — чего он еще хотел? Разве он не знал, что Америка давала право на въезд всякому, за которого кто-нибудь мог там поручиться, что он не будет государству в тягость?

В следующее мгновение он сам заговорил об этом.

— Я никого не знал в Америке. Кто-то дал мне адрес в Нью-Йорке, и я написал туда. Затем я написал еще по другому адресу, рассказав о нашем положении. Потом один знакомый сказал мне, что я поступил неправильно: больных в Соединенные Штаты не пускали. С неизлечимыми болезнями — тем более. Я должен был выдать Элен за здоровую. Часть этого разговора Элен слышала.

Избежать этого было невозможно. Ни о чем другом не разговаривали тогда в Марселе, который был похож на

взбудораженный улей. В тот вечер мы сидели в ресторане вблизи Каннебьера. Ветер мел по улицам. Нет, я не был обескуражен. Я надеялся найти врача, не лишеного сердца, который бы дал Элен справку о том, что она здорова. Мы с ней вели все ту же игру: что мы верим друг другу и что я ничего не знаю. Я написал начальнику ее лагеря, чтобы он подтвердил, что мы находимся в опасности, так как нас преследуют.

Мы нашли небольшую комнату. Я получил вид на жительство сроком на неделю и по ночам нелегально работал в одном ресторане. Я мыл тарелки. У нас было немного денег. Один аптекарь по рецепту Дюбуа отпустил мне десять ампул морфия. Таким образом, в то мгновение у нас было все необходимое.

Мы сидели у окна ресторана и смотрели на улицу. Мы могли позволить себе эту роскошь, потому что в течение недели нам не нужно было прятаться. Вдруг Элен чего-то испугалась. Она схватила меня за руку, вглядываясь в темноту, напоенную ветром.

— Георг! — прошептала она.

— Где?

— Там, в открытой автомашине. Я узнала его. Он только что проехал мимо.

— Ты уверена, что это был он?

Она кивнула.

Мне показалось это почти невозможным. Я попытался разглядеть лица людей в нескольких проехавших мимо машинах. Это мне не удалось, но я не успокоился.

— Почему он должен быть обязательно в Марселе? — сказал я и тут же понял, что если он где-нибудь и должен был оказаться, так именно в Марселе, последнем прибежище эмигрантов во Франции.

— Нам нужно немедленно уехать отсюда, — сказал я.

— Куда?

— В Испанию.

— Там, наверное, еще опаснее.

Ходили слухи, что в Испании гестапо чувствует себя как дома, что там эмигрантов арестовывают и выдают нацистам. Но эти дни настолько заполнились слухами, что всем верить было просто невозможно.

Я сделал еще одну попытку получить испанскую проездную визу, которая выдавалась только при наличии португальской. Последняя, в свою очередь, зависела от того, имела ли виза на въезд в третью страну. К этому надо было добавить еще самое нелепое из всех бюрократических издевательств: требование французской выездной визы.

Как-то вечером нам повезло. С нами заговорил один американец. Он был немного навеселе и искал, с кем бы поговорить по-английски. Через несколько минут он уже сидел за нашим столиком и накачивал нас всевозможными напитками. Ему было около двадцати пяти лет. Он ждал парохода, чтобы вернуться в Америку.

— Почему бы нам не поехать вместе? — спросил он.

Мгновение я молчал. От этого наивного вопроса, казалось, лопнула скатерть посредине стола. Напротив нас сидел человек с другой планеты. То, что для него было таким же само собой разумеющимся, как слово, для нас являлось недостижимым, как созвездие Большой Медведицы.

— У нас нет визы, — сказал я наконец.

— Попросите ее завтра. Здесь, в Марселе, есть наше консульство. Там очень милые люди.

Я знал этих милых людей. Это были полубоги. Для того чтобы только узреть их секретарей, надо было ждать часами на улице. Позже разрешили ждать в подвале, так как на улице эмигрантов часто арестовывали агенты гестапо.

— Я завтра пойду вместе с вами, — сказал американец.

— Хорошо, — сказал я, не веря ему.

— Давайте выпьем за это.

Мы выпили. Я смотрел на это свежее безмятежное лицо и едва мог его вынести. Элен была почти прозрачна в тот вечер, когда американец начал рассказывать нам о море света на Бродвее. Невероятные басни в омраченном городе. Я смотрел в лицо Элен, когда он произносил имена актеров, названия пьес, ресторанов, кафе — веселую повесть о беспечной сумятице города, который никогда не знал войны. Я был несчастен и в то же время рад тому, что она слушала. Ведь до тех пор она с молчаливой пассивностью встречала все, что касалось Америки.

В папиросном дыму кабачка ее лицо все более оживлялось, она смеялась и даже пообещала молодому человеку пройти с ним вместе по Бродвею ту часть улицы, которую он особенно любил. Мы пили и знали, что утром все будет забыто.

Но мы ошиблись. В десять часов американец зашел за нами. У меня болела голова, а Элен вообще отказалась идти. Шел дождь. Мы подошли к тесно сбившейся толпе эмигрантов. Все было, как во сне: они расступились перед нами, как Красное море перед израильскими эмигрантами фараона. Зеленый паспорт американца был сказочным золотым ключиком, который отворял любую дверь.

Непостижимое совершилось. Когда молодой человек услышал, о чем тут идет речь, он небрежно заявил, что желает за нас поручиться. Все это звучало, на мой взгляд, противостоительно: он был так молод. Для такого дела, думал я, нужно быть, во всяком случае, старше, чем я.

В консульстве мы пробыли около часа. До этого я уже в течение недели писал и доказывал, что мы находимся в опасности. С большим трудом, через Швейцарию, с помощью вторых и третьих лиц, мне удалось получить удостоверение насчет того, что в Германии я находился в лагере, и еще одно — о том, что Георг разыскивает меня и Элен, чтобы арестовать. Тогда мне сказали прийти через неделю.

У дверей консульства американец пожал мне руку.

— Чертовски хорошо, что мы с вами встретились, — сказал он. — Вот, — он вытащил визитную карточку. — Позвоните мне, когда будете там.

Он кивнул и направился в сторону.

— А если что-нибудь случится? Если вы мне еще понадобится? — спросил я.

— Что еще может случиться? Все в порядке — Он засмеялся — Мой отец довольно известная фигура. Я слышал, что завтра отправляется пароход в Оран. Я хотел бы съездить туда, прежде чем вернуться в Америку. Кто знает, когда еще удастся приехать сюда опять. Лучше осмотреть все что можно.

Он исчез. Полдюжины эмигрантов окружили меня, пытаясь его имя и адрес. Они догадывались, что произошло, и хотели добиться того же для себя. Когда я сказал, что не знаю, где он живет в Марселе, они принялись меня ругать. Между тем я и в самом деле не знал. Я показал им визитную карточку с американским адресом. Они его записали. Я сказал им, что это бесполезно, потому что он собирается ехать в Оран.

Тогда они заявили, что отправятся к пароходу и будут его ждать там. В смутном настроении пришел я домой. Быть может, я все испортил, показав визитную карточку? Но в тот момент я совсем был сбит с толку. А наше положение мне и без того представлялось все безнадежнее.

Я сказал об этом Элен. Она улыбнулась. Она была очень нежна в тот вечер. Мы были одни в маленькой комнате, которую мы снимали в небольшом доме. Вы знаете, как из уст в уста среди эмигрантов передаются адреса, где можно найти жилье. Под потолком в клетке неутомимо распевала зеленая канарейка, за которой мы обязались ухаживать. За

окном, уставив желтые глаза на птицу, сидела бродячая кошка. Она снова и снова приходила откуда-то с крыши и усаживалась каждый раз на то же самое место.

Было холодно, но Элен хотела, чтобы окна были открыты. Я знал, что ее мучила боль,— это был один из признаков.

Дом успокаивался поздно.

— Вспоминаешь ли ты еще о маленьком замке? — спросила Элен.

— Я вспоминаю об этом так, словно кто-то мне рассказывал об этом. Словно кто-то другой, а не я был там.

Она взглянула на меня.

— Может быть, это так и есть. В каждом из нас живет несколько людей,— сказала она.— Совсем непохожих. И иногда они выходят из послушания и некоторое время распоряжаются нами, и тогда вдруг превращаешься в другого человека, которого никто не знал раньше. Но затем все становится прежним. Или нет? — настойчиво спросила она.

— Во мне никогда не жили другие люди,— заявил я.— Я всегда и утомительно один и тот же.

Она живо покачала головой.

— Как ты ошибаешься! Лишь потом ты заметишь, как ты был не прав!

— Что ты имеешь в виду?

— Забудь это. Смотри — кошка на окне. И птица, которая поет, ни о чем не подозревая! Будущая жертва веселится!

— Она никогда не спавает ее. Птицу надежно защищает клетка.

Элен рассмеялась.

— Защищает клетка! — повторила она.— Кому же нужна безопасность в клетке?

Проснулись мы под утро. Привратница кричала и ругалась. Я открыл дверь, одетый, готовый к бегству. Полиции, однако, не было.

— Кровь! — кричала женщина.— Будто она не могла сделать это как-нибудь иначе? Свинство! А теперь, конечно, явится полиция! Вот что получается, когда к людям относишься по-человечески! Тебя же еще и эксплуатируют. А за квартиру она не платила уже пять недель!

В тесном коридоре, в тусклом, сером свете, толпились жильцы из других комнат, заглядывая в дверь. Женщина около шестидесяти лет покончила жизнь самоубийством. Она вскрыла себе артерию на левой руке. С кровати капала кровь.

— Позовите доктора,— сказал Лахман, эмигрант из Франкфурта, который в Марселе торговал венками и иконками.

— Доктора! — завопила привратница.— Да она умерла уже несколько часов назад, разве вы не видите? Вот что получается, когда вас пускаешь! А теперь явятся полицейские! Они всех вас арестуют! А кто отчистит кровать?

— Мы можем ее вымыть,— сказал Лахман.— Только не впутывайте сюда полицию!

— А плата за квартиру? Откуда ее взять?

— Мы можем собрать деньги,— сказала старуха в красном халате.— Куда же нам иначе деваться? Имейте жалость...

— Я имела жалость! Тебя же только на этом ловят — и точка! Какие у нее там были вещи? Ничего!

Привратница бросилась искать. В комнате горела одна единственная лампочка. Ее обнаженный свет был тускл и желт. Под кроватью стоял дешевый фибровый чемодан. Привратница стала на колени перед железной койкой, с той стороны, где не натекла кровь, и осторожно вытащила чемодан. Толстая, в каком-то полосатом домашнем платье, она сзади напоминала огромное отвратительное насекомое, приготовившееся сожрать свою жертву.

Она открыла чемодан.

— Ничего! Пара тряпок да продранные туфли!

— Вот тут есть что-то,— сказала одна старуха. Ее звали Люси Лева. Она торговала на черном рынке чулками да клеивала разбитые фарфоровые безделушки.

Привратница открыла маленькую коробочку. На розовой подкладке покоилась цепочка и кольцо с небольшим камнем.

— Золото? — спросила толстуха.— Наверно, только позолота!

— Золото,— сказал Лахман.

— Если бы это было золото, она бы его продала,— заявила привратница,— прежде чем решиться на такое!

— На это не всегда решаются только из-за голода,— спокойно заметил Лахман.— А это золото. Маленький камень — рубин. Стоимость — по меньшей мере семьсот—восемьсот франков.

— Не может быть!

— Если хотите, могу продать это для вас.

— И при этом меня надуть? Нет, милый, не на такую напал!

Ей пришлось вызвать полицию. Избежать этого было невозможно. На это время все эмигранты, жившие в доме, постарались исчезнуть. Большая часть отправилась по обычному маршруту: наведаться в консульства, продать кое-что из вещей, справиться насчет работы. Другие скрылись в ближайшей церкви, чтобы дожидаться там известий от одного из своих, оставленного на углу улицы наблюдателем. В церквях люди чувствовали себя в безопасности.

Там как раз служили обедню. У стен, перед молитвенными столиками, маленькими темными холмиками возвышались женщины в черных платьях. Пламя свечей было неподвижно. Вздыхал орган, блики света дрожали на золотой чаше, которую поднял священник и в которой была кровь Христа, спасшего мир. К чему же она привела, эта кровь? К кровавым крестовым походам, к религиозному фанатизму, пыткам инквизиции, сожжению ведьм, убийствам еретиков — и все во имя любви к ближнему.

— Не лучше ли пойти на вокзал? — сказал я Элен. — Там в зале ожидания теплее, чем здесь в церкви.

— Подожди еще немного.

Она подошла к скамейке под пилястром и стала там на колени. Не знаю, молилась ли она и кому, но мне вдруг вспомнился тот день, когда я ждал ее в соборе в Оснабрюке. Тогда я вновь обрел человека, которого не знал и который день ото дня становился для меня все более чужим и родным. Это было странно и это было так. Сейчас все опять было как тогда, но она ускользала от меня, я чувствовал это, ускользала туда, где больше не было имен, а только мрак и неизведанные законы мрака. Она не хотела этого и снова и снова возвращалась оттуда, но она не принадлежала уже мне так, как мне этого хотелось бы, да она, может быть, и вообще никогда не принадлежала мне так. Да и кто же принадлежит кому-нибудь? И что такое вообще принадлежать друг другу? В этом слове нет ничего, кроме жалкой, безнадежной иллюзии честного бюргера! И каждый раз, когда она, по ее словам, возвращалась — на мгновение, на час, на ночь, — я чувствовал себя, как счетовод, который не имеет права заглядывать в свои гроссбухи и прямо, без единого вопроса, принимает то, что составляет его радость, его несчастье, его любовь и проклятие! Я знаю, для всего этого есть другие слова — дешевые, стертые, минутные, — но пусть они служат обозначением других отношений и других людей, которые верят, что их эгоистические законы писаны в книге судеб у бога. Одиночество ищет спутников и не спрашивает, кто они. Кто не

понимает этого, тот никогда не знал одиночества, а только уединение.

— О чем ты молилась? — спросил я и сразу пожалел об этом.

Она странно посмотрела на меня.

— О визе в Америку, — ответила она, и я понял, что она сказала неправду.

У меня мелькнула мысль, что она молилась об обратном; я все время чувствовал в ней пассивное сопротивление мысли об отъезде.

— Америка? — сказала она однажды ночью. — Чего тебе там надо? Чего ради бежать так далеко? В Америке появится какая-нибудь новая Америка, а в той еще другая чужбина, разве ты не видишь?

Она не желала больше ничего нового. Она ни во что не верила. Смерть, которая ее грызла, уже не хотела уйти. Она справлялась с ней, как вивисектор, который наблюдает, что произойдет, если изменить или разрушить еще один орган, потом еще один, еще одну клетку, потом еще одну. Болезнь играла с ней в чудовищный маскарад, как мы некогда, наряженные в чужие костюмы в маленьком замке. И порою на меня из глазниц пылающим взглядом смотрел то человек, который меня ненавидел, то другой, сдавшийся и обессиленный, то еще один — беспощадный, негибачаемый игрок. Иногда это была просто женщина, сломленная голодом и отчаянием, или человек, у которого не было никого, кроме меня, чтобы вернуться из мрака, и который был безмерно благодарен за это, терзаемый страхом перед уничтожением.

Явился наш соглядатай и сообщил, что полиция ушла.

— Лучше отправиться в музей, — заявил Лахман. — Там топят.

— Разве здесь есть музей? — спросила молодая художавая женщина. Ее мужа арестовали жандармы, и она вот уже шесть недель ждала его.

— Конечно

Мне вспомнился мертвый Шварц.

— Пойдем в музей? — спросил я Элен.

— Не теперь. Давай вернемся.

Я не хотел, чтобы она еще раз видела мертвую, но ее нельзя было удержать. Когда мы вернулись, привратница уже успокоилась. Наверно, она справилась о цене кольца и цепочки.

— Бедная женщина, — сказала она. — У нее теперь нет даже имени.

— Разве у нее не было документов?

— У нее был вид на жительство. Но его взяли другие, прежде чем пришла полиция. Они разыграли его на спичках, по жребию. Бумаги достались той, маленькой, с рыжими волосами.

— Ах, да, конечно, у рыжей совсем не было документов. Ну что ж, мертвая бы это одобрила.

— Хотите посмотреть на нее?

— Нет,— сказал я.

— Да,— сказала Элен.

Я пошел вместе с ней. Женщина истекла кровью. Когда мы вошли, две эмигрантки обмывали ее. Они вертели ее как белую доску. Волосы свисали до пола.

— Выйдите! — прошипела одна.

Я ушел. Элен осталась. Через некоторое время я вернулся, чтобы увести ее. Она стояла одна в маленькой комнатке в ногах у мертвой и смотрела на белое, опавшее лицо, на котором один глаз был приоткрыт.

— Пойдем же,— сказал я.

— Вот какие бывают тогда,— прошептала она.— Где ее похоронят?

— Не знаю. Там, где хоронят бедняков. Если это будет что-нибудь стоить, привратница об этом позаботится. Она уже собрала деньги.

Элен ничего не сказала. В открытое окно вливался холодный воздух.

— Когда ее будут хоронить? — спросила она.

— Завтра или послезавтра. Может быть, ее еще повезут на вскрытие.

— К чему? Разве не верят, что она сама себя убила?

— Они хотят в этом убедиться.

Вошла привратница.

— Ее увезут завтра в анатомический театр больницы. Молодые врачи учатся оперировать на трупах. Ей, конечно, все равно, а им это ничего не будет стоить. Не хотите ли кофе?

— Нет,— сказала Элен.

— А я выпью,— призналась привратница — Странно, что я так переволновалась из-за этого. Впрочем, мы все, конечно, умрем.

— Да,— сказала Элен.— Но никто в это не верит.

Ночью я проснулся. Она сидела на кровати и как будто прислушивалась.

— Ты чувствуешь запах? — спросила она.

— Что?

— От мертвой. Она пахнет. Закрой окно.

— Ничем не пахнет, Элен. Так скоро это не бывает.

— Пахнет.

— Может быть, это пахнет зелень.

Эмигранты принесли несколько лавровых ветвей и пристроили вместе со свечой возле умершей.

— Чего ради вы притащили эти ветки? Завтра ее разрежут, части бросят в ведро и будут продавать как мясные отходы для животных.

— Они их не продают, Элен. Анатомированные трупы сжигают или хоронят, — сказал я и обнял ее. Она освободилась из моих рук.

— Я не хочу, чтобы меня резали.

— Зачем же тебя резать?

— Обещай мне, — сказала она, не слушая меня.

— Я легко могу тебе это обещать.

— Закрой окно. Я опять чувствую запах.

Я встал и закрыл окно. На небе была ясная луна, и кошка опять сидела на своем месте. Она зашипела и отпрыгнула прочь, когда я задел ее створкой окна.

— Что это было? — спросила Элен позади меня.

— Кошка.

— Она тоже чувствует это, ты видишь?

Я обернулся.

— Она сидит тут каждую ночь и ждет, когда канарейка выйдет из своей клетки. Спи, Элен. Тебе просто приснилось. Из той комнаты в самом деле ничем не пахнет.

— Если это не она, значит, запах идет от меня. Перестань лгать! — сказала она вдруг резко.

— Боже мой, Элен! Ни от кого ничем не пахнет! Если чем и может пахнуть, так только чесноком снизу, из ресторана. Пожалуйста! — я взял маленький флакон одеколона — этими вещами я в то время торговал на черном рынке — и побрызгал вокруг. — Видишь! Воздух совершенно чист.

Она, все еще выпрямившись, сидела в постели.

— Ну, вот ты и признался тоже, — сказала она. — Иначе ты не взялся бы за одеколон.

— Тут не в чем признаваться. Я сделал это, чтобы только успокоить тебя.

— Я знаю, что ты так думаешь, — возразила она — Ты думаешь, что от меня идет запах. Так же, как от той, рядом. Не надо лгать! Я вижу это по твоим глазам, и вижу давно! Ты думаешь, я не замечаю, как ты меня разглядываешь, когда тебе кажется, что я не вижу! Я знаю, что вы-

ываю в тебе отвращение, я знаю это, я вижу это, я чувствую это каждый день. Я знаю, о чем ты думаешь! Ты не веришь тому, что говорят врачи! Ты думаешь о чем-то другом, тебе кажется, что ты чувствуешь запах, и я тебе противна! Почему же ты не скажешь мне об этом честно?

На мгновение я замер. Если она хочет говорить дальше, пусть скажет все. Но она замолчала. Я чувствовал, что она вся дрожит. На ней не было лица. Она сидела в кровати, бледная, подавшись вперед и опершись на руки, с громадными пылающими глазами и сильно накрашенным ртом—она теперь красила губы, даже ложась спать,— и пристально смотрела на меня, словно раненое животное, вот-вот готовое прыгнуть.

Она долго не могла успокоиться. Наконец я спустился на первый этаж к Бауму, постучал к нему и купил небольшую бутылку коньяку. Мы сидели на кровати, пили и ждали утра.

На рассвете пришли за телом. Взявшись вверх по лестнице, они громко стучали ботинками, носилки задевали стены. Были слышны шутки и смех. Часом позже явились новые жильцы.

XVII

В те дни я иногда торговал кухонными принадлежностями — жестяными терками, ножами, картофелечистками и прочей мелочью, для которой не требуется чемодана, вызывающего подозрение. Дважды я возвращался в нашу комнату раньше обычного и не заставал Элен. Я ждал ее, и каждый раз меня охватывала тревога. Привратница говорила, что за ней никто не заходит и что она сама исчезает на несколько часов. Это стало происходить все чаще.

Возвращалась она поздно вечером. С замкнутым лицом и стараясь не смотреть на меня. Я не знал, что мне делать. Молчать? Но это было бы еще хуже.

— Где ты была, Элен? — спрашивал я.

— Гуляла.

— При такой погоде?

— Да, при такой погоде. Не контролируй меня, пожалуйста.

— Я не контролирую тебя, — отвечал я, — я только боюсь, чтобы тебя не арестовала полиция.

У нее вырвался злой смех:

— Полиция меня больше не арестует.

— Хотел бы в это верить.

Она бросала на меня изучающий взгляд.

— Если ты будешь спрашивать дальше, я сейчас же уйду опять. Разве ты не понимаешь, что я не хочу, чтобы ты за мной все время следил? Дома на улице не интересуются мной. Они не испытывают ко мне никакого интереса. И люди, которые проходят мимо, равнодушны ко мне. Они меня ни о чем не спрашивают и не подсматривают за мной!

Я понимал, что она имела в виду. Там никто не знал о ее болезни. Там она не была пациенткой, она была женщиной. И она хотела оставаться женщиной. Она хотела жить. А быть пациенткой означало для нее медленную смерть.

Ночью она плакала во сне, а днем все забывала. Это были сумерки, которых она не могла вынести. словно отравленная паутина лежала на ее сердце, стиснутом страхом. Я видел, что ей все больше и больше требовалось обезболивающее. Я поговорил с Левизином, который в прошлом был врачом, а теперь промышлял гороскопами. Он сказал, что уже поздно, слишком поздно и ничем другим помочь уже нельзя. Это было то же самое, что говорил Дюбуа.

Отныне она все чаще приходила домой поздно. Она боялась, что я буду ее спрашивать. Я не стал этого делать. Однажды, когда я был дома один, принесли букет роз для нее. Я ушел, а когда вернулся, букета уже не было.

Она начала пить. Нашлись доброжелатели, которые сочли необходимым сообщить мне, что они видели ее в барах. Она там бывала не одна.

Я все ходил в американское консульство. Это была соломинка, за которую я хватался, как утопающий. В конце концов мне разрешили ждать в вестибюле. Не больше. Дни проходили, не принося ничего нового.

Потом меня все-таки сцапали. Как-то раз, в двадцати метрах от консульства, полиция вдруг перекрыла улицу. Я попытался добежать до консульства, но при этом сразу же привлек внимание. Кто достигал консульства, был спасен. Я видел, как Лахман скрылся в дверях, бросился следом и почти прорвался, но споткнулся о выставленную ногу жандарма.

— Задержать парня во что бы то ни стало,— сказал, усмехаясь, человек в штатском.— Он что-то очень торопится

Началась проверка документов. Шестерых задержали. Полицейские сняли оцепление и ушли. Нас вдруг окружили

агенты в штатском. Они оттеснили нас, погрузили в крытый грузовик и отвезли в дом на окраине, который, однако, стоял в глубине сада. Все это было похоже на идиотский кинофильм,— сказал Шварц — Но разве все девять последних лет не были одним пошлым кровавым фильмом?

— Это было гестапо? — спросил я.

Шварц кивнул.

— Теперь мне кажется просто чудом, что они не схватили меня раньше. Я знал, что Георг не перестает нас разыскивать. Улыбающийся молодой человек объявил мне об этом, забирая мои бумаги. К несчастью, со мной был и паспорт Элен, я взял его, идя в консульство.

— Вот и пожаловала наконец к нам одна из наших рыбок,— сказал молодой человек.— Скоро приплывет и другая.

Он улыбнулся и ударил меня в лицо рукой, унизанной кольцами.

— Как вы думаете, Шварц?

Я вытер кровь, которая выступила на губах от удара колен. В комнате было еще двое в штатском.

— Или, может быть, вы сообщите нам адрес сами? — спросил красавчик, улыбаясь.

— Я его не знаю,— отвечал я.— Я сам ищу мою жену. Неделю назад мы поссорились и она убежала.

— Поссорились? Как нехорошо! — Красавчик снова ударил меня по лицу.— Вот вам в наказание!

— Сделать ему встряску, шеф? — спросил один из псов, стоявших позади.

Девическое лицо красавчика расплылось в улыбке.

— Объясните ему сначала, Меллер, что такое встряска.

Меллер объяснил мне, что мне перетянут член проволокой, а потом вздернут.

— Знакомы вы с этим? Ведь вы уже раз побывали в лагере? — спросил красавчик.

Я еще не был знаком.

— Мое изобретение,— сказал он.— Впрочем, для начала мы можем сделать и проще. Вашу драгоценность мы стянем проволокой так, что в нее не просочится больше ни капли крови. Представляете, как вы будете орать через час? А для того чтобы вас успокоить, мы набьем вам ротик опилками. Не правда ли, мило?

У него были стеклянные светло-голубые глаза.

— У нас много чудесных изобретений,— продолжал он.— Знаете ли вы, например, что можно сделать, используя огонь?

Оба пса захохотали.

— Используя тонкую раскаленную проволоку,— сказал красавчик, улыбаясь,— медленно вводя ее в ухо или протягивая через нос, можно добиться многого, черный Шварц¹! Самое чудесное при этом состоит в том, что вы теперь находитесь в полном нашем распоряжении для проведения любых экспериментов.

Он с силой наступил мне на ноги. Он стоял совсем близко, и я чувствовал запах духов, исходивший от него. Я не пошевелился. Я знал, что оказывать сопротивление бесполезно. Еще хуже было изображать из себя героя. Наибольшее удовольствие моим мучителям доставила бы возможность сломить меня. Поэтому при следующем ударе тростью я со стоном упал. Это было встречено хохотом.

— Ну-ка, взбодрите его, Меллер,— сказал красавчик нежным голосом.

Меллер вынул изо рта сигарету, наклонился надо мной и прижал ее к веку. Боль была такая, словно мне сунули огня в глаз. Все трое засмеялись.

— Встань-ка, парнишечка,— сказал тот, что меня допрашивал.

Я поднялся, шатаюсь. Не успел я выпрямиться, как на меня обрушился новый удар.

— Это пока все легкие упражнения, чтобы разогреться,— сказал он.— Ведь у нас в распоряжении вся жизнь. Вся ваша жизнь, Шварц. Если вы еще будете симулировать, у нас есть для вас чудесный сюрприз. Вы сразу взлетите в воздух со всех четырех.

— Я не симулирую,— сказал я.— У меня тяжелая сердечная болезнь. Может случиться так, что в следующий раз я не встану, что бы вы ни делали.

Он повернулся к своим псам:

— У нашего деточки болит сердце. Кто бы мог подумать?

Он снова ударил меня, но я почувствовал, что мои слова произвели впечатление. Он не мог передать меня Георгу мертвым.

— Ну как, не вспомнили еще адрес? — спросил он.— Проще вам сказать это теперь, чем после, когда у вас не останется зубов.

— Я не знаю адреса. Я бы сам тоже хотел знать его.

— Парнишечка, оказывается, хочет быть героем. Простое замечательно. Жаль только, что никто, кроме нас, не видит этого.

¹ Черный (нем.).

Он бил меня ногами, пока не устал. Я лежал на полу, стараясь защитить лицо и промежность.

— Так,— сказал он наконец.— Теперь мы запрем нашего парнишку в подвал. Потом отправимся поужинать и тогда уж займемся им по-настоящему. Устроим чудесное ночное заседание.

Все это я знал. Вместе с Шиллером и Гете, которых они присвоили, это было частью культуры поклонников кулака. Я уже прошел через это в лагере в Германии. Однако теперь со мной была ампула с ядом. Меня обыскали небрежно и не нашли ее. Кроме того, внизу в брюках было зашито бритвенное лезвие, закрепленное в куске пробки. Его они тоже не нашли.

Я лежал в темноте. Странно, но в таких ситуациях отчаяние питается не сознанием того, что тебя ожидает, но мыслью о том, как глупо ты попался.

Лахман видел, что меня схватили. Он, правда, не знал, что это было гестапо, так как со стороны казалось, что тут орудовала французская полиция. Однако если самое позднее через день я не вернусь, Элен попытается разыскать меня через полицию и, наверно, узнает, в чьих руках я нахожусь. Тогда она явится сюда. Весь вопрос в том, захочет ли красавчик ждать до тех пор. Мне казалось, что он немедленно должен поставить в известность Георга. Если Георг в Марселе, то он еще вечером успеет допросить меня.

Он и был в Марселе. Элен видела именно его. Он вскоре приехал и начал меня допрашивать. Мне не хочется говорить об этом. Когда я падал в обморок, меня обливали водой. Потом меня снова отволокли в подвал. Только яд, который был у меня, дал мне силы выстоять. К счастью, у Георга не было терпения заниматься изощренными пытками, которые обещал мне красавчик. Но в своем роде он тоже был неплох.

— Ночью он пришел еще раз,— сказал Шварц.— Он сел передо мной на табуретку, широко расставив ноги,— олицетворение абсолютной силы, с которой, как нам казалось, мы давно покончили в девятнадцатом веке и которая, несмотря на это, стала вдруг символом двадцатого. Впрочем, может быть, это случилось благодаря нашему заблуждению. В тот день мне пришлось лицезреть два проявления зла: красавчика и Георга, зло-абсолют и зло-жестокость. Худшим из двух был, конечно, красавчик, если тут вообще возможны какие-то сравнения. Он мучил с наслаждением, другой же просто для того, чтобы добиться своего.

Между тем я выработал один план. Мне нужно было каким-либо образом выбраться из этого дома. Поэтому, когда Георг уселся передо мной, я сделал вид, что полностью сломлен. Я готов сказать, заявил я, если он меня пощадит. На лице у него застыла сытая, презрительная гримаса человека, который никогда не был в подобном положении и потому был уверен, что в случае чего выстоял бы, как герой. Но это не так. Такие типы выстоять не могут.

— Я знаю,— сказал я.— Я слышал, как один офицер-гестаповец орал во все горло. Он прибил себе палец, когда избивал стальной цепью человека. А тот, которого он бил, молчал.

— В ответ Георг пнул меня,— сказал Шварц.

— Ты, кажется, собираешься еще ставить какие-то условия? — спросил он.

— Я не ставлю никаких условий,— сказал я.— Но если вы отвезете Элен в Германию, она снова убежит или лишит себя жизни.

— Чепуха! — фыркнул Георг.

— Элен не очень дорожит жизнью,— сказал я.— Она знает, что больна раком и что болезнь неизлечима.

Он пристально взглянул на меня.

— Ты лжешь, падаль. У нее какая-то женская болезнь, а вовсе не рак!

— У нее рак. Это выяснилось, когда ее первый раз оперировали в Цюрихе. Уже тогда было слишком поздно. И ей об этом сказали.

— Кто?

— Человек, который ее оперировал. Она хотела знать.

— Свинья! — прорычал Георг.— Но я поймаю этого подлеца! Через год мы сделаем Швейцарию немецкой. Вот негодяй!

— Я хотел, чтобы Элен вернулась,— продолжал я.— Она отказалась. Но я думаю, что она сделала бы это, если бы я ей сказал, что мы должны разойтись.

— Смешно.

— Я мог бы это сделать так, что она возненавидела бы меня на всю жизнь,— сказал я.

Я увидел, что мысль Георга усиленно работала. Я оперся на руки и наблюдал за ним. У меня даже занял лоб, так сильно желал я навязать ему свою волю.

— Каким образом? — спросил он наконец.

— Она боится, что о ее болезни узнают и она станет возбуждать отвращение. Если только я скажу ей об этом, я для нее перестану существовать.

Георг размышлял. Мне казалось, я следовал за каждым шагом его мысли. Он понимал, что это предложение было для него самым выгодным. Даже если бы ему удалось выпытать у меня адрес Элен, она возненавидела бы его еще больше. В то же время, если бы я повел себя с ней как подлец, ее ненависть обратилась бы против меня, а он выступил бы в качестве спасителя со словами: «Разве я не говорил тебе?»

— Где она живет? — спросил он.

Я сказал ложный адрес.

— В доме полдюжины выходов через подвалы на соседние улицы. Если явится полиция, она сможет легко ускользнуть. Она не убежит, если приеду один я.

— Или я, — заявил Георг.

— Она подумает, что вы меня убили. У нее есть яд.

— Болтовня!

Я промолчал.

— А что ты хочешь за это? — спросил Георг.

— Чтобы вы меня отпустили.

По губам его скользнула усмешка. Словно зверь оскалил зубы. Я тотчас же понял, что он меня никогда не отпустит.

— Хорошо, — сказал он затем. — Ты поедешь со мной. Чтобы не выкинуть какого-нибудь трюка. Ты все скажешь ей при мне.

Я кивнул.

— Ну, давай! — Он встал. — Умойся там под краном.

— Я беру его с собой, — сказал он одному из псов, который слонялся с винтовкой по комнате.

Тот отдал честь и распахнул дверь.

— Сюда, рядом со мной, — указал мне Георг на место в машине. — Ты знаешь дорогу?

— Отсюда нет. Из Каннебьера.

Мы ехали сквозь холодную, ветреную ночь. Я надеялся — в то время, как машина замедлит ход или остановится, — вывалиться где-нибудь на дорогу. Однако Георг запер дверцу с моей стороны. Кричать же было бесполезно: никто бы не пришел на помощь человеку, если бы он вздумал кричать из немецкой автомашины. К тому же прежде чем я успел бы второй раз подать голос из лимузина с поднятыми стеклами, Георг несколькими ударами лишил бы меня сознания.

— Надеюсь, парень, что ты сказал правду,— прорычал он.— Иначе тебе придется отведать горячего.

Я сидел понурившись на своем месте и почти упал вперед, когда машина вдруг неожиданно затормозила у освещенного перекрестка.

— Не симулируй обморок, трус! — рявкнул Георг.

— Мне плохо,— сказал я и медленно выпрямился.

— Тряпка!

Я разорвал нитки на обшлаге брюк. Во время второго тормоза я нащупал лезвие. В третий раз, ударившись головой о ветровое стекло, я наконец сжал его в руке. В темноте машины все это произошло незаметно.

Шварц взглянул на меня. На лбу его блестели капли пота.

— Он никогда бы не отпустил меня,— сказал он.— Вы согласны с этим?

— Конечно, не отпустил бы.

На одном из поворотов я крикнул что было мочи: «Внимание! Слева!»

Неожиданный крик подействовал прежде, чем Георг успел что-нибудь сообразить. Его голова машинально метнулась влево, он нажал на тормоз и крепче вцепился в рулевое колесо. Я бросился на него. Лезвие в пробке было невелико, но я мгновенно полоснул им по шее и дальше, наискось, по горлу. Он бросил руль, потянулся руками к горлу, но вдруг обмяк и повалился влево. Он задел ручку, дверца распахнулась. Машину занесло в сторону, она въехала в кусты и остановилась. Георг вывалился из машины. Из горла у него хлестала кровь, он хрипел.

Я перешагнул через него, прислушался. Меня обняла звенящая тишина, в которой шум мотора, казалось мне, отдавался громом. Я выключил мотор, и тишина сменилась шорохом ветра. Наконец я понял, что то шумела у меня кровь в ушах.

Я осмотрел Георга, потом начал искать лезвие бритвы с куском пробки. Оно слабо поблескивало на подножке машины. Я схватил его и стал ждать. Может быть, он еще жив и сейчас бросится на меня. Но он только дернулся раз, другой и затих. Я отбросил лезвие, но тут же подобрал его и зарыл в землю.

Я выключил фары и прислушался. Все было тихо. До этого я ничего не решил заранее и теперь должен был действовать быстро. Чем позже меня обнаружат, тем лучше.



Я снял с Георга одежду и связал ее в узел. Тело я оттащил в кусты. Пройдет порядочно времени, прежде чем его найдут, а потом потребуется еще время для того, чтобы установить, кто он такой. Может быть, на мое счастье его просто спишут как неизвестного. Я попробовал мотор автомашины. Все было в порядке. Я дал задний ход и выехал на дорогу.

В машине я нашел карманный фонарик. На сиденье и двери была кровь, но кожа отчищалась легко. Я остановился у канавы и рубашкой Георга вымыл сиденье, дверцу и подножку. Я светил фонарем и тер до тех пор, пока не стало совершенно чисто. Потом я вымылся сам и сел в машину. Сидеть за рулем, там, где сидел Георг, было тяжело, и меня все время пробирала дрожь отвращения. Мне все время казалось, что он вот-вот из темноты набросится на меня сзади.

Я погнал машину вперед.

Я поставил машину недалеко от дома в боковом переулке. Шел дождь. Я перешел через мостовую и глубоко вздохнул. Постепенно давала знать о себе боль во всем теле. Я остановился перед витриной одного магазина, в котором была разложена рыба, и взглянул в зеркало сбоку. В его неосвещенной темно-серебристой плоскости трудно было рассмотреть что-либо, я разобрал только, что лицо у меня было в кровоподтеках и ссадинах.

Я глубоко вдыхал влажный воздух. Мне казалось невероятным, что я еще под вечер был здесь: с тех пор позади легла пропасть.

Мне удалось незаметно проскользнуть мимо привратницы. Она уже спала и только что-то пробормотала вслед. Ничего особенного в том, что я вернулся поздно, для нее не было. Я быстро прошел вверх по лестнице.

Элен не было. Я оглядел кровать и шкаф. Канарейка, разбуженная светом, принялась петь. За окном появилась кошка с горящими глазами — словно неприкаянная душа.

Я подождал, затем проскользнул по коридору к Лахману и тихо постучал.

Он тотчас же проснулся. У беглецов сон чуток.

— Это вы, — сказал он, взглянув на меня, и замолчал.

— Вы сказали что-нибудь моей жене? — спросил я.

Он покачал головой.

— Ее тут не было. И раньше часа она не возвращается.

— Слава тебе, господи!

Он посмотрел на меня, как на сумасшедшего.

— Слава тебе, господи! — повторил я. — Значит, они ее, наверно, не поймали. Она просто гуляет, как обычно.

— Просто гуляет, — повторил Лахман. — Что с вами случилось? — спросил он.

— Меня допрашивали. Я бежал.

— Полиция?

— Гестапо. Все позади. Спите.

— Гестапо знает, где вы?

— Если бы они знали, меня бы здесь не было. А утром уже не будет.

— Минуточку! — Лахман вытащил образок и маленький веночек — Вот, возьмите с собой. Чудо. Иногда помогает. Гиршу удалось с этим перебраться через границу. Люди в Пиренеях очень набожны, а эти вещи освящены самим папой.

— В самом деле?

На губах его появилась чудесная улыбка:

— Если они нас спасают, значит, на них лежит благословение самого бога. До свидания, Шварц.

Я вернулся к себе и начал упаковывать вещи. Я чувствовал себя опустошенным, но нервы были напряжены до предела. У Элен в столе я нашел пачку писем. Они были адресованы в Марсель, до востребования. Я не стал раздумывать и положил их в ее чемодан. Я нашел и вечернее платье из Парижа и уложил его тоже. Потом я уселся у таза с водой и сунул туда руки. Обожженные ногти горели. Каждый вздох тоже причинял мне боль. Я смотрел на мокрые крышки и ни о чем не думал.

Наконец я услышал ее шаги. Она появилась в дверях, как чудесное печальное видение.

— Что ты тут делаешь? — Она ничего не знала. — Что с тобой?

— Мы должны уехать, Элен, — сказал я. — Немедленно.

— Георг?

Я кивнул. Я решил, что постараюсь сказать ей как можно меньше о происшедшем.

— Что с тобой было? — испуганно спросила она и подошла ближе.

— Они меня арестовали. Мне удалось бежать. Меня будут искать.

— Мы должны уехать?
— Немедленно.
— Куда?
— В Испанию.
— Как?
— Пока в машине. Уедем как можно дальше. Ты можешь собраться?
— Да.
Я видел, что она колеблется.
— У тебя опять боли?
Она кивнула.
«Кто эта женщина у дверей? — мелькнуло вдруг у меня. — Я ей чужой. И почему?»
— У тебя есть еще ампулы?
— Немного.
— Мы раздобудем еще.
— Выйди на минуту.

Я вышел в коридор. Двери начали приоткрываться, и в щелях показались лица с глазами лемуров. Лица крошечных одноглазых Полифемов с перекошенными ртами. Вверх по лестнице, в серых длинных кальсонах, взбежал Лахман, похожий на кузнечика. Он сунул мне бутылку коньяку.

— Он вам понадобится, — шепнул он. — Да здравствует солидарность!

Я тут же сделал большой глоток.

— У меня есть деньги, — сказал я. — Вот! Дайте мне еще целую бутылку.

Я взял себе бумажник Георга. Там было много денег. Лишь на мгновение у меня появилась мысль выбросить его. Я нашел и его паспорт. Он лежал у него в кармане вместе с моим и с паспортом Элен.

Одежду Георга я связал в узел, сунул туда камень и выбросил в гавани в море. Паспорт его я тщательно изучил при свете карманного фонаря. Я поехал к Григориусу, разбудил его и попросил заменить фотографию Георга моей. Сначала он с ужасом отказался. Подделка эмигрантских паспортов стала его ремеслом, и тут он чувствовал себя богом, которого он, кстати сказать, считал ответственным за все это свинство. Однако паспорта высшего гестаповского чиновника он не видел еще никогда. Я заявил, что для него вовсе не обязательно подписывать свою работу, как это делают художники, за все отвечаю я, и никто никогда о нем не узнает.

— А если вас будут пытаться?

Я указал ему на свое лицо и руки.

— Я еду через час,— сказал я.— С таким лицом в качестве эмигранта я не проеду и десяти километров. Мне же надо перебраться через границу. Это мой единственный шанс. Вот мой паспорт. Сфотографируйте мое фото и этим снимком замените старую фотографию на гестаповском паспорте. Сколько это будет стоить? Деньги у меня есть.

Грегориус согласился.

Лахман принес вторую бутылку коньяку. Я заплатил ему и вернулся в комнату. Элен стояла у ночного столика. Ящик, в котором лежали письма, был выдвинут. Она задвинула его и подошла ко мне вплотную.

— Это сделал Георг? — спросила она.

— Там была целая компания.

— Будь он проклят! — сказала она и отошла к окну.

Кошка отпрыгнула прочь. Элен распахнула окно.

— Будь он проклят! — повторила она страстно, с такой силой, словно заклинала его в таинственном ритуале.— Будь проклят на всю жизнь, навсегда.

Я взял ее за стиснутые руки, отвел от окна.

— Нам нужно уезжать отсюда.

Мы спустились вниз по лестнице. Из каждой двери нас провожали взглядом. Чья-то серая рука поманила меня:

— Шварц! Не берите с собой рюкзак! Жандармы за ними смотрят в оба. У меня есть чемодан из искусственной кожи, вполне приличный...

— Спасибо,— ответил я.— Мне не нужен теперь чемодан. Мне нужна удача...

— Мы будем держать большой палец кверху, за вашу удачу...

Элен шла впереди. Я услышал, как у дверей какая-то промокшая до костей уличная шлюха посоветовала ей оставаться лучше дома: дождь разогнал всю клиентуру. «Это хорошо,— подумал я.— Пустынные улицы — вот что нам нужно».

Элен отшатнулась, увидев машину.

— Украдена,— сказал я.— На ней мы должны ударить подальше. Садись.

Было еще темно. Дождь потоками лил по ветровому стеклу. Если на подножке еще оставалась кровь, ее давно смыло. Я остановился поодаль от дома, где жил Грегориус.

— Постой здесь,— сказал я Элен и указал на стеклянную витрину магазина, где были разложены принадлежностями для рыбной ловли.

— Мне нельзя остаться в машине?!

— Нет. Если кто-нибудь появится, веди себя так, словно ты ловишь клиентов. Я сейчас вернусь.

У Грегориуса все было готово. Его страх сменился теперь гордостью художника.

— Самое трудное было подогнать мундир,— сказал он.— Ведь вы сняты в штатском. Тогда я просто взял и отрезал ему голову.

Он отклеил фотографию Георга, вырезал на ней голову и шею, наложил мундир на мое фото и сфотографировал таким образом.

— Обер-штурмбаннфюрер Шварц,— сказал он с гордостью.

Снимок он уже высушил и наклеил на место.

— Печать пришлось подделать,— сказал он.— Да, если паспорт начнут проверять, вы все равно пропали, даже если бы печать была настоящей. Ваш старый паспорт цел. Вот он.

Он отдал мне оба паспорта и остаток фотографии Георга. Я порвал ее на мелкие части, спускаясь по лестнице, и на улице швырнул в воду, текущую по мостовой.

Элен ждала. Еще раньше я проверил в машине горючее: бак был полон. Если все будет хорошо, бензина хватит, чтобы перебраться через границу. Мне по-прежнему везло: в машине — в ящике, возле панели управления, — лежало разрешение на переход границы. Я увидел, что им пользовались уже дважды. Я решил, что нам следует пересечь границу не в том месте, где машина была уже известна. Я нашел еще и карту, выпущенную бензиновой фирмой Мишлен, пару перчаток и автомобильный атлас дорог европейских стран.

Машина мчалась под дождем. У нас еще было время до рассвета, и мы взяли курс на Перпиньян. Я решил держаться главной магистрали, пока не станет светло.

— Давай я сяду за руль,— сказала Элен спустя некоторое время.— Посмотри на свои руки!

— Сможешь? Ведь ты не спала.

— Ты тоже не спал!

Я взглянул на нее. Она выглядела совершенно спокойно, на лице не было и тени усталости. Я не знал, что и думать.

— Хочешь глоток коньяку?

— Нет. Я буду вести машину, пока мы не раздобудем кофе.

— Лахман дал мне еще бутылку коньяку.

Я вытащил ее из пальто. Элен покачала головой, улыбнулась.

— Потом,— сказала она, и голос ее был тих и нежен.— Постарайся заснуть. Мы будем вести машину попеременно.

Она владела рулем лучше, чем я. Через некоторое время она начала тихонько напевать какую-то простенькую песенку. Меня все не покидало страшное напряжение. Теперь же, под шум мотора и еле слышное пение Элен, я начал засыпать. Я знал, что мне нужно спать, но я снова и снова просыпался. Мимо проносились серые тени. Мы включили фары, не заботясь о требованиях затемнения.

— Ты убил его? — спросила вдруг Элен.

— Да.

— Тебе пришлось сделать это?

— Да.

Машина безостановочно мчалась вперед. Я смотрел на дорогу, в голове проносились вереница мыслей. Незаметно я заснул. Когда я проснулся, дождя уже не было. Начиналось утро, ровно гудел мотор. Элен вела машину, и мне вдруг показалось, что все это был сон.

— То, что я сказал тебе, неправда,— проговорил я.

— Я знаю,— ответила она.

— Это был другой,— сказал я.

— Я знаю.

Она не взглянула на меня.

XVIII

Я хотел в последнем городишке перед границей получить для Элен испанскую визу. Перед консульством теснилась громадная толпа. Пришлось пойти на риск. Могло статься, что машину уже разыскивают. Но другой возможности у меня не было. В паспорте Георга виза была.

Я медленно подвел машину к толпе. Люди задвигались только тогда, когда рассмотрели немецкий номер. Толпа расступилась. Несколько человек бросились бежать. По аллее ненависти машина пробралась к входу. Жандарм отдал честь. Со мной этого не случилось уже давно. Я небрежно ответил и вошел в консульство. Жандарм распах-

нул передо мной дверь. Меня охватила горечь. «Надо было стать убийцей,— подумал я,— чтобы тебя приветствовали».

Я немедленно получил визу, едва только показал паспорт. Вице-консул посмотрел на мое лицо. Рук он видеть не мог, они были в перчатках.

— Следы войны и рукопашных схваток,— сказал я.

Он кивнул с полным пониманием.

— У вас тоже были годы борьбы,— сказал он.— Хайль Гитлер! Великий человек, как и наш каудильо¹.

Я вышел. Вокруг машины образовалась пустота. На заднем сиденье, забившись в угол, сидел испуганный мальчик лет двенадцати. На лице его горели огромные глаза, руки были прижаты к губам, словно удерживая крик.

— Мы должны взять его с собой,— сказала Элен.

— Почему?

— Документы кончаются у него через два дня. Если его схватят, он будет отправлен в Германию.

Только теперь я почувствовал, что весь взмок от пота. Элен посмотрела на меня. Она была спокойна.

— Мы отняли одну жизнь,— сказала она.— Одну мы должны спасти.

— У тебя есть бумаги? — спросил я мальчика.

Он молча протянул мне вид на жительство. Я взял его и вернулся в консульство. Это было нелегко. Машина, казалось мне, на тысячу голосов орала о том, что произошло под покровом ночи. Секретарю я объяснил, что совсем забыл о том, что мне требуется еще одна виза, служебная, для установления личности одного человека по ту сторону границы. Увидев бумаги, он изумился, по губам скользнула усмешка. Он прищурил один глаз и поставил визу.

Я сел в машину. Настроение вокруг стало еще враждебнее. Очевидно, люди решили, что мы хотим отвезти мальчика в лагерь.

Мы покинули город. Я надеялся, что нам все еще будет сопутствовать удача. Я сидел за рулем и чувствовал, как он с каждым часом все сильнее нагревается у меня в руках. Я боялся, что нам скоро придется расстаться с машиной. Но что нам делать в таком случае дальше, я положительно не знал. Перебираться в такую погоду по горным тропам через границу Элен не могла. Она была

¹ Титул Франко

слишком слаба. Потеря машины сразу бы лишила нас мистической защиты наших врагов. Французской выездной визы у нас не было. Пешком все сразу стало бы невероятно сложнее, чем в роскошной машине.

Мы мчались дальше. То был странный день. Прошлое и будущее, казалось, рухнули в пропасть, и мы очутились на какой-то высокой узкой грани, окруженной туманом и облаками,— словно в кабине канатной дороги. Все это я мог сравнить только со старинным китайским рисунком тушью, на котором однотонно были изображены путешественники, пробирающиеся меж горных вершин, облаков и водопадов.

Мальчик сидел, скорчившись, на заднем сиденье и почти не шевелился. В жизни своей он не научился ничему, кроме недоверия ко всем и каждому. Ни о чем другом он вспомнить не мог. Когда новоявленные носители культуры третьей империи раскрыли череп его деду, ему было три года; когда вздернули отца — семь, когда убили мать в газовой камере — девять. Типичное дитя двадцатого столетия, он каким-то образом бежал из концентрационного лагеря и один проделал путь через границу. Если бы его схватили, он был бы немедленно как беглец возвращен в лагерь и повешен. Теперь он хотел пробраться в Лиссабон. Там у него должен быть дядя-часовщик. Так ему сказала его мать накануне смерти. Тогда она благословила его и передала последние наставления.

Все шло хорошо. На французской границе никто нас не спросил о разрешении на выезд. Я бегло показал свой паспорт и сообщил данные о машине. Жандармы отдали честь, шлагбаум поднялся, и мы покинули Францию. Несколькими минутами позже машиной уже любовались испанские таможенники, расспрашивая, сколько километров в час она делает. Я ответил. Тогда они принялись судачить и восхищаться одной из последних марок их «испано-суизы». На это я заметил, что как-то у меня была «испано-суиза», и подробно расписал эмблему летящего журавля на радиаторе. Они были очарованы. Я спросил, где я могу заправить машину горючим. Они заявили, что для друзей Испании имеется специальный фонд бензина. Испанских песет у меня не было. Они тут же обменяли мои франки. С сердечными пожеланиями мы расстались.

Я откинулся на спинку сиденья. Узкая грань и облака исчезли. Перед нами лежала незнакомая страна. Страна, которая уже не походила на Европу. Мы еще не ускользнули окончательно, но между этой страной и Францией легла пропасть. Я смотрел на дороги, на людей в незнакомых нарядах, на осликов, на суровый каменистый пейзаж, и мне казалось, что мы в Африке. За Пиренеями был настоящий запад, это чувствовалось во всем. Потом я заметил, что Элен плачет.

— Ну вот, ты там, куда ты стремился,— прошептала она.

Я не знал, что она этим хотела сказать. Я все еще не мог поверить, что все обошлось так легко. Я вспомнил о вежливости, приветствиях, улыбках, которыми впервые встречали меня после многих лет, и думал о том, что я должен был убить человека, чтобы со мной опять стали обращаться, как с человеком.

— Чего ты плачешь? — спросил я. — Спасения еще нет. Испания наводнена гестаповцами. Нам нужно проехать ее как можно быстрее.

Мы спали в маленьком местечке. Собственно говоря, я хотел где-нибудь бросить машину и ехать дальше поездом, но не сделал этого. В Испании нас всюду подстерегала опасность, и я хотел побыстрее покинуть ее. Машина каким-то непонятным образом стала мрачным талисманом: ее техническое совершенство вытесняло даже ужас, который я испытывал перед ней. Она мне просто была необходима, о Георге я больше не думал. Слишком долго висел он угрозой над моей жизнью. Теперь он исчез, и я чувствовал сейчас только это.

Мне вспомнился красавчик из гестапо: он был еще жив и мог попытаться арестовать нас, отдав приказ по телефону. Обвиняемого в убийстве выдает любая страна. И мне пришлось бы еще доказывать на месте преступления, что это было лишь мерой самозащиты.

Португальской границы мы достигли на следующий день поздно ночью. Визу мы получили по дороге без всяких затруднений. На границе я оставил Элен в машине с включенным мотором. Если бы началось что-нибудь подозрительное, она должна была немедленно тронуть машину и ехать на меня. Я вскочил бы на ходу, и мы проорвались бы к португальской таможене. Вряд ли нас смогли бы задержать: пограничный пост был совсем маленький. Мы проскользнули бы прежде, чем они подняли стрель-

бу в темноте. Другой вопрос — что с нами случилось бы ватем в Португалии.

Но ничего не случилось. Было темно и ветрено. Чиновники в мундирах возвышались по бокам, как фигуры с картины Гойи. Они отдали честь, и мы проехали к португальскому посту, где нас встретили таким же образом. Когда машина уже тронулась, один из чиновников вдруг бросился нас догонять, крича, чтобы мы остановились. Я быстро оценил положение и дал тормоз: если бы мы не остановились, машину задержали бы в ближайшем населенном пункте. У нас перехватило дыхание.

Чиновник наконец подбежал к машине.

— Ваше разрешение на переход границы,— сказал он.— Вы забыли его взять. Ведь без него вы не могли бы вернуться!

— Большое спасибо!

Я услышал позади себя тяжелый вздох мальчика. Сам я на мгновение почувствовал себя невесомым — такое это было облегчение.

— Ну, вот ты и в Португалии,— сказал я ему.

Он медленно отнял от рта руки и в первый раз откинулся назад. Всю дорогу он просидел, подавшись вперед.

Деревни проносились мимо. Лаяли собаки. В сельской кузнице — в сером рассвете — ярко пылал огонь, кузнец подковывал белого жеребца. Дождь перестал. Я ждал, когда же придет наконец чувство освобождения. Его не было. Элен тихо сидела рядом со мной. Мне хотелось радоваться, но в сердце была пустота.

Из Лиссабона я позвонил в американское консульство в Марселе. Я рассказал всю историю вплоть до того момента, как появился Георг. Человек, с которым я разговаривал, сказал, что теперь, по его мнению, я в безопасности. Все, что я от него смог добиться, было обещание сообщить в консульство в Лиссабоне, если придет виза.

От машины, которая так долго охраняла нас, теперь надо было избавиться.

— Продай ее,— сказала Элен.

— Может быть, бросить ее в море?

— Это ничего не изменит,— возразила она.— Тебе нужны деньги. Продай.

Она была права. А продать оказалось очень легко. Покупатель заявил мне, что он заплатит пошлину и велит

перекрасить машину в черный цвет. Это был торговец. Я продал ему машину от имени Георга. Неделю спустя я уже увидел ее с португальским номером. Машин такой марки было в Лиссабоне несколько, и я ее узнал только по едва заметным вздутиям на левой подножке. Паспорт Георга я сжег.

Шварц поглядел на часы.

— Теперь уже осталось совсем немного. Раз в неделю я ходил в консульство. Некоторое время мы жили в гостинице. У нас еще были деньги после продажи машины, и я их тратил. Я хотел, чтобы у Элен было теперь все. Мы нашли врача, который помог достать нужное лекарство. Мы ходили с ней даже в казино, для этой цели я брал напрокат в одном заведении смокинг. У Элен сохранилось еще то платье из Парижа. Я купил ей пару золотистых туфель. Прежние я забыл в Марселе. Вы бывали в казино?

— К сожалению, да,— сказал я.— Я был там вчера вечером. То была ошибка.

— Я хотел, чтобы она приняла участие в игре,— сказал Шварц.— И она выигрывала. Непонятное продолжалось. Она не глядя бросала фишки на поле, и ее номера выигрывали.

В этот последний период почти исчезла реальность. Казалось, будто вернулась опять та пора в маленьком замке. Мы уже почти не притворялись, но тут у меня впервые появилось чувство, что она наконец полностью принадлежит мне. И в то же время с каждым днем она все больше ускользала от меня к своему самому неумолимому любовнику. Она еще не сдалась, но уже не боролась.

Были долгие, мучительные ночи, когда она плакала, но вслед за тем вновь наступали сладостные, почти неземные минуты, в которых отчаяние, мудрость и любовь, уже не ограниченная телесной оболочкой, возвышались вдруг до неслышанной силы, и я не смел пошевелиться, поглощенный ими.

— Мой любимый,— сказала она мне однажды ночью, и то был единственный раз, когда она заговорила об этом,— благословенной страны, которой ты жаждешь, мы никогда не достигнем вместе.

Под вечер я отвез ее к доктору. Теперь вдруг, мгновенно, как удар молнии, я почувствовал яростный протест, который почти лишил меня рассудка. Я не мог, не в силах был удержать то, что я любил.

— Элен,— сказал я сдавленным голосом,— что же, наконец, это?

Она не ответила.

Потом покачала головой, улыбнулась!

— Мы сделали все что могли. И это не так уж мало.

Потом наступил день, когда в консульстве мне сказали, что невероятное совершилось: для нас поступили две визы. Хмельное настроение случайного знакомства сделало то, чего мы не могли добиться, несмотря на мольбы, несмотря на всю нашу нужду! Я засмеялся. Это была истерика. Впрочем, если умеешь смеяться, в нынешнем мире можно найти много смешного. Как вы думаете?

— В конце концов смеяться перестаешь.

— Самое замечательное, что мы немало смеялись в последние дни,— сказал Шварц.— Мы были в гавани, куда не попадали ветры. Так, по крайней мере, казалось. Горечь ушла, не было уже и слез, а печаль стала такой прозрачной, что ее порой нельзя было отличить от иронически-тоскливого оживления. Мы переехали в маленькую квартиру. С совершенно непонятым ослеплением я по-прежнему преследовал одну и ту же цель: уехать в Америку. Пароходов долго не было, пока наконец не появился один. Я продал последний рисунок Дега и купил два билета. Я был счастлив. Я думал— мы спасены. Несмотря ни на что! Вопреки всем врачам! Должно же было произойти еще одно чудо!

Отплытие отложили на несколько дней. Позавчера я снова пошел в контору пароходства. Мне сказали, что корабль отойдет сегодня. Я объявил об этом Элен и вышел из дому, чтобы еще кое-что купить. Когда я вернулся, она была мертва.

Все зеркала в комнате были разбиты. Ее вечернее платье валялось разорванное на полу. Она лежала тут же — не в кровати, а на полу.

Сначала мне пришло в голову, что ее убили во время грабежа. Потом я подумал, что это дело рук агентов гестапо. Но ведь они искали меня, а не ее. Когда же я увидел, что ничего, кроме платья и зеркал, не повреждено, то все понял. Я вспомнил про ампулу с ядом, которую дал ей, она говорила мне, что потеряла ее. Я стоял и смотрел на нее, потом бросился искать хоть какое-нибудь письмо. Его не было. Не было ничего. Она ушла без единого слова. Вы понимаете это?

— Да,— сказал я.

— Вы понимаете?

— Да,— повторил я.— Что же она еще должна была написать вам?

— Что-нибудь. Почему? Или...

Он замолчал.

Наверно, он думал о последних словах, о последних любовных клятвах, о том, что он мог бы взять с собой в свое одиночество.

Он сумел расстаться с многими предрассудками, только, видимо, не с этим.

— Она никогда не смогла бы остановиться, если бы начала писать вам,— сказал я.— Тем, что она вам ничего не написала, она сказала вам больше любых слов.

Он помолчал, видимо, раздумывая над этим.

— Видели вы объявление в бюро путешествий? — прошептал он наконец.— Отплытие отложено на один день. Может быть, она прожила бы еще один день, если бы знала?

— Нет.

— Она не хотела ехать со мной, потому она и сделала это.

Я покачал головой.

— Она больше не могла вынести боли, господин Шварц,— сказала я осторожно.

— Не думаю,— возразил он.— Почему она сделала это именно за день до отъезда? Или она думала, что ее как больную не впустят в Америку?

— Почему вы не хотите предоставить умирающему человеку самому решить, когда жизнь для него становится невыносимой? — сказал я.— Это минимум, что от нас требуется.

Он смотрел на меня и молчал.

— Она держалась до последнего,— продолжал я.— Ради вас. Неужели вы этого не видите? Только ради вас. Когда она поняла, что вы спасены, она ушла.

— А если бы я не был таким слепым? Если бы я не стремился в Америку?

— Господин Шварц,— сказал я,— все это не остановило бы болезнь.

Он сделал какое-то странное движение головой.

— Она ушла,— прошептал он,— и вдруг стало так, словно ее никогда не было. Я видел ее. Там нет ответа. Что я сделал? Убил ли я ее, или я сделал ее счастливой? Любила ли она меня, или я был для нее только костылем, на который она опиралась, если это ей подходило? Ответа нет.

— А вам он обязательно нужен?

— Нет,— сказал он вдруг тихо.— Простите. Наверно, нет.

— Его и нет. И никогда не будет иного ответа, чем тот, который вы даете сами себе.

— Я рассказал вам все, потому что я хотел знать,— прошептал он.— Что это было? Пустое, бессмысленное бытие, жизнь бесполезного человека, рогоносца и убийцы...

— Этого я не знаю,— сказал я.— Но если хотите, это в то же время была жизнь человека, который любил, и, если это вам так важно, в некотором смысле— это была жизнь святого. Но что значат теперь все слова? Это было. Разве этого не достаточно?

— Это было. Но есть ли оно еще?

— Оно есть, пока существуете вы.

— Только мы его еще и удерживаем,— прошептал Шварц.— Вы и я. Больше никто.— Он уставился на меня.— Не забывайте этого! Должен же кто-то его удержать! Оно не должно исчезнуть! Нас только двое. Во мне оно не удержится. А умереть оно не должно. Оно должно жить дальше. Внутри вас.

Хоть я и скептик, при этих словах меня охватило странное чувство.

Чего хотел этот человек? Вместе со своим паспортом передать мне свое прошлое? Может быть, он уже решил умереть?

— Почему это умрет в вас? — спросил я.— Вы должны жить, господин Шварц.

— Я не лишу себя жизни,— спокойно ответил Шварц.— Нет. С тех пор как я увидел красавчика, я решил, что не смею убивать себя, пока он жив. Но моя память неизбежно попытается разрушить воспоминание. Она будет перемалывать его, урезать, искажать, пока не приспособит к дальнейшему существованию, чтобы воспоминание перестало быть опасным. Уже через несколько недель я не смог бы рассказать вам то, что рассказал сегодня. Потому-то я и хотел, чтобы вы выслушали меня. В вас оно останется нетронутым, потому что оно не опасно для вас. А где-нибудь оно должно остаться! — сказал он вдруг с отчаянием.— В ком-нибудь! Таким, каким оно было. Пусть даже недолго!

Он вынул из кармана два паспорта и положил передо мной.

— Здесь и паспорт Элен. Билеты вы уже взяли. Теперь у вас есть и американская виза. На двоих.

Он слабо усмехнулся и замолчал.

Я не отрываясь смотрел на паспорта.

— Они в самом деле больше вам не нужны? — спросил я с усилием.

— Дайте мне взамен этих свой, — сказал он. — Он мне понадобится на один-два дня. Чтобы только добраться до границы.

Я посмотрел на него.

— В иностранном легионе, — пояснил он, — не спрашивают о паспортах, как вы знаете. Эмигрантов там принимают. И пока еще есть на свете такие люди, как тот красавчик нацист, было бы преступлением самому лишать себя жизни, которую можно отдать борьбе против этих варваров.

Я вынул из кармана свой паспорт и отдал ему.

— Спасибо, — сказал я. — От всего сердца спасибо, господин Шварц.

— Там есть остатки денег. А мне их нужно совсем мало. — Шварц взглянул на часы. — Хотите еще немного помочь мне? Ее выносят через полчаса. Пойдете со мной?

— Да.

Шварц расплатился.

Мы вышли в шумное утро.

На поверхности Тахо лежал корабль, белый и тревожный.

Я стоял в комнате возле Шварца. На стенах висели еще разбитые зеркала. Осколков уже не было, остались одни пустые рамы.

— Может быть, мне надо было остаться с нею в эту последнюю ночь? — спросил Шварц.

— Вы были с ней.

Женщина в гробу была похожа на всех усопших — то же бесконечно отсутствующее выражение лица. Ничто более здесь не занимало ее — ни Шварц, ни я, ни она сама. Нельзя было даже вообразить себе, как она выглядела на самом деле.

То, что лежало там, было статуей. И лишь один Шварц знал, какую она была тогда, когда еще дышала. Но Шварц думал, что это знаю теперь и я.

— У нее были еще, — сказал он, — там были...

Он достал из ящика стола несколько писем.

— Я их не читал,— сказал он.— Возьмите их.

Я взял письма и хотел положить их в гроб. Потом передумал. Мертвая наконец-то теперь принадлежала одному Шварцу. Так он думал. Письма другого не имели уже к ней никакого отношения.

Он не хотел хоронить их вместе с ней и в то же время не мог их уничтожить, ведь они все-таки были адресованы ей.

— Я возьму их,— сказал я и сунул письма в карман.— Они не имеют никакого значения. Меньше, чем разменная монета, на которую покупают тарелку супа.

— Костыли,— заметил он.— Я знаю. Она их однажды назвала костылями, которые нужны были ей, чтобы снова быть верной мне. Вы понимаете? Это абсурд...

— Нет. Это не абсурд,— сказал я и добавил затем очень осторожно, со всем состраданием, на которое только был способен: — Почему вы не оставите ее наконец в покое? Она любила вас и оставалась с вами до тех пор, пока могла.

Он кивнул. Он показался мне вдруг совершенно сломленным.

— Вот это я и хотел знать,— пробормотал он.

В комнате становилось жарко. Жужжали мухи. Погашенные свечи чадили. Там было солнце, здесь — мертвая. Шварц поймал мой взгляд.

— Мне помогла одна женщина,— сказал он.— В чужой стране все это так сложно. Врач. Полиция. Ее увозили, а вчера вечером привезли опять. Ее обследовали. Насчет причины смерти.— Он беспомощно посмотрел на меня.— Ее... Она не вся здесь... Мне сказали, я не должен раскрывать ее...

Пришли носильщики. Гроб забили. Шварц еле держался на ногах.

— Я поеду с вами,— сказал я.

Это было недалеко. Утро сияло, дул ветер, проносились облака, словно стая овчарок гналась по небу за стадом овец.

Шварц — маленький и одинокий — стоял под огромным небом на кладбище.

— Хотите вернуться в свою квартиру? — спросил я.

— Нет.

У него уже был с собой чемодан.

— Знаете ли вы здесь кого-нибудь, кто может подправить паспорт? — спросил я.

— Грегориус. Он уже неделю здесь.

Мы отправились к Грегориусу. Он быстро справился с паспортом для Шварца. Здесь не требовалось особой тщательности. У Шварца уже было с собой удостоверение вербовочного пункта иностранного легиона. Ему надо было только пересечь границу, а затем в казарме выбросить мой паспорт. Иностраннный легион не интересовался прошлым.

— Куда девался мальчик, которого вы привезли с собой? — спросил я.

— Дядя ненавидит его, но мальчишка счастлив, что по крайней мере его ненавидит кто-то из его семьи, а не посторонний.

Я посмотрел на человека, который теперь носил мое имя.

— Желаю вам всего хорошего, — сказал я, избегая называть его Шварцем.

Мне не пришло в голову ничего другого, кроме этой банальной фразы.

— Мы никогда больше не увидимся, — ответил он. — И это к лучшему. Я рассказал вам слишком много для того, чтобы хотеть вас видеть.

Я не был в этом уверен. Могло стать так, что он позже именно поэтому захочет меня увидеть. По его мнению, я был единственный человек, в котором сохранился незамутненный облик его судьбы. Но, может быть, именно из-за этого он возненавидит меня, потому что в дальнейшем ему покажется, будто я похитил у него его жену — и на этот раз уже навсегда, невозвратно, — ведь он же был убежден, что его собственное воспоминание обманывает его и только мое остается ясным.

Я смотрел, как он шел по улице, держа в руке чемодан, — печальная фигура, вечный символ роконосца и самоотверженно любящей души. Но разве не владел он человеком, которого он любил, глубже и полнее, чем вереница победителей-идиотов? И чем мы владеем на самом деле? К чему столько шума о предметах, которые в лучшем случае даны нам только на время? К чему столько болтовни о том, владеем мы ими больше или меньше, тогда как обманчивое это слово «владеть» означает лишь одно: обнимать воздух?

Фотография моей жены для паспорта была со мной — тогда все время требовались фотокарточки для всяких документов. Грегориус тут же приступил к работе. Я не отходил от него. Я не спускал глаз с обоих паспортов.

В полдень они были готовы. Я бросился в труппы, где мы жили.

Рут сидела у окна и смотрела на детей рыбаков, игравших во дворе.

— Все пропало? — спросила она, когда я появился в дверях.

Я подал паспорта.

— Завтра едем! Теперь у нас будут новые имена, у каждого свое, и в Америке нам придется жениться еще раз.

В то время я почти не думал о том, что у меня паспорт человека, которого, может быть, разыскивают по обвинению в убийстве. На следующий день вечером мы уехали и без особых приключений достигли Америки. Правда, паспорта людей, которые так любили друг друга, не принесли нам счастья: через полгода Рут развелась со мной. Чтобы узаконить это, нам пришлось сначала вновь вступить в брак.

Позже Рут вышла замуж за молодого богатого американца, который когда-то поручился за Шварца. Ему казалось все это ужасно смешным, он был свидетелем во время нашего второго бракосочетания. Неделью спустя мы развелись в Мексико.

Войну я пережил в Америке. Странно — я начал интересоваться живописью, на которую раньше почти не обращал внимания, словно ко мне это перешло по наследству от далекого мертвого пра-Шварца. Я часто думал и о другом Шварце, который, наверно, был еще жив. Оба они сливались в какое-то неясное облако, которое иногда как бы окружало меня и оказывало на меня влияние, хотя я прекрасно знал, что все это чепуха. В конце концов я получил место в компании, торгующей предметами искусства, и в комнате у меня появились копии рисунков Дега, к которым я был очень неравнодушен.

Еще я часто думал об Элен, которую видел только мертвой. Одно время я даже мечтал о ней, когда жил один. Письма, которые мне отдал Шварц, я в первую же ночь, едва корабль отчалил от берега, бросил в море не читая. При этом в одном из них я почувствовал что-то твердое, похожее на камень. Я вынул его в темноте из конверта и потом уже рассмотрел, что это был кусок янтаря, в котором находилась красивая мушка; она попала туда тысячи лет назад и превратилась в камень. Я взял ее себе и сохранил — крошечную мушку, застывшую в мгновение смертельной борьбы в клетке из золотых слез, которая сохранила ее, в то время как другие, ей подобные, были съедены, замерзли и исчезли без следа.

После войны я вернулся в Европу. Пришлось преодолеть некоторые трудности, чтобы установить свою личность, ибо в то время в Германии сотни представителей расы господ стремились к обратному. Оба паспорта, полученные от Шварца, я отдал случайному знакомому из числа перемещенных лиц.

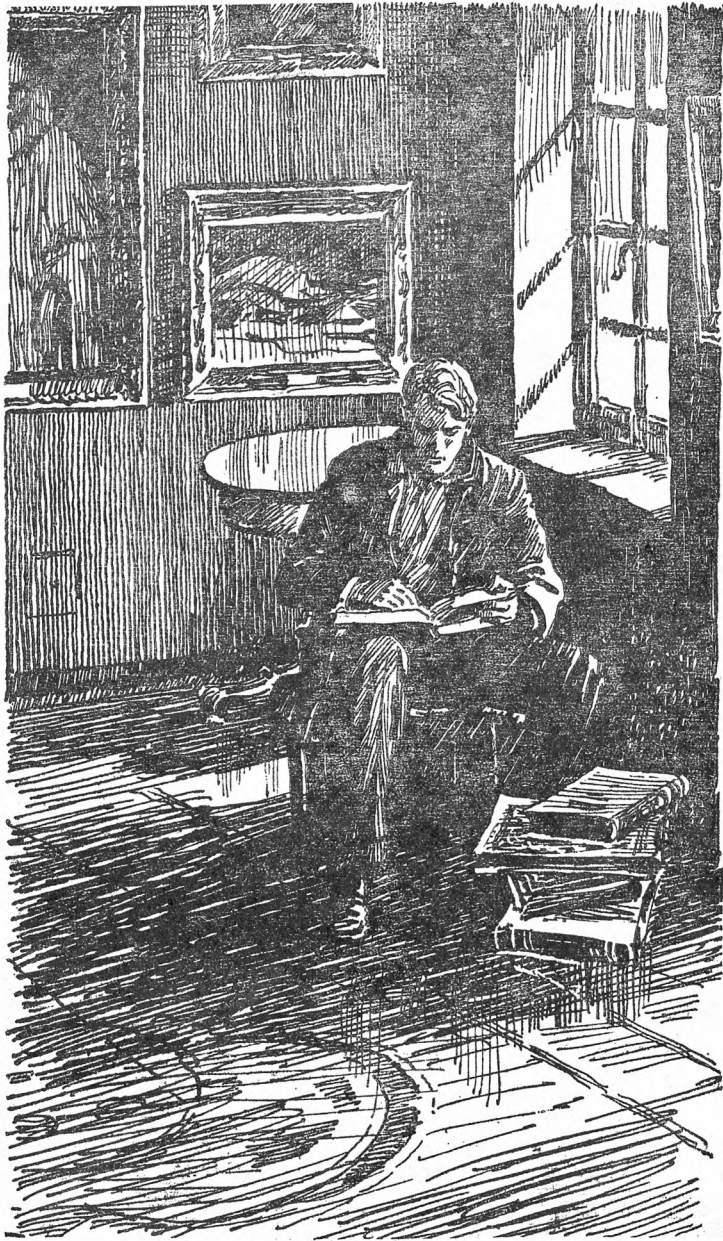
Тогда по Европе металось много людей, лишенных родины.

Один бог знает, где находился в то время сам Шварц. Я никогда более не слышал о нем. Однажды я даже ездил в Оснабрюк и справлялся о нем, хотя забыл его настоящее имя. Но город был совершенно опустошен; об этом человеке никто ничего не знал и не интересовался им. По дороге обратно на вокзал мне показалось, что я увидел его. Я догнал его, но это оказался женатый секретарь из почтового управления, который объяснил мне, что его зовут Янсен и что у него трое детей.

ТЕНИ В РАЮ



Перевод Л. Черной и В. Котелкина



ПРОЛОГ

В конце войны судьба забросила меня в Нью-Йорк. Пятьдесят седьмая улица и ее окрестности стали для меня, изгнанника, с трудом объяснявшегося на языке этой страны, почти что второй родиной.

Позади расстился долгий, полный опасностей путь — *via dolorosa*¹ всех тех, кто бежал от гитлеровцев. Крестный путь этот шел из Голландии через Бельгию и Северную Францию в Париж, а потом разветвлялся: одна дорога вела через Лион на побережье Средиземного моря, другая — через Бордо и Пиренеи в Испанию и Португалию, в лиссабонский порт.

Я прошел этот путь подобно многим другим, спасавшимся от гестапо. И в тех странах, через которые он пролегал, мы не чувствовали себя в безопасности, ибо только очень немногие из нас имели подлинное удостоверение личности, подлинную визу. Стоило попасть в руки жандармов, и нас сажали за решетку, приговаривали к тюремному заключению, к высылке. Впрочем, в некоторых странах еще сохранилось подобие человечности — нас по крайней мере не выдворяли в Германию на верную гибель в концлагерях.

Только немногим беженцам удалось раздобыть настоящие паспорта, поэтому бегство наше было нескончаемым. К тому же без документов мы нигде не могли работать легально. Большинство из нас были голодные, жалкие и одинокие. Вот почему мы и назвали путь наших странствий *via dolorosa*.

Вокзалами нам служили почтамты в маленьких городишках и побеленные ограды на шоссе. В почтовых отде-

¹ Скорбный путь (*исп.*).

лениях нас могло ждать письмо, посланное до востребования родными и близкими, а заборы заменяли доски объявлений. Мелом и углем на них были выведены фамилии тех, кто потерялся, и тех, кто разыскивал друг друга, адреса, предостережения, указания. Призывы, брошенные в пустоту, да к тому же в годы тотального безразличия, вслед за которыми настала эпоха полной бесчеловечности — война, когда и гестапо, и полиция, а нередко и жандармы делали общее дело: охотились за нами, изгоями.

I

Несколько месяцев назад я прибыл на грузовом пароходе из Лиссабона в Америку, по-английски говорил с грехом пополам; казалось, меня, полунемого и полуглохого, высадили на другую планету. Да это и была другая планета. Ведь в Европе шла война.

К тому же документы у меня были не в порядке, хотя буквально чудом я стал обладателем настоящей американской визы, дававшей мне право на въезд. Но паспорт мой был на чужую фамилию. Иммиграционные власти отнеслись ко мне с недоверием и засадили на Эллис-Айленд. И лишь шесть недель спустя мне выдали временное удостоверение на три месяца. За этот срок я должен был обеспечить себе разрешение на въезд в какую-нибудь другую страну.

Знакомая картина. В Европе я жил долгие годы точно так же, и передышки длились иногда не месяцы, а дни. Эмигрировав из Германии в тридцать третьем, я официально стал политическим мертвецом. А теперь мне целых три месяца не надо было бежать. Непостижимое счастье!

Уж давно я перестал удивляться тому, что ношу чужое имя и живу по паспорту умершего. Напротив, это казалось в порядке вещей. Паспорт я получил в наследство во Франкфурте. Фамилия человека, подарившего мне его в день своей смерти, была Росс. Таким образом, и я теперь звался Роберт Росс. Свою настоящую фамилию я почти забыл. Люди многое забывают, когда речь идет о жизни и смерти.

На Эллис-Айленде я встретил турка, который лет десять назад уже приезжал в Америку. Не знаю, по какой причине ему сейчас не разрешили въезд в Штаты. Спрашивать не имело смысла. На моей памяти не раз случалось, что людей высылали только из-за того, что они не подходили ни под одну рубрику инструкции.

Турок дал мне адрес одного русского в Нью-Йорке, с которым он был знаком в давние времена. К сожалению, он не знал, жив ли этот человек. Но когда меня выпустили, я сразу отправился к нему. Поступок мой был вполне объясним. Я жил так уже годы. Людям, вынужденным постоянно быть в бегах, не оставалось ничего другого, как рассчитывать на случай. Чем невероятней был случай, тем естественнее он казался. И в наши дни обыденность иногда походит на сказку. Не очень-то веселую сказку, но как ни удивительно, конец у нее часто оказывается куда более счастливым, чем можно было ожидать.

Русский работал в маленькой обшарпанной гостинице недалеко от Бродвея. Он назвался Меликовым, говорил по-немецки и сразу же принял во мне участие. Он-то знал, что мне всего нужнее: пристанище и работа. Пристанище нашлось без труда: у русского оказалась лишняя койка, и он поставил ее к себе в комнату. Но работать с туристской визой было запрещено. Тут требовались другие бумаги — разрешение на въезд с номером иммиграционной квоты. Значит, работать я мог только нелегально. Так же было и в Европе, и я не очень сокрушался. Кроме того, у меня еще оставалось немного денег.

— А на что вы будете жить? Об этом вы подумали? — спросил Меликов.

— Во Франции я под конец работал торговым агентом, продавал сомнительные картины и подделки под старину.

— Вы что-нибудь в этом смыслите?

— Не слишком, но кое-что усвоил.

— Где?

— Я два года провел в Брюссельском музее.

— Работали там? — с удивлением спросил Меликов.

— Нет. Скрывался, — ответил я.

— От немцев?

— От немцев, которые оккупировали Бельгию.

— Два года? — снова удивился Меликов. — И вас так и не нашли?

— Нет. Нашли того человека, который меня прятал.

Меликов взглянул на меня.

— Вы успели удрать?

— Да.

— А что случилось с тем человеком?

— То, что обычно случалось. Его отправили в концлагерь.

— Он был немец?

— Бельгиец. Директор музея.

Меликов кивнул.

— Каким образом вам удалось так долго скрываться? — спросил он, помолчав немного. — Разве в музее не было посетителей?

— Конечно, были. Днем я сидел взаперти в подвале, где находился запасник. Вечером являлся директор, приносил еду и на ночь выпускал меня из моего убежища. Из здания музея я не выходил, но мог выбираться из подвала. Свет, разумеется, нельзя было зажигать.

— А служащие музея что-нибудь знали?

— Нет. В запаснике не было окон. А когда кто-нибудь спускался в подвал, я сидел не шевелясь. Больше всего боялся чихнуть не вовремя.

— Вас из-за этого и обнаружили?

— Да нет. Кто-то обратил внимание, что директор либо чересчур часто засиживается в музее, либо возвращается туда по вечерам.

— Понятно, — сказал Меликов. — А читать вы могли?

— Только в летние ночи или при лунном свете.

— Но ночью вам разрешалось гулять по музею и рассматривать картины?

— Да, пока они были видны.

Меликов улыбнулся и неожиданно спросил:

— Хотите есть?

— Да, — сказал я. — И даже очень.

— Так я и думал. Стоит человеку очутиться на свободе — и у него появляется волчий аппетит. Поедим в аптеке.

— В аптеке?

— Да, в drugstore. Это одна из особенностей Штатов. В аптеке покупают аспирин и вакусывают.

— Чем вы занимались целый день в музее, чтобы не сойти с ума? — спросил Меликов.

Я окинул взглядом аптеку; у длинной стойки люди торопливо жевали, глядя на рекламные плакаты и бутылки с лекарствами.

— А что мы тут будем есть? — спросил я в свою очередь.

— Котлеты. Это блюдо да еще венские сосиски — основная пища американцев. Бифштексы не по карману простому люду.

— Чем я занимался в музее? Ждал вечера. И, конечно, по возможности избегал думать об опасности, которая мне угрожала. Иначе я бы очень скоро свихнулся. Впрочем, у меня была опыт — уже несколько лет, как я скрывался. Один год даже в самой Германии. Вот я и не позволял себе думать, что допустил хоть какую-нибудь оплошность. Рас-

каяние разъедает душу сильнее, чем соляная кислота. Это занятие для спокойных эпох. Ну, а потом я без конца занимался французским, сам себе давал уроки французского. Позже я стал ночами бродить по залам музея, рассматривать картины, запоминать их. Скоро я уже знал все полотно. И сидя днем в крошечной тьме, мысленно восстанавливал их в памяти. Я представлял их себе, следуя определенной системе, по порядку, иной раз на одну какую-нибудь картину тратил много дней. Порою на меня нападало отчаяние, но потом я начинал все сызнова. Если бы я просто любовался картинами, то, наверное, пропал бы. Но я придумал себе своего рода упражнение для памяти и благодаря этому все время совершенствовался. Теперь я уже не бился головой об стенку, я как бы поднимался вверх, ступенька за ступенькой. Понимаете?

— Да, вы не давали себе покоя,— сказал Меликов.— И у вас была цель. Это спасает.

— Одно лето я не расставался с Сезанном и с несколькими картинами Дега. Разумеется, это были воображаемые картины, и только в воображении я мог их оценить. Но все же я оценивал их. То был своего рода вызов судьбе. Я заучивал наизусть цвета и композицию, хотя никогда не видел ни одного цвета днем. Это был лунный Сезанн и ночной Дега. И я запоминал и сопоставлял эти картины в их сумеречном воплощении. Позже я нашел в библиотеке книги по искусству. И, присев под подоконником, усердно изучал их. Призрачный мир, но все же это был мир.

— Разве музей не охранялся?

— Только в дневные часы. Вечером его просто запирали. На мое счастье.

— И на несчастье человека, который носил вам еду.

— На несчастье человека, который прятал меня,— сказал я спокойно, взглянув на Меликова. Я понимал, что за его словами ничего не кроется, он не хотел меня обидеть. Просто констатировал факт.

— Не надейтесь стать нелегальным мойщиком тарелок,— сказал Меликов.— Это романтические бредни! Да и с тех пор, как существуют профсоюзы, такая возможность отпала. Сколько времени вы можете продержаться и не умереть с голоду?

— Совсем недолго... Сколько стоит этот завтрак?

— Полтора доллара. С начала войны здесь все дорожает.

— Войны? — сказал я.— Какая здесь война?

— Война идет! — возразил Меликов.— И опять-таки

на ваше счастье. Требуются люди. Безработицы пока нет. Вам легче будет устроиться.

— Через два месяца мне снова придется удирать.

Меликов рассмеялся, зажмурив маленькие глазки.

— Америка — огромная страна. И война идет. На ваше счастье. Где вы родились?

— Согласно паспорту — в Гамбурге, на самом деле — в Ганновере.

— Ни в том, ни в другом случае это вам не грозит высылкой. Но вы можете угодить в лагерь для интернированных.

— В одном таком лагере я уже побывал. Во Франции, — сказал я, пожав плечами.

— Бежали?

— Скорее, просто ушел. После поражения, когда началась всеобщая неразбериха.

Меликов кивнул.

— Я тоже жил во Франции, когда началась всеобщая неразбериха в восемнадцатом году... Но только после победы — как оказалось, впрочем, весьма призрачной. Не выпить ли нам сейчас водки?

— Я привык с опаской относиться к алкоголю, — ответил я. — Несколько раз я из-за него переоценивал свои силы. И дважды это привело к весьма плачевным результатам... к тюремной камере, кишевшей насекомыми.

— В Испании?

— В Северной Америке.

— И все же давайте рискнем в третий раз. Тюремные камеры здесь чистые. Водка у меня в гостинице, тут вам не подадут ни капли... А вы романтик? — спросил он немного погодя.

— Для меня это — непозволительная роскошь. Полиция хватает романтиков чаще, чем всех прочих.

— Насчет полиции можете несколько месяцев не беспокоиться.

— Да, верно. Трудно сразу привыкнуть к этому.

Мы пошли к Меликову в гостиницу, но скоро мне стало там невмоготу. Я не хотел пить, не хотел сидеть среди потертого плюша, а комната у Меликова была совсем маленькая. Меня тянуло еще раз выйти на улицу, слишком долго я просидел взаперти. Даже Эллис-Айленд был тюрьмой — пусть сравнительно благоустроенной, но все же тюрьмой. Замечание Меликова о том, что в ближайшие два месяца можно не бояться полиции, не выходило у меня из головы. Два месяца — поразительно долгий срок!

— Сколько я еще могу гулять? — спросил я.

— Сколько хотите.

— Когда вы ложитесь спать?

Меликов небрежно махнул рукой.

— Не раньше утра. У меня сейчас самая работа. Желаете найти себе женщину? В Нью-Йорке это не так просто, как в Париже. И довольно рискованно.

— Нет. Я просто хочу побродить по городу.

— Женщину легче найти здесь, в гостинице.

— Мне она не нужна.

— Женщина нужна всегда.

— Только не сегодня.

— Стало быть, вы все же романтик, — сказал Меликов. — Запомните номер улицы и название гостиницы. Гостиница «Ройбен». В Нью-Йорке легко найти дорогу: почти все улицы пронумерованы, только немногие имеют название.

Совсем как я. И я стал номером, который носит случайное имя, мелькнуло у меня в голове. Какая успокоительная безымянность; имена приносили мне слишком много неприятностей.

Я бесцельно шел по этому безымянному городу. Грязные испарения его поднимались к небу. Ночью это был мрачный огненный столп, днем — белесый, как облако. Похоже, что именно так господь бог указывал в пустыне дорогу первому племени изгнанников, первым эмигрантам. Я шел сквозь бурю слов, шума, смеха, криков, которые глухо бились о мои барабанные перепонки, я слышал гул, не улавливая его смысла. После погруженной во мрак Европы люди казались мне Прометейями — вот потный детина в сполохах электрического света протягивает из дверей магазина руку, увешанную полотенцами и носками, умоляя прохожих купить его товар; вот повар жарит пиццу на огромной сковородке, а вокруг него так и летают искры, будто он не человек, а некое древнее божество. Я не понимал чужую речь, потому от меня ускользал и почти символический смысл пантомимы. Мне казалось, будто все происходит на сцене и передо мной не повара, не зазывалы, не продавцы, а марионетки, которые разыгрывают неведомую пьесу; я один в ней не участвую и угадываю лишь общий ее смысл. Я был в толпе и в то же время чувствовал себя чужим, неприкаянным, отрезанным от людей; нас разделяла не стеклянная стена, не расстояние, не вражда и не от-

чужденность, а что-то незримое. Это «что-то» касалось меня одного и коренилось во мне самом. Смутно я понимал: мгновение это неповторимо, оно никогда не вернется — уже завтра острота чувств притупится. И не потому, что окружающее станет мне ближе, — как раз наоборот. Возможно, уже завтра я начну борьбу за существование — буду ползать на брюхе, идти на компромиссы, фальшивить, нагромождавая горы той полулжи, из которой и состоят наши будни. Но сегодня ночью город еще являл мне свое неразгаданное лицо.

И вдруг я понял: добравшись до чужих берегов, я отнюдь не избежал опасности, — напротив: именно сейчас она угрожала мне с особой силой. Угрожала не извне, а изнутри. Очень долго я думал только о том, чтобы сохранить себе жизнь. В этом и заключалось мое спасение. То был примитивный инстинкт самосохранения, инстинкт, который возникает на тонущем корабле, когда начинается паника и у человека одна цель — остаться в живых.

Но уже скоро, с завтрашнего дня, а может, даже с этой диковинной ночи, действительность раскроется передо мной по-новому, и у меня опять появится будущее, а стало быть, и прошлое. Прошлое, которое убивает, если не сумеешь его забыть или зачеркнуть. Я понял внезапно, что та корка льда, которая успела образоваться, еще долгое время будет слишком тонкой, ходить по ней опасно. Лед провалится. И этого надо избежать. Смогу ли я начать жизнь во второй раз? Начать сначала — познать то, что простирается передо мной, так же, как я познаю этот чужой язык? Смогу ли я начать снова? И не будет ли это предательством, двойным предательством по отношению к мертвым, к людям, которые были мне дороги?

Я быстро повернулся и пошел назад, смущенный и глубоко взволнованный. Теперь я уже не глазел по сторонам. А когда увидел перед собой гостиницу, у меня вдруг радостно забилося сердце. Другие гостиницы лезли вширь и вверх, стараясь быть позаметней, а эта была тихой и незаметной.

Я вошел в вестибюль, уродливо отделанный «под мрамор», и увидел Меликова, дремавшего в качалке позади стойки. Он открыл глаза, и мне на секунду показалось, что у него нет век, как у старого попугая. Потом его глаза поголубели и посветлели.

— Вы играете в шахматы? — спросил он вставая.

— Как все эмигранты.

— Хорошо. Пойду принесу водку.

Он пошел наверх. Я огляделся. Почему-то мне почудилось, что я дома. Человеку, который давно не имел дома, часто приходят в голову подобные мысли.

II

В английском я делал большие успехи, и недели через две мой словарный запас был уже как у пятнадцатилетнего подростка. По утрам я несколько часов проводил среди красного плюша гостиницы «Ройбен» — зубрил грамматику, а во второй половине дня изыскивал возможности для устной практики. Действовал я без малейшего стыда и стеснения. Заметив, что за десять дней, проведенных с Меликовым, у меня появился русский акцент, я тут же перекинулся на постояльцев и служащих гостиницы. И поочередно усваивал самые разнообразные акценты: немецкий, еврейский, французский. Под конец, сведя дружбу с уборщицами и горничными и уверовав, что они-то и есть сто процентные американки, я начал говорить с явным бруклинским акцентом.

— Надо тебе завести роман с молоденькой американкой, — сказал Меликов: за это время мы перешли с ним на «ты».

— Из Бруклина? — спросил я.

— Лучше из Бостона. Там всего правильнее говорят.

— Тогда уж надо найти учительницу из Бостона. Это было бы самое рациональное.

— К несчастью, наша гостиница — караван-сарай. Различные акценты носятся в воздухе, как тифозные бактерии, а ты, увы, легко перенимаешь все отклонения от нормы и совершенно глух к нормальной речи. Надеюсь, тебе поможет любовь.

— Владимир, — сказал я, — мир и так уже слишком быстро меняется для меня. С каждым днем мое английское «я» становится на год старше, и, к великому сожалению, мир этого «я» теряет свои чары. Чем лучше я понимаю язык, тем скорее исчезает таинственность. Пройдет еще несколько недель, и оба мои «я» уравновесятся. Американское «я» станет столь же скучно трезвым, как и европейское. Дай срок! И оставь в покое мое произношение. Я не хочу, чтобы мое второе детство пролетело так быстро.

— Не бойся, не пролетит. Пока что твой умственный кругозор равен кругозору зеленщика-меланхолика по имени Аннибале Бальбо, который торгует здесь на углу. Ты уже и так пересыпаешь свою речь итальянскими словечка-

ми, они плавают в твоём английском, как волокна мяса в рисовом супе по-итальянски.

— А вообще-то существуют настоящие, коренные американцы?

— Конечно. Но через нью-йоркский порт на город обрушивается лавина эмигрантов — ирландцы, итальянцы, немцы, евреи, армяне и ещё десятки разных национальностей. Как там говорят у вас: «Здесь ты человек, здесь ты можешь существовать»¹. Здесь ты эмигрант, здесь ты можешь существовать. Эта страна основана эмигрантами. Отбрось свои европейские комплексы неполноценности. Здесь ты снова человек, а не истерзанный комок плоти, прилепленный к собственной доске.

Я поднял глаза от шахматной доски.

— Ты прав, Владимир, — сказал я медленно. — Посмотрим, сколько это продлится.

— Не веришь, что это будет длиться долго?

— Как я могу верить?

— Во что же ты веришь?

— В то, что с каждым днем мне становится хуже, — ответил я.

Незнакомый человек, прихрамывая, шел по вестибюлю. Мы сидели в полутьме, и я лишь смутно видел вошедшего. Однако его странная хромота в ритме трех четвертей такта напомнила мне кого-то.

— Лахман, — сказал я вполголоса.

Незнакомец остановился и взглянул в мою сторону.

— Лахман! — повторил я.

— Моя фамилия Мертон, — ответил он.

Я щелкнул выключателем. Из весьма жалкой люстры, представлявшей собою наихудший образец модерна начала двадцатого века, заструился безрадостно-тусклый свет — желтый и синеватый.

— Боже мой! Роберт! — воскликнул вошедший с удивлением. — Ты жив? А я думал, ты уже давно погиб.

— То же самое я думал о тебе. Но узнал тебя по походке.

— По моей хромоте в три четверти такта?

— По твоему вальсирующему шагу, Курт. Ты знаком с Меликовым?

— Конечно, знаком.

— Живешь здесь?

— Нет. Но иногда захоживаю.

¹ Строка из Гете.

— Теперь твоя фамилия Мертон?

— Да. А твоя?

— Росс. Имя осталось то же.

— Вот как люди встречаются,— сказал Лахман, слегка усмехнувшись.

Мы немного помолчали. Всегдашняя тягостная пауза при встрече эмигрантов. Никогда ведь не знаешь, о ком и о чем можно спрашивать. Не знаешь, кого уже нет в живых.

— Ты слышал что-нибудь о Кане?—спросил я наконец.

И это был обычный прием. Сначала осторожно узнать о людях, которые не так уж близки твоему собеседнику.

— Он в Нью-Йорке,— ответил Лахман.

— Он тоже? Как ему удалось перебраться сюда?

— А как все перебирались сюда. Благодаря тысяче случайностей. Никого ведь из нас не было в составленном американцами списке знаменитостей.

Меликов выключил верхний свет и вытащил бутылку из-под стойки.

— Американская водка,— сказал он.— Нечто вроде калифорнийского бордо или бургундского из Сан-Франциско. Или рейнского из Чили. Салют! Одно из преимуществ эмиграции в том, что приходится часто прощаться и посему можно часто выпивать в честь новой встречи. Создается иллюзия долголетия.

Ни Лахман, ни я не ответили ему. Меликов был человеком иного поколения: то, что нам еще причиняло боль, для него уже стало воспоминанием.

— Салют, Владимир! — Я первый прервал молчание.— И почему мы не родились йогами?

— Я бы удовольствовался меньшим — не родиться евреем в Германии,— сказал Лахман-Мертон.

— Воспринимайте себя как первых граждан мира,— невозмутимо заметил Меликов.— И ведите себя соответственно как первооткрыватели. Настанет время, и вам будут ставить памятники.

— Когда? — спросил Лахман.

— Где? — спросил я.

— На Луне,— сказал Меликов и пошел к конторке, чтобы выдать ключ постояльцу.

— Остряк,— сказал Лахман, поглядев ему вслед.— Ты работаешь на него?

— То есть?

— Девочки. При случае морфий и тому подобное. Кажется, он и букмекер к тому же.

— Ты из-за этого сюда пришел?

— Нет. Я по уши влюбился в одну женщину. Ей, пред- ставь себе, пятьдесят, она родом из Пуэрто-Рико, католич- ка и без ноги. Ей ампутировали ногу. У нее шуры-муры с одним мексиканцем. Явным сутенером. За пять долларов он согласился бы сам постелить нам постель. Но этого она не хочет. Ни в коем случае. Верит, что господь бог взирает на нас, сидя на облаке. И по ночам тоже. Я сказал ей: господь бог близорук. Уже давно. Не помогает. Но деньги она берет. И обещает. А потом смеется. И опять обещает. Что ты на это скажешь? Неужели я для этого приехал в Штаты? Черт знает что!

У Лахмана из-за хромоты появился комплекс неполно- ценности, но судя по его рассказам, раньше он пользовался феноменальным успехом у дам. Об этом прослышал один эсэсовец и затащил Лахмана в пивнушку штурмовиков в районе Берлин-Вильмерсдорф — хотел его оскопить. Но эсэсовцу помешала полиция — это было еще в тридцать четвертом. Лахман отделался несколькими шрамами и че- тырьмя переломами ноги, которые плохо срослись. С тех пор он стал хромать и пристрастился к женщинам с лег- кими физическими изъянами. Остальное ему безразлично, лишь бы дама обладала солидным и крепким задом. Даже во Франции в невыносимо тяжелых условиях Лахман про- должал свою карьеру бабника. Он уверял, что в Руане крутил любовь с трехгрудой женщиной, у которой к тому же груди были на спине.

— А задница у нее твердая, как камень,— протянул он мечтательно,— горячий мрамор.

— Ты ничуть не изменился, Курт,— сказал я.

— Человек вообще не меняется. Несмотря на то, что дает себе тысячу клятв. Когда тебя кладут на обе лопатки, ты полон раскаяния, но стоит вздохнуть свободнее, и все клятвы забыты,— Лахман на секунду задумался.— Что это: героизм или идиотизм?

На его сером, изрезанном морщинами лбу выступили крупные капли пота.

— Героизм,— сказал я,— в нашем положении надо ук- рашать себя самыми хвалебными эпитетами. Не стоит за- глядывать чересчур глубоко в душу, иначе скоро наткнешь- ся на отстойник, куда стекаются нечистоты.

— Да и ты тоже ничуть не изменился.— Лахман-Мер- тон вытер пот со лба мятым носовым платком.— По-преж- нему склонен к философствованию. Правда?

— Не могу отвыкнуть. Это меня успокаивает.

Лахман неожиданно усмехнулся:

— Дает тебе чувство превосходства! Вот в чем дело. Дешевка!

— Превосходство не может быть дешевкой.

Лахман умолк.

— Зачем возражать? — сказал он. И немного погодя со вздохом вытащил из кармана пиджака какой-то предмет, завернутый в папиросную бумагу.— Четки, собственноручно освященные папой. Настоящее серебро и слоновая кость. Как ты думаешь, на нее это подействует?

— Каким папой?

— Прием. Каким же еще?

— Бенедикт Пятнадцатый был бы лучше.

— Что? — Лахман взглянул на меня, явно сбитый с толку.— Ведь Бенедикт умер. Что ты мелешь?

— У него чувство превосходства было развито сильнее. Как у всех мертвецов, впрочем. И это уже не дешевка.

— Ах, вот как. Ты ведь тоже остряк! Совсем забыл. Последний раз, когда я тебя видел...

— Замолчи! — сказал я.

— Что?

— Замолчи, Курт. Не надо.

— Ладно.— Лахман поколебался секунду. Потом желание излить душу победило. Он развернул светло-голубую папиросную бумагу.— Маленький кусочек оливкового дерева из Гефсиманского сада. Подлинность заверена официально. Неужели и это не подействует? — Лахман не отрываясь смотрел на меня умоляющим взглядом.

— Конечно, подействует. А бутылки иорданской воды у тебя не найдется?

— Нет.

— Тогда налей.

— Что?

— Налей воды в бутылку. В вестибюле есть кран. Подмешай немного пыли, чтобы выглядело естественно. Никто ведь ничего не заподозрит, у тебя уже есть нотариально заверенные четки и оливковая ветвь. Не хватает только иорданской водицы.

— Не наливать же ее в водочную бутылку!

— Отчего нет! Соскрежем наклейку! У бутылки достаточно восточный вид. Твоя пуэрториканка наверняка не пьет водки. В лучшем случае ром.

— Она пьет виски. Странно, правда?

— Нет.

Лахман задумался.

— Бутылку надо запечатать — так будет правдоподобнее. У тебя есть сургуч?

— Еще чего захотел? Визу и паспорт? Откуда у меня сургуч?

— У человека бывают самые неожиданные вещи. Я, например, много лет таскал с собой кроличью лапку, и когда...

— Может, у Меликова найдется?

— Верно! Он постоянно запечатывает посылки. Как я сам не додумался!

Лахман, хромая, отчалил.

Я откинулся на спинку кресла. Было почти темно. Тени и призраки умчались на вечернюю улицу сквозь светлый дверной проем. В зеркале напротив тускло-серое пятно тщетно пыталось приобрести серебристый блеск. Плюшевые кресла стали лиловыми, и на мгновение мне показалось, что на них запекалась кровь. Очень много крови. Где я видел столько крови?.. Кровь на трупах в маленькой серой комнате, за окнами которой полыхал невиданный закат. И от этого все предметы потеряли свою яркость и стали как бы грязными — серо-черными и темно-бурыми, почти лиловыми. Все приобрело эти цвета, даже человек у окна. Внезапно он повернул голову, и на него упали лучи заходящего солнца: одна половина лица стала огненной, другая — оказалась в тени. И тут раздался голос, неожиданно высокий, писклявый. «Продолжаем! Следующий», — произнес он с легким саксонским акцентом.

Я повернулся и опять щелкнул выключателем. Прошло много лет, прежде чем я научился спать без света. И стало мне заснуть, как я тут же в испуге вскакивал, меня будили омерзительные сны. Даже теперь я с большой неохотой выключал по ночам свет и не любил спать один.

Я поднялся и вышел из холла. Лахман стоял с Меликовым у маленькой конторки возле входа.

— Все в порядке, — торжествуя сказал Лахман. — Взгляни! У Владимира нашлась старая русская монетка, мы припечатаем ею пробку. Древнеславянская вязь. Кто усомнится, что воду в эту бутылку не налили греческие монахи из монастыря на реке Иордан?

Сургуч капал на пробку. При свече, которая стояла рядом, он казался светло-красным.

Что со мной творится, думал я. Ведь все уже позади! Я спасен! Там на улице бурлит жизнь! Спасен! Разве я спа-

сен? Разве я действительно убежал от них? И от теней тоже?

— Пойду прогуляюсь немного,— сказал я.— В голове у меня каша из английских слов! Надо проветриться. Servus!¹

Когда я вернулся, Меликов уже приступил к своим обязанностям. В этой гостинице он совмещал множество различных должностей — работал дневным портье, иногда ночным и одновременно выполнял всякие мелкие поручения. В эту неделю он был ночным портье.

— Где Лахман? — спросил я.

— Наверху, у своего предмета.

— Ты веришь, что сегодня ему улыбнется счастье?

— Нет. Она поведет его и мексиканца ужинать. Платить будет Лахман. Всегда он был такой?

— Да. Только более везучий. Утверждает, что стал интересоваться калеками и увечными лишь после того, как начал хромать. Раньше у него был нормальный вкус. Быть может, он так деликатен, что стыдится красивых женщин. Кто знает...

В дверь проскользнула чья-то тень. То была тонкая, высокая женщина с маленькой головкой. На ее бледном лице выделялись серые глаза, волосы у нее были русые и казались крашеными. Меликов встал.

— Наташа Петрова²,— сказал он.— Давно вы вернулись?

— Две недели назад.

Я тоже встал. Женщина была почти одного роста со мной. В темном облегающем костюме она выглядела очень худой. Говорила она как-то чересчур торопливо, и голос у нее был, пожалуй, слишком громкий и словно прокуренный.

— Рюмку водки? — спросил Меликов.— Или виски?

— Водки. Один глоток. Мне пора идти фотографироваться.

— В такой поздний час?

— Да, на весь вечер. Фотограф свободен только по вечерам. Платья и шляпы. Маленькие шляпки. Совсем крохотные.

Только сейчас я заметил, что Наташа Петрова была в шляпке без полей, до крайности воздушной и надетой слегка набок.

Меликов ушел за водкой.

— Вы не американец? — спросила девушка.

¹ Привет! (лат)

² В оригинале: «Наташа Петровна».

— Нет, немец.

— Ненавижу немцев.

— Я тоже,— согласился я.

Она взглянула на меня с изумлением.

— Я не говорю о присутствующих.

— И я тоже.

— Я — французенка. Вы должны меня понять. Война...

— Понимаю,— сказал я равнодушно. Уже не в первый раз меня делали ответственным за преступления фашистского режима в Германии. И постепенно это перестало трогать. Я сидел в лагере для интернированных во Франции, но не возненавидел французев. Объяснять это, впрочем, было бесполезно. Тот, кто умеет только ненавидеть или только любить,— завидно примитивен.

Меликов принес бутылку и три очень маленькие рюмки, которые налил доверху.

— Я не хочу,— сказал я.

— Обиделись? — спросила девушка.

— Нет. Просто мне сейчас не хочется пить.

Меликов ухмыльнулся.

— Ваше здоровье¹,— сказал он и поднял рюмку.

— Напиток богов! — Девушка залпом осушила свою рюмку.

Я почувствовал себя дураком: зря отказался от водки, но теперь уже было поздно.

Меликов поднял бутылку.

— Еще по одной, Наталья Петровна?

— Merci², Владимир Иванович, хватит! Пора уходить. Au revoir³. — Она крепко пожала мне руку. — Au revoir, monsieur.

— Au revoir, madame.

Меликов пошел ее проводить. Вернувшись, он спросил:

— Она тебя разозлила?

— Нет.

— Не обращай внимания. Она всех злит. Сама того не желая.

— Разве она не русская?

— Родилась во Франции. Почему ты спрашиваешь?

— Я довольно долго жил среди русских эмигрантов.

И заметил, что их женщины из чисто спортивного интереса задирают мужчин куда чаще, чем рекомендуется.

Меликов ослабилась.

¹ В оригинале: «Здрасьте».

² Спасибо (фр.).

³ До свидания (фр.).

— Не вижу здесь ничего худого. Иногда полезно вывести мужчину из равновесия. Все лучше, чем по утрам с гордым видом начищать пуговицы на его мундире и надраивать ему сапоги, которыми он будет потом топтать ручонки еврейских детей.

— Сдаюсь! Сегодня немецкие эмигранты здесь не в чести. Налей-ка мне лучше водки, от которой я только что отказался.

— Хорошо.

Меликов прислушался.

— Вот и они!

По лестнице спускались двое. Я услышал необыкновенно звучный женский голос. Это были пуэрториканка и Лахман. Она шла немного впереди, не обращая внимания на то, следует ли он за ней. И не хромала. По ее походке не было заметно, что у нее протез.

— Сейчас поедут за мексиканцем,— прошептал Меликов.

— Бедняга Лахман,— сказал я.

— Бедняга? — удивился Меликов.— Нет, он просто хочет того, чего у него нет.

— Единственное, что нельзя потерять. Правда? — Я засмеялся.

— Бедняга тот, кто больше ничего не хочет.

— Разве? — сказал я.— А я полагал, что тогда становишься мудрецом.

— У меня другое мнение. Что с тобой сегодня случилось? Нужна женщина?

— Обычно эмигранты норовят быть вместе. А тебе, по моему, ни до кого нет дела.

— Не хочу вспоминать.

— Поэтому?

— И не хочу увязнуть в эмигрантских делах, окунуться в атмосферу незримой тюрьмы. Слишком хорошо все это изучил.

— Желаете, значит, стать американцем?

— Никем я не желаю стать. Просто хочу кем-то быть, наконец. Если мне это позволят.

— Громкие слова!

— Надо самому набираться мужества. Никто этого за тебя не сделает.

Мы сыграли еще партию в шахматы. Мне объявили мат. Потом постояльцы начали понемногу возвращаться в гостиницу, и Меликову приходилось то выдавать ключ, то разносить по номерам бутылки и сигареты.

Я продолжал сидеть. И правда, что со мной случилось? Я решил сказать Меликову, что хочу снять отдельный номер. Почему — я и сам не знал. Мы друг другу не мешали, и Меликову было безразлично, живем мы вместе или нет. Но для меня вдруг стало очень важно попробовать спать в одиночестве. На Эллис-Айленде мы все спали вповалку в большом зале; во французском лагере для интернированных было то же самое. Конечно, я знал, что стоит мне очутиться одному в комнате, и я начну вспоминать времена, которые предпочел бы забыть. Ничего не поделаешь! Не мог же я вечно избегать воспоминаний.

III

С братьями Лоу я познакомился в ту самую минуту, когда косые лучи солнца окрасили антикварные лавки на правой стороне улицы в сказочный золотисто-желтый цвет, а витрины на противоположной стороне затянуло предвечерней паутиной. В это время дня стекла начинали жить самостоятельной жизнью — отраженной жизнью, вбирая в себя чужой свет; примерно такую же обманчивую жизнь обретают намалеванные часы над магазинами оптики, когда время, которое показывают рисованные стрелки, совпадает с действительным. Я открыл дверь лавки; из помещения, похожего на аквариум, вышел один из братьев Лоу — рыжий. Он поморгал немного, чихнул, посмотрел на мягкий закат, еще раз чихнул и заметил меня. А я той порой наблюдал за тем, как антикварная лавка постепенно превращалась в пещеру Аладина.

— Прекрасный вечер, правда? — сказал он, глядя в пространство.

Я кивнул.

— Какая у вас прекрасная бронза.

— Подделка, — сказал Лоу.

— Разве она не ваша?

— Почему вы так думаете?

— Потому что вы сказали — это подделка.

— Я сказал, что бронза — подделка, потому что она подделка.

— Великие слова, — сказал я, — особенно в устах торговца.

Лоу снова чихнул и опять поморгал.

— Я и купил ее как подделку. Мы здесь любим истину.

Сочетание слов «подделка» и «истина» было просто восхитительно в это мгновение, когда засверкали зеркала.

— А вы уверены, что несмотря на это бронза может быть настоящей? — спросил я.

Лоу вышел из дверей и осмотрел бронзу, лежавшую на качалке.

— Можете купить ее за тридцать долларов — и еще в придачу подставку из тикового дерева. Резную.

Весь мой капитал был приблизительно равен восьмидесяти долларам.

— Я хотел бы взять ее на несколько дней, — сказала я.

— Хоть на всю жизнь. Только заплатите сперва.

— А на пробу? Дня на два?

Лоу повернулся.

— Я ведь вас не знаю. В последний раз я дал две статуэтки мейсенского фарфора одной даме, внушавшей полное доверие. На время.

— Ну и что? Дама исчезла навсегда?

— Тут же пришла опять. С разбитыми статуэтками. Какой-то человек в переполненном автобусе выбил статуэтки у нее из рук ящиком с инструментом.

— Не повезло!

— Дама так плакала, словно потеряла ребенка. Двух детей сразу. Близнецов. Фигурки были парные. Что делать? Денег у нее не было. Платить оказалось нечем. Она хотела поддержать статуэтки у себя несколько дней, полюбоваться. И позлить приятельниц, которых собиралась позвать на бридж. Все очень по-человечески. Правда? Но что было делать нам? Плакали наши денежки. Сами видите, что...

— Бронзу разбить не так легко. Особенно, если это подделка.

Лоу посмотрел на меня внимательно.

— Вы в этом сомневаетесь?

Я не ответил.

— Давайте тридцать долларов, — сказал он, — поддержите у себя эту штуку неделю, потом можете вернуть обратно. А если вы ее оставите и продадите, прибыль пополам. Ну, как?

— Грабеж среди белого дня. Но я все равно согласен.

Я был не очень уверен в своей правоте, поэтому принял предложение. Бронзовую фигуру я поставил у себя в номере. Лоу-старший сказал мне еще, что бронзу списали из Нью-Йоркского музея как подделку. В этот вечер я остался дома. Стемнело, но я не зажигал света. Лег на по-

стель и стал смотреть на фигуру, которая стояла перед окном. За то время, что я пробыл в Брюссельском музее, я усвоил одну истину: вещи начинают говорить, только когда на них долго смотришь. А те вещи, которые говорят сразу, далеко не самые лучшие. Блуждая ночью по залам музея, я иногда забирал с собой какую-нибудь безделушку в темный запасник, чтобы там ее ощупать. Часто это были бронзовые скульптуры, и так как Брюссельский музей славился своей коллекцией древней китайской бронзы, я с разрешения моего спасителя иногда уносил в запасник какую-нибудь из фигур. Я мог себе это позволить, поскольку сам директор зачастую брал домой для работы тот или иной экспонат. И если в музее недосчитывались какой-нибудь скульптуры, он говорил, что она у него.

Так у меня выработалось особого рода умение оценивать на ощупь патину. К тому же я провел много ночей у музейных витрин и узнал кое-что о фактуре старых окисей, хотя никогда не видел их при дневном свете. Но подобно тому, как у слепого вырабатывается безошибочное осязание, так и у меня за это время появилось нечто похожее. Конечно, я не во всех случаях доверял себе, но иногда я был совершенно уверен в своей правоте.

Эта бронза показала мне в лавке на ощупь настоящей; правда, ее очертания и рельефы были чересчур определены, что, возможно, как раз и не понравилось музейным экспертам, но все же она не производила впечатления позднейшей подделки. Линии были четкие. А когда я закрыл глаза и начал обстоятельно, очень медленно водить пальцами по фигуре, ощущение, что бронза настоящая, еще усилилось.

В Брюсселе я не раз встречался с подобными скульптурами. И о них тоже сперва говорили, что это копия эпохи Тан или Мин. Дело в том, что китайцы уже во времена Хаь, то есть примерно с начала нашего летосчисления, копировали и закапывали в землю свои скульптуры эпохи Шан и Чжоу. Поэтому по патине трудно было определить подлинность работы, если в орнаменте или в отливке не обнаруживали каких-либо характерных мелких изъянов.

Я опять поставил бронзу на подоконник. Со двора доносились металлические голоса судомоек, постукивание мусорных урн и мягкий гортанный бас негра, который эти урны выносил. Вдруг дверь распахнулась. В освещенном четырехугольнике я различил силуэт горничной, увидел, как она отпрянула назад, крикнув:

— Мертвец!

— Какая чушь,— сказал я.— Не мешайте спать. Закройте дверь. Я уже приготовил себе постель.

— И вовсе вы не спите! Что это такое? — Она разглядывала бронзу.

— Зеленый ночной горшок,— отрезал я — Разве не видите?

— И чего только люди не придумают! Но зарубите себе на носу: утром я его не стану выносить! Ни за что. Выносите сами. В доме хватает уборных.

— Хорошо.

Я снова лег и заснул, хотя не собирался спать. Когда я проснулся, была глубокая ночь. И я сразу не мог сообразить, где нахожусь. Потом увидел бронзу, и мне на минуту показалось, что я снова в музее. Я сел и начал глубоко дышать. Нет, я уже не там, неслышно говорил я себе, я убежал, я свободен, свободен, свободен. Слово «свободен» я повторял ритмично: про себя, а потом стал повторять вслух — тихо и настойчиво; я произносил его до тех пор, пока не успокоился. Так я часто утешал себя в годы преследований, когда просыпался в холодном поту. Потом я поглядел на бронзу: цветные отсветы на ней вбирали в себя ночную тьму. И вдруг я почувствовал, что бронза живая. И не из-за своей формы, а из-за патины. Пatina не была мертвой. Никто не наносил ее нарочно, никто не вызывал искусственно, травя шероховатую поверхность кислотами, патина нарастала сама по себе, очень медленно, долгие века; подымалась из воды, омывавшей бронзу, и из земных недр, минералы которых срастались с ней; первоосновой патины были, очевидно, фосфорные соединения, на что указывала незамутненная голубая полоска у основания скульптуры, а фосфорные соединения возникли сотни лет назад из-за соседства с мертвым телом. Патина слегка поблескивала, как поблескивала в музее неполированная бронза эпохи Чжоу. Пористая поверхность не поглощала свет, подобно поверхности бронзовых фигур, на которые патину нанесли искусственно. Свет придавал ей некоторую шелковистость, делал ее похожей на грубый шелк-сырец.

Я поднялся и сел к окну. Там я сидел очень долго, почти не дыша, в полной тишине, весь отдавшись созерцанию, которое мало-помалу заглушило во мне все мысли и страхи.

Я продержал у себя скульптуру еще два дня, а потом отправился на Третью авеню. На сей раз в лавке был и второй брат Лоу, очень похожий на первого, только более

элегантный и более сентиментальный, насколько это вообще возможно для торговца стариной.

— Вы принесли скульптуру обратно? — спросил первый и тут же вытащил бумажник, чтобы вернуть мне тридцать долларов.

— Скульптура настоящая, — сказал я.

Он поглядел на меня добродушно и с интересом.

— Из музея ее выбросили.

— Уверен, что она настоящая. Я пришел возвратить ее вам. Продавайте.

— А как же ваши деньги?

— Вы отдадите их мне вместе с половиной прибыли. Как было условлено.

Лоу-младший сунул руку в правый карман пиджака, вытащил десятидолларовую бумажку, чмокнул ее и переложил в левый карман.

— Позвольте вас пригласить... Чего бы вы хотели? — спросил он.

— Вы мне поверили? — Для меня это была приятная неожиданность. Я привык к тому, что мне уже давно никто не верил: ни полицейские, ни женщины, ни инспектора по делам иммигрантов.

— Не в этом суть, — весело пояснил Лоу-младший. — Просто мы с братом поспорили: если вы вернете скульптуру потому, что она подделка, он выигрывает пять долларов, а если вы ее вернете, невзирая на то, что она настоящая, — я выигрываю десять.

— Видимо, у вас в семье вам принадлежит роль оптимиста.

— Я присяжный оптимист, а мой брат — присяжный пессимист. Так мы и тянем лямку в эти трудные времена. Оба эти качества в одном лице нынче несовместимы. Как вы относитесь к черному кофе?

— Вы — венец?

— Венец — по происхождению, американец по подданству. А вы?

— Я — венец по убеждению и человек без подданства.

— Отлично. Зайдем напротив к Эмме и выпьем чашечку черного кофе. В отношении кофе у американцев — спартанское воспитание. Они пьют его только на похоронах или заваривают с утра на весь день. Американец может часами держать кофейник на плите, чтобы он не остыл, и ему даже в голову не придет заварить свежий кофе. Эмма себе такое не позволит. Она — чешка.

Мы перешли через шумную улицу. Поливальная машина изрыгала во все стороны струи воды. Лиловый кап, развозящий детские пеленки, чуть не переехал нас. В последнюю секунду Лоу сделал грациозный прыжок и тем спас себе жизнь. Тут я увидел, что он ходит в лакированных ботинках.

— Вы с братом не однолетки? — спросил я.

— Близнецы. Но для удобства покупателей один из нас вовется «старший брат», другой — «младший». Брат на три часа старше меня. И он родился под знаком Блинецов. А я под знаком Рака.

Неделю спустя из служебной поездки вернулся владелец фирмы «Лу и К°», эксперт по китайскому искусству. Он никак не мог взять в толк, почему музей счел скульптуру подделкой.

«Это не шедевр, — разъяснил он. — Но, без сомнения, бронза эпохи Чжоу, позднего Чжоу, вернее, переходного периода от Чжоу к Хань».

«А какова ее цена?» — спросил Лоу-старший.

«На аукционе она потянет долларов четыреста — пятьсот. Может, больше. Но ненамного. Китайская бронза идет нынче по дешевке».

«Почему?»

«Да потому, что нынче все идет по дешевке. Война. И не так уж много людей коллекционирует китайскую бронзу. Могу купить ее у вас за триста долларов».

Лоу покачал головой.

«По-моему, я должен сперва предложить ее музею».

— С какой стати? — удивился я. — И потом — половина денег ведь моя. А вы хотите отдать скульптуру за те же жалкие пятнадцать долларов, какие, наверное, заплатили за нее.

— У вас есть расписка?

Я с удивлением уставился на него. Он поднял руку.

— Секунду! Не кричите. Пусть это будет для вас хорошим уроком. Впредь требуйте на все расписки. В свое время я на этом здорово погорел.

Я продолжал смотреть на него в упор.

— Пойду в музей и скажу, что уже почти продал эту скульптуру. Так ведь и есть на самом деле. Но я все равно предложу ее музею, потому что Нью-Йорк — это большая деревня. Во всяком случае, для антикваров. Через несколько недель все всё узнают. А музей нам еще понадобится. Вот в чем дело. Вашу долю я у них потребую.

— Сколько это будет?

— Сто долларов.

— А сколько получите вы?

— Половину того, что заплатят сверх. Согласны?

— Для вас вся эта история — милая шутка, — сказал я. — А я рискнул ради нее почти половиной состояния.

Лоу-старший засмеялся. Во рту у него было много золота.

— Кроме того, вы до всего дознались. Теперь и я догадался, как произошла ошибка. Они взяли в музей нового молодого эксперта. И молодой человек решил показать, что его предшественник ни черта не смыслил и приобрел мусор. Могу сделать вам одно предложение: у нас в подвале масса старых вещей, в которых мы не очень-то разбираемся. Человек не может знать все на свете. Не хотите ли ознакомиться с нашими сокровищами? Десять долларов в день. Ну, а если повезет — поощрительные премии.

— Компенсация за китайскую бронзу?

— Только отчасти. Но, конечно, работа временная. Мы с братом вполне справляемся со своими делами. По рукам?

— По рукам, — сказал я и взглянул через стекло витрины на улицу, где мчался поток машин.

Иногда даже страх приносит пользу, подумал я спокойно. Главное — расслабиться. Когда держишь себя в кулаке, обязательно случится несчастье. Жизнь — как мяч, думал я. Она всегда сохраняет равновесие.

— Пятьдесят миллионов мертвецов, — сказал Лоу-старший. — Сто. Человечество пошло вперед только в одном отношении: оно научилось массовым убийствам. — В ярости он откусил кончик сигары. — Понимаете?

— Нигде человеческая жизнь не дешева так, как в Германии, — сказал я. — Эсэсовцы высчитали, что один еврей, даже работоспособный и молодой, стоит всего тысячу шестьсот двадцать марок. За шесть марок в день его выдают напрокат немецким промышленникам, использующим рабский труд. Питание в лагере обходится в шестьдесят пфеннигов в день. Еще десять пфеннигов кладут на амортизацию носильных вещей. Средняя продолжительность жизни — девять месяцев. Итого, считая прибыль, тысяча четыреста марок. Добавим к этому рациональное использование трупа: золотые коронки, одежду, ценности, деньги, привезенные с собой, и, наконец, волосы. За вычетом стоимости сожжения в сумме двух марок, чистая прибыль составляет около тысячи шестисот двадцати марок.

Из этого следует вычесть еще женщин и детей, не имеющих реальной ценности. Их умерщвление в газовых камерах и сожжение обходится на круг в шесть марок. Сюда же надо приплюсовать стариков, больных и так далее. Таким образом, в среднем, если округлить сумму, доход все равно составляет не менее тысячи двухсот марок.

Лоу побледнел как полотно.

— Это правда?

— Так было подсчитано. Официальными немецкими ведомствами. Но до известной степени эта цифра может колебаться. Сложность вовсе не в умерщвлении людей. Как ни странно, самое сложное — уничтожение трупов. Для того чтобы труп сгорел, требуется определенное время. Закапывать в землю тоже не так-то просто, если речь идет о десятках тысяч мертвецов и если могильщики славятся своей добросовестностью. Не хватает крематориев. Да и по ночам они не могут работать с полной нагрузкой Из-за вражеских самолетов. Бедным нацистам тяжело приходится. Они ведь хотели только мира, ничего больше.

— Что?

— Вот именно. Если бы весь свет согласился плясать под дудку Гитлера, войны не было бы.

— Остряк! — проворчал Лоу. — Остряк паршивый. Здесь не до острот! — Он понурил свою рыжую голову. — Как это может быть? Вы что-нибудь понимаете?

— Приказ сам по себе гочти всегда бескровен. С этого все начинается. Тот, кто сидит за письменным столом, не должен хвататься за топор. — Я с сожалением взглянул на собеседника. — А людей, выполняющих приказы, всегда можно найти, особенно в нацистской Германии.

— Даже кровавые приказы?

— Кровавые тем более. Ведь приказ освобождает от ответственности. Можно, стало быть, дать волю инстинктам.

Лоу провел рукой по волосам.

— И вы через все это прошли?

— Увы, — сказал я. — Хотелось бы мне, чтобы это было не так.

— А вот сейчас мирный день, и мы с вами стоим в антикварной лавке на Третьей авеню, — сказал он. — Как же это, по-вашему, называется?

— Только не война.

— Я не об этом говорю. На земле творится бог знает что, а люди спокойно живут и делают вид, будто все в порядке.

— Люди не живут спокойно. Идет война. Для меня она, правда, странная, нереальная. Реальная война — это та, что происходит у тебя на родине. Все остальное нереально.

— Но людей убивают.

— У человеческого воображения плохо со счетом. Собственно, оно считает только до одного. То есть до того, кто находится рядом с тобой.

Колокольчик на двери лавки задрезжал. Женщина в красном хотела купить персидский кубок. Ее интересовало, можно ли использовать кубок в качестве пепельницы. Я незаметно спустился в подвал, который тянулся и под проезжей частью улицы. Разговоры эти я просто ненавижу. Мне они казались и наивными, и бессмысленными. Такие разговоры вели люди, которые не видели войны и думали, что, немного поволновавшись, они уже кое-что сделали. Это были разговоры людей, не знавших опасности...

В подвале было прохладно, как в комфортабельном бомбоубежище. В бомбоубежище коллекционера. Сверху приглушенно, словно гул самолетов, доносился шорох легковых машин и грохот грузовиков. А на стенах висели картины... Казалось, прошлое беззвучно упрекало нас.

В гостиницу я вернулся поздно вечером. Лоу-старший в порыве великодушия дал мне пятьдесят долларов задатка. Вскоре он, впрочем, пожалел об этом, и я это заметил. Но из-за серьезности беседы, которую мы до того вели, не решился взять деньги обратно. Неожиданная выгода для меня

Меликова в гостинице не оказалось. Зато появился Лакман. Он, как всегда, был в волнении и весь потный.

— Все в порядке? — спросил я его.

— С чем?

— Со святой водой из Лурда?

— С лурдской водой? Ты хочешь сказать — с иорданской? Что значит: все в порядке? Это не так просто. Но мои шансы растут. Хотя эта женщина буквально сводит меня с ума. Вот уже вечность, как я нахожусь между Сциллой и Харибдой. Утомительная штука.

— Сцилла и Харибда?

— Тебе же известно это выражение. Из греческой мифологии. Ловушка для моряков между двумя утесами. Мне надо лавировать, лавировать. Иначе я пропаду — Он взглянул на меня глазами загнанного зверя. — Е... эта женщи-

на не станет скоро моей, я превращусь в импотента. Ты ведь знаешь, какой у меня тяжелый комплекс. Меня опять преследуют кошмары. Я просыпаюсь весь в поту, просыпаюсь от собственного крика Ты ведь слышал: эти бандиты хотели меня кастрировать. Ножницами, не ножом. И гоготали как безумные. Если я не пересплю с этой женщиной в ближайшие дни, мне будет сниться, что они своего добились. Ужасные сны! Все как наяву! Даже вскочив с постели, я слышу их гогот.

— Спи с проституткой.

— Не могу. При всем желании. И с нормальной женщиной тоже не могу. Тут они своего добились.

Лахман прислушался.

— Вот она идет. Мы поужинаем в «Блу риббон». Она любит говяжье жаркое. Пойдем с нами! Может, ты на нее повлияешь Ты ведь у нас знаменитый говорун.

С лестницы донесся звучный голос.

— Нет времени,— сказал я.— А ты не подумал, что и у женщины может быть комплекс неполноценности из-за ампутированной ноги? Как у тебя из-за шрамов.

— Ты считаешь? — Лахман уже встал.— Ты так считаешь?

Конечно, я сболтнул первое, что пришло на ум. Хотел его утешить. Но увидев, как он разволновался, проклял свой длинный язык. Ведь от Меликова я знал, что дама жила с мексиканцем. Но объясняться было поздно. Да и Лахман меня не слушал. Он захромал к двери.

Я поднялся к себе в номер, но не стал зажигать свет. Несколько окон напротив были освещены В одном я увидел мужчину, который надевал женское белье. Этого типа я встречал в гостинице уже не раз. Полиция о нем знала, он был зарегистрирован как неизлечимый. Секунду я смотрел на мужчину в окне. Потом у меня стало мутно на душе. Что ни говори, неприятное зрелище! Я решил спуститься вниз и дождаться там Меликова.

IV

Лахман дал мне адрес Гарри Кана. О легендарных подвигах Кана я слышал еще во Франции. В качестве испанского консула он появился в Провансе, когда немецкая оккупация этого края формально окончилась и власть перешла к созданному Гитлером правительству в Виши, которое с каждым днем все снисходительнее взирало на бесчинства немцев.

И вот в один прекрасный день Кан возник в Провансе под именем Рауля Тенья с испанским дипломатическим паспортом в кармане. Никто не знал, откуда у него этот паспорт. По одной версии, документы у него были французские, с испанским штампом, удостоверяющим, что Кан — вице-консул в Бордо. Другие, наоборот, утверждали, будто видели паспорт Кана и будто этот паспорт испанский. Сам Кан загадочно молчал, зато он действовал. У него была машина с дипломатическим флажком на радиаторе, элегантные костюмы и вдобавок хладнокровие, доходившее до наглости. Он держал себя настолько блестяще, что даже сами эмигранты уверовали, будто все у него в порядке. Хотя в действительности все было, видимо, не в порядке.

Кан свободно ездил по стране. Самое пикантное заключалось в том, что он путешествовал как представитель другого фашистского диктатора, а тот не имел об этом ни малейшего понятия. Скоро Кан стал сказочным героем, творившим добрые дела. Дипломатический флажок на машине отчасти защищал Кана. А когда его задерживали эсэсовские патрули или немецкие солдаты, он тут же кидался в атаку, и немцы быстро шли на попятную, боясь получить взбучку от начальства. Кан хорошо усвоил, что нацистам импонирует грубость, и за словом в карман не лез.

При любой фашистской диктатуре страх и неуверенность царят даже в рядах самих фашистов, особенно если они люди подневольные, так как понятие права становится чисто субъективным и, следовательно, может быть обращено против любого бесправного индивидуума, коль скоро его поступки перестают соответствовать меняющимся установкам. Кан играл на трусости фашистов, ибо знал, что трусость в соединении с жестокостью как раз и являются логическим следствием любой тирании.

Он был связан с движением Сопротивления. По всей видимости, именно подпольщики снабдили его деньгами и машиной, а главное, бензином. Бензина Кану всегда хватало, хотя в то время он был чрезвычайно дефицитен. Кан развозил листовки и первые подпольные газеты — двухполосные листки небольшого формата. Мне был известен такой случай. однажды немецкий патруль остановил Кана, чтобы обыскать его машину, которая как на грех была набита нелегальной литературой. Но Кан поднял такой скандал, что немцы спешно ретировались: можно было подумать, что они схватили за хвост гадюку. Однако на этом

Кан не успокоился: он погнался за солдатами и пожаловался на них в ближайшей комендатуре, предварительно избавившись, правда, от опасной литературы. Кан добился того, что немецкий офицер извинился перед ним за бестолковость своих подчиненных. Утихомирившись, Кан покинул комендатуру, попрощался, как положено фалангисту, и в ответ услышал бодрое «Хайль Гитлер!» А немного погодя он обнаружил, что в машине у него все еще лежат две пачки листовок.

Иногда у Кана появлялись незаполненные испанские паспорта. Благодаря им он спас жизнь многим эмигрантам: они смогли перейти границу и скрыться в Перинеях. Это были люди, которых разыскивало гестапо. Кану удавалось долгое время прятать своих подопечных во французских монастырях, а потом, при первой возможности, эвакуировать. Я сам знаю два случая, когда Кан сумел предотвратить насильственное возвращение эмигрантов в Германию. В первом случае он внушил немецкому фельдфебелю, что Испания особо заинтересована в данном лице: этот человек-де свободно владеет языками, и поэтому его хотят использовать в качестве испанского резидента в Англии. Во втором случае Кан действовал с помощью коньяка и рома, а потом стал угрожать охране, что донесет на нее, обвинив во взяточничестве.

Когда Кан исчез с горизонта, в среде эмигрантов распространились самые мрачные слухи, все каркали наперебой. Ведь каждый эмигрант понимал, что эта война в одночасье может кончиться для Кана только гибелью. День ото дня он становился все бесстрашней и бесстрашней. Кажалось, он бросал вызов судьбе. А потом вдруг наступила тишина. Я считал, что нацисты уже давно забили Кана насмерть в концлагере или подвесили его на крюке — подобно тому, как мясники подвешивают освежеванные туши, — пока не услышал от Лахмана, что Кану тоже удалось бежать.

Я нашел его в магазине, где по радио транслировали речь президента Рузвельта. Сквозь раскрытые двери на улицу доносился оглушительный шум. Перед витриной столпились люди и слушали речь.

Я попытался заговорить с Каном. Это было невозможно — пришлось бы перекричать радио. Мы могли объясняться только знаками. Он с сожалением пожал плечами, указал пальцем на репродуктор и на народ за стеклами

витрины и улыбнулся. Я понял: для Кана было важно, чтобы люди слушали Рузвельта, да и сам он не желал пропустить из-за меня эту речь. Я сел у витрины, вытащил сигарету и начал слушать.

Кан был хрупкий темноволосый человек с большими черными горящими глазами. Он был молод, не старше тридцати. Глядя на него, никто не сказал бы, что это смельчак, долгие годы игравший с огнем. Скорее, он походил на поэта: настолько задумчивым и в то же время открытым было это лицо. Рембо и Вийон, впрочем, тоже были поэтами. А то, что совершал Кан, могло прийти в голову только поэту.

Громкоговоритель внезапно умолк.

— Извините, — сказал Кан, — я хотел дослушать речь до конца. Вы видели людей на улице? Часть из них с радостью прикончила бы президента — у него много врагов. Они утверждают, что Рузвельт вовлек Америку в войну и что он несет ответственность за американские потери.

— В Европе?

— Не только в Европе, но и на Тихом океане, там, впрочем, японцы сняли с него ответственность. — Кан взглянул на меня внимательней. — По-моему, мы уже где-то встречались? Может, во Франции?

Я рассказал ему о моих бедах.

— Когда вам надо убираться? — спросил он.

— Через две недели.

— Куда?

— Понятия не имею.

— В Мексику, — сказал он. — Или в Канаду. В Мексику проще. Тамешнее правительство более дружелюбно, оно принимало даже испанских *réfugiés*¹. Надо запросить посольство. Какие у вас документы?

Я ответил. Он улыбнулся, и улыбка преобразила его лицо.

— Все то же самое, — пробормотал он. — Хотите сохранить этот паспорт?

— Иначе нельзя. Он — мой единственный документ. Если я признаюсь, что паспорт чужой, меня посадят в тюрьму.

— Может, и не посадят. Но пользы это вам не принесет. Что вы делаете сегодня вечером? Заняты?

— Нет, конечно.

— Зайдите за мной часов в девять. Нам понадобится помощь. И здесь есть такой дом, где мы ее получим.

¹ Беженцев (фр.).

Круглое краснощекое лицо с круглыми глазами и всклокоченной копной волос добродушно сияло, как полная луна.

— Роберт! — воскликнула Бетти Штейн. — Боже мой, откуда вы взялись? И с каких пор вы здесь? Почему я ничего о вас не слышала? Неужели не могли сообщить о себе! Ну конечно, у вас дела поважнее. Где уж тут вспомнить обо мне? Типично для...

— Вы знакомы? — спросил Кан.

Невозможно было представить себе человека, участвовавшего в этом переселении народов, который не знал бы Бетти Штейн. Она была покровительницей эмигрантов — так же, как раньше в Берлине была покровительницей актеров, художников и писателей, еще не выбившихся в люди. Любвеобильное сердце этой женщины было открыто для всех, кто в ней нуждался. Ее дружелюбие проявлялось столь бурно, что порой граничило с добродушной тиранией: либо она принимала тебя целиком, либо вы становились врагами.

— Конечно, знакомы, — ответил я Кану. — Правда, мы не виделись несколько лет. И вот уже с порога, не успев я войти, как она меня упрекает. Это у нее в крови. Славянская кровь.

— Да, я родилась в Бреславле, — заявила Бетти Штейн, — и все еще горжусь этим.

— Бывают же такие доисторические предрассудки, — сказал Кан невозмутимо. — Хорошо, что вы знакомы. Нашему общему другу Россу нужны помощь и совет.

— Россу?

— Вот именно, Бетти, Россу, — сказал я.

— Он умер?

— Да, Бетти. И я его наследник.

— Понимаю.

Я объяснил ей ситуацию. Она тут же с жаром ухватилась за это дело и принялась обсуждать различные варианты с Каном, который как герой Сопrotивления пользовался здесь большим уважением. А я тем временем огляделся. Комната была очень большая, и все здесь соответствовало характеру Бетти. На стенах висели прикрепленные кнопками фотографии — портреты с восторженными посвящениями. Я начал рассматривать подписи: многие из этих людей уже погибли. Шестеро так и не покинули Германию, один вернулся.

— Почему фотография Форстера у вас в траурной рамке? — спросил я. — Он ведь жив.

— Потому что Форстер опять в Германии.— Бетти вернулась ко мне.— Знаете, почему он уехал обратно?

— Потому что он не еврей и стосковался по родине,— сказал Кан.— И не знал английского.

— Вовсе не потому. А потому, что в Америке не умеют делать его любимый салат,— торжественно сообщила Бетти.— И на него напала тоска.

В комнате раздался приглушенный смех. Эмигрантские анекдоты были мне хорошо знакомы — смесь иронии и отчаяния. Существовала также целая серия анекдотов о Геринге, Геббельсе и Гитлере.

— Почему же вы тогда не сняли его портрет? — спросил я.

— Потому что, несмотря на все, я люблю Форстера и потому что он большой актер.

Кан засмеялся.

— Бетти, как всегда, объективна,— сказал он.— И в тот день, когда все это кончится, она первая скажет о наших бывших друзьях, которые за это время успели написать в Германии антисемитские книжонки и получить чин оберштурмфюрера, что они, мол, делали это, дабы предотвратить самое худшее! — Он потрепал ее по мясистому загривку.— Разве я не прав, Бетти?

— Если другие — свиньи, то это не значит, что и мы должны вести себя по-свински,— возразила Бетти несколько раздраженно.

— Именно на такие рассуждения они и рассчитывают,— сказал Кан невозмутимо.— А в конце войны будут твердо рассчитывать на то, что американцы, дав последний залп, пошлют в Германию составы с салом, маслом и мясом для бедных немцев, которые всего-навсего хотели их уничтожить.

— А если немцы выиграют эту войну? Как, по-вашему, они поведут себя? Тоже будут раздавать сало? — спросил кто-то и закашлялся.

Я не ответил. Разговоры эти мне изрядно надоели. Лучшее уж рассматривать фотографии.

— Поминальник Бетти,— произнесла хрупкая, очень бледная женщина, которая сидела на скамейке под фотографиями.— Это портрет Хаштенеера.

Я вспомнил Хаштенеера. Французы засадили его в лагерь для интернированных вместе с другими эмигрантами, которых сумели схватить. Он был писатель и знал, что, если попадет в руки немцев, его песенка спета. Знал он также, что лагеря для интернированных прочесывают ге-

стаповцы. Когда немцы были в нескольких часах ходу от лагеря, Хаштенеер покончил с собой.

— Типично французское равнодушие, — сказал Кан с горечью. — Они не желают тебе зла, но ты почему-то по их милости подымаешь.

Я вспомнил, что Кан вставил коменданта одного из французских лагерей отпустить нескольких немецких беженцев. Он так напел на него, что комендант, очень долго прикрывавший свою нерешительность болтовней об офицерской чести, наконец уступил. Ночью он освободил эмигрантов, которые иначе пропали бы. Это было тем более трудно, что в лагере оказалось несколько нацистов. Сперва Кан убедил коменданта отпустить нацистов, уверяя, что в противном случае гестаповцы после осмотра лагеря арестуют его. А потом он использовал освобождение нацистов как средство давления на коменданта. Грозил, что пожалуется на него правительству Виши. Этот свой маневр Кан назвал «моральное поэтапное вымогательство». Маневр подействовал.

— Как вам удалось выбраться из Франции? — спросил я Кана.

— Тем путем, какой казался тогда вполне нормальным. Самым фантастическим. Гестапо кое о чем начало догадываться. Мое нахальство, равно как и сомнительный титул вице-консула, перестали помогать. В один прекрасный день меня арестовали.

К счастью, как раз в это время в комендатуре появились два нациста, которые по моему распоряжению были отпущены. Они собирались в Германию. Нацисты, конечно, поклялись всеми святыми, что я друг немцев. Я им еще помог... Напустил на себя грозный вид, замолчал, а потом как бы невзначай обронил несколько имен, и они не сделали того, чего я боялся: не передали меня вышестоящей инстанции. Их обуял страх. А вдруг из-за этого недоразумения начальство на них наорет? Под конец они были мне даже благодарны за то, что я пообещал забыть об этом происшествии, и отпустили меня с миром. Я бежал далеко, до самого Лиссабона. Человек должен знать, когда рисковать уже больше нельзя. Тут появляется особое чувство, похожее на чувство, какое бывает при первом легком приступе *angina pectoris*¹. У тебя уже и прежде были неприят-

¹ Грудная жаба (лат.).

ные ощущения, но это чувство иное, к чему надо прислушаться. Ведь следующий приступ может стать смертельным.

Теперь мы сидели в темноте.

— Это ваш магазин?

— Нет. Я здесь служащий. Из меня вышел хороший продавец.

— Охотно верю.

На улице была ночь, ночь большого города — горели огни, шли люди. Казалось, незримая витрина защищает нас не только от шума, — мы были словно в пещере.

— В такой тьме даже сигара не доставляет удовольствия, — сказал Кан. — Вот было бы великолепно, если бы во тьме человек не чувствовал боли. Правда?

— Наоборот, боль становится сильнее, потому что человек бьется. Кого только?

— Себя самого. Но все это выдумки. Бояться надо не себя, а других людей.

— Это тоже выдумки.

— Нет, — сказал Кан спокойно. — Так считалось до семнадцатого года. С тридцать третьего известно, что это не так. Культура — тонкий пласт, ее может смыть обыкновенный дождик. Этому научил нас немецкий народ — народ поэтов и мыслителей. Он считался высокоцивилизованным. И сумел перешеголять Аттилу и Чингисхана, с упованием совершив мгновенный поворот к варварству.

— Можно, я зажгу свет? — спросил я.

— Конечно.

Безжалостный электрический свет залил помещение; мигая, мы поглядели друг на друга.

— Просто странно, куда только человека не заносит судьба, — сказал Кан, вынимая из кармана расческу и приводя в порядок волосы. — Но главное, что она все же заносит его куда-то, где можно начать сначала. Только не ждать. Некоторые, — он повел рукой, — некоторые просто ждут. Чего? Того, что время повернет вспять им в угоду? Бедняги! А вы что делаете? Уже нашли себе какое-нибудь занятие?

— Разбираю кладовые в антикварной лавке.

— Где? На Второй авеню?

— На Третей.

— Один черт. Никаких перспектив. Постарайтесь начать собственное дело. Продавайте что угодно, хоть бублики. Или шпильки для волос. Я сам кое-чем приторговываю в свободное время. Самостоятельно.

— Хотите стать американцем?

— Я хотел стать австрийцем, потом чехом. Но немцы, увы, захватили обе эти страны. Тогда я решил стать французом — результат тот же. Хотелось бы мне знать, не оккупируют ли немцы и Америку?

— А мне хотелось бы знать другое: через какую границу меня выдворят дней через десять?

Кан покачал головой.

— Это совсем не обязательно. Бетти достанет вам рекомендации трех известных эмигрантов. Фейхтвангер тоже не отказал бы вам, но его рекомендации здесь не очень котируются. Он слишком левый. Правда, Америка в союзе с Россией, но не настолько, чтобы «поощрять» коммунизм. Генрих и Томас Манны ценятся высоко, но еще лучше, если за вас поручатся коренные американцы. Один издатель хочет опубликовать мои воспоминания; конечно, я никогда не напишу их. Но говорить ему это пока преждевременно — узнает года через два. Мой издатель вообще интересуется эмигрантами. Наверное, чувствует, что на них можно сделать бизнес. Выгода в сочетании с идеализмом — дело беспроигрышное. Завтра я ему позвоню. Скажу, что вы один из тех немцев, которых я вызволил из лагерей в Гуре.

— Я был в Гуре, — сказал я.

— В самом деле? Бежали?

Я кивнул:

— Подкупил охрану.

Кан оживился.

— Вот здорово! Мы найдем нескольких свидетелей. Бетти знает уйму народа. А вы не помните кого-нибудь, кто оттуда выбрался бы в Америку?

— Господин Кан, — сказал я, — Америка была для нас землей обетованной. В Гуре мы не могли и мечтать о ней. Кроме того, простите, я не захватил с собой никаких документов.

— Ничего. Раздобудем что-нибудь. Для вас сейчас самое главное — продлить пребывание здесь. Хотя бы на несколько недель. Или месяцев. Для этого потребуется адвокат — ведь времени осталось в обрез. В Нью-Йорке достаточно эмигрантов, которые имели в прошлом адвокатскую практику. Бетти это устроила бы в два счета. Но времени так мало, что лучше найти американского адвоката. Бетти и в этом нам поможет. А деньги у вас есть?

— Дней на десять хватит.

— То есть это деньги на жизнь. А сумму, которую требует адвокат, придется собрать. Думаю, она не будет

такой уж большой.—Кан улыбнулся.—Пока что эмигранты еще держатся вместе. Беда сплачивает людей лучше, чем удача.

Я взглянул на Кана. Его бледное, изможденное лицо до странности потемнело.

— У вас передо мной есть некоторое преимущество,— сказал я.— Вы еврей. И согласно подлой доктрине тех людей, не принадлежите к их нации. Я не удостоился такой чести. Я к ним принадлежу.

Как повернулся ко мне лицом.

— Принадлежите к их нации? — В его голосе слышалась ирония.— Вы в этом уверены?

— А вы нет?

Кан молча разглядывал меня. И мне стало не по себе.

— Я болтаю чушь! — сказал я наконец, чтобы прервать молчание.— Надеюсь, все это не имеет к нам отношения.

Кан все еще не сводил с меня глаз.

— Мой народ,— начал он, но тут же прервал сам себя: — Я тоже, кажется, горожу чушь. Пошли! Давайте разопьем бутылочку!

Пить я не хотел, но и отказаться не мог. Кан вел себя вполне спокойно и уравновешенно. Однако так же спокойно держался в Париже Иозеф Бер, когда я не согласился пить с ним ночь напролет из-за безмерной усталости. А наутро я обнаружил, что он повесился в своем нищенском номере.

Люди, не имевшие корней, были чрезвычайно нестойки — в их жизни случай играл решающую роль. Если бы в тот вечер в Бразилии, когда Стефан Цвейг и его жена покончили жизнь самоубийством, они могли бы излить кому-нибудь душу, хотя бы по телефону, несчастья, возможно, не произошло бы. Но Цвейг оказался на чужбине среди чужих людей. И совершил вдобавок роковую ошибку — написал воспоминания; а ему надо было бежать от них, как от чумы. Воспоминания захлестнули его. Потому-то и я так страшился воспоминаний. Да, я знал, что должен действовать, хотел действовать. И сознание это давило на меня, как тяжелый камень. Но прежде надо, чтобы кончилась война и чтобы я мог снова поселиться в Европе.

Я вернулся в гостиницу, и она показалась мне еще более унылой, чем прежде. Усевшись в старомодном холле, я решил ждать Меликова. Вокруг как будто никого не было, но внезапно я услышал всхлипыванья. В углу, возле кадки с пальмой, сидела женщина. Я с трудом разглядел Наташу Петрову.

Наверное, она тоже ждала Меликова. Ее плач действовал мне на нервы. К тому же у меня и так была тяжелая голова после выпивки. Помедлив секунду, я подошел к ней.

— Могу ли я вам чем-нибудь помочь?

Она не ответила.

— Что-нибудь случилось? — спросил я.

Наташа покачала головой:

— Что, собственно, должно случиться?

— Но вы ведь плачете.

— Что, собственно, должно случиться?

Я долго смотрел на нее.

— Есть же причина. Иначе вы не плакали бы.

— Вы уверены? — спросила она вдруг сердито.

Я бы с удовольствием ушел, но в голове у меня был полный сумбур.

— Обычно причина все же существует, — сказал я после краткой паузы.

— Неужели? Разве нельзя плакать без причины? Неужели все имеет свои причины?

Я бы не удивился, если бы Наташа заявила, что только тупые немцы имеют на все причину. Пожалуй, даже ждал этих слов.

— С вами так не случается? — спросила она вместо этого.

— Я могу себе это представить.

— С вами так не случается? — повторила она.

Можно было объяснить ей, что у меня, к сожалению, всегда оказывалось достаточно причин для слез. Представление о том, что можно плакать без всякой причины — просто от мировой скорби или от сердечной тоски, — могло возникнуть лишь в другом, более счастливом столетии.

— Мне было не до слез.

— Ну конечно! Где уж вам плакать!

Начинается, подумал я. Противник идет в атаку.

— Извините, — пробормотал я и собрался уходить. Не хватало мне только отражать наскоки плачущей женщины!

— Знаю, — сказала она с горечью, — идет война. И в такое время смешно плакать из-за пустяков. Но я реву — и все тут. Несмотря на то, что где-то далеко от нас разыгрываются десятки сражений.

Я остановился.

— Мне это понятно. Война здесь ни при чем. Пусть где-то убивают сотни тысяч людей... Если ты порежешь себе палец, боль от этого не утихнет.

Боже, какой вздор я несу, подумал я. Надо оставить эту истеричку в покое. Пусть себе рыдает на здоровье. Почему я не уйду? Но я продолжал стоять, будто она была последним человеком на этой земле. И вдруг я все понял: я боялся остаться один.

— Бесполезно,— повторяла она.— Решительно все бесполезно. Все, что мы делаем! Мы должны умереть. Никому не избежать смерти.

О господи! Вот до чего договорилась!

— Да, но тут существует много разных нюансов. Один из них состоит в том, как долго человеку удается избежать смерти.

Наташа не отвечала.

— Не хотите ли выпить чего-нибудь? — спросил я.

— Не выношу эту кока-колу. Дурацкий напиток!

— А как насчет водки?

Она подняла голову.

— Насчет водки? Водки здесь не достанешь, раз нет Меликова. Куда он, кстати, делся? Почему его до сих пор нет?

— Не знаю. Но у меня в номере стоит початая бутылка водки. Можем распить ее.

— Разумное предложение,— сказала Наташа Петрова. И прибавила: — Почему вы не внесли его раньше?

Водки было на доньшке. Я взял бутылку и с неохотой пошел обратно. Может, Меликов скоро явится? Тогда я буду играть с ним в шахматы до тех пор, пока не приду в равновесие. От Наташи Петровой я не ждал ничего путного.

Я подошел к столу в холле и почти не узнал ее. Слез как не бывало, она напудрилась и даже встретила меня улыбкой.

— Почему, собственно, вы пьете водку? Ведь у вас на родине ее не пьют.

— Правильно,— сказал я.— В Германии пьют пиво и шнапс, но я забыл свое отечество и не пью ни пива, ни шнапса. Насчет водки я, правда, тоже не большой мастак.

— Что же вы пьете?

Какой идиотский разговор, подумал я.

— Пью все что придется. Во Франции пил вино, если было на что.

— Франция..— сказала Наташа Петрова.— Боже, что с ней сделали немцы!

— Я здесь ни при чем. В это время я сидел во французском лагере для интернированных.

— Разумеется! Как враг.
— До этого я сидел в немецком концлагере. Тоже как враг.

— Не понимаю.

— Я тоже, — ответил я со злостью. И подумал: сегодня какой-то злосчастный день. Я попал в заколдованный круг и никак не вырвусь из него. — Хотите еще рюмку? — спросил я. Решительно нам не о чем было разговаривать.

— Спасибо. Пожалуй, больше не надо. Я уже до этого довольно много выпила.

Я молчал. И чувствовал себя ужасно. Вокруг люди — один из какой-то неприкаянный.

— Вы здесь живете? — спросила Наташа Петрова.

— Да. Временно.

— Здесь все живут временно. Но многие застревают на всю жизнь.

— Может быть. Вы тоже здесь жили?

— Да. Но потом переехала. И иногда думаю, лучше бы я никогда не уезжала отсюда. И лучше бы я никогда не приезжала в Нью-Йорк.

Я так устал, что у меня больше не было сил задавать ей вопросы. Кроме того, я знал слишком много судеб, выдающихся и банальных. Любопытство притупилось. И меня совершенно не интересовал человек, который сокрушался из-за того, что приехал в Нью-Йорк. Этот человек принадлежал к иному миру, миру теней.

— Мне пора, — сказала Наташа Петрова, вставая.

На секунду меня охватило нечто вроде паники.

— Разве вы не подождете Меликова? Он должен прийти с минуты на минуту.

— Сомневаюсь. Пришел Феликс, который его заменяет.

Теперь и я увидел маленького лысого человечка. Он стоял у дверей и курил.

— Спасибо за водку, — сказала Наташа. Она взглянула на меня своими серыми прозрачными глазами. Странно, иногда нужна самая малость, чтобы человеку помогло. Достаточно поговорить с первым встречным — и все в порядке.

Наташа кивнула мне и двинулась прочь. Она была еще выше ростом, чем я предполагал. Каблуки ее стучали о деревянный пол громко и энергично, словно затаптывали что-то. Звук ее торопливых шагов странно не соответствовал гибкой и тонкой фигуре, слегка покачивавшейся на ходу.

Я закупорил бутылку и подошел к стоявшему у дверей Феликсу — напарнику Меликова.

— Как живете, Феликс? — спросил я.

— Помаленьку, — ответил он не очень дружелюбно и взглянул на улицу. — Как мне еще жить?

Я вдруг почувствовал, что ужасно завидую ему. Стоит себе и спокойно покуривает. Огонек его сигареты стал для меня символом уюта и благополучия.

— Спокойной ночи, Феликс, — сказал я.

— Спокойной ночи. Может, вам что-нибудь нужно? Воды? Сигарет?

— Не надо. Спасибо, Феликс.

Я открыл свой номер, и на меня, подобно огромному валу, накатило прошлое. Казалось, оно поджидало моего прихода за дверью. Я бросился на кровать и вперил взгляд в серый четырехугольник окна. Теперь я был совершенно беспомощен. Я видел множество лиц и не видел иных знакомых лиц. Я беззвучно взывал о мести, понимая, что все тщетно; хотел кого-то задушить, но не знал кого. Мне оставалось только ждать. А потом я заметил, что ладони мои намокли от слез.

V

Адвокат заставил меня просидеть в приемной битый час. Я решил, что это нарочно: видно, так он обрабатывал клиентов, чтобы сделать их более податливыми. Но моя податливость была ему ни к чему. Я коротал время, наблюдая за двумя посетителями, сидевшими, как и я, в приемной. Один из них жевал резинку, другой пытался пригласить секретаршу адвоката на чашку кофе в обеденный перерыв. Секретарша только посмеивалась. И правильно делала! У этого типа была вставная челюсть, а на коротком толстом мизинце с обгрызанным ногтем сверкало бриллиантовое кольцо. Напротив стола секретарши между двумя цветными гравюрами, изображавшими уличные сценки в Нью-Йорке, висела окантованная табличка с одним словом — «Think»¹. Этот лапидарный призыв мыслить я замечал уже не раз. В коридоре гостиницы «Ройбен» он красовался в весьма неподходящем месте — перед туалетом.

Самое яркое проявление пруссачества, какое мне до сих пор довелось увидеть в Америке!

¹ Думай! (англ.)

Адвокат был широкоплечий мужчина с широким, плоским лицом. Он носил очки в золотой оправе. Голос у него был неожиданно высоким. Он это знал и старался говорить на более низких нотах и чуть ли не шепотом.

— Вы эмигрант? — прошептал он, не отрывая взгляда от рекомендательного письма, написанного, видимо, Бетти.

— Да.

— Еврей, конечно.

Я молчал. Он поднял глаза.

— Нет, — сказал я удивленно. — А что?

— С немцами, которые хотят жить в Америке, я дела не имею.

— Почему, собственно?

— Неужели я должен вам это объяснять?

— Можете не объяснять. Объясните лучше, почему вы заставили меня прождать целый час?

— Госпожа Штейн неправильно меня информировала.

— Я хочу задать вам встречный вопрос: а вы кто?

— Я — американец, — сказал адвокат громче, чем раньше, и потому более высоким голосом. — И не собираюсь хлопотать за нациста.

Я расхохотался.

— Для вас каждый немец обязательно нацист?

Его голос снова стал громче и выше:

— Во всяком случае, в каждом немце сидит потенциальный нацист.

Я снова расхохотался.

— Что? — спросил адвокат фальцетом.

Я показал на табличку со словом «Think!». Такая табличка висела и в кабинете адвоката, только здесь буквы были золотые.

— Скажем лучше так: в каждом немце и в каждом велосипедисте, — добавил я. — Вспомним старый анекдот, который рассказывали в девятнадцатом году в Германии. Когда кто-нибудь утверждал, будто евреи повинны в том, что Германия проиграла войну, собеседник говорил: «И велосипедисты тоже». А если его спрашивали: «Почему велосипедисты?» — он отвечал вопросом на вопрос: «А почему евреи?» Но это было в девятнадцатом. Тогда в Германии еще разрешалось думать, хотя это уже грозило неприятностями.

Я ждал, что адвокат выгонит меня, но на его лице расплылась широкая улыбка, и оно стало еще шире.

— Недурственно, — сказал он довольно низким голосом. — Я не слышал этого анекдота.

— Анекдот с бородой,— сказал я.— Сейчас в Германии больше не шутят, сейчас там только стреляют.

Адвокат снова стал серьезным.

— У меня слабость к анекдотам,— сказал он.— Тем не менее я стою на своем.

— И я тоже.

— Чем вы докажете свою правоту?

Я встал. Дурацкое жонглирование словами мне надоело. Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет.

Но тут адвокат с широким лицом вдруг сказал:

— Найдется у вас тысяча долларов?

— Нет,— ответил я резко.— У меня не найдется и сотни.

Он дал мне дойти почти до самой двери и только тогда спросил:

— Чем же вы собираетесь платить?

— Мне хотят помочь друзья, но я готов снова попасть в лагерь для интернированных, лишь бы не просить у них такой суммы.

— Вы уже сидели в лагере?

— Да,— сказал я сердито.— И в Германии тоже, но там они называются иначе.

Я уже ждал разъяснений этого горе-умника насчет того, что в немецких концлагерях сидят-де и уголовники, и профессиональные преступники. Что было, кстати, верно. Вот когда я перестал бы сдерживаться. Но на сей раз я не угадал. За спиной адвоката что-то тихонько скрипнуло, а потом раздалось грустное «ку-ку, ку-ку». Кукушка прокуковала двенадцать раз. Это были часы из Шварцвальда. Таких я не слышал с детства.

— Какая прелесть! — воскликнул я иронически.

— Подарок жене,— сказал адвокат слегка смущенно.— Свадебный подарок.

Я с трудом удержался, чтобы не спросить, не сидит ли в этих часах потенциальный нацист. Мне показалось, что в кукушке я вдруг обрел неожиданного союзника. Адвокат почти ласково сказал:

— Я сделаю для вас все, что смогу. Позвоните мне послезавтра утром.

— А как же с гонораром?

— Насчет этого я переговорю с госпожой Штейн.

— Я предпочел бы знать заранее.

— Пятьсот долларов,— сказал он.— В рассрочку, если хотите.

— Думаете, вам удастся мне помочь?

— Продлить визу мы во всяком случае сумеем. Потом придется опять ходатайствовать.

— Спасибо,— сказал я.— Позвоню вам послезавтра... Ну и фокусник! — не удержался я, спускаясь в тесном лифте этого узкогрудого дома. Моя попутчица бросила на меня испепеляющий взгляд. Она была в шляпке в виде ласточкиного гнезда, и когда кабина остановилась, со щек у нее посыпалась пудра. Я стоял, не глядя на даму, изобразив на лице полнейшее равнодушие. Мне уже говорили, что женщины в Америке чуть что зовут полицейского. «Think!» — было написано в лифте на дощечке красного дерева; дощечка висела над гневно покачивавшимися желтыми кудряшками дамы и над неподвижным гнездом с выводком ласточек.

В кабинах лифта я всегда начинаю нервничать. В них нет запасного выхода, и убежать из кабины трудно.

В молодости я любил одиночество. Но годы преследований и скитаний приучили меня бояться его. И не только потому, что оно ведет к размышлениям и тем самым нагоняет тоску. Одиночество опасно! Человек, который постоянно скрывается, предпочитает быть на людях. Толпа делает его безмянным. Он перестает привлекать к себе внимание.

Я вышел на улицу. И мне показалось, что тысячи безмянных друзей приняли меня в свой круг. Улица была распахнута настежь, и на каждом шагу я различал входы и выходы, закоулки и проулки. А главное, на улице была толпа, в которой можно было затеряться.

— Сами того не желая, мы волей-неволей перенимали мышление и логику преступников,— сказал я, обедая с Каном в дешевом кафе.— Вы, может быть, меньше, чем другие. Ведь вы наступали, отвечали ударом на удар. А мы только и делали, что подставляли спину. Как вы считаете, это пройдет?

— Страх перед полицией — навряд ли. Он вполне закономерен. Все порядочные люди боятся полиции. Страх этот коренится в недостатках нашего общественного строя. А другие страхи... Это зависит от нас самих. И скорее всего, страхи пройдут именно здесь. Америка создана эмигрантами. И каждый год тысячи людей получают здесь

гражданство.— Кан засмеялся.— Ну и нравы в Америке! Достаточно ответить утвердительно на два вопроса, чтобы прослыть хорошим парнем. «Любите ли вы Америку?» — «Да, это самая замечательная страна на свете» — «Хотите ли вы стать американцем?» — «Да, конечно, хочу!» И вот вас уже хлопают по плечу и объявляют своим в доску.

Я вспомнил адвоката, от которого только что вернулся.

— Не скажите И в Америке бывают свои кукушки!

— Что? — удивился Кан.

Я рассказал ему о заключительном эпизоде моей встречи с адвокатом.

— Этот тип обращался со мной как с прокаженным, — сказал я.

Кан не на шутку развеселился.

— Ай да кукушка! — смеялся он — Но ведь адвокат потребовал с вас всего пятьсот долларов. Таким способом он принес свои извинения! А как вам нравится пицца?

— Очень нравится. Не хуже, чем в Италии.

— Лучше, чем в Италии, Нью-Йорк — итальянский город. Кроме того, он испанский город, еврейский, венгерский, китайский, африканский и исто немецкий.

— Немецкий?

— Вот именно! Попробуйте сходить на Восемьдесят шестую улицу; там полным-полно пивных погребков «Гейдельберг», закусочных «Гинденбург», нацистов, немецко-американских клубов, гимнастических обществ и певческих ферейнов, исполняющих кантату «Ура герою в лавровом венце». И в каждом кафе есть столики для постоянных посетителей с черно-бело-красными флажками. Не подумайте худого! Не с черно-красно-золотыми, а именно с черно-бело-красными¹.

— Без свастики?

— Свастику на всеобщее обозрение не выставляют. В остальном американские немцы часто хуже тамошних. Живя вдали от Германии, они видят обожаемую родину — мать сквозь сентиментальный розовый флер, хотя в свое время покинули ее, потому что она обернулась для них злой мачехой, — сказал Кан насмешливо. — Советую вам послушать, как на этой улице разглагольствуют о патриотизме, пиве, рейнских мелодиях и чувствительности фюрера.

Я взглянул на него.

¹ Черно-бело-красный флаг — флаг кайзеровской Германии, а черно-красно-золотой — флаг Веймарской республики

— Что случилось? — спросил Кан.

— Ничего, — с трудом произнес я. — И все это здесь существует?

— Американцам на все наплевать. Они не принимают такие штуки всерьез. Несмотря на войну.

— Несмотря на войну, — повторил я.

Слово «война» здесь просто не звучало. Эта страна была отделена от своих войн океаном и половиной земного шара. Ее границы нигде не соприкасались с границами вражеских государств. Эту страну не бомбили. И не обстреливали.

— Войны заключаются в том, что армии переходят через границы и вступают на территории соседних стран, на территории врага. Где эти границы? В Японии и в Германии? Война кажется здесь ненастоящей. Ты видишь солдат, но не видишь раненых. Наверное, они остаются там. Или, может, их вообще у американцев не бывает?

— Бывают. И убитые тоже.

— Все равно это ненастоящая война.

— Настоящая! Самая настоящая!

Я посмотрел на улицу. Кан проследил за моим взглядом.

— Ну, что скажете: город все тот же? Он не изменился после того, как вы сильно продвинулись в английском?

— Как сказать! В первые дни он был для меня картиной или пантомимой. Теперь обрел реальность: в нем обозначились выпуклости и впадины. Город заговорил, и кое-что я уже улавливаю. Но не так много. Это еще усугубляет ощущение нереальности. Раньше каждый таксист казался мне сфинксом, а продавец газет — мировой загадкой. По сию пору я вижу в каждом официанте маленького Эйнштейна. Правда, этого Эйнштейна я понимаю. Если, конечно, он не рассуждает в данный момент о физике и математике. Но волшебство сохраняется только до тех пор, пока тебе ничего не надо. Когда тебе что-нибудь требуется, сразу возникают трудности. Очнувшись от своих философских грез, я скатываюсь до уровня школьника, отставшего от своих сверстников.

Кан заказал двойную порцию мороженого.

— Pistachio and lime¹, — крикнул он вдогонку официантке. Мороженое Кан заказывал уже во второй раз. — В Америке есть семьдесят два сорта мороженого, — сообщил он с мечтательным выражением лица. — Конечно, не

¹ Фисташковое и лимонное (англ.).

в этой закускойной, в больших кафе Джонсона и в аптеках. Приблизительно сорок сортов я уже перепробовал. Эта страна — рай для любителей мороженого! Между прочим, это разумное государство посылает своим солдатам, которые сражаются против японцев возле каких-то коралловых рифов, корабли, набитые мороженым и бифштексами.

Кан поглядел на официантку так, словно она несла в руках чашу святого Грааля.

— Фисташкового мороженого у нас нет, — сказала официантка — Я принесла вам мятное и лимонное. О'кей?

— О'кей.

Официантка улыбнулась.

— Какие здесь аппетитные женщины, — сказал Кан, — аппетитные, как все семьдесят два сорта мороженого, вместе взятые. Третью своих доходов они тратят на косметику. Кстати, иначе их не возьмут на работу. Пошлые законы человеческого естества не принимают здесь в расчет. Все обязаны быть молодыми. А если молодость ушла, ее возвращают искусственным путем. Внесите это наблюдение в вашу главу о нереальном мире.

Голос Кана успокаивал. Беседа журчала как ручеек.

— Вы, конечно, знаете «Après-midi d'un Fawne»¹, — сказал Кан. — Переиначив Дебюсси, можно сказать, что здесь вкушают «послеполуденный отдых» любители мороженого. Для нас такой отдых — целительный бальзам. Он излечивает больную душу. Правильно?

— В антикварной лавке мне приходится переживать нечто другое: «послеполуденный отдых» китайского мандарина незадолго до того, как его обезглавят.

— Проводите лучше свои послеполуденные часы с какой-нибудь американочкой. Вы поймете ровно половину того, что она будет лепетать, и, не напрягая особенно воображения, вернетесь в золотые дни своей bestialковой юности. Все, что человек не понимает, окутано для него тайной. Ваш житейский опыт не рассеет этих чар, вас спасет недостаточное знание языка. Глядишь, и вам удастся претворить в жизнь одну из человеческих фантазий, так сказать, малого формата — еще раз пережить былое, уже обладая мудростью зрелого человека и вновь возвращенной восторженностью юности. — Кан засмеялся. — Не упускайте случая! Каждый день вы что-нибудь да теряете. Чем больше знакомых слов, тем меньше очарования. Еще

¹ «Послеполуденный отдых фавна» (фр) — произведение французского композитора Дебюсси.

сейчас любая здешняя женщина для вас заморское диво, экзотическое и загадочное. Но с каждым новым словом, которое вы заучиваете, диво приобретает все более зримые черты домохозяйки, ведьмы или красавицы с конфетной коробки. Храните, как лучший дар судьбы, свой нынешний возраст, оставайтесь подольше десятилетним школьником К сожалению, вы быстро состаритесь — уже через год вам стукнет тридцать четыре. — Взглянув на часы, Кан подозвал официантку в фартуке с голубыми полосками. — Последнюю порцию! Ванильного.

— У нас есть еще миндальное.

— Тогда и миндального. И один шарик малинового! — Кан посмотрел на меня. — Я тоже осуществляю мечту своей юности. Только еще более примитивную. Заказываю столько мороженого, сколько душе угодно. Здесь я впервые в жизни имею эту возможность. Для меня она — символ свободы и беззаботности. А это, как известно, понятия, в которые мы там, за океаном, уже перестали верить. В какой форме мы здесь обрели и то и другое, это уже не важно

Прищурившись, я смотрел на пыльную улицу, на сплошной поток автомобилей. Рокот моторов и шуршание шин сливались в один монотонный гул, который усыплял меня.

— А пока? Что бы вы хотели делать? — спросил Кан, помолчав немного

— Ни о чем не думать, — сказал я. — И как можно дольше.

Лоу-старший спустился ко мне в подвал, который шел под улицей. Он держал в руках бронзовую скульптуру.

— Как вы считаете — что это?

— А чем это должно быть?

— Бронзой эпохи Чжоу. Или даже Тан. Патина выглядит неплохо. Правда?

— Вы купили эту скульптуру?

Лоу ухмыльнулся.

— Без вас не стал бы. Мне ее принес один человек Он ждет наверху в лавке. Просит за нее сто долларов. Отдаст, стало быть, за восемьдесят По-моему, дешево.

— Слишком дешево, — сказал я, рассматривая скульптуру — Этот человек — перекупщик?

— Не похоже. Молодой парень, уверяет, что получил скульптуру в наследство, а теперь нуждается в деньгах. Она — настоящая?

— Да, это китайская бронза. Но не эпохи Чжоу или Тан. Скорее, периода Тан или еще более позднего — Сун или Мин. Копия эпохи Мин, подражание более древней скульптуре. Причем подражали не так уж тщательно. Маски Дао-дзы выполнены не точно, да и спирали сюда не подходят — они получили распространение лишь после династии Хань. И в то же время декор — копия декора эпохи Тан, сжатый, простой и сильный. Однако если бы изображение россомахи и основной орнамент относились к тому же периоду, они были бы значительно яснее и четче. Кроме того, в орнаменте попадаются сравнительно мелкие завитушки, которых на настоящей древней бронзе не встретишь.

— А как же патина? Она ведь очень красивая!

— Господин Лоу, — сказал я. — Можете не сомневаться, это довольно древняя патина. Но на ней не видно малахитовых прожилок. Вспомните, что китайцы уже в эпоху Хань копировали и закапывали в землю скульптуры эпохи Чжоу. Патина у них всегда была отменная, хотя сама вещь не обязательно создавалась в эпоху Чжоу.

— Какая цена этой бронзе?

— Долларов двадцать — тридцать. Но в таких вещах вы понимаете лучше, чем я.

— Хотите подняться со мной? — спросил Лоу; в голубых глазах его появился кровожадный блеск.

— Мне обязательно идти?

— Разве вам это не доставит удовольствия?

— Что именно? Вывести на чистую воду мелкого мошенника? Зачем? К тому же я не думаю, что он мошенник. Кто в наше время разбирается в древней китайской бронзе?

Лоу бросил на меня быстрый взгляд.

— Ну, ну! Прошу без намеков, господин Росс.

Размахивая руками, толстяк затопал по лестнице в лавку, — он был маленького роста, кривоногий и очень энергичный. Лестница подрагивала под его шагами, со ступенек летела пыль. Какое-то время я видел только развевающиеся брючины и ботинки. туловище моего хозяина уже было в лавке. В это мгновение мне показалось, что передо мной не Лоу-старший, а круп театральная лошадка.

Через несколько минут ноги появились снова. А потом я узрел и бронзовую скульптуру.

— Купил! — сообщил мне Лоу. — Купил за двадцать долларов. Мин в конце концов тоже не так плохо.

— Безусловно, — согласился я

Я знал, что Лоу купил эту бронзу только из желания показать, что и он кое-что смыслит в своем деле. Пусть не в китайском искусстве, зато в купле-продаже. Теперь толстяк внимательно наблюдал за мной.

— Долго вы еще собираетесь здесь работать? — спросил он.

— Всего?

— Да.

— Это зависит от вас. Хотите, чтобы я сматывал удочки?

— Нет, нет. Но держать вас вечно мы тоже не можем. Вы ведь скоро кончите? Чем вы занимались раньше?

— Журналистикой.

— Разве нельзя к этому вернуться?

— С моим знанием английского?

— Вы уже совсем неплохо болтаете по-английски.

— Помилуй бог, господин Лоу! Я не могу написать простого письма без ошибок.

Лоу задумчиво почесал лысину бронзовой фигуркой. Если бы бронза была эпохи Чжоу, он, наверное, обращался бы с нею более почтительно.

— А в живописи вы тоже смыслите?

— Самую малость. Так же, как в бронзе.

Он усмехнулся.

— Лучше, чем ничего. Придется мне пораскинуть мозгами. Может быть, кто-нибудь из моих коллег нуждается в помощнике. Правда, в делах сейчас застой. Вы это сами видите по нашей лавке. Но с картинами ситуация несколько иная. В особенности с импрессионистами. А уж старые полотна сейчас совершенно обесценены. Словом, посмотрим.

Лоу снова грузно затопал по лестнице.

До свидания, подвал, сказал я мысленно. Некоторое время ты был для меня второй родиной, темным прибежищем. Прощайте, позолоченные лампы конца девятнадцатого века, прощайте, пестрые вышивки 1890 года и мебель эпохи короля-буржуа Луи Филиппа, прощайте, персидские вазы и легконогие китайские танцовщицы из гробниц династии Тан, прощайте, терракотовые кони и все другие безмолвные свидетели давно отшумевших цивилизаций. Я люблю вас всем сердцем и провел в вашем обществе мое второе американское отрочество — от десяти лет до пятнадцати! Ahoi u evoe! Представляя против воли одно из самых поганых столетий, я и приветствую вас! И при этом чувствую себя запоздавшим и безоружным глади-

тором, который попал на арену, где кишмя кишат гиены и шакалы и почти нет львов. Я приветствую вас как человек, который намерен радоваться жизни до тех пор, пока его не сожрут.

Я раскланялся на все четыре стороны. И благословил антикварную рухлядь справа и слева от меня, а потом взглянул на часы. Мой рабочий день кончился. Над крышами домов алел закат, и редкие световые рекламы уже начали излучать мертвенное сияние. А из закусочных и ресторанов по-домашнему запахло жиром и луком.

— Что здесь такое стряслось? — спросил я Меликова, придя в гостиницу.

— Рауль решил покончить с собой.

— С каких это пор?

— С середины сегодняшнего дня. Он потерял Кики, который вот уже четыре года был его другом.

— В этой гостинице без конца плачут, — сказал я, прислушиваясь к сдерживаемым рыданиям в плюшевом холле, которые доносились из угла, где стояли кадки с растениями. — И почему-то обязательно под пальмами.

— В каждой гостинице много плачут, — пояснил Меликов.

— В отеле «Ритц» тоже?

— В отеле «Ритц» плачут, когда на бирже падает курс акций. А у нас, когда человек внезапно осознает, что он безнадежно одинок, хотя до сих пор не хотел этому верить.

— Кики попал под машину?

— Хуже. Обручился. Для Рауля — это трагедия. Женщина! Исконный враг! Предательство! Оскорбление самых святых чувств! Лучше б он умер.

— Бедняги гомосексуалисты! Им приходится сражаться сразу на двух фронтах. Против мужчин и против женщин.

Меликов ухмыльнулся.

— До твоего прихода Рауль обронил немало ценных замечаний насчет слабого пола. Самое неизощренное из них звучало так: отвратительные тюлени с ободранной кожей... Хорошо, что ты пришел. Надо водворить его в номер. Здесь внизу ему не место. Помоги мне. Этот парень весит сто кило.

Мы подошли к уголку с пальмами.

— Он вернется, Рауль, — прошептал Меликов.

Мы тщетно пытались оторвать Рауля от стула. Он оперся о мраморный столик и продолжал хныкать. Меликов снова начал взывать к нему. После долгих усилий нам удалось, наконец, приподнять его! Но тут он наступил мне на ногу. Стокилограммовая туша!

— Осторожней! Чертова баба! — заорал я.
— Что?
— То самое! Нечего распускать нюни! Старая баба!
— Я — старая баба? — возмутился Рауль. От неожиданности он несколько пришел в себя.
— Господин Росс хотел сказать совсем не то, — успокаивал его Меликов.
— И вовсе нет. Я хотел сказать именно то.
Рауль провел ладонью по глазам.
Мы смотрели на него, ожидая, что он сейчас истерически завизжит. Но он заговорил очень тихо.
— Я — баба? — Видно было, что он смертельно оскорблен.
— Этого он не говорил, — соврал Меликов. — Он сказал — как баба.
Мы без особого труда довели его до лестницы.
— Несколько часов сна, — заклинал Меликов — Одна или две таблетки сегонала. Освежающий сон. А после — чашка крепкого кофе. И вы увидите все в ином свете.
Рауль не отвечал.
— Почему вы нянчитесь с этим жирным кретином? — спросил я.
— Он наш лучший постоялец. Снимает двухкомнатный номер с ванной.

VI

Я бесцельно бродил по улицам, боясь возвращаться в гостиницу. Ночью я видел страшный сон и пробудился от собственного крика. Мне и прежде часто снилось, что за мной гонится полиция. Или же меня мучили кошмары, которые мучили всех эмигрантов: я вдруг оказывался по ту сторону немецкой границы и попадал в лапы эсэсовцев. Это были сны, вызванные отчаянием: шутка ли, из-за собственной глупости оказаться в Германии. Ты просыпался с криком, но потом, осознав, что по-прежнему находишься в Нью-Йорке, выглядывал в окно, видел ночное небо в красных отсветах и снова осторожно вытягивался на постели: да, ты спасен! Однако сон, который я видел сегодня ночью, был иной — расплывчатый, навязчивый, темный, липкий, как смола, и нескончаемый... Незнакомая женщина, растерянная и бледная, беззвучно взывала о помощи, но я не мог ей помочь. И она медленно погружалась в вязкую трясиину, в кашу из дегтя, грязи и запекшейся крови, — погружалась, обратив ко мне окаменевшее лицо. Я видел

немую мольбу в ее испуганных белых глазах, видел чер-
ный провал рта, к которому подползала темная липкая
жижа. А потом вдруг появились «коммандос». Я увидел
вспышки выстрелов, услышал пронзительный голос с сак-
сонским акцентом, увидел мундиры, почуял ужасный запах
смерти, тления и огня, увидел печь с распахнутыми двер-
цами, где полыхало яркое пламя, увидел растерзанного
человека, который еще двигался, вернее, шевелил рукой,
всего лишь одним пальцем; увидел, как палец этот очень
медленно согнулся и как другой человек растоптал его.
И тут же раздался чей-то вопль, вопли обрушились на меня
со всех сторон, отдаваясь гулким эхом...

Я остановился у витрины, но не замечал ничего вокруг.
Только спустя некоторое время я понял, что стою на Пя-
той авеню перед ювелирным магазином «Ван Клееф и Ар-
пельс». В непонятном страхе я убежал из лавки братьев
Лоу, ибо подвал антикваров напомнил мне сегодня в пер-
вый раз тюремную камеру. Я инстинктивно искал общест-
ва людей, хотел очутиться на широких улицах. Так я по-
пал на Пятую авеню.

Теперь я не отрывал взгляда от диадемы, некогда при-
надлежавшей французской императрице Евгении. При
электрическом свете бриллиантовые цветы диадемы, по-
коившиеся на черном бархате, ослепительно сверкали. По
одну сторону от нее лежал браслет из рубинов, изумрудов
и сапфиров, по другую — кольца и солитеры.

— Что бы ты выбрала из этой витрины? — спросила де-
вица в красном костюме свою спутницу.

— Сейчас самое модное — жемчуг. В свете носят только
жемчуг.

— Искусственный или настоящий?

— И тот и другой. Черное платье с жемчугом. Только
это считается шиком в высшем обществе.

— По-твоему, Евгения не принадлежала к высшему об-
ществу?

— Когда это было!

— Все равно, от этого браслета я не отказалась бы, —
сказала девица в красном.

— Чересчур пестро, — отрезала ее спутница.

Я двинулся дальше. Время от времени я останавливал-
ся у табачных лавок, у обувных магазинов и магазинов
фарфора или у гигантских витрин модных портных, перед
которыми толпа зевак пожирала глазами каскады шелка,
переливавшегося всеми цветами радуги. Я смешивался с
толпой зевак и сам пожирал глазами витрины, жадно при-

слушиваясь и ловя обрывки фраз, как рыба, выброшенная из воды, ловит ртом воздух. Я пролодид сквозь эту вечернюю сумятицу жизни, желая слиться с людским потоком, но поток не принимал меня. Куда бы я ни шел, меня сопровождала белесая тень, подобно тому, как Ореста сопровождало далекое завывание фурий.

Сперва я хотел разыскать Кана, но потом раздумал. Я не желал видеть никого, кто напоминал бы мне прошлое. Даже Меликова.

Избавиться от сегодняшнего ночного кошмара было трудно. Обычно при дневном свете сны выцветали и рассеивались, через несколько часов от них оставалось лишь слабое, похожее на облачко воспоминание, с каждой минутой оно бледнело, а потом и вовсе исчезало. Но этот сон, хоть убей, не пропадал. Я отгонял его, он не уходил. Оставалось ощущение угрозы, мрачной, готовой вот-вот сбыться.

В Европе я редко видел сны. Я был поглощен одним желанием — выжить. Здесь же я почувствовал себя спасенным. Между мной и прошлой жизнью пролег океан, необъятная стихия. И во мне пробудилась надежда, что затонувший пароход, который словно призрак пробрался между подводными лодками, навсегда ускользнул от теней прошлого. Теперь я знал, что тени шли за мной по пятам, они заползали туда, где я не мог с ними справиться, заползали в мои сны, в мое подсознание, громоздившее каждую ночь причудливые миры, которые каждое утро рушились. Но сегодня эти призрачные миры не хотели исчезать, они окутывали меня, подобно липкому мокрому дыму — от этого дыма мурашки бегали у меня по спине, — подобно отвратительному, сладковатому дыму. Дыму крематориев.

Я оглянулся: за мной никто не наблюдал. Вечер был такой безмятежный. Казалось, покой клубится между каменными громадами зданий, на фасадах которых поблескивают тысячи глаз — тысячи освещенных окон. Золотистые ряды витрин, высотой в два-три этажа, ломились от ваз, картин и мехов, от старинной полированной мебели шоколадного цвета, освещенной лампами под шелковыми абажурами. Вся эта улица буквально лоснилась от чудовищного мещанского самодовольства. Она напоминала книжку для малышей с пестрыми картинками, которую перелистывал добродушный бог расточительства, приговаривая при этом: «Хватайте! Хватайте! Достанет на всех!»

Мир и покой! На этой улице в этот вечерний час вновь пробуждались иллюзии, увядшая любовь расцветала опять, и всходы надежд зеленели под благодатным ливнем жи

во спасение. То был час, когда поднимала голову мания величия, расцветали желания и умолкал голос самоуничтожения, час, когда генералы и политики не только понимали, но на краткий миг чувствовали, что и они тоже люди и не будут жить вечно

Как я жаждал породниться с этой страной, которая раскрашивала своих мертвецов, обожествляла молодость и посылала солдат умирать за тридцать земель в незнакомые страны, послушно умирать за дело, неведомое им самим.

Почему я не мог стать таким же, как американцы? Почему принадлежал к племени людей, лишенных родины, спотыкавшихся на каждом английском слове? Людей, которые с громко бьющимся сердцем подымались по бесчисленным лестницам или взлетали вверх в бесчисленных лифтах, чтобы потом брести из комнаты в комнату,— племена людей, которых в этой стране терпели не любя и которые полюбили эту страну только за то, что она их терпела?

Я стоял перед табачной лавкой фирмы «Данхилл» Трубки из коричневого дерева с «пламенем» матово блестели своими гладкими боками — они казались символами респектабельности и надежности, они обещали изысканные радости, спокойные вечера, заполненные приятной беседой, и ночи в спальне, где от мужских волос пахнет медом, ромом и дорогим табаком и где из ванной доносится тихая возня не слишком тощей хозяйки, приготавливающей к ночи в широкой постели. Как все это не похоже на сигареты там, в Европе, сигареты, которые докуривают почти до конца, а потом торопливо гасят; как это не похоже на дешевые сигареты «Голуаз», пахнущие не уютом и довольством, а только страхом.

Я становлюсь омерзительно сентиментальным, подумал я. Просто смешно! Неужели я стал одним из бесчисленных Агасферов и тоскую по теплой печке и вышитым домашним туфлям? По затхлому мещанскому благополучию и привычной скуке обывательского житья?

Я решительно повернулся и пошел прочь от магазинов Пятой авеню. Теперь я шел на запад и, миновав сквер, отданный во власть подонкам и дешевым театришкам бурлеска, вышел на улицы, где люди молча сидели у дверей своих домов на высоких крылечках, а детишки копошились между узкими коробками домов из бурого камня, похожие на грязных белых мотыльков. Взрослые показались мне усталыми, но не слишком озабоченными, если можно было доверить защитному покрову темноты.

Мне нужна женщина, думал я, приближаясь к гостинице «Ройбен». Женщина! Глупая, хохочущая самка с крашеными желтыми волосами и покачивающимися бедрами. Женщина, которая ничего не понимает и не задает никаких вопросов, кроме одного, достаточно ли у тебя при себе денег. И еще я хочу бутылку калифорнийского бургундского и, пожалуй, немного дешевого рома, чтобы смешать его с бургундским. Эту ночь я должен провести у женщины, ибо мне нельзя возвращаться в гостиницу. Нельзя возвращаться в гостиницу. В эту ночь никак нельзя.

Но где найти такую женщину? Такую девушку? Шлюху? Нью-Йорк — не Париж. Я уже по опыту знал, что нью-йоркская полиция придерживается пуританских правил, когда дело касается бедняков. Шлюхи не разгуливают здесь по улицам, и у них нет опознавательных знаков — зонтиков и сумок необъятных размеров. Есть, конечно, номера телефонов, но для этого нужно время и знание этих номеров.

— Добрый вечер, Феликс,— сказал я — Разве Меликов еще не пришел?

— Сегодня суббота,— ответил Феликс.— Мое дежурство.

Правильно. Сегодня суббота. Я совсем об этом забыл. Мне предстояло длинное, унылое воскресенье, и внезапно на меня напал страх.

В номере у меня еще оставалось немного водки и, кажется, несколько таблеток снотворного. Невольно я подумал о толстом Рауле. А ведь только вчера я насмеялся над ним. Теперь и я чувствовал себя бесконечно одиноким.

— Мисс Петрова тоже спрашивала Меликова,— сказал Феликс.

— Она уже ушла?

— Нет, по-моему. Хотела подождать еще несколько минут.

Наташа Петрова шла мне навстречу по тускло освещенному плюшевому холлу.

Надеюсь, она не будет сегодня плакать, подумал я и снова удивился тому, какая она высокая

— Вы опять торопитесь к фотографу? — спросил я.

Она кивнула.

— Хотела выпить рюмку водки, но Владимира Ивановича сегодня нет. Совсем забыла, что у него свободный вечер.

— У меня тоже есть водка,— сказал я поспешно,— могу принести.

— Не трудитесь. У фотографа сколько угодно выпивки. Просто я хотела немного посидеть здесь.

— Все равно сейчас принесу. Это займет не больше минуты.

Я взбежал по лестнице и открыл дверь. Бутылка поблескивала на подоконнике. Не глядя по сторонам, я взял ее и прихватил два стакана. В дверях я обернулся. Ничего — ни теней, ни призраков. Недовольный собою, я покачал головой и пошел вниз.

Наташа Петрова показалась мне на этот раз не такой, какой я ее представлял. Менее истеричной и более похожей на американку. Но вот раздался ее хрипловатый голос, и я услышал, что она говорит с легким акцентом. Не с русским, а скорее с французским, — насколько я мог об этом судить. На голове у нее был сиреневый шелковый платок, небрежно повязанный в виде тюрбана.

— Чтобы не испортить прическу, — пояснила Наташа. — Сегодня мы снимаемся в вечерних туалетах.

— Вам нравится здесь сидеть? — спросил я.

— Я вообще люблю сидеть в гостиницах. В гостиницах не бывает скучно. Люди приходят и уходят. Здороваются и прощаются. Это и есть лучшие минуты в жизни.

— Вы так считаете?

— Наименее скучные, во всяком случае. А все, что между ними... — Она нетерпеливо махнула рукой. — Правда, большие гостиницы безлики. Там человек слишком тщательно скрывает свои эмоции. Тебе кажется, что в воздухе пахнет приключениями, но приобщиться к ним невозможно.

— А здесь можно?

— Скорее. Здесь люди распускаются. Я, между прочим, тоже. Кроме того, мне нравится Владимир Иванович. Он похож на русского.

— Разве он не русский?

— Нет, он чех. Правда, деревня, из которой он родом, раньше принадлежала России, но после девятнадцатого года она стала чешской. Потом ее оккупировали нацисты. Похоже, что скоро она опять станет русской или чехословацкой... Навряд ли ее заберут американцы. — Засмеявшись, Наташа встала. — Мне пора. — Секунду она колебалась, потом предложила: — Почему бы вам не пойти со мной? Вы с кем-нибудь условились на вечер?

— Ни с кем не уславливался, но боюсь, что фотограф меня выгонит.

— Никки? Странная мысль. У него всегда масса народа. Одним человеком больше или меньше — какая разница! Все это немножко богема!

Я догадался, почему она пригласила меня к фотографу: чтобы сгладить неловкость, возникшую в первые минуты знакомства. Собственно, мне не очень хотелось идти с нею. Что мне там делать? Но сегодня вечером я был рад любому приглашению, лишь бы не сидеть в гостинице. В отличие от Наташи Петровой я не ждал приключения. А в эту ночь и подавно.

— Поедем на такси? — спросил я в дверях.

Наташа расхохоталась.

— Постояльцы гостиницы «Ройбен» не берут такси. Это я хорошо усвоила. Кроме того, нам совсем недалеко. А вечер просто чудесный. Ночи в Нью-Йорке! Нет, я не создана для сельской идиллии. А вы?

— Право, не знаю.

— Вы никогда об этом не думали?

— Никогда, — признался я. — Да и когда мне было об этом думать? Непозволительная роскошь! Приходилось радоваться, что ты вообще жив.

— Стало быть, у вас еще многое впереди, — сказала Наташа Петрова. Она шла против потока пешеходов, похожая на узкую, легкую яхту, и ее профиль под сиреневым тюрбаном напоминал профиль фигуры на носу старинного корабля, фигуры, которая спокойно возвышается над водой, обрызганная пеной и устремленная в неведомое. Наташа шла быстро, резким шагом, как будто ей узка юбка. Она не семенила и дышала всей грудью. Я подумал, что в первый раз за все свое пребывание в Америке иду вдвоем с женщиной. И чувствую это!

Ее встретили как любимое дитя, которое где-то долго пропадало. В огромном голом помещении, освещенном софитами и уставленном белыми ширмами, разгуливало человек десять. Фотограф и еще двое каких-то типов обняли и расцеловали Наташу; еле тлевшая болтовня быстро разгорелась. Меня тут же представили. Одновременно кто-то разносил водку, виски и сигареты. А потом я вдруг оказался сидящим в кресле несколько в стороне от остальной публики: обо мне забыли.

Но я не горевал. Я увидел то, чего еще никогда не видел. Здесь распаковывали огромные картонки с платьями, если их за занавес, а потом опять выносили. Все с жаром

спорили о том, что следует снимать в первую очередь. Кроме Наташи Петровой в ателье были еще две манекенщицы: блондинка и брюнетка в серебряных туфельках на высоких каблуках. Они были очень красивы.

— Сперва пальто! — заявила энергичная дама.

— Нет, сперва вечерние туалеты, — запротестовал фотограф, худощавый светловолосый человек с золотой цепочкой на запястье. — Иначе они сомнутся.

— Их вовсе не обязательно надевать под пальто. А пальто надо вернуть как можно скорее. В первую очередь — меховые манто, фирма ждет их.

— Ладно! Начнем с мехов.

И все заспорили снова, как надо фотографировать меха. Я прислушивался к спору, но ничего не мог разобрать. Веселое оживление и тот пыл, с каким каждый приводил свои доводы, делало все это похожим на сцену из какого-то спектакля. Чем не «Сон в летнюю ночь»! Или какая-нибудь музыкальная комедия в стиле рококо, — например, «Кавалер роз». Или фарс Нестроя! Правда, сами участники представления воспринимали свои действия всерьез и горячились не на шутку. Но от этого все происходящее еще больше напоминало пантомиму и казалось совершенно нереальным. Ей-богу, каждую секунду в комнату под звуки рога мог вбежать Оберон!

Но вот свет софитов направили на белую ширму, к которой подтащили гигантскую вазу с искусственными цветами — дельфиниумами. Одна из манекенщиц в серебряных туфельках на высоких каблуках вышла в бежевой меховой накидке. Директриса модного ателье бросилась одергивать и разглаживать накидку; два софита, которые находились чуть ниже других, тоже вспыхнули, и манекенщица замерла на месте, словно ее взяли на мушку.

— Хорошо! — воскликнул Никки. — Еще раз, darling¹.

Я откинулся на спинку кресла. Да, хорошо, что я пришел сюда. Лучшего нельзя было и придумать.

— А теперь Наташа, — произнес чей-то голос. — Наташа в шубке из каракульчи.

Наташа появилась совершенно неожиданно. Тоненькая женская фигурка, закутанная в черный блестящий мех, уверенно стояла на фоне белой ширмы. На голове у нее было нечто вроде берета из того же самого легкого и блестящего меха.

— Отлично! — возопил Никки. — Стой как стоишь! — Он отогнал директрису, которая хотела что-то поправить. —

¹ Дорогая (англ.).

Потом мы сделаем еще несколько снимков. А на этот раз не надо придуманных поз.

Боковые софиты устремились на маленькое узкое лицо, глаза Наташи были сейчас прозрачно-голубые; при сильном свете, лившемся со всех сторон, они сверкали, подобно звездам.

— Снимаю! — крикнул Никки.

Наташа Петрова не замирала на месте, как обе ее товарки. Она просто стояла, не шевелясь, будто это было для нее вполне естественное состояние.

— Хорошо! — похвалил Никки. — А теперь распахни пальто.

Наташа развела полы шубки, словно крылья бабочки. Минуту назад пальто казалось очень узким, на самом деле оно было с огромным запахом. Я увидел белую подкладку в большую серую клетку.

— Держи полы, — крикнул Никки, — разведи их, пошире. Ты похожа на бабочку «Павлиный глаз». Молодец!

— Как вам здесь нравится? — спросил меня кто-то. Это был бледный черноволосый мужчина со странно блестящими, темными, как вишни, глазами.

— Ужасно нравится, — ответил я чистосердечно.

— Конечно, сейчас мы не располагаем моделями от Баллансиаги и от прославленных французских портных. Таковы последствия войны, — прибавил незнакомец, тихонько вздохнув. — Но Майнбохер и Валентин тоже смотрятся неплохо. Как, по-вашему?

— Совершенно верно, — подтвердил я, не имея понятия, о чем идет речь.

— Будем надеяться, что все это скоро кончится и мы опять начнем получать первоклассные ткани. Лионский шелк...

Незнакомца позвали, он встал. Причина, по которой он проклинал эту войну, вовсе не показалась мне смешной. Наоборот, здесь она выглядела на редкость разумной.

Потом фотограф начал снимать вечерние туалеты. И внезапно около меня очутилась Наташа Петрова. На ней было длинное белое обтягивающее платье с большим декольте.

— Вы не очень скучаете? — спросила Наташа.

— Что вы? Совсем нет, — сказал я, несколько смешавшись, и с удивлением воззрился на нее — По-моему, меня преследуют галлюцинации. Правда, на сей раз приятные. Эту диадему я видел не далее как сегодня днем в витрине у «Ван Клеефа и Арпельса». Как странно.

Наташа засмеялась.

— У вас зоркий глаз.

— Это действительно та же диадема?

— Да. Журнал, для которого мы делаем снимки, взял ее напрокат. Неужели вы могли подумать, что я купила диадему?

— Бог его знает! Сегодня ночью все мне кажется возможным. Никогда в жизни не видел столько платьев и шуб.

— Что вам больше всего понравилось?

— Трудно сказать. Наверное, та широкая и длинная накидка из черного бархата, которую показывали вы. Она могла бы быть от Балансиаги.

Наташа быстро повернулась и смерила меня взглядом.

— Она и есть от Балансиаги. А вы — шпион?

— Шпион? В шпионаже меня еще никто не обвинял. Интересно, на какую страну я работаю?

— На другую фирму. На наших конкурентов. Вы той же специальности, что и все здесь? Признайтесь. Иначе вы никак не могли бы отгадать, что накидка от Балансиаги.

— Наташа Петрова, — торжественно начал я, — клянусь, что еще десять минут назад имя Балансиаги было мне совершенно неизвестно. Услышав его, я подумал бы, что это марка автомобилей. Вон тот бледный господин назвал мне это имя впервые. Он сказал, правда, что модели от Балансиаги не попадают сейчас за океан. Я просто пошутил.

— И попали в самую точку. Накидка и впрямь от Балансиаги. Переправлена в Америку на бомбардировщике. На «летающей крепости». Так сказать, контрабандным путем.

— Прекрасное применение для бомбардировщиков. Будем надеяться, что все последуют вашему примеру и на земле наступит золотой век.

— Так. Вы, стало быть, не шпион. Мне даже жаль. Все равно с вами надо держать ухо востро. Вы слишком быстро все схватываете. А питья у вас достаточно?

— Спасибо. Вполне достаточно.

Наташу позвали.

— После съемок мы поедем развлекаться. Посидим часок в «Эль Марокко». Так принято, — сказала она, отходя от меня. — Поедете?

Я не стал отвечать. Разумеется, я не мог поехать с ними. Для таких развлечений я был слишком беден. Придется объяснить ей это потом. Не очень приятная перспектива. Но время еще есть. Пока что я плыл по течению. Не хоте-

лось думать ни о завтрашнем дне, ни даже о ближайшем часе. Смуглая манекенщица, которую только что снимали в длинном суконном пальто бутылочного цвета, сбросила его, чтобы надеть другое. Платья на ней не оказалось, только белье. Никого это, впрочем, не смутило. Видимо, для присутствующих это было не в новинку, да к тому же среди здешних мужчин были и гомосексуалисты. Смуглая манекенщица показалась мне очень красивой, она обладала небрежной и несколько ленивой самоуверенностью женщины, знающей, что всегда выйдет победительницей, и не слишком этому радующейся. Я видел и Наташу Петрову, наблюдал, как она меняет туалеты. Она была светлая, длиннотелая и стройная, и кожа ее напоминала почему-то лунный свет и жемчуг. Я не сказал бы, что она «мой тип», — «моим типом» была скорее темноволосая манекенщица, которую звали Соня... Мысли эти были не очень четкие, они расплывались. И в душе я порадовался, что у меня не возникало никаких определенных желаний и ассоциаций. Но больше всего я радовался, что не сижу в гостинице. Правда, меня несколько изумляло, что едва знакомые женщины представляли передо мной в таких позах, словно мы давно знали друг друга. Это напоминало миниатюру на эмали: множество разноцветных слоев наложено на основной слой, который, хотя его как будто и не видно, сообщает теплый тон всему изображению.

Только после того, как туалеты были уложены в картонки, я объяснил Наташе Петровой, что не могу идти со всей компанией в «Эль Марокко». Я уже знал, что это самое дорогое ночное кабаре в Нью-Йорке.

— Почему вы отказываетесь? — спросила Наташа.

— У меня нет денег.

— Вот дурень! Нас ведь тоже пригласили. Неужели вы думаете, что я заставила бы вас платить?

Она засмеялась, как всегда хриловато. И хотя смех ее напомнил мне, сам не знаю почему, смех сутенера, у меня вдруг появилось приятное чувство, что я нахожусь в кругу сообщников

— А драгоценности? Ведь их надо вернуть.

— Завтра. Это взял на себя журнал. А сейчас мы будем пить шампанское.

Я больше не протестовал. День кончался для меня совершенно неожиданно: я увидел жизнь в самых ее разных обличьях — сперва мне было смешно, потом я испытал чувство чистой благодарности. Меня уже не удивляло, что мы сидим в одном из отдельных кабинетов «Эль Марокко»

и что какой-то венец исполняет немецкие песни, хотя Америка и Германия находятся в состоянии войны. Я понимал только, что в Германии это было бы невозможно. А между тем в ресторане сидело много американских офицеров. Мне казалось, что я долго брел по пустыне и вдруг увидел оазис. Время от времени я,— правда, потихоньку — пересчитывал в кармане пятьдесят долларов — все мое состояние, готовый по первому требованию бросить его на ветер. Но никто от меня ничего не требовал. Так выглядит мирная жизнь, размышлял я. Мирная жизнь, которой я не знаю; так выглядит беззаботность, которой я никогда не испытывал. Но в мыслях моих не было зависти. Хорошо, что такое еще существует. Я сидел в компании знакомых людей, и эти люди были мне ближе и приятней, нежели те, которых я прекрасно знал. Я сидел рядом с красивой женщиной, и ее взятая напрокат диадема сверкала в свете свечей. Я был жалким приживалой, я пил чужое шампанское,— и у меня было такое чувство, что эта совсем иная жизнь тоже дана мне взаймы всего на один вечер. Завтра ее придется вернуть.

VII

— Вас нетрудно будет устроить в какой-нибудь художественный салон,— сказал Лоу-старший.— Война вам в этом смысле на руку. У нас сейчас нехватка подсобной рабочей силы.

— Можно подумать, что я делец, наживающийся на войне,— сказал я сердито.— Мне без конца твердят, будто война дала мне массу преимуществ.

— А разве не дала? — Лоу с ожесточением почесал свой лысый череп мечом Михаила архангела; скульптура была подделкой под старину.— Не будь войны, вы не оказались бы в Америке.

— Правильно. Но если бы не война, немцы не оказались бы во Франции.

— Разве вам здесь не лучше, чем во Франции?

— Господин Лоу, это бессельный разговор. И в той и в другой стране я чувствую себя паразитом.

Лоу просиял.

— Паразитом! Очень метко. Я сам хотел это вам разъяснить. В вашем положении вы не можете претендовать на постоянную работу ни в одном художественном салоне. Вы должны найти себе приблизительно такое же занятие, как у нас. Так сказать, нелегальное. Я тут говорил с одним

человеком, у которого вы, наверно, сможете пристроиться. Он тоже паразит Но богатый паразит. Торгует предметами искусства. Картинами Тем не менее он паразит.

— Он торгует подделками?

— Боже избави! — Луи отложил поддельного Михаила архангела и сел в почти целиком отреставрированное флорентийское кресло времен Савонаролы — только верхняя часть кресла была подлинной — Торговля предметами искусства — вообще ремесло для людей с нечистой совестью, — начал он тоном поучения. — Мы зарабатываем деньги, которые, собственно, должен был бы заработать художник. Ведь мы получаем за те же произведения во много раз больше, чем в свое время их создатель Когда речь идет об антикварных вещах или о предметах прикладного искусства, все это еще не так страшно. Страшно бывает с «чистым искусством». Вспомните Ван Гога. За всю свою жизнь он не продал ни одной картины и жил впроголодь, а сейчас торговцы наживают на нем миллионы. И так было испокон веку: художник голодает, а торговец обзаводится дворцами.

— По-вашему, дельцов мучает совесть?

Лоу подмигнул:

— Ровно настолько, чтобы барыши не казались им чересчур пресными. Торговцы картинами — народ своеобразный. Им хочется не только разбогатеть на произведениях искусства, но зачастую и подняться до уровня этого искусства. Ведь сам художник, продающий картины, почти всегда нищий, ему даже не на что поужинать. Таким образом, торговец чувствует свое превосходство, превосходство человека, который может заплатить за чужой ужин. Понятно?

— Даже очень. Хотя я не художник. Но в этом деле разбираюсь.

— Вот видите. Художника всегда используют. И вот, чтобы сохранить видимость любви к искусству, которое дает торговцам возможность жить в полном довольстве, и к художнику, которого они эксплуатируют, торговцы открывают художественные салоны. Иными словами, время от времени устраивают выставки. В основном они это делают, чтобы нажить деньги на художнике, связанном с ними по рукам и ногам кабальными договорами. Но также и для того, чтобы художник получил известность. Довольно-таки жалкое алиби. Однако на этом основании торгаши хотят считаться меценатами.

— Это, стало быть, и есть паразиты от искусства? — спросил я, развеселившись.

— Нет, — сказал Лоу-старший, закуривая сигару. — Они хоть что-то делают для искусства. Паразитами я называю дельцов, которые торгуют картинами, не имея ни лавок, ни салонов. Они используют интерес, который другие вызывают своими выставками. И при этом без всяких затрат. Ведь они торгуют у себя на квартире. У них нет издержек производства. Разве что они платят секретарше. Даже за помещение с них не взимают налогов; арендная плата приравнивается у них к производственным расходам, потому что в квартире висят картины. И глядишь, вся семья паразита живет себе в этой квартире и радуется. Бесплатно. Мы гнем спину в лавке, тратим кровные денежки и драгоценное здоровье на служащих, а паразит валяется в кровати часов до девяти, а потом диктует письма секретарше и, как паук, поджидает покупателей.

— А вы разве не поджидаете покупателей?

— Не в такой роскоши. А как простой служащий, хотя службу у себя самого. И потом, я не пират.

— Почему бы и вам не стать паразитом, господин Лоу?

Лоу взглянул на меня, нахмурившись. И я понял, что совершил ошибку.

— Вы не хотите из этических соображений. Не правда ли? — спросил я.

— Хуже. Из финансовых. Стать пиратом можно, только имея в кармане большие деньги. И хороший товар. Иначе опростоволосишься. Первоклассный товар.

— Значит, пират продает дешевле? Ведь издержек у него меньше.

Лоу сунул сигару в ступку эпохи Возрождения, но тут же вытащил ее обратно, разгладил и закурил снова.

— Да нет же, дороже! — завопил он. — В этом весь фокус. Богатые кретины дают себя одурачить и притом думают, что совершили выгодный бизнес. Люди, которые нажили миллионы своим горбом, попадают впросак, увы, самым глупым образом. Ловкачи играют на их снобизме и на их престиже, и тогда они лезут в ловушку, как мухи на липкую бумагу. — От сигары Лоу летели искры, словно от бенгальского огня. — Все дело в упаковке, — причитал он. — Посоветуйте вновь испеченному миллионеру купить Ренуара, и он поднимет вас на смех. Для него что Ренуар, что велосипед — один черт. Но скажите ему, что Ренуар придаст ему больший вес в обществе, и он тут же купит две его картины. Вы меня поняли?

Я слушал Лоу с восхищением. Время от времени он давал мне бесплатные уроки практической жизни. Обычно

это происходило после обеденного перерыва, когда наступало некоторое затишье, или по вечерам, перед тем как я заканчивал свою работу в подвале. Сейчас было послеобеденное время.

— Знаете, почему я читаю вам курс лекций по высококвалифицированной торговле картинами?

— Чтобы подготовить меня к ведению боевых операций на фронте купли-продажи. Ибо с другими фронтами я уже знаком.

— Вы кое-как познакомились с первой в истории тотальной войной и думаете, что она для всех — внове. Но мы, деловые люди, ведем тотальную войну с сотворения мира. Фронт проходит у нас повсюду. — Лоу-старший гордо выпрямился. — Точно так же, как и в семейной жизни.

— Вы женаты? — спросил я, чтобы перевести разговор на другую тему.

Мне не нравилось, когда слово «война» употребляли для нелепых сравнений. Для меня война была ни с чем не сравнима, даже если сравнения и не были нелепыми.

— Не женат! — ответил Лоу-старший, внезапно помрачнев. — Но мой брат задумал жениться. Хорошенькая история! Трагедия! Хочет жениться на американке! Полная катастрофа.

— На американке?

— Да, на эдакой девице со взбитыми космами, вытравленными перекистью. С глазами, как у селедки. И с оскаленной пастью, в которой торчат сорок восемь зубов, нацеленных на наши добытые потом и кровью денежки. На наши доллары — хочу я сказать. Словом, крашенная гиена с кривыми ногами. Обе ноги — правые!

Я задумался, пытаюсь мысленно воссоздать этот образ. Но Лоу продолжал:

— Бедная моя мамочка! Хорошо, что она до этого не дожила. Если бы восемь лет назад ее не сожгли, она перевернулась бы сейчас в гробу.

Я так и не разобрался в его сумбурной болтовне, но одно слово вдруг заставило меня насторожиться, как звук сирены:

— Сожгли?

— Да. В крематории. Она родилась еще в Польше. А умерла здесь. Знаете..

— Знаю, — сказал я поспешно. — Но при чем тут ваш брат? Почему бы ему не жениться?

— Не на американке же, — возмутился Лоу. — В Нью-Йорке достаточно порядочных еврейских девушек. Разве

он не может найти себе жену среди них? Так нет же, должен настоять на своем.

Постепенно Лоу успокоился.

— Извините,— сказал он,— Иногда у человека просто лопаются терпение. Но мы говорили о другом. О паразитах. Вчера я беседовал с одним паразитом насчет вас. Ему, возможно, понадобится помощник, который разбирается в живописи, но не так уж хорошо, чтобы он мог подсмотреть его секреты, а потом продать их конкурентам. Ему нужен человек вроде вас, предпочитающий держаться в тени, а не мозолить всем глаза. Пойдите к нему и представьтесь Сегодня в шесть вечера. Я уже говорил с ним о вас. Идет?

— Большое спасибо,— сказал я, приятно пораженный.— Большое, большое спасибо!

— Зарабатывать вы будете не так уж много. Но дело не в оплате, а в шансах, говаривал когда-то мой отец. Здесь,— Лоу обвел рукой свою лавку,— здесь у вас нет никаких шансов.

— Все равно. Я благодарен за время, проведенное у вас. И за то, что вы помогли мне. Почему, собственно?

— Никогда не следует спрашивать: «Почему?».— Лоу оглядел меня с ног до головы — Почему? Конечно, мы здесь не такие уж филантропы. Знаете почему? Наверное, потому, что вы такой незащищенный

— Что? — удивился я.

— Так оно и есть,— сам удивляясь, сказал Лоу.— А ведь, глядя на вас, этого никогда не скажешь. Но вы именно незащищенный. Эта мысль пришла в голову моему брату, когда мы как-то заговорили о вас. Он считает, что вы будете пользоваться успехом у женщин.

— Вот как! — Я был скорее возмущен.

— Только не принимайте моих слов близко к сердцу. Я ведь уже говорил вам, что во всем этом мой брат разбирается не лучше носорога. Сходите к пирату. Его фамилия Силверс. Сегодня вечером.

На дверях у Силверса не было таблички. Он жил в обычном жилом доме. Я ожидал встретить нечто вроде двуногой акулы. Но ко мне вышел очень мягкий, тщедушный и скорее застенчивый человек, он был прекрасно одет и вел себя крайне сдержанно. Налив мне виски с содовой, он стал осторожно меня выпрашивать. А немного погодя принес из соседней комнаты два рисунка и поставил их на мольберт.

— Какой рисунок вам больше нравится?

Я показал на правый.

— Почему? — спросил Силверс.

— Разве обязательно должна быть причина?

— Да Меня интересует причина. Вы знаете, чьи это рисунки?

— Оба рисунка Дега. По-моему, это каждому ясно.

— Не каждому, — возразил Силверс со странно смущенной улыбкой — Некоторым моим клиентам не ясно.

— Почему же они тогда покупают?

— Чтобы в доме висел Дега, — сказал Силверс печально.

Я вспомнил лекцию, прочитанную Лоу-старшим. Как видно, она соответствовала действительности. Конечно, я только наполовину поверил Лоу, он был склонен к преувеличениям, особенно когда речь шла о материях, ему не очень знакомых.

— Картины — такие же эмигранты, как и вы, — сказал Силверс. — Иногда они попадают в самые неожиданные места. Хорошо ли они себя там чувствуют — вопрос особый.

Он вынес из соседней комнаты две акварели.

— Знаете, чьи это акварели?

— Сезанна.

Силверс был поражен.

— А можете сказать, какая из них лучше?

— Все акварели Сезанна хороши, — ответил я. — Но левая пойдет по более дорогой цене.

— Почему? Потому, что она больше по размеру?

— Нет. Не потому. Эта акварель принадлежит к поздним работам Сезанна, здесь уже явственно чувствуется кубизм. Очень красивый пейзаж Прованса с вершиной Сен-Виктуар. В Брюссельском музее висит похожий пейзаж.

Выражение лица Силверса вдруг изменилось. Он вскочил.

— Где вы раньше работали? — отрывисто спросил он.

Я вспомнил случай с Наташей Петровой.

— Нигде В конкурирующих фирмах я не работал. И не занимаюсь шпионажем. Просто провел некоторое время в Брюссельском музее.

— Когда именно?

— Во время оккупации. Меня прятали в музее, а потом мне удалось бежать и перейти границу. Вот источник моих скромных познаний.

Силверс снова сел.

— В нашей профессии необходима сугубая осторожность,— пробормотал он.

— Почему? — спросил я, обрадовавшись, что он не избегает от меня дальнейших разъяснений.

Секунду Силверс колебался.

— Картины — как живые существа. Как женщины. Не следует показывать их каждому встречному и поперечному. Иначе они потеряют свое очарование. И свою цену.

— Но ведь они созданы для того, чтобы на них смотрели.

— Возможно. Хотя я в этом сомневаюсь. Торговцу важно, чтобы его картины не были общеизвестны.

— Странно. Я думал, это как раз подымает цену.

— Далеко не всегда. Картины, которые слишком часто выставляли, на языке специалистов зовутся «сгоревшими». Их антипод — «девственницы». Эти картины всегда находились в одних руках, в одной частной коллекции, и их почти никто не видел. За «девственниц» больше платят. И не потому, что они лучше, а потому, что любой знаток и собиратель жаждет находок.

— И за это он выкладывает деньги?

Силверс кивнул.

— К сожалению, в наше время коллекционеров раз в десять больше, чем знатоков. Эпоха истинных собирателей, которые были в то же время и ценителями, кончилась после первой мировой войны, в восемнадцатом году. Каждому политическому и экономическому перевороту сопутствует переворот финансовый. И тогда состояния меняют своих владельцев. Одни все теряют, другие богатеют. Старые собиратели вынуждены продавать свои коллекции, на их место приходят новые. У этих новых есть деньги, но зачастую они ничего не смыслят в искусстве. Чтобы стать истинным знатоком, требуется время, терпение и любовь.

Я внимательно слушал. Казалось, в этой комнате с двумя мольбертами, обитой серым бархатом, хранилась утерянная тишина мирных эпох. Силверс поставил на один из мольбертов новый картон.

— Вы знаете, что это?

— Моне. Поле маков.

— Нравится?

— Необычайно. Какое спокойствие! И какое солнце! Солнце Франции.

— Ну что ж, давайте попытаемся,— сказал Силверс наконец.— Особых знаний здесь не требуется. Мне нужен

человек надежный и молчаливый. Это — главное. Шесть долларов в день. Согласны?

Я сразу востепенулся.

— За какие часы? За утренние или за вечерние?

— За утренние и за вечерние. Но в промежутке у вас будет много свободного времени.

— Это приблизительно та сумма, которую получает вышколаженный мальчик на побегушках.

Я ждал, что он скажет: ваши функции будут примерно такими же! Но Силверс проявил деликатность. Он вслух подсчитал, сколько получает мальчик на побегушках. Оказалось, меньше.

— Десять долларов — это минимум. Иначе я не согласен, — сказал я. — У меня долги, которые я обязан выплачивать.

— Уже долги?

— Да. Я должен адвокату, который продлевает мой вид на жительство.

Я знал, что Силверс уже слышал все это от Лоу, тем не менее он притворился, будто отсутствие документов бросает на меня тень и будто он должен вновь обдумать, стоит ли со мной связываться. Наконец-то хищник показал когти.

Мы сторговались на восьми долларах после того, как Силверс со смущенной улыбкой пояснил, что, поскольку я работаю нелегально, мне не придется платить налогов. Кроме того, я недостаточно свободно говорю по-английски. Тут я его, положим, поймал.

— Зато я говорю по-французски, — сказал я. — А это в вашем деле гораздо важнее.

Тогда он согласился на восемь долларов, пообещав, что, если я справлюсь с работой, мы еще вернемся к этому разговору.

Я пришел в гостиницу, и моим глазам представилось необычное зрелище. В старомодном холле горели все лампы, даже те, которые бережливая администрация неукоснительно выключала. Посередине стоял стол, вокруг которого собралась весьма занятая, разношерстная компания. Председательское место занимал Рауль. Он сидел у торца стола в бежевом костюме гигантских размеров, похожий на гигантскую потную жабу; стол, к моему удивлению, был накрыт белой скатертью, и гостей обслуживал официант. Рядом с Раулем восседал Меликов; кроме них за столом

сидели: Лахман и его пуэртиориканка; мексиканец в розовом галстуке, с каменным лицом и беспокойными глазами, белокурый молодой человек, говоривший басом, хотя можно было предположить, что у него высокое сопрано, и две жгучие брюнетки неопределенного возраста — от тридцати до сорока, — востроглазые, темпераментные и привлекательные. По другую руку от Меликова сидела Наташа Петрова.

— Господин Росс, — крикнул Рауль, — окажите нам честь!

— В чем дело? — спросил я. — Коллективный день рождения? Или, может, кто-нибудь выиграл крупную сумму?

— Присаживайтесь, господин Росс, — сказал Рауль, еле ворочая языком. — Один из моих спасителей, — пояснил он белокурому молодому человеку, говорившему басом. — Пожмите друг другу руки! Это — Джон Болтон.

У меня было такое чувство, точно я коснулся дохлой рыбы. От молодого человека со столь низким голосом я невольно ждал крепкого рукопожатия.

— Что вы будете пить? — спросил Рауль. — У нас есть все, что вашей душе угодно: кока-кола, лимонад, американское виски, шотландское виски. И даже шампанское. Я помню, что вы сказали в тот раз, когда мое сердце исходило печалью... Все течет, сказали вы. Цитата из какого-то древнего грека. Правда? Из Гераклита, или Демокрита, или Демократа. Знаете, что говорят в таких случаях на Седьмой авеню: «Ничто не вечно под луной, и красotka станет сатаной». Очень справедливо. А на смену приходит другая молодежь. Итак, что вы будете пить? Альфонс! — Он подзвал официанта жестом, достойным римского императора.

— Что вы пьете? — спросил я Наташу Петрову.

— Водку, как всегда, — ответила она весело.

— Водку, — сказал я Альфонсу.

— Двойную порцию, — добавил Рауль, глядя на меня осоловелыми глазами.

— Что это? Мистерия человеческой души — любовь? — спросил я Меликова.

— Мистерия человеческих заблуждений, когда каждый верит, что другой — его пленник.

— *Le coup de fondge*¹, — сказала Наташа Петрова, — Любовь без взаимности.

— Как вы оказались здесь, в этой компании?

— Случайно — Наташа засмеялась. — Случай. Счастли-

¹ Любовь с первого взгляда (фр.)

вый случай. Мне давно хотелось вырваться из стерильной и однообразной атмосферы унылых приемов. Но такого я не ожидала.

— Вы опять собираетесь к фотографу?

— Сегодня не собираюсь. А почему вы спрашиваете? Пошли бы со мной?

Собственно, я не хотел говорить этого прямо, но почему-то сказал:

— Да.

— Наконец-то я слышу от вас нечто вразумительное,— сказала Наташа Петрова.— Salut!

— Salut, salve, salut! — крикнул Рауль и начал со всеми чокаяться. При этом он попытался даже встать, но плюхнулся на кресло в виде трона, которое затрещало под ним. Эта старая гостиница в довершение всего была обставлена топорной псевдоготической мебелью.

Пока все чокались, ко мне подошел Лахман.

— Сегодня вечером,— шепнул он,— я напью мексиканца.

— А сам не напьешься?

— Я подкупил Альфонса. Он подает мне только воду. Мексиканец думает, что я пью, как и он, теквилю. У нее тот же цвет, то есть она бесцветная.

— Я бы лучше подпоил даму сердца,— сказал я.— Мексиканец не имеет ничего против. Не хочет сама дама.

На секунду Лахман потерял уверенность в себе, но потом упрямо сказал:

— Ничего не значит. Сегодня это выйдет. Должно выйти. Должно. Понимаешь?

— Пей лучше с ними обоими. . И с самим собой тоже. Может, спьяну ты придумаешь что-нибудь такое, до чего бы трезвый не додумался. Бывают пьяные, перед которыми трудно устоять.

— Но тогда я ничего не почувствую. Все забуду. Будет так, как будто ничего и не было.

— Жаль, что ты не можешь внушить себе обратное. Что все было, но для тебя как будто и не было.

— Послушай, ведь это жульничество,— запротестовал взволнованный Лахман.— Надо вести честную игру.

— А разве это честная игра — пить воду?

— Я честен с самим собой — Лахман наклонился к моему уху. Дыхание у него было горячее и влажнее, хоть он и пил одну воду.— Я узнал, что у Инес вовсе не ампутирована нога, она у нее просто не сгибается. Металлическую пластинку она носит из тщеславия.

— Что ты выдумываешь, Лахман!

— Я не выдумываю. Я знаю. Ты не понимаешь женщин. Может, она потому и отказывает мне? Чтобы я не дознался.

На секунду я потерял дар речи. *Amore, amore!*¹, думал я. Вспышка молнии в ночи заблуждений, надежда в глубочайшей безнадежности, чудо белой и черной магии. Будь же благословенна, любовь. Я торжественно поклонился.

— Дорогой Лахман, в твоем лице я приветствую звездный сон любви

— Вечные твои остроты! Я говорю совершенно серьезно.

Рауль с трудом приподнялся.

— Господа,— начал он, обливаясь потом.— Да здравствует жизнь! Я хочу сказать: как хорошо, что мы еще живем. Стоит мне подумать, что совсем недавно я хотел лишиться себя жизни, и я готов вlepить себе пощечину. Какими же мы бываем идиотами, когда мним себя особенно благородными.

Пуэрториканка внезапно запела. Она пела по-испански. Наверное, это была мексиканская песня. Голос у нее был великолепный, низкий и сильный. Она пела, не сводя глаз с мексиканца. Это была песня, исполненная печали и в то же время ничем не прикрытого сладострастия. Почти жалобная песня, далекая от всяких раздумий и прикрас цивилизации. Песня эта возникла в те стародавние времена, когда человечество еще не обладало самым своим человеческим свойством — юмором; она была прямая до бесстыдства и ангельски чистая. Ни один мускул не дрогнул на лице мексиканца. Да и женщина была недвижима — говорили только ее губы и взгляд. И оба они смотрели друг на друга немигающими глазами, а песня все лилась и лилась. То было слияние без единого прикосновения. Но они оба знали, что это так. Я оглянулся — все молчали. Я оглядывал их всех по очереди, а песня продолжала литься: я видел Рауля и Джона, Лахмана, Меликова и Наташу Петрову — они молча слушали, эта женщина подняла их над обыденностью, но сама она никого не видела, кроме мексиканца, кроме его помятого лица сутенера, в котором сосредоточилась вся ее жизнь. И это не было ни странно, ни смешно.

¹ Любовь (исп. и фр.).

Перед тем как приступить к своим обязанностям, я получил трехдневный отпуск. В первый день я прошел всю Третью авеню в самый свой любимый час перед наступлением сумерек, когда в антикварных лавках время, казалось, замирает, тени становятся синими, а зеркала оживают. В этот час из ресторанов тянет запахом жареного лука и картофеля, официанты накрывают на стол, и омары, выставленные в огромных витринах «Морского царя» на луже пыток изо льда, пытаются уползти на своих клешнях, изуродованных острыми деревянными колышками. Я не мог без содрогания смотреть на их круглые выгнутые тела, — они напоминали мне камеры пыток в концлагерях, на родине поэтов и мыслителей.

— Имперский егермейстер Герман Геринг не допустил бы ничего подобного, — сказал Кан, который тоже подошел к витрине с огромными крабами.

— Вы говорите об омарах? Крабы ведь четвертованы Кан кивнул.

— Третий рейх славится своей любовью к животным. Овчарку фюрера зовут Блонди, и фюрер лелеет ее как родное дитя. Имперский егермейстер, министр-президент Пруссии Герман Геринг и его белокурая Эмми Зоннеман держат у себя в Валгалле молодого льва, и Герман, облачившись в одежду древнего германца, с охотничьим рогом на боку, подходит к нему с ласковой улыбкой. А шеф всех концлагерей Генрих Гиммлер нежно привязан к ангорским кроликам.

— Зато при виде четвертованных крабов у Фрикка, имперского министра внутренних дел, может возникнуть какая-нибудь плодотворная идея. Впрочем, как человек культурный — и даже доктор, — он отказался от гильотины, сочтя ее чересчур гуманной, и заменил гильотину ручным топором. Может быть, он решит теперь четвертовать евреев, наподобие крабов.

— Как-никак мы народ, изначально своим свойством которого было добродушие, — сказал Кан мрачно.

— Существует еще одно исконно тевтонское свойство — злорадство.

— А не пора ли перестать? — спросил Кан. — Наш юмор становится несколько утомительным.

Мы взглянули друг на друга, как школьники, захваченные на месте преступления.

— Не знал, что от этого невозможно отделаться,— про-
бормотал Кан.

— Только нам так плохо?

— Всем. После того как улетучивается первое, поверх-
ностное чувство защищенности и ты перестаешь играть сам
с собою в прятки и вести страусову политику, тебя насти-
гает опасность. Она тем больше, чем защищенней чувству-
ет себя человек. Завидую тем, кто, подобно неунывающим
муравьям, сразу же после грозы начинает строить заново,
вить гнездышко, строить собственное дело, семью, буду-
щее. Самой большой опасности подвергаются люди, кото-
рые ждут.

— И вы ждете?

Кан посмотрел на меня с насмешкой.

— А разве вы, Росс, не ждете?

— Жду,— сказал я, помолчав немного.

— Я тоже. Почему, собственно?

— Я знаю почему.

— У каждого свои причины. Боюсь только, что когда
война кончится, причины эти испарятся, как вода на горя-
чей плите. И мы опять потеряем несколько лет, прежде чем
начнем все сначала. Другие люди обгонят нас за эти не-
сколько лет.

— Какая разница? — спросил я с удивлением.— Жизнь
ведь — не скачка с препятствиями.

— Вы думаете? — спросил Кан.

— Дело не в соперничестве. Вернуться хочет большин-
ство. Разве я не прав?

— По-моему, ни один человек не знает этого точно. Не-
которым необходимо вернуться. Например, актерам. Здесь
их ничего не ждет, они никогда не выучатся как следует
говорить по-английски. Писателям тоже. В Штатах их не
будут читать. Но у большинства причина совсем иная. Не-
одолимая, дурацкая тоска по родине. Вопреки всему. Черт
бы ее подрал.

— Эдакую слепую любовь к Германии я наблюдал,—
сказал я — В Швейцарии. У одного еврея, коммерции со-
ветника. Я хотел стрельнуть у него денег. Но денег он мне
не дал, зато дал добрый совет — вернуться в Германию
Газеты, мол, врут. А если кое-что и правда, то это времен-
ное явление, совершенно необходимые строгости Лес ру-
бят — щепки летят. И потом, сами евреи во многом винс-
ваты. Я сказал, что сидел в концлагере. И тогда он разъяс-
нил мне, что без причины людей не сажают и что самый

факт моего освобождения — еще одно доказательство справедливости немцев.

— Этот тип людей мне знаком, — сказал Кан, нахмурившись. — Их не так уж много, но они все же встречаются.

— Даже в Америке. — Я вспомнил своего адвоката. — Кукушка, — сказал я.

Кан засмеялся.

— Кукушка! Нет ничего хуже дураков. Пошли они все к дьяволу!

— Наши дураки тоже.

— В первую очередь — наши. Но, может, мы, несмотря на все, отведаем крабов?

Я кивнул

— Позвольте мне пригласить вас, уже сама возможность пригласить кого-нибудь в ресторан повышает тонус и избавляет от комплекса неполноценности. Ты перестанешь чувствовать себя профессиональным нищим. Или благородным паразитом, если хотите.

— Ничто не может избавить от комплекса вины за то, что ты жив, от комплекса, внушенного нам нашим возлюбленным отечеством. Но я принимаю ваше приглашение. И позвольте мне в свою очередь угостить вас бутылочкой нью-йоркского рислинга. На короткое время мы снова почувствуем себя людьми.

— По-вашему, мы здесь не люди?

— Люди на девять десятых.

Кан вытащил из кармана розовую бумагу.

— Паспорт! — с благоговением сказал я

— Нет. Удостоверение для иностранцев, подданных вражеского государства. Вот кто мы здесь.

— Стало быть, все еще люди неполноценные, — сказал я, раскрывая огромное меню.

Вечером мы отправились к Бетти Штейн. Она осталась верна берлинскому обычаю. По четвергам к ней приходили вечером гости. Все, кто желал. А тот, у кого завелось немного денег, приносил бутылку вина, пачку сигарет или банку консервированных сосисок. У Бетти был патефон и старые пластинки. Песни в исполнении Рихарда Таубера и арии из оперетт Кальмана, Легара и Вальтера Колло. Иногда кто-нибудь из поэтов читал свои стихи. Но большую часть времени в салоне Бетти спорили.

— У нее благие намерения,— сказал Кан.— И все равно это — морг, где среди мертвецов бродят живые, вернее, полутрупы, которые еще сами не осознали этого.

Бетти была в старом шелковом платье, сшитом еще в догитлеровские времена. Платье было ярко-лиловое, все в оборках, оно шуршало и пахло нафталином. Румяные щеки, седина и блестящие темные глаза Бетти никак не вязались с этим туалетом. Бетти протянула нам навстречу свои пухлые руки. В ней было столько сердечности, что в ответ можно было только беспомощно улыбнуться и сказать, что она трогательная и забавная. Бетти нельзя было не любить. Она вела себя так, словно в 1933 году время остановилось. Действительность существовала во все дни недели, но «четвергов» Бетти она не коснулась. По четвергам был опять Берлин и Веймарская конституция, оставшаяся в полной силе. В большой комнате, завешанной портретами покойников, было довольно много народа. Актер Отто Вилер стоял в кругу почитателей.

— Он завоевал Голливуд! — восклицала Бетти с гордостью.— Добился признания.

Вилер явно не возражал против чествования.

— Какую роль ему дали? — спросил я Бетти.— Отелло? Одного из братьев Карамзовых?

— Огромнейшую роль. Не знаю, какую точно. Но он всех заткнет за пояс! Его ждет слава Кларка Гейбла.

— Или Чарльза Лаутона,— ввернула племянница Бетти, высохшая старая дева, которая разливала кофе.— Скорее Чарльза Лаутона. Он ведь характерный актер.

Кан язвительно усмехнулся.

— Роль не такая уж грандиозная,— сказал он,— да и сам Вилер не был в Европе таким уж грандиозным актером. Помните историю о том, как один человек пошел в Париже в ночное кабаре русских эмигрантов? Владелец кабаре решил произвести на него впечатление. Поэтому он сказал: наш швейцар был раньше генералом, официант у нас граф, этот певец — великий князь и так далее и так далее. Гость молча слушал. Наконец владелец вежливо спросил, указывая на маленькую таксу, которую тот держал на поводке: «Будьте добры сказать, какой породы ваша собачка?» «Моя собачка,— ответил посетитель,— была в свое время в Берлине огромным сенбернаром»,— Кан грустно улыбнулся.— Вилер на самом деле получил маленькую роль. Он играет в одном второсортном фильме нациста, эсэсовца.

— Неужели? Но ведь он еврей.

— Ничего не значит. Пути Голливуда неисповедимы. Да и там, видимо, считают, что эсэсовцы и евреи — на одно лицо. Вот уже четвертый раз, как роль эсэсовца исполняет еврей. — Кан засмеялся — Своего рода справедливость искусства. Гестапо косвенным образом спасает одаренных евреев от голодной смерти.

Бетти сообщила, что в этот вечер проездом в Нью-Йорке будет доктор Грефенгейм. Многие присутствовавшие знали его: он был знаменитым берлинским гинекологом. Одно из противозачаточных средств называли его именем. Кан познакомил меня с ним. Грефенгейм был скромный худощавый человек с темной бородкой.

— Где вы работаете? — спросил его Кан. — Где практикуете?

— Практикую? — удивился Грефенгейм. — Я еще не сдал экзаменов. Трудновато. А вы могли бы снова сдать на аттестат зрелости?

— Разве от вас этого требуют?

— Надо сдавать все с самого начала. И еще английский язык.

— Но ведь вы были известным врачом. Вас наверняка знают. И если в Штатах существуют такие правила, для вас должны сделать исключение.

Грефенгейм пожал плечами

— Это не так. Наоборот, по сравнению с американцами нас ставят в более трудные условия. Вы ведь сами знаете, как все обстоит. Правда, специальность врача такова, что он спасает чужую жизнь. Но, вступив в свои ферейны и клубы, врачи защищают собственную жизнь и не допускают в свою среду чужаков. Вот нам и приходится вторично сдавать экзамены. Нелегкое дело — экзаменоваться на чужом языке. Мне ведь уже за шестьдесят. — Грефенгейм виновато улыбнулся. — Надо было учить языки. Впрочем, всем нам несладко живется. А потом я еще должен год проходить стажировку в качестве ассистента. Но при этом я буду по крайней мере иметь бесплатное питание в больнице и крышу над головой...

— Вы можете сказать нам всю правду, — решительно преврала его Бетти. — Кан и Росс вас поймут. Дело в том, что его обобрали. Один подонок, тоже эмигрант, обобрал его.

— Послушайте, Бетти.

— Да. Нагло ограбил. У Грефенгейма была ценнейшая коллекция марок. Часть этой коллекции он отдал приятелю, который уже давно выехал из Германии. Тот должен

был сохранить марки. Но когда Грефенгейм прибыл сюда, приятеля как подменили. Он заявил, что ровно ничего не получал от Грефенгейма.

— Старая история! — сказал Кан. — Обычно, впрочем, утверждают, что переданные вещи были отняты на границе.

— Тот тип оказался хитрее. Ведь иначе он признал бы, что получил марки. И, стало быть, у Грефенгейма появилось бы все же некоторое основание требовать возмещение убытков.

— Нет, Бетти, — сказал Кан. — Никаких оснований. Вы ведь не брали расписку? — спросил он Грефенгейма.

— Разумеется, не брал. Это было исключено, такие передачи совершались с глазу на глаз.

— Зато этот подлец живет теперь припеваючи, — возмущалась Бетти, — а Грефенгейм голодает.

— Ну уж и голодаю... Конечно, я рассчитывал оплатить этими деньгами мое вторичное обучение.

— Скажите мне, на сколько вас обштопали? — требовала безжалостная Бетти.

— Ну знаете... — смущенно улыбался Грефенгейм. — Да, это были мои самые редкие марки. Думаю, любой коллекционер охотно заплатил бы за них шесть-семь тысяч долларов.

Бетти уже знала эту историю, тем не менее ее глаза-вишни опять широко раскрылись.

— Целое состояние! Сколько добра можно сделать на эти деньги.

— Спасибо и на том, что марки не достались нацистам, — сказал Грефенгейм виновато.

Бетти взглянула на него с возмущением.

— Вечно эта присказка «спасибо и на том». Эмигрантская безропотность! Почему вы не проклинаете от всей души жизнь?

— Разве это поможет, Бетти?

— Всегдашнее ваше всепонимание, почти уже всепрощение. Неужели вы думаете, что нацист на вашем месте поступил бы так же? Да он избил бы обманщика до полусмерти!

Кан смотрел на Бетти с ласковой насмешкой; в своем платье с лиловыми оборками она была точь-в-точь драчливый попугай.

— Чего вы смеетесь? Ты, Кан, хоть задал перцу этим варварам. И должен меня понять. Иногда я просто задыхаюсь. Всегдашнее ваше смирение! И эта способность все

терпеть! — Бетти сердито взглянула на меня. — Что вы на это скажете? Тоже способны все вытерпеть?

Я ничего не ответил. Да и что тут можно было ответить? Бетти встряхнула головой, посмеялась над собственной горячностью и перешла к другой группе гостей.

Кто-то завел патефон. Раздался голос Рихарда Таубера. Он пел песню из «Страны улыбок».

— Начинается! Ностальгия, тоска по Курфюрстендамм, — сказал Кан. И, повернувшись к Грефенгейму, спросил: — Где вы теперь обретаетесь?

— В Филадельфии. Один коллега пригласил меня к себе. Может, вы его тоже знаете: Равик¹.

— Равик? Тот, что жил в Париже? Ну, конечно, знаю. Вот не предполагал, что ему удастся бежать. Чем он сейчас занимается?

— Тем же, чем и я. Но он ко всему легче относится. В Париже было вообще невозможно сдать экзамены. А здесь возможно: вот он и рассматривает это как шаг вперед. Мне тяжелей. Я, к сожалению, знаю только один проклятый немецкий, не считая греческого и латыни, на которых довольно свободно изъясняюсь. Кому они нужны в наше время?

— А вы не можете подождать, пока все кончится? Германии не выиграть эту войну, теперь это всем ясно. И тогда вы вернетесь.

Грефенгейм медленно покачал головой:

— Это — наша последняя иллюзия, но и она рассыплется в прах. Мы не сможем вернуться.

— Почему? Я говорю о том времени, когда с нацистами будет покончено.

— С немцами, может, и будет покончено, но с нацистами — никогда. Нацисты не с Марса свалились, и они не изнасиловали Германию. Так могут думать только те, кто покинул страну в тридцать третьем. А я еще прожил в ней несколько лет. И слышал рев по радио, густой кровавый рык на их сборищах. То была уже не партия нацистов, то была сама Германия.

А пластинка все вертелась. «Берлин остается Берлином», — пели певцы, которые за это время оказались либо в концлагерях, либо в эмиграции. Бетти Штейн и еще два-три человека внимали певцам, преисполненные восторга, недоверия и страстной тоски.

— Там, в стране, вовсе не хотят получить нас обратно, — продолжал Грефенгейм. — Никто. И никого.

¹ Равик — герой романа Ремарка «Триумфальная арка».

Я возвращался в гостиницу. Прием у Бетти Штейн настроил меня на грустный лад. Я вспоминал Грефенгейма, который пытался начать жизнь заново. Зачем? Свою жену он оставил в Германии. Жена у него была немка. Пять лет она стойко сопротивлялась нажиму гестапо, не соглашаясь на развод с ним. За эти пять лет цветущая женщина превратилась в старуху, в комок нервов... Его то и дело таскали на допрос. И каждую ночь на рассвете жена и он тряслись от страха: в это время за ним обычно приезжали. Допросы начинались на следующий день или много дней спустя. И Грефенгейм сидел в камере с другими заключенными, как и они, весь в холодном поту от смертной тоски. В эти часы в камере возникало своеобразное братство. Люди шептались, не слыша друг друга. Они любили каждый звук в коридоре, где раздавались шаги тюремщиков. Члены братства помогали товарищам тем немногим, что они имели, и одновременно были полны любви и ненависти друг к другу, раздираемые необъяснимыми симпатиями и антипатиями; иногда казалось, для них всех существует строго ограниченное число шансов на спасение и каждый новый человек в камере уменьшает возможности остальных.

Время от времени «гордость немецкой нации», двадцатилетние герои, выволакивали из камеры очередную жертву, пиная ее ногами, подгоняя ударами и руганью,— иначе они и не мыслили себе обращение с больными и старыми людьми. И в камере воцарялась тишина.

Нередко проходило много часов, прежде чем к ним швыряли взятого на допрос — окровавленное тело. И тогда все молча принимались за работу. Для Грефенгейма эти сцены стали настолько привычными, что, когда его в очередной раз забирали из дома, он просил плачущую жену сунуть ему в карман несколько носовых платков — пригодятся для перевязок. Бинты он брать не решался. Даже перевязки в камерах были актом огромного мужества. Бывало, что людей, которые на это шли, убивали как «саботажников».

Грефенгейм вспоминал несчастных жертв, которых опять водворяли в камеру. Каждое движение было для них мучительно, но многие все же обводили товарищей полубезумным взглядом и шептали охрипшими от крика голосами: «Мне повезло. Они меня не задержали!» Быть задержанным — значило оказаться в подвале, где узников за таптывали насмерть, или в лагере, где их истязали до тех пор, пока они не бросались на колючую проволоку, через которую был пропущен ток.

Свою практику ему уже давно пришлось передать другому врачу. Преемник обещал заплатить за нее тридцать тысяч марок, а заплатил тысячу, хотя практика стоила все триста тысяч. Это случилось так: в один прекрасный день к Грефенгейму явился унтерштурмфюрер, родственник преемника, и предложил на выбор — либо ждать отправки в концлагерь за незаконный прием больных, либо взять тысячу марок и написать расписку на тридцать тысяч. Грефенгейм ни минуты не колебался, он знал, какое решение принять. Жена его и так созрела для сумасшедшего дома. Но разводиться все еще не желала. Она верила, что спасает мужа от лагеря. Жена Грефенгейма была согласна развестись при одном условии — если Грефенгейму разрешат уехать. Ей нужно было знать, что он в безопасности.

Наконец им все же счастье улыбнулось! Как-то ночью к Грефенгейму пришел тот же самый унтерштурмфюрер, за это время уже успевший стать оберштурмфюрером. Он был в штатском и, помявшись немного, изложил свою просьбу: сделать аборт его девице. Оберштурмфюрер был женат, и его супруга, не разделяла национал-социалистской идеи о том, что арийские производители должны иметь большое потомство чистых кровей, даже если в скрещивании будут участвовать разные особи. Супруга оберштурмфюрера считала, что чистых кровей у нее самой предостаточно. Грефенгейм сначала отказывался — подозревая западню. Осторожности ради он сослался на своего преемника, тот ведь тоже врач. Почему бы оберштурмфюреру не обратиться к нему? Тем более преемник — его родственник и тем более — тут Грефенгейм проявил сугубую осмотрительность — он должен испытывать благодарность к оберштурмфюреру. Но оберштурмфюрер привел свои контрдоводы. «Этот сукин сын не жалеет! — сказал он. — Стоило мне только намекнуть ему, как он разразился целой речугой в духе национал-социализма о наследственных признаках, генетическом достоянии нации и прочей чепухе. Сами видите, благодарности не жди. А ведь без меня он не получил бы вашей практики!» Грефенгейм не заметил ни тени иронии на упитанном лице оберштурмфюрера. «Вы — дело другое, — продолжал оберштурмфюрер. — Мы не станем выносить сора из избы. А мой тесть, эдакий мерзавец, проболтается рано или поздно. Или всю жизнь будет меня шантажировать». — «Но вы и сами сумеете его шантажировать, раз он пойдет на недозволенное хирургическое вмешательство», — осмелился возразить Грефен-

гейм. «Я простой солдат,—прервал его оберштурмфюрер.— Эти штуки не по мне. Предпочитаю иметь дело с вами, дорогуша. Мы друг друга поймем с полуслова. Вам запрещено работать, а ей запрещено делать аборт. Стало быть, никто ничем не рискует. Она придет к вам сегодня ночью, а утром уйдет домой. Порядок?» — «Нет! — сказала жена Гrefенгейма из-за двери. Мучимая страхом, она подслушала весь разговор. Сейчас эта полубезумная стояла в дверях. Гrefенгейм вскочил.— Оставь меня! — сказала жена.— Я все слышала. Ты и пальцем не шевельнешь, не шевельнешь пальцем до тех пор, пока не получишь разрешения на выезд. Такова — цена. Обеспечьте ему разрешение», — сказала она, оборачиваясь к оберштурмфюреру. Тот попытался растолковать ей, что это не в его ведении. Но жена Гrefенгейма была неумолима. Тогда оберштурмфюрер собрался уходить. Жена стала угрожать ему — она все расскажет его начальнику. Кто ей поверит? Пусть свидетельствует против него, он тоже будет свидетельствовать. Посмотрим, чья возьмет. Под конец он ей бог знает чего наобещал. Но жена Гrefенгейма не поверила ему. Сперва разрешение на выезд — потом аборт.

Невозможное совершилось. В дебрях этого забюрократизированного царства ужасов попадались иногда оазисы. Девушка пришла к Гrefенгейму. Это случилось примерно две недели спустя. Ночью. А потом, когда все благополучно миновало, оберштурмфюрер разъяснил Гrefенгейму, что он обратился к нему еще и по другой причине: врачу-еврею он доверял больше, чем этому остолопу, своему тестю. До последней минуты Гrefенгейм страшился западни. Оберштурмфюрер вручил ему двести марок гонорара. Гrefенгейм отказался. Тогда оберштурмфюрер насильно засунул ему деньги в карман. «Вам, дорогуша, они еще пригодятся». Оберштурмфюрер и впрямь любил эту девушку. Исполненный подозрительности, Гrefенгейм даже не попрощался с женой. Он вообразил, что так обманет судьбу. И загадал: если он попросится, его вернут обратно. Гrefенгейму удалось бежать. А теперь, сидя в Филадельфии, он горько раскаивался, что уехал, не поцеловав жену. Мысль эта не давала ему покоя. И он не имел никаких вестей из дома. Впрочем, иметь вести было почти невозможно, ведь вскоре началась война.

Перед гостиницей «Ройбен» стоял «роллс-ройс». За рулем сидел шофер. «Роллс-ройс» производил впечатление золотого слитка в груди пепла.

— Вот наконец подходящий кавалер для вас,— сказал Меликов, сидевший в глубине плюшевого холла.— Я, к сожалению, занят.

В углу стояла Наташа Петрова.

— Неужели этот роскошный «роллс-ройс» принадлежит вам?

— Взят взаймы,— ответила она.— Как платья и драгоценности, в которых меня фотографируют. У меня все не свое, все не подлинное.

— Голос у вас свой, а «роллс-ройс» — подлинный.

— Пусть так. Но мне все равно ничего не принадлежит. Скажем так: я обманщица, но вещи у меня подлинные. Вас это больше устраивает?

— Да, но это гораздо опаснее,— сказал я.

— Наташе нужен кавалер,— вмешался Меликов.— Этот «роллс-ройс» дали ей только на сегодняшний вечер. Завтра она должна его вернуть. Не хочешь ли стать на один вечер авантюристом и пожить в свое удовольствие?

Я засмеялся.

— Примерно так я и поступаю много лет. Но без машины. Машина для меня — нечто новое.

— Вдобавок мы держим шофера,— сказала Наташа Петрова,— и даже в ливрее. В английской ливрее.

— Мне следует переодеться?

— Конечно, нет! Посмотрите на меня.

Переодеться мне, кстати, было не во что. Я имел всего два костюма, и сегодня на мне был лучший из них.

— Поедете со мной? — спросила Наташа Петрова.

— С удовольствием.

Для меня это было самое верное средство избавиться от мыслей о Грэфенгейме.

— Сегодняшний день, кажется, станет счастливым,— сказал я.— Я ведь дал себе три дня отпуска. Но о таких сюрпризах даже не смел мечтать.

— Вы можете сами давать себе отпуск? Я — не могу.

— Я — тоже. Но в данный момент я меняю место работы. Через три дня стану зазывалой, окантовщиком и слугой у одного торговца картинами.

— Продавцом тоже?

Секунду Наташа Петрова внимательно смотрела на меня.

— Избави бог! Этим занимается сам господин Силверс.

— А вы разве не умеете продавать?

— Слишком мало смыслю в этом деле.

— В том, что ты продаешь, вовсе не надо смыслить. Именно тогда продаешь всего успешней. Не видя изъянов, чувствуешь себя свободнее.

— Откуда вы все это знаете? — засмеялся я.

— Мне тоже иногда приходится продавать. Платья и шляпки.— Она опять внимательно посмотрела на меня.— Но за это я получаю комиссионные. Вам тоже надо их потребовать.

— Пока еще вообще неизвестно, не заставят ли меня подметать пол и подавать клиентам кофе Или коктейли.

Мы медленно проезжали по улице. Перед нами маячила широкая, обтянутая вельветом спина шофера и его бежевая фуражка. Наташа нажала на какую-то кнопку — и из стенки, обшитой красным деревом, появился складной столик.

— Вот вам и коктейли! — сказала она и сунула руку в нишу, оказавшуюся под столиком: там стояло несколько бутылок и рюмок — Холодные как лед! — объяснила Наташа.— Последний крик моды! Маленький встроенный холодильник Ну так что же? Водки, виски или минеральной воды? Водки? Я угадала?

— Разумеется.

Я взглянул на бутылку.

— Настоящая русская водка. Как она сюда попала?

— Нектар! Или даже лучше. Одно из немногих приятных последствий войны. Человек, которому принадлежит машина, имеет какое-то отношение к внешней политике, и ему приходится часто ездить в Россию и в Вашингтон.— Наташа засмеялась — Впрочем, к чему вопросы? Давайте просто наслаждаться. Мне разрешили пить эту водку.

— Но не мне.

— Человек, которому принадлежит машина, знает, что я не стану разъезжать в его «роллс-ройсе» одна.

Водка была замечательная. Все, что я пил до этого, казалось мне теперь слишком крепким и невкусным.

— Еще рюмку? — спросила Наташа.

— Не возражаю. Видно, такова уж моя судьба — прилечь к тем, кто наживается на войне. Мне разрешили въезд в Штаты, потому что идет война. Я получил работу, потому что идет война. Против воли я стал паразитом.

Наташа Петрова подмигнула мне.

— А почему бы вам не стать им по собственной воле? Это куда приятней.

Мы ехали сейчас вверх по Пятой авеню вдоль парка.

— Скоро начнутся ваши владения,— сказала Наташа Петрова.

Через некоторое время мы свернули на Восемьдесят шестую улицу. Это была широкая, типично американская улица, и все-таки она сразу напомнила мне маленькие немецкие городишки. По обе стороны мелькали кондитерские, пивнушки, сосисочные.

— Здесь все еще говорят по-немецки? — спросил я.

— Сколько угодно. Американцы не мелочны. Они никого не сажают. Не то что немцы.— Наташа Петрова засмеялась.— Впрочем, и американцы сажают. К примеру, японцев, которые здесь жили.

— А также французов и немецких эмигрантов, которые жили в Европе.

— По-моему, всюду сажают не тех, кого надо. Правда?

— Возможно. Как бы то ни было, нацисты с этой улицы разгуливают на свободе. Нельзя ли нам поехать куда-нибудь еще?

Секунду Наташа Петрова смотрела на меня молча, потом задумчиво сказала:

— С другими я не такая. Что-то раздражает меня в вас.

— Ценное признание. Со мной происходит то же самое.

Она не обратила внимания на мои слова.

— Раздражает. Нечто похожее на скрытое самодовольство,— сказала она,— оно так далеко запрятано, что не доберешься. Но это злит. Вы меня понимаете?

— Безусловно. В других это злит и меня. Но к чему такой разговор?

— Чтобы вас позлить,— ответила Наташа Петрова,— только поэтому. А что вас раздражает во мне?

— Ничего,— сказал я, рассмеявшись.

Наташа вспыхнула. И я тут же раскаялся, но было уже поздно.

— Чертов немец! — пробормотала она. Лицо у нее побледнело, она избегала встречаться со мной взглядом.

— Возможно, вам будет интересно узнать, что Германия лишила меня гражданства,— ответил я и разозлился на самого себя за эти слова.

— Ничего удивительного.— Наташа Петрова постучала в стекло.— А теперь к гостинице «Ройбен».

— Извините, мадам,— сказал шофер,— на какой она улице?

— Это та гостиница, у которой вы меня дожидались.

— Очень хорошо.

— Зачем подвозить меня к гостинице? — сказал я. — Могу выйти сейчас. Автобусов везде сколько угодно.

— Ваша воля. Тем более, здесь — ваши родные места.

— Остановите, пожалуйста! — сказал я, обращаясь к шоферу, и вышел из машины — Большое спасибо, Наташа.

Она не ответила. Я стоял на Восемьдесят шестой улице в Нью-Йорке и смотрел не отрываясь на кафе «Гинденбург», откуда доносились звуки духового оркестра. В кафе «Скрипач» был выставлен домашний крендель. В соседней витрине висели кровавые колбасы. Вокруг меня слышалась немецкая речь. Все эти годы я не раз представлял себе, как было бы хорошо вернуться к своим. Но не о таком возвращении я мечтал.

IX

У Силверса я поначалу должен был составлять каталог на все когда-либо проданное им и отмечать на фотографии картин имена их прежних владельцев.

— Самое трудное, — говорил Силверс, — это установить подлинность старых полотен. Никогда нельзя быть уверенным в их подлинности. Картины — они как аристократы. Их родословную надо прослеживать вплоть до написавшего их художника. И линия эта должна быть непрерывной: от церкви X к кардиналу А, от коллекции князя Y к каучуковому магнату Рабиновичу или автомобильному королю Форду. Пробелы здесь недопустимы

— Но речь ведь идет об известных картинах?

— Ну и что? Фотография возникла лишь в конце девятнадцатого века. К тому же далеко не у всех старинных полотен есть копии, с которыми можно было бы свериться. Нередко приходится довольствоваться одними предположениями, — Силверс саркастически ухмыльнулся, — и заключениями искусствоведов.

Я сгреб в кучу фотографии. Сверху лежали цветные снимки картины Мане — небольшого натюрморта: пионы в стакане воды. Цветы и вода были как живые. От них исходило удивительное спокойствие и внутренняя энергия — настоящее произведение искусства! Казалось, художник впервые сотворил эти цветы и до него их не существовало на свете.

— Нравится? — спросил Силверс.

— Прелестно.

— Лучше, чем розы Ренуара там на стене?

— Это совсем другое,— сказал я.— В искусстве вообще вряд ли уместно слово «лучше»!

— Уместно, если ты — антиквар.

— Эта картина Мане — миг творения, тогда как Ренуар — само цветение жизни.

Силверс покачал головой.

— Недурно Вы были писателем?

— Всего лишь журналистом, да и то плохоньким.

— Вам сам бог велел писать о живописи.

— Для этого я слишком слабо в ней разбираюсь.

На лице Силверса вновь появилась саркастическая усмешка.

— Думаете, люди, которые пишут о картинах, разбираются в них лучше? Скажу вам по секрету: о картинах нельзя писать — как вообще об искусстве. Все, что пишут об этом, служит лишь одной цели — просвещению невежд. Писать об искусстве нельзя. Его можно только чувствовать.

Я не возражал.

— И продавать,— добавил Силверс.— Вы, наверное, это подумали?

— Нет,— ответил я и не покривил душой.— А почему вы решили, что мне сам бог велел писать о картинах? Потому что писать о них нечего?

— Все-таки это лучше, чем быть плохоньким журналистом.

— Как знать.

Силверс рассмеялся:

— Вы, как и многие европейцы, мыслите крайностями. Или это свойственно молодежи? Однако вы уже не так молоды. А ведь между крайностями есть еще множество всяких вариантов и нюансов. У вас же об этом неверные представления. Я вот хотел стать художником. И стал им. Писал со всем энтузиазмом, присущим заурядному художнику. А теперь я антиквар и торгую картинами — со всем присущим этой профессии цинизмом. Ну и что? Предал я искусство тем, что не пишу больше плохих картин, или предаю его тем, что торгую картинами? Размышления в летний день в Нью-Йорке,— помолчав, сказал он и предложил мне сигару.— Попробуйте-ка вот эту сигару. Самая легкая из всех гаванских. Вы любите сигары?

— Я еще плохо в них разбираюсь. Курю все, что попадает под руку.

— Вам можно позавидовать.

Я удивленно поднял голову:

— Это для меня новость. Не думал, что этому можно завидовать

— У вас все еще впереди — выбор, наслаждение и пресыщение. Под конец остается лишь пресыщение. Чем ниже ступень, с которой начинаешь свой путь, тем позже наступает пресыщение.

— По-вашему, начинать надо с варварства?

— Если угодно.

Я обозлился. Варваров мне довелось видеть предостаточно. Эти салонные эстетические концепции меня раздражали — ими можно забавляться в более безмятежные времена. Даже за восемь долларов в день я не желал слушать разглагольствований Силверса. Я показал ему кипу фотографий.

— В картинах импрессионистов, наверное, проще разобраться, чем в картинах эпохи Ренессанса, — сказал я. — Все-таки они писали на несколько столетий позже. Дега и Ренуар дожили до первой мировой войны, а Ренуар даже пережил ее.

— И тем не менее появилось уже немало подделок и Ренуара, и Дега.

— Стало быть, единственной гарантией является тщательная экспертиза?

Силверс усмехнулся:

— Экспертиза или чутье. Нужно знать сотни картин. Видеть их вновь и вновь. На протяжении многих лет. Смотреть, изучать, сравнивать. И снова смотреть.

— Ну, разумеется, — сказал я. — Только почему же тогда многие директора музеев ошибаются в своих заключениях?

— Одни — умышленно. Но это быстро выходит наружу. Другие на самом деле ошибаются. Почему? Вот мы и подошли к вопросу о различии между директором музея и коммерсантом. Директор музея покупает редко и за счет музея. Коммерсант покупает часто — и всегда за свой счет. Не кажется ли вам, что этим они и отличаются друг от друга? Если коммерсант в чем-то ошибается, он теряет свои деньги. Директору же музея гарантирован каждый цент жалованья. У него интерес к картинам чисто академический, а у коммерсанта — финансовый. Естественно, что у коммерсанта взгляд острее, он большим рискует.

Я принял за разглядывать этого изысканно одетого человека. Костюм и ботинки на нем были английские, рубашка — из лучшего парижского магазина. Он был выхолен и благоухал французским одеколоном. И мне показа-

лось, что он отделен от меня стеклянной стеной: я слышал все, что он говорил, но так, будто он где-то далеко-далеко. Он жил в некоем темном мире, мире головорезов и разбойников — в этом я был уверен, — но разбойников весьма элегантных и весьма коварных. Все, что он говорил, было верно и в то же время неверно. Все представляло в странно искаженном виде. На первый взгляд Силверс производил впечатление спокойного, убежденного в своем превосходстве человека, но у меня было такое чувство, что он в любую минуту может превратиться в безжалостного дельца и не убоится пойти по трупам. Его мир насквозь фальшив, он слагался из мыльных пузырей благозвучных фраз и сомнительной близости к искусству, в котором Силверс разбирался лишь в ценах. Человек, действительно любящий картины, не стал бы ими торговать, подумалось мне.

Силверс посмотрел на часы.

— На сегодня хватит. Мне пора в клуб.

Меня нисколько не удивило, что он торопился туда. Это вполне вязалось с моим представлением о его нереальном существовании за «стеклянной стеной».

— Мы найдем общий язык, — сказал он и провел рукой по складке брюк.

Я невольно посмотрел на его ботинки. Он был слишком уж элегантен. Носки ботинок были чуть острее, чем нужно, а цвет — чуть светлее. Покрой костюма несколько вызывающий, а галстук — чересчур пестрый и шикарный. Он в свою очередь окинул взглядом мой костюм.

— Вам в нем не жарко?

— Когда очень жарко, я снимаю пиджак.

— Это не годится. Купите себе костюм из тропикала. Американские готовые вещи очень добротны. Здесь даже миллионеры редко шьют костюмы на заказ. Купите в магазине братьев Брук. А хотите подешевле — у «Браунинг энд Кинг». За шестьдесят долларов можно приобрести нечто вполне приличное.

Силверс вытащил из кармана пиджака пачку банкнот. Я еще раньше заметил, что у него нет бумажника.

— Вот, — сказал он и протянул мне сто долларов. — Считайте это авансом.

Стодолларовая бумажка жгла мне карман. У меня еще было время зайти в магазин «Браунинг энд Кинг». Я шел по Пятой авеню, славя имя Силверса в безмолвной молитве. Лучшее всего было бы сохранить деньги и донашивать старый костюм. Но это было невозможно. Через несколько дней Силверс наверняка спросит меня о костюме. Так или

иначе после всех лекций об искусстве, как о наилучшем помещении капитала, мой собственный капитал удвоился, хоть я и не приобрел картины Мане.

Через некоторое время я свернул на Пятьдесят четвертую улицу. Чуть подалее находился небольшой цветочный магазин, где продавались очень дешевые орхидеи — может быть, не совсем свежие, но это было незаметно. Накануне Меликов дал мне адрес фирмы, где работала Наташа Петрова. В мыслях у меня был полный разброд — я так и не понял, что представляет собой эта женщина: то она казалась мне модницей и шовинисткой, то я сам себе казался вульгарным плебеем. Теперь, похоже, в мою жизнь вмешался бог, о чем свидетельствовала сто долларовая бумажка, лежавшая у меня в кармане. Я купил две орхидеи и послал Наташе. Цветы стоили всего пять долларов, но производили впечатление более дорогих, что было весьма кстати.

В магазине «Браунинг энд Кинг» я выбрал себе легкий серый костюм, причем подгонять пришлось только брюки.

— Завтра вечером будет готово, — сказал продавец.

— А нельзя ли получить костюм сегодня?

— Уже поздно.

— Он мне очень нужен сегодня вечером, — настаивал я.

Особой срочности в этом не было, но на меня вдруг напала блажь получить новый костюм как можно скорее. В кои-то веки я мог себе это позволить, и мне в голову внезапно пришла глупая мысль, будто новый костюм знаменует собой конец моей бездомной эмигрантской жизни и начало оседлого обывательского существования.

— Попытайтесь это устроить, — попросил я.

— Пойду узнаю в мастерской.

Я стоял между длинными рядами развешанных костюмов и ждал. Казалось, костюмы со всех сторон шли маршем на меня, как армия автоматов, доведенных до верха совершенства, когда в человеке уже нет нужды. Продавец, проشمывнувший по безмолвным рядам, показался мне анахронизмом.

— Все в порядке. Приходите часов в семь.

— Очень вам благодарен.

Я вышел на раскаленную пыльную улицу.

Я свернул на Третью авеню. Лоу-старший украшал витрину. Я предстал перед ним во всем великолепии своего нового костюма. Он вытаращил глаза, точно филин ночью, и махнул канделябром, предлагая мне войти.

— Замечательно,— сказал он.— Это уже первый плод вашей деятельности в качестве обер-мошенника?

— Нет, всего лишь аванс от человека, которому рекомендовали меня вы, господин Лоу.

Лоу ухмыльнулся.

— Целый костюм. Tiens¹.

— И даже деньги еще остались. Силверс посоветовал мне магазин братьев Брук. Я же выбрал более скромный

— У вас вид авантюриста.

— Благодарю вас. Так оно и есть.

— Кажется, вы уже неплохо спелись,— пробурчал Лоу и принялся устанавливать на фоне генуэзского бархата прелестного свежераскрашенного ангела восемнадцатого века.— Удивительно, что вы вообще еще появляетесь среди нас, мелких сошек.

Я молча глядел на него. Маленький толстяк, оказывается, ревновал, хотя сам же направил меня к Силверсу.

— Вас больше устроило бы, если бы я ограбил Силверса? — спросил я.

— Между ограблением и лизанием зада есть определенная разница!

Лоу поставил на место французский стул, у которого лишь половина ножки была действительно старинной. Меня охватило теплое чувство. Ко мне уже давно никто не относился с такой бескорыстной симпатией. А задумался я над этим лишь совсем недавно. Мир полон добрых людей, но замечаешь это, лишь когда оказываешься в беде. И это является своего рода компенсацией за трудные минуты жизни. Удивительный баланс, заставляющий в минуты отчаяния уверовать даже в очень далекого, обезличенного, автоматического бога, восседающего перед пультом управления. Впрочем, только в минуты отчаяния — и никогда больше.

— Что вы так на меня уставились? — спросил Лоу.

— Славный вы человек,— искренне воскликнул я.— Прямо отец родной!

— Что?

— Это я так... В неопределенно-трансцендентном смысле.

— Что? — переспросил Лоу.— У вас, надо понимать, все хорошо, раз вы несете такой вздор. Вздор да и только.

¹ Смотри-ка (фр.).

Вам что, так уж нравится состоять при этом паразите? — Он вытер пыль с ладоней. — Наверное, у него черную работу делать не приходится, не так ли? — Он швырнул грязное полотенце за штору на грудь японских офортов в рамках — Ну как, там лучше, чем здесь?

— Нет, — ответил я.

— Так я и поверил!

— Просто там все иначе, господин Лоу. Когда глядишь на прекрасные картины, все остальное отступает на второй план. К тому же картины — не паразиты!

— Они жертвы, — неожиданно спокойно произнес Лоу-старший. — Представьте себе, каково бы им пришлось, будь у них разум! Ведь их продают, как рабов. Продают торговцам оружием, военным, промышленникам, дельцам, сбывающим бомбы! На обгаренные человеческой кровью деньги эти типы приобретают картины, излучающие мир и покой.

Я взглянул на Лоу.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Пусть эта война иная. Но такая ли уж она иная для этих паразитов! Их цель — заработать, нажиться, а где и как — им все равно. Если понадобится, они готовы и дьяволу. — Лоу замолк — Юлий идет, — прошептал он. — Боже праведный, в смокинге! Все погибло!

Лоу-младший не был в смокинге. Мы увидели его в ту секунду, когда он входил с улицы, освещенный последним грязновато-медвяным лучом солнца, весь пропахший бензином и выхлопными газами. На нем была узкая визитка цвета маренго, полосатые брюки, котелок и, к моему удивлению, светло-серые старомодные гетры.

Я с умилением рассматривал их, ибо ничего подобного не видел с догитлеровских времен.

— Юлий! — воскликнул Лоу-старший — Постой, подожди. В последний раз говорю: вспомни хотя бы о своей благочестивой матери!

Юлий медленно переступил порог.

— О матери я помню, — сказал он. — А ты не сбивай меня с толку, еврейский фашист!

— Юлий, побойся бога. Разве я не желаю тебе добра? Разве я не заботился о тебе, как только может заботиться старший брат, разве не ухаживал за тобой, когда ты болел, ты...

— Мы близнецы, — заметил Юлий, обращаясь ко мне. — Я вам уже говорил, что брат старше меня всего на три часа.

— Иной раз три часа значат больше, чем целая жизнь. Ты всегда был мечтателем, не от мира сего, мне вечно приходилось смотреть за тобой, Юлий. Ты же знаешь, я всегда думал о твоём благе, а ты вдруг стал относиться ко мне, как к своему заклятому врагу.

— Потому что я хочу жениться.

— Потому что ты хочешь жениться бог знает на ком. Господин Росс, вы только взгляните на него, прямо жалость берет, он стоит здесь с таким видом, будто собирается взять барьер. Юлий! Юлий! Опомнись! Не спеши! Он, видите ли, хочет сделать предложение по всем правилам, как какой-нибудь коммерции советник. Тебя опоили любовным зельем, вспомни о Тристане и Изольде и несчастье, которое их постигло. Своего родного брата ты называешь фашистом за то, что он хочет предостеречь тебя от неверного шага. Юлий, найди себе добропорядочную еврейку.

— Не нужна мне добропорядочная еврейка. Я хочу жениться на женщине, которую люблю!

— Нет, вы только подумайте, он ее любит! Посмотри, на кого ты похож! Он собирается сделать ей предложение. Вы только поглядите на него, господин Росс!

— Ничем не могу вам помочь,— сказал я.— На мне тоже новый костюм. Костюм для обер-мошенника. Не так ли, господин Лоу?

— Это я пошутил.

Вскоре разговор вошел в более спокойное русло. Юлий взял назад свои слова о «еврейском фашисте» и обозвал брата «сионистом», а затем — «семейным фанатиком». В пылу спора Лоу-старший допустил одну тактическую ошибку. Он сказал, что мне, к примеру, вовсе не обязательно жениться на еврейке.

— Это почему? — спросил я — Когда мне было шестнадцать лет, мой отец советовал мне взять в жены еврейку. Иначе, полагал он, ничего путного из меня не выйдет.

— Вот видишь! — воскликнул Юлий.

Спор разгорелся с новой силой. Однако Лоу-старший благодаря своей напористости взял верх над лириком и мечтателем Юлием. Ничего другого я и не ожидал. Если бы Юлий твердо решил жениться, он не появился бы здесь в визитке, а просто пошел бы к своей богине с рыжими космами — крашеными, как полагал Лоу-старший. Убедить его не спешить с предложением оказалось не так уж трудно.

— Ты ничего не потеряешь,— увещевал его Лоу-старший.— Еще раз хорошенько все обдумай.

— А если она заведет себе другого!

— Не заведет, Юлий. Ты ведь не зря вот уже тридцать лет в деле! Разве мы не уверяли тысячу раз своих покупателей, что у нас уже есть претенденты на сблизованную ими вещь, но это всегда было только ловким трюком. Ну, Юлий, поди иними эту дурацкую визитку!

— Нет,— неожиданно резко возразил Юлий.— Я ее надел и не сниму.

Лоу-старший испугался, что опять возникнут осложнения.

— Хорошо, будь по-твоему,— сказал он с готовностью.— Куда пойдем? Может быть, в кино? На фильм с Полетт Годар.

— В кино? — Юлий с сожалением оглядел свою визитку цвета маренго. В кино ее никто не увидит, из-за темноты.

— Хорошо, Юлий. Тогда пойдем в ресторан, самый первоклассный. Закажем хорошую закуску. Рубленую куриную печенку, а на десерт пломбир с персиками. Куда хочешь, туда и пойдем.

— К «Соседу»,— решительно заявил Юлий.

Лоу-старший на какое-то мгновение задумался, как бы перепаривая услышанное.

— Ну хорошо, к «Соседу» так к «Соседу». — Он обернулся ко мне.— Господин Росс, пойдемте с нами. Вы сегодня так элегантны. А что это у вас за сверток?

— Мой старый костюм.

— Оставьте его здесь. Зайдете за ним после.

В гостиницу я вернулся около десяти вечера.

— Тут для тебя есть пакет,— объявил Меликов.— Если не ошибаюсь, это бутылка.

Я развернул бумагу.

— Боже мой! — воскликнул Меликов.— Настоящая русская водка!

Я осмотрел упаковку. Никакой записки не было. Только водка.

— Ты заметил, что бутылка не совсем полная? — спросил Меликов.— Я не повинен в этом. Так и было.

— Знаю,— сказал я.— Кто-то выпил две довольно большие рюмки. Нальем, что ли? Ну и денек!

Я зашел за Каном. Мы были приглашены на торжество к Фрислендерам.

— У них большой праздник,— пояснил Кан.— Фрислендеры позавчера стали американскими гражданами.

— Так скоро? Разве не надо ждать пять лет, чтобы получить документы?

— Фрислендеры и ждали пять лет. Они прибыли в Америку еще до войны, с первой волной наиболее ловких эмигрантов.

— И впрямь ловкачи,— согласился я.— Что же это нам не пришла в голову такая идея?

Фрислендерам сопутствовала удача. Еще до прихода нацистов к власти они поместили часть своего капитала в Америке. Старик не доверял ни европейцам вообще, ни немцам в частности. Свои сбережения он вложил в американские акции, главным образом в «Америкэн телеграф энд телефон компани». С течением времени они изрядно поднялись в цене Единственное, в чем Фрислендер ошибся, это в сроках. В Америке он поместил только ту часть своего капитала, которая не требовалась в деле. Фрислендер торговал шелком и мехами и считал, что всегда сумеет, в случае если ситуация станет опасной, быстро реализовать свой товар. Но ситуация стала опасной уже за два года до захвата власти нацистами. Дела Дармштадтского национального банка, одного из крупнейших банков Германии, внезапно пошатнулись. У касс началась свалка. Немцы еще не забыли страшной инфляции, которая разразилась десять лет назад. Тогда триллион фактически стоил четыре марки. Во избежание полной катастрофы правительство закрыло банки и блокировало все переводы денег за границу. Этой мерой оно стремилось предотвратить обмен наличного запаса марок на более устойчивую валюту. В то время у власти стояло демократическое правительство, однако, само того не ведая, оно вынесло смертный приговор множеству евреев и противников нацистской партии. Капиталы, блокированные в 1931 году, так и не были разморожены. Поэтому после прихода нацистов к власти почти никому не удалось переправить за границу свои средства и тем самым спасти их. Надо было либо все бросить, либо сидеть и, карауля свои деньги, ждать гибели. В кругах национал-социалистов немало потешались над этой ситуацией.

Фрислендер тогда еще колебался. Он не мог решиться все бросить и уехать; к тому же, подобно многим евреям в 1933 году, он стал жертвой странного благодушия и считал все происходящее лишь временным явлением. Бесчинства нацистов прекратятся, как только они достигнут вожделенной власти. Тогда будет сформировано разумное правительство. Ну что ж, придется пережить несколько беспокойных месяцев, как при любом перевороте. Потом все войдет в свою колею — Фрислендер был не только осторожным дельцом, но и пламенным патриотом. Он не очень доверял нацистам, но ведь имелся еще и президент Германии — почтенный фон Гинденбург, фельдмаршал и столп прусского права и добродетели.

Прошло еще некоторое время, прежде чем Фрислендер пробудился от спячки. Спячка продолжалась до тех пор, пока суд не предъявил ему обвинение во всевозможных злодеяниях, начиная с мошенничества и кончая изнасилованием несовершеннолетней девочки, которую он и в глаза не видел. Мать и дочь клялись, что обвинение вполне обоснованно, так как глупый Фрислендер, веровавший в пресловутую справедливость немецкой юстиции, с возмущением отверг притязания мамы — она требовала от него 50 000 марок. Однако Фрислендер быстро «образумился» и при второй попытке шантажа оказался уже более сговорчивым. Как-то вечером к нему зашел секретарь уголовной полиции, подсланный крупным нацистским деятелем. От Фрислендера потребовали куда более высокую сумму, но взамен ему было позволено вместе с семьей бежать из Германии. Ему сказали, что на границе с Голландией часовому будут даны соответствующие инструкции. Фрислендер ничему не верил. Он каждый вечер проклинал себя, а по ночам его проклинала жена. Он подписал все, что от него требовали. И произошло невероятное: Фрислендера с семьей переправили через границу. Сначала — жену и дочь. Получив открытку из Арихейма, он отдал остаток своих акций нацистам. Через три дня он тоже был в Голландии. Затем начался второй акт трагикомедии. Срок его паспорта истек, прежде чем он успел обратиться с ходатайством о получении американской визы. Он попытался раздобыть другие документы. Но тщетно. Тогда ему удалось получить некоторую сумму из Америки. Однако и этот источник вскоре иссяк. Остальные деньги — а это была большая часть его состояния — Фрислендер поместил с таким условием, что их могли выдать только ему лично. Он, конечно, рассчитывал, что скоро сам окажется

в Нью-Йорке. Но срок его паспорта истек, и Фрислендер стал воистину нищим миллионером! Он отправился во Францию, где власти уже тогда проявляли нервозность и обращались с ним как с одним из тех беженцев, кто в страхе за свою шкуру плел всевозможные небылицы, надеясь таким путем получить разрешение на жительство. В конце концов, благодаря поручившимся за него американским родственникам, Фрислендеру удалось получить визу на въезд в США, несмотря на просроченный паспорт. И когда в Америке ему выдали на руки его акции, он облобызал их и решил переменить имя.

Сегодня умер Фрислендер и родился Дэниел Варвик. Фрислендер сменил имя при получении гражданства.

Мы вошли в большую, ярко освещенную гостиную. Сразу можно было заметить, что в Америке Фрислендер не терял времени даром. Все здесь говорило о богатстве. В столовой высился огромный буфет. Стол был уставлен вазами с пирожными, и среди всего этого великолепия красовались еще два круглых торта, облитых сахарной глазурью с надписью «Фрислендер» — на одном и «Варвик» — на другом. На тorte «Фрислендер» был шоколадный ободок, который при некоторой фантазии можно было считать траурной каймой, а у торта «Варвик» ободок был из розовых марципановых розочек.

— Изобретательность моей кухарки, — с гордостью сказал Фрислендер. — Как, нравится?

Его красное широкое лицо сияло от удовольствия.

— Торт «Фрислендер» мы сегодня разрежем и съедим, — пояснил он. — Второй останется нетронутым. Это своего рода символ.

— Почему вам пришло в голову назваться Варвиком? — спросил Кан. — Если не ошибаюсь, это известный род в Англии?

Фрислендер утвердительно кивнул:

— Как раз поэтому. Если уж менять имя, так на что-то приличное. Что будете пить, господин Кан?

Тот с удивлением взглянул на хозяина.

— Шампанское, конечно, «Дом Периньен». Как и подобает по такому случаю!

Фрислендер на минуту смутился.

— Этого у нас, к сожалению, нет, господин Кан. Зато могу предложить отличное американское шампанское.

— Американское?.. Налейте-ка лучше бокал бордо.

— Калифорнийского. Хороший сорт.

— Господин Фрислендер,— сдерживая себя, сказал Кан.— Хотя Бордо и оккупирован немцами, он пока еще не в Калифорнии. Не стоит заходить так далеко в нашем повом патриотизме.

— Почему? — Фрислендер выпятил грудь, между лацканами смокинга блеснули сапфировые пуговицы.— Зачем сегодня вспоминать прошлое? Можно было бы выпить и голландского джина и немецкого вина. Но мы от них отказались. В Германии и в Голландии нам слишком многое пришлось испытать. По этой же причине мы не заказывали французских вин. К тому же они не намного лучше. Все это реклама! А вот чилийское вино действительно первоклассное.

— Выходит, свою досаду вы вымещаете на напитках?

— Кто как может. Прошу к столу, господа.

Мы последовали за ним.

— Как видите, есть и преуспевающие эмигранты,— заметил Кан.— Правда, их совсем мало. В Германии Фрислендер лишился всего, что нажил там. Но некоторые из так называемых «ловкачей» не теряли времени даром и уже многого добились. Основную же массу эмигрантов составляют «нерешительные». Эти топчутся на месте, не зная, заютят они вернуться в Германию или нет. Кроме того, здесь есть и просто «зимующие». Эти будут вынуждены вернуться, так как в Америке им не найти работы.

— А к какой волне вы относите меня? — спросил я, принимаясь за куриную ножку в винном желе.

— К самой поздней, которая уже сливается с той, что откатывается. У Фрислендера великолепная кухня, не правда ли?

— Все это приготовлено здесь, в доме?

— Все. Фрислендеру повезло, что в Европе кухаркой у него была венгерка. Она осталась ему верна и несколько лет спустя последовала за ним через Швейцарию во Францию — с драгоценностями фрау Фрислендер в желудке. Несколько прекрасных камней без оправы, которые в свое время вручила ей фрау Фрислендер, Роза проглотила перед границей вместе со сдобной булкой. Впрочем, необходимости в этом не было, ведь ее, как венгерку, никто не обыскивал. Сейчас она продолжает кухарничать. Истинное сокровище!

Я оглянулся. У буфета толпились гости.

— Это все эмигранты? — спросил я.

— Нет, не все. Фрау Фрислендер обожает американских знакомых. Вы же слышите, вся семья говорит только по-английски. С немецким акцентом, но по-английски

— Разумно. А как им еще научиться английскому?

Кан рассмеялся. У него на тарелке лежал огромный кусок жареной свинины.

— Я вольнодумец,— сказал он, заметив мой взгляд,— а красная капуста одно из моих...

— Знаю,— перебил я его.— Одно из ваших многочисленных пристрастий.

— Чем больше таких пристрастий, тем лучше. Особенно если подвергаешься опасности. Это отвлекает от мыслей о самоубийстве.

— Вы когда-нибудь помышляли о самоубийстве?

— Да. Однажды. Меня спас запах жареной печенки с луком. Это была критическая ситуация. Вы знаете, жизнь протекает в разных пластах, и у каждого — свои цезуры, свои паузы. Обычно эти цезуры не совпадают. Один пласт подпирает другие, в которых жизнь на время угасла. Самая большая опасность, когда цезуры возникают одновременно во всех пластах. Тогда-то и наступает момент для самоубийства без видимой причины. Меня в такой момент спас запах жареной печенки с луком. Я решил перед смертью поест. Пришлось немного обождать, за стаканом пива завязался разговор. Слово за слово, и я воскрес. Верите ли? Это не анекдот. Я расскажу вам историю, которая всегда приходит мне на память, когда я слышу жалкое английское кваканье наших эмигрантов. Оно меня очень умиляет, напоминая об одной старой эмигрантке, бедной, больной и беспомощной. Эта женщина решила покончить с собой и исполнила бы свое намерение, если бы, уже собравшись открыть газ, не вспомнила, с каким трудом ей давался английский язык и как с каждой неделей она все лучше и лучше его понимала. Ей стало жаль вот так разом все бросить. Крохотные познания в английском — это единственное, что у нее было, поэтому она уцепилась за них и выжила. Я частенько вспоминаю о ней, когда слышу английские слова, чудовищно исковерканные старательными новичками. Это трогательно. Даже у Фрислендеров. Комизм ведь не спасает от трагизма, и наоборот. Взгляните на ту девушку, что уплетает яблочный пирог со взбитыми сливками Красива, не правда ли?

Я взглянул на девушку

— Она не просто красива,— произнес я в изумлении.— Она трагически красива.— Я оглянулся еще раз — Она бо-

жественна. Если бы она не ела яблочный пирог с таким аппетитом, то была бы одной из тех редких женщин, перед которыми падаешь ниц не задумываясь. Какое прекрасное лицо!.. У нее что, горб? Или слоновая болезнь? Если эта богиня забрела к Фрислендерам, что-то с ней наверняка не в порядке.

— Подождите, пока она встанет,— восторженно прошептал Кан.— Эта девушка — само совершенство. Лодыжки газели. Колени Дианы. Стройная фигура. Полная упругая грудь. Кожа восхитительная. Ножки — идеальные. И ни малейшего намека на мозоли.

Я взглянул на него.

— Не верите? — спросил он.— Я это точно знаю. Кроме того, зовут ее Кармен. Грета Гарбо и Долорес дэль Рио в одном лице!

— И .— с усилием произнес я.

Кан потянулся.

— Она глупа,— сказал он.— И не просто глупа, а неписуемо глупа. То, что она сейчас проделывает с яблочным пирогом, уже представляет для нее непосильное умственное напряжение.

— Жаль,— сказал я в нерешительности.

— Зато как хороша!

— Чем же может пленить такая фантастическая глупость?

— Своей неожиданностью.

— Статуя еще глупее

— Статуя безмолвна, а Кармен умеет говорить.

— И что же она говорит?

— Самые несусветные глупости, какие только можно себе представить. Куда до нее какой-нибудь обывательнице! Она сверхъестественно глупа! Я иногда встречался с нею во Франции. Ее глупость была легендарной и хранила ее, как волшебный плащ. Но однажды она оказалась в опасности. Ей надо было уносить ноги. И я решил взять ее с собой. Она отказалась. Ей, видите ли, надо было еще принять ванну и одеться. Потом ей втемяшилось собрать свои туалеты — идти без них она не желала. А гестапо между тем было уже совсем близко. Я бы не удивился, если бы она вздумала еще побывать у парикмахера. К счастью, парикмахера там не было. Вдобавок ко всему ей захотелось позавтракать. Я еле удержался, чтобы не запустить бутербродом в ее прелестное ушко. Она завтракала, а меня била дрожь. Недоеденные бутерброды и мармелад ей непременно нужно было прихватить с собой. Она так

долго искала «чистую бумагу», что мы почти услышали скрип гестаповских сапог. Затем она села ко мне в машину. Не спеша. В то утро я в нее влюбился.

— Сразу же?

— Нет. Когда мы были уже в безопасности. Она так ничего и не заметила. Боюсь, что она слишком глупа даже для любви.

— Такое не часто встретишь!

— Иногда до меня долетали разные слухи о Кармен. Она проходила сквозь все опасности, словно величавый заколдованный парусник. Оказывалась в невероятных ситуациях. И хоть бы что. Ее бесподобная непосредственность обезоруживала убийц. Думаю, что ее даже ни разу не изнасиловали. Она, разумеется, прибыла сюда с одним из последних самолетов. Подойдя в Лиссабоне к кучке дрожавших от страха беженцев, она невозмутимо произнесла: «Было бы забавно, если бы самолет упал сейчас в море, правда?» И никто ее не линчевал. К тому же ее зовут Кармен. Не Рут, не Элизабет, не Берта, а — Кармен!

— Что она делает теперь?

— Счастливая судьба священной коровы сразу же ни послала ей место манекенщицы у Сакса на Пятой авеню. Она сама не искала этого места, искать было бы для нее слишком утомительно. Ей преподнесли его на блюдечке.

— Почему бы ей не сниматься в кино?

— Даже для этого она чересчур глупа.

— Невероятно!

— Не только глупа, но и инертна. Никакого честолюбия. Никаких комплексов. Удивительная женщина!

Я взял кусочек торта «Фрислендер». Между тем торт «Варвик» унесли со стола в безопасное место. «Фрислендер» был великолепен — горький шоколад, посыпанный миндалем. Наверное, это тоже был символ. Мне стало ясно, чем Кармен так привлекала Кана. Невозмутимость, которую он воспитал в себе бесстрашием и презрением к смерти, ей была дана от природы. И это непреодолимо влекло его.

Его лицо приняло мечтательное выражение.

— На всю жизнь! Это величайшая авантюра из всех моих авантур.

— Что?

— Величайшая, — повторил он.

— Неужели это вам не наскучит?

— Нет — Кан тоже решил попробовать торт «Фрислендер». Он отрезал кусочек с начальными буквами

«Фрис». — Почему бы ему не назвать себя просто Лендер? — заметил он.

— Решил начать все заново, — сказал я. — Хвостик старого имени его не удовлетворил бы. В общем, вполне понятно.

— Как вы себя назовете, когда примете американское гражданство?

— Позволю себе пошутить и в качестве псевдонима возьму свое прежнее имя. Свое настоящее имя. Этого, наверное, еще никто не делал.

— Во Франции я встретил одного зубного врача. За день до отъезда из Германии — он уже получил разрешение на выезд — его еще раз срочно вызвали в гестапо. В отчаянии он простился со своими близкими. Все думали, что его отправят в концлагерь. А ему учинили допрос относительно его имени. Заявили, что, будучи евреем, он не может выехать под этим именем. Его звали Адольф Дойчланд. Отпустили его лишь после того, как он согласился ехать под именем Ланд. Во французском лагере для интернированных он сообразил, что мог бы выехать и совсем под другим именем.

Наконец, подали кофе. Мы чувствовали себя как обжоры на картине Брейгеля-старшего.

— Как вы думаете, принципы Фрислендера и французский коньяк несовместимы?

— Здесь есть «Фундадор». Португальский или испанский. Пожалуй, сладковат немного, но ничего.

Вошла фрау Фрислендер.

— Уже начались танцы, господа. Сейчас, когда идет война, наверное, не следовало бы их устраивать, однако по такому случаю и потанцевать не грех. А вот и наши военные пришли.

Мы увидели несколько американских военных. Из числа новых знакомых Фрислендеров. Ковер в гостиной был скатан, и фрейлейн Фрислендер в ярко-красном платье избрала своей жертвой юного лейтенанта, довольно неохотно расставшегося с двумя приятелями, которые ели мороженое. Но и тех сразу же пригласили танцевать две удивительно похожие друг на друга девушки, обе очень красивые и веселые.

— Это двойняшки Коллер, — пояснил Кан, — из Венгрии. Одна из них прибыла сюда два года назад и прямо с парохода отправилась на такси к врачу, который славится своими пластическими операциями. Полтора месяца спустя она появилась вновь, перекрашенная, с прямым, напо-

ловину укороченным носом и роскошным бюстом. Адрес этого врача она узнала в дороге и действовала, не теряя ни минуты. Когда позже приехала вторая сестра, ее прямо с парохода увезли к тому же врачу. Злые языки утверждали, что под вуалью. Так или иначе через два месяца она объявилась преобразенной, и тут началась ее карьера. Говорят, что приехала еще третья сестра, но она отказывается от операции. Те же злые языки разнесли слух, что двойняшки держат ее взаперти, пока она не станет более сговорчивой.

— Эти предприимчивые двойняшки произвели операцию и со своими именами? — спросил я.

— Нет. Они утверждают, что в Будапеште были чуть ли не кинозвездами. Впрочем, и здесь они стали малыми звездами на малых ролях. Они далеко пойдут. Остроумны и интеллигентны. К тому же они венгерки. В общем, красный перец в крови, как говорится.

— Замечательно. Каждый здесь может начать сызнова, изменив все, что ему дано природой: лицо, бюст и даже имя. Словно это маскарад или источник вечной молодости. Дурнушка погружается в воду и выходит из нее преобразенной. Я — за сестер Коллер, за Варвиков, за чудо перевоплощения.

Подошел Фрислендер.

— Будет еще гуляш. Розы уже готовит его. Подадут примерно в одиннадцать часов. Вы не танцуете?

— И танго, и императорскому вальсу мы предпочли отличную еду.

— Вам правда она понравилась?

— Выше всяких похвал.

— Очень рад. — Фрислендер наклонил к нам свое вспотевшее красное лицо. — Теперь редко чему-нибудь радуешься, не правда ли?

— Ну что вы, господин Фрислендер!

— Конечно. Я вот никак не могу избавиться от смутного чувства тревоги. Никак. Думаете, мне легко было решиться взять себе чужое имя, господин Кан? Иногда меня и на этот счет гложет тревога.

— Но вы же сами хотели поменять имя, господин Фрислендер, — мягко заметил Кан.

Он ненавидел фальшь, и если обнаруживал хотя бы слабый намек на нее, в его голосе начинали звучать иронические нотки. Но чужой страх и неуверенность тут же пружждали в нем сострадание.

— Если имя вам не подходит, поменяйте еще раз.

— Думаете, можно?

— В такой благословенной стране это легче, чем где бы то ни было. Здесь относятся к этому с таким же пониманием, как на Яве. Если там кому-нибудь наскучит или опротивит собственное имя, можно выбрать новое. Это считается естественным, и многие прибегают к такому способу по нескольку раз в жизни. К чему вечно таскать за собой прошлое, когда уже давно его перерос? Врачи считают, что организм человека обновляется каждые семь лет.

На лице Фрислендера появилась благодушная улыбка.

— Вы сокровище, господин Кан! — сказал он и отошел к другим гостям.

— Вон Кармен танцует, — сказал Кан.

Я повернул голову. Кармей медленно двигалась.

Живое воплощение несбыточных мечтаний с трагическим выражением лица, она безвольно покоилась в объятиях долгового рыжеволосого сержанта. Все с восторгом смотрели на нее, она же, если верить Кану, размышляла о рецепте яблочного пирога.

— Я молюсь на эту корову, — сдавленным голосом произнес Кан.

Я молчал, разглядывая Кармен и фрау Фрислендер, двойняшек Коллер с их новыми бюстами и господина Фрислендера-Варвика в коротковатых брюках, и мне было так легко, как давно уже не было. Может, это и впрямь Земля Обетованная, думал я, и Кан прав, говоря, что здесь в самом деле можно переродиться, а не только изменить имя и черты лица. Наверное, это действительно возможно, хотя и кажется нереальным: ничего не забыть и вместе с тем начать все сначала, сублимировать страдание, пока не утихнет боль, пустить все в переплавку, ничего при этом не утратив, никого не предав и не став дезертиром.

XI

На следующий день вечером я получил письмо от адвоката: мой вид на жительство продлен на шесть месяцев. Меня словно раскачивало на качелях — вверх-вниз, вверх-вниз. Но и к такому ощущению в конце концов можно привыкнуть. Адвокат просил позвонить ему завтра в первой половине дня. Я догадывался зачем.

Придя в свою убогую гостиницу, я застал там Наташу Петрову.

— Вы ждете Меликова? — спросил я в некотором смущении.

— Нет, я жду вас.— Она рассмеялась.— Мы так мало знакомы и уже так много должны друг другу простить, просто удивительно. Какие, собственно, у нас теперь отношения?

— Великолепные,— ответил я.— По крайней мере, нам как будто не скучно вместе.

— Вы ужинали?

Я мысленно подсчитал свои деньги.

— Нет еще. Может, пойдем в ресторан «Лоншан»?

Она оглядела меня. На мне был новый костюм.

— Новый! — сказала она, и я, проследив за ее взглядом, вытянул ногу.

— Ботинки тоже новые. Как, по-вашему, я уже созрел для ресторана «Лоншан»?

— Я была там вчера вечером. Довольно скучно. Летом приятнее сидеть на открытом воздухе. Но в Америке до этого еще не додумались. Здесь ведь и кафе нет.

— Только кондитерские.

Она бросила на меня быстрый взгляд.

— Да! Для старух, от которых уже слегка пахнет прелью.

— У меня в номере есть кастрюля с гуляшом по-сегедски,— сказал я.— Хватит на шесть здоровых едоков, венгерская кухарка приготовила. Вчера вечером он был вкусный, а сегодня еще вкусней. Гуляш по-сегедски с тмином и зеленью даже вкуснее на следующий день.

— Откуда у вас гуляш по-сегедски?

— Я был вчера в гостях.

— Впервые слышу, чтобы домой из гостей приносили гуляш на шесть человек. Где это было?.. В...?

Я возмущенно посмотрел на нее.

— Нет, не в немецкой пивной. Гуляш — блюдо венгерское, а не немецкое. Я получил приглашение в один дом. На ужин с танцами! — добавил я, чтобы отомстить за ее подозрения.

— Даже с танцами! У вас отличные знакомства!

Подвергаться дальнейшему допросу мне не хотелось.

— Одинокие холостяки, ютящиеся в унылых, убогих гостиницах, получают там от человеколюбивой хозяйки кастрюлю гуляша. В этом доме так принято,— пояснил я.— Еды там хватало бы на целую роту солдат. Кроме того, мне и моему приятелю дали малосольных огурцов и пирог с вишнями. Пицца богов. Но, к сожалению, все остыло.

— А нельзя подогреть?

— Где? — удивился я. — У меня есть только маленький электрический кофейник, больше ничего.

Наташа рассмеялась.

— Надеюсь, у вас в номере найдется и несколько офорт, которые вы показываете вашим посетительницам!

— Об этом я еще не успел позаботиться. Так вы не хотите пойти в «Лоншан»?

— Нет. Вы так соблазнительно описали ваш гуляш... Скоро придет Меликов, — сказала Наташа. — Он наверняка нам поможет. А мы пока побродим полчаса по городу. Я еще не была сегодня на воздухе. А для гуляша надо гулять аппетит.

— Ну что ж, пойдемте.

Мы брели по улицам. Домаплыли в красноватом свете. В магазинах зажглись огни. Наташа призналась мне, что страдает «обувным» комплексом. Не может равнодушно пройти мимо обувного магазина. Даже если она уже побывала там час назад, она на обратном пути непременно постойт у витрины, чтобы проверить, не появилось ли чего-нибудь нового.

— Сумасшедшая? Правда?

— Почему?

— Ведь за это время ничего не могло измениться. Я же все успела рассмотреть.

— Но могли что-нибудь и упустить. Кроме того, вдруг хозяину пришла в голову мысль оформить витрину по-иному.

— После закрытия магазина?

— А когда же еще? Пока магазин открыт, хозяин должен торговать.

Она бросила на меня быстрый взгляд.

— Вы... вы немножко того... — И постучала себе пальцем по виску — Я действительно несколько раз видела, как меняли оформление витрины. Вы ведь знаете, как это делается: все беззвучно шныряют за стеклом в одних чулках и делают вид, что не замечают глазающих прохожих.

Она представила это в лицах.

— А как насчет домов мод? — спросил я.

— Это же моя профессия. К вечеру я уже сыта ею по горло.

Мы были недалеко от магазина Кана. Я подумал: а почему бы мне не одолжить у него электрическую плитку? К моему удивлению, Кан еще был в магазине.

— Одну минуту, — сказал я Наташе, — вот где мы решим проблему ужина.

Я открыл дверь.

— Я будто почувствовал, что вы придете! — сказал Кан, разглядывая через мое плечо Наташу Петрову. — А вы не хотите пригласить вашу даму сюда?

— Ни в коей мере, — ответил я. — Я только хотел просить вас одолжить мне плитку.

— Сейчас?

— Да.

— Ничего не выйдет. Она мне самому нужна. Сегодня по радио последний отборочный матч чемпионата по боксу. Кармен придет ко мне ужинать. Должна вот-вот появиться. Она уже опаздывает на сорок пять минут.

— Кармен? — спросил я и посмотрел на Наташу, которая вдруг показалась мне такой желанной и такой далекой по ту сторону витрины, словно нас разделяли сотни километров. — Кармен, — повторил я.

— Да, а почему бы вам не остаться здесь? Мы бы вместе поужинали, а потом послушали бы репортаж о матче.

— Превосходно, — согласился я. — Еды здесь хватит.

— И все уже готово.

— А где мы будем ужинать? Для четверых ваша комната слишком мала.

— В магазине.

— В магазине?

Я вышел к Наташе, казавшейся мне по-прежнему такой далекой в отблеске витрины, мерцавшей серебристо-серым светом. Но когда я подошел к ней, мною овладело странное чувство, будто она стала мне гораздо ближе, чем раньше. «Иллюзия света, тени и отражения», — подумал я, со всем сбитый с толку.

— Мы приглашены на ужин, — сказал я. — И на репортаж о соревнованиях по боксу!

— А как же гуляш?

— На гуляш тоже, — добавил я.

— Как?

— Сами увидите.

— У вас по всему городу спрятаны миски с гуляшом? — спросила она удивленно.

— Только в стратегических точках.

Я увидел, как подошла Кармен. Она была в светлом плаще, без шляпы. Наташа смерила Кармен взглядом. Кармен же оставалась невозмутимой и не обнаруживала ни малейших признаков любопытства. В красноватом вечернем свете ее черные волосы казались выкрашенными хной.

— Я немного опоздала,— проговорила она томным голосом.— Но это ничего, правда? Ага, гуляш на столе. Вы, надеюсь, прихватили с собой кусочек пирога с вишнями?

— С вишнями, с творогом и с яблоками,— уточнил Кан.— Сегодня перед обедом получен пакет из неистощимой кухни Фрислендера.

— Тут даже водка есть,— заметила Наташа.

— Настоящий день сюрпризов.

Гуляш был действительно вкуснее, чем накануне. Еще и потому, что мы ели его под звуки органа. Кан включил приемник, чтобы не дай бог не пропустить соревнований по боксу. Пришлось прослушать и предшествующую репортажу программу. Как ни странно, но Иоганн-Себастьян Бах неплохо сочетался с гуляшом по-сегедски, хотя мне казалось, что здесь более уместен был бы Франц Лист. Впрочем, обычный гуляш в сочетании с Бахом был бы невозможен. Снаружи, у витрины, собралось несколько прохожих: им хотелось послушать репортаж о соревнованиях по боксу, а пока они рассматривали нас. Нам они казались рыбками в аквариуме, так же, наверное, как и мы им.

Неожиданно раздался энергичный стук в дверь. Мы с Каном подумали, что это полиция, но это был официант из ресторана напротив, который принес четыре двойных порции спиртного.

— Кто это прислал? — спросил Кан.

— Господин с лысиной. Он, наверное, увидел через стекло, что вы пьете водку и что бутылка почти пуста.

— Где он?

Официант пожал плечами.

— Тут четыре порции водки. Они оплачены. Стаканы я заберу после.

— Тогда принесите еще четыре.

— Хорошо.

Мы подняли стаканы за незнакомых людей на улице. В рассеянном свете реклам я насчитал по крайней мере пять лысин. Нашего благодетеля узнать было невозможно. Поэтому мы поступили так, как редко доводится поступать: мы подняли стаканы за безымянное Человечество. В ответ Человечество начало барабанить пальцами по стеклу. Орган стих. Кан прибавил громкости и стал раздавать куски пирога. Он извинился, что не сварил кофе: для этого надо было сбегать наверх и найти там банку с кофе. А первый раунд уже начался.

Когда соревнования закончились, Наташа Петрова потянулась за стаканом с водкой. Кан казался утомленным— он был слишком страстным болельщиком. Кармен мирно и безмятежно спала.

— Что я вам говорил,— заметил Кан.

— Пусть спит,— прошептала Наташа.— Нам уже пора идти Большое спасибо за все. Доброй ночи.

Мы вышли на улицу.

— Ему наверняка хочется остаться с ней наедине.

— Не совсем в этом уверен.

— Почему? Она очень красива.— Наташа рассмеялась.— Красива до неприличия. Так красива, что у других может возникнуть комплекс неполноценности.

— Вы поэтому ушли?

— Нет. Я поэтому осталась. Мне симпатичны красивые люди Впрочем, иногда они настраивают меня на грустный лад.

— Почему?

— Потому что красота проходит. Старость не многим к лицу. Для этого, очевидно, нужно нечто большее, чем просто красота.

Мы шли по улице. Уснувшие витрины были полны дешевых украшений. Несколько гастрономических магазинов еще были открыты.

— Странно,— заговорил я.— Я никогда не задумывался над тем, что будет, когда мы состаримся. Возможно, меня так захватила проблема «лишь бы выжить», что я ни о чем другом и не думал.

Наташа рассмеялась.

— А я ни о чем другом не думаю.

— Наверное, и меня это ждет. Меликов утверждает, что этого не минуешь.

— Меликов всегда был старым.

— Всегда?

— Всегда слишком старым для женщин. Только старость ли это?

— Да. Если смотреть на вещи просто.

— Наверное, вы правы. А все прочее лишь отказ от радостей жизни под разными красивыми именами. Согласны?

— Возможно. Не знаю. Я не могу еще в этом разобратсья.

Наташа окинула меня быстрым взглядом.

— Браво,— сказала она с улыбкой и взяла меня за руку.

Я показал налево.

— Вон обувной магазин. Еще освещенный. Посмотрим?

— Обязательно.

Мы подошли ближе.

— Какой большой город! — воскликнула она. — Без конца и края. Вам нравится Нью-Йорк?

— Очень.

— Почему?

— Потому что меня отсюда не гонят. Просто, не так ли?

Она глядела на меня, о чем-то размышляя.

— И вам этого довольно?

— Довольно для маленького счастья. Счастья примитивного человека, у которого есть жилье и еда.

— И этого достаточно? — повторила она.

— Для начала — да. Приключения уж очень надоедают, если входят в привычку.

Наташа рассмеялась.

— Счастье в укромном уголке, да? Все это вы придумали. Не верю ни единому вашему слову.

— Я тоже. Но иногда я успокаиваю себя такими сентенциями.

Она опять рассмеялась.

— Чтобы не впасть в отчаяние, не так ли? Ох, как мне все это знакомо!

— Куда теперь пойдём? — спросил я.

— Большая проблема большого города. Все заведения скоро надоедают.

— Как насчет ресторана «Эль Марокко»?

Она нежно пожала мне руку.

— Сегодня у вас в голове одни рестораны для миллионеров, будто вы богатый владелец обувной фабрики.

— Надо же мне продемонстрировать новый костюм.

— А не меня?

— Я предпочел бы не отвечать на этот вопрос.

Мы прошли в малый зал «Эль Марокко», а не в просторный с потолком в звездах и с полосатыми, как зебры, диванами. В малом зале Карл Инвальд исполнял венские песни.

— Что вы будете пить? — спросил я.

— «Русскую тройку».

— Что это такое?

— «Русская тройка»? Водка, имбирное пиво и лимонный сок. Очень освежает.

— Я тоже попробую

Наташа забралась с ногами на диван, оставив туфли на полу.

— В отличие от американцев я не так уж обожаю спорт,— сказала она.— Не умею ездить верхом, плавать или играть в теннис. Я из тех, кто любит валяться на диване и болтать.

— Что вы еще можете о себе рассказать?

— Я сентиментальна, романтична и невыносима. Обожаю дешевую романтику. И чем дешевле, тем лучше. Ну, как «Русская тройка»?

— Великолепно.

— А венские песни?

— Тоже чудесны

— Хорошо.— Она уютно устроилась в углу дивана.— Иногда просто необходимо, чтоб тебя захлестнула волна сентиментальности и ты забыл о всякой осмотрительности и хорошем вкусе. Потом можно отряхнуться и вдоволь посмеяться над собой. Так и поступим.

— Я уже встал.

В Наташе было что-то кошачье-веселое и вместе с тем печальное. И личико у нее было маленькое, с серыми глазами под густой копной волос.

— Давайте сразу и начнем,— сказала она.— У меня несчастная любовь, я во всем разочарована, одинока, нуждаюсь в утешении, ни о чем не хочу больше слышать и не знаю, для чего живу. Хватит для начала.— Она сделала большой глоток и выжидающе посмотрела на меня.

— Нет,— возразил я — Все это лишь детали.

— И то, что я не знаю, для чего живу?

— А кто это знает? Если же кто-то и знает, то это лишь усложняет жизнь.

Она внимательно посмотрела на меня.

— Вы серьезно?

— Разумеется, нет. Мы несем чепуху. Вы же этого хотели?

— Не совсем. Только отчасти.

К столу подошел пианист и поздоровался с Наташей.

— Карл,— сказала она.— сыграйте, пожалуйста, арию из «Графа Люксембурга».

— С превеликим удовольствием.

Карл начал играть. Он очень хорошо пел и был великолепным пианистом.

Кто б мог счастья назвать точный срок
И вновь скрыться из глаз земных дорог.

Наташа слушала его, погруженная в свои мысли. При всей своей банальности, мелодия была прекрасная, но слова, как всегда, дурацкие.

— Как вы это находите? — спросила Наташа.

— Мещанская песенка.

Она раздумывала всего лишь мгновение.

— Тогда вам это не может не нравиться. Как счастье в укромном уголке, которое вы так высоко цените.

Умная каналья, подумал я.

— Вы не можете обойтись без критики? — вдруг спойкойно проговорила она. — Не можете от этого отказаться? Бойтесь оскорбиться?

Самый уместный вопрос в ночном нью-йоркском ресторане! Я злился на себя, потому что она была права. Как это ни отвратительно, все свои мысли я излагал с чисто немецкой обстоятельностью. Мне только не хватало еще заняться пространством описанием увеселительных заведений — от седой старины до наших дней, подробно остановившись на танцевальных салонах и ночных барах в период после первой мировой войны.

— Эта ария напоминает мне давно прошедшие, довоенные времена, — сказал я. — Это очень старая ария — ее знал еще мой отец. Помнится, он даже иногда пел ее. Это был хрупкий мужчина, любивший старые вещи и старые сады. Я часто слышал эту арию. Обычная сентиментальная ария из оперетты, но в сумеречных садах венских пригородов и деревень, где при свете свечей под высокими орешниками и каштанами пьют молодое вино, она утрачивала свою сентиментальность. Она щемит душу, если слушать ее при свечах, в незазойливом сопровождении скрипки, гитары и губной гармоники, под мягким покровом ночи. Я уже давно ее не слышал. Тогда пели еще одну песню: «И музыке конец, вина всего лишь капля».

— Карл наверняка ее знает.

— Но мне не хотелось бы, чтобы ее сейчас исполняли. Это было последнее, что я слышал перед тем, как нацисты заняли Австрию. Потом пошли только марши.

Наташа на минуту задумалась.

— Арию из «Графа Люксембурга» Карл непременно будет повторять. Если хотите, я попрошу, чтобы он этого не делал.

— Он ведь ее только что спел.

— Когда я здесь, он исполняет ее по несколько раз.

— Но мы ведь уже были здесь. А этой арии я не слышал.

— Тогда у него был свободный вечер и играл кто-то другой.

— Я слушаю это с таким же удовольствием, как и вы.

— Правда? Это не вызывает у вас печальных воспоминаний?

— Видите ли, многое зависит от индивидуального восприятия. В конце концов, все воспоминания печальны, ибо они связаны с прошлым.

Она принялась рассматривать меня.

— Не пора ли снова выпить «Русской тройки»?

— Непременно.— Теперь я стал рассматривать Наташу. Она не обладала трагической красотой Кармен, но лицо ее отличалось удивительной живостью — глаза ее то искрились озорным, мгновенно рождающимся, агрессивным юмором, то вдруг становились мечтательно-нежными.

— Что это вы так уставились? — Она испытующе посмотрела на меня.— У меня что, нос блестит?

— Нет. Я только подумал: почему вы так дружелюбно относитесь к официантам и пианистам и так агрессивны к своим друзьям.

— Потому что официанты беззащитны.— Она снова посмотрела на меня.— Я действительно очень агрессивна? Или это вы излишне впечатлительны?

— Да. Вероятно, я чрезмерно впечатлителен.

Она рассмеялась.

— Вы сами не верите тому, что говорите. Никто не считает себя излишне впечатлительным. Признайтесь, не верите?

— Отчасти все же верю.

Карл вторично запел арию из «Графа Люксембурга».

— Я вас предупреждала,— шепнула Наташа.

Вошли несколько человек и кивнули ей. И раньше уже кое-кто с ней здоровался. Она знала здесь многих — это я уже заметил. Затем двое мужчин подошли к столику и заговорили с ней. Я стоял рядом, и у меня вдруг возникло ощущение, какое бывает, когда самолет попадает в воздушную яму. Почва уходила из-под ног, все рушилось и плыло у меня перед глазами — зелено-голубые полосатые стены, бесчисленные лица и проклятая музыка, — все раскачивалось, будто я внезапно потерял равновесие. Тут дело было не в водке и не в гуляше — гуляш был отличный, а водки я выпил слишком мало. Вероятно, со злостью ду-

мал я, виной тому воспоминание о Вене и моем покойном отце, не успевшем вовремя бежать.

Мой взгляд упал на рояль и на Карла Инвальда, я видел его пальцы, бегавшие по клавишам, но ничего не слышал. Потом все стало на свое место. Я сделал глубокий вдох — у меня было такое чувство, будто я вернулся из далекого путешествия.

— Здесь стало слишкомлюдно, — сказала Наташа. — В это время как раз кончаются спектакли. Пойдем?

Театры закрываются, думал я, и ночные рестораны заполняют в полночь миллионеры и сутенеры, идет война, а я где-то посредине. Это была вздорная и несправедливая мысль, ибо многие посетители были в военной форме, и наверняка не все они — тыловые крысы; безусловно, здесь находились и отпускники с фронта. Но сейчас мне было не до справедливости. Меня душила бессильная ярость.

Здороваясь и обмениваясь улыбками со знакомыми, мы прошли по узкому проходу, где находились туалет и гардероб, и выбрались наружу. Улица дышала теплом и влагой. У входа выстроились в ряд такси. Швейцар распахнул дверь одной из машин.

— Не нужно такси, — сказала Наташа. — Я живу рядом.

Улица стала темнее. Мы подошли к ее дому. Она потянулась, как кошка

— Люблю такие ночные разговоры обо всем и ни о чем, — сказала она. — Все, что я вам наговорила, разумеется, неправда.

Яркий свет уличного фонаря упал на ее лицо.

— Конечно, — подтвердил я, все еще кипя от бессильной злобы, вызванной жалостью к себе.

Я обнял ее и поцеловал, ожидая, что она с гневом оттолкнет меня.

Но этого не произошло. Она только посмотрела на меня странным, спокойным взглядом, постояла немного и молча вошла в дом.

XII

Я вернулся от адвоката. Бетти Штейн дала мне сто долларов для уплаты первого взноса. Глядя на часы с кукушкой, я пытался торговаться, но адвокат, чуждый каких бы то ни было сантиментов, был тверд, как алмаз. Я дошел до того, что даже рассказал ему кое-что из своей жизни в последние годы. Я знал, что многое ему уже известно — во всяком случае все необходимое для продления моего вида на жительство. И тем не менее мне казалось, что не-

которые детали могут настроить его более благожелательно. Пятьсот долларов для меня — огромная сумма.

— Поплачьтесь ему в жилетку, — посоветовала мне Бетти — А вдруг поможет. К тому же все, что вы рассказываете, — чистая правда.

Но ничего у меня не вышло. Адвокат сказал, что он уже и так пошел мне навстречу, ибо его обычный гонорар намного выше. Не помогли и ссылки на судьбу эмигранта, лишенного всяких средств к существованию. Адвокат просто рассмеялся мне в лицо.

— Таких эмигрантов, как вы, в Америку ежегодно приезжает более ста пятидесяти тысяч. Здесь вы отнюдь не являетесь трогательным исключением. Что вы хотите? Вы здоровы, сильны, молоды. Так начинали все наши миллионеры. И, насколько я могу судить, вы уже прошли стадию мойщика посуды. Ваше положение не так уж плохо. Знаете, что действительно плохо? Плохо быть бедным, старым, больным и плохо быть евреем в Германии! Вот это плохо. А теперь прощайте! У меня есть дела поважнее. Не забудьте точно в срок уплатить следующий взнос!

Хорошо еще, что он не потребовал дополнительного гонорара за то, что выслушал меня.

Я плелся по городу, окутанному утренней дымкой. Сквозь блестящие, прозрачные облака просвечивало солнце. Свежим блеском отливали автомобили, а Сентрал-парк был полон детского гомона. У Силверса я видел примерно такие пейзажи на фотографиях картин Пикассо, присланных из Парижа. Злость на адвоката мало-помалу улеглась, — пожалуй, теперь это была скорее досада на себя за ту жалкую роль, которую мне приходилось играть. Он видел меня насквозь и был по-своему прав. Не было у меня основания обижаться и на Бетти, посоветовавшую мне сделать этот шаг. В конце концов, я сам должен был решать, воспользоваться ее советом или нет.

Я шел мимо бассейна с морскими львами — они блеснули в лучах теплого солнца, как полированные живые бронзовые скульптуры. Тигры, львы и гориллы находились в клетках под открытым небом. Они беспокойно металась взад и вперед, глядя на мир своими прозрачными берилловыми глазами, которые видели все и не видели ничего. Гориллы, играя, бросались банановой кожурой. Я не испытывал к ним ни малейшего сочувствия. Звери выглядели не голодными искателями добычи, которых мучают комары и болезни, а спокойными, сытыми рантье во время утреннего променада. Они были избавлены от страха и го-

лода — главных движущих сил природы — и платили за это лишь монотонностью существования. Однако кто знает, кому что больше нравится. У зверей, как и у людей, есть свои привычки, с которыми они не желают расставаться, а от привычки до монотонности всего один шаг. Бунты бывают редко. Я невольно вспомнил о Наташе Петровой и о своей теории счастья в укромном уголке. Она отнюдь не была бунтаркой, а я подумал о счастье в укромном уголке лишь по контрасту: у нас обоих не было почвы под ногами; судьба бросала нас повсюду, лишь иногда мы делали остановку, чтобы перевести дух. Но разве не то же самое делают звери — только без лишнего шума?

Я уселся на террасе и заказал себе кофе. У меня было пятьсот долларов долгу, а капитала — сорок долларов. Но я был свободен, здоров и, как сказал адвокат, сделал первый шаг к тому, чтобы стать миллионером. Я выпил еще чашечку кофе и представил себе летнее утро в Люксембургском саду в Париже. Тогда я притворялся гуляющим, чтобы не привлекать к себе внимания полиции. Сегодня же я обратился к полицейскому с просьбой прикурить, и он дал мне огня. Думая о Люксембургском саде, я вспомнил арию из «Графа Люксембурга» в ресторане «Эль Марокко». Но тогда была ночь, а сейчас — ясный и очень ветреный день. А днем все выглядит иначе.

— Где вас только носит? Вы пропадали целую вечность! — сказал Силверс. — Чтобы заплатить адвокату, вряд ли требуется столько времени.

Я был поражен. Куда девались его светские манеры? Впрочем, его внешнему лоску я никогда особенно не доверял.

Сейчас в нем чувствовалась напряженность и нервозность, сгорбившись, он быстро шагал по комнатам. Даже в лице его что-то изменилось — мягкая, округлая плавность линий исчезла. Я вдруг увидел перед собой существо, готовящееся к нападению, что-то вроде ручного леопарда, узревшего дичь.

— Когда нечем платить, визиты могут быть и более продолжительными.

Силверс, казалось, не слышал.

— Идемте, у нас мало времени. Нам надо еще перевесить картины.

Мы направились в приемную с мольбертами. Силверс прошел в соседнюю комнату, вынес оттуда два полотна и поставил передо мной.

— Скажите, не раздумывая, какое бы вы купили?
Это опять были две картины Дега. Обе без рам. На
обе были изображены танцовщицы.

— Ну, живей! — потребовал Силверс.

Я показал на левую.

— Вот эту.

— Почему? Она ведь менее выписана.

Я пожал плечами.

— Она мне больше нравится. А почему, сказать вам с
ходу затрудняюсь. Вы это лучше понимаете, чем я.

— Разумеется, лучше, — нетерпеливо буркнул Сил-
верс. — Пошли. Надо вставить обе картины в рамы до при-
хода клиента.

Я принес несколько рам из запасника.

— Надо подобрать по размеру, — пробормотал он. —
Вот эти будут, пожалуй, в самый раз. У нас не остается
времени подгонять их.

В рамках картины поразительно менялись. Полотно,
раньше как бы растекавшееся в пространстве, вдруг удиви-
тельным образом концентрировалось. Картины производи-
ли более законченное впечатление.

— Показывать их следует только в рамках, — сказал
Силверс. — Лишь антиквары могут судить о них без рам.
Даже директора музеев не всегда способны разобратъся.
Какая рама, по-вашему, лучше?

— Вот эта.

Силверс с одобрением посмотрел на меня.

— У вас неплохой вкус. Но мы возьмем другую. Вот
эту. — Он втиснул танцовщиц в широкую, богато отделан-
ную раму.

— Не слишком ли она шикарна для не совсем закон-
ченного полотна? — спросил я.

— Как раз такой она и должна быть, потому что кар-
тина сырая. Именно потому.

— Понимаю. Рама скрадывает несовершенство.

— У рамы вполне законченный вид, это придает закон-
ченность и обрамляемому полотну. Рама вообще играет
очень большую роль, — поучал меня Силверс, усаживаясь
поудобнее. Я уже не раз замечал, что он любит говорить
менторским тоном. — Некоторые торговцы произведениями
искусства экономят на рамах — они полагают, что клиент
этого не заметит. Рамы теперь дороги, а позолоченные гип-
совые рамы, черт возьми, на первый взгляд и впрямь на-
поминают настоящие дорогие рамы, и, заметьте, не только
на первый взгляд.

Я осторожно вставлял в раму одно из полотен Дега. Тем временем Силверс подбирал раму для второй картины. — Вы все-таки хотите показать обе? — спросил я.

Он хитро усмехнулся:

— Нет. Вторую картину я попридержу. Никогда не знаешь, что может случиться. Обе картины — «девственные». Я их еще никому не показывал. Клиент, который придет сегодня, хотел прийти лишь послезавтра. Кстати, оборотную сторону заделывать не будем, времени нет. Загнийте только гвозди, чтобы покрепче держалось.

Я принес вторую раму.

— Хорошо. Правда? — сказал Силверс. — Людовик Пятнадцатый — богатство, пышность. В результате картина поднимается в цене на пять тысяч долларов. Как минимум! Даже Ван Гог хотел, чтобы его картины помещали в первоклассные рамы. А вот Дега обычно заказывал для своих полотен простые деревянные рейки, выкрашенные белыми. Я думаю, впрочем, что он, скорей всего, был отъявленным скупердем.

Может быть, у него просто не было денег, подумал я. И Ван Гог тоже страшно нуждался: при жизни он не сумел продать ни одной картины и существовал только благодаря скудной поддержке брата. Картины, наконец, были готовы. Силверс велел мне отнести одну из них в соседнюю комнату.

— Другую повесьте в спальне моей жены.

Я посмотрел на него с удивлением.

— Вы правильно поняли, — сказал он. — Пойдемте со мной.

У миссис Силверс была прелестная спальня. На стенах и в простенках висело несколько рисунков и пастелей. Силверс оглядел их, точно полководец, производящий смотр.

— Вон тот рисунок Ренуара снимите, вместо него давайте повесим Дега, Ренуара перенесем вон туда, к туалетному столику, а рисунок Берты Моризо уберем совсем. Штору справа слегка задернем. Чуть больше... Так, вот теперь хорошее освещение.

Он был прав. Золотистый свет из-под приспущенной шторы придал картине очарование и теплоту.

— Правильная стратегия, — заметил Силверс, — полвина успеха в нашем деле. Теперь пойдете.

И он стал посвящать меня в тайны своей стратегии. Картины, которые он сегодня собирался показать клиентам, я должен был вносить в комнату, где стояли мольберты. После четвертой или пятой картины он попросит выне-



сти из кабинета полотно Дега. Я же должен буду напомнить ему, что эта картина висит в спальне миссис Силверс.

— Можете говорить по-французски,— наставлял он меня.— Когда же я спрошу вас о картине, отвечайте по-английски, чтобы это было понятно и клиенту.

Я услышал звонок.

— А вот и он,— воскликнул Силверс.— Ждите здесь, наверху, пока я не позову вас.

Я отправился в запасник, где одна возле другой на деревянных стеллажах стояли картины, и присел на стул; Силверс же спустился вниз, чтобы встретить клиента. В запаснике было оконце с матовым стеклом, забранное частой решеткой, и мне стало казаться, будто я сижу в тюремной камере, где по чьему-то капризу хранятся картины ценою в несколько сотен тысяч долларов. Молочный свет напомнил мне камеру в Швейцарии, где я просидел две недели за незаконное пребывание без документов — обычное «преступление» эмигранта. Камера там была такой чистой и прибранной, что я охотно просидел бы в ней и дольше: еда была превосходной, к тому же камера отапливалась. Но через две недели в бурную ночь меня переправили в Аннемас, на границе с Францией. На прощание мне сунули сигарету и дали пинка: «Марш во Францию. И чтоб духа твоего в Швейцарии больше не было».

Я, наверно, немного вздремнул. Вдруг зазвенел звонок. Было слышно, что Силверс с кем-то разговаривает. Я вошел в комнату. Там сидел грузный мужчина с большими красными ушами и маленькими поросычьими глазками.

— Господин Росс,— притворно сладко проговорил Силверс,— принесите, пожалуйста, светлый пейзаж Сислея.

Я принес и поставил картину перед ними. Силверс долго не произносил ни слова: он смотрел в окно на облака.

— Нравится? — спросил он наконец скучливым голосом.— Одна из лучших картин Сислея. «Наводнение» — мечта каждого коллекционера.

— Ерунда,— процедил клиент еще скучливее, чем Силверс.

Силверс улыбнулся.

— Если картина ерунда, то и критика не лучше,— заметил он с явной иронией.— Господин Росс,— обратился он ко мне по-французски,— унесите это замечательное полотно.

Я немного постоял, ожидая, чтобы Силверс сказал мне, какую картину теперь принести. Но поскольку указаний не последовало, я удалился, унося с собой Сислея. Однако

краем уха я успел услышать слова Силверса: «Сегодня вы не в духе, господин Купер. Отложим до следующего раза».

«Ну и хитер,— размышлял я в молочном свете запасника.— Теперь придется Куперу попотеть». Когда спустя некоторое время меня позвали снова и я одну за другой стал вносить картины, оба уже курили сигары из ящичка, который Силверс держал для клиентуры. Затем пришел мой черед подавать реплику.

— Картина Дега не здесь, господин Силверс,— сказал я.

— А где же? Она должна быть здесь.

Я подошел, нагнулся к нему поближе и прошептал так, чтоб услышал клиент:

— Картина наверху, у миссис Силверс...

— Где?

Я повторил по-французски, что картина висит в спальне у миссис Силверс.

Силверс хлопнул себя по лбу.

— А-а, правильно, я об этом совсем забыл. Ну, тогда ничего не выйдет...

Мое восхищение им было безгранично. Теперь он снова уступил инициативу Куперу. Он не приказывал мне нести картину и вместе с тем ни словом не обмолвился о том, что картина предназначена в подарок жене или даже уже принадлежит ей. Он просто прекратил разговор об этом и выжидал.

Я удалился в свою конуру и тоже стал ждать. Мне казалось, что Силверс держит на крючке акулу, но чем кончится поединок — акула ли проглотит Силверса или он выловит ее,— решить было трудно. Впрочем, положение Силверса было более выгодным: ведь акула, собственно говоря, могла только перегрызть леску и уплыть. Одно мне было ясно: Силверс ничего задешево не отдает, это исключено. Акула то и дело предпринимала новые забавные броски. Поскольку дверь была чуть приоткрыта, я слышал, что разговор зашел об экономическом положении и войне. Акула предрекала самое худшее: крах биржи, долги, новые расходы, новые битвы, кризисы и даже угрозу коммунизма. Все, мол, погибнет. Только наличный капитал сохранит ценность. Она не забыла упомянуть и о тяжелом кризисе тридцатых годов, когда обладатель наличных денег был королем и мог купить все за полцены, за треть, даже за четверть.

— А предметы роскоши, такие как мебель, ковры и картины, даже за десятую часть их стоимости,— задумчиво добавила акула.

Невозмутимый Силверс предложил покупателю коньяк.

— Потом вещи снова поднялись в цене,— сказал он.— А деньги упали. Вы же сами знаете, нынешние деньги стоят вдвое меньше тогдашних. С тех пор они так и не поднялись в цене, зато картины стали дороже в пять раз и более.— Он притворно и слащаво засмеялся.— Ох уж эта инфляция! Как началась две тысячи лет назад, так с тех пор и не кончалась. Ничего не поделаешь — ценности дорожают, деньги дешевеют.

— Поэтому ничего не следует продавать,— с радостным рычанием произнесла акула.

— О, если бы это было возможно,— вздохнул Силверс,— я и так стараюсь продавать как можно меньше. Но ведь необходим оборотный капитал. Спросите моих клиентов. Для них я настоящий благодетель: совсем недавно я за двойную цену выкупил танцовщицу Дега, которую продал пять лет назад.

— У кого? — спросила акула.

— Этого я вам, конечно, не скажу. Разве вам было бы приятно, если бы я раструбил по всему свету, за сколько и что вы у меня покупаете?

— А почему бы и нет?

Акула определенно была непростой штучкой.

— Другим, представьте себе, это не по нутру. А я вынужден на них ориентироваться.— Силверс сделал вид, что хочет встать.— Жаль, что вы ничего у меня не нашли, господин Купер. Ну, может быть, в следующий раз. Поддерживать цены на прежнем уровне я, разумеется, долго не смогу, вы это, конечно, понимаете?

Акула тоже встала.

— У вас же была еще одна картина Дега, которую вы мне хотели показать,— заметил он как бы между прочим.

— Это та, что висит в спальне у моей жены? — протянул Силверс.

И у меня в запаснике раздался звонок.

— Моя жена у себя?

— Нет, миссис Силверс ушла полчаса тому назад.

— Тогда принесите, пожалуйста, полотно Дега, которое висит у зеркала.

— Для этого потребуется некоторое время, господин Силверс,— сказал я.— Вчера мне пришлось вернуть деревянную пробку, чтобы картина лучше держалась. Сейчас она привинчена к стене. Чтобы ее снять, мне нужно несколько минут.

— Не надо,— бросил Силверс.— Мы лучше поднимем-ся наверх. Вас не затруднит, господин Купер?

— Нисколько.

Я снова уселся у себя, как дракон, охраняющий золото Рейна. Через некоторое время оба вернулись, а мне было велено подняться за картиной, снять ее и принести вниз. Поскольку никакой пробки не было, я просто подождал там несколько минут. Из окна, выходящего во двор, я увидел миссис Силверс, которая стояла у кухонного окна. Она сделала вопросительный жест. Я резко замотал головой: опасность еще не миновала, и миссис Силверс следовало еще некоторое время побыть в укрытии.

Я внес картину в комнату с мольбертами и вышел. Что они говорили, я не мог разобрать, так как Силверс плотно закрыл за мной дверь. Вот сейчас он, наверное, деликатно намекает, что его жена охотно оставила бы эту картину для своей частной коллекции; впрочем, нет, я был уверен, что он преподнесет все таким образом, чтобы не вызвать недоверия акулы. Беседа в комнате с мольбертами продолжалась еще около получаса, после чего Силверс вызволил меня из заточения на этом складе ценностей.

— Картину Дега вешать назад не будем,— сказал он.— Утром вы доставите ее господину Куперу.

— Поздравляю.

Он соорудил гримасу.

— Чего только не приходится выдумывать. А ведь через два года, когда произведения искусства поднимутся в цене, этот человек станет потихоньку злорадствовать.

Я повторил вопрос Купера:

— Зачем же тогда вы действительно продаете?

— Потому что не могу отказаться от этого. Я по натуре игрок. Кроме того, мне надо зарабатывать. Впрочем, сегодняшняя выдумка с привинченной пробкой была неплоха. Вы делаете успехи.

— Не значит ли это, что я заслуживаю прибавки?

Силверс прищурил глаза.

— Успехи вы делаете слишком быстро. Не забывайте, что у меня вы бесплатно проходите обучение, которому мог бы позавидовать любой директор музея.

Вечером я отправился к Бетти Штейн, чтобы поблагодарить за одолженные деньги. Я застал Бетти с заплаканными глазами, в очень подавленном состоянии. У нее со-

бралось несколько знакомых, которые, по-видимому, ее утешали.

— Если я не вовремя, то могу зайти и завтра,— сказал я.— Я хотел поблагодарить вас.

— За что? — Бетти растерянно посмотрела на меня.

— За деньги, которые я вручил адвокату,— сказал я.— Мне продлили вид на жительство. Так что я еще какое-то время могу оставаться здесь.

Она расплакалась.

— Что случилось? — спросил я актера Рабиновича, который держал Бетти за руку, нашептывая ей какие-то утешительные слова.

— Вы не слышали? Моллер умер. Позавчера.

Рабинович сделал знак, чтобы я прекратил расспросы. Он усадил Бетти на софу и вернулся ко мне. В кино он играл отпетых нацистов, а в обыденной жизни отличался кротким нравом.

— Повесился,— сказал он.— У себя в комнате. Его нашел Липшюц. Смерть наступила, вероятно, день или два назад. Висел на люстре. Все лампочки в комнате горели и люстра тоже. Возможно, он не хотел умирать в темноте. Наверное, повесился ночью.

Я собрался уходить.

— Побудьте с нами,— сказал Рабинович.— Чем больше народу сейчас около Бетти, тем ей легче. Она не может быть одна.

Воздух в комнате был спертый и душный.

Бетти не желала открывать окна. Из-за какого-то загадочного атавистического суеверия она считала, что покойнику будет нанесена обида, если скорбь растворится в свежем воздухе. Много лет назад я слышал, что если в доме покойник, окна открывают, чтобы освободить витающую в комнате душу, но никогда не слышал, чтобы их закрывали, дабы удержать скорбь.

— Я глупая корова! — воскликнула Бетти и громко высморкалась.— Надо же взять себя в руки.— Она поднялась.— Сейчас я сварю вам кофе. Или вы хотите чего-нибудь еще?

— Нет, Бетти, ничего не надо, право.

— Нет. Я сварю вам кофе.

Шурша помятым платьем, она вышла на кухню.

— Причина известна? — спросил я Рабиновича.

— Разве нужна причина?

Я вспомнил теорию Кана о цезурах в жизни и о том, что людей, оторванных от родины, везде подкарауливает опасность.

— Нет,— ответил я.

— Нельзя сказать, чтобы он был нищим. И больным он тоже не был. Липшоу видел его недели две назад.

— Он работал?

— Писал. Но не сумел ничего опубликовать. За несколько лет ему не удалось напечатать ни строчки,— сказал Липшоу.

— Такова участь многих. Но дело, наверное, не только в этом? После него что-нибудь осталось?

— Ничего. Он висел на люстре, посиневший, с распухшим, выsunутым языком, и по его открытым глазам ползали мухи. На него было страшно смотреть. В такую жару все происходит очень быстро. Глаза...— Липшоу содрогнулся.— Самое ужасное, что Бетти хочет взглянуть на него еще раз.

— Где он сейчас?

— В заведении, которое называется похоронным бюро. Вам уже приходилось бывать в подобных местах? Лучше избегайте их. Американцы — юная нация, они не признают смерти. Покойников гримируют под спящих. Многих бальзамируют.

— Если его загримировать...— сказал я.

— Мы тоже об этом думали, но тут ничто не поможет. Едва ли найдется столько грима, да к тому же это будет слишком дорого. Смерть в Америке — очень дорогая штука.

— Не только в Америке,— бросил Рабинович.

— Но не в Германии,— заметил я.

— В Америке это очень дорого. Мы подыскали похоронную контору подешевле. И все же это обойдется самое меньшее в несколько сот долларов.

— Если бы они у Моллера были, он, возможно, еще бы жил,— сказал Липшоу.

— Возможно.

Я заметил, что в фотографиях, висевших у Бетти в комнате, появился пробел: снимка Моллера уже не было среди живых. Его портрет висел на другой стене, еще не в черной рамке, как другие портреты, но Бетти уже прикрепила к старой золотой рамке кусок черного тюля Моллер, улыбаясь, смотрел с фотографии пятнадцатилетней давности. Его смерть никак не укладывалась у меня в голове, и этот черный тюль... Бетти вошла с подносом, на котором стояли чашки, и стала разливать кофе из расписанного цветами кофейника.

— Вот сахар и сливки,— сказала она.

Все принялись за кофе, и я тоже.

— Похороны завтра,— сказала она.— Вы придете?

— Если смогу. Мне уже сегодня пришлось отпроситься на несколько часов.

— Все его знакомые должны прийти! — воскликнула Бетти взволнованно.— Завтра в половине первого. Время специально выбрано, чтобы все могли быть.

— Хорошо. Я приду. Где это?

Липшицу сказал:

— Похоронное бюро Эшера на Четырнадцатой улице.

— А где его похоронят? — спросил Рабинович.

— Хоронить не будут. Его кремируют. Кремация дешвле.

— Что?

— Кремируют.

— Кремируют,— машинально повторил я.

— Да. Об этом позаботится похоронное бюро.

Бетти подошла к нам поближе.

— Он лежит там один, среди совершенно чужих людей,— пожаловалась она.— Если бы гроб стоял у нас здесь, среди друзей, ну хотя бы до похорон...— Она повернулась ко мне:— Вы о чем-то хотели спросить? Кто вам ссудил деньги? Фрислендер.

— Фрислендер?

— Ну конечно, а кто еще? Но завтра вы обязательно придете?

— Непременно,— ответил я.

Что можно было еще сказать?..

Рабинович проводил меня до двери.

— Мы должны удержать Бетти,— прошептал он.— Ей нельзя видеть Моллера. Я хотел сказать — то, что от него осталось: ведь из-за самоубийства труп был подвергнут вскрытию. Бетти не имеет об этом понятия. Вы же знаете, она привыкла любыми средствами добиваться своего. К счастью, Липшицу бросил ей в кофе таблетку снотворного. Она ничего не заметила. Ей ведь уже пытались дать успокоительные пилюли, но она отказывается от лекарства, считая, что это предательство по отношению к Моллеру. Точно так же, как открыть окно. И все же мы постараемся положить ей еще одну таблетку в еду. Самое трудное будет завтра утром, но необходимо удержать ее дома. Так вы придете?

— Да. В похоронное бюро. А оттуда тело доставят в крематорий?

Рабинович кивнул.

— Крематорий там же? — спросил я. — При похоронном бюро?

— Не думаю.

— Что вы там так долго обсуждаете? — крикнула Бетти из комнаты.

— Она что-то заподозрила, — шепнул Рабинович. — Доброй ночи.

— Доброй ночи.

По полутемному коридору, на стенах которого висели фотографии «Романского кафе» в Берлине, он вернулся в душную комнату.

XIII

В эту ночь я плохо спал и рано вышел из гостиницы — слишком рано, чтобы идти к Силверсу. До музея Метрополитен я добирался на автобусе — проехал по Пятой авеню до угла Восемьдесят третьей улицы. Музей еще был закрыт. Я прошел по Сентрал-парку позади музея до памятника Шекспиру, затем вдоль озера — до памятника Шиллеру, которого сперва я даже не узнал. Вероятно, его воздвиг какой-нибудь американский немец много десятилетий тому назад.

Между тем открыли музей. Я был в нем не первый раз. Здесь все напоминало о времени, проведенном мною в Брюссельском музее, и, как ни странно, больше всего тишиною в залах. Безграничная мучительная скука первых месяцев, монотонная напряженность и непреходящий страх первых дней, страх быть обнаруженным, лишь постепенно переходивший в своего рода фаталистическую привычку, — все это под конец ушло куда-то, скрылось за горизонтом. Осталась лишь эта зловещая тишина, полная оторванность, жизнь как бы в штилевом ядре, окруженном бурными вихрями торнадо, — там же, где я был, царило безветрие, там не полоскался, не шевелился ни один парус.

В первый раз придя в музей, я боялся, что во мне всколыхнется что-то более сильное, однако теперь я знал, что Метрополитен лишь снова погружает меня в ту же защитную тишину. Ничто во мне не дрогнуло, пока я медленно бродил по залам. Мир и тишина исходили даже от самых бурных батальных композиций на стенах — в них было что-то странно метафизическое, трансцендентное, потустороннее, какая-то поразительная умиротворенность оттого, что прошлое безвозвратно кануло в небытие, умиротворенность и тишина, какую имел в виду пророк, говоря, что бог являет себя не в буре, а в тишине; эта всеобъемлющая ти-

шина оставляла все на своих местах, не давая войне взорвать этот мир, — мне казалось даже, что она защищает и меня самого. Здесь, в этих залах, у меня родилось безгранично чистое ощущение жизни, которое индийцы называют «самадхи», когда возникает иллюзия, будто жизнь вечна и мы вечно пребудем в ней, если только нам удастся сбросить змеиную кожу собственного «я» и постигнуть, что смерть — всего лишь «аватара», превращение. Подобная иллюзия возникла у меня перед картиной Эль Греко, изображающей Толедо — мрачный и возвышенный пейзаж; она висела рядом с большим полотном — портретом Великого Инквизитора, этого благообразного прообраза гестаповца и всех палачей мира. Я не знал, существует ли между ними взаимосвязь, и вдруг в мгновенном озарении понял: ничто не связано друг с другом и все взаимосвязано, и эта всеобщая взаимосвязь — своего рода извечный человеческий посох в земном странствии, один конец которого — ложь, другой — непостижимая истина. Но чем является непостижимая истина? Непостижимой ложью?

В музей я оказался не случайно. Смерть Моллера задела меня сильнее, чем можно было ожидать. Вначале она как будто не слишком взволновала меня, ибо мне нередко доводилось переживать такое во Франции во время моих скитаний. Ведь и Хаштенеер, который по небрежности французской бюрократии беспомощно и бессмысленно прозябал в лагере для интернированных, узнав о приближении немцев, предпочел умереть, лишь бы не попасть в их кровавые руки. Но то была вполне объяснимая слабость в минуту опасности. С Моллером дело обстояло иначе. Человеку удалось спастись, а он не захотел жить, и он был не кем-то посторонним, незнакомцем, нет, — его смерть касалась всех нас. Я хотел и не мог не думать о судьбе Моллера. Мысли о нем преследовали меня, не давая ни минуты покоя. Именно поэтому я и отправился в музей и ходил по залам, переходя от одного полотна к другому, пока не дошел до картины Эль Греко.

Пейзаж Толедо произвел на меня сегодня особенно мрачное и безрадостное впечатление. Вероятно, это объяснялось игрою света, а может, моим собственным мрачным настроением. Прежде я ничего не искал в этом пейзаже, сегодня же надеялся найти в нем утешение, но это был самообман: произведения искусства — не сестры милосердия. Кто ищет утешения, должен молиться. Но и это тоже всего лишь самообман. Пейзаж безмолвствовал. Он не говорил ни о вечной, ни о преходящей жизни — он был просто

прекрасен и полон внутреннего спокойствия, однако сейчас, когда я искал в нем жизнь, чтобы отогнать мысли о смерти, мне вдруг почудилось в нем нечто заробное, будто я находился по ту сторону Ахерона. Зато огромный портрет Великого Инквизитора светился, как никогда, холодным красным светом, и глаза его следили за тобой, куда бы ты ни шел, словно он вдруг, спустя столько веков, пробудился ото сна. Полотно было огромное, оно господствовало надо всем в этом зале. И оно не было мертвым. Оно никогда не умрет. пытки не прекращаются, страх не проходит. Спастись никому не дано. Мне стало вдруг ясно, что убило Моллера. Впечатление от происшедшего не прошло, оно осталось. Тем не менее во мне тайлась надежда, и она обретала все большую силу, заставляя верить в возможность спасения.

Я дошел до зала, где экспонировалась китайская бронза. Мне нравилась голубая бронза. Моя любимая яйцевидная чаша стояла в стеклянном шкафу, и я сразу направился к ней. Она была неполированной, в отличие от зеленой безукоризненной бронзы великолепного алтаря эпохи Чжоу, стоявшего посреди зала; его бронзовые фигурки сияли, как нефрит, древность сообщала им шелковистый блеск. Я охотно подержал бы чашу несколько минут в руках, но она была недостижима в своем стеклянном шкафу, что было вполне разумно, потому что даже невидимые капельки пота с рук могли повредить драгоценный экспонат. Я задержался, пытаюсь представить себе, какова она на ощупь. Удивительно, как это меня успокаивало. В высоком, светлом помещении было что-то магическое — именно это так и притягивало меня к антикварным магазинам на Второй и Третьей авеню. Время здесь останавливалось, — время, которое я так бесполезно тратил только на то, чтобы остаться в живых.

Хотя похороны стоили сравнительно недорого, но были обставлены с таким ложным пафосом, что лучше было бы положить тело в ящик из простых досок и на дрогах отвезти на кладбище. Самым отвратительным для меня было ханжество: кругом все и вся в черном, торжественные мины, скорбные лица, горшки с самшитом при входе и орган, ксторый — как все отлично знали — был просто-напросто записью на граммофонной пластинке. Когда Бетти, красная, вспотевшая, вся в черных оборках, отчаянно и громко зарыдала, это прозвучало почти как избавление.

Я понимал, что я несправедлив. На похоронах трудно избежать пафоса и тайного, глубоко запрятанного удовлетворения оттого, что не ты лежишь в этом ужасном полированном ящике. Это чувство, которое ты ненавидишь, но от которого тем не менее трудно избавиться, все чуть-чуть смещает, преувеличивает и искажает. К тому же мне было не по себе.

Мысль о крематории вызывала у меня все большее раздражение. Мне было известно, что у похоронных бюро, естественно, нет собственных крематориев — они есть только в концентрационных лагерях в Германии, — но эта мысль засела у меня в голове и гудела, как неотвязный слепень. Мне тяжело было погружаться в подобные воспоминания, поэтому я решил про себя, что если после панихиды придется ехать еще и на кремацию, как это раньше было принято в Европе, я откажусь. Нет, не откажусь, просто исчезну без всяких объяснений.

Говорил Липшюц. Я не слушал его. Меня мутило от духоты и резкого запаха цветов. Я увидел Фрислендера и Рабиновича. Всего пришло человек двадцать или тридцать. Половины из них я не знал, но, судя по внешности, это были в основном писатели и артисты. Двойняшки Коллер тоже присутствовали здесь. Они сидели рядом с Фрислендером и его женой Кан был один. Кармен сидела на две скамейки впереди него, причем у меня сложилось впечатление, что, пока Липшюц говорил, она попросту спала. Освальное было как обычно на панихидах. Когда на людей обрушивается нечто непостижимое, они пытаются постичь это с помощью молитв, звуков органа и надгробных речей, сдобренных сердобольной обывательской фальшью.

Вдруг возле гроба появились четверо мужчин в черных перчатках; они быстро и легко подняли гроб — их сноровка напоминала сноровку палача — и, бесшумно шагая на резиновых подошвах, вынесли его из помещения. Все закончилось неожиданно и быстро. Когда они проходили мимо меня, мне показалось, будто что-то потянуло вверх мой желудок, и, к своему изумлению, я почувствовал, как слезы навернулись мне на глаза.

Мы вышли на улицу. Я осмотрелся, но гроба уже не было. Рядом со мной оказался Фрислендер. Я подумал: можно ли в такой момент поблагодарить его за одолженные деньги?

— Идемте, — сказал он, — у меня машина.

— Куда? — спросил я в панике.

— К Бетти. Она приготовила кое-что выпить и поесть.

— Мне пора на работу.

— Сейчас ведь обеденное время. И вы можете побыть совсем недолго. Только чтоб Бетти видела, что вы пришли. Она принимает это очень близко к сердцу. И так — всякий раз. Вы же знаете, какая она. Пойдемте.

Вместе с нами поехали Рабинович, двойняшки Коллер, Кан и Кармен.

— Это была единственная возможность убедить ее не прощаться с Моллером, — заметил Рабинович. — Мы сказали, что после панихиды все придут к ней. Это была идея Мейера. Подействовало. Она гордится своей славой хорошей хозяйки, и это победило в ней все прочие соображения. Она встала в шесть утра, чтобы все сделать. Мы ей посоветовали приготовить салаты и холодные закуски: в жару это лучше всего. К тому же приготовление их займет у нее больше времени. Она хлопотала до часу. Слава богу! О господи, как там сейчас выглядит Моллер в такую жару.

Бетти вышла нам навстречу. Двойняшки Коллер сразу же отправились с ней на кухню. Стол уже был накрыт. Все эти хлопоты трогали и бередили душу.

— В старину это называлось тризной, — заметил Рабинович. — Впрочем, сей древний обычай...

Увлечшись, он разразился длинной тирадой о возникновении этого обычая на заре человечества.

«Вот ведь дотошный!» — подумал я, не слишком внимательно прислушиваясь к его словам и выискивая способ незаметно уйти. Появились двойняшки Коллер с блюдами — сардины в масле, куриная печенка и туец под майонезом. Всем раздали тарелки. Я заметил, как Мейер-второй, иногда бывавший у Бетти, ушипнул одну из сестер за весьма соблазнительный зад. Итак, жизнь продолжается. Она может быть страшной или прекрасной в зависимости от того, как на нее смотреть! Проще было считать ее прекрасной.

Всю вторую половину дня я выслушивал наставления Силверса. Он разучивал со мной очередную трюк я должен был говорить покупателю, что картины нет, хотя на самом деле она находилась у Силверса в кабинете. Мне надлежало говорить, что картина сейчас у одного из Рокфеллеров, Фордов или Меллонов.

— Вы представить себе не можете, как это действует на клиента, —ставлял меня Силверс. — Снобизм и зависть — неоценимые союзники антиквара. Если картина

хоть раз выставлялась в Лувре или в музее Метрополитен, ценность ее значительно возрастает. Обывателям, покупающим произведения искусства, достаточно знать, что картиной интересуется какой-нибудь миллионер, чтобы она поднялась в цене.

— Даже тем, которые действительно любят картины?

— Вы хотите сказать — настоящим коллекционерам? Они мало-помалу вымирают. Теперь произведения искусства собирают, чтобы вкладывать деньги или хвастаться ими.

— А раньше было не так?

Силверс посмотрел на меня с иронией.

— В спокойные времена дело обстоит иначе: тогда истинное понимание искусства может формироваться постепенно, в течение жизни одного-двух поколений. После каждой войны происходит перераспределение собственности: одни разоряются, другие обогащаются. Старые коллекции идут с молотка. Нувориши становятся коллекционерами. Отнюдь не из неутолимой любви к искусству. Почему у спекулянта земель или фабриканта оружия вдруг появляется такая любовь? Она обнаруживается лишь после первых миллионов. Главным образом потому, что жена теряет покой, если у них нет ни одной картины Моне, тогда как у Джонсонов целых две. Это так же, как с «кадиллаками» и «линкольнами». — Силверс рассмеялся своим добродушным гортанным смехом, отчего у него забулькало в груди. Бедные картины! Ими торгуют, как рабами.

— Продали бы вы картину какому-нибудь бедняку за часть стоимости только потому, что картина для него — милее жизни, но у него нет денег, чтобы заплатить за нее? — спросил я.

Силверс погладил подбородок.

— Тут легко солгать и ответить: да. И все же я этого не сделал бы. Бедняк может каждый день бесплатно ходить в музей Метрополитен и сколько душе угодно любоваться полотнами Рембрандта, Сезанна, Дега, Энгра и другими произведениями искусства за пять столетий.

— Ну, а если ему этого мало? — не унимался я. — Может, ему хочется иметь у себя какую-нибудь картину, чтобы всегда, в любое время, даже ночью, молиться на нее?

— Тогда пусть покупает себе репродукции пастелей и рисунков, — без тени смущения ответил Силверс. — Они теперь настолько хороши, что даже коллекционеры попадают на удочку, принимая их за оригиналы.

Его не так-то просто было сбить с толку. Да я к этому и не стремился. Я невольно все время мысленно возвра-

щался к похоронам. Когда я уходил от Бетти, Кармен вдруг воскликнула: «Бедный господин Моллер! Теперь его сжигают в крематории!» Какое идиотство — до сих пор называть его «господином»! Меня это разозлило и вместе с тем рассмешило. От всего этого утра, как зубная боль, осталась только мысль о крематории. И это был не просто образ. Я это видел в действительности. Я знаю, что происходит, когда мертвец вздымается в огне, будто от невыносимой боли, когда лицо его, озаренное пламенем горящих волос, искажается душераздирающей гримасой. Я знал и как выглядят в пламени глаза.

— У старого Оппенгеймера, — спокойно продолжал Силверс, — была прекрасная коллекция, но он с ней порядком намучился. Дважды у него что-то похищали. Один раз ему, правда, вернули картину, после чего он был вынужден застраховать коллекцию на большую сумму, чтобы чувствовать себя спокойно. Тогда она стала для него слишком дорогой. Но он действительно настолько любил картины, что если бы потерял их, никакая страховка не была бы для него достаточной компенсацией. Поэтому, опасаясь новых ограблений, он перестал выходить из дому. И наконец пришел к решению продать всю коллекцию одному музею в Нью-Йорке. После этого он сразу обрел свободу, получил возможность ездить куда и когда хотел — у него появилось достаточно денег для всех его прихотей. А если он желал видеть свои картины, то шел в музей, где уже другим людям приходилось беспокоиться о страховке и ограблениях. Теперь он с презрением взирает на коллекционеров: в самом деле, ведь трудно сказать, картины ли являются их узниками или они сами являются узниками своих картин. — И Силверс опять залился своим булькающим смехом. — Кстати, совсем неплохая острота!

Я смотрел на него и сгорал от зависти. Какая налаженная, устроенная жизнь! Он, правда, был немного циник, ироничный и холодный бизнесмен, и пламя, в котором агонизировало искусство, было для него лишь пламенем в уютном камине. Люди такого склада могли готовить себе пищу и жарить филе миньон на раскаленной лаве чужих страстей. Если бы можно было всему этому научиться! Хотел ли я этого на самом деле? Трудно сказать, но сегодня хотел. Мне было жутко опять возвращаться в свой темный гостиничный номер.

Заворачивая за угол, я увидел стоявший перед гостиницей «роллс-ройс». Я прибавил шагу, чтобы застать Наташу Петрову. Когда чего-нибудь очень хочется, оно ус-

кользает от тебя в последний момент — мне не раз, и даже довольно часто, приходилось это испытывать.

— Вот он! — воскликнула Наташа, когда я вошел в плюшевый холл. — Сразу же дадим ему водки. Или сейчас слишком жарко?

— Надо научиться делать «Русскую тройку», — сказал я. — Летом в Нью-Йорке — как в огромной пекарне. В Париже совсем другое дело.

— Сегодня я опять выступаю в роли авантюристки, — сказала Наташа. — «Роллс-ройс» с шофером в моем распоряжении до одиннадцати часов. Хотите рискнуть и еще раз поехать со мною?

Она бросила на меня вызывающий взгляд. А я подумал о том, что растратил уже все деньги.

— Куда? — спросил я.

Она засмеялась.

— Не в «Лоншан», конечно. Поехали в Сентрал-парк, съедим по котлетке.

— С кока-колой?

— С пивом, чтобы пощадить ваши европейские чувства.

— Хорошо.

— Она и меня хотела утащить с тобой, — добавил Меликов, — но я приглашен к Раулю.

— На панихиду или на торжество? — спросила Наташа.

— На деловое свидание! Рауль собирается съезжать отсюда — хочет снять квартиру. И устроиться с Джоном по-семейному. Я должен отговорить его от этого шага. Таков приказ шефа.

— Какого шефа? — спросил я.

— Человека, который владеет гостиницей.

— Кто же этот таинственный шеф? Я уже видел его?

— Нет, — коротко ответил Меликов.

— Гангстер, — ввернула Наташа.

Меликов оглянулся.

— Вы не должны так говорить, Наташа, не надо. Это нехорошо.

— Я его знаю, я ведь жила здесь. Он толстый, обрюзгший, носит узкие костюмы и хотел спать со мной.

— Наташа! — резко сказал Меликов.

— Хорошо, Владимир, будь по-вашему. Поговорим о чем-нибудь другом. Но он хотел со мной спать.

— Кто же этого не хочет, Наташа? — Меликов снова улыбнулся.

— Всегда не тот, кто надо, Владимир. Горькая участь! Налейте-ка мне еще немного водки.

Она повернулась ко мне.

— Водка здесь такая вкусная потому, что босс, кроме всего прочего, является совладельцем водочного завода. Поэтому она обходится здесь дешевле, чем всюду. А мне она обходится дешевле еще и потому, что шеф не совсем оставил надежду лечь со мной в постель. У него исключительное терпение. В этом его сила.

— Наташа! — воскликнул Меликов.

— Хорошо, мы уходим. Или вам хочется еще немного гангстерской водки? — спросила она меня.

Я покачал головой.

— Он предпочитает водку «в роллс-ройсе», — съязвил Меликов.

— Выпейте лучше здесь, — сказала Наташа. — В машине по какому-то трагическому стечению обстоятельств есть только бутылка датского шерри-бренди. Должно быть, хозяин автомобиля ездил вчера на прогулку с дамой.

Мы вышли на улицу. У машины стоял шофер и курил.

— Не хотите сесть за руль, сэр? — спросил он меня.

— В «роллс-ройсе»? Нет, не рискну. Я плохо вожу. Кроме того, у меня нет прав.

— Как чудесно! Нет ничего скучнее шофера-любителя, — сказала Наташа.

Я посмотрел на нее. Казалось, она больше всего на свете боялась скуки. Я любил Наташу. Она была воплощенная уверенность в себе. Поэтому она, вероятно, и любила приключения, тогда как я ненавидел их — слишком долго они были моим хлебом насущным. Черствым хлебом. Черствым и беспощадным, как кандалы.

— Вы действительно хотите поехать в Сентрал-парк?

— Почему бы и нет? Закусочная там еще открыта. Можно посидеть под открытым небом и посмотреть, как играют морские львы. Тигры в это время уже спят. Зато голуби подлетают к столу. Даже белки подбегают к самой террасе. Где еще можно быть ближе к раю?

— Вы думаете, элегантный шофер «роллс-ройса» будет доволен, если на обед мы предложим ему котлету с минеральной водой? Спиртного ему, наверное, нельзя?

— Много вы понимаете! Он хлещет, как лошадь. Впрочем, не сегодня, потому что ему еще надо будет заехать за своим повелителем в театр. А котлеты — это его страсть. И моя тоже.

Было очень тихо. Кроме нас на террасе сидело несколько человек. На деревьях повисли сумерки. Бурые медведи готовились ко сну. Только белые медведи беспрестанно плавали в своих маленьких бассейнах. Шофер Джон в стороне уничтожал три большие котлеты с томатным соусом и солеными огурцами, запивая все это кофе.

— Жаль, что нельзя гулять ночью в Сентрал-парке,— сказала Наташа.— Через час это уже станет опасно. Четвероногие хищники засыпают, а двуногие просыпаются. Где вы были сегодня? У своего хищника антиквара?

— Да. Он объяснял мне на примере картины Дега смысл жизни. Своей. Не Дега, конечно.

— Странно, как много мы получаем отовсюду советов, не правда ли?

— И вы тоже получаете?

— То и дело. Каждый хочет меня воспитывать. И каждый знает все лучше меня. Слушая эти советы, можно подумать, что счастья полно в каждом доме. Но это не так. Человек — мастер давать советы другим.

Я посмотрел на нее:

— Думаю, вы не очень нуждаетесь в советах.

— Мне их нужно бесконечно много. Но они для меня бесполезны. Я делаю все наоборот. Я не хочу быть несчастной и тем не менее я несчастна. Я не хочу быть одинокой и тем не менее я одинока. Теперь вы смеетесь. Думаете, что у меня много знакомых. Это правда. Но и другое тоже правда.

Она выглядела прелестно в сгущавшихся сумерках, оглашаемых последними криками хищных зверей. Я слушал этот ее детский вздор с тем же чувством, с каким слушал сегодня Силверса: жизнь Наташи казалась мне непонятной и такой далекой от моей собственной. Она тоже была во власти простых эмоций и бесхитростных горестей; тоже никак не могла понять, что счастье — не стабильное состояние, а лишь зыбь на воде; но ни ее, ни таких, как она, не мучил по ночам орестов долг мести, сомнения в своей невиновности, увязание в грехе, хор эриний, осаждающих нашу память. Можно было позавидовать счастью и успехам окружающих меня людей, их усталому цинизму, красноречию и безобидным неудачам, пределом которых была утрата денег или любви. Они напоминали мне щебечущих райских птичек из другого столетия. Как бы я хотел стать такой птичкой, все забыть и щебетать вместе с ними!

— Иногда человек теряет мужество,— сказала Наташа.— А иной раз кажется, что к разочарованиям можно

привыкнуть. Но это не так. С каждым разом они причиняют все большую боль. Такую боль, что становится жутко. Кажется, будто с каждым разом ожоги все сильнее. И с каждым разом боль проходит все медленнее.— Она подперла голову рукой.— Не хочу больше обжигаться.

— А как вы думаете избежать этого? — спросил я.— Уйти в монастырь?

Она сделала нетерпеливый жест.

— От самой себя не убежишь

— Нет, это можно. Но только раз в жизни. И пути назад уже нет,— сказал я и подумал о Моллере, о том, как в душную ночь в Нью-Йорке он одиноко висел на люстре — в лучшем своем костюме и чистой сорочке, но без галстука, по словам Липшюца. Он считал, что в галстук смерть была бы более мучительной. Я этому не поверил. Какая разница? Ведь это все равно, как если бы пассажир в поезде решил, что скорее доберется до места, бегая взад и вперед по коридору. Это заинтересовало Рабиновича, и он принялся было распространяться по этому поводу, исследуя проблему с холодным любопытством ученого. Тогда-то я и ушел.— Несколько дней назад вы сказали мне, что несчастны,— заговорил я.— Потом сами же опровергли свои слова. У вас все так быстро меняется! Значит, вы очень счастливый человек!

— Ни то ни другое. Вы действительно так наивны? Или просто смеетесь надо мной?

— Ни то ни другое? — повторил я.— Я уже научился ни над кем не смеяться. И верить во все, что мне говорят. Это многое упрощает.

Наташа с сомнением взглянула на меня.

— Какой вы странный,— сказала она.— Рассуждаете, как старик. Скажите, вам никогда не хотелось стать пастором?

Я рассмеялся.

— Никогда!

— А иногда вы производите именно такое впечатление. Почему бы вам не посмеяться над другими? Вы так серьезны. Вам явно не хватает юмора! Ох уж эти немцы...

Я покачал головой.

— Вы правы. Немцы не понимают юмора. Это, пожалуй, верно.

— Что же вам заменяет юмор?

— Злорадство. Почти то же самое, что вы именуете юмором: желание потешаться над другими.

На какой-то миг она смутилась.

— Прямо в цель, профессор! Как же вы глубокомысленны!

— Как истинный немец,— рассмеялся я.

— А я несчастна. И в душе у меня пусто! И я сентиментальна. И все время обжигаюсь. Вам это непонятно?

— Понятно.

— Это случается и с немцами?

— Случалось. Раньше.

— И с вами тоже?

К столу подошел официант.

— Шофер спрашивает, может ли он заказать порцию мороженого, ванильного и шоколадного.

— Две порции,— сказал я.

— Все из вас надо вытягивать,— нетерпеливо произнесла Наташа.— Можем мы, наконец, поговорить разумно? Вы тоже несчастны?

— Не знаю. Счастье — это такое расплывчатое понятие.

Она озадаченно посмотрела на меня. С наступлением темноты ее глаза заметно посветлели.

— Тогда, значит, с нами ничего не может произойти,— как-то робко сказала она.— Мы оба на мели.

— Ничего с нами не произойдет,— подтвердил я.— Мы оба обожглись, и оба стали чертовски осторожны.

Официант принес счет.

— Кажется, уже закрывают,— сказала Наташа.

На какой-то момент я ощутил знакомое мне паническое чувство. Мне не хотелось быть одному, и я боялся, что Наташа сейчас уйдет.

— Машина в вашем распоряжении до закрытия театров? — спросил я.

— Да. Хотите куда-нибудь прокатиться?

— С большим удовольствием.

Мы поднялись с мест. Терраса и парк совсем опустели. Темнота черным полотном затянула кроны деревьев. Такое было впечатление, точно стоишь на деревенской площади: где-то в бассейне, тихонько плескаясь, как негрятята, купались морские львы, а чуть поодаль размещались стойла буйволов и зебу.

— В это время в Централ-парке уже становится опасно?

— Пока это час патрулей и извращенцев. Они сколачиваются возле скамеек, на которых целуются влюбленные. Час воров-карманников, насильников и убийц наступает

позже, когда совсем стемнеет. Тогда же появляются и бандиты.

— И полиция ничего не может с этим поделать?

— Она прочесывает аллеи и рассылает патрули, но парк велик и в нем есть где спрятаться. А жаль. Хорошо, если бы летом все было по-другому. Но сейчас бояться нечего, мы ведь не одни.

Она взяла меня под руку. «Сейчас бояться нечего, мы ведь не одни»,— думал я, ощущая ее близость. Темнота не таила в себе опасности; она защищала нас, сохраняя сокрытые в ней тайны. Я чувствовал обволакивающую нежность, у которой еще не было имени,— она ни к кому конкретно не относилась и свободно парила, как ветерок поздним летним вечером, и тем не менее уже была сладостным обманом. Она не была безоблачной, а слагалась из страха и опасения, что прошлое нагрянет вновь, из трусости и желания выстоять в этот таинственный и опасный промежуточный период беспомощности, втиснувшийся где-то между бегством и спасением; она, как слепец, хваталась за все, что представлялось ей надежной опорой. Мне было стыдно, но я легкомысленно убеждал себя в том, что и Наташа не лучше меня, что и она словно лиана цепляется за ближайшее дерево, не терзая себя вопросами и угрызениями совести.

Ей, как и мне, не хотелось быть одной в трудные минуты жизни. Эта едва теплившаяся нежность витала вокруг нас и казалась такой безопасной, потому что у нее еще не было имени и ее еще не успела закогтить боль.

— Я обожаю тебя! — неожиданно, к собственному моему удивлению, вырвалось у меня, когда мы проходили под освещенной желтыми фонарями аркой, которая вела к Пятой авеню. Перед нами маячила широкая тень шофера.— Я не знаю тебя, но я обожаю тебя, Наташа,— повторил я, поймав себя на том, что впервые обратился к ней на «ты». Она повернулась ко мне

— Это неправда,— ответила она.— Ты лжешь, все неправда, хотя такие слова и приятно слышать.

Я проснулся, но прошло некоторое время, прежде чем я уяснил себе, что видел сон. Лишь постепенно я снова стал различать темные контуры своей комнаты, более светлые очертания окна и красноватый отблеск нью-йоркской ночи. Но это было тягучее, медленное пробуждение, будто

мне приходилось выбираться из трясины, где я чуть не задохнулся.

Я прислушался. По-видимому, я кричал. Я всегда кричал, когда видел этот сон, и каждый раз мне требовалось много времени, чтобы прийти в себя. Мне снилось, что я кого-то убил и закопал в заросшем саду у ручья; что по прошествии долгого времени труп нашли, это навлекло на меня большие несчастья, и я был схвачен. Я никогда толком не знал, кого же я убил — мужчину или женщину. Не знал также, почему я это сделал, и, кроме того, мне казалось, будто я уже забыл во сне, что я совершил. Тем ужаснее был для меня страх и глубокое замешательство, еще долго преследовавшие меня после пробуждения, будто сон все-таки был явью. Ночь и внезапный испуг сокрушили все защитные барьеры, которые я воздвиг вокруг себя. Побеленное известью помещение в крематории с крюками, на которых подвешивали людей, и пятнами под ними, оставленными головами, дергавшимися от ударов и обивавшими известку, снова явилось мне в эту душную ночь; потом я увидел скелетообразную руку на полу, которая еще шевелилась, и услышал жирный голос, который повелевал: «Наступи на нее! Грязная тварь, растопчешь ты ее, накопец, или нет? Быстрее или я тебя уничтожу! Мы и тебя, свинья, подвесим, но не торопясь, с наслаждением!»

Мне вновь послышался этот голос, и я увидел холодные глумящиеся глаза, и в сотый раз повторил себе, что он уничтожит меня, как назойливую муху, как десятки других узников, просто удовольствия ради, если я не выполню его приказа. Он только и ждал, что я откажусь. И все же я чувствовал, как пот ручьями лил у меня из-под мышек, и я стонал, беспомощный и мучимый тошнотой. Этот жирный голос и эти садистские глаза должны быть уничтожены. Мэрц, думал я. Эгон Мэрц. Потом он меня выпустил при очередном послаблении режима, потому что я не был евреем, и тогда я бежал. До границы с Голландией было рукой подать — я хорошо знал эти места и воспользовался оказанной помощью, — но и тогда уже понимал, что это лицо садиста еще не раз возникнет передо мною прежде, чем я умру.

В эту короткую летнюю ночь я сидел на кровати, подбрав ноги, оцепенев. Сидел и размышлял обо всем, что хотелось похоронить и спрятать глубоко под землей, и снова о том, что это невозможно и что мне надо вернуться назад, пока я не подох раньше срока от ужаса и отчаяния, как это случилось с Моллером. Я должен остаться в жи-

вых и спастись — спастись во что бы то ни стало. Я сознавал, что ночью все кажется более драматичным, умножаются ценности, меняются понятия, и тем не менее я продолжал сидеть, ощущая распростертые надо мной крылья грусти, бессильной ярости и скорби. Я сидел на кровати, ночная мгла рассеивалась, и я разговаривал сам с собой, как с ребенком, я ждал дня, а когда он наступил, я был совершенно разбит, будто всю ночь бросался с ножом на бесконечную черную ватную стену и никак не мог ее повредить.

XIV

Силверс послал меня к Куперу, тому самому, который приобрел танцовщицу Дега. Мне было велено доставить ему картину и помочь ее повесить. Купер жил на четвертом этаже дома на Парк-авеню. Я думал, что дверь откроет прислуга, но навстречу мне вышел сам Купер. Он был без пиджака.

— Входите, — сказал он. — Давайте не спеша подыщем место для этой зелено-голубой дамы. Хотите виски? Или лучше кофе?

— Спасибо, я с удовольствием выпью кофе.

— А я виски. Самое разумное в такую жару.

Я не стал возражать. Благодаря кондиционерам в квартире было прохладно, как в склепе. Голова Купера напоминала созревший помидор. Это впечатление еще более оттеняла изысканная французская мебель в стиле Людовика XV, а также маленькие итальянские кресла и небольшой роскошный желтый комод венецианской работы. На обитых штофом стенах висели картины французских импрессионистов.

Купер сорвал бумагу с полотна Дега и поставил его на стул.

— Это ведь было мошенничество с картиной, не так ли? — спросил он. — Силверс утверждал, будто подарил ее жене и та устроит скандал, если, вернувшись домой, вдруг не обнаружит ее. Какой блеф!

— Вы поэтому и купили ее? — спросил я.

— Конечно, нет. Я купил ее потому, что мне хотелось ее иметь. Вы знаете, сколько Силверс содрал с меня за это полотно?

— Нет, не знаю.

— Тридцать тысяч долларов.

Купер испытующе посмотрел на меня. Я сразу понял, что он лжет, устраивает мне проверку.

— Ну? — сказал он. — Немалая сумма, верно?

— Для меня целое состояние.

— А сколько бы вы за нее заплатили?

Я рассмеялся.

— Ни гроша!

— Почему? — быстро спросил Купер.

— Очень просто: у меня нет на это денег. В данный момент от полного безденежья меня отделяют тридцать пять долларов.

— А сколько бы вы заплатили, если бы у вас были деньги? — не унимался Купер

Я решил, что отработал свою чашечку кофе и разговор с меня довольно.

— Столько, сколько имел бы. Если вы оцените ваши картины, то убедитесь, что увлечение искусством довольно прибыльное дело. Выгодней и не придумаешь. Мне кажется, Силверс охотно купил бы некоторые ваши картины и при этом не прогадал бы.

— Мошеник! Чтобы через неделю снова предложить их мне — только на пятьдесят процентов дороже!

Купер откулдыкал, точно индюк после кормежки, и на этом успокоился.

— Итак, где будем вешать танцовщицу?

Мы прошли по квартире. В это время Купера позвали к телефону.

— Осмотритесь не спеша, — сказал он мне. — Может, найдете какое-нибудь подходящее местечко.

Квартира была обставлена с тонким вкусом. Должно быть, Купер либо сам знал толк в этом деле, либо имел прекрасных советчиков, а может, и то и другое вместе. Я послушно шел за горничной.

— Это спальня мистера Купера, — сказала она, — здесь, пожалуй, найдется место.

Над широкой кроватью в стиле модерн висела картина в позолоченной раме — лесной пейзаж с трубящим оленем, несколькими косулями и ручьем на переднем плане.

Я безмолвно рассматривал эту низкопробную мазню.

— Мистер Купер написал это сам? — поинтересовался я. — Или получил в наследство от родителей?

— Не знаю. Картина у него висит все время, пока я здесь Чудесно, а? Совсем как в жизни!

— Вот именно. Даже пар перед мордой оленя — и тот не забыли. Что, мистер Купер охотник?

— Не знаю.

Я огляделся и увидел венецианский пейзаж Цима. У меня прямо слезы навернулись на глаза от умиления: я разгадал тайну Купера. Здесь, в собственной спальне, ему незачем было притворяться. Тут было то, что ему действительно нравилось. Все прочее было показухой, бизнесом, возможно, даже увлечением — кто мог это знать, да и кому это было интересно? Но трубящий олень — это уже была страсть, а от сентиментального венецианского пейзажа веяло дешевой романтикой.

— Пойдем дальше,— сказал я девушке.— Картины здесь так хорошо висят, что мы только все испортим. Наверху тоже есть комнаты?

— Там терраса и маленькая гостиная.

Она повела меня вверх по лестнице.

Слышно было, как в кабинете Купер грубо, лающим голосом отдавал приказания по телефону. Интересно, похожа ли обстановка кабинета на спальню: второй трубящий олень был бы там как раз к месту.

У двери, ведущей на террасу, я остановился. Подо мной, насколько хватал глаз, лежал Нью-Йорк в душном летнем зное — он показался мне в этот момент африканским городом с небоскребами. На горизонте угадывался океан. Это был город из камня и стали, производивший как раз то впечатление, какого добивались его строители: возникший бурно и целенаправленно, без вековых традиций, воздвигнутый решительно и смело трезвыми, не отягощенными предрассудками людьми, высшим законом для которых была не красота, а целесообразность,— он являл собою пример новой, дерзкой, антиромантической, антиклассической, современной красоты. Я подумал, что на Нью-Йорк, наверное, надо смотреть сверху, а не снизу, задрав голову к небоскребам. Сверху они производили более спокойное впечатление, будто являлись извечной органической составной частью окружающего — жирафы в стаде зебр, газелей и гигантских черепах.

Я слышал, как, тяжело дыша и шаркая ногами, по лестнице поднимался Купер.

— Ну, нашли место?

— Здесь,— ответил я и показал на террасу.— Хотя солнце скоро погубит картину. Но танцовщица над городом — согласитесь, в этом что-то есть. . . Может, поместить ее рядом, в гостиной, на той стене, куда не попадает солнце?

Мы вошли в гостиную. Она была очень светлая, с белыми стенами и мебелью, обитой пестрым английским сит-

цем. На одном из столов я заметил три китайские бронзовые статуэтки и двух танцовщиц. Я взглянул на Купера. Что же он все-таки такое? Не лучше ли было бы ему вместо бронзовых статуэток эпохи Чжоу приобрести, скажем, три старинных бокала, а вместо фигурок танцовщиц из терракоты — фарфоровых гномиков или слонов?

— Там, у стены, за бронзовыми статуэтками, — сказал я. — Зелено-голубой цвет бронзы почти того же оттенка, что и танцовщица.

Купер все еще поглядывал на меня с опаской и сопел. Я приложил картину к стене.

— В таком случае придется дырявить стену, — сказал он наконец. — А если потом понадобится снять картину, останется дырка.

— Тогда на ее место можно будет повесить другую картину, — сказал я и с удивлением взглянул на Купера. — Кроме того, отверстие можно залепить гипсом, так что его почти не будет видно. — Ну и крохобор! Вот так, наверное, он и скопил свои миллионы. Удивительно только, что это меня не раздражало: трубящий олень в спальне примирил меня с ним. Все остальное в квартире было враждебно Куперу, хотя он и не отдавал себе в этом отчета. Он понимал, что на такого рода покупки требуется много денег, но сколько платить и за что — не знал и потому так старался все у меня выпросить. Он толком не понимал, в каком соотношении находятся деньги и искусство, и в этом смысле походил на истинного любителя.

Наконец Купер решился.

— Ну, пробейте небольшое отверстие. Самое маленькое, какое только можно. Видите вот этот патентованный крюк — для него нужен лишь тонкий гвоздик, а висеть на нем может большая картина.

Я быстро вбил крючок под недоверчивым взглядом Купера. А потом позволил себе поглазеть на китайские фигурки из бронзы и даже подержать их в руках. Я сразу же почувствовал нежную теплоту и в то же время прохладу патины. Это была чудесная бронза, и у меня возникло странное чувство, будто я вернулся домой, к своему погасшему очагу. Фигурки отличались безукоризненным совершенством. Это было неопишное чувство, возникавшее от сознания того, что кому-то, много веков назад, посчастливилось овладеть материализованной «иллюзией вечности».

— Вы разбираетесь в бронзе? — спросил Купер.

— Немного.

— Сколько они стоят? — сразу же спросил он, и мне захотелось его обнять, до того он был искретен и неподделен в эту минуту.

— Им нет цены.

— Что? Как это? В них надежнее вкладывать капитал, чем в картины?

— Этого я не сказал, — ответил я, проявив мгновенную осторожность, чтобы не нанести Силверсу удар с фланга, — но они превосходны. Лучших нет даже в музее Метрополитен.

— Неужели? Гляди-ка! Их всучил мне однажды какой-то мошенник.

— Вам просто повезло.

— Думаете? — Он закулдыкал, как шесть индюков, и пренебрежительно взглянул на меня. Казалось, он прикидывал, дать мне на чай или нет, но так и не решился. — Хотите еще кофе?

— Благодарю.

Я вернулся к Силверсу и все ему рассказал.

— Старый разбойник! — воскликнул Силверс. — Он каждый раз устраивает дознание, когда я кого-нибудь посылаю к нему. Прирожденный случайный покупатель. А начинал-то ведь с тачки железного лома! Это уж потом он продавал целые поезда с ломом. А накануне войны, в самый подходящий момент, занялся военным бизнесом. Кстати, он поставлял оружие и железный лом Японии. А когда эта возможность отпала, переключился на Соединенные Штаты. За каждое приобретенное им полотно Дега заплатили жизнью сотни, если не тысячи, ни в чем не повинных людей.

Я еще никогда не видел Силверса таким рассерженным. То, что он сказал насчет Дега, было, разумеется, абсолютной выдумкой, но слова его все же отложились в моем сознании. Фальшь и лицемерие производят большее впечатление, чем истина.

— Почему же тогда вы ведете с ним дела? — поинтересовался я — Ведь таким образом вы становитесь его соучастником?

Силверс хоть и рассмеялся, но все еще кипел от негодования.

— Почему? Потому что я ему что-то продаю! Не могу же я, в самом деле, быть квакером в бизнесе! Соучастник? В чем? В войне? Это просто смешно!

Мне стоило известных усилий успокоить его и объяснить, что все мои вопросы вытекают из моего приростания

к логическому мышлению. Это всегда приводит к недоразумениям.

— Не выношу этих торгашей смертью,— изрек, наконец, Силверс, успокоившись.— И тем не менее! Я выудил из него на пять тысяч больше, чем была оценена картина. Надо было содрать с него еще тысяч пять.

Он принес себе виски с содовой.

— Хотите?

— Спасибо. Я уже напился кофе.

Надо наказать Купера, подумал я, звонкой монетой. Зато в случае удачи я сумею выбраться из трясины прошлого.

— Вы вполне сможете наверстать свое,— сказал я — Вероятно, он скоро опять придет. Я ему дал понять, что другое полотно Дега составило бы великолепную пару с тем, которое он купил, и что, на мой вкус, вторая картина в художественном отношении куда ценнее.

Силверс задумчиво посмотрел на меня.

— Вы делаете успехи! Заключаем пари: если в течение месяца Купер явится за второй картиной Дега, вы получаете сто долларов!

Перед отелем «Плаза» я вдруг увидел Наташу. Она пересекала площадь, засаженную разросшимися деревьями, направляясь к Пятьдесят девятой улице. Впервые после долгого перерыва я увидел ее днем. Она шла быстрым и размашистым шагом, чуть наклонившись вперед. Меня она не видела.

— Наташа! — окликнул я, когда она поравнялась со мной.— Думаешь о том, какую диадему взять сегодня вечером напрокат у «Ван Клеефа и Арпельса»?

Она на какой-то момент опешила.

— А ты? — бросила она.— Стажил у Силверса картину Ренуара, чтобы оплатить счет в ресторане «Эль Марокко»?

— Я человек скромный,— вздохнул я.— Я думаю всего лишь о прокате, а ты сразу о грабеже. Ты далеко пойдешь.

— Зато проживу, наверное, меньше. Не хочешь ли со мной пообедать?

— Где?

— Я тебя приглашаю,— сказала она, смеясь.

— Так не годится. Для сутенера я слишком стар. К тому же я недостаточно обаятелен.

— Ты совсем не обаятелен, но не в этом дело. Пойдем, и не терзайся. Мы все постоянно обедаем здесь по талонам. Оплата в конце месяца. Так что за свое достоинство можешь не беспокоиться. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы ты встретился с одной старой дамой. Очень богатой, которая интересуется картинами. Я рассказывала ей о тебе.

— Но, Наташа! Я ведь не торгую картинами!

— Не ты, так Силверс. А если ты приведешь к нему клиента, он должен будет заплатить тебе комиссионные.

— Что?

— Комиссионные. Так принято. Ты что, не знаешь разве, что добрая половина людей живет за счет комиссионных?

— Нет.

— Тогда тебе пора это усвоить. А теперь пошли. Я голодна. Или ты боишься?

Она вызывающе посмотрела на меня.

— Ты очень красивая,—сказал я.

— Браво!

— Если что-нибудь получится с комиссионными, я приглашу тебя на обед с икрой и шампанским.

— Браво. D'accord¹. Ты перестанешь в таком случае терзаться?

— Несомненно. Теперь у меня осталась только боязнь пространства.

— Не так уж сильно ты отличаешься от других,—сказала Наташа.

Ресторан был почти полон. У меня было такое ощущение, будто я попал в элегантную клетку, где находились вместе бабочки, галки и попугай. По залу порхали официанты. Как всегда, Наташа встретила здесь много знакомых.

— Ты знаешь, наверное, половину Нью-Йорка,—сказал я.

— Чепуха. Я знаю лишь бездельников и людей, имеющих отношение к моде. Как и я. Чтобы тебя опять не мучила боязнь пространства, посмотрим летнее меню.

— Странное название — летнее меню.

Она рассмеялась.

— Это просто одна из диет. Вся Америка питается по какой-нибудь диете.

— Почему? У всех здесь довольно здоровый вид.

— Чтобы не толстеть. Америка помешана на том, чтобы сохранить молодость и фигуру. Каждый хочет быть

¹ Согласно (фр.).

юным и стройным. Старость здесь не в почете. Почтенный старец, пользовавшийся таким уважением в Древней Греции, в Америке попал бы в дом для престарелых.— Наташа закурила сигарету и подмигнула мне.— Не будем сейчас говорить о том, что большая часть мира голодает. Ты, наверное, это имел в виду?

— Я не такой дурак, как ты полагаешь. Я совсем не об этом думал.

— Ну, допустим!

— Я думал об Европе. Там не так уж голодают, но, конечно, продуктов там значительно меньше.

Она взглянула на меня из-под полуопущенных век.

— Не кажется ли тебе, что было бы куда полезней поменьше думать об Европе? — спросила она.

Меня поразило ее замечание.

— Я пытаюсь не думать об этом.

Она рассмеялась.

— Вот идет эта богатая старуха.

Я ожидал увидеть расфуфыренную выдру, этакое подобие Купера, а к нам подошла изящная женщина с серебристыми локонами и румяными щечками — она, несомненно, всю жизнь была такая холеная и ухоженная, точно и не покидала стен детской. Ей было около семидесяти, но можно было спокойно дать ей пятьдесят. Выдавали ее только шею и руки, поэтому на ней было ожерелье из четырех рядов жемчуга, уложенных друг на друга, которое закрывало всю шею и в то же время придавало даме сходство с портретом эпохи Империи.

Ее интересовал Париж, и она принялась меня расспрашивать. Я же поостерегся рассказывать ей о своей жизни там и преподносил все так, будто никакой войны там нет и в помине. Я смотрел на Наташу и рассказывал о Сене, об острове св. Людовика, набережной Великих Августинов, о летних вечерах в Люксембургском саду, на Елисейских полях и в Булонском лесу. Я видел, как теплели Наташины глаза, и мне легче было говорить обо всем этом.

Нас быстро обслужили, и менее чем через час миссис Уимпер стала прощаться.

— Вы не заедете за мной завтра в пять часов? — спросила она меня.— Мы поехали бы к вашему Силверсу посмотреть его коллекцию.

— Хоршо,— ответил я и хотел еще что-то добавить, но Наташа толкнула меня под столом ногой, и я прикусил язык.

Когда миссис Уимпер ушла, Наташа рассмеялась.

— Ну как, роды прошли безболезненно? Ты, конечно, хотел ей объяснить, что у Силверса только открываешь ящики, ведь так! Ни к чему это. Многие здесь занимаются лишь тем, что дают советы невежественным толстосумам и сводят их со знакомыми антикварами.

— Словом, агент по продаже — резюмировал я.

— Консультант, — возразила Наташа. — То есть достойный, уважаемый человек, который защищает бедных, беспомощных миллионеров от грабителей-антикваров. Пойдешь к ней?

— Конечно, — ответил я.

— Bravo!

— Из любви к тебе.

— Еще раз bravo!

— Откровенно говоря, я и без того пошел бы к ней. Я куда меркантильнее, чем ты думаешь.

Она слегка ударила в ладоши.

— Ты постепенно становишься почти очаровательным.

— То есть становлюсь человеком? Если прибегнуть к твоей терминологии.

— Еще не человеком. Скажем, статуей, делающей первые шаги.

— Все уладилось удивительно быстро. А ведь миссис Уимпер ничего обо мне не знает.

— Ты рассказывал о том, что она любит: Париж, лето в Булонском лесу, Сена осенью, набережные, лотки букенистов...

— И ни слова о картинах...

— Это ей особенно понравилось. Ты правильно сделал: ни слова о делах.

Мы спокойно шли по Пятьдесят четвертой улице. На душе у меня было легко и радостно. Мы остановились возле антикварного магазина, где были выставлены египетские ожерелья. Они сияли в бирюзовом свете, а рядом с ними стоял большой ибис. С аукциона в «Савое» выходили люди, унося с собой ковры. Прекрасно было это ощущение жизни! И как далеко еще была ночь.

— Сегодня вечером я тебя увижу? — спросил я.

Она кивнула.

— В гостинице?

— Да.

Я пошел обратно. Солнце светило сквозь пелену пыли. Пахло выхлопными газами, воздух был раскален. Я постоял перед «Савоем», где происходил аукцион, и, наконец, вошел внутрь. Зал был наполовину пуст, атмосфера была

какая-то сонная. Аукционист выкрикивал цены. Распродажа ковров закончилась; теперь с молотка пошли фигурки святых. Их вынесли на сцену и расставили в ряд, точно готовили к новому мученичеству. Некоторые из них пришлось распаковывать прямо на сцене. Цветные фигурки спросом не пользовались и стоили очень дешево. В военное время святые первыми попадают в тюрьму. Я снова вышел на улицу и стал рассматривать витрину. Среди массивной мебели эпохи Ренессанса стояли две бронзовые китайские фигурки; одна была явной копией фигурок эпохи Мин, а вот вторая вполне могла быть подлинной. Патина, правда, была плохая, может быть, даже подвергалась обработке, и все же в этой бронзе было что-то, придававшее ей вид подлинной. Наверное, какой-то профан счел статуэтку копией и пытался ее подделать. Я вернулся в сумрачное помещение, где проходил аукцион, и попросил дать мне каталог очередной распродажи. Бронзовые фигурки были перечислены без указания эпохи — среди оловянных кувшинов, всякой медной утвари и прочих дешевых вещей. Повидимому, стоит они будут недорого, ибо трудно ожидать участия крупных антикваров в столь обыденной распродаже.

Я вышел из «Савоя» и направился вниз по Пятьдесят четвертой улице ко Второй авеню. Там я свернул направо и пошел дальше — к магазину братьев Лоу. У меня появилась мысль купить бронзу, а потом перепродать ее Лоу-старшему. Я был уверен, что он ее не заметил среди оловянных кувшинов и массивной мебели. Потом я подумал о Наташе и вспомнил тот вечер, когда она довезла меня в «роллс-ройсе» до гостиницы. Я тогда наспех простился с ней, да и, по правде говоря, всю дорогу был очень молчалив — я думал лишь о том, как бы поскорее выбраться из этого шикарного автомобиля. Причина была поистине детская: мне срочно требовалась уборная. Но поскольку в Нью-Йорке это заведение куда труднее отыскать, чем в Париже, я терпел, в результате чего мне просто не хватило времени для прощания. Наташа с возмущением смотрела мне вслед, и сам я, облегчившись, злился потом на себя за то, что опять все испортил по собственной глупости. Однако на следующий день этот эпизод представился мне уже в совершенно ином свете, даже с каким-то романтическим оттенком, ибо вместо того, чтобы велеть шоферу остановиться у ближайшего отеля и попросить Наташу подождать в машине, я предпочел мучиться и терпеть. Я счел это глупостью, но в то же время и верным признаком сер-

дечной склонности, и меня охватило неподдельное чувство нежности. С этим чувством я и подошел к магазину братьев Лоу. Лоу-младший стоял между двумя белыми лакированными креслами в стиле Людовика XVI и задумчиво смотрел на улицу. Я собрался с духом, отбросил мысль о своем первом самостоятельном бизнесе и переступил порог.

— Как дела, мистер Лоу? — нарочито небрежным тоном спросил я, опасаясь вызвать недовольство у этого романтика.

— Хорошо! Брата сейчас нет. Он ест свою кошерную пищу, вы же знаете! А я — нет, — добавил он, сверкнув глазами. — Я питаюсь по-американски.

Близнецы Лоу напоминали мне известных сиамских близнецов, из которых один был трезвенник, а другой — горький пьяница. Поскольку система кровообращения у них была одна, несчастному трезвеннику приходилось выдерживать не только опьянение, но и последующее похмелье своего пропойцы-брата. Как всегда, страдала добродетель. Так и у Лоу — один был ортодоксальным евреем, а другой — вольнодумцем.

— Я обнаружил бронзовые статуэтки, — объявил я. — Они будут продаваться с аукциона по дешевке.

Лоу-младший махнул рукой.

— Скажите об этом моему брату — фашисту, я утратил интерес к бизнесу: меня занимают сейчас только проблемы жизни и смерти. — Он повернулся ко мне и вдруг спросил: — Скажите честно, что вы мне посоветуете: жениться или нет?

Это был коварный вопрос: при любом ответе я проигрывал.

— Кто вы с точки зрения астрологов? — ответил я вопросом на вопрос.

— Что?

— Когда вы родились?

— Какое это имеет значение? Ну, двенадцатого июля.

— Так я и думал. Вы — Рак. Легкоранимая, любвеобильная, художественная натура.

— Так как же все-таки? Жениться мне?

— От рака трудно отделаться. Он крепко вцепляется в тебя, пока ему не отрежешь клешни.

— Какой кошмарный образ!

— Образ чисто символический. Если перевести его на язык психоаналитиков, это означает всего лишь: пока не вырвешь ему половые органы.

— Всего лишь? — жалобно воскликнул Лоу. — Оставьте наконец шутки и скажите ясно и просто: жениться мне или нет?

— В католической Италии я бы вам ответил: нет. В Америке это проще: вы всегда можете развестись.

— Кто говорит о разводе? Я говорю о женитьбе!

Дешевую шутку «это почти одно и то же» мне, к счастью, не пришлось произносить. Равно как и ничего не стоящий совет: раз ты спрашиваешь, жениться тебе или не жениться, то не женись. В магазин вошел Лоу-старший, весь сияя после тяжелой кошерной трапезы.

Младший брат взглядом призвал меня к молчанию. Я кивнул.

— Как поживает паразит? — весело спросил Лоу-старший.

— Силверс? Он только что добровольно прибавил мне жалованье.

— Это он может. На сколько? На доллар в месяц?

— На сто.

— Что?

Оба брата уставились на меня. Первым оправился от удивления старший.

— Ему бы следовало прибавить двести, — заметил он.

Такое присутствие духа восхитило меня, но я решил не поддаваться.

— Он так и хотел, — сказал я. — Но я отказался. Считаю, что еще не заслужил. Может быть, через год — тогда другое дело.

— С вами нельзя говорить разумно, — пробурчал Лоу-старший.

— Напротив, — сказал я. — Особенно если речь идет о бронзовых статуэтках. — Я поведал ему о своем открытии. — Я могу купить их для вас на аукционе. Все будут считать их подделками.

— А если это действительно подделки?

— Ну, значит, мы ошиблись. Или вы хотите, чтобы я еще застраховал вас от убытков?

— Почему бы и нет? — ухмыльнулся Лоу. — При ваших-то доходах!

— Я их и сам могу купить. Это даже проще, — сказал я разочарованно.

Я рассчитывал на большую благодарность за такой совет. Как всегда, это оказалось заблуждением.

— Ну, как чечевичный суп? — спросил я.

— Чечевичный суп? Откуда вы знаете, что я ел чечевичный суп?

Я показал на лацкан его пиджака, где прилипла половинка раздавленной чечевицы.

— Слишком тяжелая пища для этого времени года, мистер Лоу. Рискуете получить апоплексический удар. Всего хорошего, господа!

— Вы человеколюбивая bestия, господин Росс,— с кисло-сладкой улыбкой заметил Лоу-старший.— Но надо понимать шутку! Сколько могут запросить за эту бронзу?

— Я рассмотрю ее еще раз, как следует.

— Хорошо. Я ведь не могу этого сделать: если я посмотрю на нее два раза, эти типы почуют недоброе. Они знают меня. Вы меня предупредите?

— Разумеется.

Я уже был почти за дверью, когда Лоу-старший крикнул мне вслед:

— С Силверсом все неправда, да?

— Правда! — бросил я.— Но у меня есть предложение получше — от Розенберга.

Не прошел я и десяти шагов, как меня охватило раскаяние. Не из этических соображений, а из суеверия. В своей жизни я проделал уже немало афер с господом богом, в которого всегда начинал верить лишь в минуту опасности,— подобно тому, как тореадоры перед боем приносят к себе в каморку статуэтку мадонны, украшают ее цветами, молятся, давая обет ставить ей свечи, служить мессы, вести благочестивую жизнь, воздерживаться отныне и во веки веков от выпивки и так далее и тому подобное. Но вот бой закончен, и статуэтка богоматери летит в чемодан вместе с грязным бельем, цветы выбрасываются, обещания забываются, при первом же удобном случае на столе появляется бутылка теквили — и так до очередной корриды, когда все повторяется сначала. Мои аферы с господом богом были в том же духе. Но иногда я поддавался и иному суеверию — чувство это, правда, уже давно не возникало во мне, потому что в основе его лежало не стремление избежать опасности, а скорее боязнь спугнуть ожидание. Я остановился. Из магазина рыболовных принадлежностей на меня смотрели чучела щук, возле которых кольцами была разложена леска «Чтобы не спугнуть ожидание, надо прежде всего чего-то ждать», — подумал я, и мне вдруг стало ясно, что я уступил братьям Лоу свой маленький бизнес тоже из суеверия. Мне хотелось настроить в свою пользу не только бога, который незримо

поднимал сейчас свою сонную главу над крышами домов, но и судьбу, ибо произошло то, во что, казалось, я больше не верил: я снова ожидал чего-то, и это что-то не было материальным, осязаемым — это было теплое чувство, преисполнявшее меня блаженным сознанием того, что я еще не совсем превратился в автомат. Я вспомнил старые, забытые ощущения — сердцебиение, учащенное дыхание; в эту минуту я реально ощутил все эти симптомы, питаемые светом двух жизней — моей собственной и другой, безымянной.

XV

Когда на следующее утро я сообщил Силверсу о предстоящем визите миссис Уимпер, он отнесся к моим словам весьма пренебрежительно.

— Уимпер, что за Уимпер? Когда она придет? В пять? Не знаю, буду ли я дома.

Но мне было точно известно, что этот ленивый крокодил только тем и занимался, что поджидал клиентов, попивая виски.

— Ну, что же,— сказал я,— тогда отложим ее визит, может, потом у вас появится время.

— Ладно, привозите, привозите вашу даму,— снисходительно бросил он.— Лучше сразу покончить с таким пуштыковым делом.

«Вот и прекрасно,— подумал я.— У меня будет возможность рассмотреть как следует бронзовые статуэтки в «Савое» после обеда, когда там не толкуются покупатели, как в обеденный перерыв».

— Вам понравилось, как обставлен дом у Купера? — спросил Силверс.

— Очень. У него, по-видимому, великолепные советчики.

— Так оно и есть. Сам он ничего в этом не понимает.

Я подумал о том, что и Силверс мало в чем разбирается, кроме одной, узкой области живописи — французских импрессионистов. Но даже этим у него не было особых оснований гордиться: картины являлись для него бизнесом, так же как для Купера — оружие и железный лом. При этом у Купера было преимущество перед Силверсом: он владел еще и прекрасной мебелью, тогда как у Силверса не было ничего, кроме мягких диванов, мягких кресел и скучной, стандартной мебели массового производства.

Он будто угадал мои мысли.

— Я тоже мог бы обставить свой дом мебелью конца восемнадцатого века,— сказал он.— Я этого не делаю из-за картин. Весь этот хлам в стиле барокко или рококо только отвлекает. Обломки минувших эпох! Современному человеку это ни к чему.

— У Купера другое дело,— поддакнул я.— Ему незачем продавать картины, поэтому он может позволить себе и хорошую мебель.

Силверс рассмеялся.

— Если бы он действительно стремился к стилевому единству своих интерьеров, ему следовало бы расставить по комнатам пулеметы и легкие орудия. Это было бы уместнее.

В его словах отчетливо проступала неприязнь к Куперу. Он испытывал подобные чувства ко всем своим клиентам. Показное добродушие моментально слетало с него, как слетает с медяшки дешевая позолота. Он считал, что презирает своих клиентов, скорее же всего он им завидовал. Он старался внушить себе, что цинизм сохраняет ему свободу, но это была дешевая свобода, вроде «свободы» клерка, за глаза ругающего своего шефа. Он усвоил привычку многих односторонне образованных людей потешаться над всем, чего не понимал. Однако эта удобная, но сомнительная позиция не очень-то ему помогала, и иногда в нем неожиданно проглядывал просто разнужданный неврастеник. Это и вызывало во мне интерес к Силверсу. Его елейные проповеди можно было выносить, лишь пока они были внове, а потом они нагоняли только скуку — я еле сдерживал зевоту от этих уроков житейской мудрости.

В полдень я отправился на аукцион и попросил показать мне бронзовые статуэтки. Людей в залах было немного, потому что распродажи в тот день не предвиделось. Огромное унылое помещение, набитое мебелью и утварью XVI и XVII веков, казалось погруженным в сон. У стен громоздились новые партии ковров вперемежку с оружием, копьями, старыми саблями и латами. Я размышлял о словах Силверса по поводу Купера, а потом о самом Силверсе. Как Силверс в отношении Купера, так и я в отношении Силверса — мы оба перестали быть беспристрастными, объективными наблюдателями и превратились в пристрастных критиков. Я уже не являлся зрителем, ко всему, в сущности, равнодушным,— во мне клокотали страсти, которых я давно не испытывал. Я снова ощутил себя

включенным в изменчивую игру бытия и уже не был пассивным созерцателем происходящего, стремившимся лишь к тому, чтобы выжить. Незаметно в меня вошло что-то новое, напоминавшее отдаленные раскаты грома и заставившее меня усомниться в моей мнимой безопасности. Все опять заколебалось. Я был снова близок к тому, чтобы принять чью-то сторону, хотя и сознавал, что это неразумно. Это было чувство примитивное, немного напоминавшее враждебность мужчины ко всем остальным представителям этого пола — потенциальным соперникам в борьбе за женщину.

Я стоял у окна в зале аукциона с бронзовой статуэткой в руках. Позади был пустой зал с расставленной в нем пыльной рухлядью, а я с легким волнением смотрел на улицу, где в любую минуту могла появиться Наташа, и чувствовал, как во мне растет неприязнь к Силверсу и я становлюсь вообще несправедлив ко всему роду людскому. Я понимал, что мое волнение связано с Наташей и что мне вдруг снова стало необходимо не просто выжить, а добиться чего-то большего.

Я положил бронзовые статуэтки на место.

— Это подделка,— сказал я принесшему их человеку, старику сторожу с сальными волосами; он жевал резинку, и мое мнение было ему абсолютно безразлично.

Бронза была, без сомнения, старинная, но, несмотря на мое новое внутреннее состояние, у меня хватило присутствия духа, чтобы об этом умолчать. Я медленно шел вверх по улице, пока не оказался напротив ресторана, где мы были с Наташей. Я не зашел туда, но мне почудилось, что подъезд его освещен ярче других, хотя вход в соседний ресторан был рядом с витриной «Баккара», сиявшей граненым стеклом и хрусталем.

Я явился к миссис Уимпер. Она жила на Пятой авеню. Пришел я вовремя, но она вроде бы не очень торопилась. Картин у нее оказалось немного — всего лишь несколько полотен Рюмнея и Рейсдаля.

— Для «Мартини», надеюсь, не рано? — спросила она.

Я увидел, что перед ней стоит бокал с чем-то похожим на водку

— «Мартини» с водкой? — спросил я.

— «Мартини» с водкой? Такого я еще не пила! Это джин и немного вермута.

Я пояснил, что в «Ройбене» научился вместо джина добавлять во все водку.

— Занятно. Надо как-нибудь попробовать.— Миссис Уимпер качнула своими локонами и нажала на кнопку звонка.— Джон,— сказала она вошедшему слуге.— У нас есть водка?

— Да, мадам.

— Тогда приготовьте «Мартини» с водкой для господина Росса. Водку вместо джина.— Она повернулась ко мне.— Французский вермут или итальянский? С маслинами?

— Французский вермут. Но без маслин. Я впервые пил этот коктейль именно так. Но, пожалуйста, не хлопайте из-за меня. Я выпью «Мартини» и с джином.

— Нет, нет! Всегда надо учиться новому, если есть возможность. Приготовьте и мне, Джон. Я тоже хочу попробовать.

Оказывается, старая кукла была не прочь выпить. И теперь я думал лишь о том, чтобы довести ее до Силверса достаточно трезвой. Джон принес стаканы.

— За ваше здоровье! — воскликнула миссис Уимпер и стала жадно пить большими глотками.— Отлично,— объявила она.— Надо ввести это у нас, Джон. Удивительно вкусно!

— Непременно, мадам.

— Кто вам дал рецепт? — спросила она меня.

— Один человек, не желавший, чтобы от него пахло алкоголем. Он не мог себе это позволить и утверждал, что коктейль на водке в этом смысле безопаснее.

— Как забавно! Вы пробовали? Действительно не пахнет? Правда?

— Возможно. Меня это никогда не волновало.

— Нет? А у вас есть кто-нибудь, кого бы это волновало?

Я рассмеялся.

— Все, кого я знаю, изрядно выпивают.

Миссис Уимпер осмотрела меня с головы до ног.

— Это полезно для сердца,— бросила она как бы невзначай — И для головы. Проясняет мозги. Может, выпьем еще по полстаканчика? На дорогу?

— С удовольствием,— сказал я, хотя вовсе не был этому рад, опасаясь, как бы за одним бокалом не последовало много других.

Но, к моему удивлению, осушив свои полстакана, миссис Уимпер встала и позвонила.

— Машина готова, Джон?

— Да, мадам.

— Хорошо. Тогда едем к мистеру Силверсу.

Мы вышли из дома и сели в большой черный «кадиллак». Почему-то я думал, что миссис Уимпер не поедет на своем автомобиле, и силится вспомнить, где тут ближайшая стоянка такси. Вместе с нами из дома вышел и Джон, чтобы везти нас к Силверсу. Я отметил, что мне везет по части автомобилей: сперва «роллс-ройс», а теперь «кадиллак» — и оба с шоферами. Недурно! Мне бросился в глаза небольшой бар — такой же, как в «роллс-ройсе», и я не удивился бы, если б миссис Уимпер извлекла из него еще по бокалу с коктейлем. Но вместо этого она принялась беседовать со мной о Франции и Париже на довольно корявом французском языке с сильным американским акцентом — я сразу перешел на французский, так как это давало мне преимущество, которое могло пригодиться у Силверса.

Я заранее знал, что Силверс отошлет меня, полагаясь на собственное обаяние. Однако миссис Уимпер не сразу меня отпустила. В конце концов я сказал, что хочу приготовить коктейли с водкой. Миссис Уимпер захлопала в ладоши.

Силверс бросил на меня уничтожающий взгляд. Он предпочитал шотландское виски, считая все остальные напитки варварскими. Я объяснил ему, что доктор запретил миссис Уимпер пить шотландское виски, и отправился на кухню. При помощи прислуги я разыскал там, наконец, бутылку водки.

— Вы пьете это после обеда? — спросила сухопарая прислуга.

— Не я. Посетители.

— Какой ужас.

Любопытно, как часто на меня возлагали ответственность за чужие поступки. Я остался у кухонного окна, а к Силверсу послал прислугу с «Мартини» и с виски. Снаружи на подоконнике устроились голуби. Их развелось в Нью-Йорке не меньше, чем в Венеции, они стали совсем ручными, летали и гнездились всюду. Я прижался лбом к прохладному оконному стеклу. «Где-то мне суждено умереть?» — думал я.

Когда кухарка вернулась, я отправился на свой наблюдательный пост в запасник — оказалось, что Силверс уже собственноручно достал оттуда несколько небольших полотен Ренуара. Это было удивительно, потому что обычно он любил продемонстрировать, что держит помощника.

Немного спустя он явился ко мне.

— Вы забыли про свой коктейль. Идите к нам,

Миссис Уимпер уже осушила свой стакан.

— А вот и вы! — воскликнула она. — Вы всегда такой вероломный? Или испугались собственного рецепта «Мартини»? »

Она сидела прямо, как кукла, только руки у нее были не мягкие и изящные, как у куклы, а жесткие и костлявые.

— Что вы думаете об этом Ренуаре? — спросила она.

Это был натюрморт с цветами, помеченный 1880 годом.

— Прекрасная вещь, — сказал я. — Вам будет трудно найти что-нибудь равноценное, если его продадут.

Миссис Уимпер кивнула.

— Выпьем еще немного? В такие дни, как сегодня, меня всегда мучит мигрень. Воспаление тройничного нерва. Ужасно! Доктор говорит, единственное, что может помочь, — это немного алкоголя; спирт как будто расширяет кровеносные сосуды. Чего только не делаешь ради здоровья.

— Я вас понимаю, — сказал я. — У меня тоже несколько лет была невралгия. Это очень болезненно.

Миссис Уимпер бросила на меня теплый взгляд, будто я сделал ей комплимент. Я вернулся на кухню.

— Где водка? — спросил я прислугу.

— Лучше б я ушла в монастырь, — сказала она. — Вот там она стоит, ваша водка! В монастыре, по крайней мере, не соблюдают диету.

— Ошибаетесь. Монахи были первыми, кто ввел строжайшую диету.

— Почему же они такие толстые? »

— Потому что едят не то, что надо.

— Постыдились бы насмеяться над простой несчастной женщиной! Зачем же я училась стряпать, раз никто ничего не ест! Я готовила паштеты в жокей-клубе в Вене, если хотите знать, дорогой мой господин! А здесь готовят одни салаты — без масла, точно капая масла — это цианистый калий! О приличном торте и говорить нечего! Здесь это считается чуть ли не изменой родине.

С двумя бокалами «Мартини» я вышел из кухни. Миссис Уимпер уже ждала меня.

— Слишком много налили, — сказала она и залпом выпила весь стакан. — Итак, до завтра. В пять. Господин Силверс сказал, что вы сами повесите у меня картину.

Мы проводили ее на улицу. По ней никак не было видно, что она много выпила. Я подвел ее к машине. Несмотря на жару, уже чувствовалось приближение вечера. Теп-

ло скапливалось между домами, как густое невидимое желе; сухая листва деревьев шуршала, будто это южные пальмы.

Я вернулся в дом.

— Почему вы сразу не сказали мне, что это — миссис Уимпер? — небрежно заметил Силверс. — Конечно, я отлично знаю ее.

Я остановился.

— Я вам это говорил, — возразил я.

Он махнул рукой.

— Фамилия Уимпер встречается часто. Вы не сказали мне, что речь идет о миссис Андрю Уимпер. Я знаю ее давно. Но теперь это уже неважно.

Я был озадачен.

— Надеюсь, вы не обиделись на меня, — саркастически заметил я.

— С чего бы мне на вас обижаться? — возразил Силверс. — В конце концов она, очевидно, что-нибудь купит. — Силверс махнул рукой, точно хотел прогнать муху. — Но трудно сказать наверняка. Эти старые дамы по десять раз возвращают картины, так что даже рамы не выдерживают и разваливаются. А они так и не покупают. Бизнес вовсе не простая штука, как вы думаете. — Силверс зевнул. — Пора кончать. В жару очень устаешь. До завтра. Унесите оставшиеся картины.

Он ушел, а я стоял и смотрел ему вслед. «Какой мошенник, — думал я. — Он, видно, хочет лишить меня коммиссионных на том основании, что я-де привел к нему не нового, а старого, уже давно известного клиента». Я взял три полотна Ренуара и отнес в запасник.

— «Роллс-ройс»! — воскликнул я, завернув за угол. Машина стояла у тротуара, за рулем сидел шофер. Я был счастлив. Я как раз раздумывал о том, куда бы сводить Наташу сегодня вечером, и ничего не мог придумать. Везде было слишком душно. Решение подсказал «Роллс-ройс». — Авантюры, кажется, следуют за мной, как тень, — сказал я. — Машина у тебя на весь вечер — до закрытия театров?

— Дольше, — сказала Наташа. — До полуночи. В полночь она должна стоять перед рестораном «Эль Марокко».

— Ты тоже?

— Мы оба.

— У миссис Уимпер — «кадиллак», — сказал я. — Может быть, у нее есть и «роллс-ройс». А у тебя что — появился еще один клиент для Силверса?

— Там видно будет. Как закончилось дело с миссис Уимпер?

— Очень мило. Она купила довольно хорошего Ре-нуара — картина вполне в стиле ее кукольного дома.

— Кукольный дом, — повторила Наташа и рассмеялась. — Эта кукла, которая кажется такой беспомощной и глупой, будто может только хлопать глазами и улыбаться, на самом деле является президентом двух компаний. И там она не хлопает глазами, а делом занимается.

— Неужели?

— Ты еще насмотришься чудес, общаясь с американками.

— Зачем мне американки? Ты сама — чудо, Наташа. К моему удивлению, она покраснела до корней волос.

— Я сама — чудо? — пробормотала она. — Наверное, мне надо почаще посылать тебя к таким женщинам, как миссис Уимпер. Ты возвращаешься с удивительными результатами.

Я ухмыльнулся.

— Поедем на Гудзон, — предложила Наташа. — Сначала на пирс, где океанские пароходы, а потом вдоль Гудзона, пока не наткнемся на какую-нибудь уютную харчевню. Меня сегодня тянет в какой-нибудь маленький ресторанчик, к лунному свету и речным пароходам. Собственно, я предпочла бы поехать с тобой в Фонтенбло. Разумеется, когда кончится война. Но там меня, как возлюбленную немца, остригли бы наголо, а тебя без лишних слов поставили бы к стенке. Так что останемся при своем: с котлетами и кока-колой, в этой удивительной стране.

Она прижалась ко мне. Я почувствовал на своем лице ее волосы и ее прохладную кожу. Казалось, ей никогда не было жарко, даже в такие дни.

— Ты был хорошим журналистом? — спросила она.

— Нет, второсортным.

— А теперь больше не можешь писать?

— Для кого? Я недостаточно хорошо владею английским. К тому же я уже давно не могу писать.

— Значит, ты как пианист без рояля?

— Можно и так сказать. Твой неизвестный покровитель оставил тебе что-нибудь выпить?

— Сейчас посмотрим. Ты не любишь говорить о себе?

— Не очень.

— Понимаю. И о твоём теперешнем занятии тоже?

— Агент по продаже произведений искусства и мальчик на побегушках.

Наташа открыла бар.

— Вот видишь, мы как тени,— сказала она.— Странные тени прошлого. Станет ли когда-нибудь по-другому? О, да тут польская водка! Что это ему взбрело в голову? Польши ведь уже не существует.

— Да,— подтвердил я с горечью.— Польши как самостоятельного государства больше не существует. Но польская водка выжила. Прикажешь плакать или смеяться по этому поводу?

— Выпить ее, милый.

Она достала две рюмки и налила. Водка была великолепная и даже очень холодная. Бар, оказывается, был одновременно и холодильником.

— Две тени в «роллс-ройсе»,— заметил я,— пьют охлажденную польскую водку. За твоё здоровье, Наташа!

— Ты мог бы попасть в армию? — спросила она.— Если бы захотел?

— Нет. Никому я не нужен. Здесь я нежелательный иностранец и должен радоваться, что меня не загнали в лагерь для интернированных. Живу на птичьих правах, но так же было со мной и в Европе. Здесь-то рай. Если угодно, призрачный рай, отгороженный от всего, что имеет на этом свете значение, особенно для меня. Если угодно, временный рай, в котором можно перезимовать. Рай поневоле. Ах, Наташа! Поговорим о том, что у нас осталось! О ночи, о звездах, об искре жизни, которая еще теплится в нас, но только не о прошлом. Полюбуйтесь луной! Пассажирские пароходы «люкс» превратились в военные транспорты. А мы стоим за железными перилами, отделяющими этот рай от всемирной истории, и вынуждены беспомощно, бесцельно ждать да почитать в газетах сообщения о победах, потерях и разбомбленных странах, и снова ждать, и снова вставать каждое утро, и пить кофе, и беседовать с Силверсом и миссис Уимпер, в то время как уровень океана пролитой в мире крови каждый день поднимается на сантиметр. Ты права, наша жизнь здесь — это жалкий парад теней.

Мы смотрели на причал. Он был почти пуст, но в зеленом свете сумерек отшвартовывалось несколько судов — серо-стальных, низко сидящих, без огней. Мы снова сели в машину.

— Постепенно улетучиваются мои глупые, старомодные грезы,— произнесла Наташа — И моя сентиментальность. Прости меня, я, наверное, тебе надоела.

— Надоела? Что у тебя за странные мысли? Это ты должна простить меня за пошлости, которые я тебе говорил. Уже по одному этому ясно, что я был плохим журналистом! Смотри, какая прозрачная вода! И полнолуние!

— Куда теперь поедем, мадам? — спросил шофер.

— К мосту Джорджа Вашингтона. Только медленно.

Некоторое время мы молчали. Я упрекал себя за идиотское неумение поддерживать беседу. Я вел себя как тот человек в «Эль Марокко», который горько оплакивал участь Франции, и притом вполне искренне. Но он не понимал, что скорбь в отличие от радости нельзя проявлять на людях, и потому производил смешное впечатление. Я тщетно пытался выбраться из тупика.

Тут вдруг Наташа повернулась ко мне. Глаза ее сияли.

— Как это прекрасно. Река и маленькие буксиры, а там вдали — мост!

Она давно забыла о нашем разговоре. Я уже не раз замечал это: она быстро на все откликается и быстро все забывает. Это было очень кстати для такого слона, как я, — человека, который помнил невзгоды и совсем не помнил радостей.

— Я тебя обожаю! — воскликнул я. — И говорю это здесь, сейчас, под этой луной, у этой реки, впадающей в море, в водах которой отражаются сотни тысяч раздробленных лунных дисков. Я обожаю тебя и даже готов повторить избитую фразу о том, что мост Вашингтона, как диадема, венчает беспокойный Гудзон. Только мне хотелось бы, чтобы он действительно стал диадемой, а я — Рокфеллером, или Наполеоном Четвертым, или на худой конец, главою фирмы «Ван Клеф и Арпельс». По-твоему, это ребячество?

— Почему ребячество? Ты что, всегда стремишься перестраховаться? Или ты в самом деле не знаешь, как нравятся женщинам такое ребячество?

— Я прирожденный трус и каждый раз, прежде чем что-нибудь сказать, должен собраться с духом, — ответил я, целуя ее. — Мне хотелось бы научиться водить машину, — сказал я.

— Можешь начинать хоть сегодня.

— Я за рулем «роллс-ройса». Тогда мы могли бы высадить блюстителя нравственности у ближайшей пивной, а так мне кажется, точно я в Мадриде: вечно в сопровождении дуэньи.

Она засмеялась.

— Разве шофер нам мешает? Он же не знает немецкого и по-французски тоже не понимает ни слова. Кроме «мадам», разумеется.

— Значит, он нам не мешает? — переспросил я.

Она на мгновение умолкла.

— Милый, это же беда большого города,— пробормотала она.— Здесь почти никогда нельзя побыть вдвоем.

— Откуда же тогда здесь берутся дети?

— Одному богу известно!

Я постучал в стекло, отделявшее нас от шофера.

— Вы не остановитесь вон там, у того садика? — переспросил я, протягивая шоферу пятидолларовую бумажку.— Сходите, пожалуйста, куда-нибудь поужинать. А через час приезжайте за нами.

— Да, конечно, сэр.

— Вот видишь! — воскликнула Наташа.

Мы вышли из машины и увидели, как она исчезла в темноте. В тот же миг из открытого окна за сквером раздался грохот музыкального автомата. На сквере валялись бутылки из-под кока-колы, пакеты из-под пива и обертки мороженого.

— Прелести большого города! — бросила Наташа.— А шофер придет только через час!

— Можем погулять вдоль берега.

— Гулять? В этих туфлях?

Я выскочил на середину улицы и замахал руками, как ветряная мельница. В неярком уличном свете я узнал удлинённый радиатор «роллс-ройса»: на Гудзоне таких было немного,— должно быть, это наш шофер повернул назад.

Так оно и оказалось, но теперь он был уже не третьим лишним, а нашим спасителем. Глаза у Наташи блестяли от сдерживаемого смеха.

— Куда дальше? — спросила она.— Где бы нам поесть?

— Жарища везде невыносимая,— сказал шофер.— Разве что в «Блю Риббон»? Прохладно. И тушеная говядина там — высший класс.

— Тушеная говядина? — сказал я.

— Тушеная говядина! — повторил он.— Высший класс!

— Будь я проклят, если в Нью-Йорке стану есть тушеную говядину или кислую капусту,— сказал я Наташе.— Это то же самое что кричать «Хайль Гитлер!». Поехали на Третью авеню. Там много всяких ресторанов.

— В ресторан «Морской царь»? — спросил он. — Хороший ресторан, и воздух там кондиционированный.

— Кислая капуста — блюдо эльзасское, — сказала Наташа, — если уж мы решили точно определить ее национальный статус!

— Эльзас долгое время принадлежал Германии.

— Мы без конца возвращаемся к политике. Хорошо, поедем на Третью авеню. Морские цари пока еще нейтральны.

Я перестал спорить: о, если бы все было так просто! В конце концов я и сам прибыл сюда с потушенными огнями, передвигаясь зигзагами, чтобы избежать встречи с подводными лодками. Что уж тут говорить о нейтралитете, если сам бог перестал быть нейтральным и перед очередным боем переключивается с одного алтаря на другой?

В ресторане «Морской царь» мы увидели Кана. Он был там единственным посетителем, одиноко и отрешенно сидевшим перед блюдом, полным огромных крабовых клешней.

— Человек со множеством хобби, — заметил я. — Он превратил мир в коллекцию разных хобби и благодаря этому неплохо живет.

— Молодец.

— После крабов будете есть еще мороженое? — спросил я Кана.

— Я это проделал однажды. Не скажу, чтобы мне это пошло на пользу. Нельзя следовать всем влечениям сразу.

— Очень мудро.

Мы тяжело опустились на стулья, будто проделали долгий путь. Я решил не водить Наташу в ресторан «Эль Марокко»: мне почему-то не хотелось больше знакомиться с ее друзьями.

XVI

Днем я отправился к Кану. Он пригласил меня отобедать с ним в китайском ресторане. Кан предпочитал китайскую кухню всем остальным. Началось это его увлечение еще в Париже. Но Парижу тут далеко до Нью-Йорка: в Нью-Йорке есть целый китайский квартал.

Мы доехали на автобусе до Мотт-стрит. Ресторан помещался в подвале, куда вели несколько ступенек.

— Удивительное дело, — сказал Кан — В Нью-Йорке почти не встретишь китайца. Либо они сидят по домам,

либо китайцы разрешили проблему внеполового размножения. Китайчат на улице сколько угодно, а женщин совсем не видно. А ведь китайки самые прекрасные женщины на свете

— В романах?

— Нет, в Китае,— сказал Кан.

— Вы там были?

— А как же. Поехал в тридцатом. И пробыл два года.

— Но потом вернулись. Почему?

Кан буквально затрясся от смеха.

— Тоска по родине!

Мы заказали креветки, зажаренные в масле.

— Как поживает Кармен? — спросил я.— С виду она нечто среднее между полинезийкой и очень светлой китайкой В ней есть какая-то трагическая экзотика.

— А между тем она родилась в Померании, в Рюгенвальде. Такие парадоксы иногда бывают. Хорошо, что она еврейка и не надо доискиваться, откуда она такая взялась.

— Выглядит она так, словно ее родина Тимбукту, Гонконг или Папэте

— Однако по своему интеллектуальному уровню она — местечковая еврейка Очаровательная смесь! Я могу представить себе, как вы примерно поступите и что подумаете в той или иной ситуации. Но когда дело касается Кармен, я — пас. Она для меня книга за семью печатями. Я никогда не знаю наперед, ни что она подумает, ни как поступит. Вы ошибаетесь, она вовсе не дитя Йокагамы, Кантона или других экзотических городов — она просто с другой планеты. Спустилась к нам с лунных кратеров, поднялась из первозданных глубин глупости, чистой, святой простоты и чудовищной наивности, о которых мы, простые смертные, давно потеряли представление. Она чиста, как в первый день творения. Словом, законченный образец женщины. Ни к чему не прилагает усилий, не ведает сомнений. Она существует, и слава богу! Может, хотите заказать еще порцию креветок? Сказочная еда!

— Хорошо.

— Глупость — ценнейший дар,— продолжал Кан — Но тот, кто ее утратил, никогда не приобретет вновь Она спасает, как шапка-невидимка. Опасности, перед которыми бессилена любой интеллект, глупость просто не замечает. Когда-то я пытался искусственно поглупеть. Практиковался в глупости и даже преуспел. Иначе мои проделки во

Франции могли бы плохо кончиться. Но все это, конечно, жалкий взрац по сравнению с истинной, бьющей через край глупостью, особенно если она сочетается с такой внешностью, какой могла бы позавидовать сама Дузе...— Кан усмехнулся.— Глупость Кармен — это уже глупость Парсифаля, она почти священна.

Я поперхнулся. Сравнение Кармен с Парсифалем или с Лознгрином было настолько дико — оно просто обезоруживало. Мне нравилось делать несопоставимые сравнения. В Брюсселе я иногда коротал время, придумывая их. Они и сейчас мгновенно приводили меня в хорошее настроение, подобно священному толчку, который, как гласит учение «дзэн», чувствуешь перед просветлением. Неожиданное сравнение всегда выходит за пределы человеческой логики.

— А как вы вообще живете? — спросил я.— Как идут дела?

— Умираю от скуки,— ответил Кан и оглянулся по сторонам.

Кроме официантов, в ресторане не было китайцев. Здоровенные потные бизнесмены неумело орудовали палочками, пиджаки, снятые по случаю жары, висели на спинках стульев, словно призраки. Кан ел палочками с элегантностью второразрядного мандарина.

— Я умираю от скуки,— повторил Кан.— А магазин процветает. Через несколько лет я стану старшим продавцом, еще через несколько — совладельцем. А потом, глядишь, пройдет еще какое-то время, и я смогу приобрести все дело. Заманчивая перспектива. Не правда ли?

— Во Франции она была бы заманчивей.

— Но только перспективой. Безопасность казалась там самой невероятной случайностью, ибо ее не существовало. Однако между перспективой и действительностью — дистанция огромного размера. Иногда это — вообще противоположные понятия. И когда человек оказывается в безопасности, она поворачивается к нему своим истинным лицом — скукой. Знаете, что я думаю на этот счет? Многолетние цыганские скитания испортили нас, мы уже не годимся для буржуазного образа жизни.

— Не ручайтесь за всех,— рассмеялся я.— Большинство еще годится. Многие скоро забудут свое цыганское житье. Представьте себе, что людей, торговавших мукой и кормом для кур, заставили работать на трапеции... Как только им разрешат слезть с трапеции, они тут же вернутся к своей муке и кормам.

Кан покачал головой.

— Далеко не все. Эмигранты куда сильнее отравлены годами скитаний, чем вы думаете.

— Ну, что ж. Значит, они станут несколько отравленными торговцами

— А художники? Писатели? Актеры? Все те, кто не может найти в эмиграции применение своим силам? За это время они стали на десять лет старше. Сколько же им будет, когда они смогут вернуться и приступить к привычному делу?

Я задумался над словами Кана. Что будет со мной?

Миссис Уимпер приготовила к моему приходу «Мартини». На этот раз он был в большом графине. Значит, Джону не придется бегать за каждым коктейлем в отдельности. Мне стало не по себе. По самым скромным подсчетам, в графине было от шести до восьми двойных порций «Мартини».

Стремясь поскорее уйти, я заговорил бойко и деловито:

— Куда мне повесить Ренуара? Я захватил все, что надо,— это не займет и двух минут.

— Сперва давайте подумаем.— Миссис Уимпер, облаченная во все розовое, показала на графин — По вашему рецепту. С водкой. Очень вкусно. Не освежиться ли нам немного? Сегодня такой жаркий день.

— «Мартини», по-моему, чересчур крепок для такой жары

— Не нахожу,— она засмеялась,— и вы, наверное, тоже. По лицу видно.

Я начал озираться по сторонам.

— Может быть, повесить картину здесь? На этой стене, над кушеткой — самое подходящее место.

— Здесь, собственно, уже достаточно картин. Когда вы были последний раз в Париже?

Я покорился своей судьбе. Но после второго бокала все же встал.

— А теперь пора за работу. Надеюсь, вы уже приняли решение?

— Нет, я еще ничего не решила. А как вы считаете?

Я показал на простенок, где стояла кушетка.

— Это место создано для натюрморта с цветами Картипа прекрасно впишется сюда, и освещение здесь очень хорошее

Миссис Уимпер встала и пошла впереди меня — миниатюрная, изящная женщина, с голубовато-серебристыми

волосами. Оглядевшись по сторонам, она направилась в соседнюю комнату. Здесь висел потрет маслом, пол-лица занимал тяжелый, выдававшийся вперед подбородок.

— Мой муж,— сообщила игрушечная миссис Уимпер, проходя мимо портрета.— Умер в тридцать пятом. Инфаркт миокарда. Слишком много работал. У него никогда не было свободного времени, зато теперь времени у него в избытке.— Она мелодично засмеялась.— Американцы работают, чтобы умереть. В Европе это иначе. Да?

— В данное время — нет. Теперь там умирает куда больше мужчин, чем в Америке.

Миссис Уимпер обернулась.

— Вы имеете в виду войну? Не будем ее касаться.

Мы прошли еще через две комнаты, затем поднялись по лестнице. На лестнице висело несколько рисунков Гиса. Я захватил с собой Ренуара и молоток. И прикидывал, куда бы повесить картину.

— Может быть, в моей спальне? — небрежно заметила миссис Уимпер и пошла вперед.

Ее кремовая с золотом спальня была сногшибательна: широкая кровать эпохи Людовика XVI, покрытая парчой, красивые кресла, стулья и черный лакированный комодик эпохи Людовика XV. Комод стоял на бронзовых ножках и был щедро украшен позолотой. На секунду я забыл обо всех своих мрачных предчувствиях и воскликнул:

— Здесь! Только здесь! Над этим комодиком!

Миссис Уимпер молчала. Она глядела на меня затуманенным, почти отсутствующим взглядом.

— Вы тоже так считаете? — спросил я, приложив маленькую картину Ренуара к стене над комодиком.

Миссис Уимпер не отрываясь смотрела на меня, потом она улыбнулась.

— Мне нужен стул,— сказал я.

— Возьмите любой,— ответила она.

— Стул эпохи Людовика Шестнадцатого?

Она опять улыбнулась.

— Отчего же нет?

Я взял один из стульев. Он не был расшатан. Тогда я осторожно влез на него и начал обмерять стену. За моей спиной не слышалось ни звука. Я определил высоту, на какой должна висеть картина, и приставил к стенке гвоздь. Но прежде чем ударить молотком, я оглянулся. Миссис Уимпер стояла в той же позе с сигаретой в руке и со странной улыбкой глядела на меня. Мне стало не по себе, и я постарался как можно быстрее вбить гвоздь.

Гвоздь держался крепко. Я взял картину, которую прежде положил на комодик, и повесил ее. Потом слез со стула и отставил его в сторону. Миссис Уимпер продолжала неподвижно стоять. И все так же не сводила с меня глаз.

— Нравится? — спросил я, собирая инструменты.

Она кивнула и пошла впереди меня к лестнице. Вздыхнув с облегчением, я двинулся следом за ней. Миссис Уимпер вернулась в первую комнату и подняла графин.

— За Ренуара, за мою удачу!

— С удовольствием,— согласился я, решив, что после второго бокала «за удачу» улизну, сославшись на похороны.

Но мне не пришлось прибегать к этой лжи. Странная неловкость, которая возникла между нами, не проходила. Миссис Уимпер смотрела на меня невидящими глазами. Она слегка улыбалась, и трудно было понять, что означала ее улыбка — насмешку или еще что-то. Правда, я, как старый мазохист, решил, что она потешается надо мной.

— Я еще не выписала чека,— сказала она,— приходите как-нибудь на днях. И тогда вы его получите.

— Спасибо. Предварительно я позвоню.

— Можете прийти без звонка. Часов в пять я всегда дома. Спасите за рецепт коктейля с водкой.

Смущенный, я вышел на жаркую улицу. У меня было такое впечатление, что меня ловко одурачили. Притом одурачил человек, который, как мне казалось, сам находился в несколько смешном положении. Надо полагать, что и в следующий раз со мной произойдет то же самое, хотя я не был в этом стопроцентно уверен. Могло случиться другое, только мне не хотелось убедиться в этом на собственном опыте. Во всяком случае, на данном этапе опасность миновала. Силверс наверняка пожелает сам получить чек. Он ни в коем случае не станет раскрывать мне свои карты.

— Ты без машины? — спросил я Наташу.

— Без машины, без шофера, без водки и без сил. Жарища невыносимая. В этой гостинице давно следовало установить кондиционер.

— Владелец нипочем не согласится.

— Конечно. Бандит!

— У меня есть лед — можно приготовить «Русскую тройку», — сказал я. — И имбирное пиво, и лимонный сок, и водка.

Наташа поглядела на меня с нежностью.

— Неужели ты все купил?

— Да Между прочим, я уже выпил два «Мартини».

Наташа засмеялась.

— У миссис Уимпер?

— Да. Откуда ты знаешь?

— Она этим славится.

— Чем? Своими коктейлями?

— И коктейлями тоже.

— Старая перечница. Удивительно еще, что все прошло так гладко.

— Она уже заплатила?

— Нет. А почему ты спрашиваешь? Считаешь, она берет картину? — спросил я, не на шутку встревоженный.

— Этого я не считаю.

— У нее так много денег, что она может покупать, не задумываясь?

— И это тоже. Кроме того, она любит молодых мужчин.

— Что?

— Ты ей понравился.

— Наташа, — сказал я, — ты это серьезно? Неужели ты хочешь свести меня с этой старой пьянчужгой?

Наташа расхохоталась.

— Послушай, — сказала она, — дай мне выпить.

— Не дам ни капли. Сперва ответь.

— Она тебе понравилась?

Я глядел на Наташу во все глаза.

— Ну так вот! — сказала она. — Миссис Уимпер любит молодых мужчин. И ты ей понравился. Пригласила она тебя на один из своих званых вечеров?

— Пока еще нет. Предложила зайти за чеком, — сказал я мрачно. — Но, может, я еще удостоюсь и этой чести.

— Обязательно! — Наташа наблюдала за мной. — Тогда она пригласит и меня тоже.

— Ты уверена? Видно, ты уже не раз бывала в подобных ситуациях и знаешь все наперед? Она должна была сразу броситься мне на шею, так, что ли?

— Нет, — сухо ответила Наташа. — Дай мне рюмку водки.

— А почему не «Мартини» с водкой?

— Потому что я не пью «Мартини». Еще вопросы есть?

— Очень много. Я не привык, чтобы мною торговали, и я не сутенер.

Я не увидел, как она плеснула водкой, — просто почувствовал, что водка течет у меня по лицу и капает с подбор-

родка. Она вцепилась в бутылку — на ее побелевшем лице глаза казались огромными. Но я оказался проворнее, вырвал бутылку и, проверив, плотно ли вставлена пробка, швырнул ее на кушетку, подальше от Наташи. Она тут же кинулась за бутылкой. Но я схватил Наташу и толкнул в угол; я крепко держал обе ее руки и свободной рукой рванул на ней платье.

— Не смей дотрагиваться до меня,— прошипела она.

— Я не только дотронусь до тебя, чертовка! Возьму силой, здесь, сию же минуту, ты у меня...

Она плюнула мне в лицо и пнула меня.

Я сжал коленями ее ноги. Она попыталась вырваться, но поскользнулась и упала. Я опять толкнул ее к дивану.

— Пусти меня. Ты взбесился,— зашептала она неожиданно высоким незнакомым голосом.— Пусти, я буду кричать.

— Ори сколько влезет,— захрипел я.— Все равно я проучу тебя, проклятая ведьма!..

— Сюда идут люди! Разве ты не видишь? Сюда идут люди! Пусти меня, негодяй, скотина... Пусти меня!..

Она лежала на диване, выгнувшись всем телом, чтобы я не мог подмять ее под себя. Я чувствовал, как напряжены ее мускулы; ноги ее были тесно и крепко прижаты к моим ногам, словно не я обхватил их, а она обхватила меня... И я заметил, что под юбкой у нее ничего нет. С силой я придавил ее к дивану... Теперь лицо ее было рядом с моим, и она не сводила с меня беспокойных глаз.

— Пусти меня! — шептала она.— Не здесь, только не здесь, здесь, пусти меня, не здесь, только не здесь.

— А где же, дрянь паршивая?..— Я скрипел зубами от злости.— Убери руку, не то я сломаю ее. Я тебя здесь...

— Не здесь, не здесь,— шептала она тем же высоким, незнакомым голосом.

— Где же еще...

— У тебя в номере, не здесь, у тебя в номере.

— Чтобы ты удрала, а потом издевалась надо мной

— Я не удеру, я не удеру. Клянусь не удеру. Дорогой мой, дорогой...

— Что? — спросил я.

— Пусти меня. Клянусь, я не удеру. Только пусти меня. Сюда идут люди.

Я отпустил ее. И встал. Я ожидал, что она оттолкнет меня и пустится бежать. Но она не побежала, оправилась на себе юбку, выпрямилась.

Я привел себя в порядок. Она встала. Я не спускал с нее глаз: теперь она могла пройти мимо меня, но я мог еще удержать ее.

— Пошли,— сказала она.

— Куда?

— К тебе в номер.

Я шел сперва сзади, потом обогнал ее; торопливо и почему-то осторожно поднялся по скрипучей лестнице, устланной серой дорожкой, мимо таблички со словом «Думай!» к своему номеру на втором этаже. И остановился перед дверью.

— Ты можешь уйти, если хочешь,— сказал я.

Она отодвинула меня и плечом толкнула дверь.

— Пошли! — сказала она.

Я вошел за ней следом и захлопнул дверь. Но не запер ее на ключ. Я вдруг почувствовал, что наступила реакция, и прислонился к стене. У меня было такое ощущение, точно я стою в лифте, который стремительно падает вниз, а меня в это время тащат вверх. В глазах у меня потемнело, как будто кто-то влил мне в череп целое ведро воды; вода булькала, и, чтобы не упасть, я крепко уперся обеими руками в стену.

Потом я увидел Наташу, она лежала в постели.

— Почему ты не идешь ко мне? — спросила она.

— Не могу.

— Что?

— Не могу.

— Не можешь?

— Да,— сказал я.— Проклятая лестница.

— При чем тут лестница?

— Не знаю.

— Что?

— Не могу, вот и все. Прогони меня, если хочешь.

— Из твоей собственной комнаты?

— Тогда смейся надо мной, сколько влезет.

— Почему я должна смеяться?

— Не знаю. Я слышал, что когда с женщиной такое случается, над ней смеются.

— Со мной этого еще не бывало.

— Тем более ты должна смеяться.

— Не хочу,— сказала Наташа.

— Почему ты не уходишь?

— Ты хочешь, чтобы я ушла?

— Нет.

До сих пор она лежала неподвижно, а теперь приподнялась на локте, подперла голову и поглядела на меня.

— Я чувствую себя очень погано,— сказал я.

— А я нет,— сказала она.— Как ты думаешь, чем все это объясняется?

— Не знаю. Меня доконало слово «дорогой».

— А я считаю, во всем виновата лестница.

— И она тоже. А потом еще то, что ты вдруг решила стать моей.

— Лучше, чтобы я этого не решала?

Я беспомощно взглянул на нее.

— Не спрашивай. На меня повлияло все вместе.

Это был странный диалог: ни она, ни я даже не попытались приблизиться друг к другу, голоса наши звучали монотонно и невыразительно.

— В номере есть ванная? — спросила она.

— Нет. Только в коридоре. Четвертая дверь.

Она медленно встала, провела рукой по волосам и пошла к двери. Поравнявшись со мной, она погладила меня, глядя куда-то прямо перед собой. Однако, почувствовав ее прикосновение, я оторвался от стены и обнял ее. Она попыталась высвободиться. Ее тело сквозь одежду было такое молодое и теплое. И такое гибкое, будто я держал в руках форель... В ту же секунду все снова стало, как раньше. Я крепко обнимал ее.

— Ты ведь меня вовсе не хочешь,— прошептала она, отвернувшись.

Я поднял ее и понес к кровати. Она оказалась тяжелей, чем я думал.

— Я хочу тебя,— сказал я глухо.— Хочу тебя, только тебя, одну тебя, хочу тебя больше всего на свете, хочу проникнуть в тебя, слиться с тобой, хочу проникнуть в тебя!

Ее лицо было совсем рядом, я видел ее глаза, нестерпимо блестящие, остановившиеся.

— Тогда возьми меня! — пробормотала она сквозь зубы и не закрыла глаз.

..Голос ее становился все тише, она залепетала бессвязные, невнятные слова, потом перешла на шепот и совсем замолкла.

И вдруг она потянулась, проговорила что-то, закрыла глаза и тут же снова их открыла.

— Пошел дождь? — спросила она.

Я расхохотался.

— Нет еще. Может, пойдет ночью.

— Стало прохладней. Где у тебя ванная?

— Четвертая дверь по коридору

— Можно я надену твой купальный халат?

Я дал ей халат. Она сняла с себя все, кроме туфель. Раздевалась она медленно, не глядя на меня. И не казалась смущенной. Она была вовсе не такая худая, как я предполагал. Уже раньше я чувствовал это, а теперь увидел своими глазами.

— Ты красивая! — сказал я.

Она подняла голову.

— Не слишком толстая?

— Помилуй бог. Нет.

— Хорошо, — сказала она. — В таком случае наше будущее рисуется мне в розовом свете. Я люблю поесть. И всю жизнь голодаю. Из-за того, что работаю манекенщицей, — добавила она. — Только поэтому.

— Сегодня мы поедим вволю. Закажем все закуски подряд и шикарный десерт.

— Я слежу за собой, чтоб не стать бочкой. Иначе меня вышвырнут на улицу. Так что можешь не беспокоиться.

— А я и не беспокоюсь, Наташа.

Взяв мое мыло и свою сумочку, она шуточно отдала мне честь и вышла. Я лежал и ни о чем не думал. Мне тоже казалось, будто полил дождь. Правда, я знал, что дождя не было, тем не менее я подошел к окну и выглянул наружу. Окно выходило на задний двор; из глубины каменного колодца поднималась духота и вонь от мусорных ящиков. «Только в нашей комнате стало свежей», — подумал я. Пошел назад к кровати, снова улегся и устремил взгляд на лампочку без абажура, свисавшую с потолка. Через некоторое время вернулась Наташа.

— Я перепутала комнату, — сказала она. — Думала, что твоя дверь следующая.

— Там кто-нибудь был?

— Никого. Темно. Разве здесь не запирают комнаты?

— Многие не запирают. Вору в них нечем поживиться.

От Наташи пахло мылом и одеколоном. Где она взяла одеколон? Для меня это было загадкой. Может, он лежал у нее в сумочке? А может, кто-нибудь оставил одеколон в ванной, и она им воспользовалась.

— Миссис Уимпер, — сказала она, — любит молодых мужчин, но дальше этого дело не идет. Она с удовольствием беседует с ними. Вот и все. Запомни это раз и навсегда.

— Хорошо,— сказал я, хотя Наташа не вполне меня убедила.

В голый комнате ярко горела лампа. Наташа расчесывала волосы щеткой перед жалким зеркальцем над раковиной.

— Муж ее умер от сифилиса. Не исключено, что миссис Уимпер тоже больна,— добавила она.

— Кроме того, у нее рак и потеют ноги, а летом она моется исключительно «Мартини» с водкой,— сказал я ей в тон.

Она засмеялась.

— Не веришь? Да и с чего бы ты вдруг мне поверил? Я встал.

— Как ты отнесешься к такому признанию: стоит мне до тебя дотронуться, и я уже не владею собой? — спросил я.

— Так было далеко не всегда,— сказала она.

— Зато теперь это так.

Она прильнула ко мне.

— Я убила бы тебя, если б это было иначе,— пробормотала она.

Я снял с нее купальный халат и бросил его на пол.

— Ты самая длинноногая женщина из всех, каких я знаю,— сказал я и выключил свет. В темноте я видел только ее светлую кожу и черные провалы рта и глаз.

Мы лежали, тесно прижавшись друг к другу, и чувствовали, как в темноте на нас надвигается темная волна, чувствовали, как она перекатывается через нас. Мы еще долго лежали так, не дыша, и другие, гораздо менее грозные волны подымались и опадали в нас.

Наташа шевельнулась.

— У тебя есть сигареты?

— Да.— Я дал ей сигарету и поглядел на нее при свете спички. Лицо у нее было спокойное и невинное.— Хочешь чего-нибудь выпить? — спросил я.

Она кивнула. Я заметил это в темноте по движению горячей сигареты.

— Только не водки.

— У меня нет холодильника, поэтому все теплое. Хочешь, я принесу снизу?

— Разве это не может сделать кто-нибудь другой?

— Внизу никого нет, кроме Меликова.

В темноте я услышал ее смех.

— Он все равно нас увидит, когда мы спустимся,— сказала она.

Я не ответил. Мне еще надо было привыкнуть к этой мысли. Наташа поцеловала меня.

— Включи свет,— сказала она.— Мы поощрим привитые тебе правила приличия. К тому же я проголодалась. Давай пойдем в «Морской царь».

— Опять туда? Неужели тебе не хочется пойти в какое-нибудь другое заведение?

— Ты уже получил коммиссионные за миссис Уимпер?

— Нет еще.

— Тогда пойдем в «Морской царь».

Наташа вскочила с постели и щелкнула выключателем. Потом она прошлась нагишом по комнате и подняла курьезный халат

Я встал и оделся. Потом снова сел на постель и стал ждать ее возвращения.

XVII

— А я ведь благодетель рода человеческого,— заявил Силверс. Закурив сигару, он благосклонно оглядывал меня.

Мы готовились к визиту миллионера Фреда Лэски. На сей раз мы не собирались вешать картину в спальне и выдавать ее за личную собственность госпожи Силверс, с которой она ни за что не расстанется, покада супруг не пообещает ей норковую шубку и два туалета от Майнбохера В конце концов она все же рассталась с любимыми полотнами, а норковой шубки не было и в помине. Впрочем, ничего удивительного: на дворе стояло лето! На этот раз речь шла о том, чтобы сделать из миллионера-плебея светского человека.

— Война—это плуг,— поучал меня Силверс,— она вспахивает землю и перераспределяет состояния. Старые исчезают, на их месте появляется бесчисленное множество новых.

— У спекулянтов, у торгашей, у поставщиков. Короче говоря, у тех, кто наживается на войне,— заметил я.

— Не только у поставщиков оружия,— продолжал Силверс как ни в чем не бывало.— Но также у поставщиков обмундирования, поставщиков продовольствия, судов, автомобилей и тому подобного. На войне зарабатывают все, кому не лень.

— Все, кроме солдат!

— О солдатах я не говорю.

Силверс отложил сигару и взглянул на часы.

— Он придет через пятнадцать минут. Сперва вы принесете две картины, а я спрошу вас насчет Сислея. Тогда вы притащите картину Сислея, поставите ее лицом к стене и шепнете мне на ухо несколько слов. Я притворюсь, будто не понял, и раздраженно спрошу, в чем дело. Вы скажете громче, что этот Сислей отложен для господина Рокфеллера. Понятно?

— Понятно,— ответил я.

Через пятнадцать минут явился Лэски с супругой.

Все шло как по маслу. Картина Сислея — пейзаж — была внесена в комнату. Я шепнул Силверсу несколько слов на ухо, и в ответ он сердито приказал мне говорить громче — какие, дескать, тут могут быть тайны.

— Что? — спросил он потом изумленно. — Разве Сислей, а не Моне? Ошибаетесь. Я же велел отложить картину Моне.

— Извините, господин Силверс, но боюсь, что ошибаетесь вы. Я все точно записал. Взгляните... — Я вынул записную книжку в клеенчатом переплете и протянул ее Силверсу.

— Вы правы,— сказал Силверс.— Ничего не поделаешь. Раз отложено, значит, отложено.

Я поглядел на господина Лэски. Это был тщедушный бледный человечек в синем костюме и коричневых ботинках. Он зачесывал на лысину длинные пряди волос сбоку, и казалось, что они буквально приклеены к его черепу. В противоположность мужу, супруга господина Лэски отличалась могучим телосложением. Она была на голову выше и в два раза толще его. И вся обвешана сапфирами. Впечатление было такое, что она вот-вот его проглотит.

На секунду я остановился в нерешительности, держа картину так, что часть ее была видна присутствующим И госпожа Лэски клюнула.

— Посмотреть ведь никому не возбраняется? — проквакала она своим хриплым голосом. — Или это тоже невозможно?

Силверс мгновенно преобразился.

— Ну что вы! Ради бога простите, многоуважаемая госпожа Лэски! Господин Росс, почему вы не показываете нам картину? — сказал он недовольным тоном, обращаясь ко мне по-французски и, как всегда, ужасающе коверкая слова. — *Allez vite, vite!*¹

Я притворился смущенным и поставил картину на один из мольбертов. После чего скрылся у себя в каморке. Она

¹ Давайте скорее, скорее! (фр)

напоминала мне Брюссель. Я сидел и читал монографию о Делакура, время от времени прислушиваясь к разговору в соседней комнате. В госпоже Лэски я не сомневался. Она производила впечатление человека, который вечно живет под угрозой нападения и, не желая быть страдательным лицом, неизменно выступает в роли агрессора. По-видимому, эта дама находилась в непрестанной борьбе с собственными представлениями о высшем свете Бостона и Филадельфии, а ей хотелось быть принятой в свете, хотелось добиться признания, чтобы в дальнейшем с язвительной усмешкой взирать на новичков.

Я захлопнул книгу и достал маленький натюрморт Мане: пион в стакане воды. Мысленно я вернулся в Брюссель — к тому времени, когда мне вручили электрический фонарик, чтобы я мог читать по ночам в своем убежище. Мне разрешали пользоваться фонариком только в запаснике, где не было окон, да и то лишь ночью. В запаснике многие месяцы стояла кромешная тьма. Долгое время я видел только блекло-серый ночной свет, когда покидал мое убежище и, подобно привидению, бесшумно бродил по залам музея. Но благодаря фонарику, который мне наконец доверили, я вернулся из призрачного царства теней в царство красок.

После этого я уже не вылезал ночью из своего тайника, освещенного теплым светом. Я заново наслаждался многокрасочностью мира, словно человек, чудом излечившийся от дальтонизма, или животное, которое из-за строения глаз воспринимает только различные оттенки серого. Я вспомнил, что с трудом удержался от слез, когда увидел первую цветную репродукцию акварели Сезанна с изображенной на ней вершиной Сент-Виктуар. Оригинал висел в одном из залов музея, и я не раз любовался им в обманчивой полутьме лунной ночи.

Судя по всему, люди в соседней комнате собрались ухаживать. Я осторожно поставил крохотный картон Мане, эту частичку его прекрасного мира, на деревянный стеллаж у стены. Жаркий день, отступивший, казалось, перед каплей росы на белом пионе и перед прозрачной водой стакана, написанными художником, вновь проник в мою каморку сквозь узкое и высокое окно. И вдруг во мне горячим ключом забила радость. На секунду все смешалось в моем сознании — день вчерашний с днем сегодняшним, брюссельский запасник с каморкой Силверса. Потом осталось лишь окрыляющее чувство, чувство благодарности за то, что я еще жив, за то, что я существую. Несчетные

обязанности, обступающие человека со всех сторон, в мгновение ока рухнули, подобно стенам Иерихона, рухнувшим от громогласных труб богом избранного народа; я обрел свободу, дикую соколиную свободу, от которой у меня захватило дух, ибо передо мной открылись ветер, солнце и гонимые ветром облака, открылась совсем иная, неведомая доселе жизнь.

Ко мне вошел Силверс, окутанный ароматом своей сигары.

— А вы не хотите закурить «Партагос»? — спросил он возбужденно.

Я отказался. Когда человек должен мне деньги, подобная щедрость вызывает у меня подозрение. Как-то раз один тип решил, что рассчитался со мной, подарив мне сигару. От Силверса я ждал комиссионных за миссис Уимпер. В ее доме моя «невинность» подверглась опасности, и теперь, выражаясь языком сутенера, я хотел получить за это хоть что-то. Вечером я намеревался пойти с Наташей ужинать в ресторан с кондиционированным воздухом — теперь был мой черед вести ее в ресторан. С Силверсом надо было держать ухо востро: дабы умерить мои притязания, он уже успел соврать, что миссис Уимпер — его старая знакомая. Я не удивился бы, если бы он объявил, что в мое жалованье входят и комиссионные за миссис Уимпер: ведь даже весьма почтенные фирмы автоматически присваивают себе права на патенты работающих у них изобретателей, в лучшем случае выплачивая тем лишь какую-то часть прибылей.

— Семейство Лэски клюнуло на Сислея, — сказал благодетель рода человеческого. — Как и было задумано! Я заявил им, что Рокфеллер просил подождать неделю, но он наверняка пропустит срок. Он, конечно, не думает, что я могу продать картину на следующий же день после истечения срока. Госпожа Лэски была просто вне себя от радости — шутка ли, вырвать картину из-под носа у самого Рокфеллера.

— Элементарные трюки, — заметил я небрежно. — Больше всего меня удивляет, кто на них попадается.

— Почему?

— Да потому, что попадаются-то на них бессовестные разбойники, разбогатевшие отнюдь не в результате филантропической деятельности.

— Все очень просто. Эти пираты наверняка поиздевались бы над нами всласть, попадись мы им в руки. Но искусство — не их стихия, здесь они чувствуют себя в не-

котором роде как акулы в подслащенной водиче. Для них это — непривычное дело. И ведут они себя соответственно. Чем хитроумней они в своей обычной среде, тем быстрее попадают на наши самые простые уловки. Прибавим сюда влияние жен.

— Мне надо к фотографу,— сказала Наташа.— Пойдем вместе. Я задержусь ненадолго.

— На сколько?

— Час или немного больше. Почему ты спрашиваешь? Тебе там скучно?

— Совсе нет. Просто я хотел выяснить, когда пойдем ужинать: до фотографа или потом?

— Потом. Тогда у нас будет сколько угодно времени. А то мне уже через полчаса надо быть на месте. И вообще, разве это так важно. Ты уже получил комиссионные за миссис Уимпер?

— Нет еще. Зато получил десять долларов от братьев Лоу за совет. Они купили китайскую бронзу всего за двадцать долларов. И теперь я горю желанием прокутить с тобой эти деньги.

Наташа нежно взглянула на меня.

— Мы их обязательно прокутим. Сегодня вечером.

У фотографа было прохладно — закрытые окна и кондиционер. И у меня возникло впечатление, что я сижу в подводной лодке. Остальная публика, по всей видимости, ничего не замечала; мои ощущения объяснялись тем, что я был здесь новичком.

— В августе будет еще жарче,— сказал Никки мне в утешение и взмахнул рукой с цепочкой на запястье.

Включили софиты. Кроме Наташи в ателье была еще брюнетка-манекенщица, которую я видел в прошлый раз.

И тот бледный чернявый специалист по лионским шелкам. Он меня узнал.

— Война подходит к концу,— сказал он меланхолично и устало.— Еще год, и мы о ней забудем.

— Вы в это верите?

— У меня есть сведения оттуда.

— Вот как?

В нереальном белом свете софитов, разъединяющем людей и делающем более четкими все контуры и пропорции, мне вдруг поверилось в это наивное пророчество — может, и впрямь этот человек знает больше, чем все остальные. Я глубоко вздохнул. Да, я понимал, что Германия на-

ходится в тяжелом положении, но все равно не мог поверить в смерть. О смерти люди говорят и знают, что она неизбежна, но никто в нее не верит, поскольку она лежит за пределами понятий о жизни и обусловлена самой жизнью. Смерть нельзя постичь.

«В самом деле! — заверил меня мой бледный собеседник. — Вот увидите! В будущем году мы опять сможем импортировать лионский шелк.

Меня охватило странное волнение — тот безвременный вакуум, в котором жили мы, эмигранты, внезапно утратил свою непреложность. Даже нелепое упоминание о лионском шелке не мешало этому ощущению. Часы затикали снова, колокола зазвонили, остановившаяся кинолента опять начала крутиться; она крутилась все быстрее и быстрее, вперед и назад, в сумасшедшей непоследовательности, словно брошенная с размаху шпулька. Читая сообщения в газетах, я ни разу всерьез не поверил, что война когда-нибудь кончится. Но даже если бы я предположил на секунду, что это может произойти, то и тогда ждал бы неизбежного наступления чего-то иного, гораздо более страшного. Для меня это был привычный образ мыслей. А сейчас передо мной сидел бледный человечек, для которого конец войны означал, что в Америку опять начнется ввоз лионского шелка! Только и всего. Эта идиотская фраза убедила меня в возможности окончания войны куда больше, чем убедили бы два фельдмаршала и один президент в придачу. Лионский шелк — услада жизни — мог больше не бояться войны.

Наконец появилась Наташа. Она была в облегающем белом вечернем платье с открытыми плечами, в длинных белых перчатках, с диадемой императрицы Евгении от «Ван Клеефа и Арпельса». Меня словно ударило в сердце. Мне вспомнилась предыдущая ночь, а сейчас передо мной стояла эта женщина, так непохожая на вчерашнюю Наташу, ярко освещенная, почти нереальная, женщина с мрачно-холодными плечами в искусственном холоде ателье. Даже эта диадема, сверкавшая в Наташиных волосах, казалась неким символом — она вполне могла бы венчать статую Свободы в Нью-Йоркской гавани.

— Лионский шелк! — заметил бледный человек рядом со мной — Наш последний рулон!

— Неужели?

Я не сводил глаз с Наташи. С сосредоточенным видом она молча стояла в белом свете софитов. И мне казалось, что передо мной — очень хрупкая, прелестная копия ги-

гантской статуи, которая освещает своим факелом бушующие волны Атлантики, бесстрашная женщина, правда, не совсем такая, как ее могучий прототип — некий гибрид Брунгильды и разбитной французской торговки, — а женщина, скорее похожая на вышедшую из девственных лесов Диану, воинственную и непобедимую. Но и эта Диана была опасна. Опасна и готова драться за свою свободу.

— Как вам понравился «роллс-ройс»? — спросил кто-то, опускаясь на стул рядом со мной.

Я оглянулся.

— Это ваш «роллс-ройс»?

Незнакомец кивнул. Он был высокого роста, темноволосяй и моложе, чем я предполагал.

— Фрезер, — представился он. — Наташа хотела привести вас ко мне еще несколько дней назад.

— Я был занят, — сказал я. — Большое спасибо за приглашение.

— Сегодня наверстаем упущенное, — сказал он. — Я уже говорил с Наташей. Отправимся к «Лухову». Вы знаете этот ресторан?

— Нет, — сказал я удивленно. А я-то рассчитывал пойти с Наташей в «Морской царь». Мне так хотелось побыть с нею наедине. Но я не знал, как выйти из положения. Не мог же я сказать «нет», не оказавшись в дураках, если Наташа согласилась. Правда, я был не совсем уверен, что она дала согласие. Однако кто мог поручиться, что Наташа не захочет продемонстрировать мне свой вариант миссис Уимпер, — так сказать, «мистера Уимпера». Конечно, я бы скорее удавился, чем вступил бы в сговор с этим господином. Пусть он раздобудет себе второго Силверса!

— Ну хорошо. Стало быть, до скорого свидания.

Фрезер, по-видимому, привык, чтобы ему повиновались. Мне не хотелось принимать приглашение от него и Наташи. И он, хоть и не подал виду, понял это, что было ясно по его тону, вежливому, но не терпящему возражений.

Мы встретились с Наташей в ту минуту, когда она закрыла свой чемоданчик.

— Ты наденешь диадему? — спросил я.

— До такой степени я не пользуюсь их доверием. Диадему уже вернули. Служащий «Ван Клеефа» отвозит ее обратно.

— А мы, значит, идем в «Лухов»?

— Да, ты ведь так пожелал.

— Я? — переспросил я.— Мне хотелось промотать свои десять долларов вместе с тобой в «Морском царе». Но ты приняла приглашение от владельца «роллс-ройса».

— Я? Он подошел ко мне и сказал, что договорился с тобой.

Наташа засмеялась.

— Ну и жулик!

Я смотрел ей прямо в глаза. И не знал, можно ей верить или нет. Если она говорила правду, то я попался на удочку глупейшим образом, что было мне, ученику Силверса, совершенно непростительно. Но я никак не мог предположить, что Фрезер пойдет на такой трюк; это не вязалось с его обликом.

— Раз так, поехали,— сказала Наташа.— Твои десять долларов мы прокутим завтра.

«Роллс-ройс» поджидал нас на другой стороне улицы у магазина скобяных изделий. Я сел в него с весьма противоречивыми чувствами, которые злили меня своей детскостью. Фрезер перешел с нами через улицу. После прохлады ателье невыносимая духота вечера почти оглушила нас.

— На будущий год велю встроить в машину кондиционер,— сказал Фрезер.— Кондиционеры для автомобилей уже изобретены, но их пока не производят. Война ведь продолжается.

— Летом будущего года она кончится,— сказал я.

— Вы в этом уверены? — спросил Фрезер.— В таком случае вы осведомлены лучше, чем Эйзенхауэр. Рюмку водки? — Он открыл хорошо знакомый мне бар.

— Покорнейше благодарю,— ответил я.— Но сейчас слишком жарко для водки.

К счастью, до ресторана «Лухов» было недалеко. Я уже приготовился гореть на медленном огне по милости Наташи и Фрезера, от которого ждал теперь самого худшего. К моему величайшему изумлению, «Лухов» оказался немецким рестораном. Вначале я решил, что мы просто по ошибке снова попали в немецкий квартал. Но потом даже не удивился — этот «роллс-ройс» приносил мне несчастье.

— Как вы относитесь к жаркому из оленины с брусникой? — спросил Фрезер.— И к картофельным оладьям?

— Разве в Штатах есть брусника?

— Да Похожая ягода. Но здесь еще осталась моченая брусника из Германии. У вас на родине ее называют «прайсельберен», что значит прайсельская ягода. Правильно? — спросил Фрезер очень любезно, но не без ехидства.

— Возможно, — ответил я. — Я давно не был на родине. За это время многое изменилось. Не исключено, что бру-
снику теперь называют по-другому, если слова «прайсель-
ская ягода» показались кому-нибудь недостаточно арий-
скими.

— Прайсельская? Ну что вы! Это звучит почти как прусская.

Фрезер захохотал.

— Что мы будем пить, Джек? — спросила Наташа.

— Что хочешь. Может, господин Росс пожелает выпить кружку пива? Или рейнвейна? Здесь еще сохранились за-
пасы рейнвейна.

— От пива не откажусь. Оно больше соответствует здешнему духу, — сказал я.

Пока Фрезер совещался с официантом, я огляделся вокруг. Этот ресторан представлял собой нечто среднее между баварской пивнушкой в псевдонародном стиле и рейнским винным погребком. Кроме того, он слегка смахивал на «Хауз Фатерланд»¹. В зале негде было яблоку упасть. Оркестр исполнял танцевальную музыку вперемежку с народными песнями. Я догадался, что Фрезер выбрал этот ресторан неспроста. Медленный огонь, на котором я должен был гореть, он зажег, так сказать, на эмигрантском топливе. Чтобы хоть как-то сохранить свое лицо, я был вынужден по пустякам защищать ненавистное мне отечество от нападок этого американца. Исключительная низость! Довольно хитроумным способом меня делали сопричастным преступлению расы господ. «Так изничтожают только соперников!» — подумал я.

— Не взять ли нам на закуску селедку по-домашнему? — осведомился Фрезер. — Здесь она на редкость вкусная. И не запить ли нам эту селедку глотком настоящего немецкого штейнхегера, который пока еще подают в «Луковке»?

— Гениальная идея! — согласился я. — Но, к сожалению, врач запретил мне эти деликатесы.

Как и следовало ожидать, Наташа немедленно нанесла мне удар с фланга, заказав селедку со свеклой. Истинно немецкое блюдо!

Оркестр играл самые приторно-сладкие и самые идиотские рейнские песенки, какие я когда-либо слышал. В ре-

¹ «Хауз Фатерланд» — фешенебельный берлинский ресторан в веймарской Германии.

стороне царила типичная туристско-провинциальная атмосфера, и меня особенно удивляло то, что часть посетителей принимала ее всерьез и считала высокопоэтичной. Я просто поражался невзыскательности американцев.

Вино настроило меня на более миролюбивый лад, и я принялся с легким сарказмом восхищаться Фрезером. Он в свою очередь спросил, не нуждаюсь ли я в помощи. И, разыгрывая из себя эдакого скромненького бога-отца из Вашингтона, который охотно уберет с моего пути любые препятствия, стоит мне только слово сказать, подбросил еще дров в медленно горевший эмигрантский костер. Но и я не остался в долгу: пропел восторженную оду Америке, заявив, что дела у меня в полном порядке и что я сердечно благодарю его за заботу. Чувствовал я себя при этом довольно паршиво, хотя и не придавал значения пристальному интересу Фрезера к моим документам, особенно потому, что не знал, действительно ли он пользуется влиянием или просто напускает на себя важность.

Жаркое из оленины оказалось превосходным, равно как и картофельные оладьи. Я догадался, почему в ресторане негде яблоку упасть. Очевидно, в Нью-Йорке это было единственное заведение подобного рода.

Я ненавидел себя за то, что у меня не хватало чувства юмора, чтобы насладиться создавшейся ситуацией. Наташа, казалось, ничего не замечала. Теперь она потребовала пудинг с фруктовым сиропом. Я бы не удивился, если бы она предложила пойти после ужина в кафе «Гинденбург» выпить чашку кофе с пирожными. Не исключено, что она рассердилась на меня,— ведь, по ее версии, она попала в это неловкое положение из-за моей тупости. Одно было ясно: с Фрезером Наташа проводила вечер не в первый раз, и он сделал все от него зависящее, чтобы показать мне это. Ясно было также, что я провожу с ним вечер в последний раз. Меня вовсе не устраивало, чтобы американцы попрекали меня своими благодеяниями. Я не желал благодарить каждого американца в отдельности за то, что мне позволено жить в Америке. Я был благодарен властям, но никак не этому Фрезеру, который и пальцем не шевельнул ради меня.

— Не закончить ли нам вечер в «Эль Марокко»?

Только этого не хватало! Я и так уже слишком долго чувствовал себя эмигрантом, которого терпеть поневоле. От Наташи я ожидал всего — она вполне могла согласиться. Наташа любила ходить в «Эль Марокко». Но она отказалась.

— Я устала, Джек,— сказала она.— Сегодня у меня был трудный день. Отвези меня домой.

Мы вышли на улицу, в духоту.

— Может, пойдем пешком? — предложил я Наташе.

— Но ведь я вас довезу,— сказал Фрезер.

Именно этого я и опасался. Он хотел высадить меня у дома, а потом уговорить Наташу поехать с ним дальше. В «Эль Марокко» или к нему. Кто знает? И какое мне, в сущности, до этого дело? Разве у меня были какие-нибудь права на Наташу? Что это вообще такое — «права»? А если что-нибудь в этом роде и существует, то, может, права были скорей у Фрезера? Может, я просто оккупант? И к тому же оккупант, который разыгрывает из себя обиженного?

— Вы тоже поедете? — спросил Фрезер не слишком дружелюбно.

— Я живу недалеко Могу дойти пешком.

— Глупости,— возразила Наташа — Идти пешком в такую духотищу! Довези нас до моего дома, Джек. Оттуда ему два шага.

— Хорошо.

Мы сели в машину. Джек мог еще попытаться высадить меня первым, но у него хватило ума предположить, что Наташа взбунтуется. Перед Наташиным домом он вышел из «роллс-ройса» и попрощался с нами.

— Очень приятный вечер! Повторим нашу вылазку как-нибудь еще.

— Большое спасибо. С удовольствием.

«Ни за что!» — поклялся я мысленно, наблюдая за тем, как Фрезер целует Наташу в щеку.

— Спокойной ночи, Джек,— сказала она.— Мне очень жаль, что я не могу пойти с тобою, но я слишком устала.

— В другой раз. Спокойной ночи, darling.

Это был его прощальный выпад. «Darling»,— думал я. В Штатах это слово ничего не значит и значит очень многое. Так называли телефонисток, которых и в глаза не видели, и так называли женщин, которых любили больше жизни. «Darling»... на сей раз Фрезер заложил мину замедленного действия.

Мы с Наташей стояли друг против друга. И я знал, что если не сдержусь сейчас, все будет кончено.

— Очень милый человек,— сказал я.— Ты на самом деле так устала, Наташа?

Она кивнула.

— На самом деле. Было очень скучно, и Фрезер — омерзительный тип.

— Не нахожу. С его стороны было просто очаровательно повести нас в немецкий ресторан ради меня. Таких чутких людей не часто встретишь.

Наташа взглянула на меня.

— Darling, — сказала она, и это словечко пронзило меня, как острая зубная боль. — Не старайся быть джентльменом. Джентльмены удивительно часто наводили на меня скуку.

— Сегодня вечером тоже?

— Сегодня вечером тоже. Не понимаю, о чем ты думал, когда принимал это дурацкое приглашение.

— Я?

— Да, ты! Попробуй скажи, что виновата я.

Я уже собирался сказать это. Но тут, к счастью, вспомнил об уроке, который дал мне отец в день моего семнадцатилетия.

«Ты, — сказал он, — вступаешь в эпоху женщин. Запомни поэтому: только безнадежные кретины хотят доказать свою правоту женщине и вызывают к ее логике».

— Виноват я! — пробормотал я в бешенстве. — Если можешь, прости меня за то, что я свалял дурака.

Наташа подозрительно оглядела меня.

— Ты действительно думаешь, что свалял дурака? Или это очередной подвох?

— И то и другое, Наташа.

— И то и другое?

— А как же иначе. Я совершенно сбит с толку, превратился в полного идиота. Ведь я боготворю тебя.

— Этого я как-то не заметила.

— И не надо. Мужчина, который боготворит женщину у всех на виду, напоминает слюнявого дога. А мое состояние выражается в растерянности, в беспричинных вспышках ненависти и в явной тупости. Ты делаешь из меня черт знает что! И притом все время.

Выражение ее лица изменилось.

— Бедняжка! — сказала она. — И я не могу даже взять тебя наверх. Моя соседка грохнется в обморок. А очнувшись, начнет подслушивать под дверью. Нет, это невозможно.

Я бы отдал все на свете, чтобы пойти с Наташей. Тем не менее я вдруг воспрянул духом от того, что это невозможно. Стало быть, и для других это тоже невозможно. Я обнял ее за плечи.

— Ведь у нас с тобой еще много времени впереди,— сказала она.— Бесконечно много времени. Завтра, послезавтра, недели, месяцы... И все же нам кажется, что из-за этого одного, не совсем удавшегося вечера вся жизнь пропала.

— Я все еще вижу у тебя в волосах диадему от «Ван Клеефа». Я хотел сказать, опять вижу. У «Лухова» я ее уже почти не видел. Видел вместо нее фальшивый жестяной обруч девятнадцатого века.

Наташа рассмеялась.

— В ресторане ты меня терпеть не мог. Правда?

— Да.

— И я тебя тоже. Не будем повторять такие хождения. Мы ведь еще пока на грани ненависти.

— А разве от этого можно уйти?

— Слава богу, нет. Не то жизнь превратилась бы в сплошную патоку.

Я подумал, что в этом мире явно не хватает сладкого. Но ничего не сказал. Вечно меня тянет к дешевым обобщениям. Проклятый характер!

— Мед лучше патоки,— сказал я вслух.— Ты пахнешь медом. И сегодня ты являлась в разных ипостасях. Не забывай, что я в модах профан. И принимаю их пока всерьез, верю в них. Даже когда ты надеваешь диадему, взятую напрокат.

Она потянула меня в подъезд.

— Поцелуй меня,— пробормотала она.— И люби меня. Мне нужно, чтобы меня очень любили. А теперь — убирайся! Уходи! Или я сорву с себя платье!

— Сорви! Нас никто не видит.

Она вытолкнула меня на улицу.

— Иди! Ты сам во всем виноват! Иди!

Она захлопнула дверь. Ночь была душная и влажная, и я медленно побрел к станции метро. Из метро на меня пахло спертым горячим воздухом, словно из подземелья, где тлела куча угля. Станция была плохо освещена. Поезд выскочил из темноты и с лязгом остановился. Вагон был почти пустой. Только в углу сидела пожилая женщина и наискосок от нее — мужчина. Я сел в другом конце вагона. И мы помчались под землей чужого города.

Это было в одно из тех мгновений, когда имена, которые люди присваивают вещам, слетают с них, подобно шелухе, и когда вещи эти внезапно предстают перед человеком без пелены иллюзий, как нечто до ужаса враждебное,

отчужденное по самой своей изначальной сути Все связано на этой земле распались. И имена потеряли смысл. Остался лишь мир, полный угрозы, мир, лишенный имени и потому таивший в себе безымянные опасности, которые подстерегали тебя на каждом шагу. Опасности эти не обрушивались на человека сразу, не хватали его за горло, — не валили с ног — нет, они были куда ужасней, ибо они подкрадывались беззвучно, незаметно.

Я взглянул в окно — мимо меня проносилась эта чужая тьма, заглядывавшая в окна тускло освещенного поезда, в котором еще сохранилась капля человечности, правда, уже совсем чуждой, призрачной, как полет летучей мыши: очертания лиц, кивок головы, частичка тепла, прикосновение плеч — язычок пламени из иного, безымянного мира, походивший на вольтову дугу и создававший впечатление моста, перекинутого через бездну. Но лишь впечатление — в действительности уже ничто не могло преодолеть хаос безграничной отчужденности и безнадежного одиночества. Не безобидного сентиментального одиночества, но одиночества абсолютного, в котором человек — это задуваемая ветром искра жизни — первая и последняя.

XVIII

Кан попросил меня сопровождать его.

— Речь идет о разбойничьем нападении, — сказал Кан, — на человека по имени Гирш. Надо вступить за доктора Грефенгейма.

— Это тот Гирш, который облапошил Грефенгейма?

— Вот именно! — ответил Кан грозно.

— Тот Гирш, который утверждает, что никогда в жизни не получал ничего от Грефенгейма. А разве у Грефенгейма есть хотя бы клочок бумаги, обличающий Гирша?

— Все верно. Поэтому я и называю наш поход разбойничьим. Если бы у Грефенгейма была в руках хоть какая-нибудь расписка, на худой конец даже письмо, мы обратились бы к адвокату. Но у него в руках — воздух, в кармане — ни гроша и — золотая голова. Тем не менее он больше не может сдавать свои экзамены из-за отсутствия денег. Как-то раз он написал Гиршу и не получил ответа. До этого он сам заходил к нему. Гирш незамедлительно, хотя и вежливо, выпроводил его и пригрозил, что если Грефенгейм явится снова, он привлечет его к ответственности за шантаж. Он решил, что его вышлют. Все это я знаю от Бетти.

— Вы посвятили Грeфенгейма в свой план?

Кан обнажил зубы в усмешке

— Как бы не так! — сказал он, засмеявшись.— Грeфенгейм ляжет костьюми у дверей Гирша, чтобы не допустить нас к нему. Все тот же извечный страх!

— А Гирш знает, что мы к нему придем?

Кан кивнул.

— Я подготовил его. Два телефонных звонка.

— Он вышвырнет нас вон. Или велит сказать, что его нет дома.

Кан опять обнажил зубы. Это была его манера улыбаться, но когда он так улыбался, я предпочитал не иметь его среди своих врагов. Да и походка у Кана изменилась. Он шел сейчас быстрее, шаги стали шире, морщины на лице разгладились. Я подумал, что так он, наверное, выглядел во Франции.

— Нет, Гирш будет дома!

— Со своим поверенным, чтобы привлечь нас за шантаж.

— Не думаю,— сказал Кан и вдруг остановился.— Стервятник живет здесь. Недурно, не правда ли?

Это был дом на Пятьдесят четвертой улице. Красные ковровые дорожки, по стенам гравюры на металле, лифтер в причудливой ливрее. Наконец, сам лифт, обшитый деревянными панелями, с зеркалом. Благосостояние средней руки.

— На пятнадцатый этаж! — сказал Кан.— К Гиршу!

Мы взлетели наверх.

— Не думаю, что он позвал адвоката,— произнес Кан.— Я пригрозил ему, сказав, что располагаю новыми материалами. И поскольку Гирш жулик, он захочет увидеть их без свидетелей. А поскольку он еще не стал американским гражданином, в нем сидит старый добрый страх. Так что он предпочтет узнать сперва, в чем дело, и только потом доверится адвокату.

Кан позвонил. Дверь открыла горничная и провела нас в комнату, обставленную позолоченной мебелью под Людовика XV.

— Господин Гирш сейчас придет.

Гирш был круглый, среднего роста господин, лет пятидесяти. Вместе с ним в этот позолоченный рай вбежала немецкая овчарка. Увидев овчарку, Кан осклабился.

— Последний раз я видел эту породу в гестапо, господин Гирш,— сказал он.— Там их держат для охоты на людей.

— Спокойно, Гарро! — Гирш потрепал собаку по спине. — Вы хотели поговорить со мной. Но не предупредили, что явитесь не один. У меня очень мало времени.

— Познакомьтесь с господином Россом. Я вас не задержу, господин Гирш. Мы пришли к вам по делу доктора Грефенгейма, он болен, у него нет денег, и ему придется прекратить свои занятия в университете. Вы с ним знакомы, не правда ли?

Гирш не ответил, он продолжал похлопывать по спине собаку, которая тихонько рычала.

— Значит, вы с ним знакомы, — сказал Кан. — Не знаю только, знакомы ли вы со мной. Кан — распространенная фамилия, точно так же, как и Гирш. Я — Кан по прозвищу Кан-Гестапо. Возможно, вы обо мне уже слышали. Во Франции я довольно долго дурачил гестапо. В этой игре далеко не все приемы были благородными. Разумеется, с обеих сторон. Я не очень церемонился с ними. Этим я хочу сказать, что немецкая овчарка в качестве стража рассмешила бы меня. Она меня и сейчас смешит. Прежде чем ваш пес дотронется до меня, господин Гирш, он издохнет. Не исключено, что и вы последуете за ним, что, впрочем, не входит в мои расчеты. Цель нашего визита — сбор денег в пользу доктора Грефенгейма. Полагаю, вы мне поможете в этом деле? Сколько денег вы дадите для доктора Грефенгейма!

Гирш не сводил глаз с Кана.

— Почему я должен давать деньги?

— На это есть много причин. Одна из них — сострадание.

Довольно долгое время Гирш, казалось, что-то жевал. При этом он по-прежнему не сводил глаз с Кана. Наконец он вытащил из кармана пиджака коричневый бумажник крокодиловой кожи, открыл его и, помуслив палец, достал из бокового отделения две бумажки.

— Вот вам двадцать долларов. Больше дать не могу. Ко мне приходит слишком много народа по тому же поводу. Если все эмигранты пожертвуют вам столько же, вы без труда соберете плату за учение доктора Грефенгейма.

Я думал, Кан швырнет эти деньги в Гирша. Но он взял бумажки и сунул их в карман.

— Прекрасно, господин Гирш, — сказал он, — с вас причитается еще девятьсот восемьдесят долларов. При самой скромной жизни, отказавшись от курева и питья, Грефенгейм не обойдется меньшей суммой.

— Вы изволите шутить. У меня нет времени, чтобы...

— У вас есть время, чтобы выслушать меня, господин Гирш. И не рассказывайте, пожалуйста, что в соседней комнате у вас сидит адвокат. Он там не сидит. А теперь я хочу рассказать одну историю, которая вас наверняка заинтересует. Вы еще пока не американский гражданин, но надеетесь им стать в будущем году. Поэтому для вас нежелательны всякого рода неприятные пересуды. Соединенные Штаты на этот счет довольно щепетильны. И вот я и мой друг Росс — известный журналист — решили предостеречь вас от ложного шага.

— Вы не возражаете, если я извещу полицию? — спросил Гирш, который, по всей видимости, принял решение.

— Ни в малейшей степени. Заодно мы передадим им свои материалы.

— Материалы! Шантаж в Америке карается довольно строго. Убирайтесь.

Кан уселся на один из позолоченных стульев.

— Вы думаете, Гирш, — сказал он совсем другим тоном, — что вы поступили очень умно. Но это не так. Вам следовало вернуть деньги Грефенгейму. У меня в кармане лежит заявление на имя иммиграционных властей с просьбой не давать вам американского гражданства. Подписанное сотней эмигрантов. Есть у меня и другое заявление и также с просьбой не давать вам подданства из-за ваших махинаций с гестапо в Германии. Это заявление подписано шестью эмигрантами и содержит подробное объяснение того, почему вы сумели вывезти из Германии больше денег, чем другие, названа также фамилия нациста, который переправил вас в Швейцарию. Кроме того, у меня есть вырезка из лионской газеты, где рассказывается о еврее Гирше, который на допросе в гестапо выдал местопребывание двух беженцев, в результате чего они были расстреляны. Не стоит возражать, господин Гирш. Возможно, это были не вы, но я все равно буду утверждать, что это вы.

— Что?

— Да. Я засвидетельствую, что это были вы. Здесь все знают о моей борьбе во Франции. И мне поверят скорее, чем вам.

Гирш как загипнотизированный смотрел на Кана.

— Вы хотите дать ложные показания?

— Ложные только в примитивном толковании права! Я придерживаюсь другого принципа: око за око, зуб за зуб. Библейского принципа, Гирш. Вы загубили Грефен-

гейма, мы загубим вас. И тут уж неважно, что ложь и что правда. Я ведь вам уже сказал, что, живя под властью нацистов, кое-чему научился.

— Полиция в Америке...

— Про полицию в Америке мы тоже проходили,— прервал его Кан,— и знаем неплохо. Нам она не нужна. Чтобы разделаться с вами, хватит тех бумаг, которые лежат у меня в кармане. Тюрьма вовсе не обязательна. Достаточно, если мы отправим вас в лагерь для интернированных.

Гирш поднял руку.

— Ну, это уже не в вашей компетенции, господин Кан. Тут нужны другие доказательства, более веские, чем ваши бумажки.

— Вы уверены? — спросил Кан. — В военное-то время? Для человека, родившегося в Германии и к тому же эмигранта? Ничего страшного ведь не случится, вас посадят всего-навсего в лагерь для интернированных. А это весьма гуманное заведение. Чтобы туда попасть, особых причин не требуется. Представим себе даже, что вам удастся избежать лагеря... Что же будет с вашим подданством? Любые сомнения, любые сплетни могут сыграть здесь решающую роль.

Гирш вцепился в собачий ошейник.

— Ну, а что будет с вами? — спросил он тихо. — Что будет с вами, если все обнаружится? Что станет с вами? Шантаж, лжесвидетельство...

— Я знаю точно, что за это следует,— сказал Кан. — Но мне это безразлично. Мне на это наплевать. Наплевать на все то, что так важно вам, жуликам, которые мечтают устроить свое будущее. Мне все едино. Впрочем, это выше вашего разумения. Вы ведь жалкий червь. Я уже во Франции на всем поставил крест. Иначе я бы не мог делать то, что делал. Потому что мне чуждо абстрактное человеколюбие. Просто мне все безразлично. И если вы что-нибудь предпримете против меня, я не побегу к судье, Гирш. Я сам вас прикончу. Мне это не впервой. Вам не понять, до чего доводит человека отчаяние, истинное отчаяние. И как дешева человеческая жизнь в наши дни. — Лицо Кана исказила гримаса отвращения. — Не знаю, зачем все это нужно. Я не собираюсь вас разорять. Вы заплатите всего лишь малую толику того, что присвоили. Вот и все.

Мне снова показалось, что Гирш беззвучно жует что-то.

— Я не держу дома денег,— выдавил он из себя наконец.

— Тогда дайте чек

Внезапно Гирш отпустил овчарку.

— Гарро, куш! — крикнул он, открывая дверь.

Собака убежала. Гирш закрыл за ней дверь.

— Наконец-то! — сказал Кан.

— Я не дам вам чека,— заявил Гирш — Вы ведь понимаете почему.

Я смотрел на него с интересом. Сначала я не думал, что он так быстро уступит. Наверное, Кан был прав. Всепоглощающий страх в сочетании с конкретным чувством вины лишил Гирша уверенности в себе. Кроме того, он быстро соображал и так же быстро действовал. Если только не собирался выкинуть какой-нибудь фортель.

— Завтра я приду к вам опять,— сказал Кан.

— А как же бумаги?

— Уничтожу их завтра на ваших глазах.

— Я дам деньги только в обмен на бумаги.

Кан покачал головой.

— Чтобы вы узнали имена тех, кто готов свидетельствовать против вас? Исключено!

— Какая у меня гарантия, что вы уничтожите именно те бумаги?

— Я даю слово,— сказал Кан.— Моего слова достаточно.

Гирш снова беззвучно пожевал что-то.

— Хорошо,— сказал он вполголоса.

— Завтра в то же самое время! — Кан поднялся с золоченного стула.

Гирш кивнул. И вдруг весь покрылся потом.

— У меня болен сын,— прошептал он,— единственный сын! А вы... Как не стыдно! — сказал он внезапно.— Я в отчаянии. А вы!..

— Надеюсь, ваш сын поправится,— ответил Кан спокойно.— Доктор Грефенгейм наверняка назовет вам лучшего здешнего врача

Гирш не ответил. Лицо его одновременно выражало и злобу и боль. Злоба застыла у него в глазах, и он горбился сейчас сильнее, чем вначале. Но я уже не раз убеждался, что боль из-за утраты денег бывает не менее сильной, чем любая другая боль. Не исключено также, что Гирш видел таинственную связь между страданиями сына и его, Гирша, подлостью в отношении Грефенгейма. Не по-

тому ли он так быстро уступил? И не возросла ли его злость из-за невозможности сопротивляться? Как ни странно, мне было его почти жаль.

— Я совсем не уверен, что сын его действительно болен.

— Думаю все же, что это так.

Кан взглянул на меня с усмешкой.

— Не уверен даже, что у него вообще есть сын, — сказал он.

Мы вышли на улицу: было жарко и влажно, как в парильне.

— Вы считаете, что с Гиршем завтра будет немного возни?

— Думаю, нет. Он боится, что не получит американского гражданства.

— Зачем вы, собственно, взяли меня? Я ведь вам скорее мешал. При свидетелях Гиршу приходилось держаться осторожнее. Без меня вам, наверное, было бы легче.

Кан засмеялся.

— Но не намного. Зато мне очень помогла ваша внешность.

— Почему?

— Да потому, что вы выглядите так, как представляют себе арийцев колченогие и чернявые фюреры в Германии. Евреи типа Гирша не принимают своего брата всерьез. Но ежели ты явился с эдакой «белокурой бестией», они ведут себя совсем иначе. Полагаю, вы здорово напугали Гирша.

Я вспомнил, что не так давно мне волей-неволей пришлось защищать Германию от Фрезера. Теперь меня использовали как средство устрашения, как нациста... Я не такой уж мастер находить во всем смешную сторону и в данном случае ничего смешного не увидел. Я чувствовал себя так, словно меня облили помоями.

Но Кан ничего не замечал. Пружинящей походкой он шел сквозь неподвижный эной этого невыносимо душного дня; шел, подобно охотнику, который обнаружил дичь.

— Наконец хоть какой-то просвет в этой скуке. Надоело все до чертиков! Я не привык быть в безопасности. В этом смысле я человек безнадежно испорченный.

— Почему вы не запишетесь добровольцем? — спросил я сухо.

— Записался. Но вы ведь знаете, что нас почти не берут на войну, мы — «нежелательные иностранцы». Прочтите, что написано в вашем удостоверении.

— У меня его нет. Я еще на ступеньку ниже вас. И все же вы — другое дело. Уверен, что в Вашингтоне известно о вашей деятельности во Франции.

— Известно. И потому мне еще меньше доверяют, опасаются двойной игры. Тот, кто совершал такие дерзкие поступки, мог обладать удивительного рода связями. Такова логика официальных учреждений. Я не удивлюсь, если меня посадят за решетку. Наша эпоха — эпоха кривых зеркал, где все выглядит нелепым. — Кан засмеялся. — К сожалению, это интересно только писателям, но не нам, простым смертным.

— Вы действительно собрали подписи эмигрантов против Гирша?

— Конечно, нет. Поэтому я и запросил всего тысячу долларов, а не всю сумму. Пускай Гирш считает, что он еще легко отделался.

— По-вашему, он считает, что совершил выгодный бизнес?

— Да, бедный мой Росс, — сказал Кан сочувственно, — так устроен мир.

— Мне хочется поехать в какое-нибудь тихое местечко, — сказал я Наташе. — За город или к озеру, где не будешь обливаться потом.

— У меня нет машины. Позвонить Фрезеру?

— Ни в коем случае.

— Совсем не обязательно брать его с собой. Мы просто одолжим у него машину.

— Все равно не надо. Лучше поедem в метро или на автобусе.

— Куда?

— Вот именно, куда? В этом городе летом, по-моему, вдвое больше жителей, чем обычно.

— И повсюду — жара невыносимая. Бедный мой Росс! С досады я обернулся. Сегодня меня уже второй раз называли «бедным Россом».

— Нельзя ли поехать в «Клойстерс», где выставлены ковры с единорогами? Я их никогда в жизни не видел. А ты?

— И я не видела. Но музеи по вечерам закрыты. Для эмигрантов тоже.

— Иногда мне все же надоедает быть эмигрантом,— сказал я, еще более раздосадованный.— Сегодня я, к примеру, весь день был эмигрантом Сперва с Силверсом, потом с Каном. Как ты относишься к тому, чтобы побыть просто людьми?

— Когда человеку не надо заботиться ни о своем питании, ни о крове, он перестает быть просто человеком, дорогой мой Руссо и Торо. Даже любовь ведет к катастрофам.

— В том случае, если ее воспринимают иначе, чем мы.

— А как мы ее воспринимаем?

— В общем плане. А не в частном.

— Боже правый! — сказала Наташа.

— Воспринимаем, как море. В целом. А не как отдельную волну. Ведь ты сама так думаешь? Или нет?

— Я? — В голосе Наташи слышалось удивление.

— Да, ты. Со всеми твоими многочисленными друзьями.

Наступила краткая пауза. Потом она сказала:

— Как по-твоему, рюмка водки меня не убьет?

— Не убьет. Даже в этой душной дыре.

Злясь без причины, я попросил у Меликова — сегодня дежурил он — бутылку водки и две рюмки.

— Водку? В такую жару? — удивился Меликов — Будет гроза. Парит ужасно. Хоть бы у нас установили какое-то подобие кондиционера. Эти проклятые вентиляторы только мешают воздуху.

Я вернулся к Наташе.

— Прежде чем мы начнем с тобой ссориться, Наташа,— сказал я,— подумаем, куда нам пойти. Ссориться лучше в прохладе, а не в такой духоте. Я отказываюсь от загородной прогулки и от озера. И на сей раз я при деньгах. Силверс вручил мне комиссионные.

— Сколько?

— Двести пятьдесят долларов.

— Вот скряга. Пятьсот было бы в самый раз.

— Ерунда! Он объяснил, что, в сущности, ничего мне не должен. Он уже якобы давно знаком с миссис Уимпер. Вот что меня разозлило. А не сумма. Сумма показалась мне вполне приемлемой. Но я ненавижу, когда мне делают подарки.

Наташа поставила рюмку.

— Ты всегда это ненавидел? — спросила она.

— Не знаю,— сказал я с удивлением.— Наверное, нет. Почему ты спрашиваешь?

Она внимательно взглянула на меня.

— Мне показалось, что несколько недель назад это было тебе безразлично.

— Думаешь? Может быть. У меня нет чувства юмора. Наверняка все дело в этом.

— Чувства юмора у тебя хватает с избытком. Впрочем, сегодня оно тебе, возможно, изменило.

— Кто в силах сохранить чувство юмора при такой жарнице?

— Фрезер,— тут же ответила Наташа.— В любую погоду юмор бьет в нем ключом, даже в зной.

Множество мыслей разом пронеслось у меня в голове, но я не сказал того, что хотел сказать. Вместо этого я спокойно заметил:

— Он мне очень понравился. Да, ты права, юмор бьет в нем ключом. В тот вечер он был очень занимательным собеседником.

— Дай мне еще полрюмки,— сказала Наташа, смеясь и поглядывая на меня.

Я молча налил ей полрюмки.

Она встала, погладила меня и спросила:

— Куда же ты предлагаешь идти?

— Я не могу затащить тебя к себе в номер, здесь слишком много народа.

— Затащи меня в какой-нибудь прохладный ресторан.

— Хорошо. Но не к рыбам в «Морской царь». В маленький французский ресторанчик на Третьей авеню. В бистро.

— Там дорого?

— Не для человека, у которого в кармане двести пятьдесят долларов. Каким бы путем они ему ни достались.— в подарок или не в подарок.

Глаза у Наташи стали ласковые.

— Правильно, darling,— сказала она.— К черту мораль!

Я кивнул. У меня было такое чувство, словно я едва избежал множества разных опасностей.

Когда мы выходили из ресторана, уже сверкали молнии. Порывы ветра вздымали пыль и клочки бумаги.

— Началось! — сказал я.— Надо поскорее поймать такси!

— Зачем? В такси воняет потом. Давай лучше пойдем пешком.

— Хлынет дождь. А ты без плаща и без зонтика. Будет ливень.

— Тем лучше. Сегодня вечером я как раз собиралась мыть голову.

— Ты промокнешь до нитки, Наташа.

— На мне нейлоновое платье. Его и гладить не придется. В ресторане было даже чересчур прохладно. Пойдем! А в случае чего спрячемся в каком-нибудь подъезде. Ну и ветер! Прямо сбивает с ног. И будоражит кровь!

Мы жались поближе к стенам домов. Молнии сверкали теперь над небоскребами непрерывно: казалось, они возникают в густой сети труб и кабелей под землей. А потом поила дождь; большие темные капли падали на асфальт; сперва мы увидели дождь, а уже потом ощутили его.

Наташа подставила лицо под дождь. Рот у нее был приоткрыт, глаза зажмурены.

— Держи меня крепко! — крикнула она.

Ветер усилился, за секунду улица опустела. Только в подъездах жались люди, да время от времени кто-нибудь, согнувшись, быстро пробежал вдоль домов, влажно заблестевших под серебристой пеленой дождя. Дождь барабанил по асфальту, и улица превратилась в темную, бурлящую неглубокую реку, в которую градом сыпались прозрачные копы и стрелы.

— О боже! — воскликнула вдруг Наташа. — Ты же в новом костюме.

— Поздно заметила, — сказал я.

— Я думала только о себе. А на мне ничего такого нет. — Наташа подняла платье почти до бедер, мелькнули короткие белые трусики. Чулок на ней не было, а в ее белые лаковые босоножки на высоких каблуках ручьями лилась вода — Ты — совсем другое дело. Что будет с твоим новым костюмом? Ведь за него даже не все деньги внесены.

— Слишком поздно, — повторил я. — Кроме того, я его высушу и выглажу. Кстати, деньги за него уже все внесены. И мы можем и впредь неумеренно восторгаться разбушевавшимися стихиями! К черту костюм! Давай выкупаемся в фонтане перед отелем «Плаза».

Наташа засмеялась и втокнула меня в подъезд

— Спасем хотя бы подкладку и конский волос. Их ведь не выгладишь. Да и ливень не такая уж невидаль, не то что новый костюм. А восторгаться можно также под крышей в парадном. Смотри, как сверкает! Стало совсем холодно. Какой ветер!

«Наташа умеет быть практичной и в то же время легкомысленной», — думал я, целуя ее теплое маленькое личико. Мы оказались между витринами двух магазинов: в одном были выставлены корсеты для пожилых полных дам, другая была витриной зоомагазина. На полках от самого низа до верха стояли подсвеченные аквариумы с зеленоватой, как бы шелковистой водой, в которой плавали яркие рыбки. Когда-то я сам разводил рыбок и узнал теперь некоторые породы. Удивительное чувство: как будто передо мной в мерцающем свете возникло собственное детство; казалось, оно беззвучно появилось из какого-то другого нездешнего и все же знакомого мне мира, окруженное зигзагами молний, но недоступное им; там все осталось таким, как было; словно добрый волшебник не дал вещам ни состариться, ни разрушиться, ни запачкаться в крови.

Я держал Наташу в объятиях, ощущал теплоту ее тела, и в то же время какая-то часть моего «я» была далеко-далеко; там, в этом далеке, «я» склонилось над заброшенным фонтаном, который уже давно не бил, и слушало о прошлом, очень далеком и потому особенно пленительном. Дни у ручья в лесу, у маленького озера, над которым повисли трепещущие стрекозы, вечера в садах, густо заросших сиренью, — все это стремительно и беззвучно проносилось перед моим взором, будто в немом кино.

— Что ты скажешь, если у меня будет такой зад? — спросила Наташа.

Я обернулся. Она разглядывала витрину с корсетами. На черный манекен, каким обычно пользуются портники, был напялен панцирь, который был бы в пору даже Валькирии.

— У тебя прелестный зад, — сказал я. — И тебе никогда не придется надевать корсет. Хотя ты и не такая тощая жирафа, как большинство нынешних девиц.

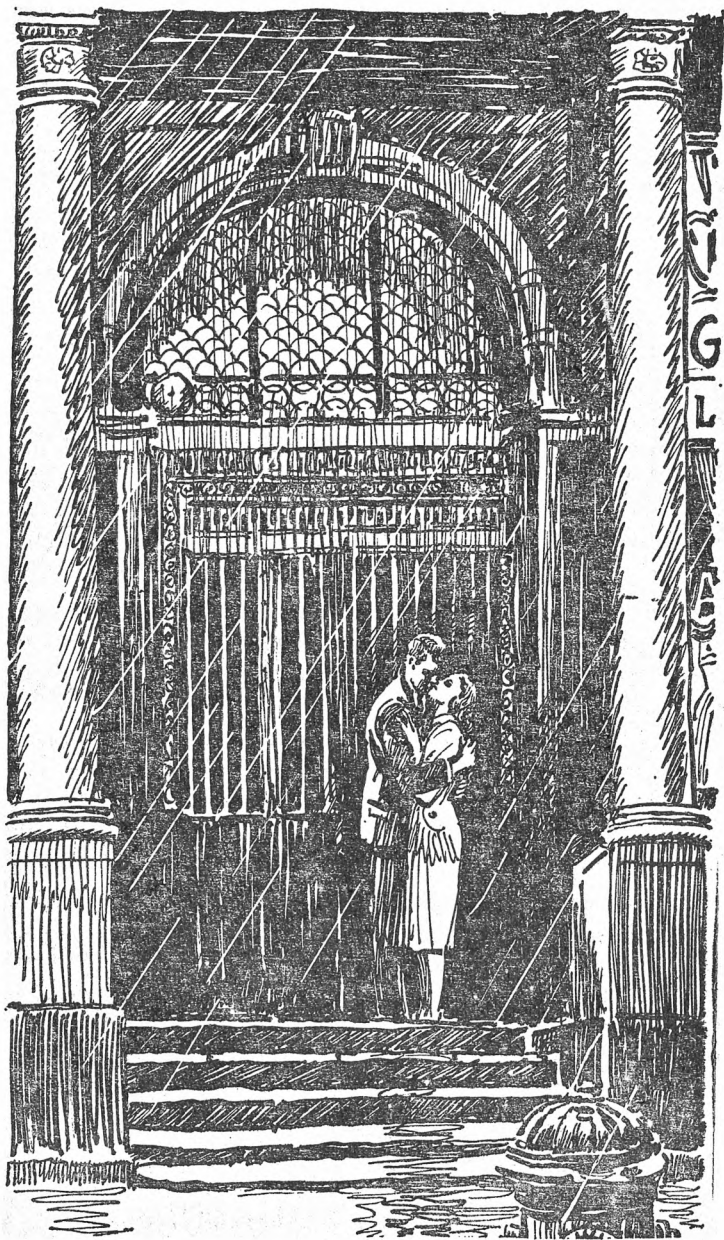
— Ну и хорошо. Дождь почти перестал. Еле-еле капает. Пошли.

Я подумал, что нет ничего более удручающего, чем возвращаться в прошлое, и бросил прощальный взгляд на аквариумы.

— Смотри-ка, обезьяны! — воскликнула вдруг Наташа, глядя в ту же витрину, где на заднем плане стояла большая клетка с обручком дерева. В клетке кувыркались две длиннохвостые беспокойные обезьяны. — Настоящие эмигранты! В клетке! До этого вас еще не довели!

— Разве? — спросил я.

Наташа взглянула на меня.



— Я же ничего о тебе не знаю,— сказала она — И не хочу ничего знать. У каждого свои проблемы, своя история, и посвящать в них другого, по-моему, просто скучно. Скучно до одури.— Она еще раз посмотрела на корсет для Брунгильды.— Как быстро летит время! Скоро эта броня будет мне впору. И я запишусь в какой-нибудь дамский клуб! Иногда я просыпаюсь в холодном поту. А ты?

— Я тоже.

— Правда? По тебе этого не видно.

— И по тебе не видно, Наташа.

— Давай же возьмем от жизни как можно больше!

— Мы так и делаем.

— Недостаточно! — Она крепко прижалась ко мне, и я ощутил ее всю с головы до ног. Платье у нее стало как купальный костюм. Волосы свисали мокрыми прядями, лицо побледнело.

— Через несколько дней у меня будет другая квартира,— пробормотала она.— Тогда ты сможешь приходить ко мне, и нам не придется околачиваться в гостиницах и ресторанах.— Наташа засмеялась.— И в квартире будет кондиционер.

— Ты переезжаешь на новую квартиру?

— Нет. Это — квартира моих друзей.

— Фрезера? — спросил я, и тысячи неприятных догадок пронеслись у меня в мозгу.

— Нет, не Фрезера.— Наташа опять засмеялась.— Никогда не стану больше делать из тебя сутенера. Если это не будет необходимо для нашего благополучия.

— Я и так уже стал сутенером,— сказал я.— Мне приходится плясать на канате морали в свинцовых сапогах. Немудрено, что я часто падаю. Быть порядочным эмигрантом — трудное занятие.

— Будь в таком случае непорядочным,— сказала Наташа и пошла впереди меня.

Похолодало. Между облаками кое-где уже проглядывали звезды. От света фар на мокром асфальте загорались блики, и казалось, машины мчатся по черному льду.

— У тебя очень причудливый вид,— сказал я Наташе.— Идя с тобою, можно вообразить себя человеком будущего, который возвращается с пляжа с марсианкой. Почему модельеры не придумали до сих пор такие облегающие платья?

— Они их уже придумали,— сказала Наташа.— Ты их только не видел. Подожди, может, попадешь на бал в залах «Сосайете».

— Я в них как раз нахожусь,— сказал я, втолкнув Наташу в темное парадное. От нее пахло дождем, вином и чесноком.

Когда мы дошли до ее дома, дождь совсем перестал. Весь обратный путь я проделал пешком. Около меня то и дело останавливались такси, предлагая подвезти. А еще час назад не было ни одной машины. Я упивался прохладным воздухом, как вином, и вспоминал минувший день. Я чувствовал, что где-то притаилась опасность. Она не угрожала мне со стороны, она была во мне. Я боялся, что ненароком переступил какую-то таинственную грань и очутился на чужой территории, которой управляли силы, неподвластные мне. Особых причин для тревоги пока не было. И все же я по собственной воле попал в запутанный мир, где существовали совсем иные ценности, неведомые мне. Многие, что еще недавно казалось мне безразличным, приобрело вдруг цену. Раньше я считал себя чужаком, а теперь был им только отчасти. «Что со мной случилось? — спрашивал я себя.— Ведь я не влюблен». Впрочем, я знал, что и чужак может влюбиться и даже не в очень подходящий объект, влюбиться только потому, что ему необходимо любить, и не так уж это важно, на кого излить свои чувства. Но знал я также, что на этом пути меня подстерегают опасности: внезапно я мог оказаться в ловушке и потерять ориентировку.

ХІХ

— На завтра Бетти назначили операцию,— сказал мне Кан по телефону.— Она очень боится. Не зайдете ли вы к ней?

— Обязательно. Что у нее?

— Точно не известно. Ее смотрели Грефенгейм и Равик. Только операция покажет, какая у Бетти опухоль: доброкачественная или нет.

— Боже мой! — сказал я.

— Равик будет за ней наблюдать. Он теперь ассистент в больнице Маунт-синай.

— Он будет ее оперировать?

— Нет. Только присутствовать при операции. Не знаю, разрешено ли ему уже оперировать самостоятельно. Когда вы пойдете к Бетти?

— В шесть. Освобожусь и пойду. Что нового с Гиршем?

— Я у него был. Все в порядке. Грэфенгейм уже получил деньги. Всучить ему эти деньги было труднее, чем выцарапать их у Гирша. Иметь дело с честными людьми — наказание божье. С жуликами ты по крайней мере знаешь, как себя вести.

— Вы тоже пойдете к Бетти?

— Я только оттуда. До этого я целый час сражался с Грэфенгеймом. Думаю, он вернул бы Гиршу деньги, если бы я не пригрозил, что пошлю их в Берлин в организацию «Сила через радость». Он, видите ли, не желал брать собственные деньги из рук подлеца! И при этом он голодает. Пойдите к Бетти. Я не могу пойти к ней опять. Она и так напугана. И ей покажется подозрительным, если я навещу ее во второй раз. Она еще пуще испугается. Пойдите к Бетти, поболтайте с ней по-немецки. Она утверждает, что когда человек болен, ему уже незачем говорить по-английски.

Я отправился к Бетти. День выдался теплый и пасмурный, и небо было светло-пепельным. Бетти лежала в постели в ярко-розовом халате; очевидно, фабрикант из Бруклина считал, что в его халатах будут щеголять мандарины.

— Вы пришли в самый раз, на мою прощальную трапезу, — закричала Бетти, — завтра меня отправят под нож.

— Что ты говоришь, Бетти, — возмутился Грэфенгейм. — Завтра тебя обследуют в больнице. Обычная процедура. И совершают ее из чистой предосторожности.

— Нож это нож! — возразила Бетти с наигранной, слишком нарочитой веселостью. — Неважно, что тебе отрежут — ногти или голову.

Я огляделся вокруг. У Бетти было человек десять гостей. Большинство — знакомые. Равик тоже пришел. Он сидел у окна и не отрываясь глядел на улицу. В комнате было очень душно, тем не менее окна были закрыты. Бетти боялась, что при открытых окнах будет еще жарче. На этажерке жужжал вентилятор, похожий на большую уставшую муху. Дверь в соседнюю комнату стояла открытой. Сестры-близнецы Коллер внесли кофе и яблочный пирог; в первую минуту я их не узнал. Они стали блондинками. Их щебетанье разом заполнило всю комнату; сестры напоминали ласточек. Двигались они проворно, как белки. Двойняшки были в коротких юбках и в бумажных джемперах в косую полоску с короткими рукавами.

— Очень аппетитно. Не правда ли? — спросил Танненбаум.

Я не сразу понял, что он имел в виду, яблочный пирог или девушек. Он имел в виду девушек.

— Очень,— согласился я.— Дух захватывает при мысли о том, что можно завести роман с близнецами, особенно с такими похожими.

— Да. Двойная гарантия,— сказал Танненбаум, разрезая кусок пирога.— Если одна из сестер умрет, можно жениться на второй. Редкий случай.

— Какие у вас мрачные мысли.

Я взглянул на Бетти, но она нас не слышала. По ее просьбе двойняшки принесли в спальню гравюры на меди с изображением Берлина, которые обычно висели в большой комнате; теперь они поставили гравюры на тумбочки по обе стороны кровати.

— Я вовсе не думал, что на близнецах можно дважды жениться,— сказал я.— И не подумал так уж сразу о смерти.

Танненбаум покачал головой; его окруженная черной растительностью лысина смахивала на блестящий зад павлина.

— О чем еще можно думать? Когда ты кого-нибудь любишь, обязательно думаешь: «Кто-то из нас умрет раньше другого, и тот останется один». Если человек так не думает, он не любит по-настоящему. В этих мыслях находит свое выражение великий первобытный страх, правда, в несколько измененном виде. Благодаря любви примитивный страх перед собственной смертью превращается в тревогу за другого. И как раз эта сублимация страха делает любовь еще большей мукой, чем смерть, ибо страх полностью переходит на того, кто пережил партнера.— Танненбаум слизнул с пальцев сахарную пудру.— А поскольку нас преследует страх и тогда, когда мы живем в одиночестве — ибо и одиночество — мука! — самое разумное взять в жены близнецов. Тем более таких красивых, как сестры Коллер.

— Неужели вам все равно, на которой из них жениться? — спросил я.— Вы ведь не можете их отличить. Придется бросить жребий. Не иначе!

Танненбаум метнул на меня взгляд из-под косматых бровей, нависших над пенсне.

— Смейтесь, смейтесь над бедным, больным, лысым евреем. Это в вашем духе, арийское чудовище! Среди нас вы — белая ворона! Когда наши предки уже достигли вершин культуры, древние германцы в звериных шкурах еще сидели на деревьях на берегах Рейна и плевали друг в друга.

— Красочная картинка! — сказал я. — Но давайте вернемся к нашим двойняшкам. Почему бы вам не отбросить комплекс неполноценности и не ринуться в атаку?

Секунду Танненбаум печально взирал на меня.

— Эти девушки предназначены для кинопродюсеров, — сказал он немного погодя. — Голливудский товар.

— Вы, кажется, актер.

— Да. Но я играю нацистов, мелких нацистов. И я отнюдь не Тарзан.

— Что касается меня, то я рассматриваю этот вопрос с иной стороны: с близнецами хорошо жить, а не умирать. Представьте себе, вы разругались с одной сестрой, на этот случай осталась другая. А если одна сестра сбежит, опять-таки в запасе вторая. Безусловно, здесь существуют богатейшие возможности.

Танненбаум посмотрел на меня с отвращением.

— Неужели вы пережили эти последние десять лет только для того, чтобы говорить пошлости? И неужели вам неизвестно, что сейчас идет величайшая из войн, какие только знал мир? Странные уроки вы извлекли из кровавых событий.

— Танненбаум, — сказал я. — Вы первый начали разговор об аппетитных женских задницах. Вы, а не я.

— Я говорил об этом в чисто метафизическом смысле. Говорил, чтобы забыть о трагических противоречиях этой жизни. А у вас на уме одни гадости. Ведь вы всего-навсего запоздалый цветок на древе под названием мушмула, описанном в вашей Эдде, — произнес Танненбаум с грустью.

Одна из двойняшек подошла к нам, держа поднос с новой порцией яблочного пирога. Танненбаум оживился; он не сводил с меня глаз, и вдруг его будто осенило: он показал на кусок пирога. Девушка положила этот кусок ему на тарелку, и, пока у нее были заняты обе руки, Танненбаум робко шлепнул ее по округлому заду.

— Что вы делаете, господин Танненбаум, — прошептала девушка. — Не здесь же! — покачивая бедрами, она скользнула дальше.

— Хорош метафизик! — сказал я. — Запоздалый цветок на иссохшем кактусе талмуда.

— Все из-за вас, — заявил сконфуженный и взволнованный Танненбаум.

— Ну разумеется. У немецкого шелкунчика виноватый всегда найдется, лишь бы не нести самому ответственность.

— Я хотел сказать, что это благодаря вам! По-моему, она ничуть не обиделась. А как по-вашему?

Танненбаум расцветал в глазах. Вытянул шею и pokrылся красно-бурым румянцем; теперь его лицо напоминало железо, долго мокнувшее под дождем.

— Вы совершили ошибку, господин Танненбаум,— сказал я.— Вам следовало пометить ее юбку мелом — провести маленькую незаметную черточку. Тогда бы вы знали, какая из двойняшек приняла ваши пошлые ухаживания. Допустим, что другой они не по вкусу. Вы повторите свою попытку, а она швырнет вам в голову поднос с яблочным пирогом и кофейник в придачу! Как видите, обе сестрицы вносят в данный момент свежий пирог. Вы помните, кто из них угощал вас только что? Я уже не помню.

— Я.. Это была... Нет...— Танненбаум бросил на меня взгляд, исполненный ненависти, и уставился на двойняшек. Казалось, его слепит солнце. Потом он с невероятным трудом выдавил из себя сладенькую улыбку. Видимо, Танненбаум решил, что та сестра, к которой он приставал, ответит ему улыбкой. Однако обе девушки улыбнулись одновременно. Танненбаум выругался сквозь зубы. Пукинув его, я опять подошел к Бетти.

Мне хотелось уйти. Эта смесь слащавой сентиментальности и неподдельного страха была просто невыносима. Меня от нее мутило. Я ненавидел эту неистребимую эмигрантскую тоску, эту фальшивую ностальгию, которая, даже превратившись в ненависть и отвращение, всегда находила себе лазейки и возникала снова. На своем веку я слишком много наслушался разговоров, которые начинались сакраментальной фразой «не все немцы такие» и кончались болтовней на тему о старых и добрых временах в Германии до прихода нацистов. Я хорошо понимал Бетти, понимал ее нежное и наивное сердце, любил ее и все же не мог здесь оставаться. Глаза на мокром месте, картинки Берлина, родной язык, за который она цеплялась в страхе перед завтрашним днем,— все это трогало меня до слез. Но мне казалось при этом, что я чую запах покорности и бессильного бунтарства, которое наперед знает, что оно бессильно, и которое, будучи субъективно честным, сводится всего лишь к пустым словам и красивым жестам. Я снова ощутил себя узником, хотя нигде не было колючей проволоки; меня опять окружал этот трупный дух воспоминаний, эта призрачная и беспредметная ненависть.

Я оглянулся. Я был, наверное, дезертиром — ведь я хотел бежать. Хотел бежать, несмотря на то, что знал, сколько истинных страданий и невосполнимых утрат пережили эти люди, — у многих из них близкие исчезли навек. Но, на мой взгляд, эти утраты были слишком велики, и никто не имел права поминать их всуе, это только губило душу.

Внезапно я понял, почему мне не терпелось уйти. Я не желал принимать участия в их бессильном и призрачном бунте, не желал впасть затем в смирение, ибо ничем иным этот бунт не мог кончиться. Опасность смирения и так все время маячила передо мной. И если я сдамся, то в один прекрасный день после долгих лет ожидания обнаружу, что из-за бессмысленной «борьбы с тенью» я вовсе перестал быть боксером, превратился в тряпку, в труху... А я ведь решил, что сам добьюсь возмездия, сам отомщу; какой толк в жалобах и протестах; я буду действовать сам. Но для этого мне надо было держаться подальше от стены плача и сетований на реках вавилонских. Я быстро оглянулся, словно меня застали на месте преступления.

— Росс,— сказала Бетти.— Как хорошо, что вы пришли. Прекрасно иметь столько друзей.

— Вы ведь для всех нас, эмигрантов, как родная мать, Бетти. Без вас мы просто жалкие скитальцы.

— Как у вас дела с вашим новым хозяином?

— Очень хорошо, Бетти. Скоро я смогу отдать часть долга Фрислендеру.

Бетти подняла с подушки разгоряченное лицо и подмигнула мне.

— Время ждет. Фрислендер очень богатый человек. Эти деньги ему не нужны. И вы сможете вернуть долг после того, как все кончится.— Бетти засмеялась.— Я рада, что дела у вас идут неплохо, Росс. Очень немногие эмигранты могут этим похвастаться. Мне нельзя долго болеть. Люди во мне нуждаются. Вы согласны?

Я пошел к выходу вместе с Равиком. У дверей стоял Танненбаум. Он нерешительно переводил взгляд с одной сестры Коллер на другую. Лысина у него блестела. Он уже опять ненавидел меня.

— Вы с ним поссорились? — спросил Равик.

— Да нет. Просто глупая перебранка, чтобы немного отвлечься. Не умею я сидеть у постели больного. Выхожу из терпения и злуюсь. А потом сам себя казню, но ничего не могу с этим поделать.

— Большинство ведет себя так же. Чувствуешь себя виноватым в том, что ты здоров.

— Я чувствую себя виноватым в том, что другой болен.

Равик остановился на ступеньках.

— Неужели и вы немного тронулись?

— Разве этого кто-нибудь избежал?

Он улыбнулся.

— Это зависит от того, в какой степени вы подавляете ваши эмоции. Сдержанные люди подвергаются в этом смысле наибольшей опасности. Зато те, кто сразу начинает бушевать, почти неуязвимы.

— Приму к сведению,— пообещал я.— Что с Бетти?

— До операции трудно сказать.

— Вы уже сдали свои экзамены?

— Да.

— И будете делать операцию Бетти?

— Да.

— До свидания, Равик.

— Теперь меня зовут Фрезенбург. Это моя настоящая фамилия.

— А меня все еще зовут Росс. Это моя настоящая фамилия.

Равик засмеялся и быстро ушел.

— Почему ты все время озираешься? Можно подумать, что я спрятала здесь детский трупик,— сказала Наташа.

— Я всегда озираюсь. Старая привычка. Трудно отделаться от нее так скоро.

— Тебе часто приходилось скрываться?

Я взглянул на Наташу с удивлением. Какой дурацкий вопрос. Все равно, что тебя спросили бы: «Часто ли тебе приходилось дышать?» Но как ни странно, в груди у меня потеплело от радости, и я подумал: «Слава богу, что она ничего не знает».

Наташа стояла у широкого окна в комнате с низким потолком. На свету ее фигура казалась совсем темной. Как хорошо, что ей не надо было ничего объяснять. Наконец-то я перестал чувствовать себя беженцем. Я обнял ее и поцеловал.

— От солнца у тебя совсем горячие плечи,— сказал я.

— Я переехала сюда вчера. Холодильник забит до отказа. Можно весь день не вылезать из дома. Сегодня ведь воскресенье, напоминаю тебе на всякий случай.

— Я и так помню. А выпивка в холодильнике тоже найдется?

— Там две бутылки водки. И еще у нас есть две бутылки молока.

— Ты умеешь готовить?

— Как сказать. Умею поджарить бифштексы и открывать консервные банки. Кроме того, у нас полно фруктов и есть радиоприемник. Давай начнем жить как добропорядочные обыватели.

Наташа засмеялась. Я держал ее за руки и не смеялся. Ее слова ударили в меня, словно мягкие стрелы; это были стрелы с резиновыми наконечниками, какими ребята стреляют из духовых ружей. Эти стрелы не причиняли боль, но я все же их чувствовал.

— Такая жизнь не для тебя. Правда? — спросила Наташа. — Очень уж мешанская.

— Наоборот, для меня это самое большое приключение, какое человек может пережить в наши дни, — возразил я, вдыхая аромат ее волос; они пахли кедром. — Нынче самая захватывающая жизнь — у простого бухгалтера, он живет так же, как во время оно жил король Артур. Я согласился бы месяцами слушать радио и пить пиво; мешанский уют я воспринял бы как накинутую на плечи пурпурную мантию

— Ты когда-нибудь смотрел телевизор?

— Очень редко.

— Я так и думала. Тебе бы он скоро осточертел. А от твоей пурпурной мантии у тебя бы начали зудеть плечи.

— Сейчас меня это не трогает. Знаешь, мы сегодня впервые не шляемся по разным увеселительным заведениям и гостиницам.

Наташа кивнула.

— Я же тебе говорила. Но ты подозревал, что к этой квартире имеет отношение Фрезер.

— Я и сейчас подозреваю. Только мне все равно.

— Ты становишься умнее. Успокойся! У тебя нет оснований подозревать меня.

Я огляделся. Это была скромная квартирка на пятнадцатом этаже: гостиная, спальня и ванная. Для Фрезера квартира была недостаточно шикарной. Из окон гостиной и спальни открывался великолепный вид на Нью-Йорк от Пятьдесят седьмой улицы до самой Уолл-стрит... Небоскребы... дома пониже...

— Нравится тебе здесь? — спросила Наташа.

— Дай бог такое всем жителям Нью-Йорка. Много света, простор, и город как на ладони. Ты права, сегодня для нас было бы безумием тронуться с места.

— Принеси воскресные газеты. Киоск рядом на углу. Тогда у нас будет все, что нам требуется. А я за это время попытаюсь сварить кофе.

Я направился к лифту.

На углу я купил воскресные выпуски «Нью-Йорк таймс» и «Геральд трибюн», в каждом из которых было несколько сотен страниц. И подумал, не было ли человечество во времена Гете счастливей, хотя в ту пору только богатые и образованные люди читали газеты? Я пришел к такому выводу: отсутствие того, что человеку известно, не может сделать его несчастным. Довольно-таки скромный итог размышлений.

Любуясь ясным небом, в котором кружил самолет, я пытался выбросить из головы все неприятные мысли, словно это были блохи. Потом я прошелся по Второй авеню. Слева была мясная какого-то баварца, рядом с ней гастрономический магазин, принадлежавший трем братьям Штерн.

Я снова свернул на Пятьдесят седьмую улицу и поднялся на пятнадцатый этаж в одном лифте с гомосексуалистом, назвавшим себя Яспером. Это был рыжий молодой человек в клетчатом спортивном пиджаке, с белым пуделем по кличке Рене. Яспер пригласил меня позавтракать с ним. Ускользнув от него, я пришел в хорошее настроение и позвонил. Наташа открыла мне дверь полуголая — на голове у нее был тюрбан, вокруг бедер обвязано купальное полотенце.

— Блеск! — сказал я, швырнув газеты на стул в передней. — Твой наряд вполне подходит к характеристике этого этажа.

— Какой характеристике?

— Той, которую дал мне Ник, продавец газет на углу. Он утверждает, что раньше здесь помещался бордель.

— Я приняла ванну, — сказала Наташа, — и притом уже во второй раз. Холодную. А ты все не появлялся. Покупал газеты на Таймс-сквер?

— Нет, соприкоснулся с незнакомым мне миром, миром гомосексуалистов. Ты знаешь, что здесь их полным-полно?

Наташа кивнула и бросила на пол купальное полотенце.

— Знаю. Эта квартира тоже принадлежит парню из их породы. Надеюсь, теперь ты, наконец, успокоишься?

— Поэтому ты и встретила меня в таком наряде?

— Я не подумала, что мой вид тебя так взволнует. Впрочем, по-моему, тебе это не повредит.

Мы лежали на кровати. После кофе мы выпили пива. Стол заказов в магазине братьев Штерн, работавший и по воскресеньям, прислал нам на дом копченое мясо, салами, масло, сыр и хлеб. В Штатах достаточно позвонить по телефону, чтобы приобрести все что угодно. Даже по воскресеньям. И притом продукты приносят на дом — тебе остается только приоткрыть дверь и забрать заказ. Прелестная страна для тех, кому по карману эта благодать.

— Я обожаю тебя, Наташа, — сказал я. В ту минуту у меня была одна забота — не надеть пижаму с чужого плеча, которую она мне кинула. — Я боготворю тебя. И это так же верно, как то, что я существую. Но чужую пижаму я все равно не надену.

— Послушай, Роберт! Она ведь выстирана и выглажена. Да и Джерри чрезвычайно чистоплотный человек.

— Кто?

— Джерри. Спишь же ты в своей гостинице на простынях, на которых черт знает кто валялся до тебя.

— Правильно. Но думать об этом мне неприятно. Но это все же другое. Я понятия не имею, кто на них спал. Люди эти мне незнакомы.

— Джерри тоже незнакомый.

— Я знаю его через тебя. Вот в чем разница. Одно дело есть курицу, которую ты никогда не видел, другое дело — курицу, которую ты сам вырастил и выпестовал.

— Жаль! Я с удовольствием поглядела бы на тебя в красной пижаме. Но меня клонит ко сну. Ты не возражаешь, если я посплю часок? От салами, пива и любви я совсем разомлела. А ты пока почитай газеты.

— И не подумаю. Я буду лежать с тобой рядом.

— По-твоему, мы так сможем заснуть? По-моему, это трудно.

— Давай попробуем. Я тоже постараюсь заснуть.

Через несколько минут Наташа крепко заснула. Довольно долго я смотрел на нее, но мысли мои были далеко. Кондиционер почти неслышно гудел, и снизу доносились приглушенные звуки рояля. Кто-то играл упражнения, видимо, начинающий пианист; он играл очень плохо, но как раз поэтому я вспомнил детство и жаркие летние дни, когда нерешительные и медленные звуки рояля просачивались в квартиру с другого этажа, а за окном лениво шелестели каштаны, колеблемые ветром.

Внезапно я очнулся. Оказывается, я тоже спал. Я осторожно слез с кровати и прошел в соседнюю комнату,

чтобы одеться. Мои вещи были разбросаны повсюду. Я собрал их, а потом подошел к окну и начал смотреть на этот чужой город, лишенный воспоминаний и традиций. Никаких воспоминаний! Город был новый, весь устремленный в будущее. Я долго стоял и думал о всякой всячине. Кто-то снова начал терзать рояль, на этот раз играли не этюды Черни, а сонату Клементи. А потом заиграли медленный блюз.

Я встал на середину комнаты, чтобы видеть Наташу. Она лежала поверх одеяла, обнаженная, закинув руку за голову, лицом к стене. Я очень любил ее. Любил за то, что она не знала сомнений. И еще она умела стать тебе необходимой и в то же время никогда не быть в тягость; ты не успевал оглянуться, а ее уже и след простыл. Я опять подошел к окну и начал разглядывать эту белую каменную пустыню, напоминавшую Восток. Нечто среднее между Алжиром и лунным ландшафтом.

Я прислушивался к незатихающему уличному шуму и следил за длинным рядом светофоров на Второй авеню, свет в которых автоматически переключался с зеленого на красный, а потом снова на зеленый. В регулярности этого переключения было что-то успокаивающее и вместе с тем бесчеловечное; казалось, этим городом управляют роботы. Впрочем, мысль о роботах меня не пугала.

Я снова встал на середину комнаты; теперь я сделал открытие: когда я оборачивался, то видел Наташу в зеркале, висевшем напротив нее. Я видел ее в зеркале и без зеркала. Странное ощущение! Мне скоро стало не по себе, словно мы оба утратили свою реальность, и я повис в башне между двумя зеркалами, которые перебрасывались возникавшими в них изображениями, пока не исчезали в бесконечности.

Наташа зашевелилась. Вздохнув, она повернулась на живот. Я раздумывал — не вынести ли мне на кухню поднос с жестянками из-под пива, бумажными салфетками, салями и хлебом. Но потом решил, что не стоит. Я ведь вовсе не собирался потрясать ее своими хозяйственными способностями. Я даже не поставил водку в холодильник; правда, я знал, что у нас есть еще вторая бутылка, в холодильнике. И тут я подумал, что меня до странности трогает вся эта обстановка, в сущности, очень обыденная: ты пришел домой, где тебя ждет другой человек, который доверчиво спит теперь в соседней комнате и ничего не боится. Очень давно я пережил нечто подобное, но тогда покой казался призрачным. И я не хотел вспоминать о тех вре-

менах, пока не вернусь назад. Я знал, что воспоминания чрезвычайно опасны; если ты вступишь на путь воспоминаний, то окажешься на узких мостках без перил, по обе стороны которых — пропасть; пробираясь по этим мосткам, нельзя ни иронизировать, ни размышлять, можно только идти вперед не раздумывая. Конечно, я мог избрать эту дорогу; но при любом неверном шаге мне грозила опасность, какая грозит акробату под куполом цирка.

Я снова взглянул на Наташу. Я очень любил ее, но в моем чувстве к ней не было ни малейшей сентиментальности. И до тех пор, пока сентиментальность не появится, я был в безопасности. Я мог порвать с ней сравнительно безболезненно. Я любовался ее красивыми плечами, ее прелестными руками, бесшумно шевеля пальцами, делая пассы и шепча заклинания: «Останься со мной, существо из другого мира! Не покидай меня раньше, чем я покину тебя! Да будет благословенна твоя сущность — воплощение необузданности и покоя!»

— Что ты делаешь? — спросила Наташа.

Я опустил руки.

— Разве ты меня видишь? — удивился я. — Ведь ты лежишь на животе!

Она показала рукой на маленькое зеркальце, стоявшее на ночном столике рядом с радиоприемником.

— Хочешь меня заколдовать? — спросила она. — Или уже успел пресытиться радостями домашнего очага?

— Ни то, ни другое. Мы не тронемся с места, не выйдем из этой крепости; правда, из нее уже почти выветрился запах борделя, но зато здесь пахнет гомосексуализмом. Самое большее, на что я готов решиться — это пройтись после обеда по Пятой авеню, как все приличные американские граждане, потомки тех, кто прибыл на «Мейфлауерс»¹. Но мы тут же вернемся к своему радио, бифштексам, электрической плите и любви.

Мы не вышли на улицу даже после обеда. Вместо этого мы открыли на час окна, и в комнату хлынул горячий воздух. А потом мы включили на полную мощность кондиционер, чтобы не вспотеть.

В конце этого дня у меня появилось странное чувство: мне казалось, что мы прожили почти год в безвоздушном пространстве, в состоянии покоя и невесомости.

¹ Имеется в виду корабль, на котором прибыли первые поселенцы в Америку.

— Я устраиваю небольшой прием,— сообщил Силверс.— Вас я тоже приглашаю.

— Спасибо,— сказал я без особого энтузиазма.— К сожалению, я вынужден отказаться. У меня нет смокинга.

— И не надо. Сейчас лето. Каждый может прийти в чем хочет.

Теперь у меня не было пути к отступлению.

— Хорошо,— сказал я.

— Смогли бы вы привести с собою миссис Уимпер?

— Вы ее пригласили?

— Пока еще нет. Ведь она ваша знакомая.

Я взглянул на Силверса. Ну и хитрец!

— Не думаю, чтобы ее можно было так вот взять и привести. Кроме того, вы утверждали, что она ваша знакомая, и притом очень давняя.

— Я сказал это просто так, к слову. У меня будут очень интересные люди.

Я отлично представлял себе, что это за интересные люди. Та часть человечества, которая живет на доходы от купли-продажи, воспринимает прикладную психологию весьма примитивно. Люди, на которых можно зарабатывать,— интересные. Остаток рода человеческого делится на людей приятных и безразличных. Что же касается людей, из-за которых можно потерять деньги, то они, безусловно, подлецы. Силверс фактически строго придерживался этой классификации. И даже, пожалуй, шел еще дальше...

Рокфеллеров, Фордов и Меллонов я на приеме не увидел, хотя по рассказам Силверса они являлись его лучшими друзьями и должны были присутствовать обязательно. Зато другие миллионеры пришли — очевидно, миллионеры в первом поколении, а не во втором и тем паче в третьем. Они вели себя шумно и благодушно, ибо находились сейчас на ничейной земле между царством чистогана, где чувствовали себя очень уверенно, и царством живописи, где чувствовали себя не очень уверенно. Все они считали себя коллекционерами, а не людьми, случайно купившими несколько картин, чтобы повесить их дома. В этом заключался самый главный трюк Силверса: он делал из своих клиентов коллекционеров, то есть заботился о том, чтобы музеи время от времени брали у них какую-нибудь картину для выставки и вносили ее в каталог с пометкой: «Из собрания мистера и миссис Х». Благодаря этому клиенты

Силверса подымались еще на одну ступеньку выше по вожделенной лестнице, ведущей в светское общество.

Внезапно я увидел напротив себя миссис Уимпер. Она поманила меня пальцем.

— Что мы делаем здесь, среди этих акул? — спросила она. — Для чего меня, собственно, пригласили? Ужасные люди. Не сбежать ли нам?

— Куда?

— Все равно куда. В «Эль Марокко» или ко мне домой.

— Я бы с удовольствием, — начал я. — Но не могу. Я здесь, так сказать, по долгу службы.

— По долгу службы? А как же я? Ведь у вас есть долг и по отношению ко мне. Вы должны доставить меня домой. Меня пригласили из-за вас.

Ее аргументация показалась мне весьма занятной.

— Вы, случайно, не русская? — осведомился я.

— Нет. А почему вы спрашиваете?

— Да потому, что некоторые русские дамы умеют возводить стройные логические построения, основываясь на ложных посылах и ложных умозаключениях, а потом предъявлять претензии к другим. Очень привлекательная, очень женственная и очень опасная черта.

Миссис Уимпер вдруг рассмеялась.

— У вас так много знакомых русских дам?

— Есть несколько. Эмигрантки. Я заметил, что они обладают гениальной способностью предъявлять ложные обвинения ни в чем не повинным мужчинам. По их мнению, это не дает угаснуть любви.

— И все-то вы знаете! — заметила миссис Уимпер, бросив на меня долгий испытующий взгляд — Когда же мы уйдем? Не желаю выслушивать фарисейские проповеди этой Красной Шапочки.

— Почему Красной Шапочки?

— Тогда волка в овечьей шкуре.

— Это уже не из сказки о Красной Шапочке. Это из библии, миссис Уимпер.

— Спасибо, профессор. Но и тут и там фигурирует волк. Скажите, неужели вам не становится худо при виде этой стаи малых и больших гиен и волков, которые шныряют взад и вперед с Ренуарами в пасти?

— Пока нет. Я воспринимаю это иначе, чем вы. Мне нравится, когда человек серьезно рассуждает о материях, в которых он ничего не смыслит. Это звучит по-детски и успокаивает нервы. Узкие специалисты нагоняют скуку.

— А ваш верховный жрец? Он говорит о картинах со слезами на глазах, будто это его родные дети, а потом выгодно продает их. Впрочем, он продаст и мать, и отца.

Я не мог удержаться от смеха. Она хорошо разбиралась в этой ярмарке тщеславия.

— Нам здесь нечего делать,— сказала она.— Проводите меня домой.

— Могу отвезти вас домой, но потом я должен вернуться.

— Хорошо.

Я бы и сам мог догадаться, что у подъезда миссис Уимпер ждет машина с шофером, но для меня это было почему-то неожиданностью. Она заметила мое удивление.

— Все равно, отвезите меня домой. Я не кусаюсь,— сказала она.— Шофер доставит вас обратно. Ненавижу приходить домой одна. Вы не представляете себе, какой пустой может казаться собственная квартира.

— Ошибаетесь,— возразил я,— представляю.

Машина остановилась, шофер распахнул дверцы. Миссис Уимпер вышла из машины и, не дожидаясь меня, направилась к подъезду. Разозленный, я последовал за ней.

— Как ни жаль, но мне придется ехать обратно,— сказал я.— Вы, конечно, понимаете, что иначе нельзя.

— Можно,— сказала она.— Но в этом вы опять-таки ничего не смыслите. Спокойной ночи. Джон, отвези господина... Извините, забыла вашу фамилию.

Я оторопело взглянул на нее.

— Мартин,— сказал я без запинки.

Миссис Уимпер и бровью не повела.

— Господина Мартина,— повторила она.

Секунду я размышлял, не лучше ли мне отказаться. Потом сел в машину.

— Довезите меня до ближайшей стоянки такси,— сказал я шоферу.

Машина тронулась. Мы проехали две улицы, и я сказал:

— Остановитесь! Вон — такси.

Шофер повернулся ко мне:

— Почему вы хотите выйти? Для меня сущий пустяк довести вас до места.

— А для меня не пустяк.

Он усмехнулся.

— Боже мой! Мне бы ваши заботы.

Мы остановились. Я протянул ему чаевые. Он покачал головой, но деньги все же взял. Я поехал на такси к Силверсу. И вдруг сам покачал головой и подумал: «Какой я идиот!»

— Отвезите меня, пожалуйста, не на Шестьдесят вторую улицу, а на Пятьдесят седьмую, угол Второй авеню.

— Как угодно. Хорошая ночь, правда?

— Чересчур теплая.

Я вышел у магазина братьев Штерн. Магазин был еще открыт. Несколько гомосексуалистов с плотоядной улыбкой выбирали холодные закуски на ужин. Я позвонил Наташе. Она ждала меня не раньше чем через два-три часа, поэтому я не решился подняться к ней без звонка. День был и так богат неожиданностями, и я хотел избежать новых. Наташа была дома.

— Ты где? — спросила она. — У своих коллекционеров? Краткая передышка?

— Я не у коллекционеров и не у миссис Уимпер. Я в магазине братьев Штерн. Среди сыров и салями.

— Купи полфунта салями и серого хлеба.

— Масла тоже?

— Масло у нас есть. А вот против эдамского сыра я не возражаю.

Я вдруг почувствовал себя очень счастливым.

К тому времени, когда я вышел из телефонной будки, в магазине уже резвились три пуделя. Я узнал Рене, а потом и его хозяина, рыжего Яспера. Яспер поздоровался со мной — он был какой-то развинченный, как большинство педерастов.

— Что подельываешь, незнакомец? Давно не виделись

Я получил свои покупки: салями, сыр и шоколадный крем в тонкой жестяной формочке.

— Вот как? — заметил Яспер. — Продукты для позднего ужина.

Я молча смерил его взглядом. На его счастье, он не спросил, буду ли я ужинать с приятельницей. Иначе я увенчал бы его рыжую шевелюру формочкой с кремом — чем не корона!

Но он ничего не сказал. Лишь молча последовал за мной на улицу.

— Может, прогуляемся немного? — предложил он, стараясь шагать со мной в ногу.

Я огляделся. На Второй авеню царило оживление. Был, очевидно, час вечернего променада. Улица буквально кишела гомосексуалистами с пуделями и без оных.

А также с карликовыми таксами, причем многих владельцы несли под мышкой. Атмосфера была праздничная. Молодые люди здоровались, перебрасывались шутками, оставались, когда собаки справляли свою нужду у края тротуара, рассматривали друг друга, обменивались взглядами. Я заметил, что вызываю всеобщее внимание. Яспер шел рядом со мной, кивая знакомым с такой гордостью, словно я был его новым приобретением. И все обсуждали мою скромную особу. Потеряв терпение, я круто повернул назад.

— Почему вы так торопитесь? — спросил Яспер.

— Каждое утро я хожу в церковь и причащаюсь. Мне надо подготовиться к этому. До свидания.

На секунду Яспер потерял дар речи. Потом за моей спиной раздался громкий смех. Этот смех неожиданно напомнил мне прощание с миссис Уимпер. Я остановился у газетного киоска и купил «Джорнэл» и «Ньюс».

— Сегодня вечером они, по-моему, в полном сборе, — заметил Ник и сплюнул.

— Здесь всегда так?

— Каждый вечер. Парад звезд. Если это будет продолжаться, в Америке снизится рождаемость.

Я поднялся на лифте в квартиру Наташи. С тех пор как она здесь жила, наши отношения вступили в новую фазу. Раньше мы встречались от случая к случаю, теперь я проводил у нее все вечера.

— Я должен принять ванну. У меня такое чувство, будто я испачкался с ног до головы.

— Давай! Грех удерживать человека от мытья. Хочешь ароматическую соль? Гвоздику фирмы «Мэри Чесс»?

— Лучше не надо! — Я подумал о Яспере и о том, что произойдет, если, встретившись с ним, я буду благоухать гвоздикой.

— Каким образом ты так скоро вернулся?

— Я отвез миссис Уимпер домой. Силверс пригласил ее без моего ведома.

— И она так быстро отпустила тебя? Bravo!

Я слегка приподнялся в теплой воде.

— Она не хотела меня отпускать. Но откуда ты знаешь, что вырваться от нее нелегко?

Наташа рассмеялась.

— Это известно каждому.

— Каждому? Кому именно?

— Каждому, кто с ней сталкивается. Она чувствует себя одинокой, не интересуется мужчинами своего возраста, поглощает в большом количестве коктейли «Мартини» и вполне безобидна. Бедный Роберт! А ты испугался?

Я схватил Наташу за подол пестрого, разрисованного вручную платя и попытался втащить ее в воду. Но она закричала:

— Пусти! Платье не мое! Это модель!

Я отпустил ее.

— А что в таком случае наше? Квартира — не наша, платя — не наши, драгоценности — не наши...

— Вот и прекрасно. Никакой ответственности! Это ведь то, о чем ты мечтал. Правда?

— Сегодня у меня плохой день, — сказал я. — Сжался надо мной!

Наташа встала.

— И ты еще собираешься осуждать меня за Элизу Уимпер. Ты со своим пресловутым пактом.

— Каким пактом?

— О том, что мы не должны причинять друг другу боль. И о том, что мы сошлись лишь для того, чтобы забыть старые романы. О боже! Как ты мне все это преподнес! И мы, дрожа как овцы после урагана, укрылись под сенью этой ни к чему не обязывающей любвишки, укрылись, чтобы зализать раны, которые нам нанесли другие.

Она заметалась по ванной. А я с удивлением смотрел на нее. Почему она вдруг вспомнила все эти наполовину забытые дурацкие разговоры, с которых всегда начинается сближение? Я был уверен, что не говорил всего этого — не такой уж я дурак! Скорее она сама так думала... И, наверное, именно потому она прибилась ко мне. В голове у меня промелькнуло множество мыслей; да, я понимал, что отчасти она права, хотя и не хотел в этом признаться. Меня удивляло только, что она все так ясно сознавала.

— Дай мне рюмку водки, — сказал я осторожно, решив перейти в наступление. Когда у человека совесть не чиста, это самое верное средство.

— Здорово мы друг друга обманули! Не так ли?

— По-моему, это обычная история, — сказал я, радуясь тому, что увидел какой-то просвет.

— Не знаю. Я потом каждый раз все забываю.

— Каждый раз? С тобой это часто случается?

— Тоже не знаю. Я ведь не счетная машина. Может, ты — счетная машина, а я — нет.

— Я лежу в ванне, Наташа. Исключительно невыгодная позиция. Давай заключим мир.

— Мир! — повторила она язвительно. — Кому нужен мир?

Схватив купальное полотенце, я встал. Если бы я мог предположить, чем кончится этот разговор, я бежал бы от ванны, как от холеры.

Наташа начала обличать меня не то всерьез, не то в шутку, но потом взвинтила себя и пришла в воинственное настроение — я заметил это по ее глазам, по движениям и по голосу, который вдруг стал звонче. Мне надо смотреть в оба! И прежде всего потому, что она была права. Вначале я решил сам наступать, используя миссис Уимпер. Но неожиданно все повернулось по-другому.

— Прелестное платье, — сказал я. — А ведь я хотел выкупать тебя в нем!

— Почему же не выкупал?

— Вода была слишком горячая, а ванна слишком тесная для двоих.

— Зачем ты одеваешься? — спросила Наташа.

— Мне холодно.

— Можно выключить кондиционер.

— Не стоит. Тогда будет жарко.

Она подозрительно взглянула на меня.

— Хочешь удрать? Трус! — сказала она.

— Что ты! Разве я могу покинуть саями и эдамский сыр?

Неожиданно она пришла в ярость.

— Иди к черту! — закричала она. — Убирайся в свою вонючую гостиницу. В свою дыру! Там твое место!

Она дрожала от злости. Я поднял руку, чтобы поймать на лету пепельницу, в случае если Наташа швырнет ее в меня: я не сомневался, что пепельница попадет в цель. Наташа была просто великолепна. Гнев не искажал ее черт, наоборот, он красил ее. Она трепетала не только от злости, но и от полноты жизни.

Я хотел овладеть ею, но внутренний голос предостерег меня: «Не делай этого!» На меня вдруг нашло прозрение: я понял, что сиюминутная близость ничего не даст. Мы просто уйдем от проблем, так и не разрешив их. И в будущем я уже не сумею использовать этот столь важный эмоциональный довод! Самым разумным в моем положении было спастись бегством. И именно сейчас, ни минутой позже.

— Как знаешь! — сказал я, быстро пересек комнату и хлопнул дверь. Поджидая лифт, я прислушался. До меня не донеслось ни звука. Может быть, она считала, что я вернусь.

В антикварной лавке братьев Лоу электрические лампы освещали французские латунные канделябры начала девятнадцатого века с белыми фарфоровыми цветами. Я остановился и начал разглядывать витрину. Потом я прошел мимо светлых безотрадных и полупустых закусовых, где у длинной стойки люди ели котлеты или сосиски, запивая их кока-колой и апельсиновым соком, — к этому сочетанию я до сих пор не мог привыкнуть.

В гостинице, к счастью, в тот вечер дежурил Меликов.

— *Safard* ¹? — спросил он.

Я кивнул:

— Разве по мне это заметно?

— За километр. Хочешь выпить?

Я покачал головой.

— Пока еще на первой стадии, а при этом алкоголь только вредит.

— Что значит — на первой стадии?

— Когда считаешь, что вел себя скверно и глупо и потерял чувство юмора.

— Я думал, ты уже прошел через это.

— По-видимому, нет.

— А когда наступает вторая стадия?

— Когда я решаю, что все кончено. По моей вине.

— Может, выпьешь хотя бы кружку пива? Садись в это плюшевое кресло и кончай психовать.

— Хорошо.

Я предался фантазмагорическим мечтаниям, а Меликов тем временем разносил по номерам бутылки минеральной воды, а потом и виски.

— Добрый вечер, — произнес чей-то голос за моей спиной.

Лахман! Первым моим побуждением было встать и быстро улизнуть.

— Только тебя мне не хватало, — сказал я.

Но Лахман с умоляющим видом снова усадил меня в кресло.

¹ Хандра? (фр.)

— Сегодня я не буду плакаться тебе в жилетку,— прошептал он.— Мои несчастья кончились. Я ликую!

— Подцепил ее все-таки? Жалкий гробокопатель!

— Кого?

Я поднял голову:

— Кого? Своими причитаниями ты надоед всей гостинице, лампы тряслись от твоего воя, а теперь у тебя хватает нахальства спрашивать «кого»?

— Это уже дело прошлое,— сказал Лахман,— я быстро забываю.

Я взглянул на него с интересом.

— Вот как? Ты быстро забываешь? И потому хныкал месяцами?

— Конечно. Быстро забываешь только после того, как полностью очистишься!

— От чего? От нечистот?

— Дело не в словах. Я ничего не добился. Меня обманывали — мексиканец и эта донья из Пуэрто-Рико.

— Никто тебя не обманывал. Просто ты не добился того, чего хотел. Большая разница.

— Сейчас уже десять вечера, а в такую поздноту я не воспринимаю нюансов.

— Ты что-то очень развеселился,— сказал я не без зависти.— У тебя, видимо, в самом деле все быстро проходит.

— Я нашел перл,— прошептал Лахман.— Пока еще не хочу ничего говорить. Но это — перл. И без мексиканца.

Меликов жестом подозвал меня к своей конторке.

— К телефону, Роберт.

— Кто?

— Наташа.

Я взял трубку.

— Где ты обретаешься? — спросила Наташа.

— На приеме у Силверса.

— Ерунда! Пьешь водку с Меликовым.

— Распростерся ниц перед плюшевым креслом, молюсь на тебя и проклинаю свою судьбу. Я совершенно уничтожен.

Наташа рассмеялась.

— Возвращайся, Роберт.

— Вооруженный?

— Безоружный, дурень. Ты не должен оставлять меня одну. Вот и все.

Я вышел на улицу. Она поблескивала при свете ночных фонарей — войны и тайфуны были от нее за триде-

вять земель; затаив дыхание, она прислушивалась к тихому ветру и к собственным мечтам. Улица эта никогда не казалась мне красивой, но сейчас вдруг я почувствовал ее прелесть.

— Сегодня ночью я остаюсь здесь,— сказал я Наташе.— Не пойду в гостиницу. Хочу спать и проснуться с тобой рядом. А потом я притащу от братьев Штерн хлеб, молоко и яйца. В первый раз мы проснемся с тобой вместе. По-моему, у всех наших недоразумений одна причина: мы с тобой слишком мало бываем вдвоем. И каждый раз нам приходится снова привыкать друг к другу.

Наташа потянулась.

— Я всегда думала, что жизнь ужасно длинная и поэтому не стоит быть все время вместе. Соскучишься.

Я невольно рассмеялся.

— В этом что-то есть,— сказал я.— Но мне пока еще не приходилось испытывать такое. Сама судьба постоянно заботилась, чтобы я не соскучился... У меня такое чувство,— продолжал я,— будто мы летим на воздушном шаре. Не на самолете, а на тихом шаре, на воздушном шаре братьев Монгольфье в самом начале девятнадцатого века. Мы поднялись на такую высоту, где уже ничего не слышно, но все еще видно: улицы, игрушечные автомобили и гирлянды городских огней. Да благословит бог незнакомо-го благодетеля, который поставил сюда эту широкую кровать и повесил на стене напротив зеркало; когда ты проходишь по комнате, вас становится двое — две одинаковые женщины, из которых одна — немая.

— С немой куда проще. Правда?

— Нет.

Наташа резко повернулась.

— Правильный ответ.

— Ты очень красивая,— сказал я.— Обычно я сначала смотрю, какие у женщины ноги, потом какой у нее зад и уж под конец разглядываю ее лицо. С тобой все получилось наоборот. Вначале я разглядел твое лицо, потом ноги и, только влюбившись, обратил внимание на зад. Ты — стройная и сзади могла бы быть плоской, как эти изголодавшиеся, костлявые манекенщицы. Меня это очень тревожило.

— А когда ты заметил, что все в порядке?

— Своевременно. Существуют весьма простые способы, чтобы это определить. Но самое странное, что интерес к этому у меня не проходил очень долго.

— Рассказывай дальше!

Она лениво свернула клубочком на одеяле, мурлыча, словно огромная кошка. Маленькой кисточкой она покрывала лаком ногти на ногах.

— Не смей меня сейчас насиловать,— сказала она.— Это должно сперва высохнуть, не то мы станем липкими. Продолжай рассказывать!

— Я всегда считал, что не в силах устоять перед загорелыми женщинами, которые летом весь день плещутся в воде и лежат на солнце. А ты такая белая, будто вообще не видела солнца. У тебя что-то общее с луной... Глаза серые и прозрачные... Я не говорю, конечно, о твоём необузданном нраве. Ты — нимфа. Редко в ком я так ошибался, как в тебе. Там, где ты, в небо взлетают ракеты, вспыхивают фейерверки и рвутся снаряды; самое удивительное, что все это происходит беззвучно.

— Рассказывай еще! Хочешь чего-нибудь выпить? Я покачал головой.

— Часто я взирал на собственные чувства немного со стороны. Я воспринимал их, так сказать, не анфас, а в профиль. Они не заполняли меня целиком, а скользили мимо. Сам не знаю почему. Может, я боялся, а может, не мог избавиться от проклятых комплексов. С тобой все по-иному. С тобой я ни о чем не размышляю. Все мои чувства нарастают. Тебя хорошо любить и так же хорошо быть с тобой после... Вот как сейчас. Со многими женщинами это исключено, да и сам не захочешь. А с тобой неизвестно, что лучше: когда тебя любишь, кажется, что это вершина всего, а потом, когда лежишь с тобой в постели в полном покое, кажется, что полюбил тебя еще больше.

— Ногти у меня почти высохли. Но ты рассказывай дальше.

Я взглянул в полутемную соседнюю комнату.

— Хорошо ощущать твою близость и думать, что человек бессмертен,— сказал я.— В какое-то мгновение вдруг начинаешь верить, что это и впрямь возможно. И тогда и я и ты бормочем бессвязные слова, чтобы чувствовать еще острее, чтобы стать еще ближе; мы выкрикиваем грубые, непристойные, циничные слова, чтобы еще теснее слиться друг с другом, чтобы преодолеть то крохотное расстояние, которое еще разделяет нас,— слова из лексикона шоферов грузовиков или мясников на бойне, слова-бичи. И все ради того, чтобы быть еще ближе, любить еще ярче, еще сильнее.

Наташа вытянула ногу и поглядела на нее. Потом она откинулась на подушку.

— Да, мой дорогой, в белых перчатках нельзя любить.

Я рассмеялся.

— Никто не знает этого лучше нас, романтиков. Ах, эти обманчивые слова, которые рассеиваются от легкого дуновения ветра, как облачка пуха. С тобой все иначе. Тебе не надо лгать.

— Ты лжешь очень даже умело,— сказала Наташа сонным голосом.— Надеюсь, сегодня ночью ты не станешь удирать?

— Если удеру, то только с тобой.

— Ладно.

Через несколько минут она уже спала. Она засыпала мгновенно. Я накрыл ее, а потом долго лежал без сна, прислушиваясь к ее дыханию и думая о разных разностях.

XXI

Бетти Штейн вернулась из больницы.

— Никто не говорит мне правду,— жаловалась она.— Ни друзья, ни враги.

— У вас нет врагов, Бетти.

— Вы — золото. Но почему мне не говорят правду? Я ее перенесу. Куда ужаснее не знать, что с тобой на самом деле.

Я обменялся взглядом с Грефенгеймом, который сидел за ее спиной.

— Вам сказали правду, Бетти. Почему надо обязательно думать, что правда — это самое худшее? Неужели вы не можете жить без драм?

Бетти заулыбалась, как ребенок.

— Я настрою себя иначе. А если все действительно в порядке, то опять распушусь. Я ведь себя знаю. Но если мне скажут: «Твоя жизнь в опасности», я начну бороться. Я как безумная буду бороться за то время, которое у меня еще осталось. И, борясь, быть может, продлю отпущенный мне срок. Иначе драгоценное время уйдет впустую. Неужели вы этого не понимаете? Вы ведь должны меня понять.

— Я понимаю. Но раз доктор Грефенгейм сказал, что все в порядке, вы обязаны ему верить. Зачем ему вас обманывать?

- Так все делают. Ни один врач не говорит правду.
- Даже если он старый друг?
- Тогда тем более.

Бетти Штейн три дня назад вернулась из больницы и теперь мучила себя и своих друзей бесконечными вопросами. Ее большие, выразительные и беспокойные глаза на добром, не по годам наивном лице, вопреки всему сохранившем черты молоденькой девушки, перебегали с одного собеседника на другого. Порой кому-нибудь из друзей удавалось на короткое время успокоить ее, и тогда она по-детски радовалась. Но уже через несколько часов у нее опять возникали сомнения и она снова начинала свои расспросы.

Теперь Бетти часами просиживала в вольтеровском кресле, которое она купила у братьев Лоу, потому, что оно напоминало ей Европу, в окружении своих гравюр с видами Берлина; она перевесила их из коридора в спальню, а две маленькие гравюры в кабинетных рамках всегда ставила возле себя, таская их из комнаты в комнату.

Сообщения о бомбежках Берлина, которые поступали теперь почти ежедневно, лишь на короткое время омрачали ее настроение. Она переживала это всего несколько часов, но столь бурно, что в больнице Грефенгейму приходилось прятать от нее газеты. Впрочем, это не помогло. На следующий день Грефенгейм заставал ее в слезах у радиоприемника.

Бетти вообще была человеком крайностей и постоянно пребывала в состоянии транса. При этом скорбь ее по Берлину находилась в явном противоречии с ненавистью к нацистскому режиму, который уничтожил многих членов ее семьи. В довершение Бетти боялась открыто скорбеть: она тщательно скрывала свои чувства от друзей, как нечто неприличное. И так уже ее нередко ругали за тоску по Курфюрстендамму и говорили, что она готова лобызать ноги убийцам.

Ведь нервы всех изгнанников, раздираемых противоречивыми чувствами: надеждой, отвращением и страхом, были и так взвинчены до предела, ибо каждая бомба, упавшая на покинутую ими родину, разрушала и их былое достоинство; бомбежки восторженно приветствовали и в то же время проклинали; надежда и ужас причудливо смешались в душах эмигрантов, и человеку надо было самому решать, какую ему занять позицию; проще всего оказалось тем, у кого ненависть была столь велика, что она заглушала все другие, более слабые движения сердца: со-

страдание к невинным, врожденное милосердие и человечность. Однако, несмотря на пережитое, в среде эмигрантов было немало людей, которые считали невозможным предать анафеме целый народ. Для них вопрос не исчерпывался тезисом о том, что немцы, дескать, сами накликали на себя беду своими ужасными злодеяниями или по меньшей мере равнодушием к ним, слепой верой в свою непогрешимость и чудовищным упрямством — словом, всеми качествами немецкого характера, которые идут рука об руку с верой в равнозначность приказа и права и в то, что приказ освобождает якобы от всякой ответственности.

Конечно, умение понять противника было одним из самых привлекательных свойств эмиграции, хотя свойство это не раз ввергало меня в ярость и отчаяние. Там, где можно было ждать лишь ненависти, и там, где она действительно существовала, спустя короткое время появлялось пресловутое понимание. А вслед за пониманием — первые робкие попытки оправдать; у палачей с окровавленной пастью сразу же находились свидетели защиты. То было племя защитников, а не прокуроров. Племя страдалцев, а не мстителей!

Бетти Штейн — натура пылкая и сентиментальная — металась среди этого хаоса, чувствуя себя несчастной. Она оправдывалась, обвиняла, опять оправдывалась, а потом вдруг перед ней вставал самый бесплотный из всех призраков — страх смерти.

— Как вам теперь живется, Росс? — спросила Бетти.

— Хорошо, Бетти. Очень хорошо.

— Рада слышать!

Я заметил, что от моих слов в ней вновь вспыхнула надежда. Раз другому хорошо живется, стало быть, можно надеяться, что и ей будет хорошо.

— Это меня радует, — повторила она. — Вы, кажется, сказали «очень хорошо»?

— Да, очень хорошо, Бетти.

Она с удовлетворением кивнула.

— Они разбомбили Оливаерплац в Берлине, — прошептала она. — Слышали?

— Они разбомбили весь Берлин, а не одну эту площадь.

— Знаю. Но ведь это Оливаерплац. Мы там жили. — Она робко оглянулась по сторонам. — Все на меня сердятся, когда я об этом говорю. Наш старый добрый Берлин!

— Это был довольно-таки мерзкий город, — осторожно

возразил я.— По сравнению с Парижем или с Римом, например. Я имею в виду архитектуру, Бетти.

— Как вы думаете, я доживу до того времени, когда можно будет вернуться домой?

— Конечно. Почему нет?

— Это было бы ужасно... Я так долго ждала.

— Да. Но там все будет по-другому, а не так, как нам запомнилось,— сказал я.

Бетти некоторое время обдумывала мои слова.

— Кое-что останется по-старому. И не все немцы—нацисты.

— Да,— сказал я, вставая. Подобного рода разговоры я не выносил.— Это мы успеем обсудить когда-нибудь потом, Бетти.

Я вышел в другую комнату. Там сидел Танненбаум и, держа в руках лист бумаги, читал вслух. Я увидел также Грефенгейма и Равика. И как раз в эту минуту вошел Кан.

— Кровавый список! — объявил Танненбаум.

— Что это такое?

— Я составил список тех людей в Германии, которых надо расстрелять,— сказал Танненбаум, перекладывая к себе на тарелку кусок яблочного пирога.

Кан пробежал глазами список.

— Прекрасно! — сказал он.

— Разумеется, он будет еще расширен,— заверил его Танненбаум.

— Вдвойне прекрасно! — сказал Кан.

— Кто же его будет расширять?

— Каждый может добавить свои кандидатуры.

— А кто приведет приговор в исполнение?

— Комитет. Надо его образовать. Это очень просто.

— Вы согласны стать во главе комитета?

Танненбаум глотнул.

— Я предоставляю себя в ваше распоряжение.

— Можно поступить еще проще,— сказал Кан.— Давайте заключим нижеследующий пакт: вы расстреляете первого в этом списке, а я всех остальных. Согласны?

Танненбаум снова глотнул. Грефенгейм и Равик посмотрели на него.

— При этом я имею в виду,— продолжал Кан резко,— что вы расстреляете первого в этом списке собственноручно. И не будете прятаться за спину комитета. Согласны?

Танненбаум не отвечал.

— Ваше счастье, что вы молчите,— бросил Кан,— если бы вы ответили: «Согласен», я влепил бы вам пощечину. Вы не представляете себе, как я ненавижу эту кровожадную салонную болтовню. Занимайтесь лучше своим делом — играйте в кино. Из всех ваших прожектов ничего не выйдет.

И Кан отправился в спальню к Бетти.

— Повадки, как у нациста,— пробормотал Танненбаум ему вслед.

Мы вышли от Бетти вместе с Грефенгеймом. Он переехал в Нью-Йорк, работал ассистентом в больнице. Там и жил, что не позволяло ему иметь частную практику; получал он шестьдесят долларов в месяц, жилье и бесплатное питание.

— Зайдемте ко мне на минутку,— предложил он.

Я пошел с ним. Вечер был теплый, но не такой душевный, как обычно.

— Что с Бетти? — спросил я.— Или вы не хотите говорить?

— Спросите Равика.

— Он посоветует мне спросить вас.

Грефенгейм молчал в нерешительности.

— Ее вскрыли, а потом зашили опять. Это правда? — спросил я.

Грефенгейм не отвечал.

— Ей уже делали операцию раньше?

— Да,— сказал он.

Я не стал больше спрашивать.

— Бедная Бетти,— сказал я.— Сколько времени это может продлиться?

— Этого никто не знает. Иногда болезнь развивается быстро, иногда медленно.

Мы пришли в больницу. Грефенгейм повел меня к себе. Комната у него была маленькая, бедно обставленная, если не считать большого аквариума с подогретой водой.

— Единственная роскошь, которую я себе позволил,— сказал он,— после того как Кан отдал мне деньги. В Берлине вся приемная у меня была заставлена аквариумами. Я разводил декоративных рыбок.— Он виновато посмотрел на меня близорукими глазами.— У каждого человека есть свое хобби.

— Вы хотите вернуться в Берлин после окончания войны? — спросил я.

— Да. Ведь там у меня жена.

— Вы что-нибудь слышали о ней за это время?

— Мы договорились, что не будем писать друг другу. Всю почту они перлюстрируют. Надеюсь, она выехала из Берлина. Как вы думаете, ее не арестовали?

— Нет. Зачем ее арестовывать?

— По-вашему, они задают себе такие вопросы?

— Задают все же. Немцы остаются бюрократами, даже если они творят заведомо неправо дело. Им кажется, что тем самым оно становится правым.

— Трудно ждать так долго,— сказал Грефенгейм. Он взял стеклянную трубочку, с помощью которой очищают дно аквариума от тины, не замутив воду.— Так вы считаете, ее выпустили из Берлина. В какой-нибудь город в Центральной Германии?

— Вполне возможно.

Я вдруг осознал весь комизм положения: Грефенгейм обманывал Бетти, а я должен был обманывать Грефенгейма.

— Ужас в том, что мы обречены на полное бездействие,— сказал Грефенгейм.

— Да, мы всего лишь зрители,— сказал я.— Проклятые богом зрители, достойные, быть может, зависти, потому что нам не разрешают участвовать в самой заварухе. Но именно это делает наше существование здесь таким призрачным, пожалуй, даже непристойным. Люди сражаются, между прочим, и за нас тоже, но не хотят, чтобы мы сражались с ними рядом. А если некоторым и разрешают это, то очень неохотно, с тысячью предосторожностей и где-то на периферии.

— Во Франции можно было записаться в Иностраный легион,— сказал Грефенгейм, откладывая в сторону стеклянную трубочку.

— Вы же не записались?

— Нет.

— Не хотели стрелять в немцев. Не так ли?

— Я вообще ни в кого не хотел стрелять.

Я пожал плечами.

— Иногда у человека не остается выбора. Он чувствует необходимость стрелять в кого-то.

— Только в себя самого.

— Чушь! Многие из нас соглашались стрелять в немцев, потому что знали: те, в кого им хотелось бы выстрелить, далеко от фронта. На фронт посылают безобидных и послушных обывателей, пушечное мясо.

Грефенгейм кивнул.

— Нам не доверяют. Ни нашему возмущению, ни нашей ненависти. Мы вроде Танненбаума: он хоть и составляет списки, но никогда не стал бы расстреливать. Мы приблизительно такие же. Или нет?

— Да. Приблизительно. Даже Кана они не хотят брать. И, возможно, они правы.

Я пошел к выходу по белым коридорам, освещенным лампами в белых плафонах. Я возвращался назад к своему призрачному существованию, и у меня было такое чувство, точно я живу в эпицентре урагана на заколдованном острове, имеющем всего лишь два измерения... В Штатах было все не так, как в Европе, где недостающее третье измерение заменяла борьба против бюрократизма, против властей и жандармов, борьба за временные визы, за работу, борьба против таможенников и полицейских — словом, борьба за то, чтобы выжить! А здесь нас встретила тишина, мертвый штиль! Только кричащие газетные заголовки и сводки по радио напоминали о том, что где-то далеко за океаном бушует война; Америка знала лишь войну в эфире: ни один вражеский самолет не бороздил американских небес, ни одна бомба не упала на американскую землю, ни один пулемет не строчил по американским городам. В кармане у меня лежало извещение о том, что вид на жительство мне продлили на три месяца: я был теперь *Enemy Alien* — иностранец-враг, правда, не такой уж враг, чтобы засадить меня в тюрьму. И сейчас я шел по этому городу, открытому всем ветрам, — искра жизни, которая не хотела погаснуть, чужак. Я шел, глубоко дыша и тихонько насвистывая. Комок плоти, носивший чужое имя — Росс.

— Квартира! — воскликнул я. — Свет! Мебель! Кровать! Любимая женщина! Электрическая плита для жарки мяса! стакан водки! Во всем можно найти светлую сторону, она есть даже в той несчастной жизни, на какую я обречен. При такой жизни ничто не входит в привычку. Отлично! Всем ты наслаждаешься, словно в первый раз. Все пробирает тебя до костей. Не щекочет, а именно пробирает до костей, до мозга костей, до серого вещества, которое заключено в твоей черепной коробке. Дай на тебя поглядеть, Наташа! Я боготворю тебя уже за то, что ты со мной. За то, что мы живем в одно время. А потом уже за все остальное. Я — Робинзон, который всякий раз на-

ходит своего Пятницу! Следы на песке! Отпечатки ног! Ты для меня — первый человек на этой земле. И при каждой встрече я ощущаю это снова. Вот в чем светлая сторона моей треклятой жизни.

— Ты много выпил? — спросила Наташа.

— Ни капли. Ничего я не пил, кроме кофе и грусти.

— Тебе грустно?

— В моем положении грустишь недолго. Потом рывком переворачиваешься, будто во сне. И тогда грусть становится всего лишь фоном, еще сильнее оттеняющим полноту жизни. Грусть идет на дно, а жизненный тонус поднимается вверх, словно вода в сосуде, куда бросили камень. То, что я говорю, далеко не истина. Я только хочу, чтобы это было истиной. И все же доля истины в этом есть. Иначе будешь жить на износ, как бархатный лоскут в коробке с лезвиями.

— Хорошо, что ты не грустишь, — сказала Наташа. — Причины меня не интересуют. Все, на что находятся причины, уже само по себе подозрительно.

— А то, что я тебя боготворю, тоже подозрительно?

Наташа рассмеялась:

— Это опасно. Человек, который склонен к возвышенным чувствам, обманывает обычно и себя и других.

Я озадаченно посмотрел на нее.

— Почему ты это говоришь?

— Просто так.

— Ты на самом деле это думаешь?

— А отчего бы и нет? Разве ты не Робинзон? Робинзон, который без конца убеждает себя, что видел следы на песке?

Я не отвечал. Ее слова задели меня сильнее, чем я ожидал. А я-то думал, что обрел твердую почву под ногами, — оказывается, это была всего-навсего осыпь, которая при первом же шаге может обрушиться. Неужели я нарочно преувеличивал прочность наших отношений? Хотел утешить себя?

— Не знаю, Наташа, — ответил я, пытаюсь избавиться от неприятных мыслей. — Знаю только одно: до сих пор мне были заказаны любые привычки. Говорят, что пережитые несчастья воспринимаются как приключения. Я в этом не уверен. В чем, собственно, можно быть уверенным?

— Да, в чем можно быть уверенным? — переспросила она.

Я засмеялся:

— В этой водке, что у меня в стакане, в куске мяса на плите и, надеюсь, в нас обоих... Все равно я тебя боготворю, хоть ты и находишь это опасным. Боготворить — радостно, и чем раньше этим займемся, тем лучше.

— Вот это правильно. И не нуждается в доказательствах. Такие вещи надо чувствовать.

— Так и есть. И опять-таки, чем раньше начнешь чувствовать, тем лучше.

— А с чего начнем мы?

— Хоть с этой комнаты! С этих ламп! С этой кровати! Хоть они и не принадлежат нам. Что, в конечном счете, принадлежит человеку? И на какой срок? Все взято взаймы, украдено у жизни и без конца крадется вновь.

Наташа обернулась.

— И самих себя мы тоже обкрадываем?

— Да. Себя тоже.

— Почему же в таком случае человек не впадает в отчаяние и не пускает себе пулю в лоб?

— Это никогда не поздно. Кроме того, есть более легкие пути.

— Догадываюсь, о чем ты говоришь.

Наташа обошла вокруг стола.

— По-моему, нам надо кое-что отпраздновать.

— Что именно?

— То, что тебе разрешили жить в Америке еще три лишних месяца.

— Ты права.

— А что бы ты делал, если бы разрешение тебе не продлили?

— Пытался бы получить разрешение на въезд в Мексику.

— Почему в Мексику?

— Там более гуманное правительство. Оно впустило бы даже беженцев из Испании.

— Коммунистов?

— Просто людей. С легкой руки Гитлера, слово «коммунист» употребляется теперь к месту и не к месту. Каждый человек, выступающий против Гитлера, для него коммунист. Любкой диктатор начинает свою деятельность с того, что упрощает все понятия.

— Хватит нам говорить о политике. Ты смог бы вернуться из Мексики в Штаты?

— Только с документами по всей форме. И только если меня не вышлют отсюда. Допрос на сегодня закончен?

— Нет еще. Почему тебя оставили здесь?

Я рассмеялся.

— Весьма запутанная история. Если бы Америка не была в состоянии войны с Германией, меня наверняка не впустили бы сюда. Выходит: чем хуже — тем лучше. Трагичное всегда идет рядом со смешным. Иначе множество людей с моей биографией уже давно погибли бы.

Наташа села рядом со мной.

— Твою жизнь не так-то легко понять.

— К сожалению.

— Сдается мне, что ты этим гордишься.

Я покачал головой.

— Нет, Наташа. Я только делаю вид, что горжусь.

— Очень лихо делаешь вид.

— Как и Кан. Не правда ли? Существуют эмигранты активные и пассивные. Мы с Каном предпочитали быть активными. И соответственно вели себя во Франции. Положение обязывает! Вместо того чтобы оплакивать свою долю, мы, по мере возможности, считали превратности судьбы приключениями. А приключения у нас были довольно-таки отчаянные.

Поздно вечером мы решили еще раз выйти. До этого я некоторое время в задумчивости просидел у окна. Небо было очень звездное, и ветер гулял где-то под нами, над невысокими крышами домов на Пятьдесят пятой и Пятьдесят шестой улицах; казалось, он готовился взять штурмом небоскребы, которые безмолвно, подобно башням, возвышались среди зеленых и красных вспышек светофоров. Я открыл окно и высунул голову.

— Посвежело, Наташа, в первый раз за долгие месяцы. И дышится легко!

Наташа подошла ко мне.

— Скоро осень,— сказала она.

— Слава богу.

— Слава богу? Не надо подгонять время!

Я засмеялся.

— Ты рассуждаешь, как восьмидесятилетняя старуха.

— Нельзя подгонять время. А ты только и делаешь, что торопишь его.

— Больше не буду! — обещал я, заведомо зная, что это ложь.

— Куда ты спешишь? Хочешь вернуться?

— Послушай, Наташа, я еще не поселился здесь как следует. Разве мне пристало думать о возвращении?

— Ты только об этом и думаешь. Ни о чем другом. Я покачал головой.

— Я не загадываю дальше завтрашнего дня... Настанет осень, потом зима и потом лето и опять осень, а мы по-прежнему будем смеяться, по-прежнему будем вместе.

Наташа прижалась ко мне.

— Не покидай меня! Я не способна быть одна. Я не героиня. Характер у меня отнюдь не героический.

— Я встречал среди тевтонцев миллионы женщин с героическим характером. Это их национальная особенность... Геройство заменяет этим дамам женскую привлекательность. А часто также секс. От них тошнит. А теперь хватит хныкать, давай выйдем на улицу в этот первый вечер бабьего лета.

— Хорошо.

Мы спустились на лифте. В кабине никого, кроме нас, не было. Час парада «звезд» давно миновал. Час пуделей тоже. Ветер, как гончая, рыскал возле аптеки Эдвардса на углу.

— Лето пролетело,— заметил Ник из своего киоска.

— Слава богу! — бросила Наташа.

— Не радуйся раньше времени,— сказал я.— Оно еще вернется.

— Ничего никогда не возвращается,— объявил Ник.— Возвращаются только беда и этот паршивый гад, пудель по кличке Рене: стоит мне зазеваться — и он уже написал на обложки «Вога» и «Эсквайра». Хотите «Ньюс»?

— Мы заберем ее на обратном пути.

Бесхитростная болтовня с Ником каждый раз приводила меня в волнение. Уже само сознание, что не надо скрываться, волновало меня. Вечерняя прогулка, столь обычная для каждого обывателя, казалась мне авантюрой, ибо самой большой авантюрой для меня была безопасность. Я стал почти человеком; правда, меня всего лишь терпели, но уже не гнали. Мое американское «я» успело вырасти примерно до двух третей европейского. Конечно, мой английский язык был далек от совершенства и весьма беден, тем не менее я уже довольно свободно болтал. Словарный запас был у меня, как у подростка лет четырнадцать, но я им умело пользовался. Многие американцы обходились тем же количеством слов, только они говорили без запинки.

— Как ты относишься к тому, чтобы сделать большой круг? — спросил я.

Наташа кивнула.

— Я хочу света. Столько света, сколько может быть в этом полутемном городе. Дни становятся короче.

Мы пошли вверх, к Пятой авеню и, миновав гостиницу «Шерри Нэзерленд», вышли к Сентрал-парку. Несмотря на уличный шум, из зоологического уголка отчетливо доносился львиный рык. У «Вьей Рюси» мы остановились, чтобы поглядеть на иконы и пасхальные яйца из оникса и золота, которые Фаберже изготавливал когда-то для царской фамилии. Русские эмигранты до сих пор продавали их здесь. И конца этому не предвиделось, точно так же, как донским казакам, которые из года в год давали концерты и ничуть не старели, словно герои детских комиксов.

— Там уже начинается осень,— сказала Наташа, показывая на Сентрал-парк.— Пойдем назад, к «Ван Клеefу и Арпельсу».

Мы медленно брели вдоль витрин, в которых были выставлены осенние моды.

— Для меня это уже давно пройденный этап,— сказала Наташа.— Эти модели мы снимали в июне. Я всегда живу на одно время года вперед. Завтра мы будем снимать меха. Может быть, поэтому мне и кажется, что жизнь летит чересчур быстро. Все люди еще радуются лету, а у меня в крови уже осень.

Я остановился и поцеловал ее.

— Просто удивительно, о чем мы с тобой говорим! — воскликнул я.— Совсем как персонажи Тургенева или Флобера. Деятнадцатый век! Теперь у тебя в крови уже зима: вьюги, меха и каминь. Ты — пророзвещница времен года.

— А что у тебя в крови?

— У меня? Сам не знаю. Наверное, воспоминания о бесчинствах и разрушениях. С осенью и зимой в Штатах я вовсе не знаком. Эту страну я видел лишь весной и летом. Понятия не имею, на что похожи небоскребы в снежный день.

Мы дошли до Сорок второй улицы и вернулись к себе по Второй авеню.

— Ну так как же, останешься сегодня ночью со мной? — спросила Наташа.

— А это можно?

— Конечно, ведь у тебя есть зубная щетка и белье. Пижама не обязательна. А бритву я тебе дам. Сегодня ночью мне не хотелось бы спать одной. Будет ветрено. И если ветер меня разбудит, ты окажешься рядом и успокоишь меня. Мне хочется дать себе волю и расчувствоваться, хо-

чется, чтобы ты меня утешал и чтобы мы заснули, ощущая приближение осени, хочется забыть о ней и снова вспомнить.

— Я остаюсь.

— Хорошо. Мы ляжем в постель и прижмемся друг к другу. Увидим наши лица в зеркале напротив и прислушаемся к вою ветра. Когда ветер усилится, в глазах у нас промелькнет испуг, и они потемнеют. Ты обнимешь меня крепче и начнешь рассказывать о Флоренции, Париже и Венеции, обо всех тех городах, где мы никогда не будем вместе.

— Я не был ни в Венеции, ни во Флоренции.

— Все равно, можешь рассказывать о них так, будто ты там был. Я, наверное, разревусь и буду ужасно выглядеть. Когда я плачу, я далеко не красавица. Но ты меня простишь за это и за мою чувствительность тоже.

— Да.

— Тогда иди ко мне и скажи, что ты будешь любить меня вечно и что мы никогда не состаримся.

XXII

— У меня для вас интересная новость,— сказал Силверс.— Скоро мы с вами отправимся в путь и завоюем Голливуд. Что вы на это скажете?

— Завоеюем своими актерскими талантами?

— Нет, картинами. Я получил оттуда много приглашений и решил прочесать этот район как специалист.

— Вместе со мной?

— Вместе с вами,— великодушно подтвердил Силверс.— Вы неплохо вошли в курс дела и будете мне полезны.

— Когда мы поедем?

— Приблизительно недели через две. Для сборов, стало быть, достаточно времени.

— Надолго? — спросил я.

— Пока что на две недели. Но, может, мы пробудем и дольше, Лос-Анджелес для торговца картинами — нетронутая целина. К тому же вымощенная золотом.

— Золотом?

— Да, тысячедолларовыми кредитками. Не задавайте мне глупых вопросов. Другой человек на вашем месте плясал бы от радости. Или, может, вы не хотите ехать? В таком случае мне придется подыскать себе нового помощника.

— А меня вы уволите?

Силверс разозлился не на шутку.

— Что с вами? Конечно, уволю. А как же иначе? Но почему бы вам не поехать со мной? — Силверс с любопытством оглядел меня. — Или вы считаете, что вы недостаточно хорошо экипированы? Могу дать аванс.

— Для закупки, так сказать, спецодежды, которую я буду носить в служебное время? И эту одежду я должен оплачивать из собственных денежек? Довольно невыгодное предприятие, господин Силверс.

Силверс рассмеялся. Наконец-то он опять был в своей стихии.

— Вы так считаете?

Я кивнул. Мне хотелось выиграть время. К отъезду из Нью-Йорка я не мог отнестись равнодушно. В Калифорнии у меня не было ни одной знакомой души, и перспектива скучать вдвоем с Силверсом мне не улыбалась. Я уже достаточно изучил его. Это оказалось нетрудно, он не был примечателен ничем, кроме хитрости. И потом, этот человек беспрестанно рисовался — наблюдать за ним было скучнейшим занятием. Это можно было вытерпеть недолго. И я с содроганием представил себе нескончаемые вечера в холле гостиницы, где мы сидим вдвоем с Силверсом. И мне решительно некуда деться.

— Где мы остановимся? — спросил я.

— Я остановлюсь в «Бевери-Хилс». А вы в «Садах аллаха».

Я с интересом воззрился на него.

— Красивое название. Напоминает о Рудольфо Валентино. Мы, значит, не будем жить вместе?

— Слишком дорого. Я слышал, что «Сады аллаха» — очень хорошая гостиница. И она в двух шагах от «Бевери-Хилс».

— А как мы будем рассчитываться? Как будет с расходами на гостиницу? И на питание?

— Вы будете записывать все, что потратите.

— По-вашему, я должен питаться только в гостинице?

Силверс махнул рукой.

— С вами очень трудно разговаривать. Можете делать все, что вам угодно. Еще замечания есть?

— Есть, — сказал я. — Вы должны прибавить мне жалованье, чтобы я купил себе новый костюм.

— Сколько?

— Сто долларов в месяц.

Силверс подскочил.

— Исключено! Вы собираетесь, как видно, заказать себе костюм у Книце? В Америке носят готовые вещи. И чем вам не нравится этот костюм? Вполне хороший.

— Недостаточно хороший для человека, который слушает у вас. Может быть, мне понадобится даже смокинг.

— Мы едем в Голливуд не для того, чтобы танцевать и бегать по балам.

— Кто знает! По-моему, это не такая уж плохая идея. Кроме того, нигде так не размягчаются сердца миллионеров, как в ночных кабаре. Мы ведь намерены ловить их с помощью испытанного трюка — внушать, что, купив у нас картины, они станут светскими людьми.

Силверс сердито посмотрел на меня.

— Это — производственная тайна! О ней не говорят вслух. И, поверьте мне, голливудские миллионеры черт знает что о себе воображают. Они считают себя культурнейшими людьми... Так и быть, прибавлю вам двадцать долларов.

— Сто! — не сдавался я.

— Не забудьте, что вы работаете нелегально. Из-за вас я многим рискую.

— Теперь уже нет!

Я взглянул на картину Моне, которая висела как раз напротив. На ней была изображена поляна с цветущими маками, по которой прогуливалась женщина в белом; картину эту относили к 1889 году, но, судя по покою, исходящему от нее, она была написана в куда более отдаленные времена.

— Я получил разрешение на жительство в Штатах. Пока на три месяца, но потом его автоматически продлят. Силверс прикусил губу.

— Ну и что? — спросил он.

— Теперь я имею право работать, — ответил я. Я солгал, но в данной ситуации это был не такой уж грех.

— Вы собираетесь искать себе другое место?

— Конечно, нет. Зачем? У Вильденштейна мне пришлось бы, наверное, весь день торчать в салоне возле картин. У вас мне нравится больше.

Я посмотрел на Силверса — он быстро что-то подсчитывал. Наверное, прикидывал, сколько стоит то, что я о нем знаю, и какую цену это имеет для него и для Вильденштейна. Вероятно, в эту минуту он раскаивался, что посвятил меня в свои многочисленные трюки.

— Примите во внимание также, что в последние месяцы вы ради своего бизнеса заставили меня поступиться

моими нравственными правилами. Не далее как позавчера, во время вашей беседы с миллионером из Техаса, я выдал себя за эксперта из Лувра. И, наконец, мои знания иностранных языков тоже кое-чего стоят.

Мы сторговались на семидесяти пяти долларах, хотя я и не мечтал получить больше тридцати. Теперь я не упоминал больше о смокинге. Конечно, я не собирался покупать его сейчас. В Калифорнии можно будет еще раз использовать смокинг для нажима на Силверса: авось удастся выцарапать у него одновременную ссуду, особенно если он опять захочет выдать меня за эксперта из Лувра, который сопровождает его.

Я отправился к Фрислендеру, чтобы отдать ему первые сто долларов в счет моего долга, который пошел на оплату юриста.

— Присаживайтесь,— сказал Фрислендер и небрежно сунул деньги в черный бумажник крокодиловой кожи.— Вы ужинали?

— Нет,— ответил я не задумываясь: у Фрислендеров отлично кормили.

— Тогда оставайтесь,— сказал он решительно.— К ужину придет еще человек пять-шесть. Правда, не знаю кто. Спросите у жены. Не желаете ли виски?

С того дня как Фрислендер получил американское гражданство, он не пил ничего, кроме виски. Правда, с моей точки зрения, он должен был поступить как раз наоборот: сперва пить исключительно виски, чтобы показать свое искреннее желание стать стопроцентным янки, а потом снова вернуться к б́араку и кюммелю. Но Фрислендер был человеком своеобразным. До своей натурализации он, запинаясь на каждом слове, с немыслимым венгерским акцентом говорил только по-английски, более того, заставлял изъясняться на английском и всю свою семью; злые языки утверждали даже, что он болтал по-английски в постели... Но уже через несколько дней после того, как он стал американским гражданином, в его доме снова началось вавилонское столпотворение и все его домочадцы перешли на свой обычный язык — немецко-английско-еврейско-венгерский.

— Б́арак спрятан у жены,— пояснил мне Фрислендер.— Мы его приберегаем. Здесь его ни за какие деньги не достанешь. Вот и приходится заирать последние бутылки. Не то их моментально выдает прислуга. В этом выражается ее тоска по родине. Вы тоже тоскуете по родине?

— По какой?

— По Германии.

— Нет. Я ведь не еврей.

Фрислендер рассмеялся.

— В ваших словах есть доля правды.

— Чистая правда,— сказал я, вспомнив Бетти Штейн.— Самыми слюнявыми немецкими патриотами были евреи.

— Знаете почему? Потому, что до тридцать третьего года им жилось в Германии хорошо. Последний кайзер жаловал им дворянство. Их даже принимали при дворе. У кайзера были друзья евреи, кронпринц любил еврейку.

— Во времена его величества вы, быть может, стали бы бароном,— сказал я.

Фрислендер провел рукой по волосам.

— *Tempi passati*¹.

На секунду он задумался: вспомнил о старых добрых временах. Мне стало стыдно за свое нахальное замечание. Но Фрислендер не понял иронии, ему вдруг ударил в голову весь его консерватизм, спесь человека, у которого когда-то был особняк на Тиргартенштрассе.

— Вы в те годы были еще ребенком,— сказал он.— Да, дорогой мой юный друг. А теперь идите к дамам.

«Дамами» оказались Танненбаум и, к моему немалому удивлению, хирург Равик.

— Двойняшки уже ушли? — спросил я Танненбаума.— На этот раз вы ущипнули за задницу не ту сестру?

— Глупости! Как вы думаете, они похожи не только внешне, но и...

— Конечно.

— Вы имеете в виду темперамент?

— На этот счет существуют две теории...

— Идите к черту! А вы что скажете, доктор Равик?

— Ничего.

— Для такого ответа вовсе не обязательно быть врагом,— сказал Танненбаум, явно задетый.

— Именно,— спокойно парировал Равик.

Вошла госпожа Фрислендер в платье эпохи империи с поясом под грудью. Эдакая дородная мадам де Сталь. На руке у нее позвякивал браслет с сапфирами величиной с орех.

— Коктейли, господа! Кто желает?

Мы с Равиком попросили водки; Танненбаум, несмотря на наше возмущение, предпочел желтый шартрез.

¹ Прошли эти времена (ит.).

— К селедке? — удивленно спросил Равик.

— К сестрам-близнецам, — ответил Танненбаум, все еще уязвленный. — Кто не знает одного, не имеет права говорить о другом.

— Bravo, Танненбаум! — воскликнул я. — А я и не подозревал, что вы сюрреалист.

Фрислендер появился вместе с двойняшками, Кармен и еще несколькими гостями. Сестры были живые как ртуть, Кармен оделась во все черное, что подчеркивало ее трагическую красоту; в данный момент она, правда, грыв-ла шоколад с орехами. Я с любопытством подумал: неужели после шоколада Кармен примется за селедку? Она так и сделала. Желудок у нее был такой же луженый, как и мозги.

— В ближайшие две недели я уезжаю в Голливуд, — громко возвестил Танненбаум, в то время как гостей обно-сили гуляшом. Надувшись как индюк, он метал взоры в сторону сестер-близнецов.

— В качестве кого? — спросил Фрислендер.

— В качестве актера. А вы как думали?

Я восторженно вскрикнул. Впрочем, я не верил Танненбауму. Слишком часто он говорил о Голливуде. Правда, он уже раз побывал там — сыграл маленькую роль, роль беженца в антифашистском фильме.

— Кого вы будете играть? — спросил я.

— Буффало Билла! ¹ — сказал кто-то.

— Группенфюрера СС.

— Несмотря на то, что вы еврей? — спросила госпожа

Фрислендер.

— А почему бы и нет?

— С фамилией Танненбаум?

— Мой артистический псевдоним Гордон Т. Кроу. Буква «Т» — от Танненбаума.

Все взглянули на него с некоторым сомнением. Правда, эмигранты нередко исполняли роли нацистов: голливудские боссы до сих пор валили в одну кучу всех европейцев, считая, что кем бы они ни были — друзьями или врагами, — европейцы все же больше походят друг на друга, нежели коренные американцы.

— Группенфюрера СС? — переспросил Фрислендер. — По-моему, там у них это соответствует генералу.

Танненбаум кивнул.

¹ Известный персонаж ковбойских фильмов.

— Может быть, штурмбаннфюрера? — спросил я.

— Группенфюрера. Отчего нет? В американской армии тоже есть генералы-евреи. Не исключено, впрочем, что моего персонажа повысят в чине, и тогда он будет чем-то вроде обер-генерала.

— А вы вообще разбираетесь в их субординации?

— Чего там разбираться? У меня есть роль. Конечно, этот группенфюрер — чудовище. Симпатичного эсэсовца я бы, разумеется, не стал играть.

— Группенфюрер, — протянула госпожа Фрислендер. — А я-то думала, что такую важную птицу должен играть сам Гарри Купер.

— Американцы отказываются исполнять роли нацистов, — пояснил маленький Везель, соперник Танненбаума. — Это может испортить им репутацию. Они во что бы то ни стало должны быть обаятельными. Роли нацистов они дают эмигрантам. И те их играют, чтобы не подохнуть с голоду.

— Искусство это искусство, — высокомерно возразил Танненбаум. — Разве вы не согласились бы сыграть Распутина, или Чингисхана, или Ивана Грозного?

— Эта роль — главная?

— Конечно, нет, — вмешался Везель. — Да и как это может быть? В главной роли всегда выступает обаятельный американец в паре с добродетельной американкой. Таков закон!

— Не спорьте, — увещевал гостей Фрислендер. — Лучше помогайте друг другу. Что у нас сегодня на третье?

— Сливовый пирог и торт с глазурью.

И на этот раз, как обычно у Фрислендеров, гостям приготовили миски с едой. Равик отказался от своей доли. Танненбаум и Везель попросили добавочную порцию торта. Я тайком сунул фрислендеровской кухарке два доллара, и она вынесла мне удобную луженую кастрюлю с ручками и раскрашенную коробку для торта. Двойняшки получили по двойной порции. Кармен не пожелаала взять ничего: ей было лень нести.

Наконец мы попрощались с хозяевами. Бедные родственники!

— Как мне разлучить этих близнецов? — тихо спросил меня группенфюрер — Танненбаум. — Они вместе едят, вместе живут, даже спят вместе!

— По-моему, это не так уж сложно, — ответил я. — Вот если бы они были сиамскими близнецами, тогда это была бы проблема.

В тот вечер Наташа собиралась к фотографу. Она дала мне ключ от квартиры, чтобы я мог дожидаться ее. Я поднялся наверх с гуляшом и тортом. Потом еще раз спустился — купил пива.

Когда я открыл дверь своим ключом и вошел в пустую квартиру, меня охватило странное чувство. Я никак не мог вспомнить в своем прошлом сходной ситуации — мне казалось, что я всегда входил либо в гостиничный номер, либо в чужую квартиру как гость. А теперь вдруг я вернулся к себе домой. В ту минуту, когда я отпирал дверь, мурашки поползли у меня по телу от какого-то тайного трепета. И мне почудилось, что издали до меня донесся тихий призыв — наверное, из отчего дома, о котором я уже давно не вспоминал.

В квартире было прохладно, я услышал слабое гудение кондиционера у окна и холодильника на кухне. Казалось, это бормотали добрые духи, охраняющие нашу квартиру. Я зажег свет, поставил пиво в холодильник, а гуляш на газ, на маленький огонь, чтобы он был горячий к приходу Наташи. Потом опять погасил свет и открыл окно. Горячий воздух неудержимо хлынул с улицы и мгновенно заполнил комнату. Маленький синий венчик пламени на газовой плите излучал слабый таинственный свет. Я включил приемник и настроился на станцию, которая передавала классическую музыку, без рекламы. Исполнялись прелюды Дебюсси. Я сел в кресло у окна и стал смотреть на город. Впервые я ждал Наташу в этой квартире. На душе у меня был мир, напряжение спало, и я наслаждался покоем. Я еще не сказал Наташе, что мне придется ехать с Силверсом в Калифорнию.

Она пришла примерно через час. Я услышал, как ключ повернулся в замке. И вдруг подумал, что это неожиданно нагрянул хозяин квартиры. Но потом услышал Наташины шаги.

— Ты здесь, Роберт? Почему ты сидишь в темноте? Она швырнула в комнату свой чемоданчик.

— Я грязная и ужасно голодная. С чего мне начать?

— С ванны. А пока ты будешь в ванне, я принесу тебе тарелку гуляша. Он уже горячий, стоит на плите. К гуляшу есть огурцы, а на десерт — торт с глазурью.

— Ты опять был в гостях у этой несравненной поварики?

— Да, я был у Фрислендеров и притащил уйму корма, как ворона для своих птенцов. Два-три дня мы можем не покупать еды.

Наташа уже сбрасывала с себя платье. От ванны шел пар, благоухавший гвоздикой фирмы «Мэри Чесс». Я принес гуляш. И на мгновение на земле воцарились мир и покой.

— Сегодня ты опять была императрицей Евгенией — тебя снимали с диадемой от «Ван Клеефа и Арпельса»? — спросил я в то время, как Наташа с наслаждением вдыхала запахи гуляша.

— Нет. Сегодня я была Анной Карениной. Стояла на вокзале не то в Петербурге, не то в Москве, вся закутанная в меха, и ждала свою судьбу в образе Вронского. И даже испугалась, когда, выйдя на улицу, не обнаружила снега.

— Ты похожа на Анну Каренину.

— Все еще?

— Вообще похожа.

Наташа засмеялась.

— Каждый представляет себе Анну Каренину по-своему. Боюсь, что она была гораздо толще, чем теперешние женщины. Нравы меняются. В девятнадцатом веке были еще рубенсовские формы и носили твердые длинные корсеты с пластинками из китового уса и платья до полу. И этот век почти не знал ванн... А что ты без меня делал? Читал газеты?

— Как раз наоборот. Старался не думать ни о газетных шапках, ни о передовицах!

— Почему?

— Думай не думай, ничего не изменишь.

— Изменить что-либо могут лишь единицы. Не считая солдат.

— Вот именно, — сказал я. — Не считая солдат.

Наташа протянула мне пустую тарелку.

— А ты хотел бы стать солдатом?

— Нет. Ведь и это ничего бы не изменило.

Некоторое время она молча смотрела на меня.

— Ты очень тоскуешь, Роберт? — спросила она потом.

— В этом я никогда не признаюсь. Да и что это вообще значит — тосковать? В особенности когда столько людей лишились жизни.

Наташа покачала головой.

— К чему ты, собственно, стремишься, Роберт?

Я взглянул на нее с удивлением.

— К чему я стремлюсь? — повторил я, чтобы выиграть время. — Что ты под этим подразумеваешь?

— В будущем. К чему ты стремишься в будущем? Во имя чего ты живешь?

— Выходи,— сказал я.— Этот разговор не для ванны. Вылезай из воды!

Наташа встала.

— Во имя чего ты действительно живешь? — спросила она.

— Разве человек это знает? Разве ты знаешь?

— Мне и не надо знать. Я живу отраженным светом.

Ты — другое дело.

— Ты живешь отраженным светом?

— Не уклоняйся, отвечай. К чему ты стремишься? Во имя чего живешь?

— В твоих словах я слышу знакомые мотивы — типично обывательские рассуждения. Кто это действительно знает? И даже если ты вдруг поймешь «что и зачем», это сразу станет неправдой. Я не хочу обременять себя проклятыми вопросами. Вот и все — до поры до времени.

— Ты просто не можешь на них ответить.

— Не могу ответить, как ответил бы банкир или священник. Так я никогда не смогу ответить.— Я поцеловал ее влажные плечи.— Да я и не привык отвечать на эти вопросы, Наташа. Долгое время моей единственной целью было выжить, и это оказалось так трудно, что на все остальное не хватало сил. Теперь ты удовлетворена?

— Все это не так, и ты это прекрасно знаешь. Но не хочешь мне сказать. Быть может, не хочешь сказать и себе самому. Я слышала, как ты кричал.

— Что?

Наташа кивнула.

— Кричал во сне.

— Что я кричал?

— Это я уже не помню. Я спала и проснулась от твоего крика.

Я вздохнул с облегчением.

— Кошмары снятся всем людям.

Наташа не ответила.

— Собственно, я вообще ничего толком о тебе не знаю,— протянула она задумчиво.

— Знаешь слишком много. И это мешает любви.— Я обнял ее и начал тихонько выталкивать из ванной.— Давай лучше обследуем припасы, которые я принес. У тебя самые красивые колени на свете.

— Не заговаривай зубы.

— Зачем мне заговаривать зубы? Ведь мы же заключили с тобой пакт. Ты совсем недавно напомнила мне о нем.

— Пакт! Это был всего лишь предлог. Оба мы хотели о чем-то забыть. Ты забыл?

Мне вдруг показалось, что сердце у меня зашло от холода. Правда, не так сильно, как я ожидал, — просто в груди стало холодно, будто сердце сжала бесплотная рука. Боль продолжалась лишь миг, но ощущение холода не проходило. Холод остался и отпуская очень медленно.

— Мне нечего забывать, — сказал я. — Тогда я глал.

— Я не должна была задавать тебе такие дурацкие вопросы, — сказала она. — Не знаю, что на меня нашло. Может, это случилось потому, что я весь вечер воображала себя Анной Карениной, и у меня до сих пор такое чувство, будто я, вся в мехах, лечу на тройке по снегу, преисполненная романтики и чувствительности той эпохи, которую нам не довелось узнать. А быть может, во всем виновата осень; я ощущаю ее куда сильнее, чем ты. Осенью рвутся пакты и все становится недействительным. И человек хочет... Да, чего же он хочет?

— Любви, — сказал я, взглянув на нее.

Она сидела на кровати немного растерянная, полная нежности и легкой жалости к себе, не зная, как справиться с этими чувствами.

— Да, любви, которая остается.

Я кивнул.

— Любви у горящего камина, при свете лампы, под вой ночного ветра и шелест опадающих листьев, любви, при которой — ты уверена — тебе не грозят никакие потери.

Наташа потянулась.

— Я опять голодная. Гуляш еще остался?

— Хватит на целую роту. Ты и впрямь будешь есть после торта гуляш по-сегедски?

— Сегодня вечером я способна на все. Ты останешься ночевать?

— Да.

— Хорошо. Тогда я не буду мучить тебя рассказами о моих несбывшихся осенних мечтах. К тому же они — преждевременны... По-моему, у нас в холодильнике больше нет пива. Правильно?

— Нет, есть. Я сходил за пивом.

— А можно ужинать в кровати?

— Конечно. От гуляша пятен не будет.

Наташа засмеялась.

— Я буду осторожна. Что бы ты хотел сейчас сделать, если бы мог выбирать?

XXIII

Сон этот я увидел опять только через неделю с лишним. Я ждал, что он придет раньше, а потом подумал, что он вообще уже никогда не придет. Во мне даже шевельнулась робкая, слабая надежда на то, что с ним навсегда покончено. Я делал все возможное, пытаюсь избавиться от него, и когда вдруг наступили эти секунды острой нехватки воздуха и появилось чувство, что все рухнет, какое, наверное, появляется при землетрясении,— даже тогда я начал поспешно и горячо убеждать себя, что это всего лишь воспоминания о кошмаре.

Но я ошибся. Это был тот же самый липкий, неотвязный, темный сон, что и раньше,— пожалуй, даже еще более страшный, и мне было так же трудно избавиться от него, как всегда. Только очень медленно я начал сознавать, что это не явь, а всего лишь сновидение.

Сперва я оказался в Брюссельском музее, в подвале со спертым воздухом, и мне почудилось, что каменные плиты с боков и сверху начали сдвигаться, вот-вот задавят. А потом, когда я стал мучительно ловить воздух и с криком вскочил, так и не проснувшись, опять появилась та вязкая трясина, а вместе с нею и ощущение, что меня преследуют, так как я осмелился перейти границу. Я оказался в Шварцвальде, и по пятам за мной гнались эсэсовцы с собаками под предводительством человека, чье лицо я не мог вспоминать без содрогания.

Да, они меня поймали, и я опять оказался в бункере, где находились печи крематория, беззащитный, отданный во власть тем харям: я дышал с трудом — меня только что без сознания сняли с крюка, вбитого в стену; пока они подвешивали очередную жертву, другие жертвы царапали стены — руками и связанными ногами, а палачи заключали между собой пари, кто из пытаемых протянет дольше. Потом я снова услышал голос того весельчака, благоухавшего духами; он говорил, что когда-нибудь, очень не скоро, если я на коленях стану умолять его, он сожжет меня живьем, и принялся рассказывать, что произойдет при этом с моими глазами... А под конец мне, как всегда, приснилось, будто я закопал в саду человека и уже почти забыл об этом, как вдруг полиция обнаружила труп в трясине,

и я мучительно размышляю, почему я не спрятал его в другом, более надежном месте.

Прошло очень много времени, прежде чем я понял, что нахожусь в Америке и что мне все это лишь приснилось.

Я был настолько измучен, что довольно долго не мог подняться. Я лежал и глядел на красноватый отблеск ночи. Наконец я встал и оделся, не желая рисковать, боясь провалиться снова в небытие и оказаться во власти кошмаров. Со мной это уже не раз случалось, и второй сон бывал тогда еще страшнее первого. Не только сновидение и явь, но и оба сна сливались воедино, причем первый казался не сном, а еще более страшной явью, и это приводило меня в полное отчаяние.

Я спустился в холл, где горела лишь одна тусклая лампочка. В углу храпел человек, дежуривший три раза в неделю по ночам вместо Меликова. Во сне его морщинистое, лишенное выражения лицо с открытым стонущим ртом походило на лицо пытаемого, которого только что сняли без сознания с крюка на стене.

Я ведь тоже принадлежу к ним, подумал я, к этой шайке убийц; это мой народ — несмотря на все утешения, какие я придумываю себе при свете дня, несмотря на то, что эти разбойники преследовали меня, гнали, лишили гражданства. Все равно я родился среди них; глупо воображать, будто мой верный, честный, ни в чем не повинный народ подчинили себе легионы с Марса. Легионы эти выросли в гуще самих немцев; они прошли выучку на казарменных плацах у своих изрыгавших команды начальников и на митингах у неистовых демагогов, и вот их охватила давняя, обожествляемая всеми гимназическими учителями *Furog teutonicus*¹; она расцвела на почве, унавоженной рабами послушания, обожателями военных мундиров и носителями скотских инстинктов, с той лишь оговоркой, что ни одна скотина не способна на такое скотство. Нет, это не было единичным явлением. В еженедельной кинохронике мы видели не забитый и негодующий народ, поневоле повинующийся приказам, а обезумевшие морды с разинутыми ртами; мы видели варваров, которые с ликованием сбросили с себя тонкий покров цивилизации и валялись сейчас в собственных кровавых нечистотах. *Furog teutonicus!* Священные слова для моего бородатого и очкастого гимназического учителя. Как он их смаковал! И как их смаковал сам Томас Манн в начале первой

¹ Тевтонская ярость (лат.).

мировой войны, когда он писал свои «Мысли о войне» и «Фридриха и большую коалицию!» Томас Манн — вождь и оплот эмигрантов! Какие глубокие корни пустило варварство, если его не мог полностью искоренить в себе даже этот гуманный человек и гуманный художник!

Я вышел на улицу. Между стенами домов еще покоилась ночь. В поисках яркого света я побрел к Бродвею. Несколько забегаловок, торговавших сосисками и не закрывавшихся всю ночь, выплескивали на улицу скудный свет. Кое-где в них на высоких табуретах томились люди, словно души грешников. Свет на пустынной улице казался еще более призрачным, чем темнота, — он был бессмыслен, тогда как все в нашей жизни стремится к осмысленности; и это был какой-то нездешний свет, словно он исходил от лунных кратеров, заполнивших опустевшие здания.

Я остановился перед гастрономическим магазином. В витрине его пригорюнились охотничьи сосиски и сыры всех сортов. Владельца магазина звали Ирвин Вольф — видимо, он вовремя покинул Европу. Я не отрываясь смотрел на это имя. А свое имя я даже не мог назвать себе в оправдание. Между мной и нацистами не было разницы. Даже чисто условной. Я не мог сказать: «Я — еврей», не мог сослаться на свою национальность и громко заявить: «С тевтонцами у меня нет ничего общего», не мог сразить этих расистов их же собственным негодным оружием. Я принадлежал к ним, я был с ними одной породы, и если бы в этот сумрачный час из-под земли вдруг вырос господин Ирвин Вольф и погнался за мной с ножом, называя меня убийцей его братьев, то это не ошеломило бы меня.

Я двинулся дальше по темной Двадцатой улице, потом поднялся вверх по Бродвею, но скоро свернул направо на Третью авеню. Перешел на другую сторону и вернулся обратно, и снова пошел по Бродвею вверх, — теперь его яркие огни казались поблекшими. Так я добрался до Пятой авеню, тихой и почти безлюдной. Только светофоры на ней переключались, как всегда, и каждый раз вся эта длинная улица по чьей-то воле, бессмысленной и бездушной, становилась то красной, то зеленой. Это напомнило мне, что целые народы вот так же вдруг беспричинно переключают с мирного зеленого цвета на красный, зажигая на тысячекилометровых дистанциях мрачные факелы войны... Но вот небо над этим жутким и безмолвным ландшафтом начало медленно уходить в вышину. Да и дома стали راستи: они поднимали темный покров ночи все выше, от эта-



жа к этажу, словно женщина, снимающая через голову платье; и вот уже я увидел карнизы зданий — бесформенная тьма с почти осязательным усилием отделялась от них, уплывала ввысь, а потом и вовсе таяла. А я все шел и шел, ибо единственным спасением для меня было идти и дышать полной грудью. Потом я невольно остановился на широкой Пятой авеню: в серой дымке зарождавшегося дня тускнели освещенные витрины, будто эти светлые, отделенные друг от друга квадраты поразил рак.

Я никак не мог расстаться с этой улицей дешевой цивилизации и дорогих магазинов, бодрившей и даже утешавшей меня: я знал, что за каменными стенами по обе стороны Пятой авеню, улицы, созданной на потребу бессмысленным человеческим прихотям, таился черный, вязкий хаос; правда, его еще держали под землей, но он уже готов был вырваться из подземных каналов и затопить все вокруг.

Ночь постепенно угасала, наступил выбкий серый пред-рассветный час, а потом вдруг над городом поднялась по-девичьи нежная, серебристо-розовая заря с целой свитой облачков-барашков, и первые лучи солнца, подобно стрелам, коснулись верхних этажей небоскребов, окрасили их в светлые, пастельные тона, и те как бы воспарили над застывшей темной зыбью улиц.

«Время кошмаров миновало», — подумал я, останавливаясь у магазина Сакса, где были выставлены куклы-манекены; казалось, это — заколдованные спящие красавицы. Горжетки, палантины, накидки с норковыми воротниками — в витринах замерла целая дюжина манекенов: Анны Каренины, только что вернувшиеся с охоты на вальдшнепов.

Внезапно я почувствовал сильный голод и ввалился в ближайшую открытую закусочную.

Бетти Штейн была убеждена теперь, что у нее рак. Никто ей этого не говорил, наоборот, все ее успокаивали. Тем не менее с настороженной пронизательностью, свойственной недоверчивым больным, по крохам собирая и усваивая истину, она постепенно составила верную картину своей болезни. В тот период она походила на генерала, который сводит воедино донесения о мелких боевых эпизодах и наносит их на большую карту. Ничто не ускользает от его внимания, он сравнивает, проясняет неясности, регистрирует факты, и вот перед его глазами встает вся карти-

на сражения; вокруг него люди празднуют победу и с оптимизмом смотрят в будущее, но генерал уже знает, что сражение проиграно, и, невзирая на победные реляции профанов, он собирает свое войско, чтобы повести его на последний штурм!

Бетти сопоставила отдельные жесты, взгляды и случайные оброненные замечания с тем, что она вычитала в книгах, как это делают люди, борющиеся за свою жизнь. И период относительного спокойствия уступил место периоду недоверчивости, а потом и периоду серьезных сомнений. Тогда, призвав на помощь все свои силы и весь свой разум, она вдруг обрела уверенность в самом худшем. Но вместо того чтобы сдаться, покориться судьбе, Бетти начала воистину героическую борьбу за каждый день жизни. Она не хотела умирать. Неслыханным усилием воли она поборолa смерть, которая, казалось, уже стояла у ее изголовья в период сомнений. Впрочем, смерть, наверное, несколько не отодвинулась — просто Бетти не стала ее замечать. Она хотела жить, и она хотела вернуться назад в Берлин. Ей не хотелось умирать в Нью-Йорке. Она стремилась на Оливаерплац. Там был ее дом, и туда ей хотелось вернуться.

В ту пору Бетти лихорадочно набрасывалась на газеты, скупала карты Германии и развешивала их у себя в спальне, чтобы следить за продвижением войск союзников. Каждое утро, проглядев военные сводки, она передвигала чуть дальше разноцветные булавки. Ее смерть и смерть, косившая Германию, мчались наперегонки, не отставая друг от друга ни на шаг. Но Бетти была преисполнена жизненной решимости победить в этом состязании.

По натуре она была человеком добрейшей души: ее мягкое сердце буквально таяло, как масло на солнце. Такой она и осталась для друзей. При виде чужих слез она была готова на все, лишь бы их унять. И все же Бетти ожесточилась: гибель Германии она воспринимала не как человеческую трагедию, а всего лишь как трагедию больших чисел. Бетти никак не могла понять, почему немцы не капитулируют. Кан утверждал, что мало-помалу она начала относиться к этому факту, как к личному оскорблению. Многие эмигранты разделяли чувства Бетти, особенно те, которые еще верили, что Германию кто-то сокрушит. И эти люди также не могли уразуметь, почему немецкое государство не прекращает сопротивления. Они даже согласны были признать невиновность простого человека, зажатого в тисках послушания и долга. Никто не понимал,

однако, почему сражался генералитет, который не мог не сознавать безнадежность ситуации. Давно известно, что генералитет, ведущий заведомо проигранную войну, превращается из кучки сомнительных героев в шайку убийц; вот почему эмигранты с отвращением и возмущением взирали на Германию, где из-за трусости, страха и лжегероизма уже произошла эта метаморфоза. Покушение на Гитлера только еще больше подчеркнуло все это: горстке храбрецов противостояло подавляющее большинство себялюбивых и кровожадных генералов, пытавшихся спастись от позора повторением нацистского лозунга: «Сражаться до последней капли крови», — лозунга, который им самим ничем не грозил.

Для Бетти Штейн все это стало глубоко личным делом. Теперь она рассматривала войну лишь с одной точки зрения — удастся ли ей увидеть Оливаерплац или нет. Мысль о пролитой крови васлоняли километры, пройденные союзниками. Бетти шагала с ними вместе. Просыпаясь, она прежде всего думала, где в данный момент находятся американцы; германское государство уменьшилось в ее сознании до предела — до границ Берлина. После долгих поисков Бетти удалось обзавестись картой Берлина. И тут она снова увидела войну со всей ее кровью и ужасами. Она страдала, отмечая на карте районы, разрушенные бомбежками. И она плакала и возмущалась при мысли о том, что даже на детей в Берлине натягивают солдатские шинели и бросают их в бой. Своими большими испуганными глазами — глазами печальной совы — смотрела она на мир, отказываясь понимать, почему ее Берлин и ее берлинцы не капитулируют и не сбрасывают со своей шеи паразитов, которые сосут их кровь.

— Вы надолго уезжаете, Росс? — спросила она меня.

— Не знаю точно. Недели на две. А может, и больше.

— Мне будет вас не хватать.

— Мне вас также, Бетти. Вы мой ангел-хранитель.

— Ангел-хранитель, у которого рак пожирает внутренности.

— У вас нет рака, Бетти.

— Я его чувствую, — сказала она, переходя на шепот. — Чувствую, как он жрет меня по ночам. Я его слышу. Он точно гусеница шелкопряда, которая пожирает листву шелковицы. Я ем пять раз в день. По-моему, я немного поправилась. Как я выгляжу?

— Блестяще, Бетти. У вас здоровый вид.

— Вы думаете, мне это удастся?

— Что, Бетти? Вернуться в Германию? А почему нет? Бетти взглянула на меня, ее беспокойные глаза были обведены темными кругами.

— А они нас впустят?

— Немцы?

Бетти кивнула.

— Я думала об этом сегодня ночью. Вдруг они схватят нас на границе и посадят в концентрационные лагеря?

— Исключено. Ведь они будут тогда побежденным народом и уже не смогут приказывать и распоряжаться. Там начнут распоряжаться американцы, англичане и русские.

Губы Бетти дрожали.

— И вообще на вашем месте, Бетти, я не стал бы ломать себе голову насчет этого,— сказал я.— Подождите, пока война кончится. Тогда увидим, как будут развиваться события. Может быть, совсем иначе, чем мы себе представляем.

— Что? — спросила Бетти испуганно.— Вы считаете, война будет продолжаться и после того, как возьмут Берлин? В Альпах? В Берхтесгадене?

Войну она все время соотносила со своей собственной, быстро убывавшей жизнью,— иначе она не могла о ней думать. Но тут я заметил, что Бетти наблюдает за мной, и взял себя в руки: больные люди куда проницательнее здоровых.

— Вы с Каном зря на меня нападаете,— сказала она жалобно,— все эмигранты, мол, интересуются победами и поражениями, одна я интересуюсь своей Оливаерплац.

— А почему бы вам не интересоваться ею, Бетти? Вы достаточно пережили. Теперь можете спокойно обратить свои помыслы на Оливаерплац.

— Знаю. Но...

— Не слушайте никого, кто вас критикует. Эмигрантам здесь не грозит опасность, вот многие из них и впали в своего рода тюремный психоз. Как ни грубо это звучит, но их рассуждения напоминают рассуждения завсегдаев пивных, так сказать, «пивных политиканов». Всё они знают лучше всех. Будьте такой, какая вы есть, Бетти. Нам хватит «генерала» Танненбаума с его кровавым списком. Второго такого не требуется.

Дождь барабанил в окна. В комнате стало тихо. Бетти вдруг захихикала.

— Ох уж этот Танненбаум. Он говорит, что если ему поручат сыграть в кинофильме Гитлера, он сыграет его как жалкого брачного афериста. Гитлер, говорит он, точь-в-

точь брачный аферист с этим его псевдонаполеоновским клоком волос и со щеточкой под носом. Специалист по стареющим дамам.

Я кивнул. Хотя давно уже устал от дешевых эмигрантских острот. Нельзя отделяться остротами от того, что вызвало мировую катастрофу!

— Юмор Танненбаума неистощим, — сказал я. — Патентованный остряк.

Я встал.

— До свидания, Бетти. Скоро я вернусь. Надеюсь, к тому времени вы забудете все ужасы, какие рисует ваша богатая фантазия. И опять станете прежней Бетти. Ей-богу, вам надо было сделаться писательницей. Хотелось бы мне обладать хотя бы половиной вашей фантазии.

Бетти восприняла мои слова так, как я и хотел — сочла их комплиментом. Ее большие глаза, в которых застыл вопрос, оживились

— Неплохая мысль, Росс! Но о чем я могла бы написать? Ведь я ничего особенного не пережила.

— Напишите о своей жизни, Бетти. О своей самоотверженной жизни, которую вы посвятили всем нам.

— Знаете что, Росс? Я действительно могу попробовать.

— Попробуйте.

— Но кто это прочтет? И кто напечатает? Помните, что получилось с Моллером? Он впал в отчаяние, потому что никто в Америке не хотел напечатать ни строчки из его сочинений. Из-за этого он и повесился.

— Не думаю, Бетти. По-моему, это произошло скорее всего из-за того, что он здесь не мог писать, — сказал я поспешно. — Это нечто совсем другое. Моллер не мог писать, его мозг иссяк. В первый год он еще писал, тогда он был преисполнен возмущения и гнева. Но потом наступил штиль. Опасность миновала, слова возмущения начали повторяться, ибо его чувства не обогащались новыми впечатлениями; он стал просто скучным брюзгой, а потом брюзжание перешло в пассивность и пессимизм. Да, он спасся, но этого ему было мало, как и большинству из нас. Он хотел чего-то иного и из-за этого погиб.

Бетти внимательно слушала. Глаза ее стали менее тревожными.

— И Кан тоже? — спросила она.

— Кан? Что тут общего с Каном?

— Не знаю. Просто мне пришло на ум.

— Кан не писатель. Скорее, он противоположность писателю, человек действия.

— Именно поэтому я о нем вспомнила,— сказала Бетти робко,— но, может, я ошибаюсь.

— Уверен, что ошибаетесь, Бетти.

Впрочем, спускаясь по темной лестнице, я не был в этом уверен. В подъезде я встретил Грефенгейма.

— Ну, как она? — спросил он.

— Плохо,— сказал я.— Вы ей даете лекарства?

— Пока нет. Но они ей скоро понадобятся.

Я шел по мокрой от дождя улице. Недалеко от магазина, где работал Кан, я свернул. Сперва я намеревался идти прямо на Пятьдесят седьмую улицу, но потом раздумал: решил заглянуть к Кану.

Кана я встал в магазине.

— Когда вы едете в Голливуд?

— Дня через два.

— Весьма возможно, что вы встретите там Кармен.

— Кармен?

Кан засмеялся.

— Один тамшний жучок предложил ей контракт как дебютантке. На три месяца. По сто долларов в неделю. Но скоро она опять явится сюда. Кармен — антиталант.

— А она хотела ехать?

— Нет. Слишком тяжела на подъем. Мне пришлось ее уговаривать.

— Зачем?

— Пусть не думает потом, будто упустила шанс. Не хочу давать ей повод всю жизнь попрекать меня. Ну, а так она сама во всем убедится за три месяца. Правильно?

Я не ответил. Кан явно нервничал.

— Разве я неправильно поступил? — спросил он снова.

— Надеюсь, правильно. Но она очень красивая женщина, я бы не рисковал.

Он снова засмеялся несколько деланным смехом.

— Почему, собственно? В Голливуде таких, как Кармен,— тысячи. И многие талантливы. А она даже по-английски не говорит. Но вы все-таки позаботьтесь о ней, когда она туда явится.

— Конечно, Кан. В той степени, в какой вообще можно заботиться о красивой молодой женщине.

— С Кармен возни не много. Большую часть времени она спит.

— Я охотно сделаю все, что смогу. Но ведь я сам не знаю там ни души. Разве что Танненбаума, больше никого.

— Вы можете время от времени водить ее обедать. Уговаривайте ее, когда срок истечет, вернуться в Нью-Йорк.

— Хорошо. Что вы будете делать во время ее отсутствия?

— То же, что всегда.

— Что именно?

— Ничего. Вы же знаете, я продаю приемники. Что я могу делать еще? Энтузиазм, вызванный тем, что ты остался жив, напоминает шампанское. Когда бутылку откупоривают, шампанское быстро выдыхается. Хорошо, что почти никто не размышляет подолгу на эти темы. Желаю вам счастья, Росс! Только не становитесь актером! Вы и так уже актер.

— Когда ты вернешься, в нашем кукушкином гнезде в поднебесье уже будет жить этот педераст-меланхолик,— сказала Наташа,— он возвращается в ближайшие дни. Сегодня утром я узнала это из письма на толстой серой бумаге, от которой несло жокей-клубом.

— Откуда письмо?

— Почему тебя это вдруг заинтересовало?

— Да нет же. Просто я задал идиотский вопрос, чтобы скрыть замешательство.

— Письмо из Мексики. Там тоже закончилась одна большая любовь.

— Что значит: там тоже?

— Этот вопрос также вызван желанием скрыть замешательство?

— Нет. Он вызван чисто абстрактным интересом к развитию человеческих отношений.

Наташа оперлась на руку и посмотрела в зеркало: наши взгляды встретились.

— Почему, собственно, мы проявляем гораздо больший интерес к несчастью своих ближних, нежели к счастью? Значит ли это, что человек — завистливая скотина?

— Это уж точно! Но, кроме того, счастье нагоняет скуку, а несчастье — нет.

Наташа засмеялась.

— В этом что-то есть! О счастье можно говорить минут пять, не больше. Тут ничего не скажешь, кроме того,

что ты счастлива. А о несчастье люди рассказывают ночи напролет. Правда?

— Правда, когда речь идет о небольшом несчастье,— сказал я, поколебавшись секунду,— а не о подлинном.

Наташа все еще не сводила с меня взгляда. Косая полоса света из соседней комнаты падала ей на глаза, и они казались удивительно светлыми и прозрачными.

— Ты очень несчастен, Роберт? — спросила она, не отрывая взгляда от моего лица.

— Нет,— сказал я, помолчав немного.

— Хорошо, что ты не сказал: я счастлив. Обычно ложь меня не смущает. Да я и сама умею лгать. Но иногда ложь невыносима.

— Но я хочу стать счастливым,— сказал я.

— Тебе это, однако, не удастся. Ты не можешь быть счастливым, как все люди.

Мы все еще смотрели друг на друга. И мне казалось, что отвечать, видя Наташу в зеркале, легче, чем глядя ей в глаза.

— На днях ты меня уже спрашивала об этом.

— Тогда ты солгал. Боялся, что я устрою сцену, и хотел ее избежать. Но я не собиралась устраивать сцену.

— Я и тогда не лгал,— возразил я почти машинально и тут же пожалел о своих словах.

За годы скитаний я усвоил некоторые правила, которые были мне необходимы, чтобы выжить, но не очень-то годились для личной жизни; одно из этих правил гласило: никогда не признавайся в том, что ты солгал. В борьбе с властями оно себя оправдывало, но во взаимоотношениях с любимой женщиной было не всегда приемлемым, хотя и здесь приносило скорее пользу, чем вред.

— Я не лгал,— повторил я,— просто я неудачно выразился. Некоторые понятия мы почерпнули из прошлого века, века романтики, но теперь их следует сильно изменить. К ним отнесится и понятие счастья. Как легко было стать счастливым! Причем под счастьем подразумевалось абсолютное счастье! Я не говорю сейчас ни о писателях, ни о фальшивомонетчиках — этим удавалось дурачить целые эпохи своей хитроумной ложью; даже великие люди попадали под гипноз яркого шарика с сусальной позолотой, именовавшегося «счастьем»: они считали его панацеей от всего! Человек полюбивший был счастлив, а раз он был счастлив, то уж абсолютно счастлив!

Наташа отвела от меня взгляд и опять растянулась на кровати.

— Да, профессор,— пробормотала она.— Это, конечно, очень умно, но не думаешь ли ты, что раньше было проще?

— Да, наверное.

— Все дело в том, как человек воспринимает жизнь! Что значит — правда? Чувства не имеют отношения к правде.

Я засмеялся.

— Конечно, не имеют.

— Вы всё на свете запутали. Как хорошо было в старину, когда неправду называли не ложью, а фантазией и когда о любви судили по ее силе, а не по абстрактным моральным нормам... Любопытно, каким ты вернешься из этого осинового гнезда — Голливуда! Там тебе все уши прожужжат громкими и избитыми фразами. Они сыплются в этом городе, как пух из лопнувшей перины.

— Откуда ты знаешь? Разве ты там была?

— Да,— сказала Наташа.— К счастью, я оказалась нефотогеничной.

— Ты оказалась нефотогеничной?

— Да. Понимай как хочешь.

— А если бы не это, ты бы там осталась?

Наташа поцеловала меня.

— Конечно, мой немецкий Гамлет. Женщина, которая ответит тебе иначе, солжет. Ты думаешь, у меня такая уж благодарная профессия? Думаешь, я не смогла бы от нее отказаться? Чего стоят одни эти богачки с жирными телесами, которым надо врать, будто фасоны для стройных годятся и им! А худые стервы? Они не решаются завести себе любовника, да и не могут найти его, а свою злость срывают на людях подневольных и беззащитных.

— Я был бы рад, если бы ты могла поехать со мной,— вырвалось у меня.

— Ничего не выйдет. Начинается зимний сезон, и у нас нет денег.

— Ты будешь мне изменять?

— Естественно,— сказала она.

— По-твоему, это естественно?

— Я не изменяю тебе, когда ты здесь.

Я взглянул на Наташу. Я не был до конца уверен, что у нее на уме то же, что и на языке.

— Когда человека нет, у тебя появляется чувство, будто он уже никогда не вернется,— сказала она.— Не сразу появляется, но очень скоро.

— Как скоро?

— Разве это можно сказать заранее? Не оставляй меня одну, и тебе не придется задавать таких вопросов.

— Да, это удобнее всего.

— Проще всего,— поправила она.— Когда рядом кто-то есть, тебе ничего больше не нужно. А когда нет, наступает одиночество. Кто же в силах выносить одиночество? Я не в силах.

— И все же это происходит мгновенно? — спросил я, теперь уже несколько встревоженный.— Просто меняют одного на другого?

Наташа рассмеялась.

— Ну конечно, нет. Совсем не так. Меняют не одного на другого, а... одиночество на неодинокчество. Мужчины, возможно, умеют жить в одиночестве, женщины — нет.

— Ты не можешь быть одна?

— Мне плохо, когда я одна, Роберт. Я как плющ. Стоит мне остаться одной, и я начинаю стелиться по полу и гибнуть.

— За две недели ты погибнешь?

— Кто знает, сколько ты будешь в отъезде? Не верю я в твердые даты. Особенно в даты возвращения.

— Ничего себе, лучезарные перспективы!

Она внезапно повернулась и опять поцеловала меня.

— Тебе нравятся слезливые дуры, которые грозятся уйти в монастырь?

— Когда я здесь, не нравятся, а когда уезжаю, очень нравятся.

— Нельзя иметь все сразу.

— Это самая грустная сентенция из всех, какие существуют.

— Не самая грустная, а самая мудрая.

Я знал, что мы сражаемся в шутку, что это всего лишь игра. Но стрелы были не такие уж тупые, слова проникали глубоко под кожу.

— Будь моя воля, я остался бы,— сказал я.— Ехать в такое время года в Голливуд, по-моему, бессмысленно. Но если я откажусь, мне через неделю нечего будет есть. Силверс наймет на мое место другого.

Я тут же возненавидел себя за эти слова. Мне вообще не следовало пускаться в объяснения — нельзя было ставить себя в положение человека зависимого, в положение мужа-подбашмачника. Наташа меня перехитрила, подумал я с горечью, что она выбрала место сражения. И теперь

я должен был воевать не на ее, а на своей территории, что всегда опасно. Когда-то мне объяснил это знакомый матадор.

— Хочешь не хочешь, надо мириться с судьбой,— сказал я рассмеявшись.

Ей это не понравилось, но она не стала возражать. Я знал, что настроение у нее менялось молниеносно,— вот и на этот раз она вдруг с грустью сказала:

— Уже осень. А осенью не следует оставаться одной. Пережить осень и так достаточно трудно.

— Для тебя настала зима. Ты ведь всегда на один сезон опережаешь время. Помнишь, ты мне говорила? А сейчас ты в разгаре зимних мод и снежных выюг.

— Ты всегда найдешь, что ответить,— сказала она неприятно.— И всегда предложишь какой-нибудь выход.

— Бывает, что и я не могу найти выхода,— сказал я.— Выхода для тебя!

Выражение ее лица изменилось.

— Мне бы не хотелось, чтобы ты лгал.

— Я вовсе не лгу. Я действительно не вижу выхода. Да и как его увидеть?

— Ты вечно строишь планы на будущее. И не любишь неожиданностей. А для меня все — неожиданность. Почему это так?

— В моей жизни неожиданности плохо кончались. Правда, не с тобой. Ты неожиданность, которая никогда не переходит в привычку.

— Останешься сегодня на ночь у меня?

— Останусь до тех пор, пока не придется бегом нестись на вокзал.

— Это вовсе не обязательно. Проще взять такси.

В ту ночь мы спали мало. Просыпались и любили друг друга, потом засыпали, крепко обнявшись, и опять просыпались, и, поговорив немного, снова любили друг друга или просто лежали рядом, чувствуя теплоту наших тел и стараясь проникнуть в тайну человеческой кожи, сближающей и навек разъединяющей людей. Мы изнемогали от попыток слиться воедино и, громко крича, понукали друг друга, как понукают лошадей, заставляя их напрячь все силы, но и эти окрики, и эти слова, всплывавшие откуда-то из глубин подсознания, были бесполезны; мы ненавидели, и мы любили друг друга, и изрыгали ругательства, которые были под стать разве что ломовым извозчикам, и все лишь

затем, чтобы теснее слиться друг с другом и освободить свой мозг от искусственно возведенных барьеров, мешающих познать тайну ветра и моря и тайну мира зверей; мы осыпали друг друга площадной бранью и шептали друг другу самые нежные слова, а потом, вконец вымотанные и измученные, лежали, ожидая, когда придет тишина, глубокая, коричнево-золотая тишина, полное успокоение, при котором нет сил произнести ни слова, да и вообще слова не нужны — они разбросаны где-то вдалеке, подобно камням после сильного урагана; мы ждали этой тишины, и она приходила к нам, была с нами рядом, мы ее чувствовали и сами становились тихими, как дыхание, но не бурное дыхание, а еле заметное, почти не вздымающее грудь. Тишина приходила, мы погружались в нее целиком, и Наташа сразу проваливалась куда-то вглубь, в сон. А я долго не засыпал и все смотрел на нее. Смотрел с тайным любопытством, которое я почему-то испытываю ко всем спящим, словно они знают нечто такое, что скрыто от меня навсегда. Я смотрел на отрешенное Наташино лицо с длинными ресницами и знал, что сон — этот маг и волшебник — отнял ее у меня, заставил забыть обо мне и о только что промелькнувшем часе клятв, криков и восторгов; для нее я уже не существовал; я мог умереть, но и это ничего не изменило бы. Я жадно, даже с некоторым страхом смотрел на эту чужую женщину, которая стала для меня самой близкой, и, глядя на нее, вдруг понял, что только мертвые принадлежат нам целиком, только они не могут ускользнуть. Все остальное в жизни движется, видоизменяется, уходит, исчезает и, даже появившись вновь, становится неузнаваемым. Одни лишь мертвые хранят верность. И в этом их сила.

Я прислушался к ветру: на такой высоте он почти всегда завывал между домами. Я боялся заснуть, хотел окончательно отогнать от себя прошлое и смотрел на Наташино лицо, — между бровями у нее теперь залегла тонкая складка. Я смотрел на Наташу, и в какое-то мгновение мне показалось, что я вот-вот пойму нечто важное, войду в какую-то незнакомую, ровно освещенную комнату, о существовании которой я до сих пор не подозревал. И тут я почувствовал внезапно, как меня охватило тихое чувство счастья, ибо передо мной открылись неведомые просторы. Затаив дыхание, я осторожно приближался к ним, но в тот миг, когда я сделал последний шаг, все опять исчезло, и я заснул.

В «Садах алаха» был бассейн для плаванья и маленькие коттеджи, сдававшиеся внаем. В них жили по одному, по двое или по несколько человек. Меня поселили в домике, где уже находился один постоялец — актер. У каждого из нас была своя комната, а ванная была общая. По виду эта гостиница смахивала на цыганский табор, хотя жить в ней было удобно. Несмотря на непривычную обстановку, я почувствовал себя хорошо. В первый же вечер актер пригласил меня к себе. Он угощал виски и калифорнийским вином, и весь вечер к нему валил народ — его знакомые. Обстановка была самая непринужденная, и если кому-нибудь из гостей хотелось освежиться, он прыгал в зеленовато-голубую подсвеченную воду бассейна и плавал там. Я выступал в своей старой роли — бывшего эксперта из Лувра. Опасаясь длинных языков, я счел самым правильным и в частной жизни придерживаться той же версии; в конце концов Силверс платил мне именно за это.

В первые дни я был совершенно свободен. Картины, которые Силверс послал сюда из Нью-Йорка, еще не прибыли. Я бродил по «Садам алаха» и ездил на берег океана с Джоном Скоттом — моим соседом-актером, который прощещал меня насчет жизни в Голливуде.

Уже в Нью-Йорке меня преследовала мысль о нереальности окружающего; эта огромная страна вела войну, и в то же время войны здесь совершенно не чувствовалось: между Америкой и фронтами пролегало полмира; ну, а уж в Голливуде война и вообще казалась просто литературной категорией. Здесь бродили косяками полковники и капитаны в соответствующих мундирах, но никто из них понятия не имел о войне, то были кинополковники, кинокапитаны, кинорежиссеры и кинопродюсеры, каждого из которых могли в один прекрасный день произвести в чин полковника благодаря какой-то чепухе, тем или иным образом связанной с военными фильмами; никто из них, разумеется, ничего не смыслил в военном деле, разве что усвоил нехитрую истину: здороваясь, нельзя снимать фуражку. Война стала в Голливуде примерно таким же понятием, как «Дикий Запад», и у меня создалось впечатление, что статисты, участвовавшие в фильмах о войне, вечером появлялись в тех же костюмах. Иллюзия и действительность слились здесь настолько прочно, что превратились в некую новую субстанцию, наподобие того, как медь, сплавляясь с цин-

ком, превращается в латунь, эдакое золото для бедных. При всем том в Голливуде было полным-полно выдающихся музыкантов, поэтов и философов, равно как и мечтателей, сектантов и просто жуликов. Всех он принимал, но тех, кто вовремя не спохватывался, нивелировал, хотя многие этого не сознавали. Пошлая фраза о том, что человек продает душу дьяволу, имела здесь вполне реальный смысл. Правда, Голливуд превращал в латунь всего лишь медь и цинк, так что далеко не все громкие сетования, раздававшиеся по этому поводу, были обоснованы.

Мы сидели на песчаном пляже в Санта-Монике. Тихий океан катил свои серо-зеленые волны у наших ног. Рядом с нами пиццали детишки, а позади, в дощатой закусочной, варили омаров. Начинающие актеры с независимым видом вышагивали по пляжу в надежде, что их «откроет» какой-нибудь talentscout¹ или помощник режиссера. Официантки во всех ресторанах и кафе также ждали своего часа, а пока что потребляли тонны румян и помады, ходили в обтягивающих брючках и коротких юбках. И вообще атмосфера здесь была, как в игорном доме, где каждый лихорадочно мечтает сорвать банк — получить роль в фильме.

— Танненбаум? — спросил я с некоторым сомнением и воззрился на субъекта в клетчатом пиджаке, который стоял против солнца, заслоня мне океан.

— Собственной персоной, — с достоинством ответил исполнитель ролей нацистских фюреров. — Вы живете в «Садах аллаха»? Не так ли?

— Откуда вы знаете?

— Это — прибежище всех актеров-эмигрантов.

— Черт побери! А я-то думал, что избавился, наконец, от эмигрантов. И вы там поселились?

— Я въехал туда сегодня в полдень.

— Сегодня в полдень! Стало быть, два часа назад. И уже разгуливаете по берегу Тихого океана без галстука, с ярко-красным шелковым платком вокруг шеи и в клетчатом желтом спортивном пиджаке. Вот это я понимаю!

— Не люблю терять время! Я вижу, вы здесь со Скоттом.

— Вы и с ним знакомы?

— Конечно. Я ведь уже был в Голливуде дважды. Первый раз играл шарфюрера, второй — штурмшарфюрера.

¹ Искатель талантов (англ.) — специальная должность в кинопромышленности США.

— Вы делаете головокружительную карьеру. Теперь вы, по-моему, уже штурмбаннфюрер?

— Группенфюрер.

— Съёмки уже начались? — спросил Скотт.

— Нет еще. Приступаем на следующей неделе. Сейчас у нас идет примерка костюмов.

«Примерка костюмов!» — повторил я про себя. То, о чем я боялся думать, то, что тщетно хотел изгнать из своих снов, обернулось здесь маскарадом. Я не сводил глаз с Танненбаума, и меня вдруг охватило ощущение небывалой легкости. Передо мной была серебристо-серая поверхность океана, волны из ртути и свинца, теснившиеся к горизонту, и этот смешной человек, для которого мировая катастрофа обернулась примеркой костюмов, гримом и киносценариями. И мне показалось, будто сплошные тяжелые тучи над моей головой разорвались. Может быть, подумал я, может быть, существует и такое состояние, когда все пережитое перестаешь воспринимать всерьез. Я даже не мечтаю, чтобы для меня это свелось к примерке костюмов и к кинофильмам, — пусть хотя бы перестанет висеть надо мной, подобно гигантскому глетчеру, который в любую секунду может обрушиться и похоронить меня подо льдом.

— Когда вы оттуда уехали, Танненбаум? — спросил я.

— В тридцать четвертом.

Я собирался еще многое спросить, но вовремя одумался. Мне хотелось узнать, потерял ли он близких — каких-нибудь родственников, которых не выпустили из Германии или сразу уничтожили... Скорее всего так и было, но об этом не полагалось спрашивать. Да и знать я хотел это только для того, чтобы представить себе, как он сумел все преодолеть, чтобы изображать теперь без душевного надрыва людей, которые были убийцами его близких. Впрочем, необходимости в этом не было. Уже самый факт, что он их играл, делал мои вопросы излишними.

— Я рад вас видеть, Танненбаум, — сказал я.

Он подозрительно покосился на меня.

— По-моему, мы с вами не в таких отношениях, чтобы рассыпаться друг перед другом в комплиментах, — сказал он.

— Но я действительно рад, — повторил я.

Силверс что-то темнил; он действовал, но довольно безуспешно и через несколько дней переменял тактику; ринулся в прямую атаку. Начал названивать продюсерам

и режиссерам, с которыми познакомился когда-то через других покупателей, и приглашать их посмотреть картины. Но произошла весьма обычная история: люди, которые в Нью-Йорке чуть не со слезами на глазах умоляли его посетить их, как только он окажется в Лос-Анджелесе, теперь вдруг с большим трудом узнавали его, а когда он приглашал их поглядеть картины, ссылались на недосуг.

— Черт бы побрал этих варваров,— брюзжал Силверс уже через неделю после нашего приезда.— Если ничего не изменится, придется возвращаться в Нью-Йорк. Что за народ живет в «Садах аллаха»?

— Для вас это не клиенты,— заверил я его.— В лучшем случае они могут купить маленький рисунок или литографию.

— На безрыбье и рак — рыба. У нас с собой два маленьких рисунка Дега и два рисунка углем Пикассо. Возьмите их и повесьте у себя в комнате. И устройте вечеринку с коктейлями.

— За свои деньги или в счет издержек производства?

— Ну конечно, за мой счет. У вас в голове одни только деньги.

— У меня пусто в карманах, вот и приходится держать деньги в голове.

Силверс махнул рукой. Ему было не до остроумия.

— Попробуйте счастья у себя в гостинице. Может быть, подцепите какую-нибудь мелкую рыбешку, раз не удастся поймать щуку.

Я пригласил Скотта, Танненбаума и еще несколько человек — их знакомых. «Сады аллаха» славились своими вечеринками с коктейлями. По словам Скотта, они иногда продолжались здесь до утра. Отчасти из вежливости, отчасти шутки ради я пригласил и Силверса. Сперва он вроде удивился, а потом с высокомерным видом отказался прийти. Такого рода вечеринки годились только для мелкого люда, посещать их было ниже его достоинства.

Вечеринка началась весьма многообещающе: пришло на десять человек больше, чем я позвал, а часов в десять вечера незваных гостей было уже по крайней мере человек двадцать. Спиртные напитки скоро кончились, и мы перешли в другой коттедж. Седой человек с красным лицом, которого все звали Эдди, заказал бутербродов, котлет и гору сосисок. В одиннадцать часов я настолько подружился с десятком незнакомых людей, что мы стали называть друг друга по имени, впрочем, по всей видимости, это произошло слишком поздно. Обычно на голливудских вечерин-

как люди становились закадычными друзьями в более ранний час. В полночь несколько человек свалились в бассейн, а нескольких гостей столкнули туда. Это считалось чрезвычайно изысканной шуткой. Девушки в бюстгальтерах и трусиках плавали в голубовато-зеленоватой подсвеченной воде. Они были совсем молоденькие и очень хорошенькие, и их забавы производили почему-то вполне невинное впечатление. Вообще, несмотря на весь шум и гам, вечеринка казалась, как ни странно, на редкость целомудренной. В тот час, когда в Европе люди давным-давно лежат в постелях, мои гости обступили рояль и втянули сентиментальные ковбойские песенки.

Постепенно я потерял контроль над собой. Все вокруг начало шататься, что меня, в общем, устраивало. Мне не хотелось быть трезвым — из ненависти к ночам, когда вдруг просыпаешься один и не знаешь, где ты; от этих ночей было рукой подать до неотвязных кошмаров. Теперь я медленно погружался в тяжелое, хотя и довольно приятное опьянение, и передо мной то тут, то там мелькали коричневые и золотые вспышки.

На следующее утро я не имел ни малейшего представления ни о том, где бродил ночью, ни о том, как попал к себе в комнату. Скотт попытался напомнить мне, что произошло.

— Вы продали два рисунка, которые здесь висели, Роберт, — сказал он. — Они были ваши?

Я оглянулся. Голова у меня гудела. Рисунки Дега отсутствовали.

— Кому я их продал? — спросил я.

— По-моему, Холту. Режиссеру, у которого снимается Танненбаум.

— Холту? Понятия не имею. Боже мой, ну и напился же я.

— Мы все перебрали. Вечеринка была чудесная. И вы, Роберт, были просто великолепны.

Я посмотрел на него подозрительно.

— Вел себя как последний болван?

— Нет, по-дурацки вел себя только Джими. Как всегда, плакал пьяными слезами. Вы были на высоте. Одного только не знаю: когда вы продавали рисунки, вы уже были под мухой? По виду ничего нельзя было сказать.

— Наверное, под мухой: Я ровно ничего не помню.

— И о чеке тоже не помните?

— О каком чеке?

— Но Холт же сразу дал вам чек.

Я поднялся и начал шарить у себя в карманах. Действительно, там лежал сложенный в несколько раз чек. Я долго смотрел на него.

— Холт прямо зашелся,— сказал Скотт.— Вы рассуждали об искусстве как бог. Он сразу же и забрал рисунки, в такой он пришел восторг.

Я поднес чек к свету. Потом засмеялся. Я продал рисунки на пятьсот долларов дороже, чем оценил их Силверс.

— Ну и ну,— сказал я, обращаясь к Скотту.— Я отдал рисунки слишком дешево.

— Правда? Вот скверная история! Не думаю, чтобы Холт согласился их вернуть.

— Ничего,— сказал я,— сам виноват.

— Для вас это очень неприятно?

— Не очень. Поделом мне. А рисунки Пикассо я тоже продал?

— Что?

— Два других рисунка?

— Это я уж не знаю. Как вы относитесь к тому, чтобы залезть в бассейн? Самое лучшее средство против похмелья.

— У меня нет плавок.

Скотт притащил из своей комнаты четыре пары плавок.

— Выбирайте. Будете завтракать или уже прямо обедать? Сейчас час дня.

Я встал. Когда я вышел в сад, моим глазам представилась мирная картина. Вода сверкала, несколько девушек плавали в бассейне, хорошо одетые мужчины сидели в креслах, читали газеты, потягивали апельсиновый сок или виски и лениво переговаривались. Я узнал седого человека, у которого мы были накануне вечером. Он кивнул мне. Три других господина, которых я не узнал, также кивнули мне. У меня вдруг появилась целая куча уважаемых друзей, которых я даже не знал. Алкоголь оказался куда более верным средством сближения, нежели интеллект; все проблемы вдруг куда-то исчезли, и небо было безоблачно; поистине этот клочок земли вдали от сложностей и бурь окутанной мглой Европы был сущим раем. Впрочем, только на первый взгляд. То была иллюзия. Не сомневаюсь, что и здесь хозяевами положения были не бабочки, а змеи. Но даже эта иллюзия казалась невероятной; я чувствовал себя так, словно меня перенесли на остров Таити в благословенные моря южных широт, где мне не оставалось ничего иного, как забыть прошлое, мое убийственное второе

«я», забыть весь горький опыт и всю грязь прошедших лет и вернуться к жизни, чистой и первозданной.

Быть может, думал я, прыгая в голубовато-зеленую воду бассейна, быть может, на этот раз я действительно избавлюсь от прошлого и начну все сначала, отброшу все планы мщения, которые давят на меня, как солдатский ранец, набитый свинцом.

Гнев Силверса мгновенно улетучился, как только я вручил ему чек. Это не помешало ему, однако, сказать:

— Надо было запросить на тысячу долларов больше.

— Я и так уже запросил на пятьсот долларов больше, чем вы велели. Если желаете, могу вернуть чек и опять принести вам рисунки.

— Это не в моих правилах. Раз продано, значит, продано. Даже себе в убыток.

Силверс сидел, развалившись, на светло-голубом кожаном диване у окна; внизу, под окном его номера, также был плавательный бассейн.

— У меня есть желающие и на рисунки Пикассо,— сказал я.— Но, думается, будет лучше, если вы продадите их сами. Не хочу делать вас банкротом из-за того, что я неправильно манипулирую ценами, которые вы назначаете.

Силверс вдруг улыбнулся.

— Милый Росс, у вас нет чувства юмора. Продавайте себе на здоровье. Неужели вы не понимаете, что во мне говорит профессиональная зависть? Вы уже здесь кое-что продали, а я ровным счетом ничего.

Я оглядел его. Он был одет даже более по-голливудски, чем Танненбаум, а это что-нибудь да значило! Спортивный пиджак Силверса был, разумеется, английский, в то время как Танненбаум носил готовые американские вещи. Но ботинки у Силверса были чересчур уж желтые, а его шелковый шейный платок слишком уж большой и к тому же слепяще-красный — цвета киновари.

Я понимал, к чему клонился разговор: Силверс не хотел платить мне комиссионных. Да я и не ждал комиссионных. А потому не удивился, когда он сказал, чтобы я поскорее представил ему счет за вечеринку с коктейлями. После обеда за мной явился Танненбаум.

— Вы обещали Холту приехать сегодня на студию,— сказал он.

— Разве? — удивился я.— Что я там еще наболтал?

— Вы были в ударе. И продали Холту два рисунка. А сегодня хотели посоветовать, в какие рамы их вставить.

— Они же были в рамах!

— Вы сказали, что это дешевые стандартные рамы. А ему надо купить старинные рамы восемнадцатого века, тогда ценность рисунков возрастет втрое. Поехали со мной. Посмотрите хоть раз, как выглядит студия.

— Хорошо.

В голове у меня по-прежнему был полный сумбур. Без долгих разговоров я последовал за Танненбаумом. У него оказался старый «шевроле».

— Где вы научились водить машину? — спросил я.

— В Калифорнии. Здесь машина необходима. Слишком большие расстояния. Можно купить машину за несколько долларов.

— Вы хотите сказать: за несколько сот долларов?

Танненбаум кивнул. Мы проехали через ворота в ограде, напминавшей надолбы; ворота охраняли полицейские.

— Здесь тюрьма? — спросил я, когда машину остановили.

— Какая чушь! Это полиция киностудии. Она следит за тем, чтобы студию не наводняли толпы зевак и неудачников, которые хотят попытаться счастья в кино.

Сперва мы миновали поселок золотоискателей. Потом проехали по улице, где было полно салунов, как на Диком Западе; за ними одиноко стоял танцзал. Вся эта бутафория под открытым небом производила странное впечатление. Большинство декораций состояло из одних фасадов, за которыми ничего не было, поэтому казалось, будто здесь только что прошла война и дома разбиты и разбомблены с невиданной аккуратностью и методичностью.

— Декорации для натуральных съемок, — объяснил Танненбаум. — Здесь выстреливают сотни ковбойских фильмов и вестернов с почти одинаковыми сюжетами. Иногда даже не меняют актеров. Но публика ничего не замечает.

Мы остановились у гигантского павильона. На стенах его в разных местах было выведено черной краской: «Павильон № 5». Над дверью горела красная лампочка.

— Придется минутку обождать, — сказал Танненбаум. — Сейчас как раз идет съемка. Как вам здесь нравится?

— Очень нравится, — сказал я. — Немного напоминает цирк и цыганский табор.

Перед павильоном № 4 стояло несколько ковбоев и кучка людей в старинных одеждах: дамы в платьях до пят,

бородатые пуритане в широкополых шляпах и в сюртуках. Почти все они были загримированы, что при свете солнца казалось особенно странным. Я увидел также лошадей и шерифа, который пил кока-колу.

Красная лампочка над павильоном № 5 потухла, и мы вошли внутрь. После яркого света я в первое мгновение не мог ничего различить. И вдруг окаменел. Человек двадцать эсэсовцев двигались прямо на меня. Я тотчас круто повернулся и приготовился бежать, но налетел на Танненбаума, который шел сзади.

— Кино,— сказал он.— Почти как в жизни. Не правда ли?

— Что?

— Я говорю, здорово у них это получается.

— Да,— с трудом выдавил я из себя и секунду колебался, не дать ли ему по физиономии.

Над головами эсэсовцев на заднем плане я увидел сторожевую вышку, а перед ней ряды колючей проволоки. Я заметил, что дышу очень громко, с присвистом.

— Что случилось? — спросил Танненбаум.— Вы испугались? Но вы же знали, что я играю в антифашистском фильме.

Я кивнул, стараясь взять себя в руки.

— Забыл,— сказал я.— После вчерашнего вечера. Голова у меня все еще трещит. Тут забудешь все на свете.

— Ну, конечно, конечно! Мне бы следовало вам напомнить.

— Зачем? Мы ведь в Калифорнии,— сказал я все еще нетвердым голосом.— Я растерялся только в первую секунду.

— Ясно, ясно. И со мной бы это произошло. В первый раз со мной так и случилось. Но потом я, конечно, привык.

— Что?

— Я говорю, что привык к этому,— повторил Танненбаум.

— Правда?

— Ну да!

Я снова обернулся и посмотрел на ненавистные эсэсовские мундиры. И почувствовал, что меня вот-вот вырвет. Бессмысленная ярость вскипала во мне, но без толку: я не видел вокруг ни одного объекта, на который мог бы излить ее. Эсэсовцы, как я вскоре заметил, говорили по-английски. Но и потом, когда моя ярость утихла, а страх ис-

чез, у меня осталось ощущение, будто я перенес тяжелый припадок. Все мускулы болели.

— А вот и Холт! — воскликнул Танненбаум.

— Да,— сказал я, не сводя глаз с рядов колючей проволоки вокруг концентрационного лагеря.

— Хэлло, Роберт!

Холт был в тирольской шляпе и в гольфах. Я бы не удивился, если бы увидел у него на груди свастикку. Или желтую звезду.

— А я и не знал, что вы уже начали съемки,— сказал Танненбаум.

— Всего два часа назад, после обеда. На сегодня хватит. Как вы отнесетесь к стакану шотландского виски?

Я поднял руку.

— Не могу еще. После вчерашнего.

— Как раз поэтому я и предложил. Клин клином вышибают. Самый лучший способ.

— Неужели? — сказал я рассеянно.

— Старый рецепт! — Холт ударил меня по плечу.

— Может быть,— сказал я.— Вы правы, конечно.

— Ну вот, молодец!

Выйдя из павильона, мы прошли мимо кучки мирно болтающих эсэсовцев. «Переодетые актеры»,— твердил я себе, все еще не в силах осознать происходящее. Наконец мне удалось взять себя в руки.

— У того парня,— сказал я, указывая на актера в мундире шарфюрера,— фуражка не по форме.

— Правда? — спросил Холт с тревогой.— Вы уверены?

— Да, уверен. К сожалению.

— Это надо немедленно проверить,— сказал Холт, обращаясь к молодому человеку в зеленых очках.— Где консультант по костюмам?

— Сейчас найду.

«Консультант по костюмам,— думал я.— Там они еще льют кровь, а здесь их уже изображают статисты. Впрочем, быть может, все, что произошло у меня на родине за эти одиннадцать-двенадцать лет, было на самом деле лишь бунтом статистов, которые вздумали разыграть из себя героев, но так и остались пошлой бандой палачей».

— Кто у вас консультант? — спросил я.— Настоящий гитлеровец?

— Не знаю точно,— сказал Холт.— Во всяком случае, сн специалист. Неужели, черт подери, нам придется из-за одной этой вшивой фуражки переснимать всю сцену?

Мы пошли в столовую. Холт заказал виски с содовой. Меня уже не удивляло, что официантки были все как на подбор ухоженные красавицы. Конечно, они только и ждали, когда их «откроют».

— Я еще хотел спросить вас насчет рисунков Дега,— сказал Холт немного погодя.— Они ведь настоящие, правда? Не обижайтесь, но мне сказали, что существует чертова уйма подделок.

— Тут нечего обижаться, Джо. Ваше право узнать все досконально. На рисунках нет собственноручной подписи Дега, только красная печать с его именем. Вас смущает это?

Холт кивнул.

— Красная печать — это печать мастерской художника. Рисунки найдены после смерти Дега и помечены печатью. Об этом существует специальная литература, с репродукциями. У господина Силверса, который приехал со мной, эти книги есть, он вам их с удовольствием покажет. Почему бы вам не посетить его? Вы уже свободны?

— Освобожусь через час. Но я вам верю, Роберт.

— Я сам себе часто не верю, Джо. Давайте встретимся в шесть в отеле «Бeverли-Хилс». Хорошо? Тогда вы сами убедитесь во всем. Кроме того, Силверс даст вам официальную квитанцию, удостоверяющую вашу покупку, и паспорт к рисункам. Так положено.

— Хорошо.

Силверс принял нас, сидя на том же светло-голубом диване. Глядя на него, нельзя было сказать, что приезд в Голливуд не принес ему ничего, кроме неудач. Вел он себя весьма высокомерно: велел мне изготовить документ, подтверждающий покупку рисунков на посмертном аукционе, а сам вручил Холту паспорт и фотографии обеих работ.

— Рисунки достались вам, можно сказать, даром,— объявил он надменно.— Мой сотрудник господин Росс, эксперт из Лувра, вообще не занимается продажей. Поэтому я назвал ему ту цену, за которую сам приобрел эти вещи. Произошла досадная ошибка. Он не знал, что это не продажная цена, и предложил вам рисунки за ту цену, какую я сам уплатил год назад. Если бы я захотел сейчас купить эти рисунки Дега, мне пришлось бы выложить минимум на пятьдесят процентов больше.

— Хотите аннулировать сделку? — спросил Холт.

Силверс махнул рукой.

— Что продано, то продано. Просто я хотел вас поздравить. Вы совершили потрясающе выгодную покупку.

Силверс немного оттаял и заказал кофе с коньяком.

— Хочу сделать вам одно предложение,— начал он.— Я покупаю у вас оба рисунка с двадцатипроцентной надбавкой, если вы, конечно, согласны. Немедленно.— И он сунул руку в карман своего спортивного пиджака, словно собираясь вытащить чековую книжку.

Я с любопытством ждал, как Холт отнесется к этому жульническому трюку. Он отнесся правильно. Сказал, что купил рисунки только потому, что они ему понравились. И хотел бы их сохранить. И даже наоборот: решил воспользоваться преимущественным правом, которое я дал ему вчера вечером, и купить еще два рисунка Пикассо.

Я в изумлении воззрелся на него: ни о каком преимущественном праве у нас и речи не было, но мне показалось, что в глазах Холта появился алчный блеск — ему тоже хотелось сделать бизнес. Этот малый соображал быстро.

— Преимущественное право? — спросил меня Силверс.— Вы его дали кому-нибудь?

Я тоже соображал быстро. Нет, об оптации речи не было. Очевидно, Холт смошенничал. Но он наверняка не запомнил цены, о которой говорилось вчера.

— Правильно,— сказал я.— Преимущественное право покупки до сегодняшнего вечера.

— А цена?

— Шесть тысяч долларов.

— За один рисунок? — спросил Силверс.

— За два,— опередил меня Холт.

— Правильно? — спросил Силверс резко.

Я опустил голову. Названная цена была на две тысячи выше той, какую назначил за оба рисунка Силверс.

— Правильно,— сказал я.

— Вы меня разоряете, господин Росс,— сказал Силверс неожиданно мягко.

— Мы очень много выпили,— оправдывался я.— Я не привык столько пить.

Холт рассмеялся.

— Как-то раз, выпив, я проиграл двенадцать тысяч долларов в триктрак,— сказал Холт.— Для меня это был хороший урок.

При словах «двенадцать тысяч долларов» в глазах Силверса промелькнул тот же блеск, что прежде в глазах Холта.

— Пусть это и для вас будет уроком, Росс,— сказал он.— Вы — кабинетный ученый, а уж никак не деловой человек. Ваша сфера — музеи.

При этих словах я вздрогнул.

— Возможно,— сказал я и повернулся к окну.

Вечерело, в синих сумерках носились взад и вперед белые фигурки — последние игроки в теннис. Бассейн для плавания опустел, зато вокруг маленьких столиков сидело много народа — постояльцы пили освежающие напитки; из бара рядом доносилась приглушенная музыка. И тут вдруг во мне поднялась такая всепоглощающая тоска — тоска по Наташе, по моему детству, по давно забытым юношеским грезам, мне стало так жаль моей загубленной жизни, что я подумал: этого я не вынесу. С отчаянием я понял, что никогда не избавлюсь от прошлого и, повинувшись мрачным законам бессмыслицы, буду тупо губить остаток своей жизни. Спасения не было, я это чувствовал, ничто уже не ждало меня впереди, мне оставалось лишь цепляться за этот внезапно появившийся оазис, миг затишья в мире, который, как оползень, неудержимо сползал в пропасть. Мне оставалось лишь до боли радоваться, наслаждаться этим нечаянным подарком, этой тишиной, ибо по злой иронии судьбы тишина кончится для меня как раз в ту минуту, когда мир вздохнет свободнее и начнет готовиться к пиршеству освобождения. Именно тогда, один-одинешенек, я двинусь в поход на своих врагов, двинусь в поход, который приведет меня к гибели, но от которого нельзя отказаться.

— Хорошо, господин Холт,— сказал Силверс, небрежно опуская в карман второй чек.— Разрешите еще раз поздравить вас! Совсем неплохое начало для прекрасного собрания картин. Четыре рисунка двух больших художников! При случае я покажу вам еще несколько пастелей Пикассо. Сейчас у меня, увы, нет времени. Приглашен на ужин. Слух о моем приезде уже пронесся. А если мы здесь не встретимся, отложим наши дела до Нью-Йорка.

Я мысленно заплодировал ему, хотя и не шевельнул рукой. Я-то знал, что Силверса никто никуда не приглашал. Но я знал также, чего ожидал Холт: он ожидал, что Силверс тут же попытается всучить ему картину подороже. Однако Силверс разгадал мысли Холта и повел себя иначе. А это в свою очередь убедило Холта в том, что он совершил выгодную сделку. По выражению Силверса, он теперь окончательно «созрел».

— Не вешайте носа, Роберт,— утешал меня Джо.— Рисунки я заберу завтра вечером.

— Хорошо, Джо.

XXV

Через неделю ко мне зашел Танненбаум.

— Мы проверили консультанта, приглашенного для нашего фильма, Роберт. На него нельзя положиться. Он не очень сведущий, и Холт ему больше не доверяет. Он теперь и сценаристу перестал доверять: тот никогда не был в Германии. Дело — дрянь. И все из-за вас,— распалившись, бросил Танненбаум.— Это вы заварили всю эту кашу! Вылезли насчет фуражки шарфюрера СС. Без вас у Холта не возникло бы никаких подозрений!

— Хорошо. Забудьте, что я сказал.

— Как? Нашего консультанта ведь уже выкинули!

— Наймите другого.

— Вот за этим я к вам и пришел! Меня послал Холт. Он хочет с вами поговорить.

— Чепуха! Я не гожусь в консультанты, даже по антинацистским фильмам.

— Кто же, если не вы? Разве здесь найдешь кого-то еще, кто сидел бы в концентрационном лагере?

Я поднял голову.

— То есть как?

— Не только здесь, но и в Нью-Йорке в нашем кругу каждому это известно. Роберт, Холту требуется помощь. Он хотел бы, чтобы вы были консультантом.

Я рассмеялся.

— Да вы рехнулись, Танненбаум!

— Он платит прилично. А кроме того, он делает антинацистский фильм. Так что вам это не должно быть безразлично.

Я увидел, что пока я подробно не расскажу о себе, Танненбаум меня не поймет. Но на этот раз я не испытывал ни малейшего желания рассказывать о себе. Танненбаум все равно бы ничего не понял. Он иначе мыслит, чем я. Он ждал наступления мира, чтобы снова спокойно жить в Германии или в Америке. А я ждал мира, чтобы отомстить.

— Не хочу я заниматься фильмами о нацистах,— грубо ответил я.— Я не считаю, что об этих людях надо писать сценарии. Я считаю, что этих людей надо уничтожать. А теперь оставьте меня в покое. Вы уже видели Кармен?

— Кармен? Вы имеете в виду приятельницу Кана?

— Я имею в виду Кармен.

— Какое мне дело до Кармен?! Меня беспокоит наш фильм! Может быть, вы соблаговолите хотя бы встретиться с Холтом?

— Нет,— ответил я.

Вечером я получил письмо от Кана.

«Дорогой Роберт,— писал он.— Сначала неприятное: Грефенгейм умер. Он принял очень большую дозу снотворного, узнав, что его жена погибла в Берлине во время налета американской авиации. Это известие сломило его. То, что это были американские бомбардировщики, он воспринял не как роковую случайность, а лишь как убийственную иронию судьбы, и тихо и покорно ушел из жизни. Вы, наверное, помните наш последний разговор о добровольной смерти. Грефенгейм утверждал, что ни одному животному, кроме человека, неведомо отчаяние. Кроме того, он утверждал, что добровольная смерть — величайший дар судьбы, ибо позволяет избавиться от адских мук, терзающих нашу душу. И он покончил с собой. Больше говорить тут не о чем. Его уже ничто не волнует. А мы пока живем, дышим, и у нас еще все впереди: старость, смерть или самоубийство — безразлично, как это называется.

От Кармен ни слуху ни духу. Писать письма ей лень. Посылаю Вам ее адрес. Объясните ей, что лучше всего ей было бы вернуться.

До свидания, Роберт. Возвращайтесь поскорее. Трудные времена у нас еще впереди! Они наступят потом, когда рухнут даже иллюзии мести и нам суждено будет заглянуть в небытие. Готовьте себя к этому постепенно, чтобы удар не был слишком сильным. Мы теперь уже не так неуязвимы. Особенно для внезапных ударов. Не только счастье имеет свою меру, смерть — тоже. Иногда я вспоминаю о Танненбауме, группенфюрере на экране. Вероятно, этот осел — самый мудрый из всех нас. Привет, Роберт!»

Я поехал по адресу, который мне дал Кан. Это оказалось жалкое маленькое бунгало в Вествуде. Перед дверью росло несколько апельсиновых деревьев, в саду за домом кудахтали куры. Кармен спала в шезлонге. На ней был купальный костюм в обтяжку, и я усомнился в правоте Кана, говорившего, что ей не суждено добиться успеха в Голливуде. Это была самая красивая девушка, какую я когда-либо знал. Не пошлая блондинка, а трагическое видение, от которого захватывает дух.

— Смотрите-ка, Роберт! — воскликнула она без тени удивления, когда я ее осторожно разбудил. — Что вы здесь делаете?

— Продаю картины. А вы?

— Один идиот заключил со мной контракт. Я ничего не делаю. Очень удобно.

Я предложил ей пообедать со мной. Она отказалась: сказала, что ее хозяйка хорошо готовит. Я с сомнением посмотрел на рыжеволосую, не слишком опрятную хозяйку. Она была похожа на бифштекс по-гамбургски и венскую сосиску одновременно.

— Яйца свежие, — сказала Кармен и показала на кур. — Чудесные омлеты!

Мне удалось уговорить ее пойти со мной в ресторан «Браун Дерби».

— Говорят, там кинозвезды так и кишат, — сказал я, чтобы подзадорить ее.

— Они тоже не могут съесть больше одного обеда за раз!

Я ждал, пока Кармен оденется. Походка у нее была такая, будто она всю жизнь носила на голове корзины — библейская и величаявая. Я не понимал Кана, я не понимал, почему он давно не женился на ней и не отправился с ней вместе к эскимосам в качестве агента по продаже приемников. Я полагал, что эскимосам должен нравиться другой тип женщин и что они ему не соперники.

Когда такси остановилось перед «Браун Дерби», меня охватило раскаяние. Я заметил, что мужчины в чесучовых костюмах замирают при виде Кармен.

— Минуточку, — сказал я ей. — Только взгляну, есть ли свободные места.

Кармен осталась на улице. В ресторане еще было несколько свободных столиков, но там было и слишком много соблазнительей.

— Все занято, — сказал я, выйдя на улицу. — Вы не будете против, если мы поищем ресторан поменьше?

— Ничуть. Мне это даже по душе.

Мы зашли в маленький, темный и пустой ресторан.

— Как вам живется здесь, в Голливуде, Кармен? — спросил я. — Тут не намного скучнее, чем в Нью-Йорке?

Она подняла на меня свои волшебные глаза.

— Я еще не задумывалась над этим.

— А по-моему, здесь скучно и мерзко, — солгал я. — Я рад, что уезжаю.

— Все дело в том, как себя чувствуешь. У меня нет никого в Нью-Йорке, с кем бы я по-настоящему дружила. А здесь у меня есть хозяйка. Мы отлично понимаем друг друга, разговариваем обо всем на свете. А еще я люблю кур. Они вовсе не такие глупые, как многие думают. В Нью-Йорке я никогда не видела живой курицы. Здесь я знаю их даже по именам, они приходят, когда я их зову. А апельсины! Разве не чудесно, что их можно просто рвать с деревьев и есть сколько хочешь?

Мне стало вдруг ясно, что так прельщало Кана в этой женщине. Его, человека утонченного интеллекта и огромной энергии — редчайшее сочетание из всех, какие я когда-либо встречала, — покоряли в Кармен не только наивность, но и первозданная глупость, ей одной только свойственные флюиды.

Подсознательно же его, наверное, влекла к себе первобытная чистота и бездумный покой ее невинной души — впрочем, едва ли такой уж невинной, поскольку трудно было предположить невинную душу в столь обольстительном теле. Конечно, можно представить себе идиллическую лужайку у подножия потухшего вулкана, поросшую примулами и маргаритками, но уж никак нельзя заподозрить в стерильной чистоте помыслов саксонцев, распевających патриархальные гимны в деревне близ Рюгенвальда.

— Кто дал вам мой адрес? — спросила Кармен, обглядывая куриную ножку.

— Кан прислал мне письмо. А вам нет?

— И мне, — проговорила она с набитым ртом. — Прямо не знаю, что ему писать. Он такой сложный.

— Напишите ему что-нибудь про ваших кур.

— Ему этого не понять.

— А я бы на вашем месте все-таки попробовал. Напишите ему хоть что-нибудь. Он несомненно обрадуется, если вы дадите о себе знать.

Она покачала головой.

— С моей хозяйкой мне гораздо проще. Кан — такой трудный человек. Я его не понимаю.

— Как идут дела в кино, Кармен?

— Великолепно. Получаю деньги и ничего не делаю. Сто долларов в неделю! Где еще столько получишь! У Фрислендера я получала шестьдесят и должна была работать весь день. Кроме того, этот психопат непрерывно орал на меня, когда я что-нибудь забывала. Да и фрау Фрислендер меня ненавидела. Нет, здесь мне нравится больше.

— А как же Кан? — спросил я после краткого раздумья, хотя мне было уже ясно, что весь наш разговор впустую.

— Кан? Я ему не нужна.

— А может, все-таки нужны?

— Для чего? Чтобы есть мороженое и глазеть на улицу? Даже не знаешь, о чем с ним говорить.

— И все же вы наверняка ему нужны, Кармен. Вы не хотели бы вернуться?

Она посмотрела на меня своими трагическими глазами.

— Вернуться к Фрислендеру? У него уже есть новая секретарша, над которой он может издеваться. Нет, это было бы безумием! Нет, нет, я останусь здесь, пока этот глупый продюсер платит мне деньги ни за что.

Я посмотрел на нее.

— А кто ваш режиссер? — спросил я осторожно.

— Режиссер? Сильвио Колеман. Я здесь только раз его и видела, всего пять минут. Смешно, правда?

— Я слышал, что нечто подобное бывает довольно часто, — сказал я успокоившись.

— Это даже стало правилом.

Я размышлял о письме Кана. Оно меня взволновало. Я плохо спал, боясь одного из своих ужасных снов. Я ожидал увидеть его еще в ту ночь, после того, как увидел эсэсовцев из фильма, но, к своему удивлению, спал спокойно. Наверное, это объяснялось тем, что под влиянием смехотворной бутафории костюмов первоначальный шок довольно скоро прошел, остался лишь стыд за свою истерическую реакцию. Я думал о словах Кана насчет удара, который неизбежно настигает каждого из нас. В эту ночь мне казалось, что не надо так бурно реагировать — необходимо беречь силы, они еще пригодятся, когда надо мной грянет гром действительности. Наверное, здесь, в Голливуде, легче всего себя к этому приучить. Настолько, что мелкие удары судьбы, которые мне еще предстоит вынести, могут лишь потешить меня, потому что здесь все — бутафория. Надо держать себя в руках, а не превращаться в комок нервов и не впадать в истерику при одном только виде нацистского мундира. Эта мысль пришла мне в голову ранним утром, когда, слушая шуршание пальм под высоким чужим небом, я расхаживал в пижаме вокруг бассейна. Странная, неожиданная, но, может быть, единственно верная мысль.

Танненбаум явился в полдень.

— Что вы чувствовали, когда впервые снимались в фильме, где действовали нацисты? — спросил я.

— Не мог спать по ночам. Но потом привык. Вот и все.

— Да, — сказал я. — То-то и оно.

— Другое дело, если бы я снимался в пронацистском фильме. Но это, разумеется, исключено. Я думаю, что такие фильмы вообще не должны больше появляться после того, что стало известно об этих свиньях. — Танненбаум поправил платок с красной каймой в вырезе своего спортивного пиджака. — Сегодня утром Холт разговаривал с Силверсом, и тот не возражает, если по утрам вы будете работать у нас консультантом. Он говорит, что вы нужны ему главным образом после обеда и вечером.

— Холт уже купил меня у него? — спросил я. — Говорят, нечто подобное происходит и со звездами в Голливуде.

— Разумеется, нет. Он справлялся лишь потому, что вы ему срочно нужны. Кроме вас, у нас в Голливуде нет никого, кто сидел бы в концентрационном лагере.

Я вздрогнул.

— Наверное, за это разрешение Силверс продал ему картину, писанную маслом?

— Понятия не имею. Правда, Силверс показывал Холту картины. Они ему очень понравились.

Я увидел Холта в сиянии полуденного солнца — он расхаживал в широких зеленых брюках вокруг бассейна. На нем была пестрая гавайская рубашка с южным ландшафтом. Заметив меня, он еще издали замахал обеими лапами.

— Хэлло, Роберт!

— Хэлло, мистер Холт.

Он похлопал меня по плечу — жест, который я ненавидел.

— Все еще сердитесь из-за рисунков? Ну, это мы уладим.

Я молча слушал его болтовню. Наконец он перешел к делу. Он хотел, чтобы я посмотрел, нет ли каких ошибок в сценарии, и, кроме того, чтобы я был у него своего рода консультантом по костюмам и режиссуре, дабы исключить возможные неточности.

— Это две разные задачи, — сказал я. — Что будет, если сценарий окажется негодным?

— Тогда мы его переделаем. Но сначала ознакомьтесь с ним. — Холт слегка вспотел. — Только это надо сделать

быстро. Уже завтра мы хотим приступить к съемке наиболее важных сцен. Могли бы вы сегодня бегло просмотреть сценарий?

Я молчал. Холт достал из портфеля папку.

— Сто тридцать страниц,— сказал он.— Работы часа на два, на три.

Я нерешительно взглянул на желтую папку, потом взял себя в руки.

— Пятьсот долларов,— сказал Холт.— За отзыв в несколько страниц.

— Это очень неплохо,— подтвердил Танненбаум.

— Две тысячи,— возразил я. Если уж продавать себя, по крайней мере надо покрывать за этот счет все долги и еще кое-что оставить на черный день.

Холт чуть не расплакался.

— Это исключено! — сказал он.

— Отлично,— ответил я зло.— Меня это вполне устраивает. Терпеть не могу вспоминать о том времени, можете мне поверить.

— Тысячу,— сказал Холт.— Только для вас.

— Две! Ну что это за сумма для человека, коллекционирующего картины импрессионистов!

— Это не по-джентльменски,— сказал Холт.— Плачу ведь не я, а студия.

— Тем лучше.

— Тысячу пятьсот,— скрипнув зубами, сказал Холт.— И триста долларов в неделю за консультацию.

— Идет,— согласился я.— И машину в мое распоряжение, пока я буду у вас консультантом. И еще одно условие: после обеда я должен быть свободен.

— Вот это контракт! — воскликнул Танненбаум.— Как у кинозвезды.

Холт пропустил это мимо ушей. Он знал, что я имею представление о гонорарах кинозвезд.

— Хорошо, Роберт,— сказал он решительно.— Я отдаю вам рукопись. Немедленно приступайте: время не терпит.

— Я начну, как только у меня будет аванс в тысячу долларов, Джо,— сказал я.

— Если вы будете у меня работать только полдня, я, разумеется, буду вынужден сократить вам жалованье,— заявил Силверс.— Скажем, наполовину. Это справедливо, вы не находите?

— Слово «справедливо» я уже слышал сегодня несколько раз,— ответил я.— И каждый раз оно не соответствовало действительности.

Силверс вытянул ноги на светло-голубом диване.

— Я считаю свое предложение не только справедливым, но и великодушным. Я даю вам возможность неплохо заработать в другой области. Вместо того чтобы вас уволить, я соглашаюсь на то, чтобы вы работали у меня только время от времени. Вы должны быть мне благодарны.

— К сожалению, это не так,— сказал я.— Лучше увольте меня совсем. Если хотите, мы можем заключить «скользящий» контракт на следующих условиях: более низкое жалованье, но зато — доленое участие в сделках.

Силверс смотрел на меня, как на редкое насекомое.

— Много вы понимаете в бизнесе! — бросил он презрительно.— На коммиссионных не разживетесь.

Он всякий раз раздражался, если кто-нибудь не верил, что продажа картин требует чуть ли не божественного наития.

— Я для вас стараюсь, хочу, чтобы вам дали какую-нибудь работу в кино, а вы...

— Мистер Силверс,— спокойно прервал я его.— Оставьте это. Вы же не мне хотите продать картины, а моему клиенту Холту. Я за то, чтобы Холту вы представили дело так, будто вы оказываете ему огромную любезность, и я уверен, что он с благодарностью будет покупать у вас и впредь. Я только хотел бы, чтобы от меня вы не требовали изъявления благодарности, поскольку благодарить должны скорее вы меня. То, чему вы меня научили, великолепно: высшая цель прилежного коммерсанта заключается в том, чтобы не только содрать с клиента шкуру, но и заставить его благодарить за это. Вы мастер своего дела, но прошу вас меня от этого избавить.

Лицо у Силверса сразу стало каким-то помятым. Казалось, за несколько секунд он постарел на двадцать лет.

— Так,— произнес он тихо.— Я должен вас от этого избавить. А что получаю от жизни я? Вы развлекаетесь на мои деньги. Вы на двадцать пять лет моложе меня, я же вынужден торчать здесь, в этом отеле, поджидая клиентов, точно старый паук. Я воспитываю вас, как сына, а вы элитесь, если я хоть немного поточу о вас свои усталые когти! Выходит, мне и пошутить нельзя?

Я быстро взглянул на него. Мне были знакомы все его трюки со смертью, болезнью и разговорами о том, что никто не может унести с собой в потусторонний мир даже самую крохотную картину, поэтому, видите ли, лучше продавать их симпатичным клиентам здесь, на земле, пусть даже с убытком,— не так уж много времени нам отпущено. Мне тоже однажды пришлось заниматься пузырьками с лекарствами, когда изможденный и бледный Силверс — жена слегка подгримировала ему лицо землисто-серым тоном — в своем голубом шлафроке улегся в постель, чтобы «с убытком» продать нефтяному королю из Техаса ужасную картину, изображавшую огромного мертвого жокея с лошадей. Я знал, что свой обычный красный шлафрок Силверс иногда меняет на голубой, так как на голубом фоне ярче выделяется его болезненная бледность. И мне пришлось дважды прерывать его беседу с клиентом и приносить ему лекарство, а на самом деле водку; это была моя идея подавать водку вместо виски, потому что водка не пахнет, тогда как запах виски чуткие ноздри техасца учуяли бы даже за двадцать метров. В конце концов Силверс умирающим голосом продиктовал мне условия соглашения — на этой сделке он заработал двадцать тысяч долларов. Услышав сумму, я машинально округлил глаза в знак безмолвного протеста, но сразу же покорно кивнул. Я знал все трюки Силверса, в которых он был неистощим и которые называл «художественным пусканием пыли в глаза», но нотка горечи, прозвучавшая сейчас в его голосе, была мне в новинку, равно как и следы подлинного изнеможения на лице.

— Вам не вреден этот климат? — спросил я.

— Климат! Я погибаю от скуки. Вот представьте себе,— сказал он.— Приглашаю я со скуки девочку, с которой познакомился в бассейне, миленькое, белокурое, вполне заурядное существо девятнадцати лет — здесь с возрастом надо быть осторожнее: цыплята утверждают, что они уже совершеннолетние, а под дверь караулит мать, чтобы заняться вымогательством,— итак, приглашаю я ее пообедать со мной. Она приходит. Заказываем немного шампанского, креветки под соусом «Таусенд-айленд», бифштексы — все великолепно приготовлено и сервировано здесь, наверху. У нас радостное настроение, я забываю свою безутешную жизнь, мы идем в спальню. И что же?

— Она начинает орать из окна, что ее насилуют. «Полиция! Полиция!» Так?

Силверс какое-то время размышляет в удивлении.

— Неужто и такое бывает?

— Мой сосед Скотт говорил мне, что это один из самых элементарных способов заработать деньги.

— Да, да! Нет, этого не было. К сожалению, не было. Все получилось гораздо хуже.

— Она, конечно, потребовала денег. Это всегда удручающе действуют на людей, привыкших к тому, чтобы их любили, — сказал я с издевкой. — Сто долларов.

— Хуже.

— Значит, тысячу. Это уже, прямо скажем, наглость! Силверс махнул рукой.

— Она действительно потребовала кое-что, но не в этом дело. — Он приподнялся со своего светло-голубого дивана и, трясая от злости, пропищал тоненьким голоском: — «Что ты мне подаришь, если я влезу к тебе в кроватьку...» А потом, как взрыв бомбы: «Daddy»¹.

Я с интересом слушал его рассказ.

— Daddy! — воскликнул я. — У нас в Европе так называют папашу. Тяжелый удар, когда тебе за пятьдесят. Однако здесь в этом нет ничего оскорбительного. Здесь «daddy» ласкательно называют тридцатилетних. Так же, как девятистолетних называют «darling»² или «girl»³. Америка — молодая нация, и она боготворит молодость.

Силверс слушал меня с видом человека, которого ранили пулей в живот. Потом он покачал головой.

— К сожалению, все выглядело иначе. Я мог бы надавать себе оплеух за то, что не удержал язык за зубами, но разве может коммерсант смолчать? Растерявшись, я спросил, что она имеет в виду. Понимаете, я, разумеется, готов был заплатить — и вполне прилично. Я ведь известен своей добротой, меня только расстроило это слово «daddy». Оно прозвучало для меня как «дедушка». Но она решила, что я буду скупердяйничать, и напрямик заявила своим деревянным кукольным голоском, что если уж она идет бай-бай — так и сказала: «бай-бай с таким стариком», то, естественно, должна на этом что-нибудь зарабатывать. У «Баллокса» на Уилшер-бульваре она видела пальто из верблюжьей шерсти. И было бы...

Силверсу отказал голос.

— И как же вы поступили? — спросил я с интересом. Мне понравилось выражение «деревянный кукольный голосок».

¹ Папочка (англ.).

² Дорогуша (англ.).

³ Детка (англ.).

— Как поступает джентльмен в подобной ситуации! Заплатил и выкинул нахапку вон.

— Заплатили сполна?

— Отдал все, что было под рукой.

— Да, это все не очень приятно, я вас понимаю.

— Вы меня вообще не понимаете! — раздраженно воскликнул Силверс. — Это не финансовый шок, а психологический, когда дешевая потаскуха называет вас старым развратником. Да и как вам это понять? Вы один из самых бесчувственных людей, каких мне приходилось видеть.

— Это верно. Кроме того, существуют вещи, которые понятны только твоим ровесникам, например, разница в возрасте. И чем больше стареешь, тем заметнее становится эта разница. Восемьдесятiletние считают семидесятилетних молодкосами и озорниками. Странное явление!

— Странное явление! Это все, что вы можете сказать?

— Разумеется, — ответил я осторожно. — Вы же ждете от меня серьезного отношения к такой чепухе, господин Силверс.

Он уже готов был вспылить, но вдруг в глазах антиквара вспыхнула искра надежды, как будто профессор Макс Фридендер подтвердил подлинность принадлежавшего Силверсу сомнительного Питера де Коха.

— Просто это звучит забавно, когда речь идет о таком человеке, как вы, — продолжал я.

Он задумался.

— А что будет, если такая шутка повторится? Естественным следствием будет импотенция. Уже на этот раз у меня было такое ощущение, будто на меня выплеснули ушат ледяной воды. Что мне делать с этим страхом, который сидит во мне?

— Тут есть два пути, — сказал я после недолгого раздумья. — Первый: выпить и как гусар — вперед без разбора, правда, есть одно «но»: в состоянии опьянения многие становятся импотентами, пока не протрезвеют, таким образом, здесь двойной риск. Второй путь — это тактика гонщика после аварии: немедленно пересесть на другой автомобиль и продолжать гонку. Тут уж шок исключен — нет времени.

— Но у меня-то он был!

— Это вы себе внушили, господин Силверс. Боязнь неудачи стала вашей навязчивой идеей, только и всего.

Слова благодарности застряли у него в бороде.

— Вы так считаете?

— Совершенно определенно.

Он стал заметно успокаиваться.

— Странно,— сказал он немного спустя.— Как неожиданно все может утратить всякий смысл — успех, положение, деньги — от одного простого, глупого слова какой-то девчонки! Будто все на свете тайком стали коммунистами.

— Что?

— Я хочу сказать, что все люди равны — никому не скрыться.

— Ах, вот как вы это воспринимаете! — сказал я.

Силверс ухмыльнулся. Он снова был на коне.

— Я полагаю, ни один человек не верит, что стареет. Он понимает это, но не верит.

— А вы сами? Верите? Так как же насчет моего увольнения?

— Мы можем оставить все по-прежнему. Достаточно и того, что вы по вечерам будете в моем распоряжении.

— После семи часов — сверхурочные.

— Вы будете получать жалованье. И никаких сверхурочных. В данный момент вы зарабатываете больше, чем я.

— А ваш шок полностью прошел, господин Силверс! Полностью!

XXVI

Я просидел над рукописью несколько часов. Многие ситуации казались мне надуманными, и вообще весь сценарий был неудачен. Я правил рукопись до часу ночи. Часть сцен была сострепана по вульгарным шаблонам популярных ковбойских фильмов о Диком Западе. Та же гангстерская мораль, те же банальные ситуации, когда противники одновременно выхватывают пистолеты и каждый старается выстрелить первым. Все это по сравнению с тем, что происходило в Германии с ее бюрократически рассчитанными убийствами, с воем бомб и грохотом орудий, производило впечатление безобидного фейерверка. Я понял, что даже у авторов, набивших руку на фильмах ужасов, не хватает фантазии, чтобы представить себе все происходившее в третьем рейхе. Как ни странно, но это не поразило меня так сильно, как я боялся,— примитивность этой писанины, наоборот, настроила меня на иронический лад.

К счастью, Скотт позвал меня на коктейль из тех, что затягиваются до бесконечности. Я спустился к бассейну, где сидели гости.

— Готово, Роберт? — спросил Скотт.

— Нет еще, но на сегодня с меня хватит. А сейчас мне хочется чего-нибудь выпить.

— У нас есть настоящая русская водка и виски любой марки.

— Виски,— сказал я.— Мне не хотелось бы сразу напиваться до бесчувствия.

Я вытянулся в шезлонге, поставил стакан прямо на землю и, закрыв глаза, стал слушать музыку из фильма «Серенада Солнечной долины». Через некоторое время я снова открыл глаза и посмотрел в калифорнийское небо. И мне показалось, будто я плыву в прозрачном бездонном море без горизонта, без конца и края. Внезапно около меня раздался голос Холта.

— Что, уже утро? — спросил я.

— Еще нет. Я просто пришел взглянуть, чем вы тут занимаетесь,— ответил он.

— Я пью виски. Наш контракт вступает в силу только завтра. Еще есть вопросы?

— Вы читали сценарий?

Я повернулся и стал рассматривать его озабоченное помутное лицо. Говорить о сценарии я не желал, мне хотелось забыть прочитанное.

— Завтра,— отрезал я.— Завтра вы получите сценарий со всеми моими замечаниями.

— Почему не сейчас? Тогда к завтрашнему дню я подготовил бы все, что нам необходимо. Так мы сэкономим целых полдня. Время не терпит, Роберт.

Я понял, что отделаться от него мне не удастся. «А правда, почему не сейчас?» — подумал я. Почему не здесь, где столько девочек и водки, под безмятежным ночным небом этого сумасшедшего мира? Почему не растолковать ему здесь, чего стоит сценарий, вместо того чтобы глушить снотворным свои воспоминания?

— Хорошо, Джо. Давайте сядем где-нибудь в сторонке.

Через час после начала коктейля я уже перечислял Холту ошибки, допущенные в сценарии.

— Такие мелочи, как неверные знаки отличия, неполадки с мундирами, сапогами, фуражками, устранить легко,— начал я.— Куда существеннее сама атмосфера фильма. Она не должна быть мелодраматичной, как в вестерне. Иначе по сравнению с немецкой действительностью это будет выглядеть лишь беззлобным скетчем.

Холт колебался.

— Но этот фильм должен принести доход,— сказал он наконец.

— Что?

— Студия вкладывает в него почти миллион долларов. Это значит, что прокат должен дать более двух миллионов, прежде чем мы получим первый доллар. Зрители должны валом валить на этот фильм, понимаете?

— И что же?

— Тому, о чем вы говорите, Роберт, у нас никто не поверит! Скажите по совести, все действительно так, как вы сказали?

— Хуже. Много хуже.

Холт плюнул в воду.

— У нас этому никто не поверит.

Я поднялся с места. Голова у меня трещала. Теперь я в самом деле был сыт по горло.

— Тогда оставьте это, Джо. Неужели это издевательство никогда не кончится?! Америка воюет с Германией, а вы убеждаете меня, будто ни одна душа не поверит в злодеяния немцев!

Холт хрустнул пальцами.

— Я-то верю, Роберт. А хозяйка студии и публика — нет. Никто не пойдет на такой фильм. Тема и без того достаточно рискованная. А мне хочется сделать этот фильм, Роберт. Но хозяев студии не переубедишь! Я бы предпочел снять документальный фильм, но он, без сомнения, провалился бы. Студия настаивает на мелодраматическом фильме.

— С похищенными девушками, истерзанными кинозвездами и бракосочетанием в финале? — перебил я его.

— Не обязательно. Но, разумеется, с побегом, дракой и щекотанием нервов.

К нам пришвартовался Скотт.

— Прошел слух, что здесь не хватает спиртного.

Он поставил на край бассейна бутылку виски, бутылку воды и два пустых стакана.

— Переносим пир в мою конуру. Если нуждаетесь в корме, гребите за мной. Есть бутерброды и холодная курица.

Холт схватил меня за рукав.

— Еще десять минут, Роберт. Только десять минут, чтобы обсудить практические вопросы. Остальное — завтра.

Десять минут превратились в целый час. Холт был типичным порождением Голливуда: ему хотелось бы сделать

что-то стоящее, но он мог пойти и на любые компромиссы и еще пытался при этом доказывать, что решает серьезные художественные проблемы.

— Вы должны мне помочь, Роберт,— сказал он.— Мы должны постепенно, шаг за шагом, претворять в жизнь наши идеи — *petit à petit*¹, а не одним махом, не наспех.

Это французское выражение меня добило. Я быстро простился с Холтом и пошел к себе. Некоторое время я лежал на кровати, кляня себя на чем свет стоит. Потом я решил, что завтра позвоню Кану — ведь у меня теперь есть деньги. Я решил позвонить и Наташе; до сих пор я написал ей только два коротких письма, да и то с большим трудом. Она была не из тех, кому пишут длинные письма. Так мне, по крайней мере, казалось. Скорее всего, она предпочитала телефонные разговоры и телеграммы. Но на таком расстоянии мне трудно будет выразить свои чувства. Когда она рядом, все хорошо, все полно значения, все волнует, а когда ее нет — она кажется далекой и недоступной, как северное сияние. Однако стоит ей появиться в дверях — и все возвращается на круги своя, это я заметил еще в Нью-Йорке.

Размышляя об этом, я подумал, почему бы ей не позвонить сейчас. Разница во времени с Нью-Йорком составляла три часа. Я заказал разговор и вдруг почувствовал, что сгораю от нетерпения.

Откуда-то, очень издали, послышался ее голос.

— Наташа,— начал я,— это я, Роберт.

— Кто?

— Роберт.

— Роберт? Ты где? В Нью-Йорке?

— Нет, в Голливуде.

— В Голливуде?

— Да, Наташа. Ты что, забыла? Что с тобой?

— Я спала.

— Так рано?

— Но сейчас уже полночь. Ты меня разбудил. Что случилось? Ты приезжаешь?

«О, черт! — подумал я.— Вечная моя ошибка. Я перепутал время».

— Спокойной ночи, Наташа. Завтра я позвоню снова.

— Хорошо. Ты приезжаешь?

— Еще нет. Я все объясню тебе завтра. Спи.

¹ Понемногу, не торопясь (фр.).

— Ладно.

«Сегодня у меня был трудный день,— думал я.— Не надо было мне звонить. И многое не надо было делать из того, что я делал». Я злился на себя. Во что я впутался? Какое мне дело до Холта? И зачем мне все это? Я немного подождал, а потом позвонил Кану. У Кана был чуткий сон. И он ответил сразу.

— Что случилось, Роберт? Почему вы звоните?

Мы, эмигранты, еще не привыкли пользоваться телефоном, как американцы, для нас разговор на большом расстоянии все еще связан был с чем-то чрезвычайным или с несчастным случаем.

— Что-нибудь с Кармен? — спросил он.

— Нет, но я ее видел. Кажется, она хочет остаться здесь.

Некоторое время он молчал.

— Может, она еще передумает: она ведь там не так уж давно. У нее кто-нибудь есть?

— Не думаю. Разве что хозяйка, у которой она живет. Никого больше, мне кажется, она не знает.

Он рассмеялся.

— А когда вы возвращаетесь?

— Мне, наверное, придется задержаться.

Я рассказал ему историю с Холтом.

— Что вы на это скажете? — спросил я.

— Работайте, работайте! Вас, надеюсь, не мучает совесть? Это было бы просто смешно. Или все же мучает? Из чувства патриотизма?

— Нет.— Мне вдруг стало совершенно непонятно, для чего я ему, собственно, звонил.— Я думал о вашем письме.

— Самое главное — пробиться,— сказал Кан,— а уж как — это ваше дело. Я рад, что вас волнует эта проблема, вы решаете ее сейчас, так сказать, в общих чертах и находясь в безопасности, но когда-нибудь всем нам придется заняться ею — и тогда уже всерьез. Это опасность, которая нас подстерегает. Вы сделали первый шаг, но вы можете все послать к черту, когда вам это надоест. Здесь, в Штатах, это еще можно, но позже, там, все будет по-другому. Считайте, что вы приняли боевое крещение, если хотите, так, что ли?

— Именно это мне и хотелось услышать.

— Ну и хорошо.— Он рассмеялся.— Не давайте Голливуду сбить вас с толку, Роберт. В Нью-Йорке вы меня не стали бы спрашивать, как поступить. И это естественно. А Голливуд изобретает глупые этические стандарты, ибо

сам во власти коррупции. Смотрите, не станьте жертвой этой милой системы. Даже в Нью-Йорке трудно сохранять трезвый, деловой подход к жизни. Вы видели это на примере Грефенгейма. Его самоубийство бессмысленно — просто проявление слабости. Он все равно никогда не сумел бы вернуться к жене.

— Как поживает Бетти?

— Бетти борется. Хочет пережить войну. Ни один врач не смог бы прописать ничего лучшего. Вы что, стали миллионером — ведете разговоры по телефону через весь континент?

— Пока нет.

Я еще некоторое время пробыл у себя в номере. Дверь была открыта, и я видел кусочек ночи, край освещенного бассейна и верхнюю часть пальмы, одиноко шуршавшей под порывами ночного ветра и что-то бормотавшей про себя. Я думал о Наташе и Кане и о том, что сказал Кан.

Самый трудный час нашего цыганского бытия пробьет тогда, когда наконец мы поймем, что мы никому не нужны. Пока мы еще живем иллюзиями, что все переменится с окончанием войны. Но когда наступит прозрение — все рухнет, и вот тогда-то настанет пора настоящих скитаний.

Это была удивительная ночь. А тут еще пришел Скотт, захотевший взглянуть на рисунок Ренуара, который я привез от Силверса. О том, что он очень пьян, можно было догадаться лишь по его невероятной настойчивости.

— Мне никогда и не снилось стать обладателем картины Ренуара, — признался он. — Еще два года назад у меня было слишком мало денег. Теперь в голове у меня — словно рой пчел — жужжит одна только мысль: хочу собственного Ренуара! И я должен его получить! Сегодня же!

Я снял рисунок со стены и передал ему.

— Вот, держите, Скотт.

Он благоговейно взял его в руки.

— Это он сам рисовал, — произнес он. — Собственно вручную. И теперь это мое! Бедный парень из Айова-Сити, из квартала бедняков. По этому случаю надо выпить. У меня, Роберт. С рисунком на стене. Я его немедленно повешу.

Комната Скотта была похожа на поле битвы: повсюду — стаканы, бутылки и тарелки, на которых валялись сэндвичи и топорщились выгнувшиеся, подсохшие куски ветчины. Скотт снял со стены фотографию Рудольфа Валентино в роли шейха.

— Как здесь смотрится Ренуар? Как реклама виски, а?

— Здесь он выглядит лучше, чем у какого-нибудь миллионера. У тех — это лишь реклама тщеславия.

Я пробыл у Скотта целый час — он стал рассказывать мне о своей жизни, пока не начал клевать носом. Он считал, что юность его была ужасна, потому что он был очень беден и ему приходилось продавать газеты, мыть посуду и сносить множество мелких унижений. Я не пытался сравнить его жизнь с моею и выслушал его рассказ без иронии.

— Думал ли кто-нибудь, что я смогу выписать чек за Ренуара! — пробормотал он. — Прямо страх берет, а?

Я вернулся к себе. Вокруг электрической лампочки кружило какое-то насекомое с прозрачными зелеными крыльшками. Я рассматривал его некоторое время; казалось, будто золотых дел мастер выточил эту тончайшую филигрань, непостижимое произведение искусства — само изящество и трепетная жизнь, — и это существо безоглядно шло в огонь, как индийская вдова. Я поймал насекомое и выпустил в прохладу ночи. Через минуту оно опять было в комнате. Я понял, что должен либо заснуть, либо оборвать жизнь этого крошечного существа. Заснуть мне не удавалось. Когда я снова открыл глаза, в дверях стояла какая-то фигура. Я схватил лампу — как орудие защиты в случае необходимости. На пороге была молоденькая девушка на слегка измятом платье.

— О, простите, — сказала она, жестко произнося слова. — Можно войти?

Она сделала шаг в комнату.

— Вы уверены, что попали в нужный номер? — спросил я.

Она улыбнулась.

— В такой час это уже все равно, правда? Я заснула на воздухе. Я очень устала.

— Вы были на вечеринке у Скотта?

— Возможно — я не знаю, как его зовут. Меня кто-то привел сюда. А теперь все ушли. Мне надо дожидаться утра. И вот я заметила свет в вашем окне. Можно я посижу здесь на стуле? На улице роса, сыро и холодно.

— Вы не американка? — задал я идиотский вопрос.

— Мексиканка. Из Гвадалахары. Разрешите мне побыть здесь, пока не пойдет автобус.

— Могу дать вам пижаму, — сказал я. — И одеяло. На диване вам будет удобно. Вон там ванная, можете переодеться. У вас все платье промокло. Повесьте его на стул — так оно скорее высохнет.

Она быстро взглянула на меня.

— Вы, оказывается, знаете женщин?

— Я просто практически смотрю на вещи. Можете принять и горячую ванну, если вам холодно. Здесь вы никому не помешаете.

— Благодарю вас. Я буду очень тихо.

Девушка прошла по комнате. Она была изящной, с черными волосами и узкими ступнями и невольно напомнила мне насекомое с прозрачными крылышками. Я посмотрел, не вернулось ли оно опять, но ничего не увидел. Зато теперь ко мне залетело другое создание. Без лишних слов — будто так и надо, будто это самое обычное дело на свете. Вероятно, так оно и есть. С непонятным мне самому умилением я прислушивался к плеску воды в ванн^{ой}. Я настолько привык к необычному, что повседневная тишина и спокойствие казались мне чем-то удивительным. Несмотря на это или как раз поэтому, я спрятал между книгами чек, который дал мне Скотт и который я после обеда собирался вручить Силверсу. Не к чему искушать судьбу.

Проснулся я довольно поздно. Девушки уже не было. На салфетке я обнаружил следы губной помады. Наверное, она оставила это мне как безмолвный привет. Я принялся искать чек. Он оказался на месте. Ничего не исчезло. Я даже не знал, спал ли я с нею. Мне только вспомнилось, что она вроде бы стояла у моей кровати и мне казалось, что я чувствовал наготу ее тела, прохладного и гладкого; но я не был уверен, произошло ли что-нибудь еще.

Я отправился на студию. Было уже десять часов, но я вспомнил, что вечером провел два часа с Холтом, а этого нельзя не учитывать. Холт сразу завел разговор о сцене, которую снимал. Еще издали я услышал «Хорст Вессель». Холту хотелось знать, на каком языке следует его исполнять — на английском или на немецком. Я посоветовал на немецком. Он возразил, что последующий английский текст тогда прозвучит диссонансом. Мы попробовали оба варианта. Я пришел к выводу, что когда эсэсовцы говорят по-английски, это производит странное впечатление. И уже не так действует. Казалось, передо мной была не имитация действительности, а театр — и к тому же иноязычный.

После обеда я принес Силверсу чек Скотта.

— Второй рисунок вы не продали? — последовал вопрос.

— Вы что, не видите, что ли? — сказал я зло. — Тогда сумма на чеке была бы в два раза больше.

— Лучше было продать другой рисунок. Тот, что сделан сангиной, — более ценный. Продавать оба вместе куда выгоднее.

Я молча смотрел на него и спрашивал себя, может ли он хоть когда-нибудь говорить прямо, без всяких трюков. Наверное, и перед смертью он выкинет какой-нибудь трюк, даже если будет знать, что это ему уже не поможет.

— Мы приглашены на вечер, — сказал он наконец. — Часам к десяти.

— На ужин?

— Нет, позднее. От ужина я отказался. Вы поедете со мной на виллу Веллера.

— В качестве кого? — спросил я. — Как эксперт из Лувра или как бельгийский искусствовед?

— В качестве эксперта из Лувра. Вы заранее должны доставить туда картину Гогена. Лучше всего сейчас. Повесьте ее там, если можно. Так это произведет больше впечатления. Я полагаюсь на вас. Когда картина висит на стене, ее в два раза легче продать, чем ту, которая стоит на полу или на стуле. Можете взять такси.

— Не надо, — высокомерно сказал я. — У меня есть машина.

— Что?

— Со студии. — Я умолчал, что речь идет о «форде» старой модели.

На какое-то время это дало мне преимущество перед Силверсом. Вечером, в половине десятого, он даже предложил поехать на виллу Веллера в моей машине. Но, увидев ее, отскочил и хотел вызвать по телефону «кадиллак». Однако я убедил его поехать на «форде»: для первого знакомства так будет лучше — это произведет более серьезное впечатление, ведь «кадиллаков» и «роллс-ройсов» здесь — хоть пруд пруди. У каждой мелкой кинозвезды такая машина, а «форд» в государстве, где все не прочь похвастаться своей собственностью, может произвести сенсацию в лучшем смысле слова.

— Именно так я и сделаю, — сказал Силверс, обладавший привычкой всех неуверенных в себе людей всегда убеждать в своей правоте. — Я как раз собирался взять напрокат очень старый, подержанный «кадиллак», но ведь «форд» в конце концов то же самое.

Мы попали на просмотр: в Голливуде уже утвердился обычай устраивать просмотры после ужина у продюсера.

Я потешался над Силверсом, который был сама предупредительность, хотя внутренне сгорал от нетерпения. На нем был шелковый смокинг и туфли-лодочки. Я же надел синий костюм. В этой компании было больше синих костюмов, чем смокингов, и Силверс чувствовал себя неуютно в своей парадной одежде. Он бы с удовольствием поехал домой переодеться. И, конечно, в своей неосведомленности обвинил меня, хотя днем, кроме лакея Веллера и его престарелой матери, я никого не видел.

Прошло почти два часа, прежде чем снова вспыхнул свет. К своему удивлению, среди гостей я увидел Холта и Танненбаума.

— Как это мы все вдруг оказались на этом коктейле? — спросил я. — В Голливуде всегда так?

— Ну, Роберт, — укоризненно сказал Холт. — Веллер ведь наш босс! У него снимается наш фильм. Разве вы не знали?

— Нет. Откуда мне было знать?

— Счастливый человек! Я немедленно скажу ему, что вы здесь. Ему наверняка захочется с вами поговорить!

— Я здесь с Силверсом. Совсем по другому делу.

— Могу себе представить! Я уже видел эту разнаряженную обезьяну. Почему вы не приехали к ужину? Подавали фаршированную индейку. Настоящий деликатес. Это здесь едят поздней осенью. В Штатах это традиционное блюдо, как в Европе рождественский гусь.

— Мой шеф был занят и не мог приехать к ужину.

— Ваш шеф не был приглашен на ужин. Если бы Веллеру было известно, что вы приедете с ним, он наверняка бы вас позвал. Он знает, кто вы. Я рассказал ему.

Какой-то миг я наслаждался мыслью, что Силверс был принят у Веллера благодаря мне. И я размышлял о том, как он будет извиваться, чтобы, несмотря ни на что, доказать мне свое превосходство. Потом я забыл о нем и стал разглядывать гостей. Я увидел довольно много молодых людей благообразного вида. А кроме того — с полдюжины киногероев, которых я знал по приключенческим фильмам и вестернам.

— Я понимаю, какой вопрос вертится у вас на языке, — сказал Холт. — Почему они не на войне? Некоторые слабы здоровьем, получили травмы, играя в футбол или теннис, другие — во время работы, третьим кажется, что без них здесь не обойтись. Но очень многие пошли на войну, даже те, от которых этого просто нельзя было ожидать. Вы ведь хотели спросить именно это, не правда ли?

— Нет. Я хотел спросить, уж не присутствуем ли мы на встрече полковников. Здесь их такая прорва!

Холт рассмеялся.

— Это наши голливудские полковники. Все они, не проходя службы, стали сразу капитанами, майорами, подполковниками, полковниками и вице-адмиралами. Капитан, которого вы видите вон там, никогда не плавал дальше Санта-Моники; а вон тот адмирал — обладатель удобного мягкого кресла в Вашингтоне. Полковники — это на самом деле кинопродюсеры, режиссеры и сотрудники, прикомандированные к киноотделу армии. Ниже майора здесь никого нет.

— Вы тоже майор?

— У меня порок сердца, и я снимаю антинацистские фильмы. Смешно, правда?

— Вовсе нет. То же самое творится во всем мире. Думаю, даже в Германии. Солдат нигде не видно. Всюду шныряют только тыловые крысы. Это не относится к вам, Холт. Сколько здесь красавцев! Наверное, именно таким и должен быть настоящий праздник.

Холт рассмеялся.

— Вы же в Голливуде, старина! И вы нигде больше не найдете столько красавцев! Тут каждый может продать свою внешность с максимальной прибылью. Конечно, я исключаю режиссеров и продюсеров. Вот и наш босс Веллер!

К нам подошел маленький человечек в форме полковника. От улыбки все лицо у него пошло морщинками, он производил сугубо штатское впечатление. Услышав, что я работаю с Холтом, он сразу же отвел меня в сторону. Силверс сделал большие глаза — одинокий и никому не нужный, он сидел в кресле, откуда видна была картина Гогена, к которой пока что никто не проявлял интереса. Полотно Гогена сияло как пятно южного солнца над родем, вокруг которого, как я опасался, скоро начнет собираться хор.

Я с трудом выбрался из кольца окруживших меня людей. Вдруг я стал тем, чем никогда не был и к чему совсем не стремился — этаким салонным львом, явившимся из царства ужасов. Веллер с гордой улыбкой представил меня как человека, сидевшего в концентрационном лагере. И тут ко мне стали проявлять интерес киногерои и девушки с кожей, напоминающей персик. От стеснения я начал потеть и то и дело сердито поглядывал на Холта, хотя он в общем-то был неповинен в создавшейся ситуации. Через некоторое время меня спас Танненбаум. Он весь вечер

шнырял вокруг меня, как кошка вокруг тарелки с гуляшом, и, воспользовавшись первой же возможностью, предложил выпить с ним, так как хотел поведать мне какой-то секрет.

— Двойняшки пришли,— прошептал он.

Я знал, что в фильме Холта он обеспечил им две небольшие роли.

— Слава богу! — воскликнул я. — Теперь страдания вам гарантированы.

Он покачал головой.

— Как раз наоборот: полный успех!

— Что? У обеих? Поздравляю!

— Нет, не у обеих. Это невозможно. Двойняшки ведь католички. Только у одной.

— Bravo! Никогда бы не подумал. При вашей-то тонкой и сложной душевной организации!

— Я тут ни при чем! — проворковал счастливый Танненбаум. — Так получилось в фильме!

— Понимаю. Потому-то вы и припасли роли для обеих.

— Не в том дело. Я уже дважды их устраивал. Раньше ничего не получалось. Но теперь!

— Еще раз поздравляю.

— Я играю группенфюрера. Как вам, наверное, известно, я последователь системы Станиславского. Чтобы быть на высоте, я должен войти в роль. Если играешь убийцу, ты должен чувствовать себя убийцей. Ну, а если группенфюрера...

— Понимаю. Но ведь двойняшек нигде не встретишь порознь. В этом-то и состоит их сила.

Танненбаум улыбнулся.

— Для Танненбаума это, конечно, сложно, но не для группенфюрера! Когда они явились ко мне в бунгало, я был в форме. Я сразу же наорал на них, да так, что у них душа ушла в пятки. Одну в полном страхе я отправил в костюмерную примерять костюм, другой велел остаться, закрыл дверь, а потом, не снимая мундира, повалил ее на диван, как настоящий группенфюрер. И представьте себе: вместо того чтобы расцарапать мне физиономию, она была тиха, как мышка. Такова сила мундира. Никогда бы не подумал. А вы?

Я вспоминал первый вечер, проведенный в студии, и сказал:

— Пожалуй, нет. Но как станут развиваться события, когда вы будете не в мундире, а в своей великолепной спортивной куртке?

— Уже пробовал,— сказал Танненбаум.— Дух остается. Возможно, потому, что так уже было однажды. Словом, дух остается.

Я склонил голову перед группенфюрером в штатском.

— Маленькая компенсация за большое несчастье,— произнес я.— Утверждают, что и после последнего страшного извержения Везувия люди пекли яйца в горячем пепле.

— Такова жизнь,— сказал Танненбаум.— Может, я привередничаю, но что-то меня одолевают сомнения: та ли из двойняшек попалась мне в руки?

— Как это? Их ведь невозможно отличить.

— В постели можно. Везель поведал мне, что одна из них настоящий вулкан. А моя что-то спокойная.

— Может, это объясняется вашим духом.

Лицо Танненбаума прояснилось.

— Возможно. Об этом я не подумал. Но что тут подделаешь?

— Подождите до следующего фильма. Может, сыграете в нем пирата или шейха.

— Шейха,— сказал Танненбаум.— Шейха с гаремом. По системе Станиславского.

Ночь была необычайно тихая, когда я вышел в парк «Садов алаха». Было еще не так поздно, но все, казалось, давно погрузилось в сон. Я присел у бассейна, и вдруг меня охватила беспричинная грусть — будто туча заволокла солнце. Я сидел и ждал, когда же из воспоминаний возникнут тени, образы прошлого, чтобы я мог понять, откуда эта внезапная депрессия, которая, как я сразу почувствовал, была иной, чем прежде. Она не угнетала меня, не мучила. Мне уже знаком был страх смерти, отличный от всех прочих страхов и далеко не самый жуткий. Мне странное состояние чем-то напоминало этот страх, но было куда спокойнее. Оно было самым безмятежным и безболезненным из всех, пережитых мною,— несказанная грусть, светлая, почти прозрачная и зыбкая. Я понял, что слова пророка о боге, являющем себя не в буре, а в тишине, могут быть приложимы и к смерти и что может наступить безвольное, медленное угасание, безымянное и совсем не страшное. Я сидел так очень долго, пока не ощутил, как ко мне незаметно возвращается жизнь, подобно шуму прилива, постепенно нарастающему после беззвучного отлива. Наконец я встал, вернулся к себе в номер и прилег на кровать. Я слышал только тихий шелест пальмовых листьев, и мне казалось, что настал час, противостоящий моим снам,— час, который подвел своеобразный метафизический

итог всей моей жизни; я понимал, что это состояние временное и не может породить надежду, но вместе с тем почувствовал странное утешение. Поэтому я нисколько не удивился, когда опять увидел прозрачное насекомое с зелеными крылышками, порхавшее в расплывчатом свете ночника.

XXVII

Через две недели Силверс уехал в Нью-Йорк. Как ни странно, но в Калифорнии ему удалось продать гораздо меньше картин, чем в Нью-Йорке. Никто здесь не рассматривал картины как символ благополучия, вообще деньги здесь были не самым главным, они были чем-то само собой разумеющимся, так же как и то, что называют славой,— просто одно без другого не мыслилось. Известность неизбежно сочеталась с деньгами. В Нью-Йорке известность миллионеров не выходила за пределы их собственного круга, и для расширения этой известности требовалось совершить нечто из ряда вон выходящее. И Силверс своими трюками и особенно всегдашними уверениями, что «он, собственно, не желает продавать, сам являясь коллекционером», привлекал к себе внимание акул, которые в своем желании прослыть знаменитыми коллекционерами все эти уловки принимали за чистую монету.

В конце концов он с трудом продал Веллеру Гогена, но для этого ему скрепя сердце пришлось прибегнуть к моей помощи. Для Веллера я был куда более важной персоной, нежели Силверс. Веллеру я был нужен для фильма, в Силверсе же он не нуждался. Оскорбленный Силверс уехал в Нью-Йорк: самолюбие пересилило жажду наживы.

— Оставайтесь здесь и будьте своего рода «форпостом» моей фирмы,— сказал он.— Вы уже спелись со здешними лощеными варварами.

Комиссионные за проданные мною картины он хотел включить в счет моего жалованья. Я отклонил его предложение, так как мог жить на гонорар, который платил мне Веллер за работу в качестве консультанта. Силверс уступил только в день съезда. Я получил небольшой процент от проданного мною, но зато он вдвое урезал мне жалованье.

— Я отношусь к вам, как к сыну,— сказал он раздраженно,— в другом месте вам пришлось бы уплатить за все, чему вы у меня научились. Вы прошли у меня настоящий университет по бизнесу! А у вас в голове только одно — деньги, деньги, деньги! Ну, что за поколение!

Утром я пришел к Холту. Моя работа была довольно проста. То, что автор сценария по привычке рядил в цветистые одежды гангстерских и ковбойских фильмов, я должен был трезво, без шизофренических вывихов и излишней экзальтации, переложить на язык тупой бюрократии «машины убийств» XX столетия, запущенной обывателями с «чистой» совестью. А Холт продолжал твердить: «Никто нам не поверит! Это психологически неоправданно!»

Об убийствах и палачах у него были весьма романтические представления, которые он пытался воплотить на экране во имя достоверности. Своеобразие этих представлений заключалось в том, что чудовищные деяния непременно должны были сочетаться со столь же чудовищным обликом.

Он готов был признать, что отрицательным персонажам вовсе не обязательно все время быть отталкивающими, однако их спонтанная чудовищность должна была так или иначе проявляться, в противном случае изображаемые характеры утратили бы психологическую достоверность. Он был стреляный воробей во всем, что касалось кино, и его нервы щекотал любой контраст: он готов был, например, приписать коменданту концентрационного лагеря нежнейшую любовь к животным — и особенно к ангорским кроликам, которых он никогда и ни за что не позволил бы резать, — и все для того, чтобы ярче оттенить его жестокость. Холт считал этот прием реалистическим и рассердился, когда я назвал его романтическим.

Самое страшное — это обыватели, люди, которые со спокойной совестью выполняют свою кровавую работу так же старательно, как если бы они пилили дрова или делали детские игрушки, — эту безусловную для меня истину я никак не мог донести до сознания Холта. Тут уж он бунтовал, ему это казалось недостаточно эффективным и вдобавок совершенно не соответствовало тому, чему он научился на пятнадцать своих фильмах ужасов и убийств. Он не верил, когда я говорил, что совершенно нормальные люди так же старательно уничтожают евреев, как в иных условиях старательно занимались бы бухгалтерией. После окончания всего этого хаоса они снова станут санитарями, владельцами ресторанов и министерскими чиновниками, не испытывая при этом ни малейшего раскаяния в содеянных преступлениях, и постараются быть хорошими санитарями и владельцами ресторанов, будто всего происходящего не было и в помине, а если и было, то полностью исчерпывалось и искупалось магическими словами «долг» и «приказ».

Это были первые автоматы автоматического века, которые, едва появившись, опрокинули законы психологии, до сих пор тесно переплетавшиеся с эстетическими законами. В созданном ими мире убивали без вины, без угрызений совести, без чувства ответственности, а убийцы были самыми уважаемыми гражданами, получавшими дополнительный шнапс, высшие сорта колбасы и наградные кресты не за то, что они были убийцами, а просто потому, что у них была более напряженная работа, чем у простых солдат. Единственной человеческой чертой, делавшей их похожими на всех прочих, было то, что своими привилегиями они пользовались без тени смущения, ибо никто из них не горел желанием идти на фронт, а когда начались плановые бомбежки и опасность нависла даже над провинциальными городками, отдаленные концентрационные лагеря оказались наиболее надежным убежищем по двум причинам: во-первых, потому что они были расположены на отшибе, и во-вторых, потому что враг, не желая уничтожить противников режима, тем самым был вынужден щадить и палачей.

Реакция вконец измученного Холта на все мои доводы была неизменной: «Никто нам не поверит, никто! У нас должен быть ко всему гуманный подход! И бесчеловечное должно иметь человеческую подоплеку».

Как доказательство абсолютной бесчеловечности я предложил ввести одну сцену, где бы не было и намека на человечность: лагерь рабов германской индустрии. Холт не имел об этом ни малейшего представления. Он иступленно цеплялся за свою старую концепцию — палач всегда плохой человек.

Я вновь и вновь растолковывал ему, что все происшедшее в Германии было подготовлено и совершено не какими-то существами, спустившимися с Луны или с другой планеты и изнасиловавшими страну, — нет, это были добродетельные немцы, наверняка считавшие себя достойными представителями германской нации. Я втолковывал ему, что смешно предполагать, будто все генералы Германии были настолько слепы и глухи, что ничего не знали о каждодневно совершавшихся пытках и убийствах. Я объяснял ему, что самые крупные промышленные концерны страны заключали соглашения с концентрационными лагерями на поставку дешевой рабочей силы, то есть попросту рабов, которые работали до потери трудоспособности, а затем их прах вместе с дымом вылетал из труб крематориев.

Холт побледнел.

— Не может этого быть!

— Еще как может! Огромное количество известнейших фирм наживается на этих несчастных истерзанных рабах. Эти фирмы даже построили филиалы своих заводов близ концентрационных лагерей, чтобы сэкономить на транспорте. Раз это полезно немецкому народу, значит справедливо — вот их принцип.

— Такое нельзя показывать в фильме! — сказал Холт в отчаянии. — Никто этому не поверит!

— Несмотря на то, что ваша страна ведет войну с Германией?

— Да. Человеческая психология интернациональна. Такой фильм был бы расценен как фильм самого низкого пошиба, лживый и жестокий. В четырнадцатом году еще было можно делать фильмы о зверствах немцев в отношении женщин и детей в Бельгии. А сейчас — нет.

— В четырнадцатом году это была неправда, но фильмы снимались. Теперь же это правда, но ставить такие фильмы нельзя, потому что никто этому не поверит?

— Именно так, Роберт.

Я признал себя побежденным.

За четыре недели я продал четыре рисунка и полотно Дега — «Репетиция к танцу», которое взял Веллер. Силверс придрался, что я продал картину одному из его клиентов, и скостил мне комиссионные.

Еще мне удалось продать пастель Ренуара. Холт забрал ее у меня, а через неделю перепродал, положив себе в карман тысячу долларов. Это воодушевило его. Он приобрел еще одну небольшую картину и опять заработал на ней — на этот раз две тысячи.

— Не заняться ли нам вместе продажей картин? — спросил он меня.

— На это надо слишком много денег. Картины стоят дорого.

— Начнем с малого. У меня есть кое-какие деньги на банковском счету.

Я покачал головой. Особо теплых чувств к Силверсу я не испытывал, но одно мне было ясно: в Калифорнии я не останусь. Несмотря на все, я жил в каком-то удивительном вакууме.

Я словно висел в воздухе где-то между Японией и Европой, и чем больше я убеждался в том, что не смогу

остаться в Америке, тем сильнее меня тянуло назад, в Нью-Йорк. За эти недели я открыл в себе какую-то лихорадочную любовь к этому городу, которая, по-видимому, объяснялась тем, что с каждым днем я все яснее понимал: моя жизнь в Нью-Йорке — это передышка на пути в неизвестность. Я делал огромные усилия, чтобы побольше заработать, потому что знал: деньги будут мне необходимы, и я не хотел страдать из-за их отсутствия. Поэтому я остался здесь даже дольше, чем требовали съемки.

То был период моей независимости. Мне ничего не оставалось, как ждать, пока клюнет рыба. В последние недели съемок я заметил, что Холт и Веллер обращаются ко мне только по поводу каких-то незначительных мелочей, но к сценарию меня и близко не подпускают.

Они утратили ко мне доверие и были убеждены, что сами во всем отлично разбираются. Да так, собственно, и должно было быть — ведь оба они были евреями, а я нет, хотя в конце концов какое это имеет значение. Они мне верили только до определенного момента, потом появились сомнения, так как считали меня арийским перебежчиком, который жаждет мести, сам хочет оправдаться и потому преувеличивает и фантазирует.

«В Нью-Йорке идет снег, — писал Кан. — Когда Вы вернетесь? Я встретил Наташу. О Вас она мало что могла рассказать, она думает, что в Нью-Йорк Вы уже не вернетесь. Наташа шла в театр с владельцем «роллс-ройса». Как поживает Кармен? Я ничего о ней не знаю».

Это письмо я читал, сидя у бассейна. Земля хотя бы потому должна быть круглой, что все время смещается горизонт. Когда-то моей родиной была Германия, затем Австрия, Франция, в общем — Европа, а вслед за тем — Америка, и всякий раз та или иная страна становилась моей родиной только потому, что я покидал ее, а вовсе не потому, что жил в ней. Она появлялась вдруг на горизонте как моя новая родина. Такой новой родиной неожиданно оказался Нью-Йорк, возникший вдруг на горизонте, а когда я вернусь в Нью-Йорк, на горизонте может возникнуть Калифорния. Почти как в песне Шуберта «Скиталец»: «А счастье там, где нас с тобою нет».

Я зашел к Кармен. Она все еще жила в том бунгало, где я впервые встретился с ней. Ничто, казалось, там не изменилось.

— Через две недели я возвращаюсь в Нью-Йорк,— сказал я.— Хотите поехать со мной?

— Но, Роберт! У меня же контракт еще на пять недель. Я должна остаться.

— Вы делали хоть что-нибудь за это время?

— Я примеряла костюмы. А в следующем фильме получу небольшую роль.

— Это всегда так говорят. Вы в самом деле считаете себя актрисой, Кармен?

Она рассмеялась.

— Конечно, нет. Но кто может считать себя актрисой? — Она внимательно оглядела меня.— А вы похорошели, Роберт.

— Просто купил себе новый костюм.

— Не в том дело. Вы что, похудели? Или это кажется оттого, что вы такой загорелый?

— Понятия не имею. Давайте пойдем куда-нибудь пообедать. Я при деньгах и могу сводить вас к «Романову».

— Хорошо,— согласилась она, к моему удивлению.

Было полдень. Киноактеры, сидевшие в ресторане «Романов», по всей видимости, ничуть ее не интересовали: она даже не переоделась и осталась в узких белых брюках. Тут я впервые заметил, что у нее кроме всего еще и прелестный зад.

— Что-нибудь слышно от Кана? — спросил я.

— В последнее время он иногда звонит. Но вы-то слышали о нем, не так ли? Иначе вы не пришли бы ко мне.

— Нет,— солгал я.— Я зашел к вам, потому что скоро уезжаю.

— Зачем? Неужели вам здесь не нравится?

— Нет.

Она рассматривала меня и в эту минуту была похожа на очень юную леди Макбет.

— Это все из-за вашей возлюбленной, да? Но вокруг так много женщин. Особенно здесь. В конце концов, все женщины похожи одна на другую.

— Кармен! — воскликнул я.— Что за вздор!

— Только мужчины считают это вздором.

Я взглянул на нее. Она немного изменилась.

— Мужчины тоже похожи один на другого? — спросил я.— Во всяком случае, женщины не должны так считать,

— Мужчины все разные. Например, Кан. Он чумной.

— Что?

— Чумной,— спокойно повторила Кармен с улыбкой.— То он хочет, чтобы я поехала в Голливуд, то требует, чтобы я вернулась. Я не вернусь. Здесь тепло, а в Нью-Йорке снег.

— Только поэтому?

— А разве этого недостаточно?

— Господь с вами, Кармен. А может, все-таки поедете со мной?

Она покачала головой.

— Кан действует мне на нервы, а я простая девушка, Роберт. У меня голова болит от его болтовни.

— Он не только болтает, Кармен. Он, что называется, герой.

— Этим не проживешь. Герои должны умирать. Если они выживают, то становятся скучнейшими людьми на свете.

— Вот как? Кто это вам сказал?

— Непременно кто-то должен сказать? Вы, конечно, считаете меня глупой как пробка, да? Так, как и Кан.

— Вовсе нет. Кан совсем не считает вас глупой. Он вас обожает.

— Он до того меня обожает, что у меня голова начинает болеть. Это так скучно! Почему вы все с каким-то вывертом?

— Что?

— Ну, не такие, как все. Например, как моя хозяйка. У вас всегда все сложно, трудно.

Официант принес фрукты по-македонски.

— Точь-в-точь как эти фрукты,— сказала Кармен, показав на тарелку.— Название-то какое выдумали — не выговоришь! А на самом деле — просто нарезанные фрукты, к которым добавлено немножко ликера.

Я отвез Кармен в ее бунгало — к курам и рыжеволосой образцовой хозяйке.

— У вас уже и машина есть,— сказала Кармен с трагически-мечтательным выражением лица.— Видно, дела у вас идут неплохо, Роберт.

— У Кана теперь тоже есть машина,— солгал я.— Еще лучше, чем у меня. Мне Танненбаум рассказал — «шевроле».

— «Шевроле» и головная боль в придачу,— ответила Кармен, повернувшись ко мне своим престелым задом.— Как поживает ваша возлюбленная, Роберт? — бросила она мне через плечо.

— Не яню. Последнее время я ничего о ней не слышал.

— Вы хоть изредка переписываетесь?

— У нас обоих трясется правая рука, а печатать на машинке ни она, ни я не умеем.

Кармен засмеялась.

— Так это что же, а? Значит, с глаз долой — из сердца вон? Впрочем, так-то оно разумнее.

— Редко услышишь более мудрое слово. Передать что-нибудь Кану?

Она задумалась.

— А зачем?

Из сада с кудахтаньем выбежали куры. Кармен мгновенно оживилась.

— Боже мой, мои белые брюки! Зря, что ли, я их глаживала! — Она с трудом отогнала птиц. — Кыш, Патрик! Прочь, Эмилия! Ну вот, уже и пятно!

— Хорошо, когда знаешь по имени причину своих бед, не так ли? — заметил я. — Тогда все намного проще.

Я пошел было к своему «форду», но вдруг остановился. Что я сейчас сказал? На мгновение мне показалось, будто что-то кольнуло меня в спину. Я повернул назад.

— Не так уж страшно, — услышал я голос Кармен из сада. — Пятно можно будет смыть.

«Да, — подумал я. — Но все ли можно смыть?»

Я простился со Скоттом.

— К моему рисунку сангиной мне хотелось добавить еще один, — сказал он. — Я люблю, чтоб над диванами висело что-то. Кто знает, когда вы опять приедете! У вас есть что-нибудь в этом же роде?

— Есть рисунок углем, а не сангиной. Великолепная вещь, тоже Ренуар.

— Хорошо. Тогда у меня будет два рисунка Ренуара. Ну разве можно было рассчитывать на такое везение?

Я вынул рисунок из чемодана и вручил ему.

— Я с удовольствием отдаю его вам, Скотт.

— Почему? Я ведь в этом совсем не разбираюсь.

— В вас есть уважение к таланту и творчеству, а это гораздо важнее. Будьте здоровы, Скотт. Я покидаю вас с таким чувством, будто расстаюсь с давним знакомым.

На меня иногда находили такие приступы стихийной любви к ближнему, захлестывавшей мою европейскую сдержанность: через несколько часов вдруг начинаешь называть кого-то по имени — в знак пусть поверхностной, но тем не менее сердечной дружбы. Дружба в Америке дается

легко и просто, в Европе — очень трудно. Один континент молод, другой — стар. Не исключено, что дело именно в этом. «Всегда надо жить так, будто прощаешься навеки», — подумал я.

Танненбаум получил еще одну маленькую роль. Он был очень доволен и хотел купить у меня «Форд». Я объяснил ему, что обязан вернуть его студии.

— Кого вы играете в следующем фильме?

— Английского кока на судне, в которое попадает торпеда с немецкой подводной лодки.

— Он погибает? — спросил я с надеждой.

— Нет. Это комический персонаж, его спасают, и он начинает стряпать для экипажа немецкой подводной лодки.

— И не отравляет их?

— Нет. Он готовит им рождественский сливовый пудинг. Происходит всеобщее братание в открытом море с исполнением английских и немецких народных песен. Кроме того, они обнаруживают, что у старого немецкого и английского национальных гимнов одинаковая мелодия: и у «Heil dir im Siegerkranz», и у «God Save the King». Они обнаруживают это возле маленькой рождественской елки, украшенной электрическими лампочками, и решают, когда кончится война, не воевать больше друг против друга. Они находят много общего.

— Ваше будущее видится мне в самом черном цвете, и все же, я думаю, вы не пропадете.

Я сел в поезд, который обслуживали проводники-негры. Там были широкие удобные кровати и индивидуальные туалеты. Танненбаум и одна из двойняшек махали мне с перрона. Впервые за много лет я расплатился со всеми своими долгами, в кармане у меня были деньги и продленный на три месяца вид на жительство. Кроме того, мне предстояло трехдневное путешествие по Америке у большого вагонного окна, в пятидесяти шагах от вагона-ресторана.

XXVIII

— Роберт! — воскликнул Меликов. — А я уж думал, что ты остался насовсем в Голливуде!

— Наверное, так думали почти все.

Меликов кивнул. У него был землистый цвет лица, и весь он был какой-то серый.

— Ты болен? — спросил я.

— Почему? — он засмеялся. — Ах да, ты ведь из Калифорнии! Теперь тебе будет казаться, что все жители Нью-Йорка только что вышли из больницы. Почему ты вернулся?

— Я мавохист,

— Наташа тоже не думала, что ты вернешься.

— А что же она думала?

— Что тебя засосет Голливуд.

Больше вопросов я не задавал. Возвращение мое было нерадостным. Старая каморка показалась мне еще более пыльной и обшарпанной, чем прежде. Вдруг я сам перестал понимать, зачем вернулся. На улице была слякоть, шел дождь.

— Надо купить пальто, — вслух подумал я.

— Будешь опять жить здесь? — спросил Меликов.

— Да. Но на этот раз можно будет взять комнату побольше. У тебя есть свободная?

— Освободилась комната Рауля. Он съехал окончательно после вчерашнего грандиозного скандала. Не знаю, помнишь ли ты его последнего друга?

— У тебя есть еще комната?

— Да, Лизы Теруэль. Она умерла неделю назад. Слишком большая доза снотворного. Других свободных номеров нет, Роберт. Если б ты мне написал... Зимой все отели переполнены.

— Между психопатом-педерастом и покончившей с собой дамочкой сделать выбор не так-то просто. Ладно, я займу номер Лизы,

— Я так и думал.

— Почему?

Меликов рассмеялся.

— Не знаю почему. Летом ты наверняка поселился бы в конуре Рауля.

— Ты думаешь, теперь я меньше боюсь смерти?

Меликов опять засмеялся.

— Не смерти, а призраков. Кто теперь боится смерти? Смерть трудно осознать. Вот боянь умирания — это другое дело. Но у Лизы была легкая смерть. Когда мы ее нашли, она выглядела вначительно моложе своих лет.

— Сколько же ей было на самом деле?

— Сорок два. Пошли, я покажу тебе комнату. Она чище других. Нам пришлось окуривать ее серой. Кроме того, там всегда солнце: зимой это особенно важно. В комнату Рауля солнце не заглядывает.

Мы поднялись навверх. Комната была на втором этаже. Туда можно было пройти незаметно из холла. Я распаковал чемодан и достал оттуда несколько больших морских раковин, купленных мною в Лос-Анджелесе: здесь они производили довольно унылое впечатление, утратив романтический блеск морских глубин.

— Когда нет дождя, здесь гораздо уютнее, — сказал Меликов. — Не выпить ли нам водки для бодрости?

— Что-то не хочется. Я лучше прилягу.

— Пожалуй, я тоже. Старость приближается. Я сегодня дежурил ночью. Зимой меня начинает мучить ревматизм. Сегодня мне еще лучше, чем всегда, Роберт.

После обеда я отправился к Силверсу. Он встретил меня приветливее, чем я ожидал.

— Ну, как справились с заданием? — последовал вопрос.

— Продал Ренуара, маленький рисунок углем. За пять тысяч долларов.

Силверс кивнул в знак одобрения.

— Хорошо, — произнес он, к моему удивлению.

— Что с вами стряслось? — поинтересовался я. — Обычно я слышу, что вы чуть ли не с жизнью расстаетесь, продавая картины.

— Так оно и есть. Лучше всего было сохранить их для себя. Но война идет к концу, Росс.

— Еще нет.

— Говорю вам: война скоро кончится. Месяцем раньше, месяцем позже, это роли не играет, Германия выдохлась. А то, что немецкие нацисты продолжают сражаться до последнего ненациста, вполне понятно: они же борются за свою жизнь. Германский генеральный штаб продолжает войну — это тоже вполне естественно: там каждый готов пожертвовать последним солдатом ради своей карьеры. И тем не менее Германии конец. Через несколько месяцев все кончится — вот увидите. Вы понимаете, что это значит?

— Да, — ответил я после некоторого раздумья.

— Это значит, что скоро мы опять сможем взять курс на Европу, — заключил Силверс. — А Европа теперь бедна. Если платить в долларах, можно будет дешево купить любые картины. Теперь вам ясно?

— Да, — повторил я, на этот раз совершенно ошарашенный.

— Сейчас разумнее всего покупать не здесь, а в Европе. Поэтому целесообразнее отделаться от наших запасов. Но тут следует проявлять осторожность, ибо в таких случаях можно выиграть, но можно и здорово проиграть.

— Это даже я понимаю.

— Нечто похожее было после первой мировой войны. Но тогда я во всем этом плохо разбирался и наделал много ошибок. Больше это не должно повториться. Так вот, если у вас еще не заключена сделка и вы никак не можете договориться о цене, то сейчас можно и уступить. Обоснуйте это тем, что при уплате наличными клиенты получают скидку. Мы-де хотим приобрести большую коллекцию и нуждаемся в наличных.

У меня неожиданно стало веселее на душе. Деловитость в чистом виде, не разбавленная болтовней о морали, иногда влияла на меня благотворно, особенно когда Силверс хладнокровно переводил мировые катастрофы в дебет и кредит. У меня возникло впечатление, будто гномы командуют господом богом.

— Но и ваши комиссионные тоже придется урезать,— добавил Силверс.

Именно этого я и ожидал. Это было, так сказать, необходимым приправой, вроде чеснока в бараньем рагу.

— Ну, разумеется,— с иронией сказал я.

Я колебался, звонить ли Наташе, и все не мог решить. За последние недели наши отношения стали какими-то абстрактными. Все ограничивалось несколькими ничего не значащими открытками, но даже и в них чувствовалась какая-то неискренность. Просто нам нечего было сказать друг другу, когда мы не были вместе, и так, наверное, казалось нам обоим. Я не знал, что произойдет, если я позволю ей. Поэтому я даже не сообщил Наташе о своем возвращении. Рано или поздно, однако, мне придется дать ей знать о себе, но я никак не мог решиться. Недели и месяцы в Голливуде промелькнули для меня почти незаметно, будто наши отношения возникли случайно и так же случайно и безболезненно оборвались.

Я поехал к Бетти и, увидев ее, испугался. Она похудела, наверное, фунтов на двадцать. На сморщенном, осунувшемся лице горели огромные глаза. Они были единственным, что еще жило. Одряблевшая кожа тяжелыми складками свисала со скул, отчего лицо казалось непомерно большим.

— Вы хорошо выглядите, Бетти.

— Слишком худая стала, да?

— Худоба сейчас в моде.

— Бетти всех нас переживет,— сказал Равик, появившийся из темной гостиной.

— Только не Росса,— сказала Бетти с призрачной улыбкой.— У него цветущий вид: смотрите, какой он загорелый, весь так и пышет здоровьем.

— Через две недели от загара не останется и следа, Бетти. В Нью-Йорке зима.

— Я бы тоже с удовольствием поехала в Калифорнию,— сказала она.— Зимой там, должно быть, великолепно. Но это так далеко от Европы!

Я огляделся. Мне почудилось, что в складках портьер затаялся запах смерти. Он, правда, был не таким резким, как в крематории. Там все было иначе: кровь уже свернулась, и к сладковатому запаху, предшествующему тлению, примешивался острый и чуть едкий привкус оставшегося в легких газа. Здесь же господствовал теплый, затхлый, но вместе с тем сладковатый запах; избавиться от него можно было только на несколько минут, открыв окна и попрыскав лавандой,— потом он сразу возвращался. Этот запах был мне хорошо знаком. Смерть больше не подкарауливала за окном — она уже проникла в комнату, но еще выжидала, притаившись в углу.

— Сейчас так рано темнеет,— сказала Бетти.— От этой ночи кажутся бесконечными.

— Тогда не тушите свет на ночь,— сказал Равик.— Больной может не обращать внимания на время суток.

— Я так и делаю. Боюсь темноты. В Берлине я никогда не испытывала такого страха.

— Это было давно, Бетти. Многое меняется. Было время, когда я тоже боялся просыпаться в темноте,— сказал я.

Она уставилась на меня своими большими блестящими глазами.

— И до сих пор боитесь?

— Здесь, в Нью-Йорке — да. В Калифорнии меньше.

— Почему же? Что вы там делали? Наверное, по ночам вы были не один, а?

— Нет, один. Я просто забывал об этом страхе, Бетти.

— Так лучше всего,— сказал Равик.

Бетти погрозила мне костлявым пальцем и улыбнулась. От ее улыбки становилось жутко: лицо у нее словно свело предсмертной судорогой.

— Стоит только взглянуть на него, и сразу видно, что он счастлив! — воскликнула она и посмотрела на меня своими неподвижными, навывкате глазами.

— Кто может быть теперь счастлив, Бетти? — сказал я.

— Э нет, теперь я знаю: счастливы все, кто здоров. Только пока ты здоров, этого не замечаешь. А потом, когда поправишься, опять все забудешь. Но по-настоящему это можно осознать лишь перед смертью.

Она выпрямилась. Под ночной сорочкой из искусственного шелка груди ее висели, как пустые мешки.

— Все прочее — вздор, — сказала она чуть хриплым голосом, тяжело дыша.

— Ах, оставьте, Бетти, — сказал я. — У вас так много прекрасных воспоминаний. Так много друзей. А скольким людям вы помогли!

На минуту Бетти призадумалась. Потом сделала мне знак подойти поближе. Я неохотно приблизился: мне стало нехорошо от запаха мятных таблеток, уже мешавшегося с запахом тления.

— Это не имеет значения, — прошептала она. — В какой-то момент все перестанет иметь значение. Уж поверьте мне, я знаю.

Из серой гостиной появилась одна из двойняшек.

— Сегодня Бетти — в прострации, — сказал Равик и поднялся. — Safard. Это с каждым бывает. У меня иной раз это продолжается неделями. Я найду потом еще раз. Сделаю ей укол.

— Safard, — прошептала Бетти. — Safard еще значит и лицемерие. Каждый раз, произнося это слово, кажется, будто мы во Франции. Даже вспоминать страшно! Оказывается, человеческому несчастью нет предела, не так ли, Равик?

— Да, Бетти. И счастьем, пожалуй, тоже. Ведь здесь за вами не следит гестапо.

— Нет, следит.

Равик усмехнулся.

— Оно следит за всеми нами, но не слишком пристально и часто теряет нас из виду.

Он ушел. Одна из двойняшек Коллер разложила на одеяле у Бетти несколько фотографий.

— Оливаерплац, Бетти. Еще до нацистов!

Вдруг Бетти оживилась.

— Правда? Откуда они у тебя? Где мои очки? Надо же! И мой дом видно?

Девушка принесла ей очки.

— Моего дома здесь нет! — воскликнула Бетти. — Снимали с другой стороны. А вот дом доктора Шлезингера.

Даже можно прочесть имя на табличке. Конечно, это было до нацистов. Иначе таблички уже не было бы.

Было самое время уйти.

— До свидания, Бетти,— сказал я.— Мне пора.

— Посидите еще.

— Я только сегодня приехал и даже не успел распаковать вещи.

— Как поживает моя сестра? — спросила двойняшка.— Она теперь одна осталась в Голливуде. Я-то сразу вернулась.

— Думаю, что у нее все в порядке,— ответил я.

— Она любит приврать,— заметила двойняшка.— Она уже раз сыграла со мной такую шутку. И мы здорово влипли. Нам тогда пришлось занимать денег у Фрислендера, чтобы вернуться.

— Почему бы вам не поработать секретаршей у Фрислендера, пока сестра не пришлет вам денег на проезд в оба конца?

— Так можно прождать всю жизнь. А мне хочется самой попытаться счастья.

Бетти следила за нашим разговором с нескрываемым страхом.

— Ты не уйдешь, Лиззи, а? — умоляла она.— Я ведь не могу остаться одна. Что мне тогда делать?

— Никуда я не уйду,— успокоила ее девушка.

Двойняшка, которую, как я впервые услышал, звали Лиззи, проводила меня в прихожую.

— С ней просто мука,— прошептала она.— Не умирает, и все тут. И в больницу не желает ложиться. Я сама с ней заболела. Равик хочет поместить ее в больницу, а она говорит, что лучше умрет, чем пойдет туда. И вот никак не умирает.

Я подумал, не пойти ли мне к Кану. Ничего радостного я не мог ему сообщить, а говорить неправду не хотелось. Странно, но я никак не мог заставить себя позвонить Наташе. В Калифорнии я почти не думал о ней. Там я считал, что наши отношения были как раз такими, какими казались нам вначале: легкими, лишенными сантиментов. Поэтому очень просто было позвонить Наташе и выяснить, что же все-таки у нас за отношения. Нам не в чем было упрекать друг друга, нас не связывали никакие обязательства. И тем не менее я не мог решиться набрать номер ее телефона. Сомнения тяжелым камнем лежали у меня на

сердце. Мне казалось, будто я понес невозполнимую утрату, упустил что-то бесконечно мне дорогое из-за собственного безрассудства и неосторожности. Я дошел до того, что начал думать: а вдруг Наташа умерла; безотчетный страх сгустился во мне по мере приближения вечера. Я сознавал, что на эту необоснованную и глупую мысль меня навел *safard* Бетти, но ничего не мог с собой поделать.

Наконец я набрал номер так решительно, будто речь шла о жизни и смерти. Услышав гудки, я сразу понял, что дома никого нет. Я звонил каждые десять минут. Втолковывал себе, что Наташа могла просто куда-то выйти или же снималась. Но это на меня мало действовало. Правда, мое паническое состояние стало проходить, когда, преодолев себя, я все же решился набрать ее номер. Я думал о Кане и Кармен, о Силверсе и его неудачах в Голливуде, я размышлял о Бетти и о том, что все наши громкие слова о счастье бледнеют перед словом «болезнь». Я пытался вспомнить маленькую мексиканку из Голливуда и говорил себе, что есть бесчисленное множество красивых женщин, куда более красивых, чем Наташа. Все эти мысли служили лишь одной цели: набраться мужества для ноевого звонка. Затем последовала старая игра: я загадал — дев звонка и конец, но не удержался и позвонил еще три или четыре раза.

И вдруг раздался ее голос. Я уже больше не прикладывал трубку к уху, а держал ее на коленях.

— Роберт, — сказала Наташа. — Откуда ты звонишь?

— Из Нью-Йорка. Только сегодня приехал.

— Это все? — спросила она, немного помолчав.

— Нет, Наташа. Когда я смогу тебя увидеть? Двадцатый раз набираю твой номер, я уже дошел до отчаяния. Телефон звонит как-то особенно безнадежно, когда тебя нет дома.

Она тихо рассмеялась.

— Я только что пришла.

— Пойдем поужинаем, — предложил я. — Могу сводить тебя в «Павильон». Только не говори «нет». На худой конец можно съездить котлету в закусочной. Или пойдем туда, куда ты захочешь.

Я со страхом ждал ее ответа: боялся мучительного разговора о том, почему мы так давно ничего не слышали друг о друге; боялся напрасной, но вполне понятной обиды, всего того, что могло помешать нашей встрече.

— Хорошо,— сказала Наташа.— Зайди за мной через час.

— Я тебя обожаю, Наташа! Это самые прекрасные слова, которые я слышал с тех пор, как уехал из Нью-Йорка.

В тот момент, когда я произносил это, я уже знал, что она ответит. Любый удар мог сокрушить меня. Но ответа не последовало. Я услышал щелчок, как это бывает, когда вешают трубку. Я почувствовал облегчение и разочарование. Сейчас я, наверное, предпочел бы ссору с криком и оскорблениями,— ее спокойствие показалось мне подозрительным.

Я стоял в номере Лизы Теруэль и одевался. Вечером в комнате еще сильнее пахло серой и лизолом. Я подумал, не сменить ли мне комнату еще раз. В атмосфере, которая прежде окружала Рауля, я, возможно, сумел бы лучше себя подготовить для предстоящей борьбы. Сейчас мне требовались полное спокойствие и безразличие, которые ни в коем случае не должны выглядеть наигранными, иначе я погиб. Рауль с его отвращением к женщинам представлялся мне сейчас куда более надежной опорой, чем Лиза, которая, насколько я понимал, умерла от какого-то глубокого разочарования. Я даже подумал, не переспать ли мне сначала с кем-нибудь, чтобы меня не начало трясти при встрече с Наташей. В Париже я знал одного человека: он ходил в бордель, прежде чем увидиться с женщиной, с которой больше не желал быть близок,— и, несмотря на это, снова и снова попадал под ее чары. Но эту мысль я сразу же отбросил; кроме того, я не знаю в Нью-Йорке ни одного борделя.

— Ты что, на похороны собрался? — спросил Меликов.— Может, хочешь водки?

— Даже водки не хочу,— ответил я.— Слишком серьезное дело. Хотя, по правде сказать, не такое уж и серьезное. Просто мне нельзя наделать ошибок. Как выглядит Наташа?

— Лучше, чем когда-либо! Мне очень жаль, но это так.

— Сегодня ты дежуришь ночью?

— До семи утра.

— Слава богу. Adieu¹, Владимир. Ты не можешь себе представить, какой я идиот. Почему я не звонил и не писал ей чаще? И еще так этим гордился!

¹ Прощай (фр.).

Надев новое пальто, я вышел в холодную ночь. В голове у меня все смешалось: страх, надежда, ложь и добрые намерения, раскаяние и мысли о том, как мне надлежит вести себя.

Вспыхнул свет, и лифт загудел.

— Наташа,— быстро произнес я.— Я пришел сюда, полный смятения, раскаяния и лжи. Я даже вынашивал какие-то стратегические планы. Но в тот момент, когда ты появилась в дверях, я забыл все. Осталось только одно: полное непонимание того, как я мог уехать от тебя.

Я обнял ее и поцеловал. Чувствуя, что она отстраняется, я прижал ее крепче. Она уступила. Потом высвободилась из моих объятий и сказала:

— У тебя такой смятенный вид, ты очень похудел.

— Питался травой — соблюдал диету. Иногда по воскресеньям и праздникам позволял себе большую порцию салата.

— Я растолстела? Меня часто приглашали на торжественные банкеты в «Двадцать одно» и в «Павильон».

— Я бы даже хотел, чтобы ты растолстела. Тогда на мою долю больше досталось бы, а то ты слишком хрупкая.

Я нарочно пропустил мимо ушей упоминание о торжественных банкетах, которое, очевидно, должно было тяжело поразить меня. Я действительно пришел в смятение, как только обнял Наташу, но постарался сдержать радостную дрожь. Она никогда не надевала под платье ничего лишнего, и казалось, на ее гладком, теплом, волнующем теле не было ничего, кроме тонкой ткани. Я старался не думать об этом, но ничего не мог с собой поделать.

— Тебе не холодно? — задал я идиотский вопрос.

— У меня теплое пальто. Куда мы пойдем?

Я нарочно не стал упоминать «Двадцать одно» или «Павильон». Не хотелось выслушивать еще раз, что она бывала там каждый день и поэтому не желает туда идти.

— Может, пойдем в «Бистро»?

«Бистро» был маленький французский ресторанчик на Третьей авеню. Там было вдвое дешевле, чем в других ресторанах.

— «Бистро» закрыт,— сказала Наташа.— Хозяин его продал. Он уехал в Европу, чтобы присутствовать при торжественном вступлении де Голля в Париж.

— Правда? И ему удалось выехать?

— Кажется, да. Французских эмигрантов охватила настоящая предотъездная дихорадка. Они боятся, что вер-

нутя домой слишком поздно и их сочтут дезертирами. Пойдем в «Золотой петушок». Это похоже на «Бистро».

— Хорошо. Надеюсь, его хозяин еще здесь. Он ведь тоже француз.

В ресторане было уютно.

— Если вы хотите вина, у нас есть великолепный «Анжу розэ»,— предложил хозяин.

— Хорошо.

Я с завистью посмотрел на него. Это был совсем другой эмигрант, не такой, как мы все. Он мог вернуться. Его родина была оккупирована и будет освобождена. С моей родиной все иначе.

— Ты загорел,— заметила Наташа.— Что ты там делаешь? Ничего или того меньше?

Ей было известно, что я работал у Холта, но больше она ничего не знала. Я объяснил ей, чем занимался, чтобы в первые четверть часа избежать ненужных расспросов.

— Ты должен опять туда вернуться?— спросила она.

— Нет, Наташа.

— Ненавижу зиму в Нью-Йорке.

— А я ненавижу ее везде, кроме Швейцарии.

— Ты был там в горах?

— Нет, в тюрьме, потому что у меня не было документов. Но в тюрьме было тепло. Я прекрасно себя там чувствовал. Видел снег, но меня никто не гнал на улицу. Это была единственная отапливаемая тюрьма, в которой я сидел.

Наташа вдруг рассмеялась.

— Не пойму, лжешь ты или нет.

— Только так и можно рассказывать о том, что до сих пор считаешь несправедливым. Очень старомодный принцип. Несправедливостей не существует, есть только невезение.

— Ты веришь в это?

— Нет, Наташа. Нет, раз я сижу рядом с тобой.

— У тебя много было женщин в Калифорнии?

— Ни одной.

— Ну, ясно. Бедный Роберт!

Я взглянул на нее. Мне не нравилось, когда она меня так называла. Разговор развивался совсем не в том плане, как мне бы хотелось. Мне просто надо было как можно скорее лечь с ней в постель: А это была лишь никому не нужная болтовня. Мне следовало бы встретиться с ней в гостинице; чтобы сразу заткнуть ее в комнату Лизы Теруэль. Здесь же опасно было даже заводить разговор

об этом. Пока что мы обменивались колкостями и пустыми любезностями, в которые был заложен детонатор замедленного действия. Я понимал, что она ждет, когда я задам ей аналогичный вопрос.

— Обстановка в Голливуде не располагает к такого рода развлечениям,— ответил я.— Там чувствуешь себя усталым и безразличным.

— Потому-то ты почти и не давал о себе знать? — спросила она.

— Нет, не потому. Просто не люблю писать письма. Жизнь моя складывалась таким образом, что я никогда не знал, кому можно писать. Наши адреса были временными. Они постоянно менялись. Я жил только настоящим временем, только сегодняшним днем. У меня никогда не было будущего, и я был не в состоянии представить себе это. Я думал, что и ты такая же.

— Откуда ты знаешь, что я не такая?

Я молчал.

— Люди встречаются после разлуки, а все как прежде,— заметил я.

— Мы же сами этого хотим!

Я все больше попадался в ловушку. Надо было немедленно выбираться из нее.

— Нет,— возразил я.— Я не хочу.

Она бросила на меня мимолетный взгляд.

— Ты не хочешь? Но ты же сам это сказал.

— Ну и что же? Раньше я не знал, чего хочу. А теперь знаю.

— Что же изменилось?

Это был уже допрос. Мысли мои метались, путались. Я думал о человеке, ходившем в бордель, прежде чем встретиться с любимой. Мне тоже надо было бы так поступить, тогда многое было бы легче. Я забыл или никогда не задумывался над тем, как неудержимо влекло меня к Наташе. В начале наших отношений все было иначе, и странно, что именно это время я чаще всего вспоминал в Голливуде. Но стоило мне увидеть ее — и все вернулось с новой силой. Теперь я старался не глядеть на Наташу, боясь выдать себя. При этом я даже не знал, чем же я, собственно, мог себя выдать. Я только был уверен, что я навсегда останусь в ярме, если она разгадает меня. Наташа выложила еще далеко не все свои козыри. Она ждала подходящего момента, чтобы рассказать мне, что у нее был роман с другим мужчиной, то есть что она попросту с кем-то спала. Мне же хотелось предотвратить ее

рассказ. Я вдруг почувствовал, что у меня не хватит сил выслушать его, хотя я и вооружился контраргументом: раз ты в чем-то признался, значит, это уже неправда.

— Наташа! Все серьезное, что приходит неожиданно, нельзя объяснить так, сразу... Я счастлив, что мы опять вместе. А время, которое мы не виделись, пролетело и растаяло как дым.

— Ты так считаешь?

— Теперь да.

Она рассмеялась.

— Это удобно, а? Мне пора домой. Я очень устала. Мы готовим показ весенних моделей.

— Я помню. Ты всегда все знаешь на сезон вперед. «Весна,— подумал я.— Что-то еще произойдет до тех пор?» Я взглянул на хозяина с черными усами. Интересно, придется ли ему в Париже нести ответственность за дезертирство? А что станется со мной? Что-то угрожающее надвигалось на меня со всех сторон. Мне казалось, будто я задыхаюсь. То, чего я так долго ждал, вдруг представилось мне лишь отсрочкой перед казнью. Я посмотрел на Наташу. Она показалась мне бесконечно далекой. С холодным и невозмутимым видом она натягивала перчатки. Мне хотелось сказать ей что-то такое, что отбросило бы все недомолвки, но мне так ничего и не пришло в голову. Я молча шагал рядом с нею. Было холодно, дул ветер со снегом. Я нашел такси. Мы почти ни о чем не говорили.

— Доброй ночи, Роберт,— сказала Наташа.

— Доброй ночи, Наташа.

Я был рад тому, что Меликов бодрствует сегодня ночью. Мне нужна была не водка, а кто-то, кто ни о чем не спрашивает, но тем не менее находится рядом.

XXIX

Я на секунду остановился перед витриной магазина Лоу. Столик начала восемнадцатого века все еще не был продан. Меня охватило чувство умиления при виде реставрированных ножек. Вокруг было несколько старых, но заново выкрашенных кресел, миниатюрные египетские статуэтки из бронзы, среди них неплохая фигурка кошки и фигурка богини Неиты, изящная, подлинная, с хорошей патиной.

Я увидел Лоу-старшего, поднимавшегося из подвала. Он был похож на Лазаря, выходящего из гроба в пеще-

ре. Он вроде бы постарел, но такое впечатление производили на меня все знакомые, с которыми я снова встречался,— все, за исключением Наташи. Она не постарела, а просто как-то изменилась. Она стала, пожалуй, более независимой и потому еще более желанной, чем прежде. Я старался о ней не думать. Мне было больно при одной мысли о ней, как если бы в непонятном ослеплении я подарил кому-то прекрасную бронзовую статуэтку эпохи Чжоу, сочтя ее копией.

Увидев меня перед витриной, Лоу вздрогнул от неожиданности. Он не сразу узнал меня: великолепие моего зимнего пальто и загар, видимо, сделали меня неузнаваемым.

Разыгралась быстрая пантомима. Лоу помахал мне рукой. Я помахал ему в ответ. Он подбежал к двери.

— Входите же, господин Росс, что вы там стоите, на холоде! Здесь у нас теплее.

Я вошел. Пахло старьем, пылью и лаком.

— Ну и разоделись,— сказал Лоу.— Дела хорошо идут, что ли? Были во Флориде? Ну, поздравляю!

Я объяснил ему, чем занимался. Собственно, скрывать здесь было нечего. Просто сегодня утром мне не хотелось вдаваться в подробности. Я уже достаточно навредил себе объяснениями с Наташей.

— А как у вас дела? — поинтересовался я.

Лоу замахал обеими руками.

— Свершилось,— прогудел он.

— Что?

— Он таки женился. На христианке.

Я взглянул на него.

— Это еще ничего не значит,— ответил я, чтобы как-то его утешить.— Теперь нетрудно развестись.

— Я тоже так думал! Но что мне вам сказать — ведь она католичка.

— Ваш брат тоже стал католиком? — спросил я.

— До этого еще не дошло, но все может случиться. Она денно и ночью его обрабатывает.

— Откуда вы это знаете?

— Откуда я знаю? Он уже заговорил о религии. Она все ему зудит, что он будет вечно жариться в аду, если не станет католиком. Во всем этом мало приятного, вы не находите?

— Ну, разумеется, Они венчались по католическому обряду.

— Ну, ясно! Это она все устроила. Венчались в церкви, а брат в визитке, взятой напрокат; ну скажите, на что ему визитка, когда у него и без того короткие ноги.

— Какой удар по дому Израилеву!

Лоу бросил на меня колючий взгляд.

— Правильно! Вы ведь не нашей веры, вам-то что! Вы по-иному смотрите на это. Вы протестант?

— Я просто атеист. По рождению — католик.

— Что? Как же это возможно?

— Я порвал с католической церковью, когда она подписала конкордат с Гитлером. Этого моя бессмертная душа уже не выдержала.

На какой-то момент Лоу отвлекся от своих мыслей.

— Вот тут вы правы, — спокойно сказал он. — В этом деле сам черт ногу сломит. Церковь с заповедью — возлюби ближнего своего, как самого себя, и вдруг — рука об руку с этими убийцами. А что, конкордат до сих пор в силе?

— Насколько мне известно, да. Не думаю, чтобы его расторгли.

— А мой братец? — просопел он. — Третий в этом союзе!

— Ну, ну, господин Лоу? Это уже совсем из другой оперы! Ваш брат не имеет к этому никакого отношения. Он просто невинная жертва любви.

— Невинная? Вы только взгляните вот на это! — Лоу воздел руки к небу. — Вы только посмотрите, господин Росс! Вы когда-нибудь видели такое в нашей антикварной лавке?

— Что?

— Что? Статуэтки богоматери! Фигурки святых, епископов! Неужели вы не видите? Прежде у нас не было ни одного из этих борсдатых, размалеванных чудовищ. Теперь их здесь — хоть пруд пруди!

Я осмотрелся. По углам стояло несколько хороших скульптур.

— Почему вы расставляете эти вещи так, что их едва видно? Они ведь очень хорошие. На двух сохранились даже старая раскраска и старая позолота. Это, наверное, лучшее из всего, что сейчас есть у вас в магазине, господин Лоу. Чего же тут плакаться? Искусство есть искусство!

— Какое там искусство!

— Господин Лоу, если не было бы религиозного искусства, три четверти евреев-антикваров прогорели бы. Вам следует быть терпимее.

— Не могу. Даже если я зарабатываю на этом. У меня уже все сердце изболелось. Мой непутевый братец тащит сюда эти штуковины. Они хороши, согласен. Но от этого мне только хуже. Мне наплевать и на старые крапки, и на старую позолоту, и на подлинность ножки от столика, лучше бы их не было, и, если бы все это источили черви, мне было бы легче! Тогда можно было бы кричать и вопить! А тут я вынужден заткнуться, хотя в душе сгораю от возмущения. Я почти ничего не ем. Рубленая куриная печенка, такой деликатес, теперь не вызывает у меня ничего, кроме отрыжки. О гусиной ножке под соусом с желтым горохом и говорить не приходится. Я погибаю. Самое ужасное, что эта особа к тому же кое-что смыслит в бизнесе. Она резко обрывает меня, когда я скорблю и плачу, как на реках вавилонских, и называет меня антихристом. Хорошенькое дополнение к антисемитизму, вы не находите? А ее смех! Она гогочет весь день напролет! Она так смеется, что все ее сто шестьдесят фунтов дрожмя дрожат. Это прямо-таки невыносимо! — Лоу опять воздел руки к небу.— Господин Росс, возвращайтесь к нам! Если вы будете рядом, мне станет легче. Возвращайтесь в наше дело, я положу вам хорошее жалованье!

— Я все еще работаю у Силверса. Ничего не получится, господин Лоу. Очень благодарен, но никак не могу.

На его лице отразилось разочарование.

— Даже если мы будем торговать бронзой? Есть ведь фигурки святых и из бронзы.

— Но очень немного. Ничего не выйдет, господин Лоу. Я теперь человек у Силверса независимый и очень хорошо зарабатываю.

— Конечно! У этого человека ведь нет таких расходов. Он и мочится в счет налога!

— До свидания, господин Лоу. Я никогда не забуду, что вы первый дали мне работу.

— Что? Вы так говорите, будто собираетесь со мной навеки проститься. Неужели хотите вернуться в Европу?

— Как вам такое могло прийти в голову?

— Вы говорите так странно. Не делайте этого, господин Росс! Ни черта там не изменится, независимо от того, выиграют они войну или проиграют. Поверьте Раулю Лоу!

— Вас зовут Рауль?

— Да. Моя добрая мать зачитывалась романами. Рауль! Бред, не правда ли?

— Нет. Мне это имя нравится. Почему, сам не знаю. Наверное, потому, что я знаю одного человека, которого тоже зовут Рауль. Впрочем, его занимают иные проблемы, чем вас.

— Рауль,— мрачно пробормотал Лоу.— Может быть, поэтому я до сих пор и не женился. Это имя вселяет какую-то неуверенность.

— Такой человек, как вы, еще может наверстать упущенное!

— Где?

— Здесь, в Нью-Йорке. Здесь ведь больше верующих евреев, чем где бы то ни было.

Глаза Рауля оживились.

— Собственно, это совсем не плохая идея! Правда, я никогда об этом не думал. Но теперь, с этим братом-отступником...— Он задумался.

Потом вдруг ухмыльнулся.

— Я смеюсь впервые за несколько недель,— сказал он.— Вы подали мне великолепную идею, просто блестящую! Даже если я ею и не воспользуюсь. Будто безоружному дали в руки дубинку!— Он стремительно повернулся ко мне.— Могу я чем-нибудь помочь вам, господин Росс? Хотите фигурку святого по номиналу? Например, Себастьяна Рейнского.

— Нет. А сколько стоит кошка?

— Кошка? Это один из редчайших и великолепных...

— Господин Лоу,— прервал я его.— Я же у вас учился! Все эти штучки мне ни к чему. Сколько стоит кошка?

— Для вас лично или для продажи?

Я заколебался. Мне пришла в голову одна из моих суеверных мыслей: если сейчас я буду честен, то неизвестный господь бог вознаградит меня и мне позвонит Наташа.

— Для продажи,— ответил я.

— Bravo! Вы честный человек. Если бы вы сказали, что это для вас лично, я бы не поверил. Итак, пятьсот долларов! Клянусь, это недорого!

— Триста пятьдесят. Больше мой клиент не даст.

Мы сошлись на четырехстах двадцати пяти.

— Разоряете вы меня. Ну ладно, тратить так тратьте,— сказал я.— А сколько стоит маленькая фигурка Неиты? Шестьдесят долларов, идет? Я хочу ее подарить.

— Сто двадцать. Потому что вы берете ее для подарка. Я получил ее за девяносто. Рауль упаковал изящную

статуэтку богини. Я написал ему адрес Наташи. Он обещал сам доставить ее после обеда. Кошку я взял с собой. Я знал в Голливуде одного человека, сходившего с ума по таким фигуркам. Я мог продать ему ее за шестьсот пятьдесят долларов. Таким образом, статуэтка для Наташи достанется мне даром да еще останутся деньги на новую шляпу, пару зимних ботинок и кашне; а когда я приобрету все это, то, ослепив ее своей элегантностью, приглашу в шикарный ресторан.

Она позвонила мне вечером.

— Ты прислал мне статуэтку богини,— сказала она.— Как ее зовут?

— Она египтянка по имени Неита, ей более двух тысяч лет.

— Ну и возраст! Она приносит счастье?

— С египетскими фигурками дело обстоит таким образом: если они кого-нибудь невзлюбят, то счастья не жди. Но эта должна принести тебе счастье; она похожа на тебя.

— Я всюду буду носить ее с собой как талисман. Ее ведь можно положить в сумочку. Она прелестна, просто сердце радуется. Большое спасибо, Роберт. Как тебе живется в Нью-Йорке?

— Запасаясь одеждой на зиму. Ожидаются снежные бураны.

— Да, они действительно здесь бывают. Не хочешь ли завтра пообедать со мной? Могу за тобой заехать.

В голове у меня пронеслось множество мыслей. Удивительно, сколько можно передумать за одну секунду! Я был разочарован, что она придет только завтра.

— Это прекрасно, Наташа,— сказал я.— После семи часов я буду в гостинице. Приезжай, когда тебе удобно.

— Жаль, что сегодня у меня нет времени. Но я ведь не знала, что ты снова объявишься, поэтому у меня на сегодня намечено еще несколько важных дел. Вечером не очень приятно быть одной.

— Это верно,— сказал я.— Я тоже получил приглашение туда, где готовят такой вкусный гуляш. Правда, я могу и не пойти. У них всегда полно гостей, одним человеком больше или меньше — для них все равно.

— Как знаешь, Роберт. Я приеду завтра, часов в восемь.

Я положил трубку и задумался, пытаюсь разгадать, помог мне талисман или нет. Я решил, что он принес мне

удачу, хотя и был разочарован, что в этот вечер не увидел Наташи. Ночь лежала передо мной, как бездонная, темная яма. Неделями я был без Наташи и совсем не думал об этом. Теперь же единственная разделявшая нас ночь казалась мне нескончаемой. Как смерть, которая время превращает в вечность.

Я не солгал. Меня действительно приглашала к себе фрау Фрислендер. Я решил пойти. Это было мое первое появление у них в качестве человека, свободного от долгов, в новом костюме и новом зимнем пальто. Я отдал долг Фрислендеру и даже целиком заплатил адвокату за услуги — тому самому, с кукушкой. Теперь я мог есть гуляш, не чувствуя себя униженным. Для пущей важности и вместе с тем желая поблагодарить за одолженные деньги, я принес фрау Фрислендер букет темно-красных гладиолусов, которые за умеренную цену, поскольку они уже достаточно распустились, я купил у цветочника-итальянца, торговавшего неподалеку на углу.

— Расскажите нам о Голливуде, — попросила фрау Фрислендер.

Как раз этого-то мне и не хотелось.

— Там так себя чувствуешь, будто на голову тебе напялили прозрачный целлофановый пакет, — сказал я. — Все видишь, ничего не понимаешь, ничему не веришь, слышишь только глухие шорохи, живешь, как в капсуле, а очнувшись, чувствуешь, что постарел на много лет.

— И это все?

— Почти.

Появилась одна из двойняшек — Лиззи. Я вспомнил о Танненбауме и его сомнениях.

— Как дела у Бетти? — спросил я. — Ей хоть немного лучше?

— Боли не очень сильные. Об этом заботится Равик. Он делает ей уколы. Сейчас она много спит. Только по вечерам просыпается, несмотря на уколы, и начинает борьбу за следующий день.

— При ней кто-нибудь есть?

— Равик. Он просто выгнал меня, потребовал, чтобы я хоть раз куда-нибудь сходила. — Она провела рукой по своему пестрому платью. — Я совсем очумела. У меня в голове никак не укладывается, что вот Бетти умирает, а здесь жрут гуляш. А все это не кажется странным?

Она посмотрела на меня своими милыми, не очень выразительными глазами, в которых, по мнению Танненбаума, угадывалась вулканическая страсть.

— Нет,— ответил я.— Это вполне естественно. Смерть— нечто непостижимое, и потому рассуждать о ней бессмысленно. И все же вам необходимо что-нибудь поесть. Ведь у Бетти только больничная диета.

— Не хочу.

— Может, немного гуляша по-сегедски? С капустой?

— Не могу я. Ведь я до обеда помогала его здесь готовить.

— Это другое дело. А может быть, выпьете тминной водки или пива?

— Иногда мне хочется повеситься,— заметила Лиззи.— Или уйти в монастырь. А иногда я готова все расколошматить и побеситься всласть. Сумасшедшая я, должно быть, а?

— Все нормально, Лиззи. Естественно и нормально. У вас есть друг?

— Зачем? Чтобы родить внебрачного ребенка? Тогда конец моим последним надеждам,— печально произнесла Лиззи.

«Танненбаум, по-видимому, сделал правильный выбор,— подумал я.— А Везель, наверное, наврал ему, и у него ничего не было ни с одной из них».

Вошел Фрислендер.

— А, наш юный капиталист! Вы пробовали миндальный торт, Лиззи? Нет? А надо бы! Так вы совсем исхудаете.— Он ущипнул Лиззи за зад. Вероятно, не впервые, потому что она никак не реагировала. К тому же это вовсе не было признаком страсти, а скорее своего рода отеческой заботой работодателя, желавшего убедиться, что все на месте.— Мой дорогой Росс,— продолжал Фрислендер, который и ко мне относился по-отечески.— Если вы наберете немного денег, скоро представится отличная возможность выгодно их поместить. По окончании войны немецкие акции упадут почти до нуля, и марка не будет стоить ровным счетом ничего. Советую вам использовать этот последний шанс: войти в большое дело и кое-что приобрести. Этот народ не останется поверженным. Он соберется с силами и примется за работу. И снова заставит о себе заговорить. И знаете, кто ему поможет? Мы, американцы. Расчет чрезвычайно прост. Нам нужна Германия против России, ибо теперешний союз с Россией напоминает попытку двух гомосексуалистов родить ребенка, что противозачаточным. Мне говорил об этом один высокопоставленный человек в правительстве. Когда нацистам придет конец, мы будем поддерживать Германию.— Он хлопнул

меня по плечу.— Не рассказывайте об этом никому! Тут пахнет миллионами, Росс. Я делюсь этим с вами, ибо вы — один из немногих, выплативших мне долг. Я ни от кого не требовал денег. Но знаете, если ты эмигрант, это еще вовсе не значит, что ты ангел.

— Спасибо за совет, но у меня нет на это денег.

Фрислендер благосклонно посмотрел на меня.

— У вас еще есть время кое-что наскрести. Я слышал, что вы стали неплохим коммерсантом. Если когда-нибудь пожелаете открыть самостоятельное дело, можно будет об этом поговорить. Я финансирую, вы продаете, а прибыль пополам.

— Это все не так просто. Мне ведь пришлось бы приобретать картины у коммерсантов, которые сдерут с меня ту цену, по которой продают сами.

Фрислендер рассмеялся.

— Вы еще новичок, Росс. Не забудьте, что кроме всего прочего имеются и проценты. Не будь их, мировой рынок давно бы рухнул. Один покупает у другого, и один зарабатывает на другом. Так что, если надумаете, дайте мне знать.

Он встал, и я тоже. На какой-то момент я испугался, что он так же по-отечески, с отсутствующим видом и меня ущипнет за зад, но он только похлопал меня по плечу и двинулся к двери. Вся в золоте, приветливо улыбаясь, ко мне подошла фрау Фрислендер.

— Кухарка спрашивает, какой гуляш вы желаете взять с собой — по-сегедски или обычный.

Мне хотелось ответить, что не желаю я никакого гуляша, но мой отказ только обидел бы фрау Фрислендер и кухарку.

— По-сегедски,— ответил я.— Все было великолепно. Очень благодарен.

— А вам спасибо за цветы,— заметила с улыбкой фрау Фрислендер.— Мой муж — этот биржевой йог, как его называют коллеги,— никогда мне их не дарит. Он увлекается учением йогов. Когда он занят самосозерцанием, никто не должен ему мешать — естественно, кроме тех случаев, когда звонят с биржи. Это у него — превыше всего.

Фрислендер стал откланиваться.

— Я должен еще кое-куда позвонить,— сказал он.— Не забудьте же мой совет.

Я взглянул на биржевого йога.

— У меня что-то не лежит душа ко всему этому,— сказал я.

— Почему? — У Фрислендера вдруг заклокотало в горле от сдавленного смеха. — Какие-нибудь морально-этические сомнения? Но, дорогой Росс! Может, вам угодно, чтобы нацисты положили себе в карман огромные деньги, которые будут просто валяться на улице? Мне кажется, они скорее причитаются все-таки нам, ограбленным! Мыслить надо логично и прагматически. Кому-то эти деньги все равно достанутся. Но только не этим чудовищам! — Он в последний раз хлопнул меня по плечу, снова отечески ущипнул двойняшку за зад и удалился: то ли для самозерцания, то ли для делового разговора по телефону.

По улицам гулял ветер. Я довез Лиззи до дома — все равно мне пришлось бы брать такси из-за гуляша.

— У вас, наверное, никогда не проходят синяки. Вездь руки у него как клещи, — сказал я. — Он щиплет вас и когда вы за машинкой?

— Никогда. Он норовит ущипнуть меня только на виду у других. Ему просто хочется похвастаться: он же импотент.

Маленькая, потерянная, замерзшая, стояла Лиззи между высокими домами.

— Не зайдете ко мне? — спросила она.

— Ничего не получится, Лиззи.

— Ясно, ничего, — горестно согласилась она.

— Я болен, — сказал я, сам удивляясь своему ответу. — Голливуд, — добавил я.

— Я и не собираюсь с вами спать. Просто не хочется входить одной в мертвую комнату.

Я расплатился с шофером и поднялся к ней. Она жила в мрачной комнате — с несколькими куклами и плюшевым медвежонком. На стене висели фотографии киноактрис.

— Может, выпьем кофе? — спросила она.

— С удовольствием, Лиззи.

Она оживилась. В кофейнике закипела вода. Мы пили кофе, она рассказывала мне о своей жизни, но все сразу вылетало у меня из головы.

— Спокойной ночи, Лиззи, — сказал я и встал — Только не делайте глупостей. Вы очень красивая, у вас все еще впереди.

На другой день пошел снег, к вечеру улицы стали белые, а небоскребы, облепленные снегом, казались гигантскими светящимися ульями. Уличный шум стал глу-

ше, снег валил не переставая. Я играл с Меликовым в шахматы, когда вошла Наташа. На ее волосах и капюшоне были снежинки.

— Ты приехала на «роллс-ройсе»? — спросил я.

Наташа на минуту задумалась.

— Я приехала на такси,— ответила она.— Теперь ты спокоен?

— Вполне... Куда мы пойдем? — спросил я осторожно, и это прозвучало как-то по-идиотски.

— Куда хочешь.

Так дальше не могло продолжаться. Я направился к выходу.

— Снег прямо хлопьями валит,— произнес я.— Ты испортишь себе шубу, если мы пойдем искать такси. Нам надо переждать в гостинице, пока не пройдет снег.

— Тебе незачем искать повод для того, чтобы нам остаться здесь,— заметила она саркастически.— Но найдется ли у тебя что-нибудь поесть?

Неожиданно я вспомнил о гуляше, полученном от Фрислендера. Я совсем забыл о нем. Наши отношения были такие натянутые, что мне и в голову не пришло подумать о еде.

— Гуляш! — воскликнул я.— С капустой и, я уверен, с малосольными огурцами. Итак, мы ужинаем дома.

— А можно? В логове этого гангстера? А он не позовет полицию, чтобы выгнать нас отсюда? Или, может быть, у тебя есть апартамент с гостиной и спальней?

— Нам это ни к чему. Я живу теперь так, что никто не видит, когдаходишь, когда выходишь. Почти в полной безопасности. Идем!

У Лизы Теруэль были великолепные абажуры на лампах, которые мне очень пригодились. Теперь в комнате вечером казалось уютнее, чем днем. На столе красовалась кошка, купленная у Лоу. Кухарка Мария дала мне гуляш в эмалированной кастрюле, так что я мог его разогреть. У меня была электрическая плитка, несколько тарелок, ножи, вилки и ложки. Я вынул из кастрюли огурцы и достал из шкафа хлеб.

— Все готово,— сказал я и положил на стол полотенце.— Надо только подождать, пока гуляш подогреется.

Наташа прислонилась к стене около двери.

— Давай сюда пальто,— сказал я,— здесь не слишком просторно, но зато есть кровать.

— Вот как?

Я дал себе слово контролировать свои поступки. Я еще не был уверен в себе. Но у меня было такое же состояние, как в первый вечер: стоило мне прикоснуться к ней, почувствовать, что она почти нагая под тонким платьем, и я забывал о всех своих благих намерениях. Я ничего не говорил. Молчала и Наташа. Я давно уже не спал ни с одной женщиной и понял, что на все можно пойти — и на скандал и даже на преступление, когда какая-то часть твоего «я» отступает в глубину и остаются лишь руки, раскаленная кожа и безудержная страсть.

Я жаждал погрузиться в нее, в горячую темноту, пронзить ее до красноватых легких, чтобы они сложились вокруг меня, как свиные крылья, — дальше и глубже, пока ничего не останется от наших «я», кроме пульсирующей крови и уже не принадлежащего нам дыхания.

Мы лежали на кровати, изможденные, охваченные дремотой, похожей на легкий обморок.

Сознание возвращалось к нам и снова отлетало, и мы опять растворялись в несказанном блаженстве; на какой-то миг собственное «я» вернулось, но не до конца, — состояние это близко к состоянию еще не появившегося на свет, но уже живущего своей жизнью ребенка, когда стирается граница между неосознанным и осознанным, между эмбрионом и индивидуальностью, то состояние, которое вновь наступает с последним вздохом.

Я ощущал рядом с собой Наташу, ее дыхание, волосы, слабое биение сердца. Это еще не совсем она, это была еще безымянная женщина, а может быть, только одно дыхание, биение сердца и теплая кожа. Сознание прояснялось лишь постепенно, а вместе с ним просыпалась и глубокая нежность. Истомленная рука, ищущая плечо, и рот, который старается произнести какие-то бессмысленные слова.

Я постепенно начинал узнавать себя и окружающее, и в этом изможденном молчании, когда не знаешь, что ты чувствуешь острее — молчание или предшествовавшее ему беспмятство, до меня вдруг донесся слабый запах горелого. Я было думал, что мне это показалось, но потом увидел на плитке эмалированную кастрюлю.

— Проклятие! — вскричал я — Это же гуляш!

Наташа полуоткрыла глаза.

— Выбрось его в окно.

— Боже упаси! Я думаю, нам удастся еще кое-что спасти.

Я выключил электрическую плитку и помешал гуляш. Затем осторожно выложил его на тарелки, а подгоревшую кастрюлю поставил на окно.

— Через минуту запах улетучится,— сказал я.— Гуляш несколько не пострадал.

— Гуляш несколько не пострадал,— повторила Наташа, не пошевелившись.— Что ты хочешь, проклятый обыватель, делать со спасенным гуляшом? Я должна встать?

— Ничего, просто хочу предложить тебе сигарету и рюмку водки. Но ты можешь и отказаться.

— Нет, я не откажусь,— ответила Наташа, немного помолчав.— Откуда у тебя эти абажуры? Привез из Голливуда?

— Они были здесь.

— Эти абажуры принадлежали женщине. Они мексиканские.

— Возможно, женщину звали Лиза Теруэль. Она выехала отсюда.

— Странная женщина — выезжает и бросает такие прелестные абажуры,— сонным голосом сказала Наташа.

— Иногда бросают и нечто большее, Наташа.

— Да. Если гонится полиция.— Она приподнялась.— Не знаю почему, но я вдруг страшно проголодалась.

— Я так и думал. Я тоже.

— Вот удивительно. Кстати, мне не нравится, когда ты что-нибудь знаешь наперед.

Я подал ей тарелку.

— Послушай, Роберт,— заговорила Наташа,— когда ты сказал, что идешь в эту «гуляшную» семью, я тебе не поверила, но ты действительно там был.

— Я стараюсь лгать как можно меньше. Так значительно удобнее.

— То-то и оно. Я, например, не стала бы никогда говорить, что не обманываю тебя.

— Обман. Какое своеобразное слово!

— Почему?

— У этого слова две ложные посылки. Странно, что оно так долго просуществовало на свете. Оно — как предмет между двумя зеркалами.

— Да?

— Разумеется. Трудно себе представить, чтобы искали оба зеркала сразу. Кто имеет право употреблять слово «обман»? Если ты спишь с другим, ты обманываешь себя, а не меня

Наташа перестала жевать.

— Это все так просто, да?

— Да. Если бы это был действительно обман, ты не сумела бы меня обмануть. Один обман автоматически исключает другой. Нельзя двумя ключами одновременно открывать один и тот же замок.

Она бросила в меня огурец с налипшим на нем укропом. Я поймал его.

— Укроп в этой стране очень редкая вещь, — заметил я. — Бросаться им нельзя.

— Но нельзя и пытаться открывать им замки!

— По-моему, мы немножко рехнулись, правда?

— Не знаю. Неужели все должно иметь свое название, окаянный ты немец! Да еще немец без гражданства.

Я засмеялся.

— У меня ужасное ощущение, Наташа, что я тебя люблю. А мы столько положили сил, чтобы этого избежать.

— Ты так думаешь? — Она вдруг как-то странно на меня посмотрела. — Это ничего не меняет, Роберт. Я тебя действительно обманывала.

— Это ничего не меняет, Наташа, — ответил я. — И все же я боюсь, что люблю тебя. И одно никак не связано с другим. Это как ветер и вода, они движут друг друга, но каждый остается самим собой.

— Я этого не понимаю.

— Я тоже. Но так ли уж важно всегда все понимать, ты, женщина со всеми правами гражданства?

Но я не верил тому, что она мне сказала. Даже если в этом была хоть какая-то толика правды, в тот момент мне было все равно. Наташа здесь, рядом, а все прочее — для людей с устроенным будущим.

XXX

Египетскую кошку я продал одному голландцу. В тот день, получив чек, я пригласил Кана к «Соседу».

— Вы что, так разбогатели? — спросил он.

— Просто я пытаюсь следовать античным образцам, — ответил я. — Древние проливали немного вина на землю, прежде чем выпить его, принося тем самым жертву богам. По той же причине я иду в хороший ресторан. Чтобы не изменить своему принципу, мы разопьем бутылку «Шваль блан». Это вино еще есть у «Соседа». Ну, как?

— Согласен. Тогда последний глоток мы выльем на тарелку, чтобы не прогневить богов.

У «Соседа» было полно народу. В военное время в ресторанах часто негде яблоку упасть. Каждый торопится еще что-то взять от жизни, тем более находясь вне опасности. Деньги тогда тратятся легче. Можно подумать, что будущее в мирное время бывает более надежным.

Кан покачал головой.

— Сегодня от меня толку мало, Росс. Кармен написала мне письмо. Наконец-то собралась! Она считает, что нам лучше расстаться. По-дружески. Мы, мол, не понимаем друг друга. И мне велено не писать ей больше. У нее есть кто-нибудь?

Я озадаченно посмотрел на него. Видимо, его глубоко задела эта история.

— Я ничего такого не заметил,— ответил я.— Она живет довольно скромно в Вествуде, среди кур и собак, души не чаает в своей хозяйке. Я видел ее несколько раз. Она довольна, что ничего не делает. Не думаю, чтобы у нее кто-нибудь завелся.

— Как бы вы поступили на моем месте, Росс? Поехали бы туда? Привезли бы ее назад? А согласилась бы она уехать?

— Не думаю.

— Я тоже. Так что же мне делать?

— Ждать. И ничего больше. Ни в коем случае не писать. Может быть, она сама вернется.

— Вы в это верите?

— Нет,— сказал я.— А вас это так волнует?

Некоторое время он молчал.

— Это не должно было бы вовсе меня волновать. Совершенно не должно. Было легкое увлечение, а потом вдруг разом все изменилось. Знаете, почему?

— Потому что она решила уехать. А почему же еще?

На его лице появилась меланхолическая улыбка.

— Просто, не правда ли? Но когда такое случается, смириться очень трудно.

Я подумал о Наташе. Почти то же самое чуть не случилось и у меня с ней — и, может, уже случилось? Я гнал от себя эту мысль, размышляя о том, что же посоветовать Кану. Все это как-то не сочеталось с ним. Ни Кармен, ни эта ситуация, ни его меланхолия. Одно не вязалось с другим и потому было чревато опасностью. Если бы такое случилось с наделенным бурной фантазией поэтом, это было бы смешно, но понятно. В случае же с Каном все было непонятно. Видимо, этот контраст трагической красоты и флегматичной души был для него своего рода

интеллектуальной забавой, в которой он искал прибежища. И то, что он серьезно воспринял историю с Кармен, являлось роковым признаком его собственного крушения.

Он поднял бокал.

— Как мало мы можем сказать о женщинах, когда счастливы, не правда ли? И как много, когда несчастны.

— Это правда. Вы считаете, что могли бы быть счастливы с Кармен?

— А вы думаете, что мы не подходим друг другу? Это так. Однако с людьми, которые подходят друг другу, расстаться просто. Это как кастрюля с притертой крышкой. Такое сочетание можно нарушить совершенно безболезненно. Но если они не подходят и нужно брать в руки молоток, чтобы подогнать крышку к кастрюле, то легко что-нибудь сломать, когда попытаешься снова отделить их друг от друга.

— Это только слова,— сказал я.— Все в этих рассуждениях не так. Любую ситуацию можно вывернуть наизнанку.

Кан с трудом сдержался.

— И жизнь тоже. Забудем Кармен. Я, наверное, просто устал. Война подходит к концу, Роберт.

— Поэтому вы и устали?

— Нет. Но что будет дальше? Вам известно, что вы будете делать потом?

— Разве кто-нибудь может точно ответить на такой вопрос? Пока трудно даже представить себе, что война может кончиться. Так же, как я не могу представить себе, чем буду заниматься после войны.

— Вы думаете остаться здесь?

— Мне не хотелось бы говорить об этом сегодня.

— Вот видите! А я постоянно думаю об этом. Тогда для эмигрантов наступит миг отрезвления. Последней опорой для них была учиненная над ними несправедливость. И вдруг этой опоры больше нет. И можно вернуться. А зачем? Куда? И кому мы вообще нужны? Нам нет пути назад.

— Многие останутся здесь.

Он с досадой махнул рукой.

— Я имею в виду людей надломленных, а не ловких дельцов.

— А я имею в виду всех,— возразил я,— в том числе и дельцов.

Кан улыбнулся.

— Ваше здоровье, Роберт. Сегодня я болтаю сущий вздор. Хорошо, что вы здесь. Радиоприемники — хорошие ораторы, но зато какие плохие слушатели! Вы можете себе представить, что я буду доживать век в качестве агента по сбыту радиоаппаратуры?

— А почему бы и нет? — сказал я. — Только почему в качестве агента? Вы станете владельцем фирмы.

Он посмотрел на меня.

— Вы думаете, это возможно?

— Не знаю, не уверен, — ответил я.

— То-то и оно, Роберт.

Он рассмеялся.

— Вино выпито, — заметил я. — А мы совсем забыли пожертвовать последнюю каплю богам. Может быть, поэтому мы и настроились на излишне меланхолический лад. Как насчет мороженого? Вы ведь так его любите!

Он покачал головой.

— Все обман, Роберт. Иллюзия легкой жизни. Самообман. Я отказался разыгрывать веселость перед самим собой. Гурман. Мошенник. Я превращаюсь просто в старого еврея.

— И это в тридцать-то пять лет?

— Евреи всегда старые. Они и рождаются стариками. На каждом с рождения лежит печать двухтысячелетних гонений.

— Давайте-ка возьмем с собой бутылку водки и разопьем ее, беседуя о жизни.

— Евреи даже и не пьяницы. Нет, уж лучше я пойду домой, в свою комнату над магазином, а завтра вволю поспею над собой. Доброй ночи, Роберт.

— Я провожу вас, — сказал я, глубоко встревоженный.

Из ресторана тепла мы вышли на трескучий мороз. В эту ветреную ночь аптечные магазины и закусочные светились особенно холодным, безжалостным неоновым светом.

— В некоторых ситуациях героическое одиночество кажется нелепым, — сказал я — Ваша холодная каморка...

— Она слишком жарко натоплена, — перебил меня Кан. — Как, впрочем, всюду в Нью-Йорке.

— Нью-Йорк слишком натоплен и слишком холоден, холоден, как этот проклятый неоновый свет — сама безутешность; кажется, что один бродишь по улицам и стучишь зубами от холода. Почему бы вам не перебраться в плюшевую конуру гостиницы «Ройбен»? Среди гомосексуалистов, сутенеров, самоубийц и лунатиков чувствуешь

себя в большей безопасности, чем где бы то ни было. Будьте же благоразумны и перебирайтесь к нам!

— Завтра,— сказал Кан.— На сегодня у меня назначено свидание.

— Глупости.

— Да, свидание,— повторил он.— С Лиззи Коллер. Тсперь вы верите?

«С одной из двойняшек»,— подумал я. А почему бы и нет? Странно, но она, как мне казалось, еще меньше подходила Кану, чем Кармен. Прелестная внешне, Лиззи была домовитой, она нуждалась в ласке, как заблудшая кошка, будучи притом гораздо умнее, чем Кармен; и вдруг в эту холодную, ветреную ночь меня осенило, почему Кан мог быть только с Кармен: это сочетание своей бессмысленностью снимало бессмысленность лишенного корней бытия.

Кан смотрел на улицу, где, как разбросанные угли, красновато мерцали задние фонари автомобилей, тщетно пытаясь согреть холодную темноту.

— Эта призрачная война с невидимыми ранеными и невидимыми убитыми, с неслышными разрывами бомб и безмолвными кладбищами подходит к концу. Что останется от всего этого? Тени, тени — и мы тоже всего лишь тени.

Мы подошли к радиомагазину. Приемники блестели в лунном свете, как автоматические солдаты будущей войны. Я поднял голову. В окне у Кана горел свет.

— Не оглядывайтесь по сторонам, точно озабоченная наседка,— сказал Кан.— Вы видите, что я не потушил света. Не могу приходить в темную комнату.

Я подумал о двойняшке, которая тоже боялась собственной комнаты. Может быть, она действительно сидела сейчас наверху и причесывалась. Но это, конечно, было не так и только усугубляло общее состояние полной безнадежности.

— Что, в Нью-Йорке будет еще холоднее? — спросил я.

— Да, еще холоднее,— ответил Кан.

В ушах у Наташи были серьги, в которых сверкали крупные рубины, колье было из рубинов и алмазов, а на пальце — великолепное кольцо.

— В кольце сорок два карата,— прошептал мне на ухо фотограф Хорст.— Собственно, нам нужен был для

этого большой звездчатый рубин, но таких не найти, их нет даже у «Ван Клеефа и Арпельса». Мы хотим снять ее руки. В цвете. Ну, а звезду можно подрисовать. Сделать даже еще красивее, чем на самом деле,— добавил он с удовлетворением.— В наше время ведь все сплошной монтаж.

— Да? — спросил я и посмотрел на Наташу, на которой было белое шелковое платье.

Вся сверкая рубинами, она спокойно сидела на возвышении в ярком свете софитов. Ничто не напоминало о том, что прошлым вечером она лежала на моей кровати и хрипло кричала, изогнувшись, как тетива: «Ломай меня! Ну разорви же меня!»

— Конечно,— заявил Хорст,— женщины, как и политики, все больше применяют монтаж. Фальшивые бюсты, зады с накладками из пористой резины, грим, искусственные ресницы, парики, вставные зубы — все фикция, обман, мираж. Добавьте к этому мягкую наводку на резкость, неконтрастные линзы, утонченные световые эффекты, и вот годы уже тают, как сахар в кофе. *Voilà*¹. А политики? Большинство не умеют ни читать, ни тем более писать. Для этого у них есть маленькие умные евреи, которые составляют им речи, рференты, подбрасывающие им *bon mots*², есть авторы, пишущие за них книги, консультанты, стоящие за их спиной, актеры, отрабатывающие с ними правильную осанку, а то и пластинки, говорящие за них.— Он поднялся и подскочил к своему аппарату.— Так хорошо, Наташа! Минуточку, не двигайтесь Готово!

Наташа спустилась со своего возвышения, выскользнув из белых лучей света, и в один момент превратилась из императрицы в сверкающую драгоценностями жену фабриканта оружия.

— Я только переоденусь,— сказала она.— Еще осталось что-нибудь от гуляша?

Я покачал головой.

— Его хватило на три дня. Вчера вечером мы выскребли остатки. Драгоценности ты должна взять с собой?

— Нет. Их возьмет вон тот светловолосый человек от «Ван Клеефа».

— Хорошо. Тогда мы можем пойти куда угодно.

— У меня еще съемка в платье из весенней коллекции. Боже, как мне хочется есть.

¹ Вот так-то (фр)

² Острое слово (фр).

Я сунул руку в карман. Мне были знакомы ее приступы голода; она страдала болезнью, противоположной диабету, с ужасным названием «гипогликемия». Эта болезнь заключается в том, что содержание сахара в крови уменьшается быстрее, чем у нормальных людей. В результате человек совершенно внезапно ощущает резкий приступ голода. Когда Наташа жила на Пятьдесят седьмой улице, я нередко просыпался ночью, думая, что в квартиру зашли воры, и заставал ее перед холодильником: голая, магически освещенная светом из холодильника, она с упоением расправлялась с холодной котлетой, держа в другой руке кусок сыра.

Я достал из кармана сверток, завернутый в пергамент.

— Бифштекс по-татарски,— сказал я.— На, замори червячка.

— С луком?

— С луком и с черным хлебом.

— Ты ангел! — воскликнула она, передвинула колья, чтобы не мешало, и принялась есть.

Я привык носить такие пакетики в карманах, когда мы шли куда-нибудь, где несколько часов подряд нельзя было поесть,— особенно когда мы отправлялись в кино или в театр. Это избавляло меня от многих неудобств, так как Наташа очень сердилась, когда ее начинал мучить неудержимый приступ голода, а поблизости нельзя было достать ни кусочка хлеба. Она ничего не могла с собой поделаться. Это походило на своего рода физиологическое помешательство. Дело в том, что она ощущала голод значительно острее и резче, чем другие люди, будто целый день до этого постилась. Как правило, в кармане пиджака я носил маленькую бутылочку, в которую входило лишь два глотка водки. Если к этому прибавить бифштекс по-татарски, получалось поистине царское лакомство, хотя водка, естественно, не была холодной. Урок такой запасливости когда-то преподавал мне человек, от которого я получил паспорт. «Телесный комфорт куда важнее душевных порывов,— сказал он мне.— Стоит лишь чуть-чуть побеспокоиться, и человек уже счастлив».

Наташа, конечно, снова обгоняла времена года на один сезон. В ателье уже не видно было больше меховых манто, зато появилось несколько легких жакетов из каракульчи, которые девушки-учещицы уже тоже собрались упаковать. В ателье у Хорста был май. Шерстяные костюмы светлых тонов: кобальтовый, цвета нильской воды, кукурузно-желтый, светло-коричневый — и каких только соблазнитель-

ных названий здесь не было! «Май,— сказал я себе — В мае должна закончиться война». «А что потом?» — спрашивал меня Кан. «Что потом?» — думал я, глядя на Наташу, которая появилась из-за ширмы в коротком платьевом костюме с развевающимся шифоновым шарфом, худенькая, шагая как-то неуверенно, будто ноги у нее были слишком длинные. «Где-то мне доведется быть в мае?» Я вновь утратил ощущение времени, будто у меня выскользнул из рук и лопнул под ногами пакет с помидорами, и вот перед глазами завертелся бессмысленный калейдоскоп. «Мы все уже непригодны для нормальной жизни! — говорил Кан.— Могли бы вы представить себе, к примеру, меня в роли агента какой-нибудь радиофирмы, обремененного семьей, голосующего за демократов на выборах, откладывающего деньги и мечтающего стать главою своего церковного прихода? Мы никуда не годимся, а многих к тому же здорово поистрепала судьба. Часть из нас отделалась легкими ранениями, некоторые извлекли из этого даже выгоду, тогда как другие стали калеками; но пострадавшие, о которых главным образом идет речь, никогда уже не смогут оправиться и в конце концов погибнут». Май сорок пятого года! А может быть, июнь или июль! Время, которое так мучительно тянулось все эти годы, казалось, вдруг галопом помчалось вперед.

Я смотрел на Наташу, освещенную со всех сторон: она стояла на возвышении в профиль ко мне, чуть подавшись вперед,— наверное, от нее еще немного пахло луком; она была как фигура богини на носу невидимого судна, которое несло в море света наперегонки со временем.

Неожиданно все софиты разом потухли. Мрачноватый и рассеянный свет обычных студийных ламп с трудом пробирался сквозь серую дымку.

— Конец! — воскликнул Хорст.— Сматываем удочки! На сегодня хватит!

Под шуршанье оберточной папиросной бумаги и картона ко мне приближалась Наташа. На ней была взятая напрокат шуба и рубиновые серьги.

— Я не могла иначе,— сказала она.— Оставила их на сегодняшний вечер. Завтра отошлю назад. Я уже сколько раз так делала. Вон тот молодой блондин знает. Великолепные вещи, правда?

— А если ты их потеряешь?

Она бросила на меня такой взгляд, будто я позволил себе неприличное замечание.

— Они же застрахованы,— сказала она.— «Ван Клееф и Арпельс» застраховали все, что дают нам напрокат.

— Прекрасно,— поспешил сказать я, чтобы, как часто бывало в таких случаях, не заслужить упрека в мещанстве.— Теперь я знаю, куда мы пойдем. Будем ужинать в «Павильоне».

— Можем сегодня поужинать полегче, Роберт! Я ведь уже съела бифштекс по-татарски.

— Закатим ужин, точно мы мошенники или фальшивомонетчики, то есть роскошнее даже, чем владетельные магнаты из мещан.

Мы направились к двери.

— Боже праведный! — воскликнула Наташа.— «Роллс-ройс»-то ждет, а я про него совсем забыла!

Я остановился как вкопанный.

— И Фрезер там? — спросил я недоверчиво.

— Конечно, нет. Он сегодня уехал и сказал, что вечером придет машину за мной, так как предполагал, что я могу задержаться. А я забыла.

— отошли его.

— Но, Роберт, ведь он все равно уже здесь. Мы и так часто ездили на нем. И ничего особенного в этом нет.

— Это во мне говорит моя мещанская натура,— сказал я.— Раньше все было не так. А сейчас я люблю тебя и, как мелкий капиталист, в состоянии заплатить за такси.

— Разве мошенникам и фальшивомонетчикам не подobaст ездить в «роллс-ройсе»?

— Это очень соблазнительно. Поэтому я затрудняюсь сразу дать ответ. Возьмем такси, чтобы потом не раскayтаться. Приятный вечер, потрескивает мороз. Скажи шоферу, что мы хотим поехать в лес или пойти прогуляться.

— Как тебе угодно,— произнесла она медленно и сделала шаг вперед.

— Стой! — крикнул я.— Я передумал и прошу меня извинить, Наташа. То, что тебе доставляет удовольствие, важнее, чем мораль, пропитанная едкой кислотой ревности. Поехали!

Она сидела рядом со мной, как диковинная птица.

— Я не сняла грима,— сказала она.— Это заняло бы много времени, и я умерла бы с голоду. Кроме того, у Хорста в студии слишком шумно — нельзя спокойно разгримироваться. Перемажешься, потом снимаешь все кольдкремом и выглядишь, как ошипанная курица.

— Ты похожа не на ошипанную курицу,— сказал я,— а на голодную райскую птицу, залетевшую куда не надо,

или украшенную для жертвоприношения девушку неизвестного племени в Тимбукту или на Гаити. Чем больше женщина меняет свою внешность, тем лучше. Я — старомодный поклонник женщин и отношусь к ним, как к чему-то необыкновенному, попавшему к нам из джунглей и девственного леса. Вместе с тем я враг женщин, претендующих на роль полноправного компаньона и партнера по бизнесу.

— Да ты же настоящий варвар!

— Скорее — безнадежный романтик.

— Как ты думаешь, во мне достаточно варварства? Искусственные ресницы, театральный грим, похищенные драгоценности, новая прическа и взятая напрокат шуба — достаточно всего этого для твоего представления о фальшивомонетчиках?

Я рассмеялся. Она ведь не знала о моем фальшивом имени и фальшивом паспорте и принимала все это за шутку.

— Хорст прочел мне целую лекцию, которая еще больше расширила мое представление о женщинах и политиках. Здесь, оказывается, встречаются даже фальшивые бюсты, зубы, волосы и зады.

— И у политиков тоже?

— У политиков есть еще и фальшивые убеждения, а под роскошной манишкой — цыплячья грудь, по которой катятся крокодиловы слезы. И это далеко не все. Подожди, пока дойдет очередь до расплаты фальшивыми деньгами!

— Разве мы не делаем это всегда?

Я взял ее за руку.

— Может быть. Но интересы дела превыше всего: в старину, например, ложь не считалась чем-то порочным, она отождествлялась с умом. Вспомни лукавого Одиссея. Как прекрасно сидеть здесь с тобой под гирляндами фонарей, в окружении плоскостопых официантов и наблюдать за тем, как ты уписываешь этот бифштекс. Я тебя обожаю по многим причинам, Наташа, и прежде всего, наверное, потому что ты ешь с таким аппетитом в наш век, когда диета является основой основ на этом гигантском сытом острове, возвышающемся между двумя океанами на фоне голодающей планеты. Здешние женщины испытывают страх перед лишним листком салата, они питаются только травой, как кролики, в то время как целые континенты страдают от голода. Ты же с таким мужеством разделяешься с этим куском говядины! Мне доставляет удоволь-

ствие наблюдать за тем, как ты ешь. На других женщин выбрасывают кучу денег, а они поковыряют в тарелке и оставляют почти все нетронутым. Так и хочется придружить их в каком-нибудь темном углу. Ты же...

— Это о каких других женщинах идет речь? — перебила меня Наташа.

— Все равно о каких. Посмотри вокруг. Их полно в этом чудесном ресторане, они едят салат и пьют кофе и устраивают мужьям сцены только потому, что бесятся от голода. Это единственный вид гнева, на который они способны. А в постели они бревно бревном от истощения, в то время как ты...

Она рассмеялась.

— Ну, довольна!

— Я не собирался углубляться в детали, Наташа. Я хотел лишь воздать хвалу твоему великолепному аппетиту.

— Я знаю, Роберт, хотя я этого и не ожидала. Но мне отлично известно, что ты охотно начинаешь произносить оды и петь гимны, когда думаешь о чем-то другом.

— Что? — спросил я пораженный.

— Да, — сказала она. — Ты фальшивомонетчик, двурушник и обманщик! Я не спрашиваю, что тебя раздражает и что ты хочешь забыть, но я знаю, что это так. — Она нежно погладила меня по руке. — Мы живем в безумное время, не так ли? Поэтому, чтобы выжить, нам надо что-то преувеличивать, а что-то преуменьшать. Тебе не кажется, что я права?

— Может быть, — осторожно сказал я. — Но нам ведь не приходится это делать самим, проклятое время решает это за нас.

Она рассмеялась.

— Не кажется ли тебе, что мы идем на это, чтобы сохранить хотя бы жалкие остатки индивидуальности, а иначе нас всех нивелирует время?

— Ты внушаешь мне тревогу! Где мы вдруг очутились? Ты неожиданно превратилась в сфинкса и говорящего попугая с берегов Амазонки. Если еще добавить к этому твои сверкающие драгоценности и размалеванное, как у воина, лицо, ты прямо фельдфийский оракул в девственном лесу Суматры. Ох, Наташа!

— Ох, Роберт! До чего же ты многословен! Я не верю тому, что ты говоришь, но охотно тебя слушаю. Ты даже не знаешь, насколько все это бесполезно. Женщины любят беспомощных мужчин. Это их сокровенная тайна.

— Не тайна, а ловушка, в которую попадаются мужчины.

Она промолчала. Удивительно, какой чужой она мне казалась, когда пускала в ход свои несколько однообразные уловки, которые я уже знал наизусть.

«Как легко быть обманутым и как легко всему верить», — думал я, глядя на нее и всей душой желая, чтобы мы остались, наконец, одни.

— Потому-то я много и говорю, что нисколько не разбираюсь в женщинах, — сказал я. — Но я счастлив с тобой. Не исключено, что я что-то скрываю, и вполне возможно, что из всего этого убожества, которого, правда, нельзя избежать и которое отдается в моей душе лишь призрачным эхом, я хотел бы сохранить для себя кусочек счастья, только для себя. Ведь я ничего ни у кого не беру, ни в кого не стреляю и никого не обкрадываю, не так ли, Наташа? Тем не менее мои чувства не имеют ничего общего с окружающим, ибо они не вытекают из окружающего, а существуют сами по себе, подобно тому как драгоценные камни в твоих ушах уже утратили всякую связь с недрами земли, их породившими. Я счастлив с тобой, и вот тебе долгое объяснение простой мысли: ты должна мне простить это, ибо я ведь журналист в прошлом и слова для меня до сих пор много значат. Мне даже платили за это. Такое не скоро забывается.

— А разве теперь ты другой?

— Я стал немым. Английским я владею настолько, что могу говорить, французским — настолько, что могу писать, но от немецких газет я отлучен. Разве удивительно поэтому, что фантазия рвется ввысь, как сорная трава, и расцветают романтические цветы? В обычной обстановке я не стал бы таким лжеромантиком — ведь это противоречит духу времени.

— Ты так считаешь?

— Нет, но в этом что-то есть.

— Лжеромантиков не бывает, Роберт, — сказала Наташа.

— Нет, бывает. В политике. И они творят страшное зло. Один такой лжеромантик в Берлине как раз отсиживается сейчас в бункере.

Я отвез Наташу домой. «Роллс-ройса», к счастью, уже не было, она его отослала, хотя с нее вполне стало бы не отпускать машину.

— Тебя не удивляет, что он уехал? — спросила она.

— Нет, — сказал я.

— Ты это предполагал?

— Тоже нет.

— На что же ты рассчитывал?

— Что ты вместе со мной поедешь в «Ройбен».

Мы стояли в подъезде ее дома. Было темно и очень холодно.

— Жаль, что нельзя больше воспользоваться квартирой, верно?

— Да,— сказал я и посмотрел в ее чужое лицо с искусственными ресницами.

— Пойдем со мной наверх,— прошептала она.— Но нам придется любить друг друга молча.

— Нет,— ответил я,— поехали ко мне в гостиницу. Там не надо будет хранить молчание.

— Почему ты не забрал меня с собой сразу из «Павильона»?

— Не знаю.

— Ты не хотел меня?

— Не знаю. Иногда есть желание, а иногда нет.

— Почему же в этот раз его не было?

— Наверное, потому, что ты была такой далекой. Я не знаю. Теперь у меня появилось желание, потому что ты так ужасающе далека.

— Только поэтому?

— Нет.

— Поищи такси. Я подожду здесь.

Я быстро пошел за угол. Было очень холодно. Меня переполняло волнение, оттого что Наташа ждала в темном подъезде. Каждая жилка во мне дрожала. Добежав до следующего угла, я нашел там такси и подъехал к дому. Наташа быстро вышла из подъезда. Мы не произнесли ни слова. Я почувствовал, что и Наташу бьет дрожь. Мы крепко держались за руки, но все равно продолжали дрожать. Мы сами не помнили, как вышли из такси. Нас никто не видел. Казалось, будто мы впервые были вместе.

XXXI

Бетти Штейн умерла в январе. Последнее наступление немецких войск добило ее. Она с жадностью следила за продвижением союзников, комната ее была завалена газетами. Когда же неожиданно началось немецкое контрнаступление, ее мужеству был нанесен страшный удар. Даже провал наступления не придал ей бодрости. Ее охватило чувство страшной безысходности при мысли о том, что те-

перь война затянется еще на несколько лет. Надежды на то, что немцам удастся избавиться от нацистов, угасали.

— Немцы будут защищать каждый город,— устало говорила она,— это продлится годы. Немцы заодно с нацистами. Они не бросят их в беде.

Бетти таяла на глазах. И однажды утром Лиззи нашла ее в постели мертвой. Она вдруг стала маленькой и легкой, и тем, кто не видел Бетти последнюю неделю, трудно было узнать ее, так сильно она изменилась за это время.

Она не пожелала, чтобы ее сжигали. Утверждала, что этот «чистый» уход из жизни стал для нее неприемлем с тех пор, как безостановочно горели печи в немецких крематориях, извергая, подобно огромному адскому заводу, пламя из сотен труб. Бетти отказывалась принимать даже немецкие лекарства, оставшиеся от старых запасов в Америке. И тем не менее в ней жило неистребимое желание снова увидеть Берлин. В ее памяти неизменно возникал Берлин, которого больше не было, но отказаться от которого ее не могло заставить ни одно газетное сообщение,— давно ушедший в прошлое Берлин воспоминаний, который упрямо жил только в сознании эмигрантов, оставаясь для них прежним, знакомым и близким.

Похороны Бетти состоялись в один из дней, когда улицы были завалены снегом. Накануне налетела снежная буря, и город буквально откапывали из белой массы. Сотни грузовиков сбрасывали снег в Гудзон и в Ист-ривер. Небо было очень голубое, а солнце светило ледяным светом. Часовня при похоронном бюро не могла вместить всех пришедших. Бетти помогала многим людям, давно забывшим ее. Теперь, однако, они заполнили ряды этой псевдоцеркви, где стоял орган— собственно, даже и не орган, а просто-напросто граммофон, на котором проигрывались пластинки давно умерших певцов и певиц, как отзвук уже не существовавшей более Германии. Рихард Таубер— еврейский певец, обладатель одного из самых сладких голосов мира, выброшенный варварами за пределы родины и умерший от рака легких в Англии,— исполнял немецкие народные песни. Он пел: «Нет, не могу покинуть я, всем сердцем так люблю тебя». Вынести это было трудно, но таково было желание Бетти. Она не хотела уйти из жизни по-английски. Позади я услышал рыдания, какое-то сопение и, оглянувшись, увидел Танненбаума, небритого, с землистым лицом, с запавшими глазами. По-видимому, он приехал из Калифорнии и не успел поспать. Своей карьерой он был обязан неутомимой натуре Бетти.

Мы еще раз собрались в квартире Бетти. Перед смертью она настаивала и на этом. Она завещала нам быть веселыми. На столе стояло несколько бутылок вина — Лиззи и Везель позаботились о бокалах и пирожных из венгерской булочной.

Веселья не было. Мы стояли вокруг стола, и нам казалось, что теперь, когда Бетти больше нет с нами, от нас ушел не один человек, а много.

— Что будет с квартирой? — поинтересовался Мейер-второй. — Кому она достанется?

— Квартира завещана Лиззи, — сказал Равик.

— Квартира и все, что находится в ней.

Мейер-второй обратился к Лиззи:

— Вам наверняка захочется от нее избавиться. Она ведь слишком велика для вас одной, а мы как раз ищем квартиру для троих.

— Плата за нее внесена до конца месяца, — произнесла Лиззи и вручила Мейеру бокал.

Тот выпил.

— Вы, разумеется, отдадите ее, а? Друзьям Бетти, а не каким-нибудь чужим людям!

— Господин Мейер, — раздраженно сказал Танненбаум, — неужели обязательно говорить об этом именно сейчас?

— Почему бы и нет? Квартиру трудно найти, особенно старую и недорогую. В таком случае зевать нельзя. Мы уже давно ищем чего-нибудь подходящего!

— Тогда обождите несколько дней.

— Почему? — с недоумением спросил Мейер. — Завтра утром я опять уезжаю, а вернусь в Нью-Йорк только на следующей неделе.

— Тогда обождите до следующей недели. Существует такое понятие, как уважение к памяти человека.

— Об этом я как раз и говорю, — сказал Мейер. — Прежде чем квартиру выхватит из-под носа какой-нибудь чужак, гораздо лучше отдать ее знакомым Бетти!

Танненбаум кипел от ярости. Из-за второй двойняшки он считал себя покровителем и Лиззи тоже.

— Эту квартиру вы, конечно, желаете получить бесплатно, не так ли?

— Бесплатно? Кто говорит, что бесплатно? Можно было бы, наверное, покрыть кое-какие расходы на переезд или купить кое-что из мебели. Вы ведь не станете делать бизнес на столь печальном событии?

— Почему бы и нет? — воскликнул красный от злости Танненбаум.— Лиззи месяцами бесплатно ухаживала за Бетти, и та в знак благодарности оставила ей квартиру, которую, конечно, она не подарит каким-нибудь бродягам, уж можете быть уверены!

— Я вынужден настоятельно просить перед лицом смерти...

— Уймитесь, господин Мейер,— сказал Равик.

— Что?

— Довольно. Изложите ваше предложение фрейлен Коллер в письменной форме, а теперь успокойтесь и ведите себя потише.

— Предложение в письменной форме! Мы что — нацисты? Я же даю слово джентльмена...

— Вот стервятник! — с горечью заметил Танненбаум.— Ни разу не навестил Бетти, а у бедной Лиззи норовит отнять квартиру прежде, чем она узнает, сколько эта квартира стоит!

— Вы остаетесь здесь? — спросил я.— Или у вас есть еще дела в Голливуде?

— Я должен вернуться. У меня небольшая роль в ковбойском фильме. Очень интересная. А вы слышали, что Кармен вышла замуж?

— Что?

— Неделю назад. За фермера в долине Сан-Фернандо. Разве она не была близка с Каном?

— Я этого точно не знаю. Вам доподлинно известно, что она вышла замуж?

— Я был на свадьбе. Свидетелем у Кармен. Ее муж грузный, безобидный и вполне заурядный. Говорят, что раньше это был хороший игрок в бейсбол. Они выращивают салат, цветы и разводят птицу.

— Ах, куры! — воскликнул я.— Тогда все понятно.

— Ее муж — брат хозяйки, у которой она жила.

Я удивился, что Кана не было на панихиде. Теперь мне стало ясно, почему он отсутствовал. Хотел избежать идиотских вопросов. Я решил зайти к нему. Был обеденный час, и он в это время бывал свободен.

Я застал его в обществе Хольцера и Франка. Хольцер раньше был актером, а Франк — известным в Германии писателем.

— Как там похоронили Бетти? — спросил Кан.— Ненавижу похороны в Америке, поэтому и не пошел. Розенбаум, наверное, произносил свои дежурные речи у гроба.

— Его трудно было остановить. По-немецки и по-английски,— конечно, с саксонским акцентом. По-английски, к счастью, совсем коротко. Не хватало слов.

— Этот человек,— настоящая эмигрантская Немезида,— сказал Кан, обращаясь к Франку.— Он был в прошлом адвокатом, но здесь ему не разрешают заниматься частной практикой, поэтому-то он и выступает везде, где только представится случай. Охотнее всего на собраниях. Ни один эмигрант не попадает в крематорий без слащавых напутствий Розенбаума. Он всюду вылезает без приглашения, ни минуты не сомневаясь, что в нем остро нуждаются. Если я когда-нибудь умру, то постараюсь, чтобы это произошло в открытом море, дабы избежать встречи с ним, но, боюсь, он появится на корабле как безбилетный пассажир или попытается проповедовать с вертолета. Без него не обойтись.

Я посмотрел на Кана. Он был очень спокоен.

— Он может разглагольствовать у меня на могиле сколько угодно,— мрачно бросил Хольцер.— Но только в Вене, после освобождения. На могиле стареющего героя-любовника с лысиной и юной душой.

— На лысину можно надеть парик,— заметил я.

В 1932 году Хольцер был любимцем публики. В утренних спектаклях он играл молодых героев-любовников, играл свежо и естественно. В нем счастливо сочетались талант и блестящая внешность. Теперь он отяжелел на добрых пятнадцать фунтов, у него появилась лысина, выступать в театрах Лондона он не мог, и все эти неудачи превратили его в мрачного мизантропа.

— Я уже не смогу показаться перед своей публикой,— сказал он.

— Ваша публика стала тоже на двенадцать лет старше,— сказал я.

— Но она не видела, как я старел, она не старела вместе со мной,— парировал он.— Она помнит меня, Хольцера, каким я был в тридцать втором.

— Вы смешны, Хольцер,— сказал Франк.— Подумаешь, проблема. Перейдете на характерные роли, и все тут.

— Я не характерный актер. Я типичный герой-любовник.

— Хорошо,— нетерпеливо прервал его Франк.— Тогда вы станете просто героем или как там это у вас в театре называется. Ну, скажем, пожилым героем. И у Цезаря была лысина. Сыграете, в конце концов, короля Лира.

— Но для этого я еще недостаточно стар, господин Франк!

— Послушайте! — воскликнул Франк. — Я не вижу в этом проблемы. Мне было шестьдесят четыре, как говорится, в пору творческого расцвета, когда в тридцать третьем сожгли мои книги. Скоро мне будет семьдесят семь. Я уже старик, не могу больше работать. Все мое достояние — восемьдесят семь долларов. Вы только посмотрите на меня!

Франк был немцем до мозга костей, поэтому иностранные издатели, иногда выпускавшие его книги в переводе, второй раз уже не рисковали это делать, так как его книги никто не покупал. К тому же Франк не мог выучить в должной степени английский, потому что для этого он слишком немец. Он с трудом перебивался случайными авансами и пособиями.

— После войны ваши книги снова будут издаваться, — заметил я.

Он с сомнением взглянул на меня.

— В Германии? В стране, которую двенадцать лет воспитывали в национал-социалистском духе?

— Именно потому, — сказал я, не веря в это.

Франк покачал головой.

— Я забыт, — возразил он, — им там нужны другие писатели. Мы им больше не нужны.

— Как раз вы-то и нужны!

— Я? В тридцать третьем году у меня было так много творческих планов, — тихо сказал Франк. — А теперь я ни на что не способен. Я стар. Это страшно. Пока старость не наступит, в нее трудно поверить. Теперь я понимаю, что это такое. И знаете, с каких пор? С того момента, когда я впервые понял, что война для нацистов проиграна и что, наверное, можно будет вернуться.

Все молчали. Я выглянул в окно. Там тускло светилось зимнее небо, от грохота грузовиков в комнате все слегка дрожало. Потом я услышал, как Франк и Хольцер простились и ушли.

— Какое утро! — сказал я Кану. — Какой чудесный день!

Он кивнул в знак согласия:

— Вы, разумеется, слышали, что Кармен вышла замуж?

— Да, от Танненбаума. Но в Америке легко развестись.

Кан засмеялся.

— Мой дорогой Роберт! Чем вы еще можете меня утешить?

— Ничем,— ответил я.— Так же как и Хольцера.

— И так же как Франка?

— О, нет! Здесь, черт возьми, огромная разница. Вам ведь не семьдесят семь.

— Вы слышали, что сказал Франк?

— Да. Он конченный человек и не знает, что ему теперь делать. Он состарился незаметно для себя. А мы — нет.

Мне бросилась в глаза сосредоточенность и вместе с тем какая-то растерянность Кана. Я связывал это с Бетти и с Кармен. Я надеялся, что это скоро пройдет.

— Радуйтесь, что не присутствовали на панихиде у Бетти,— сказал я.— Было ужасно.

— Ей повезло,— задумчиво произнес Кан.— Она умерла вовремя.

— Вы думаете?

— Да, представьте себе, что было бы, если бы она вернулась. Она не вынесла бы разочарования. А так она умерла в ожидании. Я знаю, что в конце ее охватило отчаяние, но какая-то искорка веры, наверное, все же теплилась. Вера придает сил.

— Как и надежда.

— Надежда более уязвима. Сердце продолжает верить, а мозг уже глух.

— Не слишком ли вы осложняете себе жизнь?

Он рассмеялся.

— Когда-нибудь даже автоматы перестанут подчиняться человеку. Они не взорвутся, а просто остановятся.

Я понял, что убеждать его в чем-то бессмысленно. Кан метался по кругу, как собака, страдающая запором. Любопытно, даже самый слабый намек он улавливал своим напряженным и бдительным умом и отвергал еще прежде, чем он был высказан. Кана надо было оставить одного. К тому же я и сам чувствовал усталость. Ничто так не утомляет, как беготня по кругу, а еще более утомительно при этом следовать за кем-то.

— До завтра, Кан,— сказал я.— Мне еще надо зайти к антиквару посмотреть картины. Зачем вы позвали таких людей, как Хольцер и Франк? Вы ведь не мазохист.

— Оба пришли с панихиды Бетти. Вы их там не видели?

— Нет. Там было полно людей.

— Они побывали там, а потом зашли ко мне, чтобы отвлечься. Боюсь, я предоставил их своей судьбе.

Я ушел. Чисто деловая, хотя и несколько своеобразная атмосфера у Силверса подействовала на меня благотворно.

— Твой знакомый с Пятьдесят седьмой улицы не собирается в зимний отпуск? — спросил я Наташу. — Во Флориду, Майами или Палм-Бич? Может, у него большие легкие, или большое сердце, астма, или какие-нибудь другие недуги, для которых климат Нью-Йорка слишком суров?

— Он не выносит жары. Летом в Нью-Йорке как в бане.

— Нам от этого не легче. Как трудно бедному человеку в Америке наслаждаться любовью! Без собственной квартиры это почти невозможно. Страна, наверное, полна безутешных онанистов. Проституток в этих стерильных широтах я тоже не видел. Богатырского телосложения полицейские, освобожденные от военной службы именно благодаря своей комплекции, хватают эти хилые зачатки эротики на улицах, как собачники бродячих мопсов, и доставляют их безжалостным судьям, которые приговаривают их к большим штрафам. А где же людям заниматься любовью?

— В автомобилях.

— А тем, у кого их нет? — спросил я, отгоняя мысль о просторном «роллс-ройсе» со встроенным баром; может, Фрезер не умеет править сам, и тогда шофер — это мой ангел-хранитель. — Что делать здоровым молодым людям, если нет борделей? В Европе проститутки на любую цену кружат по улицам, как перелетные птицы. Здесь я пока еще проституток не видел. Как, впрочем, и общественных уборных. Думаешь, это случайно? В Париже эти интимные будки находятся в нескольких метрах друг от друга, стоят на улицах как бастионы из жести и, надо сказать, активно используются. Ночные бабочки вылетают на улицу уже в одиннадцать утра, французам неведомы психиатры. У них почти не бывает истощения нервной системы. Здесь же у каждого свой психиатр, нет общественных туалетов, а проституток могут вызвать только состоятельные люди по хранимым в тайне номерам. А что же делать более бедным людям со всеми этими полицейскими запретами, с бранящимися хозяйками, смиренными пресвитерианцами и жандармами, что им делать зимой без машины, без этого последнего прибежища загнанной в подполье любви?

— Взять машину напрокат.

Я сидел в расшатанном плюшевом кресле того же цвета, что и мебель в холле. Таинственный владелец гостиницы тридцать лет назад, по-видимому, ограбил вагон с плюшем, где, кроме того, везли, наверное, еще и контрабандное виски, иначе трудно объяснить, почему гостиница снизу доверху обита этим ужасным плюшем и везде темнеют пятна от виски.

Наташа лежала на кровати. На столе были остатки ужина, за который нам следовало благодарить американский магазин деликатесов, это великолепное заведение, утешителя всех холостяков, где можно купить горячих кур с вертела, шоколадные пирожные, нарезанную кружками колбасу, всякие консервы, роскошную туалетную бумагу, малосольные огурцы, красную икру, хлеб, масло и липкий пластырь — корочке, где можно купить все, кроме презервативов. Последние можно приобрести в другом американском заведении, своего рода комбинации аптеки и закуской — аптечном магазине, где их с заговорщическим видом вручает вам одетый в белое хозяин, будто он — сложивший с себя сан католический священник, совершающий символическое убиение младенца.

— Дать тебе кусочек шоколадного торта к кофе? — спросил я.

— Дать, и побольше. Сию же минуту. Зима пробуждает аппетит. Пока на улицах лежит снег, шоколадное пирожное для меня — лучшее лекарство.

Я поднялся, достал из чемодана, служившего тайничком, электрическую плитку, поставил на нее алюминиевый чайник с водой и тут же закурил сигарету «Уайт оул», чтобы запах кофе не был слышен в коридоре. Опасности никакой не было — хотя готовить в номере и запрещалось, — ибо никого это не волновало. Но когда Наташа была здесь, я проявлял осторожность. Невидимый хозяин гостиницы вполне мог шмыгать по коридорам. Он никогда этого не делал, и именно это меня так и настораживало. То, чего меньше всего ждешь, как раз и случалось в моей жизни слишком часто: это был один из неписанных законов эмиграции.

Когда я наливал кофе, в дверь тихо, но настойчиво постучали.

— Спрячься под моим пальто, — сказал я. — С головой и ногами. Посмотрю, что там стряслось.

Я повернул ключ в замке и чуть приоткрыл дверь. У порога стояла пуэрториканка. Она приложила палец к губам.

— Полиция,— прошептала она.

— Что?

— Внизу. Три человека. Может быть, они поднимутся и сюда. Будьте осторожны! Обыск.

— Что там произошло?

— Вы один? У вас нет женщины?

— Нет,— ответил я.— Полиция здесь из-за этого?

— Не знаю. Наверное, из-за Меликова. Но неизвестно. Вероятно, будет обыск. Если обнаружат женщину, ее заберут.

«В ванную,— мелькнуло у меня в голове.— Но если полиция устроит облаву и найдет Наташу в ванной, то это только ухудшит дело. Выйти вниз, в холл она не могла, если ищейки уже здесь. Проклятье,— думал я,— что же делать?»

Вдруг рядом с собой я скорее почувствовал, чем увидел Наташу. Как быстро она оделась, просто удивительно. Даже ее маленькая шапочка была уже на голове. Наташа держалась хладнокровно и спокойно.

— Меликов,— сказала она.— Они сдапали его.

Пуэрториканка сделала ей знак.

— Скорее! Вы — ко мне в комнату, а Педро — сюда. Понятно?

— Да.

Наташа быстро огляделась по сторонам.

— До встречи.— И она последовала за женщиной.

Из темного коридора вынырнул мексиканец Педро. Он на ходу пристегивал подтяжки и завязывал галстук.

— *Venias tardes*¹. Так-то оно лучше!

Я все понял. Если появится полиция, то Педро — мой гость, в то время как Наташа будет у пуэрториканки. Куда проще, чем драматичное англосаксонское бегство через окно в уборной по обледеневшим крышам. Я бы сказал, латинская простота.

— Садитесь, Педро,— предложил я.— Сигару?

— Благодарю. Лучше сигарету. Большое спасибо, сеньор Роберто. У меня есть свои.

Он явно нервничал.

— Документы,— прошептал он.— Плохо дело. Может, они все же не появятся.

— У вас нет документов? Скажете, что забыли.

¹ Добрый вечер (исп.).

— Плохо дело. У вас документы в порядке?

— Да. В порядке. Но кому приятно встречаться с полицией?

Меня самого временами пробирала нервная дрожь.

— Хотите водки, Педро?

— Слишком крепкий напиток в этой ситуации. Лучше сохранять ясность ума. Но чашечку кофе — с удовольствием, сеньор!

Я налил ему кофе. Педро пил торопливо.

— Что с Меликовым? — спросил я. — Вам что-нибудь известно о нем?

Педро замотал головой. Потом он наклонил ее набок, закрыл глаз, поднял руку, приложил ее к носу и будто втянул в себя воздух. Я понял.

— Вы верите этому?

Он пожал плечами. Мне вспомнились намеки Наташи.

— Мог бы я что-нибудь для него сделать?

— Ничего! — ответил Педро, неотступно следя за мной взглядом. — Держать язык за зубами, — добавил он, бурно жестикулируя. — Иначе Меликову будет еще хуже.

Я уложил плитку в чемодан и огляделся вокруг. Не оставила ли Наташа каких-нибудь следов! Пепельница. Я бесшумно открыл окно и выбросил два окурка со следами красной губной помады. Затем я подкрался к двери, открыл ее и прислушался, пытаюсь уловить, что происходит внизу.

В гостинице стояла мертвая тишина. Из холла до меня донеслось какое-то бормотание. Затем послышался топот поднимающихся по лестнице людей. Я сразу понял, что это полиция. Я уже неплохо в этом разбирался, так как довольно часто слышал такой топот в Германии, Бельгии и Франции. Я быстро закрыл дверь.

— Идут.

Педро бросил сигарету.

— Они поднимаются сюда, — сказал я.

Педро поднял сигарету с пола.

— В комнату Меликова?

— Это мы посмотрим. Почему вы считаете, что полиция будет делать обыск?

— Чтобы хоть что-то найти! Ясное дело.

— Без ордера?

Педро вновь пожал плечами.

— Какой тут нужен ордер? Когда речь идет о бедняках?

Конечно, этого и следовало ожидать. Почему в Нью-Йорке должно быть не так, как в любом другом городе мира? Надо бы мне это знать. Документы у меня в порядке, но не совсем. И у Педро, видимо, тоже. Что до пуэрториканки, я очень сомневался. Только у Наташи было все в порядке. Ее бы отпустили. У нас же проверка затянулась бы. Я отрезал большой кусок шоколадного торта и запихнул в рот. Кормят во всех полицейских участках преотвратительно.

Я выглянул из окна. Напротив светилось несколько окон.

— Где окно вашей приятельницы? — спросил я Педро. — Его видно отсюда?

Он подошел ко мне. От его курчавых волос пахло сладковатым маслом. На шее у него был шрам от фурункула. Он посмотрел вверх.

— Над нами. Этажом выше. Отсюда не видно.

Мы то и дело прислушивались к звукам, доносившимся из холла. Все было тихо. Все, кто был в гостинице, по-видимому, знали: что-то произошло. Никто не спускался вниз. Наконец я услышал тяжелые энергичные шаги сверху. Они затихли внизу. Я приоткрыл дверь.

— Кажется, полиция уходит. Обыска не будет.

Педро оживился.

— Почему они не оставляют людей в покое? Стоит ли поднимать столько шума из-за какого-то мизерного количества порошка, если он приносит радость? На войне разрывают миллионы людей гранатами. Здесь же устраивают гонение за щепотку белого порошка, будто это динамит какой.

Я внимательно посмотрел на него, на его влажные глаза, на белки с голубым отливом, и мне пришла в голову мысль, что он и сам был бы не прочь понюхать.

— Вы давно знаете Меликова? — спросил я.

— Не очень.

Я молчал — а какое мне было до этого дело? Интересно, можно ли чем-то помочь Меликову. Но я едва ли мог что-то сделать — иностранец да еще с сомнительными документами.

Дверь открылась. Это была Наташа.

— Они ушли, — сказала она. — С Меликовым.

Педро встал. Вошла пуэрториканка.

— Пошли, Педро.

— Благодарю, — сказал я ей. — Большое спасибо за любезность.

Она улыбнулась.

— Бедные люди охотно помогают друг другу.

— Не всегда.

Наташа поцеловала ее в щеку.

— Большое спасибо тебе, Ракель, за адрес.

— Какой адрес? — поинтересовался я, когда мы остались одни.

— Где продают чулки. Самые длинные, какие я только видела. Их трудно найти. Большинство чересчур короткие. Ракель показала мне свои. Просто чудо.

Я не мог удержаться от смеха.

— А мне с Педро было не так весело.

— Разумеется. Он испугался. Он тоже нюхает почем зря! И теперь перед ним проблема: ему придется искать другого поставщика.

— Меликов был поставщиком?

— Мне кажется, не основным. Его принудил к этому тот гангстер, которому принадлежит гостиница. Иначе он вылетел бы отсюда. Нового места он никогда бы не получил — возраст не тот.

— Можно что-нибудь сделать для него?

— Ничего. Это под силу только гангстеру. Вероятно, он поможет ему выбраться. У него очень ловкий адвокат. Ему придется что-то сделать для Меликова, чтобы тот не изобличил его.

— Откуда тебе все это известно?

— Ракель рассказала.

Наташа оглянулась по сторонам.

— А куда девался торт?

— Вот он, я съел кусок.

Она рассмеялась.

— Голод как следствие страха, не так ли?

— Нет. Как следствие осторожности. Кофе выпил Педро. Хочешь кофе?

— Я считаю, мне лучше уйти. Не стоит дважды испытывать судьбу. Трудно сказать, не нагрянет ли полиция еще раз.

— Хорошо. Тогда я провожу тебя домой.

— Нет, не провожай. Не исключено, что ввиду оставлен наблюдатель. Если я выйду одна, объясню, что была у Ракель. Настоящая авантюра, верно?

— Для меня — даже чересчур настоящая. Ненавижу авантюры.

Она рассмеялась.

— А я — нет.

Я довел ее до лестницы. И вдруг увидел, что на глазах у нее слезы.

— Бедный Владимир,— пробормотала она,— бедная искалеченная душа.

Быстро, держась очень прямо, она твердой походкой спустилась по лестнице. А я вернулся к себе в каморку и стал приводить ее в порядок — убирать со стола. Почему-то это всегда настраивало меня чуть-чуть на меланхолический лад, так как, по-видимому, ничто в жизни не вечно, даже проклятый шоколадный торт. В порыве неожиданной ярости я распахнул окно и выкинул остатки. Пусть будет праздник кошкам, если мой праздник уже прошел. Без Меликова в гостинице сразу стало пусто. Я спустился вниз. Никого не было. Люди стараются избегать тех мест, где побывала полиция, как чумы. Я немного подождал и даже принялся листать старый номер «Таймс», оставленный каким-то посетителем, но меня раздражало всезнайство этого журнала, который знал больше, чем сам господь бог, и преподносил все сведения в расфасованном виде, в готовых маленьких пакетиках под несколько вычурными заголовками. Я прошмыгнул по внезапно осиротевшему холлу, подумав, что человека начинают ценить лишь тогда, когда его больше нет,— чертовски тривиальная, но потому особенно гнетущая истина. Я думал о Наташе и о том, что теперь сложнее будет проводить ее тайком ко мне в комнату. Меня все больше одолевала меланхолия, и я, как бочка с водой в ливень, все больше наполнялся чувством сострадания к себе. День был мрачный, передо мной прошла чередой минувших прощаний, а потом я подумал о прощаниях грядущих, и у меня стало совсем тяжело на душе, потому что я не видел выхода. Меня пугала ночь, собственная кровать и мысль о том, что назойливые сны в конце концов доконают меня. Я достал пальто и отправился бродить по морозному белому городу — хотел устать до изнеможения. Я прошел вверх по совершенно тихой Пятой авеню до Сентрал-парка. Справа и слева от меня светились, как стеклянные гробы, запорошенные снегом витрины. Вдруг я услышал собственные шаги и подумал о полиции в гостинице, а затем о Меликове, сидевшем в какой-то клетке; потом я почувствовал, что очень устал, и повернул назад. Я шагал все быстрее и быстрее, ибо усвоил, что иногда это смягчает грусть, но я слишком устал и не чувствовал, так ли это было на сей раз.

События вдруг стали разворачиваться с удивительной быстротой. Недели таяли, как снег на улицах. Некоторое время я ничего не слышал о Меликове. Но как-то утром он появился вновь.

— Тебя выпустили! — воскликнул я. — Все кончилось?

Он покачал головой.

— Меня освободили под залог. Дело еще только будет слушаться.

— Против тебя есть какие-нибудь серьезные улики?

— Лучше, если мы не будем об этом говорить. А еще лучше, если ты не будешь задавать вопросов, Роберт. В Нью-Йорке всего надежнее ничего не знать и ни о чем не спрашивать.

— Хорошо, Владимир. Ты похудел. Почему тебя так долго не выпускали?

— Пусть это будет твоим последним вопросом. Поверь мне, Роберт, так лучше. И избегай меня.

— Нет! — запротестовал я.

— Да. А теперь давай-ка выпьем водки. С тех пор, как я последний раз пил водку, прошло довольно много времени.

— Ты плохо выглядишь. Похудел — и такой грустный. Будем надеяться, что скоро все изменится к лучшему.

— В тюрьме мне исполнилось семьдесят лет. Да и давление у меня чертовски высокое.

— Но ведь есть всякие лекарства.

— Роберт, — тихо произнес Меликов, — от забот еще не найдено лекарств. К тому же мне не хочется умереть в тюрьме.

Я молчал. За окном стучала капель.

— Ты не можешь... — сказал я тихо, — ты не можешь сделать то же, что я делал в минуту опасности? Америка велика, а обязательной прописки не существует. Кроме того, каждый штат пользуется большой самостоятельностью и имеет собственные законы. Это не предложение, я просто рассуждаю вслух.

— Я не хочу подвергаться гонениям и розыску. Нет, Роберт, мне надо попытаться счастья. Я надеюсь на помощь людей, уже поддержавших меня однажды. Забудем пока обо всем. — Он судорожно улыбнулся. — Выпьем водки в надежде на инфаркт, пока мы еще на свободе.

В марте состоялась помолвка дочери Фрислендера с одним американцем. А в апреле она вышла за него замуж. Фрислендер решил дать по этому поводу два приема: один — как американец, а второй — как бывший эмигрант. Он, правда, был полон твердой решимости с каждым днем все больше американизироваться, считая брак своей дочери с настоящим, коренным американцем еще одним значительным шагом в этом направлении, но вместе с тем он желал показать и нам, людям без гражданства, что хотя он и умалчивает о своем происхождении, но все же не отрекается от него. По этой причине была устроена настоящая свадьба с приглашением родственников мужа — потомков тех, кто прибыл на «Мейфлауерс», — и нескольких избранных эмигрантов: одни из них уже получили гражданство, другие просто были богатыми людьми; второй прием предназначался для простых смертных — короче, для более бедного люда. У меня не было желания идти на это торжество, но Наташа, охваченная неумной страстью к гуляшю по-сегедски, приготовленному кухаркой Фрислендера, настаивала, чтобы я пошел, надеясь, что я снова принесу домой полную кастрюлю.

По выражению Фрислендера, это был своего рода прощальный вечер, знаменовавший одновременно начало новой жизни.

— Скитания в пустыне приближаются к концу, — сказал он.

— Где же Земля Обетованная? — иронически спросил Кан.

— Здесь! А где же еще? — Фрислендер удивился.

— Стало быть, здесь уже празднуется день победы, да?

— Евреи побед не празднуют, господин Кан. Евреи празднуют избавление, — сказал Фрислендер.

— Молодожены будут и сегодня? — спросил я у фрау Фрислендер.

— Нет. Сразу после свадьбы они отправились во Флориду.

— В Майами?

— В Палм-Бич. В Майами не так изысканно.

Я представил себе их зятя; он был банкиром, а его предки несколько веков тому назад прибыли сюда из Англии на овечьем легендами маленьком судне «Мейфлауерс», этом Ноевом ковчеге американской аристокра-

тии, который должен был бы раз в десять превосходить «Куин Мери», чтобы вместить всех каторжников и пиратов, чьи правнуки впоследствии утверждали, будто их предки прибыли на этом корабле.

Я огляделся по сторонам. С самого начала я почувствовал, что обстановка здесь сегодня не такая, как обычно. Фрислендер устраивал вечера для беженцев каждые два месяца. Поначалу он делал это, чтобы образовать нечто вроде эмигрантского центра. Постепенно стало ясно, что ассимиляция шла нормально — полная ассимиляция происходит ведь только во втором поколении. В первом же поколении люди еще держатся вместе.

Причиной этого является недостаточное знание языка, сохранившиеся привычки, кроме того, в пожилом возрасте трудно приспособляться к новым условиям. Дети эмигрантов, посещавшие американские школы, без особых усилий усваивали обычаи страны. С родителями же дело обстояло сложнее. Несмотря на всю благодарность за прием, им казалось, что они сидят в этакой приятной тюрьме без стен, и никто из них не отдавал себе отчета в том, что они сами воздвигали вокруг себя все эти преграды и барьеры. Страна же оказалась на редкость гостеприимной.

— Я остаюсь здесь, — сказал Танненбаум. Он приехал из Голливуда, чтобы сыграть в нью-йоркском театре роль эсэсовца. — Это единственная страна, где на нас не смотрят как на оккупантов. Здесь не чувствуешь себя чужестранцем. Во всех прочих странах было по-другому. Я остаюсь здесь.

Везель пристально посмотрел на него.

— А если вы больше не найдете работы? У вас ведь сильный акцент, и, когда кончится война, ролей для вас, очевидно, больше не будет.

— Напротив, тогда-то все и начнется.

— Вы не бог и не можете все знать, — резко заметил Везель.

— Так же как и вы, Везель. Но у меня есть работа.

— Прошу вас, господа, — воскликнула фрау Фрислендер, — только не ссорьтесь! Сейчас, когда все уже позади!

— Вы так думаете? — спросил Кан.

— Конечно, если только не возвращаться назад! — сказал Танненбаум. — Как, по-вашему, теперь выглядит Германия?

— Родина есть родина,— произнес Везель.

— А дерьмо есть дерьмо.

— А мне придется вернуться,— печально произнес Франк.— Что мне еще остается?

То был основной мотив этого унылого вечера, на который все пришли с думами о будущем. Вдруг случилось то, что и предсказывал Кан: решивших остаться именно потому, что вскоре они получают возможность вернуться, начало мучить какое-то смутное чувство утраты. Перспектива остаться в Штатах не казалась уже столь радужной, как ранее, хотя, в сущности, ничего не менялось. А те, кто намеревался вернуться и перед кем всегда маячила Европа, старая родина, вдруг почувствовали, что теперь это вовсе не рай, а разоренная земля, где полно самых разных проблем. Это походило на флюгер: то он поворачивался одной стороной, то другой. Трогательные иллюзии, которыми все они жили, лопались. И те, кто хотел вернуться, и те, кто хотел остаться, равно ощущали себя дезертирами. На этот раз они дезертировали от самих себя.

— Лиззи хочет вернуться,— сказал Кан.— Вторая из двойняшек — Люси — намерена остаться. Их всегда видели вместе. Теперь обе упрекают друг друга в эгоизме, и это подлинная трагедия.

Я посмотрел на него. Я ничего не знал об его отношениях с Лиззи.

— Вы не хотите уговорить Лиззи остаться? — спросил я.

— Нет. Идет великая ломка,— заметил он иронически.— И великое отрезвление.

— И для вас?

— Для меня? — переспросил он, смеясь.— Я просто лопну, как воздушный шарик. Не там и не здесь. А вы?

— Я? Не знаю. Еще достаточно времени подумать об этом.

— Вы же этим только и занимались, пока были здесь, Роберт.

— Есть вещи, раздумье о которых не способствует их прояснению. Потому и не стоит о них слишком долго рассуждать. Это только все портит и усложняет. Такие решения принимаются мгновенно.

— Да,— сказал он.— Это делается мгновенно, вы правы.

Фрислендер отвел меня в сторону.

— Не забудьте, что я вам говорил о немецких акциях. После перемирия их можно будет приобрести за бесценок. Но они будут расти, расти и расти в цене. Можно ненавидеть страну в политическом отношении, но к ее экономике испытывать доверие. А в целом — это нация шизофреников. Толковые промышленники, ученые и организаторы массовых убийств.

— Да,— сказал я с горечью.— И часто все это сочается в одном лице.

— Я ведь сказал — шизофреники. Будьте и вы шизофреником: наживите себе состояние и можете потом сколько угодно ненавидеть нацистов.

— Не слишком ли это прагматично?

— Называйте как хотите. Зачем же давать промышленным концернам, посылавшим на смерть рабочих-рабов, наживать бешеные деньги?

— Они-то, будьте уверены, все равно не останутся внакладе,— сказал я.— Они все получают: и почести, и ордена, и пенсии, и миллионы в придачу. Как-никак я там родился. Мы видели это после первой мировой войны. Ну, а вы вернетесь, господин Фрислендер?

— Ни за что! Свои дела я могу решать по телефону. Если вам нужны деньги, я охотно дам вам тысячу долларов. На этой основе там, за океаном, можно начать все что угодно.

— Благодарю. Вероятно, я приму ваше предложение.

Какое-то мгновение мне казалось, будто произошло короткое замыкание, но свет не погас, а лишь чуть замигал и сразу же загорелся вновь ярко и спокойно. Это был момент, когда тревожное, смутное желание, в котором был и страх и мысль о невозможности возвращения, вдруг неуловимо стало реальностью. Деньги, предложенные мне Фрислендером, нужны мне были, конечно же, не для бизнеса. Они таили в себе возможность возвращения, этих денег было даже больше, чем нужно, чтобы добраться до страны, которая надвигалась на меня, как черное облако. Я стоял под люстрами и, точно слепой, смотрел прямо перед собою, не видя ничего, кроме расплывающегося светлого пятна.

Мне еще требовалось время, чтобы прийти в себя. Казалось, будто на меня обрушился смерч огромной силы. Теперь все завертелось у меня перед глазами, свет и тени смешались, а надо всем плыл голос Кана:

— Кухарка уже накладывает гуляш. Берите свою порцию и давайте сбежим отсюда. Ну, как?

— Что? Бежать? Когда?

— Когда угодно! Если хотите — сейчас.

— Так-так! — я снова начал понимать Кана. — Сейчас не могу, — сказал я. — Мне еще надо решить несколько вопросов. Я должен задержаться, Кан. — Мне хотелось собраться с мыслями, а это лучше всего делать в неразберихе, в толчее, среди гостей. К тому же мне не хотелось сейчас говорить с Каном. Все было еще слишком неопределенно, ново, прозрачно и в то же время полно значения.

— Хорошо, — сказал Кан. — А я уйду. Я не могу больше выносить этих восторгов, сантиментов, всей этой неопределенности. Сотни ослепленных птиц забились о прутья своих клеток, обнаружив вдруг, что эти прутья уже не из стали, а из вареных спагетти. И они не знают, что теперь делать — петь или жаловаться. Некоторые уже запели, — угрюмо добавил он. — Скоро они поймут, что чирикать им здесь нечего и что теперь они лишатся последней опоры — романтической тоски по родине и романтической ненависти. Оказывается, разрушенную страну уже нельзя ненавидеть — вот ведь как получается. Доброй ночи, Роберт.

Он был очень бледен.

— Я, наверное, зайду к вам попозже, — сказал я, испугавшись этой бледности.

— Не надо. Я иду спать. Приму несколько таблеток снотворного. Да не бойтесь, — сказал он, увидев выражение моего лица. — Ничего я над собой не сделаю. Желая приятно провести время на этом торжестве, оказавшемся таким невеселым. Доброй ночи, Роберт.

— Доброй ночи, Кан. Я забегу к вам завтра днем.

— Буду очень рад.

Меня мучила совесть, я уже хотел броситься за ним, но был совершенно сбит с толку этим абсурдным, печальным праздником и тем, что в конце сказал Кан. Я остался и, не очень вникая, слушал Лахмана.

— Мой недуг пройдет, как страшный сон, — говорил он, усиленно мигая.

— А как твой католический бизнес? — поинтересовался я. — Четки и статуэтки святых?

— Там видно будет. Пока что я не спешу. Я лучший коммивояжер нашего времени. Чужая вера дает большую свободу действий. А это здорово помогает бизнесу. К тому же католики мне больше доверяют, потому что я не католик.

— Стало быть, ты не возвращаешься, а?

— Может быть, через несколько лет. Съезжу в гости. Но до этого еще есть время, много времени.

Я с завистью взглянул на него.

— Чем ты занимался раньше? — спросил я. — До нацистов?

— Был студентом и сыном зажиточных родителей. Ничему так и не научился.

Я не мог спросить, что стало с его родителями, но мне хотелось бы знать, что творилось у него в голове. Однажды Кан сказал мне, что евреи — народ не мстительный. Возможно, в этом есть доля истины. Они неврастеники, и их ненависть быстро оборачивается смирением, а ради спасения собственного «я» — даже сочувственным пониманием противника. Как любая крайность, да и вообще как любое общее утверждение, это соответствовало действительности лишь отчасти. И тем не менее слова Кана врезались мне в память. Евреи — не мстительный народ, они для этого слишком культурны и интеллектуальны. «Я совсем не такой», — думал я. Я был одинок и казался самому себе троглодитом. Но на сей раз со мной творилось нечто такое, через что я не мог переступить; это странное чувство было так значительно, что все попытки избавиться от него лишь вызывали у меня зуд нетерпения. Это был почти непонятный голос крови, который, как я чувствовал, приведет меня к гибели. Я противостоял этой силе, пытаясь избежать ее, и порой мне казалось, что это мне почти удастся. Но затем надвигалось что-то — воспоминание, тяжелый сон или возможность приблизиться к безмолвно поджидающему року, — и все иллюзии избавления оказывались раздавленными, как стая бабочек, побитых градом. Мне снова становилось ясно, что это «нечто» здесь, рядом со мной и что мне его не избежать. Оно было у меня в крови и требовало крови. Я мог при свете дня попытаться иронизировать над ним, подшучивать и насмехаться, но солнечный свет лишь ненадолго рассеивал его, голос крови продолжал звучать и ночью навстречивал свое.

— Не надо грустить, господин Росс, — сказала фрау Фрислендер. — В конце концов это последняя наша встреча в качестве эмигрантов.

— Последняя!

— Скоро все кончится. Времена Агасфера миновали.

Я озадаченно посмотрел на славную толстуху. Откуда это у нее? Вдруг мне без особой причины стало весело.

Я забыл Кана и собственные свои мысли. Я глядел в розовое лицо чистой, добродушной глупости, и мне как-то сразу стало ясно, сколь абсурдным был этот скорбно-торжественный вечер с его наивной помпезностью, волнением и растерянностью.

— Вы правы, фрау Фрислендер,— вымолвил я.— Прежде чем устремиться в разные стороны, всем нам напоследок нужно было бы насладиться обществом друг друга. Наша судьба — судьба солдат после войны. Скоро они опять будут только приятелями, но уже не фронтовыми друзьями, все опять будет так, как когда-то. Тогда на прощание нам придется еще раз порадоваться всему тому, чем мы были и чем не были друг для друга.

— Это я и имею в виду! Именно это! Роза уже приготовила вам в последний раз гуляш. Со слезами на глазах. Огромную кастрюлю.

— Великолепно! Мне всего этого будет очень не хватать.

На душе у меня становилось все радостнее. Вполне вероятно, что при этом где-то на дне души оставалось и отчаяние, но, если сказать по правде, когда его не было? Мне казалось, что теперь уже не может случиться ничего плохого, в том числе и с Каном.

Я взял свою кастрюлю гуляша и пошел домой. Мне вдруг показалось, что я могу, наконец, сбросить с себя то, что давило на меня свинцовым грузом, и я ощутил внезапный прилив жизненных сил, не думая о том, что еще может наступить и, вероятно, наступит.

XXXIII

Когда на следующий день я пришел к Кану, его уже не было в живых. Он застрелился. Он лежал не в кровати, а на полу возле стула, с которого, видимо, сполз. Был очень ясный день, яркий свет почти слепил глаза. Портьеры не были задернуты. Свет лился в комнату. А Кан лежал на полу. В первый момент эта картина показалась мне такой неестественной, что я никак не мог поверить в случившееся. Потом я услышал радио, все еще игравшее и после его смерти, и увидел разможенный череп. И только подойдя ближе, я заметил рану. Кан лежал на боку.

Я не знал, как быть. Я слышал, что в подобных случаях следует вызвать полицию и что ничего нельзя тро-

гать до ее прихода. Какое-то время я неподвижно глядел на то, что осталось от Кана, и где-то во мне гнездилось чувство, что все это неправда. То, что сейчас лежало здесь на полу, имело столь же малое отношение к Кану, как восковые фигуры в музее — к тем, кого они изображают. Я сам чувствовал себя восковой фигурой, но еще живой. И только потом я очнулся и ощутил ужасное смятение и раскаяние: у меня вдруг возникла невыносимо твердая уверенность в том, что именно я повинен в смерти Кана. Накануне вечером он мне все сказал — это было настолько мелодраматично и чуждо характеру Кана, что я не имел права успокаиваться.

Мне стало до ужаса ясно, как одинок был Кан и как он нуждался во мне, а я не замечал ничего только потому, что не желал замечать.

Я не впервые видел мертвеца, и не впервые им оказывался мой друг. Я видел многих людей в ужасных обстоятельствах, но здесь было нечто совсем иное. Для меня и для многих других Кан был чем-то вроде монумента — казалось, он был сделан из более крепкого материала, чем любой другой; он был кондотьером и донкихотом, робингудом и сказочным спасителем, мстителем и баловнем судьбы, элегантным канатоходцем и находчивым Георгием Победоносцем, обманувшим драконов времени и вырвавшим у них жертву. Вдруг я опять услышал радио и выключил его. Я искал глазами хоть какое-нибудь письмо, но мне сразу стало ясно, что я ничего не найду. Он умер так же одиноко, как и жил. И я понял, почему я искал какую-нибудь записку от него: мне хотелось облегчить свою совесть, найти от него хоть слово, хоть какую-нибудь малость, хоть что-нибудь, что могло бы меня оправдать в собственных глазах. Но я ничего не увидел. Зато я увидел размозженную голову в ее ужасающей реальности, хотя казалось, будто я смотрю на нее издалека или через толстое стекло. Я был удивлен и растерян: почему он застрелился? Я даже подумал, что это странная смерть для еврея, ко тут же вспомнил, что об этом, со свойственным ему сарказмом, говорил мне сам Кан, и раскаялся в своих мыслях. На меня снова обрушилась мучительная боль и самое худшее из всех ощущений: вот навсегда угас человек, будто его никогда и не существовало, и я волея-неволей виноват в его смерти.

Наконец я взял себя в руки. Надо было что-то предпринять, и я позвонил Равику. Это был единственный

врач, которого я знал. Я осторожно снял трубку, будто и она была мертва и ею нельзя было больше пользоваться. В этот полуденный час Равик оказался у себя.

— Я нашел Кана мертвым,— сказал я.— Он застрелился. Не знаю, что делать. Вы можете приехать?

Равик некоторое время молчал.

— Вы уверены, что он мертв?

— Уверен. У него разможен череп.

Я был близок к истерике, так как мне показалось, будто Равик размышляет, когда ему приехать — сейчас или после обеда; в таких случаях за какие-то секунды много мыслей проносится в голове.

— Ничего не предпринимайте,— посоветовал Равик.— Оставьте все как есть. И ни к чему не прикасайтесь. Я немедленно выезжаю.

Я положил трубку. Мне пришла в голову мысль вытереть трубку, чтобы на ней не было отпечатков пальцев. Но эту мысль я сразу же отверг: кто-то ведь должен же был найти Кана и вызвать врача. «Как сильно кино разлагает наше мышление»,— подумал я и мгновенно ощутил ненависть к самому себе за возникшую мысль. Я сел на стул рядом с дверью и принялся ждать. Потом мне показалось трусостью сидеть так далеко от Кана, и я уселся на стол. Повсюду я наталкивался на следы последних мгновений жизни Кана — сдвинутый стул, закрытая книга на столе. Я открыл ее, пытаюсь найти какой-то ответ на происшедшее, но это не была ни антология немецкой поэзии, ни томик Франца Верфеля, а всего лишь посредственный американский роман.

Тишина, странно усиливавшаяся приглушенным шумом с улицы, становилась все мучительнее. Казалось, она забилась в узкий темный угол под столом рядом с покойным и сидит там на корточках, будто ждет, когда всякий живой шум, наконец, смолкнет и позволит мертвецу, лежавшему в неудобной позе, выпрямиться, чтобы на сей раз умереть по-настоящему, а не наспех. Даже желтый свет, казалось, замер, парализованный, остановленный на лету какой-то невидимой, таинственной силой, и тишина стала более напряженной, чем самая бурная жизнь. В какой-то момент мне почудилось, что я слышу, как на пол падают капли крови; но сил убедиться в том, что это не так, у меня не было. Кан мертв, и это было непостижимо,— даже смерть кролика бывает трудно осознать, ибо она слишком близка к нашей смерти.

Неслышно вошел Равик, но я испугался так, будто на меня ехал паровой каток. Не останавливаясь, он подошел к Кану и стал его рассматривать. Он не нагнулся над трупом и не дотронулся до него.

— Надо вызвать полицию,— сказал он.— Вы хотите быть при этом?

— А это обязательно?

— Нет, я могу сказать, что я нашел его. Когда является полиция, возникает масса вопросов. Предпочитаете их избежать?

— Теперь уже нет,— сказал я.

— Ваши документы в порядке?

— Это тоже уже не важно.

— Нет, до некоторой степени все еще важно,— возразил Равик.— Вот Кану теперь уже действительно все равно.

— Я останусь,— произнес я.— Мне безразлично, если даже полицейские подумают, что я его убил.

Равик повернулся ко мне.

— Вы, видно, сами так думаете.

Я в упор посмотрел на него.

— Почему вы так считаете?

— Нетрудно угадать. Не ломайте себе над этим голову, Росс. Если во всех случайностях видеть проявление судьбы, нельзя будет и шагу ступить.

Он смотрел в застывшее лицо Кана, которого никто из нас уже не смог бы узнать.

— Мне всегда казалось, что он не знал, чем заняться в мирное время.

— Ну, а вы-то знаете?

— Для врача это проще простого. Снова латать людей, чтобы они погибли в следующей войне.— Он снял трубку и позвонил в полицию. Номер и адрес ему пришлось повторять несколько раз.— Да, он мертв,— повторил он.— Да, хорошо! Когда? Хорошо.— Он положил трубку.— Приедут, как только смогут. Сержант сказал, что они очень заняты. Убийства в первую очередь. Это не единственный случай самоубийства в Нью-Йорке.

Мы сидели и ждали. Опять казалось, будто время мертвым грузом повисло между нами. На приемнике Кана я увидел электрические часы. Странно было подумать: приемник Кана, часы Кана. Это уже был анахронизм. Обладание связано с жизнью. А эти вещи не принадлежали больше Кану, ибо он утратил с ними связь.

Они оказались теперь во власти великой безымянности. Они лишились своего хозяина и, безымянные, витали отныне во вселенной, как предметы, утратившие центр тяжести.

— Вы останетесь в Америке? — спросил я Равика. Он кивнул.

— Мне дважды пришлось сдавать экзамены: в Париже и потом здесь. Если я вернусь, там могут потребовать, чтобы сдал их еще раз.

— Но это невозможно.

Равик бросил на меня иронический взгляд.

— Вы так думаете? — Он указал на лежавшего на полу Кана, которому сейчас нельзя было дать и двадцати лет. — У него не было никаких иллюзий. Нас, наверное, ненавидят, как и прежде. Вы все еще верите сказке о бедных изнасилованных немцах? Загляните же в газеты! Они отстаивают каждый дом, хотя уже десять раз проиграли войну. Они защищают нацистов с большей яростью, чем мать своих детей, да еще и умирают за них. — Он сердито и печально покачал головой. — Кан знал, что делал. И не отчаяние двигало им, он просто был прозорливее нас. — Равик еле сдерживался. — Мне так грустно! — сказал он. — Грустно из-за Кана. Он спас меня в сороковом году. Я был в лагере. Во французском лагере для интернированных. Представьте себе людей, охваченных безумным страхом. Пришли немцы. Комендант не дал нам бежать. Я знал, что меня ищут. Если бы меня нашли, меня бы повесили. Кан разузнал, где я. В форме эсэсовца, с двумя сопровождающими он явился в лагерь, накричал на коменданта-француза и потребовал, чтобы ему меня выдали.

— Ну и как? Получилось? Удачно?

— Не совсем, — сухо бросил Равик. — Комендант вспомнил вдруг о своей проклятой воинской чести. Он заявил, что в лагере меня нет, что меня уже выпустили. Он был не против передать нас всех скопом, но отдельных лиц пытался спасти. Кан взбудоражил весь лагерь, пока нашел меня. Это была комедия ошибок. Я спрятался, так как действительно думал, что пришли гестаповцы. Уже за пределами лагеря Кан дал мне коньяку и объяснил, что произошло. Он выглядел так, что я его не узнал. Усы как у фюрера и перекрашенные волосы. Этот коньяк был лучшим напитком из всех, какие я когда-либо пил. Он раздобыл его неделей раньше... — Равик поднял глаза. — В труд-

ных ситуациях он был самый легкий человек, какого я знал. Здесь же он становился все трудней и трудней. Спасти его было невозможно. Понимаете, почему я вам об этом рассказываю?

— Да.

— У меня больше, чем у вас, оснований обвинять себя. Но я не делаю этого. Куда бы мы зашли, если бы каждый думал, как вы? — медленно произнес Равик.

На лестнице послышался грохот.

— Топот полицейских сапог, — сказал Равик. — Это тоже забываемо.

— Куда его отвезут? — спросил я.

— В морг для вскрытия. А может, и нет. Причина смерти ведь очевидна.

Дверь распахнулась. Жизнь, грубая и примитивная, ворвалась к нам. Пышущие здоровьем люди с грохотом ввалились в комнату, в их неловких пальцах замелькали огрызки карандашей, послышались глупые вопросы. Кто-то принес носилки. Нас забрали в полицию. Мы назвали свои адреса и в конце концов были отпущены. А Кан остался.

— Хозяин похоронного бюро приветствует нас теперь, как своих старых знакомых, — с горечью произнесла Лиззи Коллер.

Я посмотрел на нее. Она была спокойнее, чем я ожидал. Странно, что Кан не производил на женщин особого впечатления. Равик дал знать Танненбауму, а тот сообщил Кармен, которая ответила, что это для нее не такая уж неожиданность, и продолжала заниматься своими курами. Отношения Кана с Лиззи были не такими продолжительными и близкими, и она была значительно менее подавлена, чем на панихиде по Бетти Штейн. Лицо у нее было розовое и свежее, будто все потрясения давно уже миновали. «Наверное, нашла себе любовника, — подумал я. — Какого-нибудь безобидного эгоиста, которого она понимает. Кан и ее не сумел раскусить: он ведь никогда не интересовался женщинами, которые его понимали».

Был ветреный день, на небе громоздились белые облака. С крыши капало. Я пригрозил Розенбауму, что выставлю его из часовни, если ему взбрдет в голову произнести речь у гроба Кана, и он пообещал мне молчать. В последний момент мне удалось уговорить хозяина «дома

скорби» не ставить пластинок с немецкими народными песнями. Он даже обиделся и заявил, что другие ничуть не стали бы возражать против этого, скорее наоборот: песня вроде «Ужель возможно это?» им наверняка бы понравилась.

— Откуда вы знаете?

— Во всяком случае, было бы пролито больше слез, чем обычно.

«Все дело в том, как к этому относиться»,— подумал я. Хозяин сохранил пластинки после панихиды по Бетти и сделал на этом бизнес. После смерти Моллера он стал специалистом по похоронам эмигрантов.

— Немного музыки непременно должно звучать,— сказал он мне.— Иначе все будет выглядеть чересчур бедно.

Плата за похороны с музыкой возрастала на пять долларов. Я уже велел убрать лавровые деревья у входа, и теперь хозяин уставился на меня так, будто я вырывал последний кусок хлеба из его золотых зубов. Я просмотрел ассортимент его пластинок и отобрал «Ave verum» Моцарта.

— Вот эту пластинку,— сказал я.— А кадки с лавровыми деревьями оставьте, пожалуйста.

Часовня была наполовину пуста. Ночной сторож, три официанта, два массажиста и одна массажистка, у которой на руках было только девять пальцев, какая-то неизвестная старуха в слезах — вот и все. Старуху, официанта, у которого раньше был магазин по продаже корсетов в Мюнхене, и массажиста, торговавшего углем в Ротенбурге-на-Таубере, Кан спас во Франции, уведя из-под носа у гестапо. У них никак не укладывалось в голове, что он мертв. Кроме того, было еще несколько человек, которых я едва знал.

Вдруг я увидел Розенбаума. Он пробирался позади жалкого маленького гроба, похожий на черную лягушку. Как завсегдатай похорон, он явился в визитке цвета маренго и в полосатых брюках. Он был единственным среди нас, одетым согласно траурному обряду, в своей визитке, оставшейся от прошлых времен. Он встал перед гробом, широко расставив ноги, покосился на меня и раскрыл рот.

Равик толкнул меня. Он заметил, что я вздрогнул. Я кивнул. Розенбаум взял верх: он знал, что я не рискну

устроить драку перед гробом Кана. Я хотел выйти на улицу, но Равик снова толкнул меня.

— Вы не думаете, что Кан рассмеялся бы? — прошептал он.

— Нет. Он даже говорил, что скорее предпочел бы утонуть, чем позволить Розенбауму открыть рот на его похоронах.

— Именно потому, — сказал Равик. — Кан знал: с неминуемым надо смириться. А это неминуемо.

Никакого решения мне, собственно, принимать не пришлось. Одно как бы накладывалось на другое — так, как одна на другую ложатся страницы, а в результате получается книга. Месяцы нерешительности, надежд, разочарований, бунтарства и тяжких снов накладывались друг на друга и без каких-либо усилий с моей стороны превратились в твердую уверенность. Я знал, что уеду. В этом уже не было никакого мелодраматизма — это было почти как итог в бухгалтерской ведомости. Я не мог поступить по-другому. Я возвращался даже не для того, чтобы обрести почву под ногами. Пока я этого не сделаю, мне нигде не найти покоя. Иначе мысль о самоубийстве, отвращение к собственной трусости и самое ужасное раскаяние останутся вечными спутниками до конца моих дней. Я не мог не уехать. Я еще не знал, с чего начну, но уже был убежден, что не буду связываться с судами, процессами, требовать кары для виновных. Я имел представление о прежних судах и судьях в стране, куда собирался вернуться. Они были послушными пособниками правительства, и я не мог себе представить, что у них вдруг проснется совесть, ничего общего не имеющая с оппортунистической возможностью переметнуться на сторону тех, кто стоит у власти. Я мог рассчитывать только на самого себя.

Когда Германия капитулировала, я отправился к Фрислендеру. Он встретил меня с сияющим лицом.

— Ну вот, со свинством покончено! Теперь можно приниматься за восстановление!

— Восстановление?

— Разумеется. Мы, американцы, будем вкладывать в эту страну миллиарды.

— Странно, можно подумать, будто разрушения совершаются только для того, чтобы потом восстанавливать разрушенное. Или я рассуждаю неправильно?

— Правильно, только нереалистично. Мы разрушили систему, а теперь восстанавливаем страну. Здесь заложены колоссальные возможности. Взять хотя бы бизнес в строительстве.

Приятно было поспорить с человеком дела.

— По-вашему, система разрушена? — спросил я.

— Само собой разумеется! После такого-то разгрома.

— Военное положение в восемнадцатом году тоже было катастрофическим. И тем не менее Гинденбург — один из тех, кто нес ответственность за это, — стал президентом Германии.

— Гитлер мертв! — воскликнул Фрислендер с юношеским запалом. — Союзники повесят других или бросят их за решетку. Теперь нужно идти в ногу с эпохой. — Он хитро подмигнул мне. — Поэтому вы ведь и пришли ко мне, а?

— Да.

— Я не забыл того, что предлагал вам.

— Потребуется некоторое время, прежде чем я смогу отдать вам этот долг, — произнес я и почувствовал, как во мне загорается слабая надежда. Если Фрислендер сейчас откажет, мне придется подождать, пока я наберу достаточно денег, чтобы оплатить проезд. Это была отсрочка на короткое время, отсрочка в стране, где теперь, когда я собирался ее покинуть, мне опять почудилось слабое мерцание чужого рая.

— Я привык выполнять то, что обещал, — сказал Фрислендер. — Как вы хотите получить деньги? Наличными или чек?

— Наличными, — сказал я.

— Я так и думал. Такой суммы у меня при себе нет. Придете завтра и получите. А что касается выплаты, то время терпит. Вы хотите их инвестировать, да?

— Да, — сказал я после некоторого колебания.

— Хорошо. Выплатите мне, ну, скажем, шесть процентов. А сами заработаете сто. Это справедливо, не так ли?

— Очень справедливо с вашей стороны.

«Справедливо» было одним из его любимых словечек, хотя он и в самом деле был справедлив. Обычно люди прячутся за любимыми словечками, как в укрытии. Я встал, чувствуя облегчение и в то же время полную безнадежность.

— Большое спасибо, господин Фрислендер.

Какое-то мгновение я смотрел на него со жгучей завистью. Он стоял, цветущий, преуспевающий бизнесмен, в окружении семьи, этаким столп ясного, неколебимого мира. Потом мне вспомнились слова Лиази о том, что он импотент. Я решил поверить в это хотя бы сейчас, чтобы преодолеть зависть.

— Вы наверняка останетесь в Америке? — спросил я. Он кивнул.

— Для моих дел достаточно телефона. И телеграфа. А вы?

— Я уеду, как только начнут курсировать пароходы.

— Все это теперь скоро устроится. Война с Японией долго не продлится. Мы и там наводим порядок. Сообщение с Европой от этого не пострадает. Ваши документы теперь в порядке?

— Мой вид на жительство продлен еще на несколько месяцев.

— С этим вы вполне можете разъезжать, где захотите. Думаю, что и в Европе тоже.

Я знал, что все не так-то просто. Но Фрислендер был человеком масштабным. Детали — это была не его стихия.

— Дайте о себе знать до отъезда, — сказал он, будто уже установился самый прочный мир.

— Обязательно! И большое вам спасибо,

XXXIV

Все было не так просто, как думал Фрислендер. Прошло еще более двух месяцев, прежде чем дело сдвинулось с мертвой точки. Несмотря на все трудности, это было самое приятное для меня время за долгие годы. Все мучившее меня оставалось и даже, быть может, усугублялось; но переносить все стало много легче, ибо теперь у меня появилась цель, перед которой я не стоял в растерянности. Я принял решение, и мне с каждым днем становилось яснее, что иного пути для меня нет. Вместе с тем я не пытался загадывать наперед. Я должен вернуться, все прочее разрешится на месте. Я по-прежнему видел сны. Они снились мне даже чаще, чем прежде, и были теперь еще страшнее. Я видел себя в Брюсселе ползущим по шахте, которая все сужалась и сужалась, а я все полз, полз, пока с криком не проснулся. Передо мной возникло лицо че-

ловека, который прятал меня и был за это арестован. На протяжении нескольких лет это лицо являлось мне в моих неясных снах, будто подернутое какой-то дымкой; казалось, жуткий страх, что я не перенесу этого, мешал мне ясно вспомнить его черты. Теперь я вдруг четко увидел его лицо, усталые глаза, морщинистый лоб и мягкие руки. Я проснулся в глубоком волнении, но уже не в той крайней растерянности, не в том состоянии, близком к самоубийству, как прежде. Я проснулся, исполненный горечи и жажды мщения, но подавленности и всегдашнего чувства, будто меня переехал грузовик, не было и в помине. Наоборот, я был предельно сосредоточен, и смутное сознание того, что я еще жив и могу сам распорядиться своей жизнью, преисполняло меня страстным нетерпением; это уже не было ощущение безнадежного конца, нет, это было ощущение безнадежного начала. Безнадежного потому, что ничего и никого нельзя было вернуть к жизни. пытки, убийства, сожжения — все это было, и ничего уже нельзя ни исправить, ни изменить. Но что-то изменить все же было можно, речь здесь шла не о мести, хотя это чувство и походило на месть и взрасталось на той же примитивной почве, что и месть. Это было чувство, свойственное только человеку. Убежденность в том, что преступление не может остаться безнаказанным, ибо в противном случае все этические основы рухнут и воцарится хаос.

Странно, но в эти последние месяцы я, несмотря ни на что, ощущал в себе какую-то удивительную легкость. Все темное, призрачное, нереальное, что было в моей жизни здесь, в Америке, вдруг отошло на задний план, и моему мысленному взору представилась тихая, волшеббно-прекрасная картина. Как будто рассеялся туман, все краски мира засверкали вновь, заходящее солнце позолотило идиллию ранних сумерек, безмолвная фата-моргана витала над шумным городом. Это было сознание разлуки, которая все преображала и идеализировала. «Разлука существовала всегда», — думал я; жизнь, полная разлук, на какой-то миг показалась мне схожей с мечтой о вечной жизни, с той лишь разницей, что монотонность Агасферовых скитаний сменилась общением с мертвыми, преображенными в нашем сознании. Каждый вечер был для меня последним.

Я решил только в самый последний момент признаться Наташе, что уезжаю. Я чувствовал, что она обо всем

догадывается, но ничего не говорит. Я же предпочитал смириться с обвинениями в дезертирстве и предательстве, нежели терпеть муки бесконечно втянувшегося прощания, связанного с упреками, обидами, краткими примирениями и так далее. Я просто не мог себе этого позволить. Все мои силы были подчинены иной цели, я не мог расточать их в бесплодной скорби, спорах и объяснениях.

Это были светлые дни, наполненные любовью, как со-ты медом. Май вращал в лето, появлялись первые сообщения из Европы. Мне казалось, будто раскрывается склеп, долго остававшийся замурованным. Если раньше я избегал новостей или лишь поверхностно отмечал их в своем сознании, чтобы не быть ими поверженным, то сейчас я, напротив, с жадностью набрасывался на них. Дело в том, что теперь они имели прямое отношение к цели, которая засела во мне как заноза: уехать, уехать. Ко всему прочему я оставался слеп и глух.

— Когда ты уезжаешь? — вдруг спросила меня Наташа.

Я немного помолчал.

— В начале июля, — произнес я. — Откуда ты знаешь?

— Во всяком случае, не от тебя. Почему ты ничего не сказал?

— Я узнал об этом только вчера.

— Врешь.

— Да, — ответил я, — вру. Я не хотел тебе этого говорить.

— Ты мог бы преспокойно мне это сказать. А почему бы и нет?

Я молчал.

— Никак не мог решиться, — пробормотал я.

Она рассмеялась.

— Почему? Мы были некоторое время вместе и, надо сказать, не строили никаких иллюзий на этот счет: просто один использовал другого, только и всего. Теперь нам суждено расстаться. Ну и что же?

— Я тебя не использовал.

— А я тебя — да. И ты меня тоже. Не лги! В этом нет необходимости.

— Я знаю.

— Хорошо, если бы ты все-таки перестал врать. Ну хотя бы напоследок.

— Я постараюсь.

Она бросила на меня быстрый взгляд.

— Итак, ты сознаешься, что лгал?

— Я не могу ни сознаваться в этом, ни отрицать это-го. Ты вольна думать все, что хочешь.

— Так просто, да?

— Нет, это вовсе не просто. Я уезжаю, правда. Я тебе даже не могу объяснить почему. Вот все, что я могу тебе сказать. Это как будто кто-то должен уйти на войну.

— Должен? — спросила она.

Я молчал, вконец измученный. Мне надо было выдерживать.

— Мне нечего добавить,— выдал я наконец из себя.— Ты права, если речь здесь может идти о правоте. Согласен, я лгун, обманщик, эгоист. Но, с другой стороны, это не так. Кто может во всем разобраться в такой ситуации, где правду трудно отличить от неправды?

— Какая сторона важнее? Что перевешивает?

— То, что я люблю тебя,— произнес я с усилием.— Хотя сейчас, может быть, и не время об этом говорить.

— Да,— ответила она неожиданно мягко.— Сейчас не время, Роберт.

— Почему? — возразил я.— Этому всегда время.

Я видел ее страдания, и они причиняли мне боль, словно я порезал руку острым ножом. Мне так хотелось все изменить, но в то же время я отчетливо понимал, что все это всего-навсего жалкий эгоизм.

— Неважно! — воскликнула она.— Как видно, мы знали друг для друга меньше, чем нам казалось. Мы оба были лгунами.

— Да,— сказал я смиренно.

— За это время у меня были и другие мужчины. Не только ты.

— Я знаю, Наташа.

— Ты знаешь?

— Нет! — ответил я резко.— Я ничего не знал. Я этому никогда бы не поверил.

— Можешь поверить. Это правда.

Я видел в этом всего лишь выход для ее невероятной гордости. Даже сейчас я не верил ей.

— Я верю тебе,— сказал я.

— Вот уж не ожидала.

Наташа вздернула подбородок. Она мне очень нравилась в такой позе. Я был в отчаянии, как и она, только

ее отчаяние было сильнее. Тому, кто остается, всегда хуже, даже если он — нападающая сторона.

— Я люблю тебя, Наташа. Я хотел, чтобы ты это поняла. Не для меня. Для тебя.

— Не для тебя?

Я понял, что снова допустил ошибку.

— Я беспомощен! — воскликнул я. — Неужели ты не видишь?

— Просто мы расходимся как равнодушные люди, которые случайно прошли вместе отрезок пути, никогда не понимая друг друга. Да и как нам было друг друга понять?

Я полагал, что снова подвергнусь нападкам за свой немецкий характер, но чувствовал, что она выжидает. Предвидеть она не могла только одного — что я не стану возражать. Поэтому она отступила.

— Хорошо, что так получилось, — произнесла она. — Я все равно собиралась тебя оставить. Не знала только, как это тебе объяснить.

Я знал, что должен ответить. Но не мог.

— Ты собиралась уйти? — наконец решился я.

— Да. Уже давно. Мы слишком долго были вместе. Такие связи, как наша, должны быть короче.

— Да, — согласился я. — Спасибо тебе за то, что ты не поспешила. Иначе я бы погиб.

Она обернулась ко мне.

— Зачем ты снова лжешь?

— Я не лгу.

— Все слова! Всегда у тебя слишком много слов. И всегда ведь к месту!

— Только не теперь.

— Не теперь?

— Нет, Наташа. Никаких слов у меня больше нет. Мне грустно и неоткуда ждать помощи.

— Опять слова!

Она встала и схватила свою одежду.

— Отвернись, — сказала она, — не хочу больше, чтобы ты так смотрел на меня.

Она надела чулки и туфли. Я смотрел в окно. Окна были распахнуты, было очень тепло. Кто-то разучивал на скрипке «La Paloma»¹, без усталости повторяя первые восемь тактов, каждый раз делая одну и ту же ошибку.

¹ «Голубка» — популярная испанская песня.

Я чувствовал себя мерзко, я ничего больше не понимал. Мне было ясно только одно: если б я даже остался, теперь всему пришел бы конец. Я слышал, как Наташа сзала меня натягивала юбку.

Я обернулся на скрип двери и встал.

— Не провожай меня,— сказала она.— Оставайся здесь. Я хочу выйти одна. И не появляйся больше. Никогда. Не появляйся больше никогда!

Я пристально смотрел на ее бледное чужое лицо, глаза, глядевшие куда-то поверх меня, на ее рот и руки. Она даже не кивнула мне, за ней не захлопнулась дверь, а ее уже давно здесь не было.

Я не побежал за ней. Я не знал, что мне делать. Я стоял и смотрел в пустоту.

Я подумал, что можно еще догнать Наташу, если взять такси. Я уже подошел к двери, но затем решил, что все это ни к чему, и вернулся. Я понимал, что это бессмысленно. Еще некоторое время я постоял у себя в комнате: сидеть мне не хотелось. Наконец я спустился вниз. Там был Меликов.

— Ты не проводил Наташу домой? — спросил он удивленно.

— Нет. Ей захотелось уйти одной.

Он посмотрел на меня.

— Это уладится. Завтра же все забудет.

— Ты думаешь? — спросил я, охваченный безумной надеждой.

— Конечно. Пойдешь спать? Или выпьем по рюмке водки?

Надежда еще теплилась. У меня ведь оставалось целых две недели до отъезда. Все вокруг растворилось в потоке радости. У меня было такое чувство, что если я теперь выпью с Меликовым, Наташа завтра позвонит или придет. Не может быть, чтоб мы вот так расстались навсегда.

— Хорошо! — воскликнул я.— Выпьем по одной. Как у тебя дела с судом?

— Через неделю начнется. Так что жить мне осталось еще неделю.

— Почему?

— Если меня посадят надолго, я этого не выдержу. Мне семьдесят, я у меня уже было два инфаркта.

— Я знал человека, который выздоровел в тюрьме,— позволил я себе осторожно заметить.— Никакого алкоголя, легкий труд на воздухе, размеренный образ жизни. Сон только по ночам, а не днем.

Меликов покачал головой.

— Все это для меня яд. Но мы еще посмотрим. Не стоит сейчас об этом думать.

— Правда,—сказал я.— Не стоит. Если б только нам это удалось.

Пили мы немного. У нас обоих было такое чувство, словно нам многое надо было сказать друг другу, и мы уселись поудобнее, будто впереди у нас была долгая ночь. Но потом вдруг оказалось, что обсуждать нечего, и мы совсем умолкли. Каждый погрузился в свои мысли, говорить, собственно, было не о чем. «Не следовало спрашивать Меликова о процессе,— подумал я,— но не в этом дело». Наконец я поднялся.

— У меня на душе кошки скребут, Владимир. Пойду поброжу по улицам, пока не устану.

Он зевнул.

— А я пойду спать, хотя потом у меня наверняка еще будет на это достаточно времени.

— Думаешь, тебя осудят?

— Осудить можно любого человека.

— Без доказательств и улик?

— Можно найти и доказательства, и улики. Доброй ночи, Роберт. Следует остерегаться воспоминаний, тебе ведь это известно, не так ли, старина?

— Да, известно. Я этому уже научился. Иначе меня давно не было бы в живых.

— Воспоминания — чертовски тяжелый багаж. Особенно когда сидишь за решеткой.

— И это мне известно, Владимир. Тебе тоже?

Он пожал плечами.

— Да, как будто. Когда стареешь, многое иной раз забывается. А то вдруг воспоминания появляются вновь. Мне на память приходят такие вещи, о которых я не думал больше сорока лет. Странно все это.

— Это приятные воспоминания?

— Отчасти. Потому-то и странно. Приятные воспоминания плохи, потому что это прошлое, неприятные хороши опять-таки потому, что это прошлое. Думаешь, этим можно жить в тюрьме?

— Да,— сказал я.— Там убиваешь время. Если рассуждать так, как мы теперь.

Я ходил по городу, пока не ощутил смертельную усталость. Я прошел мимо дома Наташи, постоял около нескольких телефонных будок, но позвонить не решился. «У меня впереди еще две недели»,— думал я. Всегда самое трудное — пережить первую ночь, потому что в подобной ситуации кажется, будто ночь находится совсем рядом со смертью. Чего я, собственно, хотел? Мещански трогательного прощания с поцелуями у трапа загаженного парохода и обещания писать? Разве не лучше было так? Как это говорил Меликов? Не следует тащить за собой груз воспоминаний. Это тяжелый груз, если не состаришься настолько, что воспоминания будут единственным твоим достоянием. А как я сам рассуждал всегда? Не надо культивировать воспоминания, надо держаться от них подальше, чтобы они не удушили тебя, как лианы в девственном лесу. Наташа поступала правильно. А я? Почему я мегался как сентиментальный школьник, облачившийся в жалкие лохмотья тоскливого ожидания и трусости, решительно ни на что не способный? Я ощущал мягкость ночи, чувствовал дыхание гигантского города, и вместо того чтобы легкомысленно идти по жизни, следовать ее течению, я блуждал и метался, как в зеркальном лабиринте, выискивая хоть какую-нибудь лазейку, но вновь и вновь наткнулся на себя самого. Я прошел мимо «Ван Клеефа», и хотя не желал заглядывать в витрину, однако заставил себя остановиться. Я смотрел на драгоценности покойной императрицы в рассеянном свете июньской ночи, думая о том, как они выглядели бы на Наташе: взятые напрокат драгоценности на взятой напрокат женщине в мире фальшивомонетчиков. Я тешил себя иронией в те дни иллюзорного благополучия, а теперь я смотрел на сверкающие камни и не мог понять, не совершил ли я серьезной ошибки, не променял ли крохи счастья на запыленные и смешные предрассудки, которые ни к чему не могли привести, кроме донкихотской борьбы с несуществующими ветряными мельницами. Я пристально разглядывал драгоценности, не зная, что делать. Я был уверен только в одном: надо как-то пережить эту ночь. Я цеплялся за то, что мне еще целых две недели необходимо пробыть в Нью-Йорке, цеплялся за завтра и послезавтра, как за спасательный круг. Мне важно было пережить только эту ночь. Но как, если

именно в эту ночь я не мог быть рядом с Наташей? А если она ждет, чтобы я позвонил ей? Я стоял и шептал: «Нет, нет!» Я действительно шептал снова и снова, я произносил это так, что мог ясно слышать самого себя; это было нечто, уже изведенное мною однажды, раньше это иногда помогало, я говорил с самим собой как с ребенком — твердо и настойчиво: «Нет! Нет! Нет!» или «Завтра, завтра, завтра!» — и теперь я повторял это снова, монотонно, будто заклиная или гипнотизируя себя. «Нет, нет! Завтра, завтра!» — пока не почувствовал, что волнение мое притупилось и я могу идти дальше; я пошел сначала медленно, а затем все быстрее, задыхаясь, пока не добрался до гостиницы.

Наташу я больше не видел. Возможно, мы оба рассчитывали, что другой даст о себе знать. Я неоднократно прорывался ей позвонить, но каждый раз говорил себе, что это ни к чему не приведет. Я не мог перешагнуть через тень, сопровождавшую меня повсюду, и снова и снова повторял себе, что лучше никого больше не тревожить, не беречь свои раны, ибо ничего из этого не выйдет. Иногда мне в голову приходила мысль о том, что, вероятно, Наташа любила меня сильнее, чем она в том признавалась. От этой мысли у меня захватывало дыхание, становилось беспокойно на душе, но мои чувства тонули во всеобщем волнении, с каждым днем все нараставшем. Шагая по улицам, я искал Наташу, но ни разу не встретил ее. Я успокаивал себя глупейшими идеями, из которых идея возвращения в Америку представлялась мне самой невероятной. Меликову вынесли приговор: год тюрьмы. Последние дни я провел в одиночестве. Силверс презентовал мне премию в пятьсот долларов.

— Может, увидимся в Париже, — сказал он. — Я собираюсь туда осенью, кое-что купить. Напишите мне.

Я ухватился за это предложение и обещал написать. Для меня было утешением, что он придет в Европу, да еще по столь уважительной причине. Теперь Европа представлялась мне не такой ужасной, как прежде.

Вернувшись в Европу, я столкнулся с теперь уже чуждым мне миром. Музей в Брюсселе стоял на прежнем месте, но никто не мог мне сказать, что произошло там за эти годы. Имя спасшего меня человека еще не было забыто, но никто не знал, что с ним случилось. Мои поиски дли-

лись несколько лет. Я искал и в Германии. Я искал убийц своего отца. Порой я с болью думал о Кане: он оказался прав. Самое тяжелое разочарование было связано с возвращением: это было возвращение в чужой мир, к безразличию, к скрытой ненависти и трусости. Никто уже больше не вспоминал о своей принадлежности к партии варваров. Никто не чувствовал себя ответственным за то, что совершил. Я был не единственным человеком, носившим чужое имя. К тому времени появились сотни таких, которые своевременно обменяли паспорта, образовав тем самым эмиграцию убийц. Оккупационные власти были доброжелательны, но довольно беспомощны. Давая справки, им приходилось рассчитывать на немецких сотрудников, которых не мог не мучить страх перед последующей мстью и которые всегда думали о кодексе чести, чтобы не замазать собственное гнездо. Я не мог восстановить в памяти лицо человека, который орудовал в крематории; никто не был в состоянии даже припомнить их имен; никто не желал ни вспоминать о преступлениях, ни отвечать за них; многие забывали даже о существовании концентрационных лагерей. Я натолкнулся на молчание, на глухую стену страха и отрицания. Некоторые пытались объяснить это тем, что народ слишком устал. Многие, так же как и я, потеряли своих близких во время войны. Каждый за эти годы многое испытал, о других вроде бы можно было и не заботиться. Немцы не нация революционеров. Они были нацией исполнителей приказов. Приказ заменял им совесть. Это стало их излюбленной отговоркой. Кто действовал по приказу, тот, по их мнению, не нес никакой ответственности.

Мне трудно описать, чем я только не занимался в те годы. Но не об этом я стремился рассказать в настоящих записках. Странно, со временем в моих воспоминаниях все чаще стала появляться Наташа. Я не чувствовал ни сожаления, ни раскаяния, но только теперь я осознал, чем она была для меня. Тогда я не понимал всего происходившего, но теперь, когда я то ли очистился от многого, то ли сумел сплавить воедино разочарования, отрезвление и колебания, это становилось для меня все яснее и яснее. У меня появилось впечатление, будто из грубой золотоносной руды выплавляется чистый металл. Это не имело ничего общего с моим разочарованием, но зато я стал более наблюдательным, приобрел способность видеть со стороны. Чем дальше было то время, тем явственнее было убеждение, что, хотя я этого тогда и не сознавал, Наташа явилась

самым важным событием в моей жизни. К этому убеждению не примешивалось никакой сентиментальности, никакого сожаления, что я познал это слишком поздно. Мне даже казалось, что если бы я понял это в Нью-Йорке, Наташа, наверное, оставила бы меня. Моя независимость, проистекавшая из того, что я не принимал ее всерьез, по-видимому, и заставляла ее быть со мной. Иногда я размышлял и о возможности остаться в Америке. Если бы я заранее знал, что меня ожидает в Европе! И все же эти мысли набегали и уносились, как ветер, они не порождали ни слез, ни отчаяния, ибо я твердо знал, что одно невозможно без другого. Возврата быть не может, ничто не стоит на месте: ни ты сам, ни тот, кто рядом с тобой. Все, что от этого осталось в конце концов, это редкие вечера, полные грусти,— грусти, которую чувствует каждый человек, ибо все преходяще, а он — единственное существо на земле, которое это знает, как знает и то, что в этом — наше утешение. Хотя и не понимает почему.

АНТИФАШИСТСКИЕ РОМАНЫ РЕМАРКА

Не хотелось бы, чтобы настоящее послесловие (как это иногда случается со статьями к книгам популярных писателей) напоминало хвалебный спич на юбилейном чествовании, а потому начну с вопроса: чем объяснить тот исключительный, можно сказать, сенсационный успех, которым пользовались и пользуются в нашей стране романы Эриха Марии Ремарка,— успех несколько неожиданный, парадоксальный и, видимо, все же глубоко не случайный?

Парадоксальный? Да, элемент парадоксальности в этом успехе есть. Ремарк, писатель отнюдь не бесталанный и со своей общественно значительной темой, не принадлежал к тем классикам XX века, которые определяли направление художественной мысли нашего времени. Он явно проигрывает на фоне глубокой интеллектуальности, запечатленной в творчестве таких оригинальных художников-мыслителей, как А. Франс, Б. Шоу, Т. Манн, Г. Уэллс и др. Его интеллектуальный багаж — это иной раз самые общие места из Шопенгауэра, Ницше и Шпенглера.

Художественная оригинальность Ремарка также относительна. В своих романах (во всяком случае, с конца 30-х годов) он был не столько пролагателем путей, сколько талантливым последователем. Его «Три товарища» написаны под явным влиянием «Прощай, оружие!» Хемингуэя, писателя, которому он вообще был многим обязан в своих произведениях. Отметим и другое: некоторая ограниченность творческого воображения приводит Ремарка не только к подражательности, но и к самозамкнутости, к многократной эксплуатации однажды уже счастливо найденных мотивов и приемов, к выведению на сцену под новыми

именами персонажей, по существу, хорошо знакомых читателям прежних книг.

И, наконец, согласимся с тем, что свои романы Ремарк подчас расцвечивает красотами и псевдоглубокомысленными философемами довольно плоского свойства, отвечающими банальным представлениям о красоте и мудрости. Да, все это так. И все же можно утверждать: успех Ремарка был не случаен и вполне правомерен, причем главную его предпосылку чувствовал и сознавал сам писатель: «Моя тема — человек нашего столетия, проблема человечности».

Позитивная гуманистическая идея, представление о том, каким должен быть человек среди бедствий и испытаний, уготованных ему нашим трагическим XX веком, воплощены у Ремарка в героях, исполненных своеобразного нравственного обаяния и именно этим привлекающих сердца и умы читателей. Мораль «трех товарищей», Штейнера («Возлюби ближнего своего»), Равика («Триумфальная арка»), Коллера («Искра жизни»), Польшмана («Время жить и время умирать»), Шварца («Ночь в Лиссабоне»), Кана («Тени в раю») с естественностью рефлекса проявляется в их поступках. Будь добр и мужествен, свято выполняй долг человеческого братства и солидарности, не проходи безучастно мимо чужого горя, терпящему бедствие приди на помощь даже в ущерб себе, будь верен в любви и дружбе, непримирим к подлости и беспощаден к негодьям, совершив достойный поступок, не пыжься и не гордись, не произноси громких фраз и благородных сентенций, а смотри на сделанное тобой как на не заслуживающую особых восторгов самоочевидность, будь равнодушен к богатству, власти, карьере и другим рычагам личного возвышения, не унижайся и не унижай, блюди честь и достоинство человека — таков нравственный кодекс героев Ремарка, написанный крайне скупой, сдержанно высказываемый в словах, но запечатленный в их поведении.

Гуманистическое кредо Ремарка содержит немало положительных общечеловеческих ценностей и этим привлекает советского читателя, в особенности молодежь. Подкупает не только этическая программа Ремарка, но и способ ее выражения. В конце концов мысль о том, что не следует быть мерзавцем, что верность — добродетель, а предательство — порок, сама по себе не столь нова и оригинальна, и вряд ли какой-нибудь читатель впервые узнал о ней от Ремарка. Но если эта правильная и благородная мысль провозглашается с менторской торжественностью и

назидательностью, если она выкрикивается с десятикратным усилением через площадной репродуктор, то люди начинают относиться к ней с глубоким равнодушием или недоверием; происходит инфляция громких слов, которая ведет к инфляции выражаемых ими понятий.

Кроме того, громкоглаголанье нередко маскирует ложь. Эту истину Ремарк познал, ознакомившись с фразеологией буржуазных политиков и псевдогероикой фашистских ораторов и писак. Ремарковские герои питают отвращение ко всякой позе, патетике, громогласию. Поэтому, углубляясь в романы Ремарка, читатель не утрачивает остроты и свежести восприятия нравственных истин: писатель знает, что тихо и внятно произнесенное слово скорее достигнет сердца, нежели крик, что поэзия добрых чувств требует мужественно-сдержанной формы выражения, и он сохраняет в своих романах ту живую и естественную интонацию, которая отличает людей, исполненных спокойного человеческого достоинства, от ярмарочных зазывал. Таковы те конкретные идеологические и литературные исходные посылки, в отталкивании от которых складывался стиль Ремарка; но сделанные им при этом находки обладают некоей художественной общезначимостью: тон и интонация его романов способствуют установлению душевного контакта с читателем, возникновению атмосферы доверия.

Для Ремарка негромкоголосая тональность его повествования — вопрос не только формы. Герой романа «Черный обелиск» говорит: «...все мы боимся больших слов. С их помощью так много обманывали!» Недоверие к громким фразам, прикрывающим ложь, к демагогическому красноречивому политиков — такова сквозная тема всего творчества писателя начиная с его первых романов, в которых он исповедовался от имени обманутого поколения. «Нас обманули, — восклицает Людвиг в романе «Возвращение». — .. Нас просто предали. Говорилось: отечество, а в виду имелись захватнические планы алчной индустрии; говорилось: честь, а в виду имелась жажда власти и грызня среди горсточки тщеславных дипломатов и князей; говорилось: нация, а в виду имелся зуд деятельности у господ генералов, оставшихся не у дел... Слово «патриотизм» они начали своим фразерством, жадной славой, властолюбием, лживой романтикой, своей глупостью и торгашеской жадностью, а нам преподнесли его как лучезарный идеал...»

Ремарк принадлежит к числу писателей, у которых есть свой изначальный общественно-психологический ком-

плекс. Этот комплекс навсегда определяет главное направление творчества, лишь видоизменяясь и обогащаясь на основе последующего исторического и личного опыта. Для Ремарка таким комплексом было испытанное им еще в окопах первой мировой войны разочарование в официальных святынях буржуазного мира и недоверие к его идеалам, зычно провозглашаемым с кафедр, трибун и амвонов. Это разочарование и недоверие — больше эмоционального свойства, нежели плод социально-аналитической мысли — стало источником жизненной позиции, образа мыслей и стиля поведения всех близких писателю героев его романов. Травмированные высокопарной ложью официальной политики, герои Ремарка свою обязанность быть обманутыми перенесли вообще на высокие идеалы и цели человечества. Они не верят громким фразам и отвлеченным идеям, а лишь «таким никогда не обманывающим силам, как небо, табак, деревья, хлеб и земля», да еще, пожалуй, верному товарищу и любящей женщине.

Такой тотальный скептицизм, конечно, чужд советским людям, хотя они и способны с полным сочувствием понимать его истоки и причины. Все то, к чему испытывают отвращение Равик и Локамп, Штейнер и Польшман, отвратительно и сознанию советских людей, и это обстоятельство тоже не должно быть забыто, когда стремишься дать себе отчет во всех больших и малых причинах, больших и малых слагаемых успеха Ремарка в нашей стране.

* * *

Эрих Мария Ремарк (1898—1970) прошел пятидесятилетний творческий путь. За это время его художественная манера во многом изменилась. Если в романах «На Западном фронте без перемен» и «Возвращение» еще слышались запоздалые отзвуки экспрессионизма, то «Три товарища» (1938) возвестили о переходе писателя в литературную школу Хемингуэя с характерными для него сюжетными мотивами, с особой техникой лаконичного диалога с недосказанностями и обширным психологическим подтекстом и т. д. А в романе «Черный обелиск» (1956) намечались уже новые для Ремарка черты гротескно-символического стиля, видимо, отдаленно связанные с влиянием Кафки.

Творчество Ремарка претерпело и значительную идейно-тематическую эволюцию. Читая его романы в их хронологической последовательности, легко проследить, как кошмары первой мировой войны постепенно, начиная с рома-

на «Возлюби ближнего своего» (1941), отступили назад перед антифашистской темой, как в поле зрения писателя появилась предвоенная мюнхенская Европа, как в его творчестве — прежде всего в романе «Время жить и время умирать» (1954) — возник образ нового «потерянного поколения», уже второй мировой войны, и, наконец, как в «Черном обелиске» Ремарк с чувством тревоги и гнева откликнулся на проблемы современной действительности и заклеил неофашистские тенденции в политическом развитии ФРГ.

В 1929 году до того почти безвестный литератор выпустил роман «На Западном фронте без перемен». Этому произведению суждено было стать одной из величайших в истории литературы сенсаций. В короткий срок роман Ремарка разошелся тиражом свыше 8 миллионов экземпляров. На волне этого успеха и следующая книга писателя, «Возвращение» (1931), переведенная на десятки языков, обошла земной шар.

Герои первых романов Ремарка — недоучившиеся гимназисты, желторотые юнцы. Война опустошила их души, надломил неокрепшее сознание, уцелевших физически искалечила духовно. Защищаясь от враждебных сил жизни, они ищут опору лишь в простейших формах человеческой солидарности, обусловленных их фронтовым опытом, в элементарном коллективизме и инстинкте взаимной выручки, которые сплачивали их в окопах перед лицом штыковой, ружейно-пулеметной, артиллерийской, химической и прочей смерти.

Но иллюзии, которые находили для себя питательную почву в условиях окопного быта, быстро рассеялись в обстановке «мирного» буржуазного общества. В романе «Возвращение» писатель показал, как социальные различия и имущественное неравенство разрушают призрачную гармонию фронтового братства. В «Трех товарищах» политика, столь презируемая и игнорируемая ремарковскими героями, мстит им за себя, жестоко вторгшись в их тесный дружеский круг. Выстрел фашистского убийцы жестоко напоминает о том, сколь наивна и утопична мечта о дружбе, взаимопомощи, порядочности и вообще достойной человека жизни в некоей приватной сфере, недоступной грозам истории и политическим потрясениям нашего века.

И все же, несмотря на столь наглядные уроки, герои «Трех товарищей» (как и герои предыдущих романов Ремарка) до конца остаются людьми аполитичными. Своего друга Ленца они называют «последним романтиком», рас-

ценивая его — кстати, довольно туманные и дилетантские — политические увелечения как донкихотскую блажь. А когда он погибает от руки штурмовика и его друзья выслеживают и уничтожают убийцу, то в этот акт они не вкладывают никакого сознательного политического содержания. Убитый товарищ должен быть отомщен, а подоплека его убийства, то обстоятельство, что убийца — фашист, а не обыкновенный уголовник, что Ленц был убит по политическим мотивам, а не при ограблении или в пьяной драке, для них не играет никакой роли.

Но роман «Три товарища» был последним романом Ремарка, могущим заслужить упрек в «иллюзии нейтрализма». Начиная с романа «Возлюби ближнего своего» писатель уже не «над схваткой», а в самом центре ее, и героем его становится человек не только антифашистских убеждений, но и антифашистского действия. Это политическое самоопределение и активизация ремарковского героя, наметившиеся с начала 40-х годов, были вызваны могучими общественно-историческими факторами того времени: антифашистской войной свободолюбивых народов, завершившейся разгромом третьего рейха и разоблачением перед лицом всего мира преступлений гитлеризма.

В романе «Возлюби ближнего своего» конфликты носят не столько частный, сколько политический характер. Герои — изгнанники из гитлеровской империи — являются носителями антифашистской темы. Изображение их трагической участи в Австрии, Чехословакии, Швейцарии и Франции тесно связано с резкой критикой той политики невмешательства и благожелательного нейтралитета по отношению к нацистской Германии, которую проводили Лига Наций и буржуазные правительства европейских стран. Особое значение в романе имеет образ мужественного, самоотверженного и великодушного человека — Штейнера. До эмиграции он был антифашистом-подпольщиком в одной из организаций Сопротивления. Вернувшись нелегально в Германию и попав в руки гитлеровцев, Штейнер в последнем героическом порыве выбрасывается из окна, увлекая за собой гестаповского палача.

Штейнер — ближайший предшественник Равика из романа «Триумфальная арка» (1946), ремарковского героя, вызвавшего в нашей критике особенно много споров. Объяснялось это, возможно, тем, что здесь писатель впервые создал образ не неизменный в своих основных качествах, а проходящий сложную духовную эволюцию, трудный путь нравственного роста.

Мы знакомимся с Равиком в нелегкие для него дни. Да и не только для него Во Франции общественный подъем, связанный с движением Народного фронта, сменился стадом и ослаблением демократических сил. В Испании республика, которую в качестве военного хирурга защищал и Равик, доживает последние часы. Поощряемый мюнхенской политикой, германский фашизм все дальше простирает свои щупальца, и тень войны уже нависла над городами Европы. Все это в соединении с тяжкими и унижительными условиями эмигрантской жизни повергает героя в состояние духовного кризиса и волевой депрессии. Таким он предстает перед читателем на первых страницах романа.

Две силы пробуждают Равика из его летаргии, возрождают в нем жизненную энергию и волю к сопротивлению: любовь и ненависть.

Любовь к Жоан, неверной и деспотичной Жоан, растопляет лед, сковавший сердце Равика, возвращает ему ощущение жизни и сознание долга. Вспомним эпизод в Лувре, когда взору Равика неожиданно открывается статуя Ники Самофракийской: «Ее стихией были мужество, борьба и даже поражение: ведь она никогда не отчаивалась. Она была не только богиней победы, но и богиней всех романтиков и скитальцев, богиней эмигрантов, если только они не складывали оружия». Путем сложных, не сразу понятных ассоциаций, секрет которых покоится в глубинах субъективного сознания героя, мысли Равика о Жоан связываются с образом греческой богини победы: «Я снова живой — пусть и страдающий, но вновь открытый всем бурям жизни, вновь подпавший под ее простую власть! Будь же благословенна, мадонна с изменчивым сердцем, Ника с румынским акцентом!»

И не случайно вслед за этими ночными эпизодами в Лувре и на улице Паскаля под окном Жоан, вслед за glavой, звучащей как симфония возрожденной личности, действие романа резко, без околичностей переносится в кафе, где Равик встречает Хааке и начинает свою охоту за ним. Связь этих мотивов очевидна: богиня эмигрантов, не складывающих оружия, вновь вдохнула решимость и волю к действию в душу Равика, любовь вернула его в строй живых и напомнила ему о долге ненависти.

Впрочем, ненависть никогда не покидала Равика. Ненависть к фашизму отделяет его резкой чертой от тех, о ком можно было бы сказать, что они питают «иллюзию нейтрализма». Он убежденный противник позиции «над

схваткой», он сознает ее вредность, ее губительные последствия. Для него ясна простая истина: «Они (гитлеровцы.— *И. Ф.*) и распоясались потому, что люди устали и ничего не хотят знать, потому, что каждый твердит: «Меня это не касается». Но Равика это касается! Он убивает Хааке и этим актом по-своему, в качестве борца-одиночки приобщается к антифашистской борьбе.

Это деяние, казалось бы, индивидуальное и столь ограниченное по своим масштабам, Равик связывает с мыслью об ответственности каждого человека за судьбы мира и человечества. Именно поэтому так важно вырваться из трясины мещанской морали «века невмешательства» и ступить на путь борьбы с фашизмом.

Для товарищей Ленца месть его убийце была аксиомой, вещью настолько естественной и элементарной, что она и не способна была стимулировать их мысль, побудить к отвлеченным «метафизическим» раздумьям. Равик же, напротив, постоянно размышляет о возмездии, которое должно постигнуть Хааке, стремится осмыслить свое действие в большой, всечеловеческой перспективе как пример для всех тех, кто пока еще занимает позицию «над схваткой». Теперь это стало «самым главным, гораздо более значительным, чем просто личная месть... В крови у него пульсировало мрачное сознание необходимости такого поступка — словно от него кругами разойдутся волны и вызовут впоследствии гораздо более существенные события...».

Антифашистское самосознание ремарковского героя углубляется от романа к роману. В «Искре жизни» (1952) борьба с фашизмом, борьба самозабвенная, отчаянная, до последнего вдоха, составляет все содержание жизни героя. Правда, Фридрих Коллер, заключенный гитлеровского лагеря уничтожения, самими условиями бытия поставлен перед жестоким выбором: либо смерть в борьбе, либо унижение, покорность и все равно смерть. Но ведь и в этих условиях чувство человеческого достоинства и мужество не всегда одерживают верх над инстинктом самосохранения и желанием выжить любой ценой. Для Коллера же борьба оказывается единственным воздухом, которым он способен дышать. Он борется и — что главное — он преображается в процессе борьбы. Он освобождается от присущих ему в прошлом иллюзий абсолютной терпимости, его философия «толерантности» оказывается несостоятельной в столкновении с фашистскими палачами, и он понимает, что единственным средством утверждения человечности является непримиримая борьба с варварством.

Если Штейнер, Равик, Коллер в силу общности многих характерных черт в известной мере сливаются в сознании читателя в некий единый образ, то в романе «Время жить и время умирать» (1954) перед нами уже предстает другой герой. Дело не просто в том, что он принадлежит к иному поколению — не первой, а второй мировой войны — и что он лет на двадцать пять моложе Равика или Коллера. Разница в возрасте определяет и различие жизненных путей, трудностей и проблем, возникающих перед героями. Штейнер, Равик, Коллер были жертвами нацистского террора и убежденными антифашистами, но о молодом солдате гитлеровского вермахта Гребере этого поначалу никак сказать нельзя, и идейно-нравственный путь, пройденный им от участия в расстреле советских граждан до убийства эсэсовца Штейнбрэннера и освобождения партизан, во многом — в особенности в исходных позициях — отличен от пути его старших товарищей.

Впрочем, и в романе «Время жить и время умирать» Ремарк не настолько уж далеко отступает от проблем, волновавших его прежде. Он и здесь с прежней страстностью продолжает обличать философию нейтрализма («во торжествует в мире только потому, что ему вечно сопутствуют равнодушные, себялюбие и страх окружающих»), и здесь устами Фрезенбурга утверждает идею активной борьбы и готовность, «если нужно будет, снова взяться за винтовку». К этим идеям тянется и Гребер, отчасти на ощупь, отчасти опираясь на опыт и мудрость своего учителя Польмана. Пробуждающееся чувство ответственности за судьбу других людей, за судьбу народа и родины, желание «знать, в какой мере на мне лежит вина за преступления последних десяти лет... и что я должен делать», приводят героя к полуинтуитивным, полусознательным актам антифашистского действия.

Преследующее Гребера сознание своей сопричастности всему, что происходит вокруг, его пытливые вопросы и мучительные раздумья как бы предваряют следующий роман Ремарка — «Черный обелиск» и вводят нас в его идейную атмосферу. Это наиболее интеллектуальный из всех романов писателя. Неумолкающая совесть и вопрошающий разум его героя Людвиг Бодмера, его споры с врачом и священником о смысле жизни, о неблагоприятии и неустроенности мира, о человеческих страданиях, честное стремление постичь причины социальной несправедливости, разгадать загадки сумасшедшего дома, каким ему представляется германская повседневность 20-х годов,—

все это в известной степени придает «Черному обелиску» черты традиционного для немецкой литературы «романа воспитания», в котором герой, проходя суровую школу познания жизни, познает и себя, духовно формируется, определяется, крепнет...

Правда, общая атмосфера «Черного обелиска» довольно безрадостна. Переплетающиеся в нем сюжетные мотивы: погребальная коммерция, дискуссии в психиатрической больнице, патологически-идиотский быт провинциального мещанства, хаос инфляции, просветительная экскурсия поэтов в публичный дом и т. д.— все это придает роману мрачный колорит, пожалуй, более мрачный, чем в предыдущих романах. Но не следует забывать, что между силой и остротой социально-критического начала в творчестве некоторых писателей-реалистов современного Запада и «степенью мажорности» их произведений нередко существует обратная зависимость. В «Черном обелиске» социально-критическая мысль Ремарка углубилась, расширился его исторический кругозор. Автор видит не только зарождение реваншизма и фашизма после первой мировой войны, но также фатальную реставрацию опасных тенденций и после второй мировой войны. При этом обе стороны романа связаны между собой. Не будь в нем столь глубокого критического аспекта, умноженного на двукратность исторического опыта и направленного в два адреса — исторический (20-е годы) и современный (50-е годы), — колорит романа был бы, несомненно, более светлым, разочарование не носило бы такого универсального, обобщенного характера.

«Черный обелиск» заключал в себе большие обещания, оставалось ждать их выполнения. Но следующий роман Ремарка «Небо не знает фаворитов» (1961, в русском переводе — «Жизнь взаймы») вызвал разочарование. Никогда прежде писатель не был так откровенно беллетристичен и не шел столь явно навстречу невзыскательному вкусу мещанского читателя. То, что составляло лишь один эпизод в «Триумфальной арке» (Равик и Жоан в Антибах), в романе «Небо не знает фаворитов» заполняет все: лазурные воды и сияющее небо Средиземного моря, Париж и Рим, Женевское озеро и Сицилия, фешенебельные отели и рестораны, автогонки и ночные балы, виконты, графы, гондольеры, жиголо... Где же наш старый знакомый, ремарковский герой — добрый, несчастный и мужественный человек, умеющий любить, ненавидеть и бороться? В романе его нет.

Он снова появляется в следующей книге Ремарка, «Ночь в Лиссабоне» (1963), напряженно-драматическом рассказе о судьбе антифашистского эмигранта и его с переменичивым счастьем разыгрываемом смертельном поединке с черными силами фашистского террора. А за ним последовали «Тени в раю»...

* * *

Творчество Ремарка всегда было в значительной мере автобиографично. Оно питалось не столько историческим опытом человечества, знаниями и наблюдениями общества над самим собой, сколько наиболее резко отложившимися в психике и памяти писателя впечатлениями им лично пережитого. Так, воспоминания об окопах мировой войны не только сказались в тематике его первых романов, но и определили особое, «ремарковское» понимание человеческой солидарности не как социальной, а как индивидуальной, зримой и осязаемой связи и взаимного долга людей, как солидарности на расстоянии вытянутой руки — понимание, которое раз и навсегда запечатлелось в нравственной атмосфере всех романов писателя.

Другим историческим потрясением, глубоко повлиявшим на творчество Ремарка, был фашизм, особенно в тех его разрушительных проявлениях, которые сказались на личной судьбе писателя. Гитлеровский переворот застал его за границей, и взаимная ненависть, которую еще раньше питали друг к другу нацисты и автор «На Западном фронте без перемен», определила место Ремарка — в эмиграции. На долгие годы он стал изгнанником, изведал, хотя далеко не в такой степени, как большинство его товарищей по несчастью, тяготы и опасности эмигрантской жизни и рассказал о них в романах «Возлюби ближнего своего», «Триумфальная арка», «Ночь в Лиссабоне», «Тени в раю».

Эти романы запечатлели последовательные этапы печальной истории немецкой эмиграции в странах Западной Европы, истории облав, арестов, высылки, депортаций... Бесправные, голодные, безработные изгнанники ведут призрачное существование. Австрия, Чехословакия, Швейцария стремятся от них избавиться, вышвырнуть их за свои пограничные столбы. К началу войны многие из них оказываются во Франции, в Париже, где их интернируют и заключают в лагеря как «враждебных иностранцев». После капитуляции Франции им грозит самое страшное — вы-

дача на расправу немецко-фашистским властям. Начинается «бег с препятствиями» через Южную Францию, Испанию и Португалию, чтобы с последними пароходами уехать за океан. Этот момент запечатлен в романе «Ночь в Лиссабоне». Лишь немногим посчастливилось благополучно пройти «скорбный путь» до конца. Об этих немногих, причаливших к американскому берегу, Ремарк рассказал в романе «Тени в раю».

«Ночь в Лиссабоне» — роман о любви. О любви преданной и самоотверженной, которая на каждом шагу оплачивается смертельным риском и которая в сознании любящего является единственным оправданием и смыслом его жизни. В сущности, это любовь «частных лиц», которая при иных обстоятельствах мало бы соприкасалась со сферой политики и социальных отношений. Но в данной исторической ситуации любовь — самое интимное и приватное из чувств человеческих — вовлекает Шварца в непримиримую борьбу с фашистским варварством.

Заметим, что эмиграция, которая находилась в поле зрения писателя и отразилась в зеркале его романов, — это отнюдь не вся эмиграция. Ремарк был антифашистом по убеждению, но стоял далеко от организованных коллективных действий, не поддерживал тесных контактов с активными кругами эмиграции и, видимо, не знал политически организованных и убежденных антинацистских борцов. Правда, почти в каждом романе Ремарка есть «активные эмигранты», персонажи, ведущие свою индивидуальную войну с фашизмом в лице его наиболее кровавых и лично им ненавистных сатрапов. Но хотя они эту свою войну осознают как форму собственного участия в освободительной борьбе человечества, читателя не покидает сознание того, что эти романтизированные борцы-одиночки — несколько надуманные и, уж во всяком случае, сугубо периферийные фигуры в движении антифашистского Сопrotивления.

Основная же масса эмигрантов, действующих в романах Ремарка, особенно в последнем, — это гонимые и преследуемые, чаще всего по расистским мотивам или вследствие либерально-гуманистической «несовместимости» с теорией и практикой гитлеризма. Это одинокие и слабые, мечтающие лишь об одном — спастись от преследующих их по пятам тревог и опасностей, найти спокойное убежище, где можно было бы жить, ничего более, только жить и знать, что твоей жизни ничто не угрожает ни сегодня, ни завтра.

И вот в романе «Тени в раю» мы знакомимся с теми из

них, кто как будто достиг этой скромной цели. В Нью-Йорке они недосыгаемы для гестапо, их пребывание в стране (коль скоро они в нее допущены) в какой-то мере уважено, им незначит скрываться, их жизни, их физическому существованию ничто не угрожает. Но покой так и не наступил. Для многих из них, именно так обстоит дело с Робертом Россом, никогда не изгладятся в сознании травмы прошлого, память о нацистском терроре, их будут преследовать ночные кошмары, они уже не смогут вернуться к нормальной жизни. Другие, особенно литераторы, актеры — Моллер, Франк, Хольцер, слишком глубоко и органично (может быть, неведомо для них самих) связаны с немецкой родиной, ее культурой и языком и не в силах освоиться на чужбине, пустить корни в новую почву. Есть, наконец, и такие, как Кан: в Европе их поддерживала и возбуждала обстановка опасности, рискованная игра, где ставкой была жизнь, и главное — ненависть к фашизму. Здесь же душевные силы оставляют их именно потому, что они не находят себе приложения. Благополучие без цели и веры, мещанский, чуждый их природе образ жизни при всевозрастающем отчаянии и утрате иллюзий в отношении политического будущего Германии — все это не может их удовлетворить. В сытом, незатемненном Нью-Йорке, в этой «тихой гавани изгнанников», все чаще захлестываются петли у горла, раздаются выстрелы в номерах заштатных гостиниц, и редящая община эмигрантов все чаще собирается для отправления печального полунемецкого, полуамериканского погребального обряда.

Общая атмосфера «Теней в раю» довольно сумрачна, и печальна судьба почти всех, во всяком случае наиболее привлекательных, героев романа. Пускает себе пулю в голову самоотверженный и благородный Кан, в прошлом «кондотьер и донкихот» Сопротивления. Так и не дожив до возвращения в родной дом на Оливаерплац в Берлине, умирает от рака Бетти Штейн, добрая покровительница эмигрантов, всегда спешившая прийти на помощь каждому, кто в этом нуждался. Скромный доктор Грефенгейм, готовый, казалось бы, вынести любые лишения и уже переживший немало ударов судьбы, кончает жизнь самоубийством, когда его настигает весть о гибели жены. Безрадостна и участь Роберта, хотя он выжил и вернулся на родину. «Самое тяжкое разочарование наступило, когда мы вернулись: мы вернулись в чужой, безразличный мир, нас встретила тайная ненависть и трусость».

Почему столь минорна тональность романа и какой рок

преследует его героев? Пережитое ими в гитлеровской Германии и на дорогах изгнания, воспоминания о пытках, опасностях, преследованиях и унижениях, которым они подвергались со стороны нацистов,— все это отбрасывает мрачную тень на их жизнь в США. Но не только прошлое, но и настоящее, и неясно брежущее будущее выступают против них.

Настоящее — это нынешняя «среда обитания» героев, американский образ жизни, каким его увидел и запечатлел Ремарк. Это новая для писателя, впервые возникшая в его творчестве тема. Автор отнюдь не сгущает краски, напротив, он охотно оттеняет импонирующие ему черты американского национального характера, демократическую простоту человеческих отношений и т. п. И вместе с тем в его восприятии это страна, где все области жизни, от политики до искусства, отравлены духом коммерции. Здесь мало кто задумывается над тем, что война, которую ведут США с Германией,— война антифашистская. «Пусть эта война иная,— восклицает старший Лоу.— Но такая ли уж она иная для этих грабителей! Их цель — заработать, а где и как — все равно...» И хотя война здесь сама по себе не ощущается («ни один вражеский самолет не бороздил американский небес, ни одна бомба не упала на американскую землю, ни один пулемет не строчил по американским городам»), у всех она, однако, на устах — единственно лишь как фактор коммерческой конъюнктуры: «Мировые катастрофы здесь переводятся в дебет и кредит».

Здесь наши герои проходят школу американского воспитания у Силверса, Купера, кинодельцов из Голливуда и им подобных. Лишь немногим из немецких эмигрантов, главным образом банкирам, предпринимателям, приехавшим из Европы с большим капиталом и сумевшим и здесь основать свое дело, удается преодолеть барьер отчужденности и натурализоваться в США юридически и психологически. Для большинства же других, носящих в сердце незаживающие раны, для несчастных, одиноких, лишенных всего привычного и дорогого, страна здоровых и румяных бизнесменов с их обязательным оптимизмом, страна, где бодрость и молодость являются непременными национальными добродетелями, была и остается холодной чужбиной.

Поэтому они (те из них, кому довелось дожить) своими мыслями обращены к будущему — к Германии, куда они надеются вернуться после разгрома фашизма. Но эта надежда отравлена дурными предчувствиями, отчасти эмоционального свойства, а отчасти и более обоснованными.

Чем скорее события на театре военных действий приближаются к развязке и возможность возвращения, тем беспросветнее рисуется писателю и его героям политическое будущее Германии.

Впрочем, этот пессимизм не так уж лишен резонансов. Роберт Росс и его товарищи живут в США и наблюдают настроения, слышат разговоры, которые заставляют со страхом ждать послевоенного развития событий. Еще идет война, еще умирают на фронтах американские и британские солдаты, а в Голливуде уже снимаются фильмы, рисующие в идиллических тонах братание «в сущности, единокордных» англосаксов и немцев. Уже сейчас в высоких кругах вынашиваются планы, о которых с полной откровенностью высказывается делец Фрислендер. Немецкий народ, заявляет он, «снова заставит о себе говорить. И знаете, кто ему поможет? Мы, американцы. Расчет чрезвычайно прост. Нам нужна Германия против России...» Нетрудно сообразить, что та Германия, которая нужна против России, должна быть Германией милитаристской, националистической, реваншистской.

То, что довелось увидеть, пережить и понять в США героям Ремарка, расширило диапазон художественного видения писателя. И хотя в посмертном романе он не достиг пластической выразительности своих лучших творений, перед ним раскрылись некоторые важные истины, и он глубже осознал сферу социальных интересов и конфликтов западного мира.

И. Фрадкин

СОДЕРЖАНИЕ

Ночь в Лиссабоне.	
<i>Перевод Ю. Плашевского</i>	3
Тени в раю.	
<i>Перевод Л. Черной и В. Котелкина</i> .	215
И. Фрадкин. Антифашистские романы Ре- марка	605

Ремарк Э. М.

Р 37 Ночь в Лиссабоне. Тени в раю. Романы: Пер. с нем. / Послесл. И. Фрадкина; Ил. И. Пчелко.— М.: Правда, 1990.— 624 с., ил.

Книгу составляют два последних романа известного немецкого писателя-антифашиста Э. М. Ремарка (1898—1970), в которых на примере героя-одиночки прослеживается судьба многих тысяч эмигрантов, жертв гитлеровского террора.

Р $\frac{4703000000-2080}{080(2) - 90}$ 2080 — 90

84. 4 Ф

Литературно-художественное издание

Ремарк Эрих Мария

НОЧЬ В ЛИССАБОНЕ

ТЕНИ В РАЮ

Редактор

В. Т. Башкирова

Оформление художника

Ю. К. Бажанова

Художественный редактор

Н. Н. Каминская

Технический редактор

В. С. Пашкова

ИБ 2080

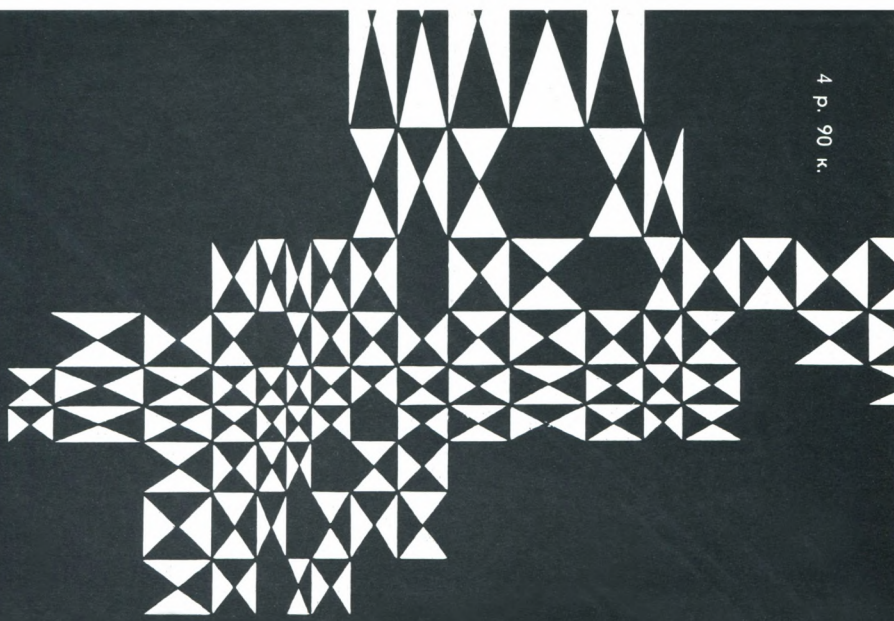
Сдано в набор 10.03.89. Подписано к печати 25.12.89.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага книжно-журнальная.
Гарнитура «Академическая». Печать высокая.
Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 33,18. Уч.-изд. л. 37,06.
Тираж 500 000 экз. (5-й завод: 400 001—500 000).
Заказ № 176. Цена 4 р. 90 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва Ворошиловградского обкома
КП Украины, 348022, г. Ворошиловград, ул. Лермонтова, д. 1 б.

В 1991 году
издательство «ПРАВДА»
планирует выпустить книгу
Э. М. РЕМАРКА,
куда войдут романы:
«НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН»,
«ВОЗВРАЩЕНИЕ».

4 р. 90 к.



ЭРИХ
МАРИЯ РЕМАРК



ЭРИХ
МАРИЯ
РЕМАРК

НОЧЬ
В
АССАБОНЕ

ТЕНИ
В
РАЮ

